

Т
ЕРБЕРТ
У
ЭЛЛС



ГЕРБЕРТ ВУЛАС

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТНАДЦАТИ
ТОМАХ

ТОМ **10**

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» • ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1964

**Собрание сочинений выходит
под общей редакцией
Ю. Кагарлицкого.**

Жена

сэра **А**ўзека

Хармана

ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЗНАКОМСТВО С ЛЕДИ ХАРМАН

1

Автомобиль въехал в маленькие белые ворота и остановился у крыльца, над которым густо сплелись зеленые кудри жасмина. Шофер мотнул головой, словно хотел сказать: ну вот, приехали наконец. Высокая молодая женщина с большим нежным ртом, пышными иссиня-черными волосами, почти совсем закрывавшими широкий лоб, и карими глазами, такими темными, что они казались почти черными, слегка наклонилась вперед, окинув дом тем восхищенным и проникновенным взглядом, который у людей сдержанных выражает порой смутное еще желание...

Маленький домик сонно смотрел на нее из-под ставень своими окнами в белых рамах и не подавал никаких признаков жизни. За углом его виднелась лужайка и клумба дельфиниума, из-за которой доносилось тарактенное тачки.

— Кларенс,— сказала женщина уже не в первый раз.

Кларенс, всем своим видом давая понять, что это не входит в его обязанности, соблаговолит все же ее услышать, вышел из автомобиля и подошел к дверям дома.

— Кларенс, может быть... вы поищите звонок...

Кларенс бросил на дверь неприязненный взгляд, ясно показывавший, что, по его мнению, она ни к черту не годится, хотел было что-то возразить, но повиновался. По-

виновался с таким видом, будто был уверен, что вслед за этим его заставят варить яйца или тачать башмаки. Он нышел звонок и дернул его слишком сильно, как и следовало человеку, который не обучен звонить в звонки. С какой стати ему это уметь? Ведь он шофер. Звонок не зазвонил, а, можно сказать, взорвался, и его звуки наводнили дом. Звон вырвался наружу из окон и даже из труб. Казалось, он никогда не умолкнет...

Кларенс подошел к автомобилю и поднял капот, заранее демонстративно повернувшись спиной ко всякому, кто выйдет на звонок. Как-никак он не лакей. Ладно уж, так и быть, он позвонил, а теперь ему надо заняться мотором.

— Ох, как громко! — беспомощно сказала женщина, обращаясь, по-видимому, к господу богу.

За изящными белыми колоннами отворилась дверь, и на крыльцо вышла маленькая красноносая старушка в чепце, который, видимо, надела наспех, не посмотревшись хорошенько в зеркало. Она бросила на автомобиль и на пассажирку недружелюбный взгляд поверх очков, сдвинутых, как и чепец, набок.

Женщина в автомобиле помахала розовой бумажкой — это была смотровой документ от агента по продаже недвижимости.

— Скажите, пожалуйста, это Блэк Стрэндс? — спросила она.

Старушка медленно подошла, враждебно глядя на розовую бумажку. Двигалась она осторожно, словно подкрадывалась.

— Это Блэк Стрэндс? — снова повторила женщина. — Может быть, я не туда попала, тогда простите, пожалуйста, за беспокойство, за этот громкий звонок и за все прочее. Не думайте...

— Блэк Стрэндс, — поправила старушка таким тоном, словно хотела пристыдить приехавшую даму, и вдруг взглянула на нее не поверх очков, а прямо сквозь стекла. Взгляд ее от этого не стал дружелюбнее, только глаза теперь казались гораздо больше. Она рассматривала даму в автомобиле, но при этом все время косилась на розовую бумажку.

— Я так понимаю, вы приехали дом осмотреть? — спросила она.

— Если только я никого не побеспокою, и если это удобно...

— Мистера Брамли нету,— сказала старушка.— А ежели у вас бумага, чего уж тут, смотрите.

— Если позволите.— Дама встала, высокая и стройная, закутанная в блестящий черный мех,— видимо, искушение боролось в ней с нерешимостью.— Очаровательный дом.

— Чистый сверху донизу,— сказала старушка.— Можете глядеть сколько душе угодно.

— В этом я не сомневаюсь,— сказала дама и, сбросив со своего гибкого, стройного тела пушистую шубу, осталась в красном платье. (Кларенс с неожиданной услужливостью открыл перед ней дверцу.) — Окна так и сияют, словно хрустальные.

— Этими вот самыми руками,— сказала старушка и посмотрела на окна, которые похвалила дама. Ее суровость сразу смягчилась, одрябла, как кожа упавшего яблока, когда оно полежит день-другой на земле. В дверях она обернулась и вдруг взмахнула рукой, как будто держала жезл.— Здесь холл,— объявила она.— Вот шляпы и трости мистера Брамли. К каждой шляпе или фуражке полагается специальная трость, и к каждой трости — специальная шляпа или фуражка, а на столе — перчатки к ним. Дверь справа ведет на кухню, а слева — в большую гостиную, там теперь кабинет мистера Брамли.— Потом, заговорив о вещах более нескромных, она понизила голос.— Вон за той дверью туалетная комната, там и умывальник.

— Здесь очень мило,— сказала женщина.— Так просто, хоть потолок и не слишком высокий. А краски какие, просто чудо! И эти огромные итальянские картины! И какой прелестный вид открывается из окна!

— Вы еще не то скажете, когда по саду пройдете,— сказала старушка.— Миссис Брамли в нем души не чаяла. Почти все своими руками сажала. А теперь пожалуйте в гостиную,— продолжала она и открыла правую дверь, из-за которой послышался невнятный возглас, что-то вроде «А, черт!». Несколько полный, невысокий мужчина в широкой зеленовато-серой куртке, какие носили художники, стоял на одном колене у откры-

того окна и зашнуровывал башмак. У него было круглое, румяное, доброе и довольно приятное лицо, каштановые волосы были зачесаны набок, большой шелковый галстук бабочкой слегка сдвинут в сторону, как это принято у артистов и модных писателей. Черты лица были правильные, красивые, глаза выразительные, рот — совсем недурной формы. Сначала на лице у этого человека мелькнул лишь наивный ужас, как у робких людей, когда их застанут врасплох.

Но тотчас же в его умных глазах появилось восхищение.

Оба окинули друг друга оценивающим взглядом. Потом дама, которая с таким воодушевлением начала осматривать дом и теперь вынуждена была остановиться, извинилась и хотела уйти. (Между прочим, гостиная была просто восхитительна, вся такая веселая, а в нише у окна стояла большая белая статуя Венеры.) Она попыталась к двери.

— А я-то думала, вы вышли через балкон, сэр, — фамильярно сказала старушка и хотела было закрыть дверь, что прервало бы наш роман перед самой завязкой.

Но он окликнул ее, прежде чем она успела это сделать.

— Простите... Вы осматриваете дом? — спросил он. — Одну секунду. Позвольте, миссис Рэббит.

Он прошел через комнату, позабыв про шнурки, которые с неприличным шумом волочились по полу. Дама подумала, что совсем не так уж давно, в школьные годы, она не преминула бы ответить на такой вопрос: «Нет, гуляю вниз головой по Пикадилли», — но вместо этого она снова помахала розовой бумажкой.

— Агенты очень рекомендовали ваш дом, — сказала она. — Простите, что я врываюсь к вам вот так, без предупреждения. Конечно, мне следовало бы сначала написать, но я решила приехать неожиданно для самой себя.

Однако мужчина в галстук, какие носили ценители искусства — а у него был и глаз ценителя, — уже заметил, что дама молода, восхитительно стройна, очень мила или даже красива — этого он пока еще не определил — и на редкость элегантно одета.

— Я очень рад, что не ушел, — сказал он с удивительной решимостью. — Я сам покажу вам дом.

— Помилуйте, сэр, как можно? — возразила старушка.

— Ну вот! Показать дом! Что ж тут такого?

— Кухня... вы ничего не понимаете в плите, сэр — где уж вам! И потом — верхний этаж. Не можете же вы показать этой леди верхний этаж.

Хозяин дома поразмыслил обо всех этих затруднениях.

— Ну хорошо, я покажу все, что можно. И тогда, миссис Рэббит, милости прошу. А пока вы свободны.

— Боюсь, что ежели вы сейчас не пойдете на прогулку, то после чая совсем расклеитесь, — сказала миссис Рэббит, скрестив на груди жесткие маленькие руки и сурово глядя на него.

— Встретимся на кухне, миссис Рэббит, — твердо сказал мистер Брамли, и миссис Рэббит после короткой внутренней борьбы удалилась с недовольным видом.

— Мне не хотелось бы вас затруднять, — сказала дама. — Ведь я ворвалась без предупреждения. Надеюсь, я вас не беспокоила... — Казалось, она хотела этим ограничиться, но не удержалась и добавила: — ...не беспокоила слишком сильно. В противном случае скажите мне прямо, прошу вас.

— Ничуть, — сказал мистер Брамли. — Не выношу эти дневные прогулки, как арестант не выносит свой подневольный труд.

— Какая она милая, эта старушка!

— Она заменяет нам мать и теток — с тех самых пор, как умерла моя жена. Поступила к нам, как только мы поженились. Весь этот дом, — объяснил он, поймав вопросительный взгляд гостя, — создала моя жена. Когда-то это был ничем не примечательный домик на опушке вон того соснового леса — его предложил нам торговый агент. Ей понравилась планировка и этот холл. Конечно, мы его расширили. Вдвое. Здесь были две комнаты, поэтому и осталась приступка посередине.

— А окно с нишей?

— Это тоже она устроила, — сказал мистер Брамли. — Здесь всюду видны ее вкусы. — Он помолчал в нерешимости и снова заговорил. — Обставяя дом, мы полагали, что дела наши будут лучше... чем потом оказалось... и

она могла дать волю фантазии. Многое тут привезено из Голландии и Италии.

— Какое чудесное старинное бюро с одной-единственной розой в вазочке!

— Это все она. Можно сказать даже, что и цветок она поставила. Конечно, время от времени его меняют. Это делает миссис Рэббит. Моя жена сама всему обучила миссис Рэббит.

Он тихонько вздохнул, видимо, подумав еще что-то о миссис Рэббит.

— И вы... вы пишете?..— Дама помолчала, потом изменила свой вопрос, который, видимо, показался ей слишком прямым: — Вы пишете за этим бюро?

— Очень часто. Я, так сказать... немножко писатель. Быть может, вам попадались на глаза мои книги. Это не бог весть какие шедевры, но иногда их все же читают.

Румянец на ее щеках стал гуще. В маленькой головке лихорадочно застучала мысль: «Брамли? Брамли?» И наконец мелькнул спасительный луч.

— Неужели вы Джордж Брамли? — сказала она.— Тот самый Джордж Брамли?

— Да, я Джордж Брамли,— ответил он скромно, но не без гордости.— Быть может, вы видели мои книжечки о Юфимии? Их до сих пор читают больше всего.

Она лицемерно пробормотала что-то, подтверждая его слова, и покраснела еще сильнее. Но в это мгновение собеседник смотрел на нее не слишком пристально.

— Юфимия — это моя жена,— сказал он.— Или, во всяком случае, моя жена дала мне этот образ, вдохнула его в меня.— А это, — он понизил голос в неподдельном благоговении перед литературой,— был дом Юфимии.

— Я и сейчас еще пишу,— продолжал он.— Пишу о Юфимии. Не могу иначе. Здесь, в этом доме... где жива память о ней... Но это уже мучительно, просто невыносимо. Как ни странно, теперь это еще мучительней, чем вначале. И я хочу уехать. Хочу наконец порвать со всем этим. Вот почему я решил сдать или продать дом... пусть не будет больше Юфимии...

Он умолк.

Она окинула взглядом длинную светлую комнату с низким потолком, так уютно и удобно обставленную; бе-

лые стены, голландские часы, голландский шкаф, изящные кресла у камина, удобное бюро, окно, выходявшее в сад, на солнечную сторону; во всем ощущалась страстная жажда жизни, и она остро почувствовала бренность всего сущего. Ей представилась женщина, такая же, как она,— только гораздо, гораздо умнее,— она старалась, обставляла комнату. А потом исчезла, превратилась в ничто. И оставила этого несчастного человека на попечении миссис Рэббит.

— Вы говорите, она умерла? — Дама мягко посмотрела на него своими темными глазами, и ее тихий голос прозвучал мило и естественно.

— Да, вот уже три с половиной года,— ответил мистер Брамли. Он подумал.— Почти день в день.

Он замолчал, и она тоже сочувственно молчала.

А потом он вдруг оживился, ободрился, стал очень деловитым. Он снова вывел ее в холл и начал объяснять:

— Тут у нас не только холл, но и столовая. Если мы не едим на веранде, то стол накрывают вот здесь, у этой стены. Дверь направо ведет в кухню.

Она снова обратила внимание на длинные, красочные, монументальные полотна, которые понравились ей с самого начала.

— Это копии с двух картин Карпаччо¹, изображающих подвиги святого Георгия, подлинники находятся в Венеции,— сказал он.— Мы купили их, когда вместе ездили туда. Но вы, без сомнения, видели подлинники. Помните, в маленьком старом домике, совсем темном, там же живет хранитель. Это один из уголков, где так много чудесного своеобразия, столь, мне кажется, характерного для Венеции. А ваше мнение?

— Я никогда не была за границей,— сказала она.— Ни разу. Мне очень хотелось бы поехать. А вы и ваша жена, наверное, часто там бывали.

На миг он удивился, что такая красивая женщина никогда не путешествовала, но ему так хотелось показать себя в самом лучшем свете, что он не стал об этом задумываться.

¹ Карпаччо, Витторе — итальянский художник эпохи Возрождения.

— Да, несколько раз,— сказал он.— Пока не родился наш мальчик. И мы всегда привозили что-нибудь для дома. Вот взгляните! — Он перешел красивый мощенный кирпичом дворик, остановился на изумрудной лужайке и повернулся к дому.— Вон тот рельеф делла Роббиа¹ мы привезли из самой Флоренции, а маленький каменный бассейн, в котором купаются птицы,— из Сиены.

— Как красиво! — сказала она, молча полюбовавшись мрамором.— Просто изумительно. Кажется, даже если солнце зайдет, он все равно будет весь сверкать.

И она принялась восторгаться домом и садом, уверяя, что, как ни расхваливал их агент, на деле все оказалось еще лучше. А ведь стоит ей только захотеть, все это будет ее, стоит только захотеть!

Мелодичный голос, не очень сильный для ее роста, но необычайно приятный, чистый и нежный, как птичка, порхал по саду. Был погожий, тихий день; даже невидимая тачка перестала тарыхтеть и словно прислушивалась...

Одна только мелочь портила их непринужденную прогулку: его шнурки так и остались незавязанными. Он никак не мог улучить минутку, чтобы нагнуться и зашнуровать башмаки. Обычно, нагибаясь, он кряхтел, сетовал на головокружение и с трудом попадал в петлю. Он надеялся, что этот беспорядок в его туалете останется незамеченным. Указывая дорогу очаровательной гостье, он все время ловко держался чуточку позади. А гостья боялась, что ему будет неприятно, если она заметит эту небрежность его туалета и предложит ему без стеснения привести себя в порядок. Шнурки были довольно длинные, кожаные, они упорно волочились по земле, радуясь свободе, ни с чем не считаясь, точно какой-нибудь невежа, который насвистывает игривую песенку в древнем храме; «шлеп-шлеп, хлоп-хлоп» выстукивали они в свое удовольствие, и порой мистер Брамли, наступив на один из них, вдруг останавливался, а порой она чувствовала, что он никак не может приноровиться к ее шагу. Но человек ко всему приспособливается, и вскоре оба они, привыкнув к этим неудобствам, почти перестали их заме-

¹ Делла Роббиа, Лука — знаменитый итальянский скульптор XV века.

чать. Они относились к шнуркам так, как воспитанные люди относились бы к тому невеже, — тактично не обращали на них внимания, подчеркнуто их игнорировали...

В саду было много такого, о чем люди часто мечтают, но дальше этого дело обычно не идет. Там был цветущий розарий с колонками и арками из роз — целый каскад роз, словно высыпающихся из рога изобилия, — тщательно ухоженные плодовые деревья, стволы которых были побелены ровно до половины, каменная стена, увитая лимонном, а на веревке сушились синие и белые фланелевые рубашки мистера Брамли, такие яркие, что они казались неотъемлемой принадлежностью сада. Кроме того, там была широкая куртина вечнозеленых трав, с дельфиниумом и аконитами, которые уже расцвели, и с мальвами, на которых распускались бутоны; куртина казалась еще красочней на фоне холма, поросшего темными соснами. Этот чудесный сад не был обнесен изгородью; он переходил прямо в сосновый бор, и только невидимая сетка отмечала границы сада и оберегала его от любопытных кроликов.

— Весь этот лес наш, до самой вершины холма, — сказал он. — А оттуда открывается прекрасный вид на две стороны. Не угодно ли вам...

Она объяснила ему, что для того и приехала, чтобы увидеть как можно больше. Это желание так и светилось на ее лице. И он, перекинув через руку ее боа, зашлепал вверх по склону. «Шлеп-шлеп-шлеп». Она застенчиво пошла следом.

— Я могу показать вам только вид в эту сторону, — сказал он, когда они добрались до вершины. — С той стороны было еще лучше. Но ее испортили... Ах, эти холмы! Я знал, что они вам понравятся. Какой простор! И... все же... тут не хватает сверкающих прудов. А там, вдали, есть чудесные пруды. Нет, я должен показать вам и ту сторону. Но там проходит шоссе, и теперь появилась эта гадость. Пройдемте сюда. Вот. Пожалуйста, не смотрите вниз. — Он жестом как бы зачеркнул передний план. — Смотрите прямо поверх всего этого, вдали. Вон туда!

Она оглядела пейзаж с безмятежным восхищением.

— Не вижу, — сказала она. — Пейзаж нисколько не испорчен. Это — само совершенство.

— Не видите! Ах! Вы смóтрите выше. Поверху. Если б и я мог так! Но какая кричащая реклама! Хоть бы этот человек подавился своими корками!

И в самом деле, прямо под ними, у поворота шоссе, была установлена реклама питательного хлеба, восхвалявшая этот животворный продукт, который продается только «Международной хлеботорговой компанией»; яркая желтизна и берлинская лазурь так и лезли в глаза, опошляя пейзаж.

Дама с недоумением взглянула туда, куда он указывал пальцем.

— А!— сказала вдруг она таким тоном, словно поняла, что совершила ужасную глупость, и слегка покраснела.

— По утрам это выглядит еще ужасней. Солнце светит прямо на нее. И уж тогда пейзаж совсем испорчен.

Некоторое время она молчала, глядя на дальние пруды. А потом он заметил, что она покраснела. Она повернулась к нему, как ученик, не выучивший урока, к учителю.

— Но ведь это действительно очень хороший хлеб,— сказала она.— Его делают... Право же, его делают наилучшим образом. Добавляют в тесто тонизирующие вещества. И надо ведь, чтобы люди об этом знали.

Услышав это, он удивился. Он был уверен, что она покорно с ним согласится.

— Но рекламировать его здесь! — сказал он.

— Да, пожалуй, здесь не место.

— Не хлебом единым жив человек.

Она едва слышно согласилась.

— Это дело рук одного ловкача по фамилии Харман. Вы только представьте себе его! Только вообразите! Вы не чувствуете, что он незримо здесь присутствует и портит все? Это какая-то куча, гора теста, он ни о чем не способен думать, кроме своих презренных, жирных барышей, не находит в жизни никакой прелести, не видит красоты мира, ничего, кроме того, что кричит, бросается в глаза, помогает ему торжествовать над его несчастными конкурентами и несет нам вот это! Перед вами квинтэссенция всей мировой несправедливости, грязное, бесстыдное торгашество! — Потом вдруг мысль его при-

няла иное направление.— И подумайте только, четыре или пять лет назад этого осквернителя пейзажей наградили титулом баронета!

Он посмотрел на нее, ожидая сочувствия, и тут в голове у него мелькнула догадка. Мгновение назад он ничего не подозревал и вдруг понял все.

— Видите ли,— поспешно сказала она, как будто он вскрикнул от охватившего его ужаса,— сэр Айзек — мой муж. Конечно... я должна была сразу назвать себя. Как глупо с моей стороны...

Мистер Брамли бросил на рекламу отчаянный взгляд, но ни единым словом не смягчил свое суждение. Это была низменная реклама низменного товара, низменно, с претензией преподнесенная.

— Дорогая моя леди,— сказал он в самом возвышенном стиле,— я в отчаянии. Но слово не воробей... Это очень некрасивая реклама.— Он вспомнил, какие употреблял выражения.— Умоляю вас простить мне некоторые... слишком сильные слова.

Он отвернулся, словно решив не замечать больше рекламу, но дама, слегка нахмутив брови, продолжала рассматривать этот объект его нападок.

— Да, некрасивая,— сказала она.— Я иногда об этом думала... Некрасивая...

— Умоляю вас забыть мой порыв, мое невольное раздражение, вызванное, вероятно, тем, что я особенно люблю вид, который открывается отсюда. Это все... воспоминания...

— Как раз недавно я задавала себе вопрос,— продолжала она, словно размышляя вслух,— что люди об этом думают. И вот любопытно было услышать...

Оба замолчали. Она рассматривала рекламу, а он — ее высокую фигуру, замершую в непринужденной позе. И он подумал, что никогда в жизни не видал еще такой красоты. Пусть хоть вся округа покроется рекламами, если благодаря им здесь появилась такая женщина. Он чувствовал необходимость что-то сказать, как-то исправить положение, но не знал, как быть, его умственные способности отказывались служить ему и словно целиком обратились в зрение, а она тем временем снова заговорила с искренностью человека, который думает вслух.

— Видите ли,— сказала она,— многое узнается слишком поздно. Правда, кое-что подозреваешь... и вот... когда девушка выходит замуж совсем юной, она многое склонна принимать как должное. А потом...

«Как много она сказала, не сказав почти ничего!» — подумал он, все еще не находя спасительной фразы. А она продолжала свою мысль:

— Эти рекламы видишь так часто, что наконец пересташь замечать.

Она снова повернулась к дому; он радовал глаз яркими полосами меж красноватыми стволами сосен. Она смотрела, подняв голову, с безмолвным одобрением,— стройное, очаровательное создание, полное достоинства — а потом наконец заговорила так, будто никакой рекламы и в помине не было.

— Здесь словно уголок какого-то иного мира; такой веселый и такой... прекрасный.

Она сказала это с едва заметным вздохом.

— Надеюсь, вам понравится наш грот,— его мы особенно старались украсить. Из каждой заграничной поездки мы привозили что-нибудь — семена заячьей капусты, или альпийских цветов, или какую-нибудь луковичу, выкопанную у дороги.

— И вы можете расстаться со всем этим!

Он хотел расстаться со всем этим, потому что все это надоело ему до смерти. Но так уж сложно устроен человеческий ум, что мистер Брамли ответил с полной искренностью:

— Я буду очень тосковать... Но мне необходимо уехать.

— Ведь вы здесь так долго жили, здесь написали почти все свои книги!

Уловив сочувствие в ее голосе, он заподозрил, что она думает, будто он продает дом из-за бедности. Если писатель беден, значит, он не популярен, а мистер Брамли ценил свою популярность — разумеется, в избранном кругу. Поэтому он поспешил объяснить ей причины своего отъезда.

— Я вынужден сделать это, потому что ни я, ни мой сын не можем здесь жить полной жизнью. Слишком много воспоминаний связано с этим домом, где мы достигли идеала красоты. Сына уже нет здесь, он учится в

приготовительной школе в Маргейте. И я чувствую, что для нас лучше, здоровее уехать совсем, хотя мы будем тосковать. Конечно, для нового хозяина все будет иначе, но для нас здесь все исполнено воспоминаний, от которых нам не избавиться никогда, до самой смерти. Здесь все неизменно. А жизнь, знаете ли, это сплошные перемены, перемены и движение вперед.

После этого обобщения он многозначительно замолчал.

— Но вы, наверно, хотите... хотите, чтобы дом попал в руки... людей, которые могут вам сочувствовать. Людей...— она запнулась,— которые поймут...

Мистер Брамли сделал решительный шаг — разумеется, только на словах.

— Поверьте, я никого так не хотел бы видеть в этом доме, как вас,— сказал он.

— Ну что вы...— запротестовала она.— Ведь вы меня совсем не знаете!

— Есть вещи, которые узнаешь сразу, и я уверен, что вы... все поймете так, словно мы знаем друг друга двадцать лет. Вам это может показаться нелепым, но когда я поднял голову и в первый раз вас увидел, я подумал: вот она, новая хозяйка. Это ее дом... Тут не может быть сомнений. Вот почему я пошел не на прогулку, а с вами.

— И вы в самом деле хотите, чтобы мы сняли этот дом? — спросила она.— Не передумали?

— Лучшей хозяйки я не мог бы пожелать,— сказал мистер Брамли.

— Несмотря на эту рекламу?

— Пускай их будет хоть сотня, я отдаю вам дом...

«Мой муж, конечно, согласится,— подумала леди Харман. Она заставила себя отбросить мрачные мысли.— Я как раз мечтала о чем-нибудь таком, без вульгарной пышности. Сама я не сумела бы такое создать. Ведь это не каждый может — создать дом...»

2

Весь их дальнейший разговор показался мистеру Брамли воплощением чудесного сна. Оживленно болтая, он вскоре снова обрел непринужденность и уверенность

в себе, в душе у него ликовали десятки тщеславных демонов, восхваляя его за чуткость, за то, что он решительно отказался уйти на прогулку. А случай с рекламой теперь каким-то удивительным образом казался просто невероятным; он чувствовал, что ничего этого не было, а если было, то совсем не так. Во всяком случае, сейчас ему недосуг было раздумывать об этом. Он повел гостью к двум маленьким оранжереям, обратил ее внимание на то, как ярки осенние краски куртины, а потом они направились к гроту. Наклонившись, она ласково гладила и, казалось, готова была целовать нежные головки заботливо выращенных камнеломок; она оценила хитроумное приспособление для мхов — там же росла рослянка; опустилась на колени перед горечавками; у нее нашлось доброе слово для этого праздничного уголка; где запоздало цвела «Гордость Лондона»¹; она ахнула, увидя нежные исландские маки, которые пробивались меж грубыми камнями мощеной дорожки; так, довольные друг другом, они дошли до скамейки, стоявшей на возвышении, в самом сердце сада, присели и одним взглядом окинули все: дальний лес, густые куртины, аккуратно подстриженную лужайку, еще аккуратнее обработанный плодовый сад, увитую зеленью беседку, прелестные цветы среди камней, шпиль над сверкавшим белизной домом, створчатые окна, высокий мезонин, тщательно подогнанную старую черепицу на крыше. И все это купалось в ласковом свете солнца, которое не палило и не обжигало, а золотило и приятно согревало кожу — в свете того летнего солнца, какое знают лишь северные острова.

Мистер Брамли, оправившись от удивления и неловкости, снова стал самим собой, сделался разговорчивым, интересным, тонким и слегка язвительным. Это был тот редкий случай, когда можно без преувеличения употребить избитое выражение: он был очарован...

Мистер Брамли принадлежал к числу тех непосредственных людей с пылким воображением, для которых женщины — самое интересное в нашем огромном мире. Это был превосходный человек и, можно сказать, профессиональный поборник добродетели, своим пером он поддер-

¹ Сорт декоративных камнеломок, травянистых растений с красивыми цветами,

живал нерушимость домашнего очага, был враждебен и даже решительно враждебен всем влияниям, которые могут подорвать или изменить что бы то ни было; но женщины влекли его к себе. Они постоянно занимали его мысли, он любил смотреть на них, бывать в их обществе, всячески старался доставить им удовольствие, заинтересовать их, втайне часто о них мечтал, любил покорять их, пленять своим умом, дружить с ними, обожать их и чтобы они его обожали. Порой ему приходилось себя обуздывать. Порой, чтобы скрыть свое пылкое нетерпение, он становился странным и замкнутым... К представителям своего пола он был более или менее безразличен. Словом, это был мужчина в полном смысле слова. Даже такие отвлеченные понятия, как добродетель и справедливость, представлялись ему в образах очаровательных женщин, и когда он брался за перо, чтобы написать критическую статью, то его вдохновляла красивая фигурка дельфийской сивиллы.

Так что за каждым движением леди Харман следил изощренный, очень внимательный глаз, и опытное ухо ловило каждое слово, каждую нотку ее голоса, когда она изредка открывала рот, чтобы принять участие в беседе. В обществе мистера Брамли пользовался преимуществами популярного и светского писателя, и ему приходилось иметь дело с самыми разными женщинами; но он еще не встречал ни одной, хоть в малейшей степени похожей на леди Харман. Она была прелестная и совсем еще юная; он не дал бы ей даже двадцати четырех лет; она держалась с такой простотой, как будто была гораздо моложе, и с таким достоинством, как будто была гораздо старше; и потом, ее окружал ореол богатства... Такими бывают иногда молодые еврейки, вышедшие замуж за богачей, но, несмотря на очень темные волосы, леди Харман была совсем не еврейского типа; ему подумалось, что она, вероятно, родом из Уэльса. О ее выскочке муже напоминало только одно — она явно платила бешеные деньги за самые дорогие, красивые и изысканные вещи; но это никак не сказывалось на ее манерах, таких спокойных, скромных и сдержанных, что лучше трудно себе представить. Что же до мистера Брамли, то он любил богатство и на него произвели впечатление меха, стоявшие целую кучу гиней...

Вскоре он уже сочинил коротенькую историю, которая была недалеко от истины: отец, вероятно, умер, небогатая семья, едва сводившая концы с концами, брак по расчету лет в семнадцать, и вот...

Пока глаза и мысли мистера Брамли были заняты всем этим, язык его тоже не бездействовал. Мистер Брамли играл свою роль с искусством, приобретенным за многие годы. Делал он это почти бессознательно. Он сыпал намеками, как бы нечаянными откровенностями и случайными замечаниями с небрежной уверенностью опытного актера, и постепенно в ее воображении возникла картина: молодые влюбленные, изысканные, счастливые — в них есть что-то от богемы, и одному из них суждено умереть, они живут вместе среди лучезарного счастья...

— Наверное, чудесно было начать жизнь вот так,— сказала или, вернее, вздохнула она, и у мистера Брамли мелькнула радостная мысль, что эта прелестная женщина завидует его Юфимии.

— Да,— сказал он,—по крайней мере у нас была своя Весна.

— Жить вместе и в такой восхитительной бедности...— сказала она.

В отношениях между людьми, каковы бы они ни были, неизбежно наступает минута, когда нельзя обойтись без обобщений. Мистер Брамли, довольно искушенный в таких разговорах с женщинами, утратил свежесть чувств. Во всяком случае, он, не поморщившись, изрек:

— Жизнь порой так удивительна!

Леди Харман помолчала немного и отозвалась задумчиво, словно припоминая что-то.

— Да, конечно.

— Когда теряешь самое ценное, кажется, что невозможно жить дальше,— сказал мистер Брамли.— И все-таки живешь.

— А у других ничего ценного и нет...— проговорила леди Харман.

И замолчала, почувствовав, что сказала слишком много.

— В жизни есть какое-то упорство,— сказал мистер Брамли и остановился, словно на краю пропасти.

— По-моему, главное — надеяться, — сказала леди Харман. — И не думать. Пусть все идет своим чередом.

— Пусть все идет своим чередом, — согласился мистер Брамли.

На некоторое время они оба задумались об одном, как две бабочки, играя, садятся на один цветок.

— Вот я и хочу уехать отсюда, — снова заговорил мистер Брамли. — Сначала поживу с сыном в Лондоне. А потом, когда его отпустят на каникулы, мы, пожалуй, отправимся путешествовать: поедem в Германию, в Италию. Когда он со мной, мне кажется, что все как бы начинается сначала. Но и с ним мне придется расстаться. Рано или поздно я должен буду отдать его в закрытую школу. Пускай изберет собственный путь...

— Но вы будете скучать без него, — сказала леди Харман сочувственно.

— У меня останется работа, — сказал мистер Брамли с какой-то мужественной грустью.

— Да, конечно, работа...

Она красноречиво умолкла.

— В этом и есть счастье, — сказал мистер Брамли.

— Хотела бы я, чтобы и у меня была какая-нибудь работа, — сказала леди Харман с внезапной откровенностью и слегка покраснела. — Что-нибудь... свое.

— Но ведь у вас есть... светские обязанности. Их, я думаю, немало.

— Да, немало. Наверное, я просто неблагодарная. У меня ведь есть дети.

— У вас дети, леди Харман!

— Четверо.

Он был искренне удивлен.

— И все они ваши?

Она удивленно посмотрела ему прямо в лицо своими нежными, как у лани, глазами.

— Конечно, мои, — сказала она с недоуменным смехом. — А чьи же еще?

— Я думал... Может быть, они приемные.

— А, понимаю! Нет! Они мои, все четверо. Я их мать. В этом, по крайней мере, сомневаться не приходится.

И она снова вопросительно посмотрела на него, не понимая, к чему он клонит.

Но мистер Брамли думал о своем.

— Видите ли,— сказал он,— в вас есть что-то очень свежее. Очень похожее на... Весну.

— Вы решили, что я еще совсем молоденькая! А ведь мне скоро двадцать шесть. Но хотя у меня есть дети, все же... почему бы женщине не иметь своего занятия, мистер Брамли? Несмотря на это.

— Но ведь это, без сомнения, самое прекрасное занятие на свете.

Леди Харман задумалась. Казалось, она колеблется, не зная, продолжать или нет.

— Понимаете,— сказала она.— У вас, вероятно, все было иначе... а у моих детей целая куча няnek, и со мной почти не считаются.

Она густо покраснела и перестала откровенничать.

— Нет,— сказала она.— Я хотела бы иметь какое-нибудь свое занятие.

3

В этот миг их разговор прервал шофер; он сделал это несколько необычным, как показалось мистеру Брамли, образом, но леди Харман, видимо, считала, что нет ничего естественней на свете.

Мистер Кларенс прошел через лужайку, оглядывая самый очаровательный сад, какой только можно себе представить, с презрением и враждебностью, столь свойственными шоферам. Он даже не коснулся фуражки, а лишь показал, что может дотянуться до нее рукой, если пожелает.

— Вам пора, миледи,— сказал он.— Сэр Айзек придет с поездом пять тридцать, и мы не оберемся неприятностей, если вы в это время не будете дома, а я на вокзале, честь честью.

В такой поспешности явно было что-то неестественное.

— Неужели надо ехать уже сейчас, Кларенс? — спросила женщина, взглянув на часы.— Разве целых два часа...

— Даю вам еще пятнадцать минут, миледи,— сказал Кларенс,— да и то придется выжать из машины все и ехать прямой дорогой.

— Но я не отпущу вас без чая,— сказал мистер Брамли, вставая.— И вы еще не видели кухню.

— И верхний этаж! Боюсь, Кларенс, что на этот раз вам придется, как это... выжать все.

— И уж тогда никаких «Ах, Кларенс!», миледи.

Она пропустила это мимо ушей.

— Я сейчас скажу миссис Рэббит! — воскликнул мистер Брамли и сорвался с места, но как-то неудачно наступил на свой шнурок и упал со ступеней вниз.

— Ах! — вскрикнула леди Харман. — Осторожней! — И стиснула руки.

Падая, он невнятно чертыхнулся, но тотчас же не встал, а вскочил на ноги, как видно, несколько не упав духом, со смехом показал ей свои перепачканные землей руки, с притворным огорчением взывая о сочувствии, и пошел к дому, уже осторожнее. Колени у него были зеленые от травы. Кларенс, который остановился, чтобы насладиться этим зрелищем, пошел по соседней дорожке к кухне, предоставив леди самой себе.

— А вы не выпьете чашечку чая? — спросил мистер Брамли.

— Отчего ж не выпить, — сказал Кларенс снисходительно, как человек, который забавляется, разговаривая с низшим...

Миссис Рэббит уже накрыла чайный стол на уютной веранде и обиделась, узнав, что они могли подумать, будто чай не готов.

Мистер Брамли на несколько минут скрылся в доме.

Когда он вернулся, на лице его было написано нескрываемое облегчение — он вымыл руки, отчистил зеленые пятна на брюках и туго зашнуровал башмаки. Леди Харман уже разливала чай.

— Простите, — сказала она, оправдываясь в том, что так мило взялась распорядиться за столом, — но автомобиль должен ждать мужа на вокзале... А он, по правде говоря, понятия не имеет...

И она предоставила мистеру Брамли самому догадываться, о чем не имеет понятия сэр Айзек.

В тот вечер мистер Брамли решительно не мог работать. Все его мысли были заняты темноволосой красавицей, которая так неожиданно вошла в его жизнь.

Возможно, это было предчувствие. Во всяком случае, его необычайно взволновали события минувшего дня — в конце концов, ведь ничего особенного не произошло. Разговор, и только. Но он не мог не думать об этой женщине, о ее стройной, закутанной в меха фигуре, темных доверчивых глазах, красивых, нежных, но твердо очерченных губах, о ее пленительной простоте, сочетавшейся с редким самообладанием. Он снова и снова вспоминал про конфуз с рекламой, собирал все мельчайшие подробности, как голодающий после скудной еды собирает крошки. Он вспоминал ее достоинство, ее милую, искреннюю готовность простить его; ни одна королева в наши дни не могла бы с ней сравниться... Но это было не просто эстетическое восхищение. Что-то большее таилось в этой женщине, в этой их встрече.

Такое чувство знакомо многим. Оно шепчет: вот человек, такой хороший, такой смелый, и как бы он ни был далек в своем блеске и гордости, все же каким-то неведомым и странным образом, глубоко и неисповедимо, он твой. Вот почему ее неповторимость, ее душевные достоинства и красота так завладели мыслями мистера Брамли. Без этого он испытывал бы к ней только сторонний интерес. Но ее существо было проникнуто неуловимым ощущением близости ко всему тому, что близко и дорого ему, Брамли; ей близка и любовь к прелестным маленьким домикам, и возмущение крикливыми рекламами в живописных местах; она была с ним против чего-то, что пряталось за этой рекламой, против того, откуда она пришла. Он попытался представить себе, что же это такое. Тесный, замкнутый мирок, обилие денег, рождающее ужас и зависть. Жизнь, можно сказать, самая низменная, так что Карпаччо, делла Роббиа, старинная мебель, скромный, но прелестный садик и вся эта литературная атмосфера должны были показаться ей совсем иным, желанным миром. (К тому же она никогда не была за границей.) И этот мир так жаждал принять ее всю целиком, вместе с ее мехами, богатством, красотой....

Все эти размышления одушевлял теплый июньский вечер, потому что весенние соки бродили не только в деревьях в саду у мистера Брамли, но и в нем самом, и всю жизнь он весной испытывал непреодолимое беспо-

койство. Весна обострила его чувства, и вот он весь в огне.

Он был решительно не в состоянии работать, и целых двадцать минут просидел, ничего не прибавив к изящной легкости короткого премиленького очерка о садике при доме Шекспира, который при помощи справочника и природных способностей он писал для сборника о Национальном Шекспировском театре. Потом он решил, что надо бы пойти прогуляться, взял шляпу и трость, вышел и принялся рассматривать все ту же желто-синюю рекламу, но уже совсем иными глазами...

Теперь ему казалось, что он не использовал до конца свое красноречие, и некоторое время это не давало ему покоя...

Когда стало смеркаться, он шагал по тропинке далеко за сосновым лесом, через заросли вереска по берегу озера, темного и ржавого, как железная руда. Он думал вслух, обращаясь к летучей мыши, которая неторопливо кружила над ним.

— Увижу ли я ее еще когда-нибудь? — спросил он.

Под утро, когда ему давно следовало бы крепко спать, он решил, что она, конечно, снимет дом, и он увидит ее еще не раз. Тут была богатая пища для воображения, возможность сплести сложнейший узор всяческих подробностей. И мистер Брамли долго предавался фантазиям, которые становились все более смутными, сияющими и интимными по мере того, как он погружался в сон...

На другой день очерк о саде Шекспира по-прежнему оставался в небрежении, а мистер Брамли сочинил милую, туманную песенку о скорбящем смертном и о свежем дыхании, напомнившем ему Персефону¹, которая вновь явилась весной из мрака и благословила его.

К полудню он овладел собой, поехал на велосипеде в Горшотт, позавтракал там в клубе, сыграл в гольф с Хорсом Тумером, а после чая перечитал свое стихотворение, решил, что оно плохое, порвал его и снова засел за ма-

¹ Персефона — в греческой мифологии богиня, похищенная Аидом, властительем подземного царства. Ее мать Деметра, богиня земли, разгневанная, перестала давать плодородие почве. Тогда по решению богов Персефона стала часть года проводить на Олимпе с матерью и приносила с собой на землю весну.

ленькое сочинение о саде Шекспира, над которым и просидел целых два часа перед ужином. Он писал о том, как этот поэт, которому так посчастливилось (его бессмертие теперь решительно подтверждено авторитетной комиссией), гулял по саду в Стрэтфорде с дочерью, усердно цитируя себя, очень точно, но совершенно не к месту, что делало больше чести его сердцу, нежели уму, а также уснащая свою речь множеством высказываний, несомненно принадлежавших мистеру Брамли. И когда миссис Рэббит с заботливостью, перенятой у покойной миссис Брамли, спросила, как подвигается работа—она обеспокоилась, увидев у него на столе бумажку со стихами,— он мог, не кривя душой, ответить, что «работа так и кипит».

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЛИЧНОСТЬ СЭРА АЙЗЕКА

1

Заметим, что два обстоятельства, которые обычно считаются важнейшими в жизни женщины, почти не произвели впечатления на мистера Брамли, как будто это были совершенные пустяки. Во-первых; у леди Харман было четверо детей, а во-вторых — на свете существовал сэр Айзек.

Мистер Брамли почти не задумывался ни о том, ни о другом; в противном случае образ, который он создал, был бы разрушен, а когда он все же начинал об этом думать, то утешался мыслью, что эти мелочи, в сущности, ничего не добавляют к этому ее образу.

Но все же он попытался вспомнить, что именно она сказала о своих детях. Ему не удалось восстановить в памяти ее слова, если только она вообще сколько-нибудь ясно дала ему понять свое чувство, что эти дети как бы не совсем ее. «Просто так получилось, когда она загубила свою молодость, выйдя за Хармана», — предположил он.

Няньки и гувернантки, которым платят огромные деньги, все самое лучшее, что может купить богач, лишенный благородства и воспитания. К тому же, вероятно, есть и свекровь.

А что же сам Харман?..

Тут мистеру Брамли приходилось отступать просто из-за недостатка сведений. Эта женщина, реклама, общее представление о деятельности Хармана, владевшего сетью закусочных и кондитерских,— всего этого было мало. Без сомнения, это самый заурядный человек, торгаш; энергичный и, разумеется, лишенный щепетильности, он преуспел, ловко используя возможности той промышленной революции, которая повсюду вытесняет мелких предпринимателей и насаждает синдикаты; успехи преисполнили его самодовольством, хотя в конце концов он достоин жалости — и эта молодая богиня видит, что она очутилась... Тут мысли мистера Брамли устремились к более приятной теме — о молодой богине, которая очутилась... И лишь позднее, через несколько дней, сэр Айзек занял должное место в его размышлениях.

2

Играя в гольф с Хоресом Тумером, он узнал о сэре Айзеке кое-что более определенное.

Мысли его были так полны леди Харман, что ни о чем другом он говорить не мог.

— Вероятно, я скоро сдам дом в аренду, — сказал он, когда они с Тумером возвращались в клуб, сияя удовлетворением, как и положено английским джентльменам, сыгравшим в подобающую игру подобающим образом. — Этому Харману.

— Неужели тому самому, который продает «питательный хлеб»?

— Да. Это странно. Особенно если учесть, как я ненавижу его рекламу.

— Во всяком случае, надо заставить его раскошиться, — сказал Тумер. — Говорят, у него прехорошенькая жена, и он держит ее взаперти.

— Она ко мне приезжала, — сказал Брамли, но не счел нужным добавить, что приезжала одна.

— В самом деле хороша?

— По-моему, просто очаровательна.

— Он ужасно ревнив. Я где-то слышал, что он приказал шоферу не возить ее по Лондону, а только по окрест-

ностям. Говорят, они живут в большом уродливом доме на Путни-хилл. А вы не заметили в ней... чего-нибудь такого?..

— Нимало. Она самая порядочная женщина, какую мне довелось видеть.

— Уж очень он противный тип,— сказал Тумер.

— В нравственном смысле?

— Да нет, вообще. Посвятил свою жизнь разорению мелких хозяев, и делает это просто так, из любви к искусству. И потом, он чуть ли не инвалид, у него какая-то странная болезнь почек. Иногда он по целым дням лежит в постели, пьет контрексевильскую воду¹ и придумывает, как разорить честных людей..., а либеральная партия добилась для него титула баронета.

— Партии нужны деньги, Тумер.

— Но он дал не так уж много. Блэптон — это почетный идиот. Всем заправляет миссис Блэптон. Да и чего можно ждать, когда...

(Но тут Тумер принялся злословить.)

Тумер был человек своеобразный. На его скверный характер повлияло обучение в закрытой школе и в университете. Он сформировался под действием двух враждебных сил. Говорили, что дух непристойности был у него в крови; и под влиянием таких формирующих сил он из кожи вон лез, стараясь стать английским джентльменом. Его постоянно одолевал таинственный зуд, который побуждает молодых людей выступать с ужасными обвинениями против добропорядочных людей и публично клеймить чистоту и приличие на редкость некрасивыми словами, и не менее упорной была в нем благоприобретенная тяга ко всему выдающемуся, ко всякому успеху, к доброй славе. В результате под действием этих противоположных сил он стал рьяным защитником прочно установившихся обычаев. В своем журнале «Английский критик» он беспощадно обрушивался на все свежее, радикальное, на все благородные и новые начинания, которые удавалось истолковать в дурную сторону, и когда злобный йеху, сидевший в нем, побуждал его выходить за рамки пре-

¹ Контрексевиль на северо-востоке Франции был известен своими минеральными водами, которые рекомендовались при почечных болезнях и подагре.

тенциозного достоинства этого печатного органа, он изливал свою желчь в веселой на вид брошюре с яркой обложкой и причудливыми гравюрами, где старался назвать как можно больше имен известных людей, причем маска абсурдности должна была прикрыть, а если нужно, то и извинить личные клеветнические нападки. Так ему удавалось облегчать душу и в то же время преуспевать. Харман в то время только недавно проник в тот класс, который Тумер считал себя вправе поносить. Харман был чужой, враждебный, новый человек, один из тех, кто получил титул благодаря миссис Блэптон, и не имел веса в обществе; поэтому его можно было травить; но все-таки он перестал быть новичком. Тумер уже почти исчерпал свои нападки на него, у него была куча денег, и знаменитый журналист и сатирик несколько умерил свой пыл, расписывая его мистеру Брамли. Его мягкий, слегка усталый голос сочился сквозь усы, как дымок легкого табака.

— Собственно говоря, лично я ничего не имею против этого Хармана. У него молоденькая жена, совсем ему не пара, и он ревниво ее оберегает, но это только делает ему честь. В наше время. И если бы не его вопиющие дела... и не этот титул... Видимо, он не в силах противостоять искушению заграбастать все, что только можно. По-моему, хлеб, который пекут огромными партиями и распродают, как газету,— это совсем не то, что хлеб нашего старого честного булочника, который каждую булку пек отдельно из доброй английской муки, смолотой вручную, и лично знал каждого покупателя. Но постепенно эти крупные махинации заполняют все; Чикаго завоевывает мир. Одно тянет за собой другое — табак, чай, ветчина, лекарства, книготорговля. Почтенные фирмы рушатся одна за одной. Иное дело — Харман. Девушки из его лондонских кафе, конечно, должны еще подрабатывать проституцией — в наше время тут и сказать нечего, вспомните, какие у нас пишут романы. А что он делает с пейзажем... Изю всех сил старался заполучить Шекспировский утес¹ в Дувре, но дело сорвалось. А вот Жабью

¹ Один из самых высоких утесов в Дувре назван Шекспировским, потому что он упомянут в «Короле Лире» — с него хочет броситься граф Глостер (Акт IV, сц. 6).

скалу в Танбридже¹ он на время заполучил. И все же,— тут у Тумера вырвалось что-то похожее на вздох,— личная его жизнь, кажется, ничем не запятнана... Не сомневаюсь, что причиной тут его слабое здоровье. Я навел подробные справки, когда впервые обсуждался вопрос о пожаловании ему титула. Должен же кто-то был это сделать. До женитьбы он жил с матерью. В Хайбэри. Очень тихо и скромно.

— Значит, это не просто заурядный выскочка?

— Нет, он скорее рокфеллеровского типа. Слабое здоровье, редчайшая целеустремленность, организаторские способности... Конечно, размах не тот... Но я не завижусь мелким кондитерам в том городе, который он задумал прибрать к рукам.

— Он... жесток?

— Беспощаден. И лишен элементарной порядочности... Начисто. Он не признает никаких компромиссов... Вы здесь будете пить чай или домой поедете?

3

Прошла целая неделя, прежде чем мистер Брамли получил известия о леди Харман. Он начал уже бояться, что это сияющее, окутанное мехами видение не украсит более Блэк Стрэнд. Но вот пришла телеграмма, которая наполнила его нетерпеливым ожиданием. В телеграмме было сказано: «Приеду осмотреть дом в субботу Харман».

Утром в субботу мистер Брамли одевался с удовольствием и необычайной тщательностью.

До завтрака он работал рассеянно. Он был поглощен тем, что собирал нити недавнего разговора с леди Харман и вывязывал из них всякие приятные узелки, бантики, сплетая их в причудливые узоры. Он придумывал способы вызвать ее на откровенность, если она будет к этому расположена, а если нет — простодушные замечания и вопросы, которые заставят ее выдать себя. И все время он думал о ней, воображал себе это непостижимое существо, такое молодое, искреннее, свежее и столь не-

¹ Жабья скала — причудливой формы гора недалеко от Танбридж-Уэльса, курорта на юго-востоке Англии.

счастливого (он был в этом уверен) в браке с человеком, который, к счастью, по крайней мере смертен. Да, дорогой читатель, уже тогда, в то утро, воображение мистера Брамли, воспитанное на литературе викторианских времен и на французских романах, унесло его далеко вперед, к самому концу нашего повествования.. Но мы, конечно, не последуем за ним, наш удел — идти более земным путем. После умеренного, но вкусного завтрака мистер Брамли снова погрузился в туманные размышления, быть может, не столь живые, но, в сущности, ничем не отличавшиеся от прежних.

Сердитый гудок и рев мотора у подъезда возвестили о прибытии гостя еще до того, как Кларенс — на этот раз удивительно расторопный — принялся дергать звонок. И тут весь дом, точно стихотворение Эдгара Аллана По¹, наполнился великолепным звоном.

Услышав гудок, мистер Брамли бросился к окну и, прячась частью за копию Венеры Милосской в натуральную величину, стоявшую в оконной нише, а частью — за изысканную занавеску, стал рассматривать сверкающий автомобиль. Он увидел большую меховую шубу, в которую был завернут худощавый, седой, волевой на вид мужчина с землистым, как у диабетика, лицом, который искал ручку, чтобы открыть дверцу, не давая Кларенсу прийти на помощь. Мистер Брамли успел мимоходом заметить, что нос у этого человека был длинный и острый, а тонкие, плотно сжатые губы кривились, но глаза мистера Брамли нетерпеливо отыскивали в автомобиле еще пассажирку. Ее почему-то не было видно. Возможно ли, что ее совершенно скрывал поднятый верх? Возможно ли?..

Бледный мужчина вышел из автомобиля, небрежно сбросил на руки Кларенсу огромную шубу и повернулся к дому. Кларенс благоговейно уложил шубу на сиденье и закрыл дверцу. Но возмущенный ум мистера Брамли все еще отказывался верить...

Он услышал, как миссис Рэббит отворила дверь, и тягучий мужской голос что-то сказал ей. Услышал, как этот голос назвал его имя и миссис Рэббит ответила. А потом наступила тишина, которую не нарушил шелест женского

¹ Речь идет о стихотворении Э. По «Колокола».

платья, и, наконец, миссис Рэббит со стуком закрыла дверь и повернула ручку. Сомнений быть не могло, и разочарованный писатель совершенно пал духом.

— А, черт! — воскликнул он вне себя.

До сих пор ему и в голову не приходило, что сэр Айзек может приехать один.

4

Но нужно было сдать дом, и притом сдать его именно сэру Айзеку Харману. Поэтому через мгновение знаменитый писатель был уже в прихожей и любезно разговаривал с великим предпринимателем.

Ростом этот человек был, пожалуй, дюйма на три ниже мистера Брамли, волосы у него были каштановые, с проседью, щеки чисто выбритые, лицо не вполне правильное, он был в изящном коричневом костюме и в галстук точно такого же цвета.

— Сэр Айзек Харман? — спросил мистер Брамли радушным тоном.

— Да, это я, — сказал сэр Айзек. Он, казалось, был чем-то раздражен и громко сопел. — Я приехал посмотреть дом, — сказал он. — Чтобы иметь о нем представление. Боюсь, что он маловат, но если вас не затруднит...

И он слегка надул щеки.

— В любом случае я счастлив видеть вас у себя, — сказал мистер Брамли, в душе кляня его на чем свет стоит.

— Так. Здесь у вас недурная комнатка... очень даже недурная, — сказал сэр Айзек. — Вон там, в том конце, довольно красиво. А сколько здесь всего комнат?

Мистер Брамли ответил что-то невпопад и в отчаянии хотел уже препоручить гостя миссис Рэббит. Но он пересилил себя и стал давать объяснения.

— Эти часы — подделка, — сказал сэр Айзек, перебивая его, когда они вошли в столовую.

Мистер Брамли посмотрел на него с недоумением.

— Я сам видел, — сказал сэр Айзек. — Все эти медные штучки продаются у нас в Холборне.

Они поднялись наверх. Когда мистер Брамли умолкал, сэр Айзек насвистывал сквозь зубы.

— Эту ванную надо будет переделать,— сказал он резко.— Мне кажется, леди Харман понравится комната с нишей, но все это... маленькое. Право, здесь очень мило; вы все очень ловко устроили, но — размеры! Пришлось бы пристраивать еще одно крыло. Но это, понимаете ли, могло бы нарушить стиль. А вон та крыша, там что, домик садовника? Так я и думал. А там что? Старый сарай? Он пустует? За его счет можно немного расширяться. Во всяком случае, в таком виде дом мне не годится.

Он спустился вниз впереди мистера Брамли, все так же негромко насвистывая, и вышел в сад. Мистер Брамли, как видно, был для него лишь сопровождающим, который должен отвечать на вопросы, и продавцом, у которого он намерен купить товар. А такое намерение у него явно было.

— Если б это зависело от меня одного, я ни за что не приобрел бы такой дом,— сказал он.— Но леди Харман здесь понравилось. И кое-что можно приспособить...

За весь разговор мистер Брамли ни словом не обмолвился о Юфимии, о супружестве, счастливой молодости и других воспоминаниях, которые хранил этот дом. Он чувствовал, что это никак не тронет сэра Айзека. Он просто делал вид, что ему безразлично, купит сэр Айзек дом или нет. Казалось, таких домов у него много и он заинтересован в этом деле лишь постольку поскольку. Всем своим видом он хотел показать, что дом имеет свою цену, которую джентльмен, конечно, никогда не позволит себе занижить.

В прелестном саду сэр Айзек сказал:

— Из этого можно бы сделать неплохой садик, если его немного расчистить.

А о нависших скалах в гроте заметил:

— Здесь опасно ходить в темноте.

— Наверное, можно купить или арендовать часть этой земли,— сказал он, указывая на поросший соснами холм.— Хорошо бы прирезать ее к владению и расширить участок.

— На мой взгляд,— сказал он,— это не дом. Это...— Он замолчал, подыскивая выражение.— Это просто живописный коттеджик.

Мы отказываемся включить в наш рассказ то, что сказал, или, вернее, не сказал, мистер Брамли.

Некоторое время сэр Айзек задумчиво разглядывал дом, стоя возле широкой куртины.

— Далеко ли до ближайшей станции? — спросил он.

Мистер Брамли дал исчерпывающий ответ.

— Значит, четыре мили. И поезда, конечно, ходят редко? Не то что в пригороде? Уж лучше доехать автомобилем до Туилфорда и там сесть в экспресс. Гм... А что тут за соседи?

Мистер Брамли кратко рассказал.

— Скоты, конечно, но бывает хуже. А представители власти? Ближайший в Олдершоте... Это в одиннадцать миль отсюда, так? Гм. Насколько мне известно, здесь поблизости не живет никто из писателей, музыкантов или что-нибудь в таком роде, словом из передовых?..

— Нет, когда я уеду, не будет ни одного, — сказал мистер Брамли, пытаясь состричь.

Сэр Айзек мгновение смотрел на мистера Брамли задумчиво и рассеянно.

— Это не так уж плохо, — сказал он и присвистнул сквозь зубы.

Мистеру Брамли вдруг пришло в голову показать сэру Айзеку вид с холма и его рекламу. При этом он рассказал только про пейзаж и предоставил сэру Айзеку заметить рекламу или нет, как ему заблагорассудится. Когда они поднимались по лесистому склону, с сэром Айзеком стало твориться что-то странное: лицо его совсем побелело, и он, задыхаясь, нервно провел рукой по лбу.

— Четыре тысячи, — сказал он вдруг. — Нет, это слишком дорого.

— Крайняя цена, — сказал мистер Брамли, и сердце его забилося быстрее.

— Вам не дадут и три восемьсот, — пробормотал сэр Айзек.

— Сам я не делец, но мой агент говорит... — пробормотал мистер Брамли.

— Три восемьсот, — предложил сэр Айзек.

— Сейчас откроется вид, — сказал мистер Брамли, — вон с того места.

— В сущности, придется перестраивать весь дом, — сказал сэр Айзек.

— Вот! — сказал мистер Брамли и взмахнул рукой.

Сэр Айзек взглянул на открывшуюся перспективу с недовольной гримасой. Его бледность сменилась ярким румянцем, нос, уши, скулы покраснели. Он надул щеки и, казалось, искал недостатков в пейзаже.

— Все это в любое время могут застроить, — недовольно буркнул он.

Мистер Брамли заверил его, что это исключено.

Некоторое время взгляд сэра Айзека рассеянно блуждал по окрестности, потом остановился на чем-то и стал осмысленным.

— Гм, — сказал он. — Эта реклама здесь совсем не к месту.

— Как! — воскликнул мистер Брамли и от удивления лишился дара речи.

— Совершенно не к месту, — сказал сэр Айзек Харман. — Неужели вы не видите?

Мистер Брамли едва удержался, чтобы не поддержать его в самых красноречивых выражениях.

— Надо, чтобы рекламы были белые с зеленым, — продолжал сэр Айзек. — Как объявления совета графства в Хэмпстед Хит. Чтобы они гармонировали с фоном... Видите ли, если реклама слишком лезет в глаза, лучше бы ее совсем не было. Она только раздражает... Реклама должна гармонировать с фоном. Как будто сам пейзаж говорит это. А не только надпись. Представьте себе светло-коричневый тон, совсем светлый, почти серый...

Он с задумчивым видом повернулся к мистеру Брамли, словно хотел узнать, какое впечатление произвели на него эти слова.

— Если бы этой рекламы совсем не было... — сказал мистер Брамли.

Сэр Айзек подумал.

— Вот именно, чтобы были видны одни только буквы, — сказал он. — Но нет, это уже другая крайность.

Тихонько посвистывая сквозь зубы, он озирался и обдумывал этот важный вопрос.

— Как странно иногда приходят идеи, — сказал он наконец, отворачиваясь. — Ведь это жена сказала мне про рекламу.

Он остановился и стал смотреть на дом с того самого места, где девять дней назад стояла его жена.

— Если б не леди Харман, мне и в голову не пришло бы арендовать этот дом,— сказал сэр Айзек

И он разоткровенничался:

— Она хочет иметь коттедж, чтобы проводить там субботу и воскресенье. Но я не понимаю, почему только субботу и воскресенье. Почему бы не устроить здесь живописную летнюю виллу? Конечно, придется перестроить дом. Использовать вон тот сарай.

Он насвистал три такта какой-то песенки.

— Леди Харман не годится жить в Лондоне, — объяснил он.

— Из-за здоровья? — спросил мистер Брамли, насторожившись.

— Не совсем, — обронил сэр Айзек. — Понимаете ли, она молодая женщина. И голова у нее набита всякими идеями.

— Знаете что, — продолжал он, — я бы хотел еще раз взглянуть на тот сарай. Если мы его расширим, сделаем коридор там, где вон те кусты, и пристроим службы...

5

Когда они вышли из соснового леса на дорожку, тянувшуюся вдоль куртины, мистер Брамли все еще лихорадочно пытался понять, что же подразумевал сэр Айзек, говоря, что у леди Харман «голова набита всякими идеями», а сэр Айзек, тихонько насвистывая, собирался предложить ему за дом три тысячи девятьсот. И тут мистер Брамли увидел меж белыми стволами деревьев, у дома, какую-то голубую груду, словно кембриджская гребная команда в полном составе затеяла там яростную свалку. Когда они подошли ближе, эта груда обрела пышные формы леди Бич-Мандарин, в небесно-голубом платье и в огромной черной, украшенной ромашками соломенной шляпе.

— Ну, мне пора ехать, — сказал сэр Айзек. — Я вижу, у вас гостя.

— Но вы непременно должны выпить чаю, — сказал мистер Брамли, который хотел сойтись в цене на трех тысячах осьмистах, но только не фунтов, а гиней¹. Ему

¹ Английский фунт стерлингов равен 20 шиллингам, гиней — 21 шиллингу.

казалось, что это очень ловко придумано, и сэр Айзек непременно соблазнится.— Эта очаровательная дама — моя приятельница леди Бич-Мандарин. Она будет в восторге...

— Боюсь, что это невозможно, — сказал сэр Айзек. — Заводить светские знакомства не в моих правилах.

На лице его выразился панический страх перед величественной женщиной, которая предстала перед ними во всеоружии.

— Но вы же сами видите, это неизбежно, — сказал мистер Брамли, удерживая его за руку.

И через мгновение сэр Айзек, представленный даме, уже мямлил любезности.

Надо сказать, что в леди Бич-Мандарин было такое изобилие всего, какое только мыслимо в одном человеке, — она была большая, пышная и вся колыхалась, любила широкополые шляпы, ленты, оборки, фижмы, свободные рукава, размашистые движения, громкие разговоры и все в том же духе, — словом, это была не женщина, а душа общества. Даже ее большие голубые глаза, подбородок, брови и нос были устремлены куда-то вперед, словно спешили на призыв трубного гласа, и румянец на ее лице был столь же изобилен, как и вся она. Изобилие — самое подходящее для нее слово. Видимо, в пятнадцать лет она была забавной девочкой, крупной, непоседливой, как мальчишка-сорванец, и все ею восхищались; ей эта роль нравилась, и с тех пор она не столько повзрослела, сколько увеличилась в размерах, и притом весьма значительно.

— А! — воскликнула она. — Наконец-то я вас поймала, мистер Брамли! Теперь вы в моей власти, бедняжка!

И она схватила его за обе руки.

Мистер Брамли даже не успел представить сэра Айзека, но как только ему удалось освободить одну онемевшую руку, он указал на этого джентльмена.

— Вы знаете, сэр Айзек, — сказала она, благосклонно взглянув на него, — мы с мистером Брамли старые друзья. Знаем друг друга целую вечность. И у нас есть свои шутки.

Сэр Айзек, видимо, чувствовал, что надо что-то сказать, но ограничился неопределенным хмыканьем, пригодным на все случаи жизни.

— И вот одна из этих шуток: как только я захочу попросить его сделать какой-нибудь совершеннейший пустик, он сразу прячется! Всегда. Словно нюхом чует. Это такой плутишка, сэр Айзек!

Сэр Айзек, по всей вероятности, заметил, что это в порядке вещей. Но у него получилось совсем уж невнятное бормотание.

— Ах, полно вам, я всегда к вашим услугам! — игриво, в тон ей, запротестовал мистер Брамли.— Кстати, я даже не знаю, в чем дело.

Леди Бич-Мандарин, обращаясь исключительно к сэру Айзеку, принялась рассказывать о шекспировской ярмарке, которую она устраивает в ближнем городке, и уж конечно мистер Брамли (этот негодник) ни за что не даст ей несколько своих книжек, хотя бы самых маленьких, с автографами для книжного ларька. Мистер Брамли шуточно протестовал, и щедрость его не знала пределов. Разговаривая так, они вошли на ту самую веранду, где леди Харман так недавно разливала чай.

Сэр Айзек упорно старался не дать этому словесному потоку захлестнуть себя. Он кивал, бормотал «да, да, конечно» или что-нибудь в том же духе и всем своим видом показывал, что ему хотелось бы поскорей уехать. Он выпил чаю, явно чувствуя себя не в своей тарелке, и дважды, самым неуместным образом прерывая разговор, повторил, что ему пора. Но у леди Бич-Мандарин были на него свои виды, и она решительно пресекла эти слабые попытки к бегству.

Эта леди, как и все прочие в те времена, возглавляла свое собственное, независимое движение во всеобщей великой кампании за национальный английский театр, который возродил бы традиции Вильяма Шекспира, и в не использованных еще возможностях сэра Айзека она видела случай увеличить свой личный вклад в великое дело. И так как он явно робел, смущался и норовил удрать, она, не теряя времени, с очаровательной настойчивостью принялась его обрабатывать. Она льстила, лукавила, рассыпала комплименты. Она не сомневалась, что для этого выскочки и торгаша визит леди Бич-Мандарин — огром-

ная честь, и недвусмысленно заявила о своем намерении вознаградить сэра Айзека, украсив его большой, но ничем не примечательный дом в Путни своей визитной карточкой. Она привела примеры из истории Венеции и Флоренции, доказывая, что «такие люди, как вы, сэр Айзек», которые руководят торговлей и промышленностью, всегда были друзьями и покровителями искусства. А кто более достоин такого покровительства, чем Уильям Шекспир? И она присовокупила, что люди с таким колоссальным состоянием, как у сэра Айзека, в долгу перед национальной культурой.

— Вы должны сделать вступительный взнос,— сказала она с многозначительным видом.

— Ну ладно, если считать округленно,— сказал вдруг сэр Айзек, и на лице у него мелькнула злоба, как у затравленного зверя,— во сколько обойдется мне вступление в ваш комитет, леди Бич-Мандарин?

— Главное для нас — это ваше имя,— сказала она,— но я уверена, что вы не поскупитесь. Пренебрежение обявлено платить дань искусству.

— Сотня?..— буркнул он и покраснел до ушей.

— Гиней,— согласилась леди Бич-Мандарин нежным, воркующим шепотом.

Он поспешно встал, чтобы пресечь дальнейшее вымогательство; она тоже поднялась.

— И, с вашего разрешения, я нанесу визит леди Харман,— сказала она, желая со своей стороны соблюсти условия сделки.

— Автомобиль не может больше ждать,— только и слышал Брамли из бормотания сэра Айзека.

— У вас, наверное, великолепный автомобиль, сэр Айзек,— сказала леди Бич-Мандарин, следуя за ним по пятам.— Надо думать, новейшей марки.

Сэр Айзек с неохотой, словно отвечал сборщику подоходного налога, сообщил, что это «роллс-ройс» сорок пятой модели, неплохой, конечно, но ничего особенного.

— Вы должны показать его нам,— заявила она, и сэр Айзек оказался во главе целой процессии.

Она восхищалась автомобилем: восхищалась цветом, восхищалась фарами, дверцами и всеми частями автомобиля. Она восхищалась сигнальным рожком. Восхищалась тем, как он красиво изогнут. Восхищалась Кларен-

сом и ливреей Кларенса, восхищалась большой меховой шубой, которую он держал наготове для хозяина. («Но она на месте сэра Айзека носила бы ее мехом наружу, чтобы этот великолепный мех был виден весь, до последнего волоска».) А когда автомобиль наконец тронулся и, дав сигнал — она восхитилась его мелодичностью, — быстро и мягко выехал за ворота, она осталась стоять на крыльце с мистером Брамли и никак не могла остановиться, восхищаясь и завидуя. Ее восхитил номер автомобиля Z 900 (его так легко запомнить!). И вдруг она замолчала. Так иногда мы замечаем, что вода в ванной течет впустую, и закрываем кран.

Цинизмом она обладала в таком же изобилии, как и всем остальным

— Ну, — сказала она со вздохом удовлетворения, и голос ее сразу утратил все восхищенные ноты. — Уж на этот раз я постаралась... Интересно, придет он мне эту сотню гиней сам или же придется ему напомнить... — Теперь она снова вела себя, как большой мальчишка-сорванец. — Будьте покойны, эти денешки от меня не уйдут, — уверенно сказала она, и глаза у нее округлились.

Потом она задумалась, и мысли ее приняли иное направление.

— Плутократия просто отвратительна, — сказала она, — не так ли, мистер Брамли? — И продолжала: — Не понимаю, как это человек, который торгует хлебом и сдобой, сам может быть таким недопеченным.

— Поразительный тип, — сказал мистер Брамли. — Надеюсь, дорогая леди Бич-Мандарин, — продолжал он горячо, — вам удастся повидать леди Харман. Она при всем при том самая интересная женщина, какую мне приходилось встречать.

6

И когда они вдвоем шли через крокетную площадку, мистер Брамли снова заговорил о том, что его так занимало, — о леди Харман.

— Мне очень хотелось бы, — повторил он, — чтобы вы у них побывали. Она вовсе не такая, как можно подумать, глядя на него.

— Что можно подумать о жене, глядя на такого мужа? Только одно — что у нее должно быть ангельское терпение.

— Она, знаете ли, такая красивая, высокая, стройная брюнетка...

Леди Бич-Мандарин пристально посмотрела на него своими круглыми голубыми глазами.

— Но-но! — сказала она лукаво.

— Меня поразила контраст.

Леди Бич-Мандарин ответила на это по-своему, без слов. Она плотно сжала губы, внимательно посмотрела на мистера Брамли, подняла палец на уровень своего левого глаза и погрозила ему ровно пять раз. Потом, тихонько вздохнув, вдруг снова оживилась и заявила, что в жизни своей не видела таких дивных пионов.

— Обожаю пионы, — сказала она. — Они совершенно в моем вкусе.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЛЕДИ ХАРМАН У СЕБЯ ДОМА

1

Ровно через три недели после встречи леди Бич-Мандарин с сэром Айзеком Харманом мистер Брамли побывал на завтраке в ее доме на Темперли-сквер, где говорил о Харманах весьма свободно и непринужденно.

У леди Бич-Мандарин всегда завтракали по-семейному, за большим круглым столом, благодаря чему никто не мог выйти из-под ее влияния, и она требовала, чтобы разговор непременно был общий, делая исключение только для своей матери, которая была безнадежно глуха, и для швейцарки-гувернантки своей единственной дочери Филлис, одинаково непонятно объяснявшейся на всех европейских языках. Мать была древняя старушка, состоявшая в дружбе еще с Виктором Гюго и Альфредом де Мюссе; она вечно произносила нескончаемый монолог о личной жизни то одного, то другого из этих великих людей; никто не обращал на нее ни малейшего внимания, но чувствовалось, что она постоянно обога-

щает застолье подспудными литературными воспоминаниями. За столом прислуживали маленький темноволосый дворецкий с вкрадчивыми манерами и суетливый мальчик, у которого волосы, казалось, росли даже из глаз. В тот день у леди Бич-Мандарин собрались две ее кузины, старые девы из Перта, носившие весьма рискованные шляпки, остряк и критик Тумер, романистка мисс Шарспер (которую Тумер решительно не переваривал), джентльмен по фамилии Роупер, приглашенный по недоразумению, ибо он оказался вовсе не тем знаменитым Роупером, исследователем Арктики, и мистер Брамли. Хозяйка тщетно пыталась расспрашивать мистера Роупера о пингвинах, тюленях, морозах, полярных ночах, айсбергах и ледниках, о капитане Скотте, докторе Кукке и о форме земли и в конце концов, заподозрив неладное, оборвала разговор, после чего осведомилась у мистера Брамли, продал ли он свой дом.

— Нет еще,— сказал мистер Брамли,— дело почти не двигается.

— Он торгуется?

— Как на рынке. С пеной у рта. Бледнеет и обливается холодным потом. Теперь он хочет, чтобы я отдал ему в придачу садовый инвентарь.

— Такому богачу следовало бы быть щедрее,— сказала леди Бич-Мандарин.

— Какой же он тогда богач,— заметил мистер Тумер.

— Наверное, мистер Брамли, вам невыносимо грустно отдавать дом Юфимии в чужие руки? — спросила одна из старых дев. — Ведь этот человек может все перестроить.

— Это... это очень тяжело,— сказал мистер Брамли, снова вынужденный лицемерить. — Но я полагаюсь на леди Харман.

— Вы виделись с ней еще раз? — спросила леди Бич-Мандарин.

— Да. На днях. Она приезжала вместе с ним. Эта чета все больше меня интересуется. У них так мало общего!

— И разница в целых восемнадцать лет,— сказал Тумер.

— Это один из тех случаев,— начал мистер Брамли тоном беспристрастного исследователя,— когда, пра-

во же, испытываешь непреодолимое искушение стать самым ярким феминистом. Ясно, что он всячески пользуется своими преимуществами. Он ее владелец, сторож, бессердечный мелкий тиран... И, однако, чувствуется, что у нее все впереди... как будто она еще ребенок.

— Они женаты уже шесть или семь лет,— сказал Турмер.— Ей тогда едва восемнадцать исполнилось.

— Они обошли весь дом, и стоило ей открыть рот, как он сразу противоречил ей с какой-то злобной радостью. Все время делал неуклюжие попытки ее уколоть. Называл ее «леди Харман». Но видно было, что он запоминает каждое ее слово... Очень странные и очень любопытные люди.

— Я бы запретила вступать в брак до двадцати пяти лет,— сказала леди Бич-Мандарин.

— Иногда семнадцатилетние умудряются созреть для брака,— заметил джентльмен по фамилии Роупер.

— Пускай эти семнадцатилетние умудрятся потерпеть,— сказала леди Бич-Мандарин.— И четырнадцатилетние должны... Ах, когда мне было четырнадцать лет, я была как огонь! Конечно, я не против легкого, безобидного флирта. Я говорю о браке.

— Начались бы всякие любовные истории,— сказала мисс Шарспер.— Восемнадцатилетних девушек не удержат — они все равно станут убегать тайком.

— Я бы их ловила и возвращала назад,— сказала леди Бич-Мандарин.— Да, да! Безо всякой пощады.

Мистер Роупер, который, как выяснилось все очевиднее, не имел никакого отношения к Арктике, заметил, что она слишком долго хочет держать их в подростках...

К дальнейшему разговору мистер Брамли не очень прислушивался. Его мысли вернулись к Блэк Стрэнд и ко второму приезду леди Харман (на этот раз она приехала по всем правилам приличия со своим супругом и покровителем). И тут его слуха достиг обрывок монолога старой леди. Она почуяла, что речь идет о браке, и говорила: «Конечно же, не надо было мешать Виктору Гюго жениться столько раз, сколько ему хотелось. Он делал это так красиво. Он умел все, почти все... делать с блеском». Мистер Брамли совсем впал в рассеян-

ность. Ему было бы трудно выразить охватившее его чувство: леди Харман — пленница, заточенная в темницу, но непокорившаяся. В первый раз она была как цветок чистотела, вся сияющая и открытая навстречу солнцу, а во второй, как в пасмурную погоду, узорчатые лепестки были сомкнуты и недвижны. Она была отнюдь не покорной или смиренной, но замкнутой, недосягаемой; слова, как пчелы, не могли к ней проникнуть, сладкий мед доверия и дружбы был скрыт под неприступным достоинством. Казалось, она сдержанна не столько из-за мистера Брамли, сколько, по обыкновению, защищается от мужа, который постоянно лезет ей в душу. А когда сэр Айзек вдруг заговорил о цене, мистер Брамли взглянул на нее, и глаза их встретились...

— Да, да, конечно, — сказал он, возвращаясь к действительности и поддерживая разговор, — такая женщина непременно должна найти свой путь.

— Как это? Королева Мария должна найти свой путь? — воскликнула мисс Шарспер.

— Королева Мария! — повторил мистер Брамли. — Да нет же, я о леди Харман.

— Но ведь я говорила о королеве Марии, — сказала мисс Шарспер.

— А мистер Брамли думал о леди Харман! — подхватила леди Бич-Мандарин.

— Что ж, — сказал мистер Брамли, — признаться, я действительно думал о ней. Она кажется мне характерной во многих отношениях... Это пример всего самого худшего в положении женщины. Да, она очень характерный пример.

— Я никогда ее не видела, — сказала мисс Шарспер. — Скажите, она красива?

— Я сама еще ее не видела, — сказала леди Бич-Мандарин. — Это — открытие мистера Брамли.

— Значит, вы не побывали у нее? — спросил он с легким упреком.

— Но собираюсь это сделать, да, да, непременно! И вы снова разбудили мое любопытство. А почему бы нам сегодня же...

Она ухватилась за эту мысль.

— Поедем! — воскликнула она. — Проведаем жену этого людоеда, последнюю женщину-пленницу. Возьмем

большой автомобиль и поедем к ней вместе, всей компанией.

Мистер Тумер сказал, что его это мало интересует.

— А вас, Сьюзен?

Мисс Шарспер сказала, что поедет с удовольствием. Ведь ей по роду ее деятельности нужно изучать необыкновенные натуры. Мистер Роупер сослался на деловое свидание.

— К сожалению, я занят, леди Бич-Мандарин,— сказал он.

А кузицам из Перта нужно было сделать кое-какие покупки.

— Тогда мы поедем втроем,— сказала хозяйка.— А потом, если только останемся в живых, все вам расскажем. Если не ошибаюсь, дом, где, так сказать, томится в заточении христианская дева, находится на Путникхилл? Я все собиралась заехать к ней, но хотела взять с собой Агату Олимони: она так ободряюще действует на поработанных женщин!

— Она не поработана, нет,— сказал мистер Брамли.— Это как раз самое любопытное.

— А что мы будем делать, когда приедем?— воскликнула леди Бич-Мандарин.— Я чувствую, это должно быть нечто большее, чем простой визит. Нельзя ли просто увезти ее оттуда, мистер Брамли? Мне хочется прийти к ней и сказать прямо: «Послушайте! Я вам сочувствую. Ваш муж — тиран. Я хочу вас спасти. Как подобает женщине, я добра и великодушна. Довольно вам быть под пятой этого недостойного человека!»

— А вдруг она совсем не такая, какой вы ее воображаете? — сказала мисс Шарспер.— Вдруг она вас послушается?

— А вдруг нет?..— сказал мистер Роупер задумчиво.

— Представляю себе этот побег,— сказал мистер Тумер.— Газетные заголовки и сообщения: «Побег леди Бич-Мандарин с женой известного кондитера. Полиция настигла их в Дувре. После отчаянной борьбы беглянка схвачена. Известный литератор Брамли, оглушенный черствой булкой...»

— Мы болтаем ужасный вздор,— сказала леди Бич-Мандарин.— Но все равно мы к ней поедем. И уж будь-

те спокойны, я заставляю ее принять приглашение к завтраку и приехать без мужа.

— А если она откажется? — спросил мистер Роупер.

— Вы имеете дело со мной, — сказала леди Бич-Мандарин лукаво. — А если это все-таки не удастся...

— Только не приглашайте его! — запротестовал мистер Брамли.

— А почему бы не пригласить ее на одну из встреч вашего «Общества светских друзей»? — сказала мисс Шарспер.

2

Когда мистер Брамли понял, в какую затею его втянули, в нем шевельнулось раскаяние. Он чувствовал, что Харманы невольно доверились ему, обнаружив перед ним свой семейный разлад, а он выдал их, и это было очень похоже на предательство. И, кроме того, как ни хотелось ему снова увидеть леди Харман, он понял теперь, что вовсе не хотел видеть ее в присутствии болтливой леди Бич-Мандарин и мисс Шарспер, чья холодная профессиональная наблюдательность вылезала бесшумно, но так назойливо, будто в глаза тыкали ручкой зонтика. Он терзался этим запоздалым раскаянием, а автомобиль леди Бич-Мандарин тем временем, вихляя и подпрыгивая на ухабах, мчался в Путни с целеустремленностью, достойной лучшего применения.

У подножия Путни-хилл они, видно, переехали призрак Суинберна¹ или, быть может, это был просто перебой в моторе, и через несколько минут были уже перед домом Хармана.

— Ну вот! — сказала леди Бич-Мандарин, в эту минуту более обычного похожая на сорванца. — Дело сделано.

Мистер Брамли мельком взглянул на большой величественный дом в чисто английском духе, увитый непрерывной зеленью. Он уже помогал дамам выйти из автомобиля, а потом все трое остановились у большого, в викторианском стиле подъезда.

¹ Английский поэт Алджернон Суинберн (1837—1909) жил и умер в Путни-хилл.

Мистер Брамли позвонил, и, хотя на звонок некоторое время никто не отзывался, всем троим почудилось, что за массивной резной дубовой дверью происходит что-то бесшумное и таинственное. Потом дверь отворилась, вышел толстый, как кубышка, дворецкий с рыжеватыми баками и оглядел их с высоты своего величия. Он держался покровительственно, и в его профессиональной почтительности сквозило сознание важности своей роли. Мгновение он как будто колебался, но потом сообразовал сказать, что леди Харман дома.

Он провел их через прихожую, ничем не отличающуюся от множества других прихожих; над ней господствовала великолепная дубовая лестница, и мисс Шарспер вряд ли могла извлечь здесь что-либо для себя, а потом через огромный зимний сад, построенный архитектором викторианских времен в классическом духе (посредине был имплювий¹, а вокруг — арки, увешанные дорогами сирийскими коврами), в большую комнату с четырьмя французскими окнами, выходившими на веранду, за которой был огромный, полный цветов сад. На первый взгляд сад, право же, производил приятное впечатление. Сама комната была похожа на многие комнаты в домах современных преуспевающих людей; видимо, ее обставляли с чрезмерным усердием и крайней неразборчивостью. Здесь не было той откровенной вульгарности, которую мистер Брамли ожидал увидеть у богатого торговца, хотя пестрая обстановка явно подбиралась лишь из самых что ни на есть подлинных вещей. Некоторые из них были на редкость роскошны; особенно выделялись три больших, массивных, сверкающих медью бюро; кроме того, здесь был комод времен королевы Анны, несколько изысканных цветных гравюр, зеркало в золоченой раме и две большие французские вазы, которые даже мисс Шарспер с ее наметанным глазом затруднилась оценить. И среди всех этих музейных экспонатов, как-то странно выделяясь на их фоне и словно пытаясь скрыть, что она тоже здесь чужая, стояла леди Харман в белоснежном платье, темноволосая, готовая к защите, но несколько не растерянная.

¹ Имплювий — бассейн для стока воды в римских домах.

Дородный дворецкий произнес нечто отдаленно похожее на фамилию леди Бич-Мандарин, посторонился и исчез.

— Я столько о вас слышала! — сказала леди Бич-Мандарин, приближаясь с протянутой рукой к хозяйке. — И поэтому просто не могла не заехать. Мистер Брамли...

— Леди Бич-Мандарин познакомилась с сэром Айзеком у меня, — объяснил мистер Брамли.

Мисс Шарпер была представлена, так сказать, без слов.

— Но то, что я вижу, превзошло все мои ожидания, — сказала леди Бич-Мандарин, горячо пожимая руку леди Харман. — Какой очаровательный у вас сад, как прелестно расположен дом! Какой воздух! Вдали от центра города, высоко, на знаменитом литературном холме, и стоит вам только пожелать, великолепный автомобиль отвезет вас куда душе угодно. Должно быть, вы часто бываете в Лондоне?

— Нет, — ответила леди Харман. — Не очень. — Кажется, она тщательно взвешивала свои слова. — Нет, — повторила она.

— Но вы должны, непременно должны там бывать, это ваш долг! Вы не вправе от нас скрываться. Я уже говорила это сэру Айзеку. Мы рассчитываем на него и на вас тоже. Вы не вправе зарывать свои таланты, прятать их; ведь у вас есть богатство, молодость, очарование, красота!..

— Но если я стану продолжать, то это уже будет похоже на лесть, — добавила леди Бич-Мандарин с чарующей улыбкой. — Сэра Айзека я уже убедила. Он обещал сто гиней и свое имя нашему «Обществу шекспировских обедов», на которых, знаете, едят только то, что упомянуто в его творениях, а весь доход отчисляется в пользу национального шекспировского движения, и теперь я хочу иметь возможность пользоваться и вашим именем. Я уверена, что вы мне не откажете. Обещайте, и я стану самой скромной гостьей, тише воды и ниже травы.

— Но помиуйте, разве его имени недостаточно? — спросила леди Харман.

— Без вас это лишь половина! — воскликнула леди Бич-Мандарин. — Если бы речь шла о чисто

деловой стороне... тогда конечно. Но в моем списке, как у покойной королевы Виктории, непременно должны быть и жены.

— В таком случае...— леди Харман замялась.— Но, право, я думаю, сэр Айзек...

Она замолчала. И тут мистер Брамли сделал одно психологическое наблюдение. В этот миг он совершенно случайно и непреднамеренно смотрел на леди Харман, и ему вдруг показалось, что она бросила быстрый взгляд поверх плеча леди Бич-Мандарин в окно, выходящее на веранду; проследив за ее взглядом, он увидел, всего на мгновение, недвижную фигуру и бледное лицо сэра Айзека, на котором выразилось удивительное сочетание злости и страха. Но если то был сэр Айзек, он скрылся с поразительным проворством; если же то был призрак, он исчез так поспешно, что это походило на бегство. Снаружи раздался стук опрокинутого цветного горшка, и кто-то негромко выругался. Мистер Брамли быстро взглянул на леди Бич-Мандарин, которая ничего не замечала, увлекаемая бесконечным потоком своего красноречия, потом — на мисс Шарспер. Но мисс Шарспер так пристально осматривала сквозь очки бюро черного дерева, словно искала какие-то приметы, чтобы заявить, что это ее давно пропавшая вещь. Мистер Брамли со сдержанным, но приятным чувством заговорщически посмотрел на леди Харман, сохранявшую полнейшее самообладание.

— Но, дорогая леди Харман, спрашивать у него нет никакой необходимости, ровно никакой! — говорила леди Бич-Мандарин.

— Я уверен, — сказал мистер Брамли, приходя на помощь, — что сэр Айзек не будет против. Я уверен, что если леди Харман спросит у него...

Неторопливо приблизился дворецкий с рыжими баками.

— Прикажете сервировать чай в саду, миледи? — спросил он таким тоном, словно ответ был ему известен заранее.

— Да, пожалуйста, в саду! — воскликнула леди Бич-Мандарин. — Пожалуйста! Как это чудесно — иметь сад в Лондоне, пить там чай! И не задыхаться от сажи. Ах,

этот северо-западный ветер, наш милый английский ветер! От вас вся сажа летит прямо к нам.

Она вышла на веранду.

— Какой чудесный сад! Простор, приволье! О! Да здесь у вас целое поместье!

Она окинула весь сад одним взглядом и вдруг заметила вдали что-то черное, сразу нырнувшее в кусты сирени.

— А наш любезнейший сэр Айзек дома? — спросила она.

— Не знаю, право, — ответила леди Харман с безмятежным спокойствием, которое восхитило мистера Брамли. — Да, Снэгсби, пожалуйста, под большим кипарисом, и позовите маму с сестрой.

Леди Бич-Мандарин постояла на веранде, отдав дань восхищения всему саду в целом, и теперь вознамерилась осмотреть его более подробно. Она подобрала свои широкие юбки и вышла на середину большой лужайки, похожая на целую эскадрилью привязанных аэростатов, волочащих за собой якоря. Мистер Брамли последовал за ней, так сказать, сопровождая ее и леди Харман. Мисс Шарспер окинула комнату последним торопливым взглядом — так не выучивший урок школьник смотрит на учебник — и пошла следом, ни на секунду не теряя своей бдительности.

От мистера Брамли не укрылась короткая немая борьба между двумя титулованными дамами: леди Харман явно хотела, чтобы они свернули налево, где в конце аллеи вьющихся роз высился одинокий кипарис, делая это место едва уловимо похожим на Италию, и он горячо ее поддержал, но леди Бич-Мандарин не менее настойчиво влекла их к отдаленным кустам сирени. И это воплощение светской женственности, словно огромная шумная волна, устремилось по зеленому саду, увлекая за собой всех остальных. Тут мистеру Брамли показалось, — хоть он и не поверил, своим глазам, — что из-за кустов, пригнувшись к земле, высунулось что-то черное и быстро исчезло. Это что-то, как стрела, пролетело через клумбу, упало на землю, мелькнули две быстро удаляющиеся подметки башмаков, и все скрылось. Уж не помещалось ли ему это? Мистер Брамли посмотрел на леди Харман, которая с простодушным нетерпением гостепри-

имной хозяйки повернулась к кипарису, потом на леди Бич-Мандарин, которая сплетала причудливые похвалы, подобно тисненому фронтиспису на книге семнадцатого века.

— Прошу прощения за неуместное любопытство, — сказала леди Бич-Мандарин, — но сады — это моя страсть. Я хочу обойти здесь все закоулки. Всюду заглянуть. У меня такое чувство, — тут она не удержалась от улыбки, видя, как внимательно ее слушает леди Харман, — что я не узнаю вас, пока не узнаю хорошенько все, что вас окружает.

С этими словами она обогнула кусты сирени и с величественной стремительностью атаковала лавры, росшие позади.

Леди Харман сказала, что дальше ничего нет, кроме смоковниц и забора, но леди Бич-Мандарин продолжала идти по узкой дорожке через живую изгородь из лавров, чтобы, как она сказала, потом обернуться и окинуть все одним взглядом.

Так они дошли до грибного питомника.

— Грибной питомник! — воскликнула леди Бич-Мандарин. — А что если мы туда заглянем, увидим мы там целые полчища грибов? Я должна заглянуть... непременно...

— Кажется, там заперто, — сказала леди Харман.

Мистер Брамли бросился вперед; он дернул дверь и быстро обернулся.

— Заперто, — сказал он и преградил дорогу леди Бич-Мандарин.

— К тому же, — сказала леди Харман, — там нет никаких грибов. Они не хотят расти. Мужу это доставляет много огорчений.

Леди Бич-Мандарин обернулась и оглядела дом.

— Как хорошо это придумано — посадить вот там глицинии! — воскликнула она. — Они переплелись с ракитником. В жизни не видела такого очаровательного сочетания цветов!

Все повернулись и посмотрели в сторону кипариса. Там, вдалеке, виднелся дворецкий с рюжими баками, лакей, плетеные стулья, чайный столик, накрытый белой скатертью, и две женщины...

Но мистера Брамли занимало другое. Он был удивлен, и удивил его грибной питомник, который вел себя как живой. Дверь питомника не была заперта, тут он просто солгал. Ее отперли совсем недавно, ключ и всякий замок валялись рядом. И когда он попытался открыть дверь, она сначала поддалась, а потом вдруг резко захлопнулась — совсем как створки живого моллюска, если его внезапно схватить. К тому же после этого отчаянного рывка питомник выругался хриплым шепотом и запыхтел, а уж на это, воля ваша, не способен никакой моллюск...

3

Прежде чем этот неожиданный визит кончился, мистер Брамли заметил немало мелких подробностей, касавшихся леди Харман, и его интерес к ней возрос еще больше. После таинственной истории с грибным питомником он обратил внимание на то, что мать и сестра неустанно получают леди Харман. Всем своим видом они показывали, что им неприятно быть ниже ее по общественному положению и они терпят это единственно ради ее блага; мать — как выяснилось, она носила фамилию Собридж — была такая же высокая и томная, как леди Харман, но в остальном сходство между ними проскальзывало лишь в изгибе шеи да иногда в движениях; миссис Собридж была белокура, держала себя и разговаривала с какой-то неестественной, нарочитой манерностью. Одевалась она скромно, как и приличествует давно вдовеющей даме: на ней было дорогое серо-лиловое платье со сложной претензией на простоту. Видимо, она жила отдельно от дочери и не столько принимала как должное окружающее великолепие и особенно дородного дворецкого, сколько подчеркнуто и упорно не замечала этого, желая показать, что принимает все как должное. Сестра же была темноволоса и бледна, как леди Харман, но далеко не так изящна. Вернее сказать, изящества она была лишена совершенно. В отличие от сестры темные волосы грубили ее, достоинство было тяжеловесным, а красоте недоставало тонкости. Одета в строгое серое платье, она, по-видимому, была на несколько лет старше сестры.

У мистера Брамли сначала создалось впечатление, что эти две женщины внутренне сопротивляются натиску

леди Бич-Мандарин, насколько два утлых суденышка, стоящих на якоре, могут сопротивляться бурному течению, но вскоре стало ясно, что они от нее в восторге. Однако ему приходилось отвлекаться от своих наблюдений, поскольку он был единственным представителем сильного пола среди пяти дам и должен был помогать леди Харман, предлагая и передавая им то одно, то другое. Чайный сервиз был серебряный и не просто красивый, но, судя по тому, как начали подергиваться веки и нос мисс Шарспер, подлинно старинный.

Леди Бич-Мандарин еще раз расхвалила дом и сад перед миссис Собридж, восхитилась кипарисом, с завистью отозвалась о сервизе и возобновила свои усилия, дабы установить прочные светские отношения с леди Харман. Она снова заговорила про «Общество шекспировских обедов» и с необычайной ловкостью принялась обрабатывать миссис Собридж.

— Не войдете ли и вы в наш комитет? — спросила она.

Миссис Собридж с вымученной улыбкой сказала, что приехала в Лондон совсем ненадолго, а когда леди Бич-Мандарин надела на нее, призналась, что совершенно бесполезно спрашивать у сэра Айзека согласия на публичное участие леди Харман в этом великом движении, ибо он заведомо не согласится.

— Я запишу эти сто гиней от имени сэра Айзека и леди Харман, — сказала леди Бич-Мандарин с самым решительным видом. — А теперь скажите, дорогая леди Харман, можем ли мы надеяться, что вы войдете в наш руководящий комитет? Нам как раз нужна еще одна дама, чтобы набрать полный состав.

Леди Харман могла только возразить, что она едва ли справится со столь ответственным делом.

— Ты должна согласиться, Элла, — впервые вмешалась в разговор мисс Собридж, всем своим видом показывая, что это вопрос принципа.

«Элла, — с любопытством подумал мистер Брамли. — Значит, полное ее имя Элеонора, или Эллен, или... Есть ли еще какое-нибудь имя, от которого уменьшительное будет Элла? Или, может быть, ее так и зовут — просто Элла?»

— Но каковы же будут мои обязанности? — спросила леди Харман, еще не уступившая, но, видимо, заинтересованная.

Леди Бич-Мандарин, чтобы уговорить ее, прибегла к обходному маневру.

— Я буду председательницей, — заключила она. — Как говорится, я людей насквозь вижу.

— Элла почти никуда не выезжает, — сказала вдруг мисс Собридж, обращаясь к мисс Шарспер, которая украдкой следила за ней, словно не хотела упустить ни одной черточки на ее лице. Застигнутая врасплох, мисс Шарспер вздрогнула и оторвалась от своих наблюдений.

— Выезжать необходимо, — сказала она. — Непременно.

— И быть независимой, — сказала мисс Собридж многозначительно.

— Да, да, конечно! — согласилась мисс Шарспер.

Было очевидно, что теперь ей придется ждать удобного случая, чтобы снова сосредоточиться.

Мистеру Брамли показалось, что миссис Собридж шепнула ему что-то на ухо словно по секрету. Он повернулся к ней в недоумении.

— Чудесная погода, — повторила эта дама таким тоном, словно не хотела, чтобы эту милую маленькую тайну узнали остальные присутствующие.

— Да, я и не припомню такого хорошего лета, — согласился мистер Брамли.

Но тут леди Бич-Мандарин устремилась к новой цели и могучим потоком захлестнула все эти мелкие водовороты: она решила пригласить леди Харман к завтраку.

— Так вот, — сказала она. — Я не соблюдаю викторианских обычаев и всегда приглашаю мужей и жен порознь, чтобы между их визитами проходило не меньше недели. Вы должны приехать одна.

Мистер Брамли ясно видел, что леди Харман хотела приехать одна и готова была принять приглашение, но ему было не менее ясно, что она, а также ее мать и сестра считали это большой смелостью. Заручившись ее согласием, леди Бич-Мандарин перешла к гораздо менее скользкой теме и стала рассказывать о своем «Обществе светских друзей», члены которого, умные и влиятельные

женщины, каждую неделю уделяют толику своего времени дружеской помощи добропорядочным девушкам, работающим в Лондоне, и сочетают приятное с полезным: приглашают их к чаю или на вечеринки с легкой закуской, даже стараются запомнить имена девушек, спрашивают о семьях и вообще стремятся дать им почувствовать, что Общество самым искренним образом к ним расположено, заботится о них и желает им добра, а это куда лучше, чем социализм, радикализм и всякие там революционные идеи. Подразумевалось, что и в этом леди Харман тоже должна принять участие. Мистеру Брамли начало казаться, будто все двери распахнулись настежь и жизнь этой леди отныне будет проходить вне дома.

— Многие из этих девушек не уступают настоящим леди,— подхватила вдруг миссис Собридж, обращаясь к мистеру Брамли, как бы по секрету, и держа чашку у самых губ.

— Конечно, почти всем им приходится трудиться в поте лица,— сказала леди Бич-Мандарин.— Особенно в кондитерских...— Она вовремя спохватилась.— В мелких кондитерских,— поправилась она и затараторила дальше:— У меня на завтраке непременно будет Агата Олимони. Я очень хочу, чтобы вы с ней познакомились.

— Та самая Агата Олимони? — отрывисто спросила мисс Собридж.

— Да, та самая и единственная,— сказала леди Бич-Мандарин, даря ее ослепительной улыбкой.— Какая же это чудесная женщина! Я обязательно должна познакомиться с ней, леди Харман. Вот увидите, это настоящее откровение...

Все шло как по маслу.

— А теперь,— сказала леди Бич-Мандарин, избрав на лице преувеличенно нежную материнскую любовь, и голос ее исполнился необычайной нежности,— покажите мне ваших птенчиков.

На миг водворилось недоуменное молчание.

— Ваших птенчиков,— повторила леди Бич-Мандарин воркующим голосом.— Покажите мне ваших птенчиков.

— А! — воскликнула леди Харман, догадавшись.— Детей.

— О счастливица, — сказала леди Бич-Мандарин. — Да. Только когда я их увижу, мы станем настоящими друзьями, — добавила она.

— Как это верно! — сказала по секрету миссис Собридж мистеру Брамли, томно посмотрев на него.

— Да, конечно, — подтвердил мистер Брамли. — Без сомнения.

Он был несколько ошеломлен, ибо только что видел, как сэр Айзек, пригнувшись, выглянул из-за кустов сирени, окинул чайный столик взглядом удава и снова скрылся.

Мистер Брамли почувствовал, что если леди Бич-Мандарин заметила сэра Айзека, от нее всего можно ждать.

4

Когда дело касалось детей, леди Бич-Мандарин не знала удержу.

Было бы несправедливостью по отношению к разно-сторонним дарованиям этой леди сказать, что она на этот раз превзошла себя. Леди Бич-Мандарин превосходила себя постоянно. Но никогда еще эта ее неизменная способность превосходить себя не бросалась так в глаза мистеру Брамли. Он чувствовал, что благодаря ей ему легче вообразить, как огромные океанские валы затопляют острова и опустошают целые побережья. Леди Бич-Мандарин хлынула в детскую Харманов и заполнила каждый ее уголок. Она поднялась до невиданных высот. Иногда ему даже казалось, что следует сделать на стенах отметки, какие делают на домах в низовьях реки Мэн, дабы увековечить наиболее сильное наводнение.

— Ангелочки! — воскликнула она еще до того, как открылась дверь детской. — Крошки!

(Этот уровень следовало бы сразу отметить чертой на оконном косяке вровень с верхней перекладиной рамы.)

Детская оказалась просторной комнатой с высоким белым потолком и зелеными стенами. Старинной мебели здесь не было и в помине, обстановка скорее напоминала фешенебельную больницу, стены покрывала яркая роспись с забавным бордюром из петухов и щенят. Маленькая мебель была, очевидно, сделана на заказ и покра-

шена в зеленый цвет, а на полу лежал пробковый мат, кое-где покрытый белыми пушистыми шкурами. Больничную обстановку еще больше подчеркивала солидная, вышколенная, пожилая няня в белом халате и ее тихая, но смысленная на вид помощница.

Три крепкие маленькие девочки-погодки встали, когда леди Бич-Мандарин вторглась в детскую; младенец неизвестного пола, ничуть не боясь уронить свое достоинство, растянулся на ковре.

— А-а-а! — возопила леди Бич-Мандарин, наступая на них развернутым строем. — Подите сюда, милые крошечки, я вас обниму!

Прежде чем она, опустившись на колени, обволокла их маленькие, съезжившиеся тела, мистер Брамли успел заметить, что малышки были прехорошенькие, но все же не такие прелестные, какие, ему казалось, должны быть у леди Харман. На их нежных детских личиках выделялись характерные, длинные, как у сэра Айзека, носики, и это вызвало у мистера Брамли несвойственное ему евгеническое¹ отвращение.

Он посмотрел на леди Харман. Она была выше восторгов своей гостью — вежливая, предупредительная, без следа материнской гордости в глазах. Мисс Собридж, которую всколыхнули бурные волны чадолюбивого пыла, источаемого леди Бич-Мандарин, подхватила младенца, прижала его к груди и осыпала какими-то смешными нежностями, а нянька и ее помощница почтительно, но неотступно следили за тем, как обращаются с четырьмя их подопечными. Мисс Шарспер наметанным глазом ловила характерные особенности детей. Миссис Собридж стояла чуть позади и, встретившись глазами с мистером Брамли, понимающе и снисходительно улыбнулась.

Мистер Брамли едва удержался, чтобы не сказать миссис Собридж:

«Да, я согласен, с виду это прекрасно. Но, в сущности, знаете ли, все совсем не так...»

От этого впечатления, что все совсем не так, он не мог отделаться, глядя на детскую. Леди Бич-Мандарин покоряла сердце леди Харман по всем правилам, бур-

¹ Евгеника — расистское учение о превосходстве высших классов и рас над низшими.

но восхищаясь этим высшим торжеством в жизни женщины, мисс Собридж ей поддакивала, миссис Собридж чуть ли не предлагала всем слиться воедино в восторженном благоговении, а между тем леди Харман несла свои лавры не то чтобы с безразличием, а с какой-то странной отрешенностью. Казалось, она искренне хотела понять, почему леди Бич-Мандарин пришла в такой необычайный экстаз. Можно было бы подумать, что она просто холодная, рассудочная натура, но было что-то в ее теплой красоте, не позволявшее это допустить. И у мистера Брамли снова мелькнула мысль, которая уже приходила ему в голову, когда сэр Айзек и леди Харман вместе приехали в Блэк Стрэнд, что эта женщина вступила в жизнь, еще не готовая к этому, что ее ум развился позже, отстав на несколько лет от тела; он только теперь начал созревать, и ей хочется разобраться во всем, что она до сих пор принимала без раздумий: в сэре Айзеке, в своих детях, во всем...

Снова были повторены приглашения, обещаны золотые горы, а также знакомство с Агатой Олимони.

— Так не забудьте же,— говорила леди Бич-Мандарин.— Не подведите нас.

— Нет,— сказала леди Харман со своей мягкой решимостью.— Я непременно буду.

— Мне так жаль, право, так жаль, что я не повидала сэра Айзека! — не унималась леди Бич-Мандарин.

Все цели их вторжения были достигнуты, и общество направилось к двери. Леди Бич-Мандарин оставила леди Харман и обрушила всю свою мощь на и без того побежденную миссис Собридж. Мисс Собридж шла сзади по лестнице, объясняя мисс Шарспер, почему сэр Айзек покупал мебель. И мистер Брамли наконец улучил мгновение, чтобы сказать несколько слов леди Харман.

— Я хочу...— начал он и осекся.— Я надеюсь,— сказал он,— что вы купите мой домик. Мне приятно думать, что именно вы будете гулять в моем саду.

— Я люблю этот сад,— сказала она.— Но всегда буду чувствовать себя недостойной его.

— Мне столько хотелось бы вам про него рассказать!

Но тут подошли остальные, и они, сразу поняв друг друга — мистер Брамли был уверен в этом взаимопонимании, — больше уже не разговаривали. Он был доволен, считая, что сказал достаточно. Он сообщил ей все необходимое, чтобы извинить, объяснить и оправдать свое появление в этом обществе. И вдруг он заметил, что за время их визита на столе в прихожей появились шелковый цилиндр и зонтик. Он посмотрел на мисс Шарспер, но она была поглощена созерцанием ножек стола. Свободно он вздохнул, лишь когда они распрощались и сели в автомобиль. «Би-и!» — загудел автомобиль, и мистер Брамли в последний раз приветственно помахал стройной белой фигуре на крыльце. Дородный дворецкий стоял поодаль и на ступеньку ниже с видом человека, закончившего трудное дело. Позади из темной двери появилась предупредительный лакей.

5

(Приведем здесь в скобках отрывок из разговора, который состоялся на обратном пути в автомобиле леди Бич-Мандарин.

— Видели вы сэра Айзека? — воскликнула она.

— Сэра Айзека? — переспросил, вздрогнув, мистер Брамли. — Где?

— Он все время прятался в саду!..

— Прятался в саду? Я как будто видел садовника...

— А я уверена, что видела его самого, — сказала леди Бич-Мандарин. — Положительно, это был он. Он спрятался в грибном питомнике, в том самом, про который вы сказали, будто он заперт.

— Но, дорогая леди Бич-Мандарин! — запротестовал мистер Брамли с видом человека, который подвергается нелепым подозрениям. — Какие у вас основания думать...

— Говорю вам, я его видела, — сказала леди Бич-Мандарин. — Видела. Он шнырял всюду, как бойскаут. А вы видели его, Сьюзен?

Мисс Шарспер оторвалась от своих размышлений.

— Что, дорогая? — спросила она.

— Видели вы сэра Айзека?

— Сара Айзека?

— Он прятался в кустах, когда мы ходили по саду. Романистка подумала.

— Я не обратила внимания,— сказала она.— Я была занята наблюдениями.)

6

Автомобиль леди Бич-Мандарин выехал в открытые ворота, и на пыльной дороге, которая вела вниз от Пути-хилл, его сразу поглотил водоворот движения; дородный дворецкий скрылся в доме, щуплый лакей тоже, миссис Собридж и ее старшая дочь помешкали немного в прихожей и ушли, а леди Харман все стояла перед большими во вкусе Булвера Литтона дверьми своего дома, и на лице ее было написано какое-то смутное ожидание. Казалось, она ждала, что кто-то окликнет ее сзади.

А потом она увидела перед собой мужа. Он вышел из-за густых лавров. Его бледное лицо еще больше побледнело от злобы, волосы были взъерошены, колени и вытянутые вперед руки покрыты клочьями мха и выпачканы зеленью.

Леди Харман, застывшая в оборонительной позе, вздрогнула.

— Айзек! — воскликнула она.— Где ты был?

Этот вопрос, явно бессмысленный, окончательно вывел его из себя. Он даже забыл о своем положении, обьявившем его блюсти хорошие манеры.

— Какого дьявола ты гоняла меня по всему саду? — воскликнул он.

— Гоняла тебя? По саду?

— Ты же слышала, как я чуть не переломал себе ноги об этот сволочной горшок, который ты там нарочно поставила, а потом ты выскочила с этой сворой старух и стала меня травить. Что это значит?

— Я не знала, что ты в саду.

— Последний дурак мог это сообразить. Последний дурак догадался бы. Если не в саду, то где же, черт возьми, мне быть? А? Где еще мне быть? Ясное дело, я был в саду, а ты нарочно травила меня, превратила в шу-та горохового. Вот полюбуйся! Полюбуйся, тебе говорят! Погляди на мои руки!

Леди Харман смотрела на своего супруга и повелителя, не решаясь заговорить. Она знала, что от ее слов он придет в бешенство, но их отношения уже достигли той стадии, когда настроение мужа — далеко не главное.

— Ты вполне мог успеть умыться, — сказала она.

— Да! — воскликнул он. — Но я нарочно решил показаться тебе в таком виде. Я прятался в саду, чтобы не встретиться с этой публикой, боялся в доме на них наскочить. Таких гнусных старух...

Тут он весьма кстати утратил дар речи и выразил свое мнение о леди Бич-Мандарин только отчаянным жестом.

— Если... если приехали гости и застали меня дома, я не могу не принять их, — сказала леди Харман, подумав.

— Принять — это одно дело. Но корчить из себя дуру...

Он повысил голос.

— Айзек, — сказала леди Харман предостерегающе и, наклонившись к нему, шепнула: — Здесь Снэгсби!

(Это была фамилия дородного дворецкого.)

— К черту Снэгсби! — прошипел сэр Айзек, понизив, однако, голос и подходя к ней ближе. Но, став тише, голос его словно приобрел еще большую страстность. — И вообще, Элла, нечего было вести эту старуху в сад...

— Но она настаивала.

— Надо было поставить ее на место. Надо было сделать... что-нибудь. Куда, к дьяволу, мне деваться, если она спустилась с веранды? Хорошенькое дело! Ловушка!

— Ты мог бы подойти к нам.

— Как! И встретиться с ней!

— Но ведь мне же пришлось с ней встретиться.

Сэр Айзек почувствовал, что растрчивает свой гнев по мелочам.

— Если бы ты не валяла дурака, не ездила смотреть всякие там дома, — сказал он, подступив к ней вплотную и говоря тихо, но резко, — то этот бич божий миновал бы тебя, понятно? А теперь вот, извольте радоваться!

Он вошел следом за ней в прихожую, и щуплый лакей, который словно вырос из-под земли, подобостраст-

но подскочив со щеткой, принялся его чистить. Леди Харман некоторое время сосредоточенно смотрела на эту сцену, а потом медленно прошла в классически строгую оранжерею. Она чувствовала, что после данных ею обещаний спор из-за леди Бич-Мандарин еще впереди.

7

Она сама возобновила этот спор, когда сэр Айзек вымыл руки и они снова встретились в длинной гостиной. Она подошла к широкому окну и некоторое время смотрела в сад, собираясь с духом, потом заставила себя обернуться.

— Я не согласна с тобой насчет леди Бич-Мандарин,— сказала она.

Сэр Айзек был удивлен. Он полагал, что инцидент исчерпан.

— Как? — переспросил он отрывисто.

— Не согласна,— повторила леди Харман.— По-моему, она веселая и добрая.

— Да ведь это же бич божий,— сказал сэр Айзек.— Я уже два раза ее видел, леди Харман.

— Поскольку ко мне приехали, оставили визитную карточку и все такое,— продолжала леди Харман,— я должна нанести ответный визит.

— Никаких визитов,— отрезал сэр Айзек.

Леди Харман схватилась за кисть портьеры: ей необходимо было за что-то держаться.

— Все равно мне нужно поехать.

— Все равно?

Она кивнула.

— Будет просто смешно, если я этого не сделаю. У нас потому так мало знакомых, что мы не отвечаем на визиты...

Сэр Айзек помолчал.

— Много знакомых нам ни к чему,— сказал он.— И кроме того... Хорошенькое дело! Значит, всякий может заставить нас бегать по Лондону с визитами, стоит ему только сюда заявиться? Что за вздор! Она убралась восвояси, и кончен бал.

— Нет,— сказала леди Харман, еще крепче сжимая портьерную кисть.— Мне необходимо нанести ей ответный визит.

— Сказано тебе, никаких визитов!

— Это не просто визит,— сказала леди Харман.— Понимаешь, я обещала быть к завтраку.

— К завтраку?

— А потом поехать с ней на собрание...

— На собрание?

— Кажется, это называется «Общество друзей». И еще что-то... Ах, да. Войти в комитет, который устраивает шекспировские обеды.

— Я уже слышал эту песню.

— Она сказала, что ты согласился в этом участвовать, иначе, конечно...

Сэр Айзек с трудом сдержался.

— Ну так вот,— сказал он, помолчав.— Напиши ей, что ты не можешь приехать, и точка.

Он сунул руки в карманы, встал у соседнего окна и тоже принялся смотреть в сад, стараясь показать, что с этим делом покончено и теперь можно спокойно любоваться природой. Но леди Харман еще не высказалась до конца.

— Я это сделаю,— сказала она.— Я дала слово и сдержу его.

Казалось, муж просто не слышал ее. По своему обыкновению, он стал негромко насвистывать сквозь зубы. Потом подошел к ней.

— Это все штучки твоей сестры,— сказал он.

Леди Харман помолчала, раздумывая.

— Нет,— сказала она.— Я решила сама.

— Я сделал глупость, когда пригласил ее сюда,— сказал сэр Айзек, по обыкновению не слушая жену, и это раздражало ее все больше и больше.— Нечего тебе якшаться с этими людьми. Такие знакомства нам ни к чему.

— А я хочу поддерживать с ними знакомство,— сказала леди Харман.

— А я не хочу.

— Но мне они интересны,— сказала леди Харман.— И, кроме того, я обещала.

— Нечего было обещать, не спросив у меня.

Впоследствии сэр Айзек не раз раздумывал над ее ответом. В тоне ее было что-то необычное.

— Видишь ли, Айзек,— сказала она.— Ты всегда был так далек...

Она замолчала, а тем временем в гостиную вошла, улыбаясь, миссис Собридж с целой охапкой самых лучших роз (сэр Айзек терпеть не мог, когда их рвали).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЛЕДИ ХАРМАН НА ПОРОГЕ ЖИЗНИ

1

Леди Харман вышла замуж восемнадцати лет.

Ее мать, миссис Собридж, была вдова стряпчего, погибшего при крушении поезда в то самое время, когда дела его, как она выражалась, не были устроены; двух своих дочерей она, кротко сетуя на судьбу, воспитала в глуши, в Пендже, на весьма скромные средства. Эллен была младшая. Крепкая, черноглазая малышка, не расстававшаяся с куклой, она вдруг как-то сразу вытянулась и повзрослела. Миссис Собридж отдала ее в Уимблтонский пансион, считая, что в местной школе ее сестре Джорджине привили слишком независимые и вульгарные манеры и к тому же до неприличия развили ее мускулатуру. Уимблтонский пансион не был столь передовым, во всяком случае, Эллен, подрастая, стала выше и женственней сестры, а к семнадцати годам была уже женщиной в полном смысле слова, вызывая восхищение школьных подруг и многого множества их братьев и кузенов. Она была тихая и лишь изредка позволяла себе дерзкую, но безобидную выходку. Так, например, один раз она вылезла через чердачное окно на крышу и обошла ее при лунном свете, чтобы испытать, какое при этом бывает ощущение, и устроила еще несколько подобных проказ. В остальном же она вела себя примерно и на всех хорошо влияла. Обаяние, которое испытал на себе мистер Брамли, было у нее уже тогда и даже вредило

ее занятиям. Уроки за нее почти всегда делали добровольные рабы, считавшие это за счастье, потому что она была щедра и по-королевски вознаграждала их; но все же два приглашенных со стороны ревностных учителя чуть ли не силой заставили ее заниматься английской литературой и музыкой.

И в семнадцать лет, в этом возрасте, когда девушки больше всего презирают в молодых людях мальчишество, она встретила с сэром Айзеком, который воспылал к ней жадной и непобедимой страстью...

2

Уимблтонский пансион помещался в большом, тихом, блеклом доме, и директрисой там была загадочная, отличавшаяся необычайным самообладанием женщина — мисс Битон Клавье. Она была недурна собой, но ни у кого не вызывала нескромных желаний; окончила университет Сент-Эндрю по факультету искусств и приходилась двоюродной сестрой мистеру Бленкеру, редактору газеты «Старая Англия». Кроме нее, с воспитанницами занимались еще несколько наставниц, живших при пансионе, и два надежно женатых учителя со стороны, один из которых преподавал музыку, а другой читал курс о Шекспире, а в саду была площадка для игр, аллея и теннисный корт, тщательно замаскированные со стороны улицы. В учебную программу входили латинская грамматика — читать книги на этом величественном языке никто не мог научиться, — французский язык, который вела англичанка, некогда жившая во Франции, немецкий, преподаваемый желчной немкой из Ганновера, английская история и литература в наиболее пристойных образцах, арифметика, алгебра, политическая экономия и рисование. В хоккей там не играли, обучение велось без тяжеловесных пособий и ненужных схем, которые теперь в такой моде, главным образом следили за поведением девушек и внушали им, что неприлично говорить громко. Мисс Битон Клавье была противницей новомодного «помешательства на экзаменах», и учителя, избавленные от этого бремени, не столько занимались по программе, сколько с важным видом усерд-

5 Г. Уэллс. Т. 10.

но ходили вокруг да около. Это круговращение отразилось в языке воспитанниц — они не учили алгебру, или латынь, или еще какой-нибудь предмет, а «прокручивали» алгебру, «проворачивали» латынь.

Этой системе занятий и распорядку девушки подчинялись без особой охоты и втихомолку ее нарушали, дружили и враждовали между собой, влюблялись друг в друга, невольно стремились как-то узнать жизнь, несмотря на то, что у них всячески старались отбить охоту к этому... Ни одна не верила всерьез, что пансион готовит их к жизни. Большинство смотрело на него, как на длинную череду ненужных, пустых, скучных занятий, через которые нужно пройти. А там, впереди, солнце.

Эллен брала то, что само шло в руки. Она поняла красоту музыки, несмотря на то, что учитель заставлял ее зубрить биографии великих музыкантов, был помешан на технике игры и вообще смотрел на свой предмет слишком профессионально; учитель литературы обратил ее внимание на мемуары, благодаря которым ей открылось нечто новое — исторические личности уже не были важными, далекими и казенными, как мисс Битон Клавье, они на мгновение оживали, становились близкими, как ее школьные подруги. Одна маленькая учительница в очках, которая носила изящные платья и украшала класс цветами, очень полюбила Эллен, туманно и прочувствованно говорила с ней о «высших целях» и под большим секретом дала ей почитать книги Эмерсона, Шелли и брошюру Бернарда Шоу. Понять, куда клонят эти писатели, оказалось не так-то легко, ведь они были такие невероятно умные, но не подлежало сомнению, что они против смирения ее матери и непреклонности мисс Битон Клавье.

В ее подневольной, замкнутой жизни под внешней оболочкой школьных и домашних будней проглянуло нечто, как будто обещавшее связать все воедино, когда она обратилась к религии. Религия привлекала ее гораздо больше, чем она признавалась даже себе самой, но обстановка, в которой она выросла, сделала ее недоверчивой. Ее мать относилась к религии с благоговением, которое граничило с кощунством. Она никогда не упоминала имя божие и не любила, когда его упоминали другие: детям она внушала, что разговаривать на

религиозные темы нескромно, и Эллен никогда по-настоящему не освободилась от этого. Упоминание о боге было для нее чем-то предосудительным, хотя и возвышенным. И мисс Битон Клавье поддерживала в ней это удивительное убеждение. В пансионе Эллен читала молитвы бесстрастно, как человек, которому нечего к этому добавить. Казалось, ей было тяжело молиться, и, кончив, она вздыхала. И хотела она того или нет, но у нее получалось, что пусть даже бог совсем не таков, каким ему положено быть, пусть он чуть ли не примитивен, пусть у него нет скромности и такта, этих неотъемлемых качеств достойной и благородной женщины, она ни словом не обмолвится об этом. Так что до замужества Эллен никогда не позволяла себе легко и свободно размышлять о всепримиряющей сущности бытия и разговаривала на эту тему изредка и робко лишь с немногими из своих сверстниц. Такие разговоры мало что им давали. Они чувствовали себя преступницами, принужденно смеялись, старались заглушить серьезные устремления, зревшие в их душах, искусственным и глупым экстазом и падали на землю, прежде чем успевали подняться ввысь...

И все же девушка уже чувствовала, как много может дать истовая вера. Днем она мало думала о боге, но по ночам, когда светили звезды, ее охватывало странное чувство; это бывало с ней не при свете луны, в котором не было и проблеска божественности, а лишь в волнующем звездном полумраке. И замечательно, что после того, как учитель прочел им курс астрономии, рассказал про непостижимо влекущие масштабы и расстояния, ей еще больше прежнего стало казаться, что она чувствует бога в звездных высотах...

Когда с одной из ее подруг случилось несчастье, это заставило ее на время задуматься о мрачном безмолвии смерти. Дело было в Уэльсе во время летних каникул; сама она этого не видела и обо всем узнала лишь потом. До тех пор она думала, что все девушки становятся взрослыми и, пройдя сквозь скучные годы учения, выходят на свободу, в настоящую жизнь, которая ждет их там, впереди. Конечно, она знала, что и молодые иногда умирают, но ей казалось невероятным, что такая судьба может постигнуть кого-нибудь из ее

подруг. Эта смерть была для нее большим ударом. Собственно говоря, умершая не была близкой подругой Эллен, они учились в разных классах, но мысль, что она вечно будет лежать холодная, неподвижная, не давала девушке покоя. Эллен не чувствовала никакого желания лежать в тесной могиле, над которой будет кипеть жизнь и сиять солнце, и когда она думала, что и ее, быть может, ждет такая участь, ей еще больше хотелось жить. Как там, наверное, душно!

Нет, это невозможно.

Эллен начала раздумывать о будущей жизни, о которой религия говорит так уверенно, но туманно. Может быть, эта жизнь протекает на других планетах, под чудесным многолуным, серебристым небосводом? Девушка находила в окружавшем ее мире все больше бессмыслиц. Неужели вся жизнь просто ложь, и сбросят ли когда-нибудь маски мисс Битон Клавье и все остальные? Она не сомневалась, что они носят маски. У нее были все основания сомневаться в реальности своей жизни. Вот, например, ее матери так не хватает плоти и крови, она так похожа на бумажную обертку, а внутри она совсем другая. Но если все это нереально, то что ж реально? Что с ней потом станет? Какой она будет? Возможно, все это как-то связано со смертью. Быть может, смерть — это просто когда гости, приехавшие на праздник жизни, сбрасывают нелепые пальто. Она чувствовала, что жизнь именно праздник.

Все эти раздумья она ревниво хранила в тайне, но они придали высокой темноволосой девушке новое очарование: в ней появилось что-то не от мира сего, некое мечтательное достоинство.

Иногда ее охватывало глубокое волнение, которое она связывала с этими мыслями, когда сопоставляла их с повседневной жизнью. Это волнение было совсем не похоже на тот восторг, который она испытывала, любуясь цветами, или солнцем, или какими-нибудь прелестными существами. День, казалось, затмевал эти чувства подобно тому, как они затмевали для нее свет звезд. Они тоже были связаны с чем-то огромным и далеким, с неизмеримыми расстояниями, с тайнами света и материи, с представлением о горах, белых

ледяных пустынях и снежных бурях, о бесконечности времени. Такие ослепительные видения посещали ее в церкви во время вечерних служб.

Пансионерки обычно располагались на галерее, около органа, и больше года Эллиен сидела в углу, откуда ей был виден сумрачный, тускло освещенный свечами неф и бесконечные ряды лиц и одежд, смутные фигуры, которые, когда приходило время петь гимны, вставали с каким-то особым, глубоким и внушительным шелестом, и в их пении было величие, какого она еще не знала в музыке. Особенно некоторые гимны, такие, как «Небесный Салем, обитель сердец», словно подхватывали ее и несли в иной, просторный и чудесный мир — в мир светлого одухотворенного наслаждения. Именно таков, думала она, небесный град, там, в бесконечном далеке. Но это ощущение противоречило всем остальным мистическим откровениям, так как было отрешено от всякого чувства божества. И поразительным образом сливаясь с ним, но в то же время оставаясь сам по себе — чуждый и в то же время сродный ему, точно серебряный кинжал, пронзивший таинственный, сияющий пергамент, — представлял перед ней подобный ангелу высокий светловолосый юноша в стихаре, — он стоял внизу среди певчих и пел, как ей казалось, для нее одной.

Сама она в такие мгновения была слишком взволнована, чтобы петь. Ее захлестывало неодолимое чувство, ей казалось, что вот сейчас она перейдет предел и словно уже стоит на пороге иной, поистине вечной жизни, нужно только удержать в себе достаточно долго это трепетное волнение; что-то произойдет, и она сольется с этой музыкой и волшебством и уже не вернется назад, к повседневности. И пойдет сквозь музыку, меж огромными свечами, под вечными звездами, рука об руку с высоким юношей в белом. Но ничто не происходило, и она никогда не могла переступить эту границу; гимн смолкал и «аминь» замирало вдали, словно падал занавес. Прихожане садились. И она тоже не хотя опускалась на свое место...

А во время проповеди, которую она не слушала, ум ее застывал и немел, и она выходила из церкви молчаливая, задумчивая, неохотно возвращаясь к обычной жизни...

С сэрром Айзеком — он в то время еще не был сэрром — Эллен встретила в Хайте, где гостила у своей школьной подруги, а потом жила в Фолкстоунском пансионе, куда приехали на две недели ее мать и сестра. Мистер Харман простудился, объезжая филиалы своей фирмы в северном Уэльсе, и приехал вместе с матерью поправлять здоровье. Харманы занимали номера в самом роскошном отеле на берегу реки Ли. Родители подруги Эллен состояли акционерами крупной мучной фирмы, у них был новый изысканный бело-зеленый домик с черепичной крышей, расположенный в живописном местечке близ поля для игры в гольф, и отец подруги очень хотел установить дружеские отношения с мистером Харманом. Они все вместе часто играли в теннис и крокет, ездили на велосипедах в Хайт, к дамбе, купались возле маленьких тентов, загорали; у мистера Хармана уже был первый его автомобиль, в то время еще новинка, и он охотно устраивал пикники в больших тихих долинах среди холмов.

В их кружке были лишь двое молодых людей: один — жених подруги Эллен, а второй собирался жениться на молодой женщине, которая уехала куда-то в Италию; оба они красотой не блистали и смотрели на Хармана с тем прикрываемым иронией благоговением, которое богатство и преуспеяние нередко вызывают у юношей. Сначала он был молчалив и только смотрел на нее, как мог бы смотреть всякий, но потом она почувствовала, что он смотрит на нее постоянно, не сводя глаз, настойчиво стремится быть рядом и все время старается ей угодить, обратить на себя внимание. И наконец женщины — ее мать, миссис Харман, мать и сестра подруги, их поведение, а не какие-нибудь их слова — заставили ее понять, что этот влиятельный и сказочно богатый человек, который к тому же казался ей таким скромным, застенчивым и трогательно услужливым, влюблен в нее.

— Ваша дочь очаровательна, — говорила миссис Харман миссис Собридж, — просто очаровательна.

— Ах, она такой ребенок! — неизменно отвечала ей та,

А однажды, когда зашел разговор о помолвке подруги Эллен, миссис Собридж сказала матери подруги, что хочет, чтобы обе ее дочери вышли замуж по любви, и ей все равно, какое будет у мужей состояние, но при этом она из кожи вон лезла, стараясь, чтобы сэр Айзек мог беспрепятственно видаться с Эллен, неусыпно оберегала ее от других мужчин, заставляла принимать все его приглашения и без конца исподволь его расхваливала. Она твердила о том, как он скромен и невзыскателен, хотя «держит в руках такое огромное дело» и в своей области «настоящий Наполеон».

— Глядя на него, можно подумать, что это самый обычный человек. А ведь он кормит тысячи и тысячи людей...

— Я знаю, рано или поздно Айзек женится, — сказала как-то миссис Харман. — Он всегда был таким хорошим сыном, что для меня это будет тяжкий удар, но все-таки, знаете, мне хотелось бы, чтобы он устроил свою жизнь. Тогда и я устрою свою — куплю себе где-нибудь домик. Совсем маленький. Я считаю, что незачем становиться между сыном и невесткой...

Свою природную жадность Харман скрывал под благопристойной скромностью. Эллен так очаровала его, казалась ему такой соблазнительной — и действительно была соблазнительной, — что он не смел надеяться когда-нибудь добиться ее благосклонности. А ведь до сих пор он добивался почти всего, стоило ему только действительно захотеть. Эта неуверенность придала его ухаживаниям щедрую и трогательную нежность. Восхищенный, терзаемый страстью, он не сводил с нее глаз. Он был готов обещать что угодно и отдать все на свете.

Ей льстило его восхищение, нравились сюрпризы и подарки, которыми он ее осыпал. Кроме того, она от души жалела его. В глубоких тайниках своего сердца она лелеяла идеал рослого, смелого юноши, каких изображают на олеографиях, голубоглазого, с белокурыми кудрями, с чудесным тенором и — тут она ничего не могла поделать, старалась отворачиваться и не думать об этом — с широкой грудью. С ним она мечтала покорять горные вершины. Так что, разумеется, она не могла выйти за-

муж за мистера Хармана. Поэтому она старалась быть доброй к нему, и когда он, запинаясь, бормотал, что, конечно, не может ей нравиться, она отвечала ему неопределенно, отчего в нем вспыхивала безрассудная надежда, а у нее оставалось такое чувство, будто она что-то пообещала. Однажды между двумя партиями в теннис — играл он довольно ловко и искусно — он сказал ей, что величайшим счастьем его жизни было бы умереть у ее ног. Ее жалость к нему и чувство моральной ответственности вдруг выросли до того, что не на шутку затмили мечту о голубоглазом герое.

И вот сначала намеками, а потом настойчиво и со слезами в голосе Харман стал умолять ее выйти за него замуж. Она еще никогда в жизни не видела, чтобы взрослый человек чуть не плакал. Она чувствовала, что столь глубокое потрясение необходимо предотвратить любой ценой. Чувствовала, что простая школьница, вроде нее, которая к тому же плохо учится и так и не одолела квадратные уравнения, не вправе быть причиной столь тяжких и трагических переживаний. Она была уверена, что директриса не одобрила бы ее поведения.

— Я сделаю вас королевой, — сказал Харман, — я всей своей жизнью пожертвую ради вашего счастья.

И она ему поверила.

Во второй раз она отказала ему уже не так решительно в маленькой белой беседке, откуда меж зелеными лесистыми горами было видно море. Когда он ушел, она осталась сидеть, глядя на море, и слезы туманили ей глаза; он был так жалок. Бедняга изо всех сил ударил обоими кулаками по каменному столику, потом схватил ее руку, поцеловал и выбежал из беседки... Она и не подозревала, что любовь может причинять такие страдания.

И всю ночь, то есть целый час, прежде чем ее мокрые ресницы смежил сон, она не могла уснуть от раскаяния, что заставляет его страдать.

А когда он в третий раз с самоубийственной убежденностью сказал, что не может жить без нее, она разразилась слезами и уступила, и тут он с быстротой голодной пантеры жадно схватил ее в объятия и поцеловал в губы...

Свадьбу отпраздновали с необычайной пышностью: самый дорогой оркестр, фотографии в иллюстрированных газетах, великолепный, блестящий кортеж. Жених был необычайно предупредителен и щедр к Собриджам. Только одно казалось несколько странным. Несмотря на все свое пылкое нетерпение, он медлил со свадьбой. С необычайной таинственностью, с какими-то непонятными намеками, он отложил свадьбу на целых двадцать пять дней, и ее отпраздновали, как только был опубликован список юбилейных наград. И тогда они все поняли.

— Вы будете леди Харман, — сказал он, ликуя. — Да, леди Харман! Я дал бы им за это и вдвое больше... Пришлось субсидировать газету «Старая Англия», но наплевать. Я на все был готов. Я купил бы этот грязный листок вместе со всеми потрохами... Леди Харман!

Он оставался в роли влюбленного до самого кануна свадьбы. А потом ей вдруг показалось, что все, кого она любила, отталкивают ее, толкают к нему, предают, покидают. Он стал смотреть на нее, как на свою собственность. Его смирение сменилось гордостью. Она поняла, что будет с ним чудовищно одинока, как будто сошла с террасы, ожидая ступить на твердую землю, и вдруг провалилась глубоко в воду.

И, не успев оправиться от удивления и еще сомневаясь, хочется ли ей идти дальше в этом деле, которое обещало стать куда более серьезным — несонизмеримо более серьезным, чем все, что она переживала раньше, и неприятным, полным тяжких унижений и душевных травм, — она узнала, что скоро станет странным, взрослым, обремененным заботами существом, станет матерью, что детство, и юность, и увлекательные игры, и горы, и плаванье, и беготня, и прыжки — все это осталось далеко позади...

Обе будущие бабушки стали к ней удивительно ласковы, внимательны и нежны, с радостью и приятным чувством ответственности готовясь к рождению ребенка, который снова должен был принести им все радости материнства без связанных с этим неудобств.

МИР В ПРЕДСТАВЛЕНИИ СЭРА АЙЗЕКА

1

Выйдя замуж, Эллен из тесного мирка дома и школы попала в другой мир, который поначалу казался гораздо больше, но лишь потому, что в нем она была избавлена от постоянной мелочной экономии. Прежде из-за необходимости экономить жизнь была полна досадных ограничений, и это подрезало крылья всякой мечте. Новая жизнь, в которую сэр Айзек ввел ее за руку, обещала не только освобождение от этого, но больше света, красок, движения, людей. По крайней мере хоть эту награду она заслужила за свою жалость к нему.

Оказалось, что дом в Путни-хилл уже приготовлен. Сэр Айзек даже не посоветовался с ней, это была его тайна, он приготовил дом вплоть до последних мелочей, желая сделать ей сюрприз. Они вернулись после медового месяца, проведенного на острове Скай, где заботы сэра Айзека и комфорт первоклассного отеля совершенно заслонили чудесные темные горы и сверкающий простор моря. Сэр Айзек был очень нежен, внимателен, не отходил от нее ни на шаг, а она изо всех сил старалась скрыть странную, душераздирающую тоску, от которой нестерпимо хотелось рыдать. Сэр Айзек был воплощением доброты, но как теперь она жаждала одиночества! Вернувшись в Лондон, Эллен была уверена, что они едут в дом его матери, в Хайбэри. И она думала, что ему часто придется уезжать по делам, пусть даже не на весь день, и тогда она сможет забиться куда-нибудь в уголок и поразмыслить обо всем, что случилось с ней в это короткое лето.

На Юстонском вокзале их ждал автомобиль.

— Домой, — с легким волнением сказал сэр Айзек шоферу, когда самые необходимые вещи были уложены.

Когда они ехали через суетливый Вест-Энд, Эллен заметила, что он насвистывает сквозь зубы. Это было верным знаком того, что он о чем-то напряженно думает, и она перестала глазеть на толпу покупателей и пешеходов на Пикадилли, почувствовав какую-то связь

между этим тревожным признаком и тем, что они явно едут на запад.

— Но ведь это же Найтсбридж,— сказала она.

— А там, дальше, Кенсингтон,— отозвался он с нарочитым безразличием.

— Но твоя мать живет совсем в другой стороне.

— А мы живем здесь,— сказал сэр Айзек, сияя.

— Но... — Она запнулась. — Айзек! Куда мы едем?

— Домой,— ответил он.

— Ты снял дом?

— Купил.

— Но... ведь он не готов!

— Я об этом позаботился.

— А как же прислуга! — воскликнула она в растерянности.

— Не беспокойся.— На его лице появилась торжествующая улыбка. Маленькие глазки возбужденно блестя.— Все готово.

— Но прислуга! — повторила она.

— А вот увидишь,— сказал он.— У нас есть дворецкий... И все остальное тоже.

— Дворецкий!

Он больше не мог сдерживаться.

— Я давно начал его готовить,— сказал он.— Уже не один месяц... Этот дом... Я пригладел еще до того, как встретился с тобой. Это очень хороший дом, Элли...

Счастливая молодая жена, совсем еще девочка, проехала через Бромтон до самого Уолэм-Грина и никак не могла прийти в себя. Такое чувство, должно быть, испытывали некогда женщины, трясясь в двуколках. Перед глазами у нее мелькали кошмарные видения — дворецкий, целый сонм дворецких.

Трудно было представить себе что-либо более огромное и величественное, чем Снэгсби, встретивший ее на пороге дома, который муж так неожиданно ей подарил.

Читатель уже побывал в этом доме вместе с леди Бич-Мандарин. На верхней ступеньке стояла миссис Крамбл, кухарка и экономка с прекрасными рекомендациями, в лучшем своем черном шелковом платье с оборками, а из-за ее спины выглядывали несколько скромных девиц в чепцах и фартуках. Появился шуплый лакей и, чтобы быть ровень со Снэгсби, встал на две ступеньки выше

дворецкого по другую сторону викторианского крыльца, сделанного в средневековом духе.

Почтительно сопровождаемый Снэгсби, рядом с которым беспомощно суетился лакей, сэр Айзек помог жене выйти из автомобиля.

— Все в порядке, Снэгсби? — спросил он с живостью и едва перевел дух.

— В полном порядке, сэр Айзек.

— Так... Вот ваша хозяйка.

— Надеюсь, миледи прибыла-с в свой новый дом благополучно-с. Да будет мне позволено сказать, сэр Айзек, что все мы счастливы служить-с миледи.

(Как все хорошо вышколенные слуги, Снэгсби старался как можно чаще вставлять «с», обращаясь к господам. Делал он это в знак почтения и для того, чтобы гости по ошибке не приняли его за равного, так же как неизменно носил фрак не по росту и складки на брюках не спереди, а по бокам).

Леди Харман смущенно наклонила голову в ответ на это приветствие, а потом сэр Айзек подвел ее к одетой в узкое шелковое платье миссис Крамбл, которая смиренно и почтительно присела перед своей новой госпожой.

— Я надеюсь, миледи... — сказала она. — Надеюсь...

Наступило короткое молчание.

— Вот видишь, вся прислуга тут как тут, — сказал сэр Айзек и вдруг спохватился: — Чай готов, Снэгсби?

Снэгсби, обращаясь к хозяйке, осведомился, куда подать чай: в сад или в гостиную, и сэр Айзек решил, что лучше в сад.

— Там, дальше, еще один зал, — сказал он и взял жену за руку, оставив миссис Крамбл в почтительном поклоне у стола в прихожей. Всякий раз, как она приседала, шелка ее громко шелестели...

— А сад очень большой, — сказал сэр Айзек.

2

И вот женщина, которая еще три недели назад была девочкой, высокая, темноглазая, слегка смущенная и совсем юная, вошла в приготовленный для нее дом. Она ходила по этому дому со странным и тревожным чув-

ством ответственности, совсем не радуясь подарку. А сэр Айзек, гордый и довольный новой собственностью, ликуя и ожидая благодарности, потому что и у него это был первый собственный дом, вел ее из комнаты в комнату.

— Тебе ведь нравится? — спрашивал он, заглядывая ей в глаза.

— Замечательно. Я не ожидала...

— Смотри, — сказал он, показывая ей на лестничной площадке большую медную вазу с неувядаемыми гелиотропами. — Твои любимые цветы!

— Мои любимые?

— Ты так написала, помнишь, в альбоме. Это неувядаемые гелиотропы.

Она удивилась, но тут же вспомнила.

Теперь она поняла, почему внизу, когда она взглянула на увеличенную фотографию доктора Барнардо¹, он сказал: «Твой любимый герой из современников».

Однажды он привез ей в Хайт очень модный в викторианские времена альбом, в котором на красивой розовой страничке была напечатана анкета — любимый писатель, любимый цветок, любимый цвет, любимый герой из современников, «самое нелюбимое» и еще множество всяких подробностей, касавшихся вкуса. Она заполнила эту страницу как попало поздней ночью и теперь была смущена, увидев, как тщательно ее небрежные ответы воплощены в жизнь здесь, в этом новом доме. Она написала, что ее любимый цвет розовый, потому что страничка была розовая, и вот обои в комнате были бледно-розовые, занавеси ярко-розовые с розовым же, чуть менее ярким, узором и большими розовыми кистями, абажур, покрывало на постели, наволочки, ковер, стулья, даже глиняная посуда, все, кроме вездесущих гелиотропов, было розовое. Увидев это, она поняла, что из всех цветов розовый меньше всего подходит для спальни. Она почувствовала, что отныне ей суждено жить среди гаммы оттенков от цвета сильно недожаренной баранины до семги. Она написала, что ее любимые композиторы Бах и Бетховен; так оно и было, в результате чего появился бюст Бетховена, но доктора Барнардо она сделала своим любимым героем потому, что его фамилия тоже начиналась на Б и она

¹ Барнардо, Томас (1845—1905)—английский филантроп,

слышала от кого-то, что он превосходный человек. Задумчивое, но не слишком приятное лицо Джордж Элиот¹ у нее в спальне и полное собрание сочинений этой дамы в роскошных тисненых переплетках из розовой кожи были результатом столь же опрометчивого выбора любимого писателя. Она написала также, что Нельсон — ее любимая историческая личность, но сэр Айзек из ревности деликатно представил в своем доме этого замечательного, но, увы, далеко не высоконравственного героя лишь гравюрой с изображением битвы при Копенгагене².

Она стояла, оглядывая комнату, а муж выжидательно смотрел на нее. Он чувствовал, что наконец-то произвел на нее впечатление!..

Конечно, она никогда в жизни не видела такой спальни. Комната была огромна даже по сравнению с самыми большими номерами в отелях, где они жили; здесь были письменные столики, изящная этажерка для книг, стыдливо-розовая кушетка, туалетный столик, бюро, ярко-розовая ширма и три больших окна. Она вспомнила свою тесную спальню в Пендже, которая ее вполне устраивала. Вспомнила свои немногие книги, несколько фотографий — даже если бы она осмелилась их привезти, они были бы здесь не к месту.

— А тут, — сказал сэр Айзек, распахивая белую дверь, — твой будуар.

Ей бросилась в глаза огромная белая ванна, уставленная на мраморной плите под окном из матового стекла с розовыми пятнами, и кафельный пол, устланный пушистыми белыми коврами.

— А вот, — сказал он, отворяя незаметную, оклеенную теми же обоями, что и стены, дверь, — моя комната. — Да, — сказал он, отвечая на ее немой вопрос, — там моя спальня. А здесь твоя, отдельно. Так теперь принято у людей нашего круга... но дверь не запирается.

Он медленно прикрыл дверь и окинул самодовольным взглядом все это созданное им великолепие.

¹ Джордж Элиот — псевдоним английской писательницы Мэри Энн Эванс.

² В 1801 г. английский адмирал Нельсон во время военных действий против союза северных держав разрушил канонадой значительную часть Копенгагена.

— Хорошо? — сказал он. — Правда?..

И, повернувшись к ней, к жемчужине, для которой была приготовлена эта шкатулка, обнял ее. Его рука все крепче сжимала ее талию.

— Поцелуй меня, Элли, — прошептал он.

В это мгновение гонг, вполне достойный Снэгсби, призвал их к чаю. Громкий удар прозвучал надменно и требовательно, не допуская возражений. Он был властный, как трубный глас, но еще более внушительный.. Наступило неловкое молчание.

— Я не умывалась с дороги, — сказала она, освобождаясь из его объятий. — И потом нас зовут к чаю.

3

С той же поразительной способностью самолично распоряжаться всем, вплоть до мелочей, с которой сэр Айзек освободил жену от необходимости обставлять дом, он, когда появились дети, по сути дела, отстранил ее от беспокойства о них и об устройстве детской. Он ходил с озабоченным видом, насвистывая сквозь зубы, выслушивал советы знающих людей и проектировал идеальную детскую, причем мать его и теща превратились в некие кладези неизреченной мудрости и предусмотрительности. И в довершение к этому все было окончательно обезличено распоряжениями мисс Крамп, необычайно сведущей и дорогой няньки, чье пришествие имело место еще до рождения первого ребенка — непосредственно перед этим она нянчила одного маленького виконта. При таком сосредоточении лучших умов леди Харман предпочла как можно меньше думать о неизбежном будущем, сулившем ей, как она теперь поняла, новые неприятности, которые со временем станут просто нестерпимы. Лето обещало быть теплым, и сэр Айзек в ожидании великого события снял меблированный дом в горах близ Торки. Материнский инстинкт не возникает сам собой, по мановению волшебной палочки, его надо разбудить и развить, и я не верю, что леди Харман чем-либо хуже других женщин, если она, увидев наконец свою новорожденную дочь в руках у няnek, застонала и едва не лишилась чувств.

— Ах! Пожалуйста, унесите ее! Унесите! Куда угодно, только унесите.

Девочка, вся красная и сморщенная, как старушка, едва только переставала плакать и закрывала рот, становилась поразительно похожа на отца. Это сходство сгладилось через несколько дней, исчез и темно-рыжий цвет волос, но еще долгое время, после того как она стала самым обыкновенным милым ребенком, в душе у леди Харман оставалась тайная неприязнь.

4

Первые годы супружества были самым счастливым временем в жизни сэра Айзека.

У него было все, чего только может желать мужчина. Когда он женился, ему едва перевалило за сорок; он достиг руководящего положения в кондитерском производстве и в управлении дешевыми кафе, получил титул, обставил дом по своему вкусу, у него была молодая красавица жена, а вскоре родились очаровательные дети, похожие на него; и лишь через несколько лет безмятежного блаженства, едва веря этому, он обнаружил в своей жене нечто, очень похожее на неудовлетворенность судьбой и угрожавшее разрушить всю красоту и удобство его жизни.

Сэр Айзек был из тех людей, какими так гордится современная Англия, человек непритязательный, целиком посвятивший себя делу, от которого его не отвлекали никакие эстетические или духовные интересы. Он был единственным сыном вдовы банкрота, владевшего некогда паровой мельницей, слабым и болезненным мальчиком, которого ей нелегко было вырастить. В шестнадцать лет он бросил учение в колледже мистера Гэмбарда в Илинге, едва сдав экзамены за второй курс педагогического отделения, и поступил в контору чайной компании клерком без жалованья; но вскоре перешел оттуда в крупное объединение столовых и кафе. Он выслужился перед хозяевами, предлагая разные способы экономии, и, когда ему не исполнилось и двадцати двух лет, уже получал в год двести пятьдесят фунтов. Многие юноши удовлетворились бы таким быстрым продвижением по

службе и стали бы предаваться развлечениям, которые теперь считаются столь простительными молодости, но молодой Харман был сделан не из того теста,— успех только подхлестнул его энергию. Несколько лет он ухитрялся откладывать значительную часть своего жалованья и, когда ему исполнилось двадцать семь, основал совместно с мукомольной фирмой «Международную хлеботорговую и кондитерскую компанию», которая вскоре открыла филиалы по всей стране. Она ни в каком смысле слова не была «международной», но из всех дутых и надувательских названий это слово показалось ему самым подходящим, и успех дела оправдал его выбор. Задуманная первоначально как синдикат кондитерских фабрик, выпускающих особый сдобный и питательный хлеб, витаминизированный в отличие от обычных сортов, компания почти сразу создала сеть кафе, и в скором времени в Лондоне и в центральных графствах почти не осталось мест, куда «Международная компания» не поставляла бы служащим к завтраку пшеничные лепешки, вареные яйца, чай, кофе или лимонад. Все это далось Айзеку Харману нелегко. У него на лице появились морщины, нос, и без того острый, заострился еще больше, в волосах появилась проседь, а у тонких губ залегли жесткие складки. Все свое время он отдавал делу, сам входя в каждую мелочь: осматривал помещения, подбирал и увольнял управляющих, составлял инструкцию и устанавливал размеры штрафов для растущей армии своих служащих, вносил новые усовершенствования в главной конторе и пекарне, изыскивал все более и более дешевых поставщиков яиц, муки, молока и свинины, обдумывал рекламу и расширял сеть агентов. Он был охвачен своего рода вдохновением; он ссутулился и осунулся, ходил, насвистывая сквозь зубы, подсчитывал и прикидывал, гордясь тем, что он не просто преуспевает, но преуспевает как нельзя лучше. И, разумеется, ни один хлеботорговец, который действовал недостаточно энергично, или не был скуп, или, обладая более широкими интересами, думал не только о своей торговле, а обо всей стране, о нации или же о каких-нибудь глубоких тайнах жизни, не мог с ним соперничать. Он боролся со всеми соблазнами — до женитьбы ни одна живая душа даже не заподозрила бы, что он вообще подвержен каким-либо

соблазнам и увлекается чем бы то ни было, кроме деловых операций,— и с незаметной решимостью избавился от всего, что могло его отвлечь; даже в политике его склонность к радикализму объяснялась главным образом досадой на преимущества, которые закон предоставлял домовладельцам,— это было естественно для человека, которому сплошь и рядом приходится арендовать помещения.

В школе сэр Айзек способностями не блистал; привычка пускать крикетные мячи понижу, из-под руки, и пристрастие к крученым мячам скорее повредили ему в глазах соучеников, чем пошли на пользу; он избегал драк и неприятностей, а когда все-таки приходилось защищаться, наносил сильный удар своим белым кулаком, который он сжимал как-то по-особому. Он всегда был равнодушен к изяществу стиля, которое средний англичанин так ценит если не в искусстве, то по крайней мере в драке; прежде всего он стремился к обеспеченности, а достигнув этого,— к обогащению. С возрастом эти его склонности стали еще заметней. Когда он для укрепления здоровья стал играть в теннис, то сразу усвоил грубую подачу, на которую хотелось ответить пощечиной; он развил в себе точность удара, и его ответные мячи у самой сетки были просто убийственны. Он был не способен понять, что в игре могут быть еще какие-то неписанные обычаи, кроме тех, которые ясно предусмотрены правилами, и точно так же в жизни не признавал ничего, кроме буквы закона. Быть щедрым, например, значило для него попросту купить человека, уплатив ему деньги в виде подарка, без расписок и официальных обязательств.

При таком складе души взгляды сэра Айзека на брачные отношения были, разумеется, простыми и строгими. Он знал, что за женщиной надо ухаживать, чтобы ее покорить, но уж когда она покорена, делу конец. Тут уж он и помыслить не мог ни о каком ухаживании. Она капитулировала, и сделка состоялась. Конечно, он должен ее кормить, одевать, быть с ней ласковым, внешне уважать ее достоинство и права хозяйки, а взамен вправе пользоваться всеми преимуществами и неограниченной властью над ней. Такова, как известно, супружеская жизнь по существующим обычаям, если при заключении брака не предусмотрены особые условия и

у жены нет собственного состояния. Иными словами, такова супружеская жизнь в девяноста девяти случаях из ста. И сэр Айзек возмущался бы—и действительно возмущался,—если бы кто-нибудь предложил хоть в малейшей степени пересмотреть столь выгодный порядок. Он был убежден в своих благих намерениях и искренне хотел сделать свою жену счастливейшей женщиной в мире, ограниченной лишь разумными рамками и общими правилами благопристойности.

Никогда еще он ни о ком и ни о чем так не заботился, как о ней,—даже о своей «Международной компании». Он не мог на нее налюбоваться. Отрывался ради нее от дела. С самого начала он решил окружить ее роскошью, предвосхищать каждое ее желание. Даже ее мать и Джорджина, которые казались ему совсем лишними в доме, были у них частыми гостями. Он так опекал ее, что даже с врачом она должна была советоваться в его присутствии. Он купил ей жемчужное ожерелье, стоившее шестьсот фунтов. Право же, он был одним из тех идеальных мужей, которые становятся так редки в нашу эпоху общего упадка.

Круг светских знакомств, в который сэр Айзек ввел свою жену, был невелик. После банкротства отца почти все друзья, как это бывает, отвернулись от его матери; он ни с кем не искал дружбы, знал только своих соучеников, а окончив школу, с головой ушел в дела и водил знакомство лишь с немногими. Когда его дела пошли в гору, снова появились всякие двоюродные братья и сестры, но миссис Харман, жившая в уютном домике в Хайбэри, принимала их знаки внимания с вполне оправданной холодностью. Он поддерживал главным образом деловые связи,—эти-то люди со своими семьями и составляли центр того нового мира, куда он постепенно, не торопясь, ввел Эллен. Соседей было довольно много, но Путни теперь настолько слился с Лондоном, что провинциальный обычай наносить визиты по-соседски почти не соблюдался и едва ли мог расширить круг друзей человека, недавно там поселившегося.

В то время, как сэр Айзек женился, больше всего оснований считаться его ближайшим другом имел, пожалуй, мистер Чартерсон. Познакомились они на почве торговли сахаром. Чартерсон был шафером на свадьбе,

и новоиспеченный баронет питал к нему чувство, очень похожее на восхищение. К тому же у мистера Чартерсона были очень большие уши — левое достигало просто необычайных размеров — и предлинны верхние зубы, которые были видны, как ни старался он спрятать их под экстравагантными усами, и хриплый голос; все это очень успокоило ревнивые опасения, столь естественные для молодожена. И, помимо всего прочего, мистер Чартерсон был как нельзя более удачно женат на крупной, очень ревливой и предприимчивой смуглой женщине и имел роскошный дом в Белгравии. Он не был всем обязан самому себе в такой степени, как сэр Айзек, но все же в достаточной степени, чтобы горячо желать упрочить свое положение в свете и вообще интересоваться способами упрочить общественное положение, так что именно благодаря ему сэр Айзек впервые узнал, что, расширяя дело, невозможно обойтись без политики.

— Я стою за парламент, — сказал Чартерсон. — Ведь сахар — это тоже политика, а я занимаюсь сахаром. Советую и вам примкнуть, Харман. Если мы не будем держать ухо востро, эти молодчики затеют всякие махинации с сахаром. И не только с сахаром, Харман!

После настоятельной просьбы объяснить, в чем дело, он сказал, что готовится вмешательство в условия найма служащих и «всего можно ждать».

— И кроме того, — сказал мистер Чартерсон, — таким людям, как мы, Харман, вернее всего рассчитывать на провинцию. Мы приобретаем вес. Надо и нам делать свое дело. Не вижу смысла отдавать все на откуп мелким хозяевам и юристам. Такие люди, как мы, должны заявить о себе. Нам нужно деловое правительство. Конечно, за это придется платить. Но если я буду иметь возможность заказывать музыку, то не прочь и заплатить кое-что музыканту. А не то они начнут совать нос в торговлю... Пойдет всякое там социальное законодательство. И то, что вы на днях говорили про аренду...

— Я болтать не обучен, — сказал Харман. — Ума не приложу, как это я стану трепать языком в парламенте.

— Да я вовсе и не говорю, что надо быть членом парламента, — возразил Чартерсон. — Это не обязательно. Но вступите в нашу партию, заявите о себе.

Чартерсон убедил Хармана вступить в Национальный клуб либералов, а потом и в клуб «Клаймакс», и через Чартерсона он узнал кое-что о внутренних пружинах и сделках, которые так помогают великой исторической партии сохранять единство и жизнеспособность. Некоторое время он был под сильным влиянием закоренелого радикализма Чартерсона, но вскоре стал лучше разбираться в этой увлекательной игре и избрал собственную линию. Чартерсон жаждал попасть в парламент и добился своего; его первая речь, посвященная поощрительному субсидированию сахарной торговли, снискала похвалу мистера Ившэма; а Харман, который скорее согласился бы пилотировать моноплан, чем выступить в парламенте, предпочел быть одной из тех молчаливых влиятельных сил, которые действуют вне нашего высшего органа управления. Каждую неделю он помогал кому-нибудь из либералов, оказавшихся в стесненных обстоятельствах, а потом, во время кризиса на Флит-стрит¹, почти целиком взял на себя субсидирование газеты «Старая Англия», партийного органа, имевшего такое важное общественное и моральное значение. После этого он без особого труда получил титул баронета.

Эти успехи на политическом поприще изменили нерегулярную до тех пор светскую жизнь Хармана. До получения титула и женитьбы сэр Айзек, в соответствии со своими политическими интересами, бывал на разных публичных банкетах и кулуарных приемах в здании парламента и в других местах, но с появлением леди Харман он стал ощущать поползновения со стороны тех, кто поддерживает светскую жизнь великой либеральной партии в состоянии лихорадочной скуки. Горацио Бленкер, редактор газеты сэра Айзека, предложил свои услуги в светских делах, и после того, как миссис Бленкер нанесла леди Харман визит, во время которого поучала ее светской премудрости, Бленкеры устроили небольшой обед, дабы ввести молодую супругу сэра Хармана в великий мир политики. Этот первый званый обед в ее жизни скорее ослепил ее, чем доставил ей подлинное удовольствие.

¹ Улица в Лондоне, где расположены редакции крупнейших газет,

В ту самую минуту, когда она стояла перед зеркалом в своем белом, расшитом золотом платье, готовая ехать к Бленкерам, муж преподнес ей жемчужное ожерелье стоимостью в шестьсот фунтов, но, несмотря на это, она чувствовала себя худенькой девочкой с обнаженными руками и шеей. Ей приходилось снова и снова, опуская глаза, смотреть на это платье и на свои сверкающие белизной руки, чтобы напомнить себе, что она уже не девочка в школьной форме, которую любая из взрослых женщин в любой миг может отослать спать. Она немного беспокоилась из-за всяких мелочей, но на обеде не было ничего странного или затруднительного, кроме икры, к которой она сначала не притрагивалась, дожидаясь, пока не начнут другие. К великому ее облегчению приехали Чартерсоны, а обилие цветов на столе служило ей как бы защитой. Мужчина, сидевший справа от нее, был очень мил, очень разговорчив и, очевидно, совершенно глух, так что ей достаточно было просто придавать своему лицу вежливое и внимательное выражение. Он обращался почти исключительно к ней и описывал красоты Маркена и Вальхерена¹. А мистер Бленкер, деликатно учитывая ревнивый характер сэра Айзека и свою собственную привлекательность, обращался к ней всего три раза и при этом ни разу за весь обед не взглянул на нее.

Через несколько недель они поехали на обед к Чартерсонам, а потом леди Харман сама дала обед, весьма искусно устроенный сэром Айзеком, Снэгсби и кухаркой-экономкой, при незначительной помощи со стороны; а потом был большой прием у леди Барлипаунд, где собралось многочисленное и пестрое общество, причем люди явно богатые перемежались с людьми явно добродетельными и далеко не столь явно умными. На этом сборище было полным-полно всяких Бленкеров, Крэмптонов, Уэстон-Мэссингэев и Дейтонов, здесь была миссис Миллингем с лорнетом в дрожащих руках и со своим последним ручным гением, и Льюис, и многое множество акул и головастиков либерализма, которые были ужасно оживлены, высокомерны и весь вечер важничали. Дом поразил Эллен своим блеском, особенно величественна была широкая лестница, и никогда еще она не видела

¹ Острова у берегов Голландии,

столько людей во фраках и вечерних платьях. Это могло показаться приятным сном — внизу, в раззолоченной гостиной, около лестницы леди Барлипаунд пожимала руки всем подряд, миссис Блэптон с дочерью утрашающе прошелестели платьями и вмиг исчезли, множество блистательных, темноглазых, элегантно одетых красавиц, собравшись кучками, чему-то громко, но загадочно смеялись. Всякие Бленкеры так и мелькали повсюду, причем Горацио, большой, округлый, со своим звучным тенором, особенно походил на распорядителя в универсальном магазине, препровождающего покупателей в различные отделы: чувствовалось, что он сплетает все эти пестрые нити в одну великую и важную либеральную ткань и заслужил от партии самые высокие почести; он даже представил леди Харман человек пять или шесть, сурово глядя поверх ее головы, так как не хотел пускать в ход свои чары, щадя чувства сэра Айзека. Люди, которых он к ней подвел, показались ей не очень интересными, но, возможно, здесь виновато было ее вопиющее невежество в политических делах.

В апреле леди Харман перестала кружиться в водовороте лондонского общества, а в июне переехала с матерью и опытной кормилицей в прекрасный меблированный дом, который сэр Айзек снял близ Торки, и стала готовиться к рождению своей первой дочери.

5

Муж считал, что с ее стороны глупо и неблагодарно плакать и капризничать после того, как он на ней женился, а она несколько месяцев именно это и делала, но его мать объяснила, что в состоянии Элен это совершенно естественно и простительно, так что он стал скрывать свое нетерпение, и вскоре его жене удалось, взяв себя в руки, начать вновь приспособливаться к миру, который одно время, казалось, настолько весь перевернулся, что в нем невозможно стало жить. Выйдя замуж, она как бы остановилась в своем росте, а теперь снова начала взрослеть; и если школьные годы ее быстро кончились, а в колледже ей и совсем не пришлось учиться, зато у нее теперь был немалый опыт, который мог заменить сравнение, столь необходимое в наше время.

В первые три года супружества появились на свет три девочки, потом, после короткого перерыва,— четвертая, которая была гораздо слабее здоровьем, чем старшие, и наконец после долгих разговоров, которые вели с ней шепотом мать и свекровь, деликатных порицаний и разъяснений пожилого, уважаемого домашнего врача и потрясающе смелых высказываний старшей сестры (которые она не раз выпаливала за столом, едва Снэгсби успевал закрыть за собой дверь!), этот период плодородия кончился...

Тем временем леди Харман пристрастилась к чтению и стала задумываться над тем, что читала, а там уже оставался всего один шаг, чтобы задуматься над собой и над своей жизнью. Одно влечет за собой другое.

В жизни леди Харман главным был теперь сэр Айзек. Но когда она ясно осознала свое положение, ей стало казаться, что она живет, как в осажденном городе. Куда бы она ни повернулась, она сразу наталкивалась на него. Он завладел ею совершенно. Сначала она покорилась неизбежному, но потом, незаметно для себя самой, снова стала смотреть на огромный и многообразный мир, который был за ним и вне его, почти так же смело, как и до того времени, когда он встретился на ее пути и осадил ее со всех сторон. После первого приступа отчаяния она изо всех сил старалась соблюдать условия сделки, которую так непредусмотрительно заключила, быть любящей, преданной, верной, счастливой женой этому прижимистому, вечно задыхающемуся человечку, но он был ненапытен в своих требованиях, и это была не последняя причина, по которой она поняла, что все равно у нее ничего не выйдет.

Стяжатель и собственник, он оскорблял ее, покорную во всем, назойливыми подозрениями и ревностью,— ревность вызывало у него и ее детское преклонение перед умершим отцом и ее обыкновение ходить в церковь, он ревновал ее к Уордсворту, потому что она любила читать его сонеты, ревновал, потому что она любила классическую музыку, ревновал, когда она хотела куда-нибудь поехать; если она бывала холодна,— а она становилась все холоднее,— он тоже ревновал, а малейший проблеск страсти наполнял его низким и злобным страхом перед возможной изменой. И как ни стара-

лась она верить ему, от нее не могло укрыться, что его любовь была полнейшим торжеством собственничества и похоти, без доброты, без готовности пожертвовать собой. Все его обожание и самоотречение были просто вспышками страсти, нетерпеливого желания. И как ни старалась она закрыть глаза на эти свои открытия, какие-то силы внутри нее, первобытные силы, от которых зависела вся жизнь, заставляли ее вспоминать, что у него отталкивающее лицо, длинный, уродливый нос, тонкие, плотно сжатые губы, хилая шея, влажные руки, неуклюжие, нервные движения, привычка фальшиво насвистывать сквозь зубы. Она не могла забыть ни одной мелочи. На что бы она ни взглянула, отовсюду он лез в глаза, как его рекламы.

Когда она наконец стала зрелой женщиной, причем выросла и физически, так как прибавила почти дюйм в росте с тех пор, как вышла замуж, жизнь для нее все больше стала походить на фехтовальный поединок, в котором она старалась взглянуть поверх его головы, из-под его рук, то справа, то слева, а он всеми силами мешал ей. И от полнейшей супружеской покорности она почти незаметно, но неуклонно переходила к сознанию, что ее жизнь — это борьба, которую она, как ей поначалу казалось, вела против него в одиночку, без поддержки.

Во всяком романе, как во всякой картине, неизбежно упрощение, и я рассказываю о том, как изменялись взгляды леди Харман, без тех сложных скачков вперед или назад, резких перемен настроений и возвратов к прошлому, которые были неизбежны в развитии ее ума. Она часто металась, порой снова становилась покорной, безусловно верной и почтительной молодой женой, иногда же скрывала унижение несчастного брака, притворяясь довольной и счастливой. И надо ее понять — она все чаще осуждала и презирала его, но бывали и мгновения, когда этот неистовый человек ей искренне нравился, и в душе ее появлялись проблески нелепой материнской нежности к нему. Живя с ним бок о бок, нельзя было этого избежать. Она ведь тоже не была лишена собственнического чувства, свойственного всякой женщине, и ей неприятно было видеть, что им пренебрегают, или что он хуже других, или небрежно одет; даже

его жалкие грязные руки вызвали у нее забстливую жалость...

Но все время она пытливо присматривалась к окружающему миру, этому огромному фону, на котором проходили их две маленькие жизни, и думала о том, что может он дать ей сверх их супружеских отношений, которые так мало для нее значили.

6

Пытаться проследить, как идеи непокорства проникли в рай сэра Айзека, — это все равно что считать микробов в организме больного. Эпидемия носится в воздухе. В наше время нет Искусителя — нет, собственно говоря, и яблока. Непокорное начало стало неосязаемым, оно проникает всюду, как сквозняк, залетает и скапливается, как пыль, — это тот же Змей, только рассеянный повсюду. Сэр Айзек привез в свой дом молодую, красивую, полную радости и смущения Еву и, по своим понятиям, должен был стать счастливым навек. Одну опасность он хорошо знал, но был постоянно начеку. За шесть долгих лет она ни разу не разговаривала наедине с другим мужчиной. Но Мьюди и сэр Джесс Бут присылали ей посылки, которые он не проверял, приходила газета, и он ее предварительно не просматривал, акушерки, которые наставляли Эллен во всех женских делах, говорили о каком-то «движении». А тут еще Джорджина...

Все эти женщины уверяли, что добиваются «права голоса», но это пустое и бессмысленное требование было только зловещей маской. А под маской скрывалось смутное, но непреодолимое недовольство своей участью. Оно было устремлено... трудно было понять, куда именно, но, во всяком случае, все семейные человеческие инстинкты восставали против этого недовольства. Бурное брожение уже вылилось наружу, — были митинги, демонстрации, сцены в «Женской галерее» и что-то вроде бунта перед зданием парламента, когда сэр Айзек наконец понял, что это коснулось и его семьи. Он полагал, что все суфражистки — женщины вполне определенного возраста, красноносые, в очках, одетые по-мужски, которые только и мечтают попасть в объятия полисме-

нов. Один раз он уверенно и презрительно высказал это Чартерсону. Он и мысли не допускал, что есть женщины, которые не завидуют леди Харман. Но однажды, когда в доме гостили ее мать и сестра, он, разбирая по привычке почту за завтраком, вдруг обнаружил две одинаковые бандероли с газетами на имя его жены и свояченицы, и на них были крупно напечатаны слова: «Право голоса для женщин».

— Господи! — ахнул он. — Это еще что такое? У себя в доме я этого не потерплю.

И он швырнул газеты в корзину для бумаг.

— Я была бы вам весьма признательна, — сказала Джорджина, — если бы вы не выбрасывали «Право голоса». Мы подписались на эту газету.

— Как? — вскричал сэр Айзек.

— Да, подписались. Снэгсби, подайте газеты сюда. (Снэгсби оказался в затруднительном положении. Он вынул газеты из корзины и посмотрел на сэра Айзека.)

— Положите там, — сказал сэр Айзек, махнув рукой в сторону буфета, потом в наступившем молчании протянул теще два незначительных письма. Он был бледен и задыхался.

Снэгсби деликатно вышел. Сэр Айзек посмотрел ему вслед.

Потом он заговорил, подчеркнуто не обращая внимания на Джорджину.

— Что это ты, Элли, вздумала подписаться на такой вздор? — спросил он.

— Я хочу читать газету.

— Но не можешь же ты соглашаться с подобной чушью.

— Чушью? — повторила Джорджина, накладывая себе на блюдечко варенья.

— Ну дрянью, если вам так больше нравится, — буркнул сэр Айзек, сердито сопя.

Этим он, как потом выразился Снэгсби (ибо битва была так горяча, что еще продолжалась, когда тот через некоторое время вернулся в комнату), подлил масла в огонь. За столом у Харманов вспыхнул яростный спор и запылал, как лесной пожар. Он не угасал много недель, продолжая тлеть, хотя первое жаркое пламя померкло. Я не стану повторять все доводы, которые приводились с

обеих сторон, они были просто убийственны, и читатель, конечно, не раз их слышал, и на чью бы сторону он ни стал, едва ли его могут заинтересовать злобные выпады сэра Айзека и язвительные возражения Джорджины. Сэр Айзек спросил, согласны ли женщины служить в армии, на что Джорджина осведомилась, много ли лет он сам там прослужил, и ужаснула свою мать прозрачными намеками на муки и тяготы материнства, и так далее в том же духе. Снэгсби ловил каждое слово, а миссис Собридж никогда еще не проявляла столько светского искусства — она молчала, напускала на себя чопорность, деликатно, но безуспешно предлагала «перемнить тему», делала вид, что возмущена и сейчас уйдет. Но нас гораздо больше интересуют те отголоски этого замечательного спора, которые еще долго звучали в разговорах сэра Айзека с леди Харман после того, как Джорджина уехала. Однажды начав разговор о женской эмансипации, он уже не мог его оставить, и хотя Эллиен каждое свое замечание начинала словами: «Конечно, Джорджина заходит слишком далеко», — он сам постепенно толкал ее к крайностям. Разумеется, нападая на Джорджину, сэр Айзек выставил напоказ многие ее нелепости, но и Джорджина не раз выбивала почву из-под ног у сэра Айзека, и в результате их спор, как и большинство споров, не убеждал слушателя, а лишь заставлял задуматься. Леди Харман не согласилась ни с той, ни с другой стороной и стала самостоятельно исследовать огромные бреши, которые они пробили в ее простых и скромных девических представлениях. Вопрос, изначально поднятый в раю: «А почему нельзя?» — запал ей в голову, и она уже не могла от него отвязаться. Задавшись этим вопросом, человек должен распротиститься с наивностью. Все, что представлялось ей таинственным и непреложным, оказалось явным и сомнительным. Она все чаще стала читать, стремясь что-то узнать и понять, и все реже — просто для развлечения. В голове у нее рождались мысли, которые сначала казались дикими, потом — странными, но возможными, и наконец она привыкала к ним. И тревожное, неотвязное чувство ответственности неуклонно росло в ней.

Вы легко поймете это чувство ответственности, если испытывали его сами, — в противном случае понять его не

так-то просто. Дело в том, что если оно приходит вообще, то лишь в результате разочарования. Мне кажется, все дети начинают с того, что принимают общий порядок вещей, правильность общепринятых представлений как должное, и многие счастливы хоть тем, что никогда не перерастают это убеждение. Они сходят в могилу с твердой верой, что во всех несправедливостях и неурядицах жизни, в нелепостях политики, в строгости нравов, в бремени обычаев и капризах закона есть мудрость, и смысл, и справедливость,— они никогда не теряют веры в установленный порядок, которую унаследовали вместе с прочим домашним имуществом. Но все больше людей лишается этой уверенности; наступает просветление, как будто утро заглядывает в занавешенное окно комнаты, освещенной свечами. И вдруг оказывается, что приветливые огоньки, которые проникали во все уголки нашего мира,— это всего лишь коптящие и оплывающие свечи. За пределами, где, казалось, надежно хранятся незабываемые ценности, нет ничего, кроме бесконечного и равнодушного мира. Мудрость дарована нам, или же нет на свете мудрости; решимость дарована нам, или же нет на свете решимости. Это бремя каждый из нас несет в меру сил своих. Нам дан талант, и да не зароем мы его в землю.

7

Поскольку зашла речь о влияниях, побудивших леди Харман выйти из той покорности, к которой женщины более склонны, чем мужчины, можно сказать, что тут не последнее место занимали ее разговоры с Сьюзен Бэрнет,— эти разговоры отличались своеобразием и остротой, но вместе с тем были похожи на многие из тех толчков, щипков и уколов, которыми жизнь осыпала леди Харман, когда ум ее начал пробуждаться. Сьюзен Бэрнет приходила каждую весну, чтобы привести в порядок занавеси, мебель и чехлы; ее нашла миссис Крамбл — это была сильная, коренастая женщина с большими голубыми глазами, и ее подкупающая простота сразу понравилась леди Харман. В ее распоряжение предоставляли какую-нибудь из свободных комнат, где она с большой охотой — лишь бы не мешали кроить — изливала бурный поток слов, который не прерывался даже когда

рот у нее был набит булавками. И леди Харман проводила с Сьюзен Бэрнет целые часы, завидуя независимости этой молодой женщины, и с интересом, смешанным со страхом и восхищением, выслушивала рассказы Сьюзен, которая немало повидала за свою трудную и богатую приключениями жизнь.

Началось все с разговора о работе самой Сьюзен и вообще о жизни молодых женщин, работающих в обивочных мастерских, где одно время работала и Сьюзен, пока не поняла, что может иметь собственную «клиентуру». А жизнь у этих женщин была такая, что, слушая Сьюзен, леди Харман особенно остро чувствовала, какое комнатное, тепличное воспитание получила она сама.

— Неправильно это, — сказала Сьюзен, — что девушек посылают работать вместе с молодыми мужчинами в дома, где никто не живет. Мужчины, понятное дело, сразу начинают к ним приставать. Они, конечно, совладать с собой не могут, и, по правде сказать, многие девушки сами им на шею вешаются. Но и мужчины тоже хороши — бывает, так пристанут, что спасу нет. Меня с одним таким озорником часто работать посылали, он к тому же еще женатый был. Ох, и намаялась я с ним! Руки ему до крови кусала, покуда не отпустит. По мне женатые еще хуже холостых. Нахальной. Один раз я его так толкнула, что он крепко стукнулся головой об этажерку. У меня душа со страху в пятки ушла. А он говорит: «Ах ты, чертенок, я с тобой еще сквитаюсь...» Да чего там, меня, бывало, похуже обзывали... Конечно, порядочная девушка себя блюдет, но это нелегко и для некоторых соблазн...

— Мне кажется, — заметила леди Харман, — вы могли бы пожаловаться.

— Чудно, — сказала Сьюзен, — но я всегда считала, что девушка не должна жаловаться. Это дело только ее касается. Да и не так-то легко такое сказать... И хозяин не любит, чтоб его такими жалобами доносили... К тому же не всегда и разберешься, который из двоих виноват.

— Сколько же лет этим девушкам? — спросила леди Харман.

— Есть и такие, которым всего семнадцать или восемнадцать. Это уж смотря какая работа...

— Конечно, многим приходится потом выходить замуж...

Эта ужасная и очень живая картина происходящего в пустых домах не выходила у леди Харман из головы, особенно ее ужасало, когда она представляла себе, как строгая, смиренная, работающая Сьюзен Бэрнет кусает руки насильника. Она словно заглянула в бездну, где бурлит жизнь простых людей, в бездну, которую раньше не замечала, хотя она была прямо у нее под ногами. Сьюзен рассказала про этих людей несколько любовных историй, подлинных историй про горячую и честную любовь, и леди Харман, чье голодное воображение жаждало пищи, восхищалась и приходила в ужас. Сьюзен, видя ее интерес, стала рассказывать о мастерских, о сдельной работе и тайных любовных делах. Оказалось, что она, по сути дела, кормит семью; у нее была вечно больная мать, слабоумная сестра, не выходявшая из дому, брат в Южной Африке, который, правда, присылает деньги, да еще три маленьких сестренки. А отец... Про отца она на первых порах говорить избегала. Но вскоре леди Харман узнала кое-что о том времени в жизни Сьюзен, «когда никто из нас еще не начал зарабатывать деньги». Оказалось, что отец ее был добрым, умным, небогатым человеком, который попробовал открыть пекарню и кондитерскую в Уолтемстоу, — мать уже тогда была больна, многие из братьев и сестер рождались мертвыми.

— Сколько же вас было всего? — спросила леди Харман.

— Тринадцать. Отец часто смеялся и говорил, что у него чертова дюжина детей. Сначала родился Лука...

И Сьюзен, загибая пальцы, принялась перечислять библейские имена.

Ей удалось насчитать только двенадцать. Она задумалась, но потом вспомнила.

— Ах да! — воскликнула она. — Был еще Никодим. Он родился мертвым. Я всегда забываю бедняжку Никодима! А он был... какой же по счету? Шестой или седьмой? Седьмой, после Анны.

Она рассказала кое-что и об отце, но в его жизни, видимо, произошла какая-то катастрофа, о которой она

не хотела говорить. А леди Харман была слишком деликатна, чтобы расспрашивать об этом.

Но однажды Сьюзен разговорилась сама.

Она рассказала о том, как пошла работать, когда ей еще не было двенадцати лет.

— Но я думала, обязательное обучение...— сказала леди Харман.

— Пришлось просить комитет,— сказала Сьюзен,— да, пришлось просить их, чтоб разрешили мне пойти работать. Они там сидели за круглым столом в большой-пребольшой комнате и были все такие добрые, а один старик с длинной седой бородой — добрей всех. «Ты не бойся, девочка,— говорит.— Скажи нам, почему ты хочешь пойти работать?» «Ну,— говорю,— должен же кто-то зарабатывать»,— а они засмеялись так ласково, и все пошло как по маслу. Понимаете, это было после дознания по делу отца, и люди старались быть к нам добрыми. «Жаль, что все они не могут пойти работать вместо того, чтобы учиться всякому вздору,— сказал тот старик.— Научись хорошо работать, милая». И я научилась...

Она замолчала.

— После дознания по делу отца? — переспросила леди Харман.

Сьюзен, казалось, была рада случаю.

— Отец утонул,— сказала она.— Я вам про это еще не говорила. Он утонул в реке Ли. Мы с этим дознанием хлебнули горя, сраму-то было сколько. Открылись всякие подробности... Поэтому мы и переехали в Хаггерстон. Это было самое большое наше несчастье, хуже всего. Хуже, чем когда все вещи продали с молотка или когда у детей была скарлатина и пришлось все сжечь... Не люблю я говорить об этом. Ничего не могу с собой поделаться...

Сама не знаю, почему я вам все это рассказываю леди Харман, просто вот так, захотелось — и все. Кажется, я за столько лет еще слова про это никому не сказала, кроме самой своей близкой подруги, и она посоветовала мне почаще ходить в церковь. Но я всегда говорила и сейчас скажу: не верю я, что мой отец мог плохое сделать, не верю и никогда не поверю, что он покончил с собой. Не поверю, что он был пьян. Ума не

приложу, как он упал в реку, но уверена, что все было не так. Он был слабый человек, мой отец, не спорю. Но такого труженика свет не видал. Конечно, он отчаивался, но ведь и всякий бы отчаивался на его месте. Пекарня приносила одни убытки, часто мы по целым неделям мяса не видели, а потом появился один из этих «международных» и начал все продавать чуть не даром...

— Из «международных»?

— Да. Вы-то, я думаю, никогда о них и не слышали. Они все больше в бедных кварталах действуют. Теперь-то они торгуют чаем и закусками, но начали с булочных и делали вот что: открывали магазин и продавали хлеб по дешевке, покуда всех старых булочников не разорят. Вот как они делали, и отца прихлопнуло, как мышь в мышеловке. Все равно, будто машина раздавила. Тут мы вовсе в долгах запутались. Конечно, нельзя винить людей за то, что они идут туда, где дают больше, а платить надо меньше, но только когда мы уехали в Хаггерстон, цены сразу подскочили. Отец, конечно, места себе не находил. Совсем забросил свою пекарню, все сидел и печалился. Право слово, на него жалко было смотреть! Он глаз не мог сомкнуть, вставал по ночам и спускался вниз. Мать говорила, что один раз она застала его там в два часа ночи: он подметал пекарню. Забрал себе в голову, что это может его спасти. Но я никогда не поверю, что он по своей воле нас бросил. До смертного часа не поверю...

Леди Харман задумалась.

— А разве он не мог поступить куда-нибудь на работу, наняться пекарем?

— У кого была собственная пекарня, тому это не так-то просто. Ведь молодых-то сколько! Они знают все нынешние порядки. А кто имел свою пекарню да разорился, тот уж как пришибленный. Из-за этой компании работать стало ох как трудно. Все переменялось. Всем стало хуже...

Несколько секунд обе женщины, леди Харман и Сьюзен Бэрнет, молча думали о «Международной компании». Первой заговорила Сьюзен.

— Это неправильно, — сказала она. — Нельзя позволять одним людям разорять других. Это не честная тор-

говля, это вроде убийства. Нельзя это позволять. Откуда было отцу знать?..

— Но ведь конкуренция неизбежна,— сказала леди Харман.

— Какая же это конкуренция! — возразила Сьюзен.

— Но... кажется, они продают хлеб дешевле.

— Да, сначала. А потом, когда погубят человека, делают что хотят... Вот наш Люк — он такой, все напрямик говорит. Так вот он сказал, что это настоящая монополия. Но как жестоко таким способом убирать с дороги людей, которые хотят жить честно, порядочно и воспитать детей, как полагается!

— Да, пожалуй, вы правы,— сказала леди Харман.

— Что же было делать отцу?— сказала Сьюзен и снова занялась креслом сэра Айзека, от которого ее отвлек разговор.

И вдруг, не выдержав, воскликнула с возмущением:

— А теперь Элис должна работать у них и брать их деньги! Это для меня хуже смерти!

Все еще стоя на коленях перед креслом, она повернулась к леди Харман.

— Элис работает в одном из ихних кафе на Холбери-стрит официанткой, хоть я и старалась ее отговорить. С ума можно сойти, как об этом подумаешь. Сколько раз я ей говорила: «Элис, чем брать их грязные деньги, я бы лучше умерла с голоду под забором». А она работает! Говорит, что глупо с моей стороны помнить зло. И смеется надо мной! «Элис,— говорю я ей,— я удивляюсь, как это наш бедный покойный отец не встал из гроба, чтобы проклясть тебя». А она смеется. Говорит, что я злопамятная... Конечно, когда это случилось, она была еще совсем крошка. Она не может помнить так, как я...

Леди Харман задумалась.

— Так вы не знаете...— начала она, обращаясь к спине Сьюзен, прилежно согнутой над работой.— Не знаете, кому... кому принадлежат эти кафе?

— Кажется, какой-то компании,— сказала Сьюзен.— Но только, по-моему, это их не оправдывает, хоть они и компания...

В последние годы мы сильно расшатали строгость викторианского этикета, и все, от принцесс и жен премьер-министров до самых низших слоев, говорят теперь на темы, которые в девятнадцатом веке считались крайне неприличными. Но в то же время, пожалуй, есть и такие темы, которые стали считаться еще менее приличными, чем раньше, и прежде всего это разговоры об источниках доходов, всякие попытки хотя бы приблизительно выяснить: кто же в конечном счете отдает свое здоровье и силы, терпит нужду, чтобы вы могли делать что вздумается и жить в роскоши? Право, это чуть ли не единственное уцелевшее неприличие. Поэтому леди Харман даже наедине с собой не без тайного страха и смущения предавалась мыслям, которые пробудила в ней Сьюзен Бэрнет. Ей давным-давно внушили, и она привыкла считать, ни минуты не сомневаясь, что «Международная хлеботорговая и кондитерская компания» — это важный вклад в дело Прогресса и что сэр Айзек вне стен своего дома очень полезный и нужный человек, вполне заслуживший титул баронета. Она не особенно задумывалась над этим, полагая, что он каждый день на новой научной основе творит чудо с хлебами и рыбой, питая огромное множество людей, которые иначе остались бы голодными. Она знала также по рекламам, которые видела на каждом шагу, что этот хлеб готовится с соблюдением всех санитарных норм и необычайно полезен для здоровья; она видела на первых страницах «Дейли мессенджер» заголовки «Фауна мелких пекарен» и изображения *Blatta orientalis*, таракана обыкновенного, и знала, что сэр Айзек из пристрастия к чистоте начал в газете «Старая Англия» шумную и увенчанную успехом кампанию за введение новых правил и порядка инспектирования пекарен. И ей казалось, что, открывая повсеместно кафе, он чуть ли не занимается благотворительностью; сэр Айзек говорил, что булочки у него пышнее, порции масла больше, чайники красивей, ветчина изящней нарезана, пироги со свиной свежее, чем в закусочных других фирм. Она думала, что всякий раз, когда он засиживается до глубокой ночи, погруженный в планы и расчеты, или когда уезжает на целые дни в какой-нибудь

большой город — в Кардифф, в Глазго, в Дублин, или же когда он озабочен за обедом и задумчиво насвистывает сквозь зубы, он только и думает, как бы удешевить чай, какао и мучные изделия, поглощаемые нашими английскими юношами и девушками, которые каждый день выходят на улицы больших городов в поисках пищи. И она знала, что его поставки необходимы английской армии во время маневров...

Но разорение Бэрнетов «Международной компанией» портило всю картину, и, что замечательно, эта маленькая трагедия ни на мгновение не казалась леди Харман исключительным случаем в честной деятельности огромной фирмы. Она упорно представлялась ей как оборотная сторона медали.

Выходило так, словно она все время в душе сомневалась... Она не спала по ночам, убеждая себя, что случай с Бэрнетами был единственным печальным недосмотром, что стоит только сказать об этом сэру Айзеку, и он сразу все возместит...

И все же она ничего не сказала сэру Айзеку.

Но однажды утром, когда эти сомнения еще не улеглись в ее душе, сэр Айзек объявил, что он едет в Брайтон, а оттуда на автомобиле по побережью до Портсмута, где его сейчас не ожидают, чтобы посмотреть, как работает аппарат фирмы. Дома он, против обыкновения, ночевать не будет.

— Ты думаешь открыть новые филиалы, Айзек?

— Может быть, и открою в Арунделе, там посмотрим.

— Айзек...— Она помолчала, подыскивая слова.— Наверное, в Арунделе есть пекарни.

— Я ими займусь.

— Если ты откроешь там филиал... ведь тогда старым пекарням плохо придется?

— Это уж их забота,— сказал сэр Айзек.

— Разве это справедливо?

— Прогресс есть прогресс, Элли.

— По-моему, это несправедливо... Разве не милосерднее было бы взять старого хозяина к себе, сделать его компаньоном или чем-нибудь в этом роде?

Сэр Айзек покачал головой.

— Мне нужна молодежь,— сказал он.— Со стариками далеко не уедешь.

— Но ведь это так несправедливо... Наверное, у некоторых из этих маленьких людей, которых ты разоришь, есть семьи.

— Что-то ты сегодня философствуешь, Элли,— сказал сэр Айзек, поднимая голову от чашки с кофе.

— Я все думала... об этих маленьких людях.

— Кто-то наговорил тебе бог весть что о моих делах,— сказал сэр Айзек и поднял указательный палец.— Если это Джорджина...

— Нет, не Джорджина,— сказала леди Харман, прекрасно понимая, однако, что нельзя сказать ему, кто.

— Невозможно вести дело так, чтобы никто не страдал,— сказал сэр Айзек.— Нет ничего легче, чем опорочить любой растущий концерн. Есть люди, которые хотели бы всякое дело ограничить максимальным оборотом наличных средств и неизменной годовой прибылью. Ты, наверно, слышала о статьях в «Лондонском льве». Хорошенькое дело! Весь этот шум из-за мелких лавочников— просто новое вымогательство. Конечно, были неприятности с официантками, и всякие там выдумки насчет нормандских яиц и прочее, но тебе, по-моему, вовсе незачем читать все, что пишут против меня, и поднимать этот разговор за завтраком. Дело есть дело, у меня не благотворительное заведение, и хороши бы мы с тобой были, если б я не руководил концерном на деловой основе... Да ведь этот тип из «Лондонского льва» приходил ко мне с двумя первыми статьями, прежде чем их пустить. Стоило мне захотеть, и я живо замял бы эту историю. Надо было только купить последнюю страницу их паршивого журнальчика. Вот чего все это стоит. Суди сама. Да что говорить! Он просто вымогатель, вот и все. Много ему дела до моих официанток, для него главное — заработать. Скажите на милость: мелкие хозяева! Знаю я их! Хороши жертвы! Да любой из них, дай ему только волю, содрал бы три шкуры со всех остальных...

Сэр Айзек еще долго брюзжал. Он встал, подошел к камину и, расположившись поудобнее, стал отводить душу. Эта его неожиданная вспышка многое объяснила леди Харман. Он вышел из себя, потому что совесть у него была не чиста. И чем злобнее становились его излия-

ния, тем глубже задумывалась женщина, которая сидела за столом и внимательно его слушала...

Когда сэр Айзек наконец сел в автомобиль и уехал на вокзал Виктория, леди Харман позвала Снэгсби.

— Скажите, есть такой журнал «Лондонский лев»? — спросила она.

— Боюсь, что этот журнал вам не понравится, миледи, — ответила Снэгсби вежливо, но твердо.

— Знаю. Но мне он нужен. Все номера, где есть статьи про «Международную хлеботорговую компанию».

— Но они такие грубые, миледи, — сказал Снэгсби с убедительной улыбкой.

— Сейчас же поезжайте в Лондон и достаньте их.

Снэгсби поколебался и вышел. Через пять минут он вернулся с пачкой в кожаном переплете.

— Они были в буфетной, миледи, — сказал он. — Ума не приложу, как они туда попали; наверное, кто-нибудь их принес, но они в полном вашем распоряжении, миледи. — Он помолчал. Потом сказал с заговорщическим видом: — Боюсь, что сэр Айзек будет очень недоволен, если оставить их здесь, миледи, когда они будут вам уже не нужны.

Леди Харман приготовилась к неожиданным открытиям. Она сидела в своей комнате, отделанной розовым (ее любимый цвет), и читала резкие, злобные, грубо написанные, и все же коварно убедительные статьи о деловых методах своего мужа. И какой-то голос внутри нее шептал: «А разве раньше ты этого не знала?» Бесконечная уверенность, что ее богатство и положение были лишь плодом усердного и честного служения обществу, уверенность, которой она молчаливо утешалась в своей безрадостной супружеской верности, как-то вся съежилась и поблекла. Без сомнения, автор статей был низкий вымогатель; даже ее неискушенный ум улавливал отталкивающую предвзятость в каждой его фразе; но, несмотря на все выпады и преувеличения, факты оставались фактами. Журналист описывал, как несправедлив сэр Айзек к своим управляющим, и эти сведения явно сообщал какой-то управляющий, которого он уволил. И, главное, это звучало очень убедительно, было очень похоже на него. В статье говорилось также, как мало он платит

продавщицам, приводились длинные выдержки из его инструкций и таблицы штрафов...

Отложив газету, она вдруг живо увидела отца Сьюзен Бэрнет, растерянного, не знающего, что делать. Ей почему-то казалось, что отец Сьюзен был маленьким, добрым, пушистым, как кролик, человечком. Конечно, прогресс необходим, и выживает тот, кто лучше других сумеет приспособиться. Она поймала себя на том, что сравнивает воображаемого отца Сьюзен Бэрнет и сэра Айзека, сутулого, с острым, как у хорька, лицом, задумчиво насвистывающего сквозь зубы.

С тех пор она нередко видела своего мужа насквозь.

9

Когда душу леди Харман леденило сознание, что и в ее судьбе, и в делах сэра Айзека, и вообще в мире далеко не все благополучно, у нее возникало множество новых мыслей и чувств. По временам она загоралась желанием «сделать что-нибудь», как-то исполнить свой долг и успокоить совесть. Но порой ей нестерпимо хотелось не исполнять долга, а убежать от него. Она металась, чувствовала себя беспомощной и больше всего на свете желала вернуться в мир своего детства, где ни о чем не надо задумываться, и в конце концов все правильно. Вероятно, ей казалось несправедливым, что какая-то внутренняя необходимость вынуждает ее так серьезно воспринимать все это; разве она не была хорошей женой и не родила четверых детей?..

Я стараюсь как можно ясней изложить здесь то, что для леди Харман было далеко не так ясно. Я привожу здесь последовательно размышления, которые вовсе не следовали одно за другим, а теснили, подавляли и захлестывали друг друга. Иногда, под настроение, в голову ей лезли всякие пошлые мелочи. Иногда же приходили возвышенные мысли. Иногда она испытывала неодолимую тайную враждебность к своему энергичному мужу, а порой ей хотелось быть терпимой ко всему на свете. Настроение у нее часто менялось, как, впрочем, у всех, бывали приступы сомнений и цинизма, гораздо более серьезные, чем позволяют рассказать тра-

диционные рамки романа. И многие из этих настроений она сама не могла бы определить и объяснить.

Едва ли естественно слишком долго беспокоиться о чистоте источников своего материального благополучия. Все это результат современных понятий о совести. У всякого здорового человека возникает невольный протест против таких мучительных размышлений. И в душе леди Харман могучие инстинкты восстали против этих вспышек неугомонного чувства ответственности. Ей ужасно хотелось просто-напросто уйти от этих тревожных раздумий, укрыться, отвлечься от них.

И в это время ей попалась книга «Элизабет и ее сад в Германии»¹, и ей очень понравилась и очень ее ободрила эта младшая сестра Монтеня. Ее очаровала свежесть и жизнерадостность этой книги, прекрасная решимость отделить все хорошее, что есть в мире — солнце, и цветы, и смех,— от ограничений, неурядиц и разочарований жизни. На первых порах ей казалось, что это и есть выход; ее охватила страсть к подражанию. Как глупо, что она позволила жизни и сэру Айзеку задавить себя! Она чувствовала, что должна быть такой же, как Элизабет, во всем как Элизабет. Она сделала попытку осуществить это решение, почувствовала, что ей что-то мешает, скрывает ее, и приписала это грубой современной обстановке своего дома и особой атмосфере Путни. Дом был слишком велик, он господствовал над садом и стеснял ее. Она чувствовала, что должна уехать куда-то, где больше простора, солнца, подальше от города и от злых, ужасных людей, которые готовы глотку друг другу перегрызть, от всех этих синдикатов и удручающих жизненных неприятностей. Там легче будет держать сэра Айзека на расстоянии; и призрак отца Сьюзен Бэрнет останется позади, пускай он бродит по уютным комнатам лондонского дома. А она будет жить там, заниматься садоводством, читать, исполнять свои прихоти, веселиться, счастливая и беззаботная назло всем.

Эта мысль о бегстве и заставила ее искать по всему графству подходящий дом, убежище от непонятного и

¹ Книга, опубликованная анонимно в 1898 году и рассказывающая в форме дневника о жизни на лоне природы англичанки, вышедшей замуж за немецкого графа.

непривычного чувства общественной и личной ответственности, она и привела ее в низкую длинную комнату в доме мистера Брамли.

О том, что там произошло, а также о появлении и роли леди Бич-Мандарин, и в частности о приглашении к завтраку, которое она получила от этой леди, читатель уже знает.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ДЕНЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

1

Читатель, вероятно, помнит, что, начав длинное отступление о прошлом леди Харман, мы оставили наших героев в тот миг, когда миссис Собридж вошла в дом с охапкой лучших роз сэра Айзека. Своим приходом она прервала важный разговор. Розы эти еще не увяли, они благоухают, и миссис Собридж украсила ими дом сэра Айзека в соответствии со своими понятиями о красоте... А сам сэр Айзек, как только ему удалось возобновить разговор с леди Харман, категорически запретил ей ехать на завтрак к леди Бич-Мандарин, а леди Харман тем не менее поехала на завтрак к леди Бич-Мандарин.

На пути туда ее подстерегали неожиданные трудности.

Но здесь необходимо сообщить некоторые подробности. Подробности эти такого рода, что скромность миссис Собридж, если ей когда-нибудь попадет в руки эта книга, будет глубоко задета. И все же придется о них рассказать. Дело в том, что сэр Айзек Харман никогда не считал нужным давать жене деньги. Он разрешал ей покупать все, что ее душе угодно. Присланные счета он оплачивал первого числа следующего месяца. Подписывать чеки доставляло ему удовольствие, он чувствовал себя щедрым, а у леди Харман был великолепный дом, изысканный стол и блестящие туалеты. Более того, когда она решалась попросить денег, он обычно давал ей вдвое больше да еще дарил поцелуй в придачу. Но

после того, как он запретил ей ехать к леди Бич-Мандарин, отношения их стали такими натянутыми, что она не могла попросить у него денег. Между ними выросла стена. И притом в самое неподходящее время. У леди Харман было всего пять шиллингов и восемь пенсов.

Она вскоре поняла, что нехватка денег сильно затруднит бунт, который она затевала. Она почти ничего не знала о жизни, но понимала, что невозможно вести войну без денег. Ей было ясно, что деньги необходимы...

Несколько раз она собиралась с презрительным достоинством потребовать у него пополнения своих средств; презрительное достоинство давалось ей довольно легко, но потребовать было далеко не так просто. Боясь сочувственного любопытства матери, она и мысли не допускала попросить у нее взаймы: они с матерью «никогда не говорили о деньгах». А Джорджину она не хотела вовлекать в новые неприятности. К тому же Джорджина была в Девоншире.

При таких обстоятельствах даже добраться до дома леди Бич-Мандарин было нелегко. Она знала, что Кларенс беспрекословно отвезет ее куда угодно за город, но сэр Айзек, боясь за нее, строго-настрого запретил шоферу нырять вместе с ней в водоворот лондонского движения. Только по прямому распоряжению сэра Айзека Кларенс повезет ее вниз, по склону Путни-хилл, зато она может ехать вверх и куда угодно в сторону. Она понятия не имела о ростовщиках или о других возможностях достать деньги, и мысль вызвать по телефону наемный автомобиль даже не пришла ей в голову. Но она твердо решила поехать. У нее было одно преимущество: сэр Айзек не знал, в какой день должен состояться этот визит, вызвавший столько споров. Когда назначенный день настал, она все утро не находила себе места, потом успокоилась и тщательно оделась. Она сказала Питерс, своей горничной, которая с молчаливым удивлением помогала ей одеваться, что едет с визитом, попросила передать это миссис Собридж, с притворным спокойствием спустилась по лестнице и прошла через прихожую. Появился дородный дворецкий; до сих пор она и не подозревала, до чего его развязная фигура может быть похожа на вопросительный знак.

— Я еду с визитом, Снэгсби,— сказала она и прошла мимо него через дверь на залитое солнцем крыльцо.

Снэгсби в почтительном удивлении остался в прихожей.

(— Куда же это мы собрались с визитом?—не замедлил он осведомиться у Питерс.

— Никогда еще она так не наряжалась,— сказала девушка.

«Да, в первый раз такое вижу; тут что-то новое, особенное,— подумал Снэгсби.— Интересно знать, а сэр Айзек...»

— Мы-то не слепые,— сказала горничная, помолчав.— Хоть и помалкиваем, а глаза у нас есть.)

Вся наличность — пять шиллингов и восемь пенсов — была у леди Харман при себе. Она сохранила эти деньги в шкатулке с драгоценностями, а когда нужно было за что-нибудь уплатить, говорила, что у нее нет мелочи.

Охваченная радостью, так что ей хотелось громко смеяться, она вышла через большие открытые ворота своего дома и очутилась среди веселого оживления, царившего на Путни-хилл. Почему она не сделала это давным-давно? Как много времени понадобилось ей, чтобы решиться на такую простую вещь. Она не выходила одна из дому, не была себе хозяйкой со школьных времен. Она подняла руку в изящной перчатке, пытаясь остановить сначала чей-то собственный автомобиль, ехавший вниз по холму, а потом — занятый таксомотор, ехавший вверх, после чего, несколько озадаченная, подобрала подол платья и, поглядывая по сторонам, пошла вниз. Ей показалось, что автомобили в заговоре против нее, заодно с сэром Айзеком, но, поразмыслив, она отогнала от себя эту мысль.

Внизу, на обочине дороги, стоял таксомотор, который сразу ей понравился. Шофер, молодой и очень милый, в белой фуражке, как будто ждал именно ее; он сразу понял ее робкую просьбу, развернулся, подъехал к ней и, выйдя из автомобиля, открыл дверцу. Казалось, он был очень доволен, когда она назвала адрес, а в автомобиле она увидела перед собой бутоньерку в виде рога изобилия с искусственными цветами и вообразила, что это особый знак внимания. С нее причиталось два шиллинга и восемь пенсов, и она уплатила четыре шиллинга. Шо-

фер, видимо, был вполне удовлетворен ее щедростью, всем своим видом показывая, что ни минуты не сомневался в этом, так что от начала и до конца их взаимоотношения были ничем не омрачены, и, только поднимаясь по ступеням дома леди Бич-Мандарин, она подумала, что теперь у нее не хватит денег на обратную дорогу. Но ведь есть трамвай, автобусы и всякий другой транспорт; пусть это будет день приключений; и она вошла в гостиную с самым безмятежным видом. Ей по-прежнему хотелось смеяться; это оживляло ее глаза, и губы у нее очаровательно вздрагивали.

— А-а-а! — вскричала леди Бич-Мандарин тонким голосом и простерла руки — казалось, их у нее не меньше, чем у какой-нибудь медной многорукой индийской богини.

И леди Харман почувствовала, что ее прижимают к пышной груди, окутывают и обволакивают...

2

Завтрак был довольно интересный. Но леди Харман, взволнованной своим первым актом неповиновения мужу, всякий завтрак показался бы интересным. Она еще ни разу в жизни не была одна в гостях; ее переполняла радость, смешанная со страхом, и она чувствовала себя, как калека в Лурде¹, только что бросивший костыли. Она сидела между розовощеким молодым человеком с моноклем, которого ей не представили, но около его прибора лежала карточка с надписью «Берти Тревор», и мистером Брамли. Она была очень рада видеть мистера Брамли, и, без сомнения, это отразилось на ее лице. Прямо напротив нее сидела мисс Шарспер, настоящая, живая писательница, по зернышку, как курица, подбиравшая жизненные наблюдения, и рассеянный, большеголовый, взъерошенный человек, который оказался известным критиком мистером Кистоуном. Была здесь и Агата Олимонни в огромной шляпе с шелестящими черно-зелеными перьями, она сидела рядом с сэром Маркэмом Кросби,

¹ Лурд — город во Франции, где, по легенде, являлась людям божья мать. Лурдский источник считается чудодейственным.

с которым у нее был яростный литературный спор в «Таймсе», после чего она демонстративно с ним не разговаривала, и леди Вайпинг со своим лорнетом, и Адольф Бленкер-младший, и, если это мыслимо, еще более благовоспитанный брат Горацио, того самого, из газеты «Старая Англия» (это было единственное, что напоминало здесь о существовании сэра Айзека). Кроме того, была еще мать леди Бич-Мандарин и гувернантка родом из Швейцарии, а также Филлис, рослая, но глуповатая дочь хозяйки. Прием был оживленный и шумный; леди Бич-Мандарин расточала любезности и не давала гостям передышки, как волнение на море — эскадре кораблей. Она представила леди Харман мисс Олимони во всеуслышание, через всю комнату, потому что их разделяли два стола, заваленные всякими безделушками, мраморный бюст старика Бич-Мандарина и целая толпа гостей. И разговор за столом был такой, словно собеседники небрасывались хлебными шариками, — никогда не знаешь, в кого попадешь (а леди Бич-Мандарин, казалось, швырялась целыми буханками). Берти Тревор был из тех резвых молодых людей, которые говорят с женщиной так, словно кормят собаку бисквитом, и леди Харман больше слушала мистера Брамли.

Мистер Брамли в тот день был в ударе. Пока они ели пирожки по-рейнски, он успел напомнить ей весь разговор в Блэк Стрэнд.

— Нашли вы для себя занятие? — спросил он, заставив ее снова задуматься о своем положении. А потом их втянули в общий разговор о благотворительных ярмарках. Сэр Маркэм говорил о предстоящей большой ярмарке в пользу одного из бесчисленных движений за шекспировский театр, которые были тогда в такой моде. Примет ли в ней участие леди Бич-Мандарин? А другие? Будет кое-что новенькое. Поговорив о ярмарках вообще, он сделал вид, будто забыл о присутствии мисс Олимони, и завел речь о ярмарке в пользу суфражисток — ярмарочный сезон был в разгаре. Он был невысокого мнения о суфражистской ярмарке. Хозяйка тотчас вмешалась в разговор и рассказала, что она сама с успехом торговала на ярмарке, после чего мисс Шарспер ударилась в воспоминания о том, как в одном из ларьков продавали ее книги с автографами; Бленкер ловко рассказал ярма-

рочный анекдот с длинной бородой, и назревавшая стычка была предотвращена.

Разговор о ярмарках еще перекашивался вокруг стола, а мистер Брамли уже снова завладел вниманием леди Харман.

— Эти застольные разговоры — сущее наказание, — сказал он. — Все равно, что беседовать, плавая по бурному морю...

Но тут его перебила леди Бич-Мандарин, требуя, чтобы все приняли участие в ярмарке, которую она намерена устроить лично, и только когда подали салат, им снова удалось переброситься словом.

— Признаться, я люблю разговаривать наедине, — сказал мистер Брамли, выразив этими словами мысль, которая уже зрела в голове у леди Харман. Она вспомнила, что его голос ей сразу понравился, и в его правильном лице было что-то очень доброе, доверчивое и братски нежное, — несомненно, поговорив с ним какой-нибудь час, она могла бы многое для себя уяснить.

— Но увидеться наедине — это так сложно, — сказала леди Харман, и вдруг у нее мелькнула в высшей степени дерзкая и неприличная мысль. Она готова была уже высказать ее вслух, но промолчала, прочитав ту же мысль в его глазах, а тут леди Бич-Мандарин хлынула на них, как река, прорвавшая плотину.

— А вы что скажете, мистер Брамли? — спросила она.

— ?

— О вопросе, который газета задала сэру Маркэму. Они запросили, сколько денег он дает своей жене. Прислали телеграмму с оплаченным ответом.

— Но ведь он не женат!

— Такая мелочь их не смущает, — сказал сэр Маркэм мрачно.

— По-моему, у мужа с женой все должно быть общее, как у ранних христиан. У нас в семье именно так и было, — сказала леди Бич-Мандарин и тем самым замяла неловкость, вызванную невнимательностью мистера Брамли.

Леди Харман этот разговор пришелся как нельзя более кстати, и, внимательно слушая его, она благообразно молчала. Сэр Маркэм усомнился в коммунистических

идеях леди Бич-Мандарин и заметил, что они, во всяком случае, неприемлемы для финансиста или дельца. Предпочтительней давать жене деньги на расходы.

— Сэр Джошуа именно это и делал,— сказала вдова Вайпінг.

Тут Агата Олимони не выдержала.

— На расходы! Скажите, пожалуйста! — воскликнула она.— Выходит, жена должна быть на том же положении, что и дочь? Нет, нужно решительно пересмотреть вопрос о финансовой независимости жены...

Адольф Бленкер проявил большую осведомленность относительно «денег на булавки», приданого, а также обычаев диких племен, и мистер Брамли тоже сказал свое слово.

Леди Харман он успел сделать только один намек. Сначала она удивилась, не понимая, в чем дело.

— Парк в Хэмптон Корт в эту пору восхитителен,— сказал он.— Вы там не бывали? Золотая осень. В сентябре все растения устремляются ввысь, как многоголовый хор. Настоящая «гибель богов», такое можно увидеть лишь раз в году.

И, только выходя из столовой, она догадалась, к чему он клонил.

Леди Бич-Мандарин передала сэру Маркэму бразды правления на то время, пока мужчины будут курить сигары, и во главе четырех дам устремилась наверх, в гостиную. Ее мать исчезла, а вместе с ней — Филлис и гувернантка. Леди Харман услышала, как кто-то громким шепотом сказал леди Вайпінг:

— Правда, она очаровательна?

Повернув голову, она увидела нацеленный на нее лорнет, тут же почувствовала, что ее увлекают в уединенную нишу, к окну, и не успела опомниться, как мисс Агата Олимони уже втянула ее в разговор. Мисс Олимони принадлежала к числу тех многочисленных женщин, которых становится все больше,— смуглая, сероглазая, она все делала с таинственным и важным видом. Она отвела леди Харман в сторону, словно собиралась открыть ей бог весть какие тайны, и заговорила низким, певучим голосом, который ее магнетический взгляд делал еще выразительней. Перья на шляпе шелестели в такт ее словам, как бы подчеркивая их значительность. Говоря с ле-

ди Харман, она то и дело опасливо косилась на остальных дам, стоявших поодаль, и, видимо, сама так и не решила, кто она — заговорщица или пророчица. Она уже слышала о леди Харман и весь завтрак ждала этого разговора.

— Именно вы нам и нужны,— сказала Агата.

— Кому нам? — спросила леди Харман, стараясь не поддаться чарам своей собеседницы.

— Нам,— сказала Агата.— Нашему Делу. ВФЖК¹. Такие люди, как вы, нам и нужны,— повторила она и принялась горячо и красноречиво рассказывать про Великое Дело.

Для нее это, несомненно, означало одно—борьбу против Мужчин. Мисс Олимони была уверена в превосходстве своего пола. Женщинам нечему учиться, не в чем раскаиваться, в них много загубленных, спрятанных тайн, которым надо только дать раскрыться.

— Они ничего не понимают,— сказала она о ненавидимых мужчинах, извлекая из глубин своего голоса самые низкие, певучие ноты.— Не понимают сокровенных тайн женской души.

И она заговорила о восстании всех женщин, что было очень близко сердцу леди Харман, взбунтовавшейся в одиночку.

— Мы хотим иметь право голоса,— сказала Агата,— потому что право голоса означает независимость. А тогда...

Она многозначительно замолчала. Она уже раз произнесла за столом это слово «независимость», которое было для леди Харман как бальзам на застарелую рану. Теперь же оно наполнилось новым смыслом, и леди Харман, слушая ее, все яснее понимала, что это еще далеко не все.

— Женщина должна быть полной хозяйкой сама себе,— сказала мисс Олимони,— полной хозяйкой. Она должна иметь возможность развиваться...

Семена падали на благодатную почву.

Леди Харман давно хотела узнать о суфражистском движении от кого-нибудь более сдержанного, чем Джор-

¹ «Всеобщая Федерация Женских Клубов».

джина, потому что та вспыхивала, едва об этом заходила речь и, что греха таить, раздражалась напыщенными, трескучими фразами, а эта женщина по крайней мере говорила тихо, доверительно, и леди Харман задавала наивные, неловкие вопросы, пытаясь разобраться в ее глубокомысленных рассуждениях. У нее появились невольные сомнения по поводу этой воинственной кампании, сомнения в ее разумности, справедливости, и она почувствовала, хоть и не могла бы это выразить, что мисс Олимони не столько отвечает на ее возражения, сколько топит их в бурном потоке чувств. И если порой она слушала мисс Олимони рассеянно, то лишь потому, что краем глаза поглядывала, не входят ли в гостиную мужчины и среди них мистер Брамли, разговор с которым, она это чувствовала, остался незаконченным. Наконец мужчины вошли, она поймала на себе его взгляд и почувствовала, что он думает о том же.

Ее сразу разлучили с Агатой, которая охнула от огорчения и проводила ее пристальным взглядом, как врач больного, которому сделан укол, после чего началось прощание с леди Бич-Мандарин, сопровождавшееся бурными излияниями чувств и взаимными приглашениями, а потом к ней подошла леди Вайпинг и горячо звала ее к обеду, для вящей убедительности тыкая ее в плечо лорнетом. Перед глазами леди Харман вспыхнуло слово «независимость», и она, подумав немного, приняла и это приглашение.

3

Мистер Брамли задержался в прихожей, разговаривая с дворецким леди Бич-Мандарин, которого знал уже несколько лет, и однажды помог ему выгодно поместить скромные сбережения, после чего тот преисполнился к нему благодарности и всегда был подобострастно вежлив, и это вызывало у мистера Брамли приятное чувство своего могущества. Пушистый юноша, перебирая в углу трости и зонтики, думал о том, будет ли и он когда-нибудь окружен таким подобострастием за свои ценные советы. Мистер Брамли задержался охотно, зная, что леди Харман охорашивается перед зеркалом в маленькой гостиной, смежной со столовой, и скоро выйдет. Наконец

она появилась. Мистер Брамли сразу понял, что она ожидала увидеть его здесь. Она ему дружески улыбнулась, с едва уловимым намеком на взаимопонимание.

— Такси, миледи? — предложил дворецкий.

Она сделала вид, будто раздумывает.

— Нет, я, пожалуй, пройду пешком. — Она постояла в нерешимости, застегивая перчатку. — Мистер Брамли, скажите, есть тут неподалеку станция метро?

— В двух минутах ходьбы. Но, может быть, вы позволите отвезти вас на такси?

— Нет, мне хочется пройтись.

— Я вас провожу...

Выходя вместе с ней, он испытывал радостное чувство.

Но впереди его ждала еще большая радость.

Казалось, ей в голову пришла какая-то мысль. Она не поддержала его попытку завязать разговор, но через мгновение он уже не думал об этом.

— Мистер Брамли, — сказала она. — Мне не хочется сразу ехать прямо домой.

— Располагайте мной, я к вашим услугам, — сказал он.

— Знаете, — сказала леди Харман со свойственной ей правдивостью, — еще во время завтрака я подумала, что не поеду прямо домой.

Мистер Брамли с трудом обуздал свое воображение, которое грозило унести его бог весть куда.

— Я хотела бы пойти в Кенсингтонский парк, — сказала леди Харман. — Кажется, это недалеко, а мне хочется посидеть там на зеленом стуле, подумать, а потом уже доехать на метро или еще на чем-нибудь до Путни. Мне вовсе незачем спешить домой... Это очень глупо, но я совсем не знаю Лондона, как его полагаются знать всякому серьезному человеку. Поэтому не будете ли вы так добры проводить меня, усадить на зеленый стул и... сказать мне, где потом найти метро? Если, конечно, вы ничего не имеете против.

— Все мое время в полном вашем распоряжении, — сказал мистер Брамли серьезно. — До парка не больше пяти минут ходьбы. А потом на такси...

— Нет, — сказала леди Харман, помня, что у нее всего один шиллинг восемь пенсов, — я предпочитаю метро.

Но об этом мы поговорим после. Скажите, мистер Брамли, а я в самом деле не отнимаю у вас времени?

— Ах, если б вы только могли прочитать мои мысли! — сказал мистер Брамли.

Робость ее окончательно исчезла.

— Вы были совершенно правы, за завтраком невозможно поговорить. А мне так хотелось поговорить с вами. С тех самых пор, как мы встретились в первый раз.

Мистер Брамли выразил искреннюю радость.

— С тех пор, — продолжала леди Харман, — я прочла все ваши книги про Юфимию... — И после короткого смущенного молчания поправилась: — Перечитала их. — Покраснев, она добавила: — Знаете, одну я уже читала раньше.

— Ну, конечно, — сказал он, охотно приходя ей на помощь.

— И мне кажется, вы добрый, все понимаете. У меня в голове такая путаница, но я уверена, все прояснилось бы, если б я могла по-настоящему, как следует поговорить... с вами...

Они уже прошли ворота и приближались к памятнику принцу Альберту. Мистеру Брамли пришла такая мысль, что ему даже страшно было ее высказать.

— Конечно, мы вполне можем поговорить здесь, под этими развесистыми деревьями, — сказал он. — Но мне так хотелось бы... Вы видели большие куртины в Хэмптон Корт? Весь парк так и сияет в солнечный день, вот как сегодня... Такси довезет нас туда за какой-нибудь час. Если только вы свободны до половины шестого...

А почему бы и нет?

Это предложение настолько противоречило всем законам, господствовавшим в мире леди Харман, что она, охваченная протестом, сочла своим долгом в деле борьбы за женские права найти в себе смелость принять его...

— Но я должна вернуться не позже половины шестого...

— Мы успеем осмотреть парк и вернемся даже раньше.

— В таком случае... я буду очень рада.

(А почему нельзя? Сэр Айзек, конечно, придет в ярость... если только узнает об этом. Но ведь женщины ее круга часто делают такие вещи; разве об этом не написано во всех романах? Она имеет полное право...

И к тому же мистер Брамли такой безобидный.)

4

Леди Харман, безусловно, хотела, совмещая приятное с полезным, поговорить с мистером Брамли о своем сложном и затруднительном положении. Эта мысль постепенно крепла в ней со времени их первой встречи. Она была из тех женщин, которые за советом невольно тянутся к мужчине, а не к женщине. Она угадывала в мистере Брамли ум, доброту, великодушие; чувствовала, что он много пережил и выстрадал, многое понял и готов помочь другим найти путь в жизни; она поняла по его книгам, что сердце его похоронено вместе с умершей Юфимией и из всех, кого она знала, он единственный казался ей другом, почти братом. Она хотела так и сказать ему, а потом поделиться с ним своими сомнениями, от которых у нее голова кружилась: до какого предела она вправе считать себя свободной? Как ей относиться к делу сэра Айзека? Но теперь, когда их таксомотор мчался по оживленной Кенсингтон-Хай-стрит, мимо парка «Олимпия» на запад, она почувствовала, что ей очень трудно сосредоточиться на общих вопросах, с которых она предполагала начать. Как ни старалась леди Харман настроиться на серьезный лад, подобающий столь торжественному случаю, она не могла заглушить, отогнать неуместное ощущение, что это просто веселая проделка. Оживленная улица, автомобили, омнибусы, фургоны, экипажи, толпы пешеходов, магазины и дома были так захватывающе интересны, что в конце концов она должна была чистосердечно признать, что, пожалуй, лучше покориться этому ощущению и отложить серьезный разговор: ведь скоро они присядут на какую-нибудь удобную скамью под густыми деревьями в Хэмптон Корт. Невозможно всерьез и откровенно говорить о важных вещах, когда трясешься в такси, которое мчится, обгоняя большой красный омнибус.

Мистер Брамли из деликатности попросил шофера переехать Темзу по мосту не у Путни, а у Хаммерсмита, и они, миновав станцию Барнес, по проселку въехали в Ричмонд-парк и оказались вдруг среди высоких деревьев, папоротников и рыжих оленей, словно где-нибудь в тысяче миль от Лондона. Мистер Брамли попросил шофера сделать круг, чтобы они могли посмотреть самую красивую часть парка.

Мистер Брамли был приятно взволнован и радовался прогулке. Именно об этом он так часто мечтал в последнее время, ведя в своем воображении пылкие разговоры с леди Харман, но теперь он не мог выдавить из себя ничего и не меньше ее был ошеломлен неожиданностью. Он, как и леди Харман, вовсе не был склонен к серьезным разговорам. По дороге он говорил главным образом о тех местах, которые они проезжали, о том, как оживились лондонские улицы после появления автомобилей, о красоте и живописности Ричмонд-парка. И только когда они приехали в Хэмптон Корт, отпустили такси и, постояв немного у куртин, сели наконец на скамью в рощице, около длинного озера, где росли лилии, начался разговор по душам. И тут она всерьез попыталась связно объяснить свои затруднения, и мистер Брамли изо всех сил старался оправдать доверие, которого она его удостоила...

Конечно, это было совсем не то, о чем мистер Брамли мечтал: разговор как-то не клеился, в нем было много недосказанного, порождавшего смутную неудовлетворенность.

Вероятно, главной причиной этой неудовлетворенности было то, что она словно не замечала его — как бы это сказать? — самого по себе. Читатель мог уже заметить, что жизнь для мистера Брамли была прежде всего фоном, хитросплетением, лабиринтом, — вечным странствием к цели, священной и всепокоряющей, и этой целью была таинственная Она; причем жизненный опыт не оставлял в нем сомнений, что вторая половина человечества чувствует то же самое, что для женщин, несмотря на все их притворство, весь мир — это Он. И мистер Брамли был склонен верить, что остальное в жизни — не только роскошь и блеск, но вера, мечты, чувства — есть лишь результат и воплощение этой великой двойственности.

Для него самого и для тех женщин, которых он близко знал, главная цель состояла в том, чтобы без конца искать и находить Его или Ее в различных людях; и он был удивлен, озадачен, когда увидел, что очаровательное существо, словно специально созданное для поисков, в которых для него заключался смысл жизни, даже и не подозревало об этом извечном откровении и, так сказать, в простоте своей смотрело куда-то сквозь него, не замечая его, интересуясь вопросами морали в хлебной торговле и степенью личной ответственности в подобных делах. Вывод мог быть только один: дремлющие в ней чувства еще не проснулись.

Мечта «разбудить» эту спящую красавицу слилась в его воображении с тем образом, который он для себя создал. Я не хочу сказать, что мысли мистера Брамли были такими четкими, нет, но направление их было именно таково. Они смутно проступали в глубине его сознания. И поэтому, когда он попытался ответить на смущавший ее вопрос, было похоже, будто он преследует при этом тайную цель. Ему было ясно, что леди Харман, пытаясь вырваться из-под власти мужа и понять истинный характер его деятельности, может освободиться настолько, что будет готова к новому союзу. И вполне естественно, что под влиянием этих мыслей он твердо решил быть рядом, когда такое освобождение и пробуждение свершится...

Я был бы несправедлив к мистеру Брамли, человеку и влюбленному, заставив вас предположить, что он задумал это с сознательным расчетом. И все же смутные мысли закрадывались в его голову. Конечно, если бы сказать ему, что у него на уме, он стал бы протестовать, но слегка покраснел бы, сознавая справедливость этого. И при всем том ему просто хотелось сделать ей приятное, исполнить ее желание, помочь ей, потому что она нуждалась в помощи. Ему особенно хотелось быть чистым и честным по отношению к ней, а также ко всему, что с ней связано, не только ради нее, но и ради себя самого, ради их взаимоотношений...

И вот мистер Брамли сидит на зеленом стуле под густыми деревьями в Хэмптон Корт, в своем элегантном лондонском костюме, который ему очень к лицу, в

шелковом цилиндре, — красивый, умный, держа в одной руке перчатки, а другую закинув на спинку стула, и серьезно, вдумчиво разбирает вопрос об общественной пользе «Международной хлеботорговой компании» и о том, может ли леди Харман «сделать что-нибудь», дабы искупить несправедливости, причиняемые этой компанией, и нетрудно догадаться, почему на щеках у него легкий румянец, а речь его немного бессвязна и взгляд скользит то по мягким черным прядям над ухом леди Харман, то по ее нежным, шевелящимся губам, то по грациозной фигуре, когда она наклоняется вперед, опираясь локтем на колено ноги, закинутой за другую ногу, и положив подбородок на затянутую в перчатку руку, или чертит зонтиком по земле в непривычном усилии высказать и объяснить свои затруднения.

Нетрудно догадаться также, почему он только делает вид, будто относится к этому вопросу просто и беспристрастно. Он рассказывает интереснейшую проблему, когда в женщине просыпается чисто мужское чувство ответственности перед обществом, но ему хочется думать лишь о том, что это неизбежно должно поколебать верность и повиновение леди Харман сэру Айзеку, и он поневоле желает воспользоваться случаем и толкнуть ее к этому...

5

Но ход мыслей мужчины настолько сложен, что этим дело не исчерпывалось, и мистер Брамли в то же самое время ухитрялся думать и о другом. Он старался незаметно подсчитать деньги, которые были у него в кармане, и кое-что прикидывал в уме.

В тот день он как раз намеревался пополнить свой бумажник в клубе и вспомнил об этом неосуществленном намерении, только когда расплачивался с шофером у ворот Хэмптон Корт. Такси обошлось в девять шиллингов десять пенсов, а у него оказалась единственная золотая монета — полсоверена. Но в кармане брюк нашлась еще пригоршня серебра, благодаря чему он мог расплатиться и дать на чай.

— Вас подождать, сэр? — спросил шофер.

Мистер Брамли, не подумав, совершил роковую ошибку.

— Нет,— сказал он, помня, что у него осталось только серебро.— Мы вернемся поездом.

Обычно, когда шофер отвозит пассажира в Хэмптон Корт или еще куда-нибудь за город, он получает плату и ждет. Счетчик не отщелкивает двухпенсовики, которые почти целиком достались бы отсутствующему хозяину таксомотора, и шофер с пассажиром улаживают дело к обоюдному удовольствию. Но на этот раз шофер, отпущенный мистером Брамли, сразу нашел другого пассажира и уехал...

Я не достиг своей цели, если не убедил читателя, что мистер Брамли был человек крайне деликатный; он любил, чтобы внешне все было прилично, и боялся обнаружить малейшую стесненность в деньгах, как только может бояться этого человек, воспитанный в английской закрытой школе. Ему была невыносима мысль, что эта чудесная прогулка, после которой между ним и леди Харман должно возникнуть беспредельное доверие, может быть чем-то омрачена. Все, от начала до конца, должно быть возвышенным. Но сколько же стоит билет в первом классе от Хэмптон Корт до Путни?.. Кажется, Путни по той же линии, что и Хэмптон Корт... И можно ли обойтись без чая? Так что пока леди Харман рассказывала о деле своего мужа — «нашем деле», как она его называла,— тщательно избегая более интимного вопроса, который интересовал ее гораздо сильнее — вопроса о пределах повинования жены мужу,— мистер Брамли был занят денежными подсчетами, с выражением напряженного внимания на лице, что было ей очень приятно. Нескольким раз он даже терял нить разговора и был вынужден вместо ответа прибегать к жалкому заменителю — многозначительно хмыкал.

(Решительно невозможно уехать без чая, думал он. Ему самому ужасно хотелось чаю. Выпив чаю, он скорее найдет какой-нибудь выход...)

Катастрофа разразилась за столом. Они пили чай в ресторане на лужайке, который показался мистеру Брамли недорогим, и он сделал вид, будто выбрал его потому, что из окон открывался тривиально красивый вид. Но ресторан оказался дорогим, и когда мистеру Брамли подали счет и он получил наконец возможность вынуть деньги из кармана и пересчитать их, то обнаружил, что

дело обстоит еще хуже, чем он ожидал. Счет был на пять шиллингов (Протестовать? Но до чего некрасиво спорить с официантом, и к тому же он еще чего доброго на смех поднимет!), а в руке у него было четыре шиллинга шесть пенсов.

Он притворился удивленным, а официант стоял рядом и смотрел на него. (Попросить, чтобы поверил в долг? Но в таком захолустье может выйти ужасная неприятность!)

— Вот так так,— сказал мистер Брамли, вынул с некоторым запозданием пустой бумажник и заглянул в него. Он понимал, что плохо играет роль, и чувствовал, как горячая краска заливает его уши, нос и щеки. Другой официант в противоположном конце зала заинтересовался и подошел поближе.

— Никак не ожидал,— лицемерно сказал мистер Брамли.

— Что-нибудь случилось? — спросила леди Харман с нежным сочувствием, как сестра.

— Дорогая леди Харман, я попал в... смешное положение. Не дадите ли вы мне взаймы полсоверена?

Он был уверен, что два официанта переглянулись. Посмотрел на них — новая ошибка — и покраснел еще больше.

— Ах! — сказала леди Харман и взглянула на него, не скрывая улыбки. Сначала это показалось ей шуткой.— У меня всего шиллинг восемь пенсов. Я не думала...

Она покраснела, мило, как всегда. Потом достала маленький, но дорогой кошелек и протянула ему.

— Мне, право, так неловко,— сказал мистер Брамли, открывая кошелек и вынимая оттуда шиллинг.— Но этого достаточно,— сказал он и отпустил официанта, дав ему на чай шесть пенсов. Потом, все еще держа в руке открытый кошелек и собрав последние силы, он притворился, что все это очень забавно, и попытался быть непринужденным, хотя не мог отделаться от мысли, что после всех перипетий, красный, как рак, он имеет очень глупый и смешной вид.

— Право, мне ужасно неловко,— повторил он.

— Я не подумала о... об этом. Как глупо с моей стороны,— сказала леди Харман.

— О нет! Ради бога! Уверяю вас, это моя вина. Я не нахожу слов для оправдания... Какая нелепость!.. Ведь это я уговорил вас приехать сюда.

— И все-таки мы расплатились,— утешила она его.

— Но ведь вам надо домой!

Об этом она не подумала. И ей сразу же представилась сэр Айзек.

— Да, к половине шестого,— сказала она с некоторой неуверенностью.

Мистер Брамли посмотрел на часы. Было без десяти пять.

— Официант,— сказал он,— когда будет поезд в Путни?

— Боюсь, сэр, что отсюда в Путни поезда не ходят...

Принесли железнодорожный справочник, и мистер Брамли впервые узнал, что Путни и Хэмптон Корт — это станции двух разных и, судя по расписанию, совершенно не связанных одна с другой линий Юго-Западной железной дороги, так что им никак не попасть в Путни раньше шести часов.

Мистер Брамли был очень смущен. Он понял, что не следовало отпускать такси. Для него было долгом чести не позднее чем через час доставить эту леди домой благополучно и с соблюдением всех приличий. Но мистер Брамли не знал, как исполнить этот долг, и, разволновавшись, не нашел никакого способа его исполнить. Он не привык оставаться без денег и, упав духом, попытался напустить на себя деловой вид. Он потребовал, чтобы официант нашел такси. Потом попытался вызвать такси силой внушения. И, наконец, выйдя вместе с леди Харман из ресторана, пошел к воротам Хэмптон Корта искать такси. Но тут он спохватился, как бы не пропустить поезд в пять двадцать пять. И они поспешили через мост к станции.

Мистер Брамли питал робкую надежду, что кассир даст ему билеты в долг, если он покажет свою визитную карточку. Но кассиру его просьба, как видно, пришлась не по душе. Должно быть, ему не понравилась та часть мистера Брамли, которую он видел через маленькое квадратное окошечко, и у мистера Брамли создалось впечатление, что он держался нелюбезно и пренебрежительно. Мистер Брамли, как это бывает с людьми

чувствительными, был уязвлен, заговорил властно и самоуверенно, потом вышел из себя, начал угрожать и потерял драгоценные секунды, а леди Харман ждала на платформе, и ее веру в него несколько омрачила тень сомнения, когда лондонский поезд в пять двадцать пять отошел у нее на глазах.

Мистер Брамли вышел на платформу, исполненный решимости ехать без билетов, несмотря на все препятствия, как раз в тот миг, когда уехать этим поездом было уже невозможно, и тут, как ни грустно мне об этом рассказывать, он вернулся к кассе и стал укорять кассира, доказывая, что должностное лицо обязано помогать людям, попавшим в затруднительное положение, а кассир тоже в долгу не остался, но все это нисколько не приближало леди Харман к дому.

Потом, взглянув на расписание поездов, он увидел, что, если даже уладить дело с билетами, все равно они с леди Харман доберутся до Путни не раньше чем в двадцать минут восьмого, потому что Юго-Западная железная дорога возмутительно пренебрегла удобствами пассажиров, едущих из Хэмптон Корта в Путни. Он, как мог, объяснил все это леди Харман и увел ее со станции, чтобы сделать последнюю отчаянную попытку найти такси.

— Уехать следующим поездом мы всегда успеем, — сказал он. — Это будет только через полчаса. — Я кругом виноват перед вами, — повторил он в восьмой или девятый раз...

Было уже без четверти шесть, когда мистер Брамли вспомнил о трамвае, который ходит от ворот дворца. Билет стоит всего четыре пенса, а на конечной станции наверняка будут такси. Должны быть такси! Трамвай довез их кружным путем, по бесконечным улицам — увы, им казалось, что он еле ползет! — до Хаммерсмита, и когда они доехали, сумерки давно уже сгустились в темноту, а все улицы и магазины осветились, — чувствовалось, что час был поздний. Сев в трамвай, они некоторое время сидели молча, а потом леди Харман засмеялась, и мистер Брамли тоже засмеялся — ему уже больше не нужно было лезть из кожи вон и суетиться, — и обоих охватило то веселье, которое наступает по другую сторону отчаяния. Но эта короткая вспышка быстро угасла, и душу леди Харман грызло мрачное беспокойство, а мис-

тера Брамли мучила совесть, что он сваял дурака, сцепившись с кассиром...

Они вышли в Хаммерсмите — два путешественника без единого пенни в кармане — и, пережив несколько тревожных минут, нашли такси. Доехали до Путни. Леди Харман вышла у ворот и пошла по дорожке через темный сад, а мистер Брамли поехал в свой клуб, чтобы снова обрести платежеспособность. Когда он вошел в двери клуба, было пять минут девятого...

6

Леди Харман рассчитывала вернуться домой не позже четырех часов, выпить чаю с матерью, а когда придет муж, сообщить ему о своем вполне приличном и благопристойном неповиновении его нелепым запретам. А потом, когда он убедится в своей бессилии, она заявит, что намерена отобедать у леди Вайпинг и нанести еще несколько обещанных визитов, и все будет как нельзя лучше. Но вы сами видели, как далеко могут несчастное стечение обстоятельств и безрассудство увести женщину от столь достойных намерений, и когда она наконец вернулась в Путни, в свой викториански-средневековый дом, было уже около восьми, и весь дом, от кухни до детской, был охвачен отчаянным волнением. Даже три старшие девочки, которые привыкли, чтобы «мамусенька» целовала их на сон грядущий, еще не спали и, чувствуя беспокойство, витавшее в воздухе, плакали. Даже низшая прислуга недоумевала: «И куда это подевалась госпожа?»

Сэр Айзек вернулся в этот день раньше обычного, такой мрачный, что даже Снэгсби поглядывал на него с опаской. И действительно, сэр Айзек так и кипел злобой. Он потому и приехал рано, что хотел сорвать злобу на Эллен, и когда ее не оказалось, он почувствовал себя совсем как человек, который хотел ступить на пол, а вместо этого провалился куда-то, чуть ли не в бездонную пропасть.

— Но куда же она поехала, Снэгсби?

— Миледи сказала, что едет на завтрак, сэр Айзек,— ответил Снэгсби.

— Господи! Куда это?

— Этого миледи не сказала, сэр Айзек.

— Куда же? Куда к чертовой матери...

— Не... не могу знать, сэр Айзек.— И вдруг у него мелькнула спасительная мысль:— Может быть, миссис Собридж знает, сэр Айзек...

Миссис Собридж грелась на солнышке в саду. Она сидела на удобном садовом стуле, раскрыв над головой белый зонтик, с новым романом миссис Хэмфри Уорд на коленях и старалась не думать о том, куда могла подеваться ее дочь. Сердце у нее упало, когда она увидела, что к ней идет сэр Айзек. Но она могла лишь еще больше удивиться, куда же подевалась Эллен.

— Послушайте! — крикнул зять.— Где Эллен?

Миссис Собридж с притворным равнодушием ответила, что не знает.

— Но вы должны знать,— сказал Айзек.— Ее место дома.

Миссис Собридж вместо ответа попросила его быть повежливей.

— Куда она поехала? Куда? Вы действительно ничего не знаете?

— Эллен не устаивает меня своим доверием,— сказала миссис Собридж.

— Но вы должны знать! — воскликнул сэр Айзек.— Она ваша дочь. Вы и про вторую свою дочь тоже ничего не знаете. Видно, вам наплевать, где они, что они натворили. Человек приезжает домой пораньше, к чаю, а жены и след простыл. И это после всего, что мне рассказали сейчас в клубе.

Миссис Собридж встала, чтобы придать себе достоинства.

— Сомневаюсь, чтобы я была обязана следить за каждым шагом вашей жены,— сказала она.

— Да за Джорджиной вы тоже не смотрите. Черт возьми! Сто фунтов отдал бы, только бы этого не случилось.

— Если вы хотите разговаривать со мной, сэр Айзек, то будьте любезны не выражаться...

— Ого, заткните глотку! — сказал сэр Айзек, приходя в бешенство.— Выходит, вы ничего не знаете, ровно ничего? Какой же я был дурак! Дал ей билеты. А она

послала этих женщин... Слушайте, нечего нос задирать... Да погодите же, дайте мне... Послушайте! Миссис Собридж, выслушайте меня... Я про Джорджину говорю. Про Джорджину.

Но она уже быстро шла к дому, бледная, с неподвижным лицом, а сэр Айзек семенил рядом с ней и бушевал, тщетно пытаясь заставить ее слушать.

— Да послушайте же! — кричал он. — Это я про Джорджину...

Но она сохраняла невозмутимость, от которой можно было сойти с ума. Он не понимал, почему она даже не остановилась, не полюбопытствовала, что же такое сделала Джорджина и о чем речь. В человека, который так замкнулся в своем достоинстве, хочется бросать камнями. Быть может, она уже знала о злодеянии Джорджины. И даже сочувствовала ей...

Очувтившись у дома, на виду, он перестал ее преследовать.

— Ну и убирайтесь! — сказал он ей вслед. — Убирайтесь! Хоть навсегда! Чтобы духу вашего здесь не было! Если вы не сумели воспитать своих дочерей...

Она уже не могла его слышать, но по-прежнему величественно, хоть и быстро, удалялась к дому. А ему необходимо было излить душу. Кому-нибудь. И он заговорил, обращаясь к саду. Для чего человек женится? Его мысли снова вернулись к Элен. Куда она подевалась? Если даже поехала на завтрак, пора уж ей вернуться. Он пошел к себе в кабинет и позвонил Снэгсби.

— Леди Харман еще нет? — спросил он хмуро.

— Нет, сэр Айзек.

— Почему она не вернулась?

Снэгсби напряг все свои мыслительные способности.

— Может быть, сэр Айзек, с миледи... случилось что-нибудь.

На миг сэр Айзек был ошеломлен этой мыслью. Потом подумал: «Мне сообщили бы по телефону».

— Нет, — сказал он. — Просто она гуляет. И все. А я сиди здесь и дожидайся, покуда она соблаговолит вернуться. Что за идиотизм!..

Он принялся насвистывать сквозь зубы, и звук был похож на шипение пара. Снэгсби постоял, сколько требовало приличие, потом почтительно поклонился и вышел...

Но едва он успел пересказать этот разговор в бешеной, как его снова вызвали резким звонком. Сэр Айзек желал поговорить с Питерс, горничной леди Харман. Он хотел знать, куда ушла леди Харман, а так как это было невозможно, он хотел по крайней мере выслушать предположения.

— Леди Харман, кажется, пошла на завтрак, сэр Айзек,— сказала Питерс, и ее кроткое личико выражало живейшее желание услужить ему.

— Ах, уберите отсюда! — сказал сэр Айзек.— Вон!

— Слушаю, сэр Айзек.

И Питерс повиновалась...

— Он совсем из-за нее взбеленился,— сказала Питерс Снэгсби, спустившись вниз.

— Я так думаю, госпоже крепко достанется,— сказал Снэгсби.

— Он еще ничего не знает,— сказала Питерс.

— О чем это? — спросил Снэгсби.

— Ах, сама не знаю,— сказала Питерс.— Не спрашивайте меня.

Минут через десять они услышали грохот — это сэр Айзек разбил фарфоровую фигурку богини Куан Ин¹, стоявшую в его кабинете на каминной полке. Осколки потом нашли в камине...

Когда человек, изнемогая, жаждет отвести душу, от этого можно сойти с ума. Некоторое время сэр Айзек сидел в кабинете и разговаривал сам с собой о Джорджине и леди Харман, а потом почувствовал неодолимое желание излить свое возмущение на миссис Собридж, хотя сочувствия от нее ждать не приходилось. Он долго бродил по дому и по саду, разыскивая ее, а потом наконец вынужден был справиться о ней, и перепуганная горничная, которую он прижал в угол в оранжерее, сказала, что миссис Собридж ушла к себе в комнату. Он пошел туда и стал барабанить в дверь, но после едва слышного «Кто там?» ответа больше не получил.

— Я хочу рассказать вам про Джорджину! — крикнул он.

¹ Буддистская богиня милосердия.

Он дернул дверную ручку, но теща, охраняя свое достоинство, благоразумно заперлась на ключ.

— Я хочу рассказать про Джорджину! — повторил он. — Про Джорджину! А, черт!

Молчание.

Чай ожидал его внизу. Он слонялся по гостиной, навистывая сквозь зубы.

— Снэгсби, — сказал сэр Айзек, — передайте миссис Собридж, что я буду ей очень признателен, если она спустится к чаю.

— У миссис Собридж болит голова, сэр Айзек, — сказал Снэгсби подобострастно. — Она просит вас это сказать. А чай велела подать к себе в комнату.

На миг сэр Айзек растерялся. Но потом нашел выход из положения.

— Подайте мне «Таймс», Снэгсби, — сказал он.

Он взял газету, развернул ее и нашел нужный столбец. Он обвел его автоматическим пером и написал над ним дрожащей рукой: «Билеты для этих женщин Джорджина обманом получила у меня». Потом протянул газету Снэгсби.

— Отнесите это миссис Собридж, — сказал он, — и спросите ее, что она об этом думает.

Но миссис Собридж молчаливо отклонила предложение сноситься с ним через Снэгсби.

7

Джорджине не было оправдания.

Она выпросила у сэра Айзека билеты на большой званый прием у Барлипаунда, сказав, будто они нужны ей «для двух старых дев из предместья», за чье поведение она ручается, а билеты отдала смутьянкам из женского союза, тем самым, которые сбили ее с пути истины. В результате произошло историческое нападение на мистера Блэптона.

Две отчаянные и заблудшие представительницы этой организации явились на великий прием, стараясь платьем и поведением походить на обыкновенных женщин, сочувствующих либеральной партии; прикинувшись приверженцами вигов и скрывая свою злобу, они подошли к группе блестящих, выдающихся деятелей либеральной

партии, центром которой был мистер Блэнтон, а потом вдруг набросились на него. Это был один из тех торжественных случаев, когда рядовой член столь массовой партии имел счастье взглянуть на придворные туалеты. Министры и всякие знаменитости приехали туда из Букингемского дворца в парадных одеждах. Пурпур и перья, великолепные шлейфы, звезды и ленты неизвестных орденов ослепляли жен и дочерей верных членов партии, давали им почувствовать, что значит стоять у кормила власти, и разжигали честолюбивые мечты множества серьезных и всерьез соперничавших друг с другом молодых людей. Это заставляло рабочих лидеров по достоинству ценить высокие возможности парламента. И вдруг — суматоха, беготня, крик: «Долой с него эполеты!» Настоящий скандал! А ведь с виду такие милые молодые женщины!

Жаль, что нам незачем описывать сцену, которая за этим последовала. Мистер Блэнтон дрался за свои эполеты, как лев, причем главным его оружием была треуголка, которая в пылу битвы перегнулась надвое. Миссис Блэнтон помогала ему изо всех своих слабых женских сил и, надо сказать, довольно сильно треснула одну из нападавших по уху. Наконец несколько запоздавшая, но решительная полиция вырвала незваных гостей, порядком помятых и растерзанных, из рук разъяренных государственных деятелей...

Такими событиями, словно яркими красными и зелеными пятнами, разукрашена вся история Англии последних лет, и нас этот случай интересует лишь постольку, поскольку к нему причастна Джорджина. Сэр Айзек узнал о случившейся неприятности совершенно неожиданно, когда завтракал в клубе «Клаймакс» с сэром Робертом Чартерсоном. Ему сказал об этом некий Гоббин, театральный критик или что-то в этом роде, один из тех ничтожных литераторов, которые марают репутацию и достоинство многих знаменитых клубов; лохматый, в небрежном галстуке, казавшемся не галстуком, а вызовом, брошенным всем приличиям, Чартерсон как раз говорил о недавнем скандале.

— Сэру Айзеку они оказали скверную услугу, сэр Роберт, — сказал Гоббин, ничуть не смущаясь присутствием самого Хармана.

Сэр Айзек посмотрел на него так, как смотрел обычно на провинившегося клерка.

— Они пришли с билетами от сэра Айзека,— сказал Гоббин.

— Быть не может!..

— Вас искал Горацио Бленкер, он в гостиной. Вы его не видели? А ведь он так старался все подготовить. Бедняга чуть не плачет.

— Я им не давал никаких билетов! — решительно и возмущенно воскликнул сэр Айзек.

И тут же с ужасом вспомнил о Джорджине...

Но, несмотря на свое смятение, он продолжал все отрицать...

Разговор в курительной был для сэра Айзека настоящей пыткой.

— Но как могло такое случиться? — спросил он голосом, который ему самому показался фальшивым. — Как это вышло?

Взгляды, устремленные на него, были убийственны. Неужели они догадались? Возможно ли это? А в голове у него стучала мысль: «Это Джорджина, твоя свояченица Джорджина», — стучала так громко, что казалось, все в курительной это слышат...

8

Когда леди Харман шла по темной дорожке к дому, она горько сожалела, что не удовлетворилась разговором с мистером Брамли в Кенсингтонском парке и приняла его заманчивое предложение поехать в Хэмптон Корт. Ее возвращение было какое-то неприкаянное, сиротливое. Ей припомнились картинки, напечатанные для благотворительных дел доктора Барнардо — ее любимого героя из числа современников, — на которых жалкие, бездомные человечки бредут, не чая добраться до весело освещенных, хотя и вполне благопристойных домов. Она предпочла бы совсем другое ощущение, если бы могла выбирать. Усталая, запыленная, она вошла в прихожую, и яркий свет ослепил ее. Снэгсби помог ей снять пелерину.

— Сэр Айзек спрашивал вас, миледи,— сказал он. И тотчас сам сэр Айзек появился на лестнице.

— Боже мой, Элли! — вскричал он.— Где ты была? Леди Харман решила оттянуть ответ.

— Я выйду к обеду через полчаса, Снэгсби,— сказала она и прошла мимо дворецкого к лестнице.

Сэр Айзек ждал ее наверху.

— Где ты была? — повторил он, когда она приблизилась.

Горничная на лестничной площадке и няня в дверях детской, наверху, разделяли нетерпение сэра Айзека и ждали ее ответа. Но ответа они не услышали, потому что леди Харман, точь-в-точь как недавно ее мать, проскользнула мимо сэра Айзека в дверь своей комнаты. Он вошел за ней и захлопнул дверь, чтобы прислуга их не слышала.

— Ну! — сказал он грубо, как хозяин, знающий свои права.— Где ты была? Где тебя черти носили?

С той самой минуты, как Эллен поняла, что, вернувшись домой, окажется в невыгодном положении, она начала обдумывать, что сказать ему. (Не мне винить ее за неискренность; мой долг лишь написать об этом.)

— Я завтракала у леди Бич-Мандарин,— сказала она.— Ведь я же говорила тебе, что поеду туда.

— Завтракала! — воскликнул он.— Да ведь уже восемь вечера!

— Я встретила.... кое-кого. Встретила Агату Олимони. Я имею полное право поехать на завтрак...

— Воображаю, какая теплая компания там собралась. Но это не объяснение, почему тебя не было до восьми, верно? А проклятые слуги тем временем делали здесь, что хотели!

— Я поехала в Хэмптон Корт посмотреть куртины.

— С ней?..

— Да...

Нет, совсем не того она хотела. Это была бесславная сдача заранее подготовленных позиций, которые она намеревалась отстаивать с полным достоинством. Нужно было любой ценой уйти от этой лжи, к которой она сразу прибегла, увести разговор от Агаты с помощью какой-то общей решительной фразы.

— Я имею полное право, — заявила она, едва переводя дух, — поехать в Хэмптон Корт, с кем хочу, говорить, о чем хочу, и оставаться там, сколько найду нужным.

Он сжал тонкие губы и мгновение молчал, потом возразил:

— Ничего подобного. Никаких прав у тебя нет. Ты должна исполнять свой долг, как все, и долг твой — быть здесь и следить за домом, а не шляться по Лондону, куда тебе взбредет в голову.

— Не думаю, чтобы в этом состоял мой долг, — сказала леди Харман, помолчав немного и собравшись с силами.

— Да, именно в этом он состоит. И ты это знаешь. Прекрасно знаешь. Это отрицают только те вонючие, безмозглые, грязные, паршивые ублюдки, которые вбили тебе в голову...

Фраза зашаталась под этим бременем эпитетов и рухнула, как верблюд, на которого ввалили непосильный груз.

— Поняла? — сказал он.

Леди Харман нахмурилась.

— Я исполняю свой долг... — начала она.

Но сэр Айзек решил высказаться до конца, он должен был излить все, что накопилось в его душе за этот долгий, неприятный день. Он начал было возражать ей, но злоба захлестнула его. Ему вдруг захотелось кричать, осыпать ее оскорблениями, и ничто не могло ему помешать. Поэтому он начал:

— Так вот что ты называешь своим долгом — шляться с мерзкой старой суфражисткой!..

Он умолк, собираясь с силами. Раньше он никогда не давал себе воли перед женой; он никогда и ни перед кем не давал себе воли. В критическую минуту у него никогда не хватало для этого смелости. Но жена — дело особое. Он хотел казаться сильным и сделал это с помощью слов, от которых у тех пор воздерживался. То, что он говорил, невозможно передать на бумаге; он перескакивал с одного на другое. Прошелся насчет Джорджины, насчет чопорности миссис Собридж, потом высказался про истеричность Джорджины, вызванную тем, что она не замужем, про общий упадок женской добродетели, про безнравственность современной литературы, про за-

висимость леди Харман, про несправедливое положение, при котором она купается в роскоши, тогда как он целыми днями работает не покладая рук, про стыд и позор перед прислугой из-за того, что она уехала неизвестно куда.

Свои слова он подкреплял жестами. Он простирал к ней большую уродливую руку с двумя растопыренными, дрожащими пальцами. Уши его покраснели, нос тоже, глаза налились кровью, а щеки побледнели от гнева. Волосы встали дыбом, словно от страха перед собственными его речами. Он в своем праве, он по справедливости требует к себе хоть небольшого внимания, пусть он ничтожество, но этого он не потерпит. Он ее честно предупреждает. Кто она такая, что знает она о том мире, куда лезет? Потом он принялся за леди Бич-Мандарин и выставил ее в самом худшем свете. Если бы только леди Бич-Мандарин могла его слышать...

Леди Харман несколько раз тщетно пыталась заговорить. Его неумолчные крики совершенно ошеломили ее; она была справедлива по натуре, и в душу ей закралось неприятное чувство, что, вероятно, она и в самом деле совершила что-то предосудительное, если вызвала такую бурю. Она испытывала странное и досадное ощущение ответственности за сотрясавшую его ярость, чувствовала, что повинна в этом, как много лет назад чувствовала себя повинной в его слезах, когда он отчаянно молил ее выйти за него замуж. Какой-то неведомый инстинкт вызывал у нее желание утешить его. Это желание утешить — главная женская слабость. Но она по-прежнему не отступала от своего решения объявить ему о новых визитах, которые намеревалась нанести. Воля ее цеплялась за это, как человек на горной тропинке цепляется за скалу при раскате грома. Она стояла, ухватившись за край своего туалетного столика, и несколько раз тщетно пыталась заговорить. Но как только она делала такую попытку, сэр Айзек поднимал руку и кричал почти с угрозой:

— Нет, ты выслушай меня, Элли! Выслушай! — И продолжал говорить еще быстрее...

(Лимбургер в своей любопытной книге «Сексуальные различия души» пишет, что наиболее общее различие между полами, вероятно, заключается в том, что, когда

мужчина ругает женщину, если только он делает это достаточно громко и долго, у нее возникает чувство вины, а когда роли меняются, то у мужчины это вызывает лишь смертельную злобу. Этого, говорит он далее, не понимают женщины, которые надеются, ругая мужчин, заставить их почувствовать то же, что чувствуют сами. Этот материал подтверждается цифровыми данными о «позорных стульях»¹, а дальше тщательно анализируется статистика супружеских преступлений, совершенных в Берлине за 1901—1902 годы. Но пусть исследователь сравнит в этой связи то, что сделала Паулина из «Зимней сказки», и вспомнит свой собственный опыт. Более того, трудно сказать, в какой мере угрызения совести леди Харман были вызваны иной причиной — тем, что она поставила себя в ложное положение, сказав сэру Айзеку неправду.

И вдруг эта бурная сцена в большой розовой спальне, когда сэр Айзек бегал по комнате, останавливался, поворачивался и размахивал руками, а леди Харман в отчаянии цеплялась за туалетный столик и готова была разорваться между своими новыми обязательствами, чувством вины и глубоким инстинктивным сознанием ответственности, столь свойственным женской природе, была прервана, как часто прерывается повествование в романах, только вместо незаменимого многогочия раздался низкий, дрожащий, успокаивающий звук гонга, в который ударил Снэгсби: Бумм! Бум! Буммм!

— А, черт! — взмахнув кулаками, воскликнул сэр Айзек таким тоном, словно это была худшая провинность Эллен. — Ведь мы еще не одеты к обеду!

9

Обед прошел в торжественном молчании, чем-то напоминая придворную церемонию.

Миссис Собридж была, пожалуй, даже слишком деликатна, — она съела немного супу и цыплячье крылышко у себя в комнате. Сэр Айзек спустился вниз первый,

¹ К позорным стульям привязывали в Англии женщин дурного поведения и мошенников.

и жена застала его в огромной столовой — он стоял у камина, широко расставив ноги, и угрюмо ждал ее. Она причесала свои темные волосы как можно проще и надела голубое бархатное домашнее платье, а потом заглянула в детскую, где дети уже спали беспокойным сном.

Муж и жена сели за обеденный стол работы Шератона — гордость сэра Айзека, один из лучших предметов обстановки, какой ему удалось купить, — а Снэгсби с лакеем, напуганные и притихшие, усердно им прислуживали.

Леди Харман и ее муж не обменялись за обедом ни единым словом; сэр Айзек ел суп довольно шумно, как и подобает человеку, с трудом сдерживающему справедливое негодование, и один раз хриплым голосом заметил Снэгсби, что булочка плохо выпечена. В перерывах между блюдами он откидывался на спинку стула и тихонько насвистывал сквозь зубы. Это был единственный звук, нарушавший мягкую тишину. Леди Харман с удивлением обнаружила, что проголодалась, но ела с задумчивым достоинством и пыталась как-то переварить неприятный разговор, который ей пришлось выдержать.

Но это был совершенно неудобоваримый разговор.

Ее сердце снова ожесточилось. Подкрепившись и отдохнув от его крика, она несколько оправилась от унижения и вновь обрела решимость утвердить свою свободу бывать где угодно и думать что угодно. Она стала придумывать какой-нибудь способ заявить об этом так, чтобы не вызвать новый поток упреков. Сказать это в конце обеда? Сказать в присутствии Снэгсби? Но он может напустить на нее даже при Снэгсби, а эта мысль была для нее невыносима. Она смотрела на него поверх старинной серебряной вазы с розами, стоявшей посреди стола, — розы были красивые, самого нового сорта, — и раздумывала о том, как он будет вести себя в том или ином случае.

Обед шел заведенным порядком, и они уже перешли к десерту. Подали вино, Снэгсби положил около своего хозяина сигары и маленькую серебряную зажигалку.

Леди Харман медленно встала, собираясь заговорить. Сэр Айзек остался сидеть, глядя на нее, — в его карих, с красными ободками глазах затаилась ярость.

И она почувствовала, что не может с ним разговаривать.

— Пожалуй, пойду проведу маму, — сказала она наконец после принужденного молчания.

— Она просто притворяется, — сказал сэр Айзек ей вслед, когда она уже выходила из комнаты.

Мать, закутанная в шаль, сидела у камина, и Эллен, как полагается, справилась о ее здоровье.

— У меня только чуть-чуть голова побаливает, — призналась миссис Собридж. — Но сэр Айзек так расстроился из-за Джорджины и из-за... — она запнулась, — из-за всего этого, что я решила не попадаться ему под руку.

— Что же сделала Джорджина?

— Про это написано в газете, дорогая. Вон она на столе.

Эллен прочитала заметку в «Таймс».

— Это Джорджина достала для них билеты, — объяснила миссис Собридж. — Лучше б ей этого не делать. Это было так... так опрометчиво с ее стороны.

Пока леди Харман читала заметку, обе молчали. Потом она положила газету и спросила мать, не нужно ли ей чего-нибудь.

— Я... я надеюсь, теперь все уладилось, дорогая? — спросила миссис Собридж.

— Конечно, — ответила дочь. — Так, значит, тебе ничего не нужно, мама?

— От меня ведь все скрывают.

— Теперь все хорошо, мама.

— Он так на меня накинулся...

— Это было некрасиво... со стороны Джорджины.

— Я в таком трудном положении. Лучше б он не разговаривал со мной обо всем этом... Джорджина меня ни во что не ставит, а теперь вот он... Это так неразумно... Заводить споры. Ты знаешь, дорогая, я все думала, что, если мне ненадолго уехать в Бурнемут...

Ее дочери эта мысль, видимо, понравилась. Она подошла к камину и посмотрела на мать ласковым взглядом.

— Ты не беспокойся, мама, — сказала она.

— Миссис Блекхорн говорила мне, что там есть прелестный тихий пансион у самого моря... Там никто не бу-

дет меня оскорблять. Ты знаешь...— Голос ее дрогнул.— Он оскорблял меня, нарочно хотел оскорбить. Я так расстроена. Никак не могу этого забыть.

Леди Харман вышла на лестницу. Она чувствовала, что ей не у кого искать поддержки. (Если б только она не солгала!) Пересилив себя, она спустилась вниз, в столовую. (Ложь была необходима. И в конце концов это мелочь. Это не должно заслонять главного.)

Она тихо вошла в столовую и увидела мужа у камина, погруженного в мрачные размышления. Рядом, на мраморной каминной доске, стояла рюмка; сэр Айзек потягивал портвейн, несмотря на решительное запрещение врача, и от вина глаза его покрылись красными прожилками, а на обычно бледном лице проступили мелкие красные пятна.

— Ну! — сказал он, резко поднимая голову, когда она закрыла за собой дверь.

У обоих на лицах было выражение, как у боксеров перед схваткой.

— Я хочу, чтобы ты понял...— сказала она и добавила: — Ты так себя вел...

Тут она потеряла самообладание, и голос ее дрогнул. В ужасе она почувствовала, что готова заплакать. Огромным усилием воли ей удалось овладеть собой.

— Не думаю, чтобы ты имел право только потому, что я твоя жена, следить за каждым моим шагом. Ты не имеешь такого права. А я имею право наносить визиты... Так и знай, я поеду на прием к леди Бич-Мандарин. На будущей неделе. И еще я обещала быть у мисс Олимонии к чаю.

— Ну, дальше,— угрюмо буркнул он.

— А еще я поеду на обед к леди Вайпинг; она меня пригласила, и я приняла приглашение. Но это будет позже.

Она замолчала.

Он, казалось, задумался. Потом вдруг лицо его ожесточилось.

— Никуда вы не поедете, миледи,— сказал он.— Можете быть уверены. Не поедете! Ясно?

И, еще крепче стиснув руки, шагнул к ней.

— Вы забываетесь, леди Харман,— сказал он серьезно и решительно, понизив голос.— Вы забыли, кто вы такая. Приходите и говорите мне, что намерены сделать го-то и то-то. Разве вы не знаете, леди Харман, что долг жены велит вам беспрекословно повиноваться мне, делать все, чего я потребую? — Он вытянул худой указательный палец, чтобы подчеркнуть свои слова.— И я ставлю вас повиноваться!

— Я имею полное право...— повторила она.

Но он не обратил на это никакого внимания.

— Что это вы вздумали, леди Харман? Собираетесь развезжать по знакомым. Ну нет! Только не в моем автомобиле и не на мои деньги. Здесь все принадлежит мне, леди Харман, все дал вам я. И если вы намерены иметь целую кучу друзей отдельно от меня, где они будут вас посещать? Во всяком случае не в моем доме! Если я их здесь застану, то вышвырну вон. Мне они не нужны. Я их выгоню. Понятно?

— Я не рабыня.

— Вы моя жена, а жена должна повиноваться мужу. У лошади не может быть две головы, а здесь, в этом доме, голова я.

— Я не рабыня и никогда ею не буду.

— Вы моя жена и должны выполнять условия сделки, которую заключили, когда вышли за меня замуж. Я готов, в разумных пределах, предоставить вам все, чего вы пожелаете, если вы будете выполнять свой долг, как подобает жене. Я вас совсем избаловал. Но шляться одной—таких штучек и потачек не допустит ни один мужчина из тех, кого можно назвать мужчиной. И я не допущу... Вот увидите. Увидите, леди Харман... Вы у меня живо возьметесь за ум! Понятно? Можете начинать свои фокусы хоть сейчас. Давайте сделаем опыт. Посмотрим, что из этого выйдет. Только не думайте, что я буду давать вам деньги, не думайте, что я буду помогать вашей нищей семье, пожертвую ради вас своими убеждениями. Пусть каждый из нас поживет сам по себе, вы идите своей дорогой, а я пойду своей. И посмотрим, кому это скорее надоест, посмотрим, кто пойдет на попятный.

— Я пришла сюда,— сказала леди Харман,— чтобы разумно поговорить...

— Но увидели, что у меня тоже есть разум! — перебил ее сэр Айзек, сдерживая крик.— У меня тоже есть разум!

— Вы это считаете... разумом? А я — нет,— сказала леди Харман и вдруг расплакалась.

Спасая остатки достоинства, она ушла. Он не потрудился открыть перед ней дверь и стоял, чуть сгорбившись, глядя ей вслед и сознавая, что одержал верх в споре.

11

В тот вечер, отпустив горничную, леди Харман некоторое время сидела на низеньком стульчике у камина; сначала она обдумывала события минувшего дня, а потом впала в такое состояние, когда человек не столько думает, сколько сидит в такой позе, будто думает. Скоро она ляжет спать, не зная, что ее ждет завтра. Она никак не могла прийти в себя после бурной сцены, которую вызвало ничтожное ее неповиновение.

А потом произошло нечто невероятное, настолько невероятное, что и на другой день она не могла решить, что это было — сон или явь. Она услышала тихий, знакомый звук. Этого она ожидала меньше всего на свете и резко обернулась. Оклеенная обоями дверь из комнаты мужа приотворилась, потом открылась пошире, и в щель просунулась его голова, имевшая не совсем достойный вид. Волосы были всклокочены, видимо, он уже лежал и вскочил с постели.

Несколько секунд он, не отрываясь, смотрел на нее смущенно и испытующе, а потом все его тело, облаченное в полосатую пижаму, всунулось вслед за головой в комнату. Он виновато подошел к ней.

— Элли,— прошептал он.— Элли!

Она запахнула на себе халат и встала.

— В чем дело, Айзек? — спросила она, удивленная и смущенная этим вторжением.

— Элли,— сказал он все так же шепотом.— Давай помиримся.

— Мне нужна свобода,— сказала она, помолчав.

— Не будь глупой, Элли, — прошептал он с упреком, медленно подходя к ней. — Помиримся. Брось эти глупости.

Она покачала головой.

— Мы должны договориться. Ты не можешь развешать одна бог весть куда, мы должны... должны быть разумны.

Он остановился в трех шагах от нее. В его бегающих глазах теперь не было ни грусти, ни ласковой теплоты — ничего, кроме страсти.

— Послушай, — сказал он. — Все это вздор... Элли, старушка, давай... Давай помиримся.

Она посмотрела на него, и ей вдруг стало ясно, что она вовсе не боится его, что ей это только казалось. Она упрямо покачала головой.

— Это же неразумно, — сказал он. — Ведь мы были самыми счастливыми людьми на свете... В разумных пределах ты можешь иметь все, чего захочешь.

Предложив ей эту сделку, он замолчал.

— Мне нужна независимость, — сказала она.

— Независимость! — отозвался он. — Независимость! Какая еще независимость?

Казалось, это слово сначала повергло его в печальное недоумение, а потом привело в ярость.

— Я пришел помириться с тобой, — сказал он с горечью, — пришел после всего, что ты сделала, а ты тут болтаешь о независимости!

У него не хватало слов, чтобы выразить свои чувства. Злоба вспыхнула на его лице. Он зарычал, поднял сжатые кулаки, и, казалось, готов был наброситься на нее, но потом в яростном исступлении круто повернулся, и полосатая пижама скачками вылетела из ее комнаты.

— Независимость!..

Стук, грохот расшвыриваемой мебели, а потом тишина. Несколько мгновений леди Харман стояла неподвижно, глядя на оклеенную обоями дверь. Потом засучила рукав и больно ущинула свою белую руку.

Нет, это был не сон! Все это произошло в действительности.

Ночью леди Харман проснулась без четверти три и очень удивилась. Было ровно без четверти три, когда она коснулась кнопки хитроумного серебряного приспособления на столике у кровати, которое отбрасывало на потолок светящееся изображение циферблата. Теперь мысли ее уже не просто текли сами по себе, она напряженно думала. Но вскоре поняла, что ничего не может придумать. В памяти все время вертелся обезумевший человечек в полосатой пижаме, который уносился от нее, словно гонимый ураганом. Ей казалось, что это было символом окончательного разрыва, происшедшего в тот день между ней и мужем.

Она чувствовала себя, как государственный деятель, который, ведя какие-то маловажные переговоры, вдруг по оплошности объявил войну.

Она была сильно встревожена. Впереди ей виделись бесчисленные неприятности. При этом она вовсе не была так непоколебимо уверена в правоте своего дела, как подобает безупречному рыцарю. Она была правдива от природы, и ее беспокоило, что в борьбе за свое право на свободу, которой пользуются все в обществе, она вынуждена была молчаливо признать некую правоту мужа, так как скрыла, что ездила с мужчиной. Она гнала сомнения, но в глубине души не была уверена, что женщина вправе свободно разговаривать с мужчинами, кроме своего мужа. Разумом она с презрением отвергла эти сомнения. Но они все равно не покидали ее. И леди Харман изо всех сил старалась от них избавиться...

Она попыталась продумать все снова. А так как думать она не привыкла, то ее мысли вылились в форму воображаемого разговора с мистером Брамли, которому она объясняла затруднительность своего положения. Ей приходилось подыскивать слова. «Понимаете, мистер Брамли,— говорила она мысленно,— я хочу выполнить свой долг жены, обязана его выполнить. Но так трудно решить, где же кончается долг и начинается просто рабство. Я не могу поверить, что долг женщины — слепое повиновение. Женщине необходима... независимость». И тут она задумалась о том, что же значит это слово «независимость», до сих пор такой вопрос не приходил

ей в голову... И пока она обо всем этом думала, в ее воображении все яснее рисовался некий идеализированный мистер Брамли, очень серьезный, внимательный, чуткий, который дает ей умные, спасительные, ободряющие советы, от чего все становится ясным и простым. Такой человек был ей необходим. Она не перенесла бы эту ночь, если бы не могла вообразить мистера Брамли таким. А когда она воображала его таким, то тянулась к нему всем сердцем. Она чувствовала, что накануне не сумела высказаться по-настоящему, уклонилась от самого главного, говорила совсем не то, и все же он так чудесно понимал ее. Не раз он говорил такие слова, как будто читал ее мысли. И она с особой радостью вспоминала, какое озабоченное, задумчивое выражение появлялось иногда в его глазах, словно мыслями он проникал гораздо глубже, чем позволяли ее неловко высказанные сомнения. Он, видимо, обдумывал каждое ее слово и так многозначительно хмыкал...

Ее мысли вернулись к убегающей фигурке в полосатой пижаме. Она страшилась непоправимости разрыва. Что он сделает завтра? И что делать ей? Заговорит ли он с ней за завтраком, или же ей придется заговорить первой?.. Она жалела, что у нее нет денег. Если бы она знала, то запаслась бы деньгами, прежде чем начать...

Мысли ее все кружились, и только на рассвете она заснула.

13

Мистер Брамли тоже плохо спал в эту ночь. Он с огорчением вспоминал один за другим все свои промахи и особенно стычку с кассиром, придумывая, что он мог бы сделать, если бы не сделал то, что сделал. А так он бог весть чего натворил. Он чувствовал, что безнадежно испортил то благоприятное впечатление, которое складывалось о нем у леди Харман, разрушил образ умного, понимающего, талантливого человека, у которого женщина всегда может найти поддержку; он только суетился и был беспомощен, до смешного беспомощен; жизнь представлялась ему скопищем ужасных несообразностей, и он был уверен, что уже никогда не сможет улыбнуться.

Он совсем не думал о том, как встретил леди Харман ее муж. Не очень занимали его и проблемы ответствен-

ности перед обществом, которые леди Харман пыталась перед ним поставить. Слишком сильно было в нем личное разочарование.

Около половины пятого он несколько успокоился на мысли, что в конце концов некоторая непрактичность свойственна писательской натуре, и стал раздумывать, какие цветы мудрости мог бы собрать Монтень с такого дня; он начал, подражая ему, мысленно сочинять очерк и заснул под утро, в десять минут шестого.

У мистера Брамли были и более достойные черты, и, прежде чем расстаться с ним, мы рассмотрим их пристальней, но сейчас, когда он так упал в собственных глазах, от этих черт не осталось и следа.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЛЕДИ ХАРМАН ПОЗНАЕТ СЕБЯ

1

Так разразилась серьезная, давно назревавшая ссора между леди Харман и ее мужем и перешла в прямую вражду.

Не скрывая, что все мои симпатии на стороне леди Харман, я все же вынужден признать, что она начала этот конфликт опрометчиво, необдуманно, без подготовки и ясной цели. Это я особенно должен подчеркнуть: без ясной цели. Она хотела только утвердить за собой право изредка ездить, куда пожелает, выбирать себе друзей — словом, пользоваться обычными правами взрослого человека, и, утверждая это, никак не ожидала, что сюда примешаются экономические вопросы или что между ней и ее мужем произойдет полный разрыв. Это казалось лишь мелким, частным вопросом, но едва к нему прикоснулся сэр Айзек, как десятки других вещей, которые казались бесконечно далекими и о которых она никогда по-настоящему не думала, были втянуты в спор. Все дело в том, что он вмешивал в этот спор многое не только извне, но и изнутри — из мира ее души. Она поняла, что

готова бороться не только за свою свободу, а также за то, о чем раньше и не помышляла, за то, чтобы муж был от нее подалше. Что-то в создавшемся положении толкало ее к этому, и она была удивлена. Это поднялось вдруг, как снайпер из засады. Теперь право уходить из дому стало лишь поводом для того, чтобы потребовать гораздо более широкой независимости. Она даже не смела подумать, как далеко эта независимость может простираться.

Ее охватил страх. Она не была готова так решительно пересмотреть всю свою жизнь. И у нее вовсе не было уверенности в своей правоте. В то время ее представление о брачном договоре склонялось в пользу мужа. В конце концов разве не обязана она ему повиноваться? Разве не должна покорно идти ему во всем навстречу? Разве не обязана выполнять все требования брачного договора? И, когда она вспомнила, как он в полосатой пижаме убежал, охваченный отчаянием, природное чувство долга вызвало в ней угрызения совести. Как ни странно, она была убеждена, что кругом виновата и сама толкнула его на эту дикую и нелепую выходку...

2

Она слышала, как он с шумом встал с постели, а когда спустилась вниз после короткого разговора с матерью, которая все еще оставалась в своей комнате, он уже сидел за столом и жадно, с каким-то остервенением, ел поджаренный хлеб с джемом. Куда девалась заискивающая покорность, с которой он, пытаясь умиловить ее, предлагал помириться, — теперь он, видимо, сердился на нее гораздо больше, чем накануне. Снэгсби, этот домашний барометр, необычайно притих и стал серьезным. Она пробормотала что-то похожее на приветствие, и сэр Айзек с набитым ртом, громко хрустя тостами, буркнул: «Доброе утро». Она налила себе чаю, взяла ветчины и, подняв голову, увидела, что его глаза устремлены на нее с лютой злобой...

Он уехал в своем большом автомобиле, наверное, в Лондон, около десяти часов, а вскоре после полудня она помогла уложиться матери, которая уехала поездом.

Она неловко извинилась, что не может выдать ей обычное небольшое вспомоществование в виде хрустящих бумажек, и миссис Собридж тактично скрыла свое разочарование. Перед отъездом они побывали в детской с прощальным визитом. А потом леди Харман осталась одна и снова стала думать об этом неслыханном разрыве между ней и мужем. Она решила написать письмо леди Бич-Мандарин, подтвердить свое намерение быть на собрании «Общества светских друзей» и осведомиться, состоится ли оно в среду или в четверг. В своем бюро она нашла три пенсовых марки и вспомнила, что у нее совсем нет денег. Некоторое время она обдумывала, к чему это может привести. Что может она предпринять, оставшись без всяких средств?

Леди Харман была не просто правдивой от природы, но болезненно честной. Иными словами, она была простодушна. Ей никогда в голову не приходило, что у мужа с женой все имущество общее, она принимала подарки сэра Айзека так же, как он их подносил, брала их как бы в долг; так было с жемчужным ожерельем стоимостью в шестьсот фунтов, с бриллиантовой тиарой, с дорогими браслетами, медальонами, кольцами, цепочками и кулонами — он подарил ей необычайно красивый браслет, когда родилась Милисента, ожерелье за Флоренс, веер, разрисованный Чарлзом Кондером¹ за Аннет, и великолепный набор старинных испанских драгоценностей — желтые сапфиры в золотых оправах — в благодарность за младшую дочку, — так было со всевозможными кошельками, сумочками, шкатулками, безделушками, нарядами, со спальней и будуаром, заваленными всякими предметами роскоши, и поскольку любой торговец готов был предоставить леди Харман кредит, ей довольно долго не приходило в голову, что есть какие-нибудь средства раздобыть карманные деньги иначе, как прямо попросить их у сэра Айзека. Она рассматривала свою наличность — два пенса, но что можно было на них купить!

Конечно, она подумала, что может, пожалуй, достать денег взаймы, но ее честность и тут свя-

¹ Кондер, Чарлз (1869—1909) — английский художник, известный в свое время работами в декоративном духе.

зывала ей руки, так как она не была уверена, что сможет отдать долг. И кроме того, к кому ей было обратиться?

Но на второй день вечером случайное слово, оброненное Питерс, навело ее на мысль, что она может продать кое-какие из своих вещей. Она обсуждала с Питерс, что надеть к обеду,— ей хотелось что-нибудь простенькое, элегантно и скромное, а Питерс, которая не одобряла такую политику и была сторонницей женских уловок, когда нужно умиловить мужа, принялась восхищаться жемчужным ожерельем. Она хотела таким способом побудить леди Харман надеть его, думая, что тогда сэр Айзек, быть может, сменит гнев на милость, а если сэр Айзек смилостивится, Снэгсби, и ей, и всем остальным будет от этого прямая выгода. Питерс вспомнила про одну даму, которая подменила жемчуга фальшивыми, а настоящие продала — вот ведь какая хитрая,— и она рассказала эту историю своей госпоже без всякого умысла, просто сболтнула.

— Но если никто не заметил подмены,— сказала леди Харман,— откуда вы это знаете?

— Все открылось только после ее смерти, миледи,— сказала Питерс, причесывая госпожу.— Говорят, муж подарил ожерелье другой леди, а та, миледи, отдала его оценить...

Когда в голову леди Харман приходила какая-нибудь мысль, то отвязаться от нее бывало уже нельзя. Слегка подняв брови, она рассматривала вещицы на своем туалетном столике. Сначала мысль распорядиться ими по своему усмотрению казалась ей совершенно бесчестной, и если уж она не могла выбросить эту мысль из головы, то постаралась по крайней мере отмахнуться от нее. И все же она впервые в жизни стала оценивать то одну, то другую сверкающую вещичку. А потом вдруг поймала себя на том, что раздумывает, есть ли среди этих драгоценностей такие, которые она по совести может считать своими собственными. Скажем, обручальное кольцо и, пожалуй, некоторые другие безделушки, которые сэр Айзек подарил ей до свадьбы. Потом — ежегодные подарки на день рождения. Ведь уж подарки-то наверняка принадлежат ей! Но продать — значит самовольно распорядиться своей собственностью. А леди Харман

со школьных времен, когда она себе в убыток торговала марками, ничего не продавала, если не считать, конечно, что она раз и навсегда продала себя.

Поглощенная этими коварными мыслями, леди Харман вдруг поймала себя на том, что пытается разузнать, как продают драгоценности. Она попробовала выпытать это у Питерс, снова заведя разговор про историю с ожерельем. Но от Питерс ничего не удалось добиться.

— Где же можно продать ожерелье? — спросила леди Харман.

— Есть такие места, миледи, — сказала Питерс.

— Но где же?

— В Вест-Энде, миледи. Там таких мест полно. Там все сделать можно, миледи. Надо только знать как.

Больше Питерс ничего не могла сообщить.

Как продают драгоценности? Леди Харман так заинтересовал этот вопрос, что она стала забывать о сложных моральных проблемах, которые прежде ее занимали. Покупают ли ювелиры драгоценности или же только продают? Потом она вспомнила, что их можно отдать в заклад. А подумав о закладе, леди Харман попыталась представить себе ссудную кассу и уже не отвергала с такой решительностью всякую мысль о продаже. Вместо этого в ней крепло убеждение, что если она что-нибудь продаст, то только кольцо с бриллиантом и сапфиром, которое она не любит и никогда не носит — сэр Айзек подарил его ей в день рождения два года назад. Но конечно, она и не подумает что-нибудь продавать, в крайнем случае только заложит. Поразмыслив, она решила, что лучше, пожалуй, не спрашивать Питерс, как отдают вещи в заклад. Ей пришла мысль справиться в «Британской энциклопедии», и она узнала, что в Китае ссудные кассы не имеют права взимать более трех процентов годовых, что король Эдуард III заложил в 1338 году свои драгоценности, а отец Бернардино ди Фельтре, который учредил ссудные кассы в Ассизи, Падуе и Павии, впоследствии был канонизирован, но ей не удалось узнать ничего определенного о том, как это делается. Но тут она вдруг вспомнила, что Сьюзен Бэрнет прекрасно знакома с ссудными кассами. Сьюзен ей все расскажет. Она заявила, что занавеси в каби-

нете нуждаются в починке, посоветовалась с миссис Крамбл и, экономя свои скудные средства, велела ей срочно отправить письмо Сьюзен с просьбой прийти как можно скорее.

3

Давно известно, что судьба далеко не оригинальна. Но по отношению к леди Харман, во всяком случае, в эту пору ее жизни, судьба была если не оригинальна, то благосклонна и несколько старомодна. Ссору с мужем осложнило то, что две девочки заболели или по крайней мере несколько дней казались больными. По всем законам английской чувствительности это должно было привести к немедленному примирению у одра болезни. Но ничего подобного не произошло, путаный клубок ее мыслей запутался еще больше.

На другой день, после того как она своевольно уехала на завтрак, у ее старшей дочери, Милисенты, температура поднялась до ста одного градуса, а потом и у младшей, Аннет, температура подскочила до ста. Леди Харман поспешила в детскую и взяла там власть в свои руки, чего раньше никогда не бывало. Она еще раньше начала беспокоиться о здоровье детей и усомнилась, не начинают ли опыт и искусство няньки миссис Харблону несколько притупляться от постоянного употребления. Бурная ссора с мужем побудила ее решительно не допускать никаких непорядков в детской, и она менее всего была склонна полагаться на прислугу, нанятую сэром Айзеком. Она сама поговорила с врачом, поместила отдельно двух раскрасневшихся и недовольных девочек, принесла им игрушки, которыми они, как оказалось, почти не играли, потому что слугам было велено почаще их чистить и прятать, и два последующих дня почти все время провела на детской половине.

Она была несколько удивлена, обнаружив, что это доставляет ей удовольствие и миссис Харблону, еще недавно подавлявшая ее своим непререкаемым авторитетом, покорно ей повинуется. Чувство это сродни тому удивлению, которое испытывают дети, когда подрастают и мо-

гут дотянуться до какой-нибудь полки, которая прежде была недосягаемой. Тревога вскоре улеглась. В первый свой визит доктор еще затруднялся сказать, не проникла ли в детскую Харманов корь, которая в те времена свирепствовала в Лондоне в особенно заразной форме; но на другой день он уже склонен был думать, что это простая простуда, и еще до вечера его предположение подтвердилось — температура упала, девочки совершенно выздоровели.

Но молчаливое примирение у постелек мечущихся в лихорадке детей не состоялось. Сэр Айзек только нарушил тяжелое молчание, под которым скрывал свою злобу, и буркнул:

— Вот что бывает, когда женщины шляются бог весть где!

Сказав это, он сжал губы, сверкнул глазами, погрозил ей пальцем и ушел.

Мало того, болезнь детей не только не уменьшила пропасть между ними, а даже расширила ее до неожиданных размеров. Леди Харман начала понимать, что к детям, которых она родила, ее привязывает лишь материнский инстинкт и долг, но в ней совсем нет той гордости и восхищения, из которых рождается самоотверженная материнская любовь. Она знала, что мать должна испытывать к детям возвышенную нежность, но почти со страхом чувствовала, что некоторые черты в ее детях ей ненавистны. Она знала, что должна любить их слепо; но, проведя ужасную бессонную ночь, поняла, что это совсем не так. Конечно, они были такие слабенькие, и когда их крохотные тельца страдали, она готова была умереть, только бы им стало легче. Но она не сомневалась, что если бы на ее попечении оказались чужие дети, столь же беспомощные, она испытала бы то же самое.

Но по-настоящему неприязнь к детям она почувствовала, когда, раскапризничавшись во время болезни, они поссорились. Это было ужасно. Милисента и Аннет были прикованы к своим кроваткам, и Флоренс, вернувшись с утренней прогулки, не преминула воспользоваться этим и припрятала их любимые игрушки. Она взяла их не для того, чтобы поиграть, а самым серьезным образом спрятала в шкафчик у окна, который

считался ее собственным, — сгибаясь под их тяжестью, она с трудом тащила все это через детскую. Но Милисента неведомо как догадалась, что происходит, и подняла крик, требуя вернуть драгоценную кукольную мебель, а вслед за ней заревела и Аннет, требуя своего медвежонка Тедди. Слезы и шум не прекращались. Больные настаивали, чтобы все их игрушки принесли к ним в постели. Флоренс сперва хитрила, но потом с ревом вынуждена была отдать свою добычу. Медвежонка Тедди отобрали у малышки после отчаянной борьбы, в которой ему чуть не оторвали заднюю лапу. В наше чадолюбивое время нелегко описывать такие вещи, тем более если нельзя не сказать, что все четверо, охваченные собственной страстью до самой глубины своего существа, явно обнаружили в своих острых носиках, покрасневшихся личиках, сосредоточенных глазах поразительное родственное сходство с сэром Айзеком. Он выглядывал из-под тонких нахмуренных бровей Милисенты и размахивал кулачками Флоренс с круглыми ямочками, словно бог попытался сделать из него четырех ангелов, а он, несмотря ни на что, вылезал наружу.

Леди Харман ласково и заботливо старалась их успокоить, но в ее темных глазах затаилось отчаяние. Она уговаривала и ублажала детей, удивляясь, до чего же они не похожи на нее. Малышка успокоилась, только когда получила новехонького белого медвежонка, которого было очень трудно достать — пришлось послать Снегби на Путни-Хай-стрит, и он нес медвежонка с такой торжественностью, что даже уличные мальчишки смотрели ему вслед с благоговением. Аннет заснула, окруженная своими сокровищами, но сразу же проснулась и заревела, когда миссис Харблону попыталась убрать некоторые игрушки с острыми краями. А леди Харман вернулась в свою розовую спальню и долго думала обо всем этом, пытаясь вспомнить, были ли они с Джорджиной, которым и не снилась в детстве такая роскошь, столь же бессердечными и жадными, как эти ненасытные маленькие клещи у нее в детской. Она пыталась внушить себе, что и они были точно такими же, что все дети — маленькие, злые, эгоистичные создания, — и изо всех сил старалась отогнать странное чувство, что

эти дети как будто бы навязаны ей, что они совсем не такие, каких она представляла себе и хотела иметь — ласковых и добрых...

4

Сьюзен Бэрнет явилась в воинственном настроении и принесла леди Харман новую пищу для размышлений об отношениях между мужем и женой. Ей на глаза попала газетная реклама, и она узнала, какое отношение имеет сэр Айзек к «Международной хлеботорговой и кондитерской компании».

— Сперва я не хотела и приходить,— сказала Сьюзен.— Право слово, не хотела. Я глазам своим не верила. А потом подумала: «Но ведь она-то тут ни при чем. Она-то уж тут, наверное, ни при чем!» Вот никогда не думала, что придется переступить порог человека, который разорил отца и довел его до отчаянности... Но вы были ко мне так добры...

Что-то похожее на рыдание прервало искреннюю и простую речь Сьюзен, раздираемой противоречивыми чувствами.

— Вот я и пришла, — сказала она с принужденной улыбкой.

— Я рада, что вы пришли,— сказала леди Харман.— Я хотела вас видеть. И знаете, Сьюзен, я очень мало, право же, очень мало знаю о делах сэра Айзека.

— С охотой верю вам, миледи. У меня и мысли такой не было, что это вы... Не знаю, как это объяснить, миледи.

— Уверяю вас, это не я,— сказала леди Харман, ловя ее мысль на лету.

— Я знала, что это не вы,— сказала Сьюзен с облегчением, видя, что ее поняли.

Обе женщины смущенно переглянулись, забыв про занавеси, которые Сьюзен пришла «привести в порядок», и леди Харман только из робости не поцеловала Сьюзен как сестру. Но проникательная Сьюзен почувствовала этот поцелуй и в том же воображаемом мире несовершенных поступков горячо на него ответила.

— А тут еще беда — моя младшая сестра и другие девушки устроили стачку,— сказала Сьюзен.— Это было

на той неделе. Все официантки «Международной компании» объявили стачку, вчера на Пикадилли они пикетировали кафе, и Элис с ними. Толпа кричала, подбадривала их... Я рада бы правую руку отдать, лишь бы эта девчонка образумилась!

И Сьюзен в метких, ярких словах нарисовала картину кризиса, угрожавшего дивидендам и репутации «Международной хлеботорговой и кондитерской компании». Причины, которые его вызвали, коренились в том, что не были удовлетворены требования блестящего печатного органа — «Лондонского льва». «Лондонский лев» дал первый толчок. Но совершенно очевидно, что эта газета лишь выразила, оформила и раздула давно глевшее недовольство.

Рассказ Сьюзен был беспристрастен в самой своей непоследовательности, у нее не было цельного суждения о происходившем, а скорее пестрая мозаика противоречивых суждений. Ее рассказ был в духе пост-импрессионизма, в манере Пикассо. Она была твердо убеждена, что как бы плохо ни платили, как бы ни были тяжелы условия труда, бастовать — это постыдное проявление глупости, неблагодарности и общей испорченности; но не менее твердо она была убеждена, что «Международная компания» так обращается со своими служащими, что ни один разумный человек не должен этого терпеть. Она сурово осуждала сестру и глубоко ей сочувствовала, винила во всем то газету «Лондонский лев», то сэра Айзека, то некую маленькую круглолицую девушку Бэбс Уилер, которая, как выяснилось, была главарем стачки и вечно залезала на столы в разных кафе, или на львов на Трафальгар-сквере, или под приветственные крики толпы шествовала по улицам.

Но когда Сьюзен в беспомощных словах обрисовала «Международную компанию» сэра Айзека, не осталось сомнения в том, что представляет собой эта компания. Мы то и дело видим вокруг себя нечто подобное, создание низменного, энергичного ума, не облагоустроенного культурой и оснащенного действительными орудиями цивилизации: у сэра Айзека крестьянская сметка сочеталась с цепким, острым умом выходца из гетто, он был хитер, как нормандский крестьянин или еврейский торговец, и, кроме того, отталкивающе туп и отвратителен. Это был

новый и в то же время давно знакомый образ ее мужа, но только теперь она видела не маленькие жадные глазки, острый нос, отталкивающие манеры и мертвенно-бледное лицо, а магазины, кафе, инструкции, бухгалтерские книги, крикливую рекламу и безжалостное лихорадочное стремление заполучить все и вся — деньги, монополию, власть, положение в обществе, — все, чем восхищаются и чего ждут другие, вождение вместо живой души. Теперь, когда глаза у нее наконец раскрылись, леди Харман, прежде так мало видевшая, увидела слишком многое; она увидела все, что было от нее скрыто, и даже более того, — картина получилась карикатурная и чудовищная. Сьюзен уже рассказывала ей про печальную судьбу мелких конкурентов сэра Айзека, которые, оказавшись в безвыходном положении, либо шли в богадельню, либо опускались, либо попадали к нему в полнейшую зависимость; примером тому был ее бедный отец, который был доведен до отчаяния, а потом с ним произошел «несчастный случай»; теперь же она красноречивыми намеками описала огромный механизм, который заменил разоренные пекарни и принес сэру Айзеку грязную награду от либеральной партии, рассказала про то, как расчетливо раздувают вражду между девушками и управительницами, которые обязаны в виде обеспечения вложить в дело свои жалкие сбережения и отчитываться буквально в каждой крошке полученных продуктов, и про то, как инспектора нарочно выискивают упущения и неполадки, чтобы как-то оправдать свои двести фунтов в год, не говоря уж о том, что они получают проценты с налагаемых ими штрафов.

— А тут еще этот маргарин, — сказала Сьюзен. — Все филиалы компании получают масла меньше, чем отпущено, потому что вода из него отжимается, а маргарина всегда излишек. Конечно, по правилам смешивать масло с маргарином запрещено, и ежели кого поймают, то сразу гонят с работы, но надо же как-то окупить это масло, так что никуда не денешься. Люди, которые никогда и не помышляли о мошенничестве, поневоле станут мошенничать, когда на них каждый день такая напасть, миледи... И девушек кормят остатками. Из-за этого все время неприятности, это, конечно, не по правилам, но все равно девушек кормят остатками. Что может поделаться уп-

равительница? Если она этого не сделает, то ей придется платить за остатки из своего кармана. А ведь она вложила в дело все свои деньги... Нет, миледи, так притеснять людей — это не по-божески. Это только безбожникам наруку. Люди перестают уважать закон и порядок. Вот, скажем, наш Люк, он совсем озлобился, говорит, в писании сказано: «Не заграждай рта волу, когда он молотит», — но они заграждают волу рот, и морят его голодом, и заставляют работать, когда он нагнет голову за обедками...

И Сьюзен, раскрасневшись, с блестящими глазами, горячо заговорила о человеке, о его величии, которое должно было служить источником любви, покоя, мысли, могло бы дать нам искусство, радость, красоту, — обо всем, что слепо, неуверенно тянется к счастью, к надежде, к сокровенным тайнам духа и чуждо этой низменной напористости, этого неодолимого и пагубного сочетания крестьянской скупости и алчности выходца из гетто, этой дурацкой «деловитости», которая правит теперь миром.

А потом Сьюзен стала рассказывать о своей сестре, которая работала официанткой.

— Она-то живет с нами, но есть много таких, которым жить негде. Сейчас вот всюду кричат про «торговлю белыми рабами», но если и есть на свете белые рабы, так это те девушки, которые сами зарабатывают свой хлеб и остаются честными. Но никто и не подумает наказать тех людей, которые на них наживаются...

Выложив все, что она слышала о тяжелых условиях в пекарнях и о несчастных случаях с фургонщиками, которые работают по потогонной системе, перенятой сэром Айзеком у одного американского дельца, Сьюзен обрушилась на стачку официанток, в которой участвовала ее сестра.

— Она сама впуталась, — сказала Сьюзен. — Дала себя втянуть. Как я ее просила не поступать туда на работу. Это хуже каторги, говорила я ей, в тысячу раз хуже. Умоляла чуть не на коленях...

Непосредственной причиной стачки, как видно, был один из лондонских управляющих, очень плохой человек.

— Он пользуется своим положением, — сказала Сьюзен с пылающим лицом, и леди Харман, которая уже

достаточно хорошо ее знала, не стала допытываться о подробностях.

И вот, слушая этот сбивчивый, но яркий рассказ о великом деле пищевого снабжения, полезность которого она так долго принимала на веру, и видя своего мужа совсем в ином, новом для нее свете, леди Харман испытывала в душе ложный стыд из-за того, что она слушает все это, как будто подглядывая за чужим человеком. Она знала, что должна это выслушать, но боялась вмешаться не в свое дело. Женщины, с их пылкими чувствами, с живым и гибким умом, глубоко романтичные и неизменно благородные, инстинктивно противятся, когда их хотят втянуть в мир дел и политики. Они хотели бы верить, что эта сторона жизни устроена основательно, мудро и справедливо. Их не переделаешь ни за день, ни за целое поколение. Для них это почти то же, что родиться заново — столкнуться с печальной истиной, что мужчина, который ради них занимается делами и доставляет им жилье, еду, тряпки и всякие безделушки, добывает все эти чудесные вещи вовсе не на ниве плодоносного, созидательного труда, это все равно что вновь испытать муки родов.

5

Леди Харман была так взволнована красноречивыми откровениями Сьюзен Бэрнет, что, только вернувшись к себе в комнату, вспомнила о необходимости что-то заложить. Она снова пошла в кабинет сэра Айзека, где Сьюзен, сняв все необходимые мерки, уже собиралась уходить.

— Ах, Сьюзен! — сказала она.

Ей было трудно приступить к делу. Сьюзен ждала с почтительным интересом.

— Я хотела вас спросить вот о чем... — сказала леди Харман и, замолчав, плотно закрыла дверь.

Сьюзен заинтересовалась еще больше.

— Видите ли, Сьюзен, — сказала леди Харман с таким видом, словно речь шла о чем-то вполне обычном, — сэр Айзек очень богат и, конечно, очень щедр... Но иногда бывают нужны собственные деньги.

— Я вас вполне понимаю, миледи, — сказала Сьюзен.

— Я так и думала, что вы меня поймете,— сказала леди Харман и продолжала, немного ободрившись: — А у меня не всегда бывают собственные деньги. Порой это затруднительно.— Она покраснела.— У меня много всяких вещей... Скажите, Сьюзен, вам приходилось что-нибудь закладывать?

Наконец-то она произнесла это слово.

— С тех пор, как я стала работать, не приходилось,— сказала Сьюзен.— Не люблю я этого. Но когда я была маленькая, мы часто закладывали всякие вещи. Даже кастрюли!..

И она вспомнила три таких случая.

Леди Харман тем временем вынула какую-то блестящую вещицу и держала ее между большим и указательным пальцами.

— Если я обращаюсь в ссудную кассу где-нибудь здесь, по соседству, это может показаться странным... Вот кольцо, Сьюзен, оно стоит тридцать или сорок фунтов. Глупо, что оно лежит без дела, когда мне так нужны деньги...

Но Сьюзен ни за что не хотела взять кольцо.

— Я никогда не закладывала таких ценных вещей,— сказала она.— А вдруг... вдруг меня спросят, на какие деньги я его купила. Элис и за год столько не зарабатывает. Это...— она посмотрела на сверкающую драгоценность,— это будет подозрительно, если я его принесу.

Положение стало несколько неловким. Леди Харман снова объяснила, как ей необходимы деньги.

— Ну хорошо, для вас я это сделаю,— сказала Сьюзен.— Так уж и быть. Но... только вот что...— Она покраснела.— Вы не подумайте, что я отговариваюсь. Но ведь наше положение совсем не то, что у вас. Есть вещи, которые трудно объяснить. Можно быть очень хорошим человеком, но люди ведь этого не знают. Приходится быть осторожной. Мало быть просто честной. Если я возьму это... Вы, может быть, просто напишете записочку вашей рукой и на вашей бумаге... Что, мол, просите меня... Скорей всего мне и не придется ее показывать...

— Я напишу записку,— сказала леди Харман. Но тут ее поразила новая неприятная мысль.— Скажите,

Сьюзен... из-за этого не пострадает какой-нибудь честный человек?

— Нужно быть осторожной,— сказала Сьюзен, которая хорошо знала, что нашему высокоцивилизованному государству пальца в рот не кладут.

6

С каждым днем леди Харман все больше думала о своих отношениях с сэром Айзеком, ее беспокоило, что он делает и что намерен делать. Вид у него был такой, словно он задумал недоброе, но она не могла догадаться, что именно. Он почти с ней не разговаривал, но часто и подолгу смотрел на нее. Все чаще и чаще проявлялись признаки близкого взрыва...

Как-то утром она тихо стояла в гостиной, неотвязно думая о том же: отчего их отношения остаются враждебными, и вдруг увидела на столике у камина, рядом с большим креслом, незнакомую тонкую книжку. Сэр Айзек читал ее здесь накануне и, по-видимому, оставил специально для нее.

Она взяла книжку. Оказалось, что это «Укрощение строптивой» в прекрасном издании Хенли — каждая пьеса издана отдельной книгой, удобной для чтения. Любопытствуя узнать, отчего это вдруг ее мужа потянуло к английской литературе, она перелистала книжку. Она не очень хорошо помнила «Укрощение строптивой», потому что Харманы, как почти все богатые и честолюбивые люди, принимая горячее участие в проектах увековечения бессмертного Шекспира, редко находили досуг почитать его творения.

Перелистывая книгу, она заметила на страницах карандашные пометки. Сначала некоторые строчки были просто подчеркнуты, а дальше, для большей выразительности, отмечены волнистой линией на полях.

Но милая жена со мной поедет;
Не топай, киска, не косись, не фыркай —
Я своему добру хозяин полный.
Теперь она имущество мое:
Мой дом, амбар, хозяйственная утварь,

Мой конь, осел, мой вол — все что угодно,
Вот здесь она стоит. Посмейте тронуть —
И тут же я разделаюсь с любимым,
Кто в Падуе меня задержит ¹.

Слегка покраснев, леди Харман стала читать дальше и вскоре нашла еще страницу, всю изукрашенную знаками одобрения сэра Айзека...

Она задумалась. Намерен ли он выступить в роли Петруччо? Нет, он не посмеет. Есть же слуги, знакомые, общество... Он не посмеет...

Удивительная это была пьеса! Шекспир, конечно, замечательно умен, это венец английской мудрости, вершина духовной жизни — иначе у него можно было бы найти кое-какие глупости и неловкости... Разве женщины в наши дни думают и чувствуют так же, как эти замужние дамы елизаветинских времен, которые рассуждают, как девочки, весьма передовые, но все же едва достигшие шестнадцати лет...

Она прочла заключительный монолог Катарины и, совершенно забыв про сэра Айзека, не сразу заметила карандашную пометку — знак его одобрения бессмертным словам:

Муж повелитель твой, защитник, жизнь,
Глава твоя. В заботах о тебе
Он трудится на суше и на море,
Не спит ночами в шторм, выносит стужу,
Пока ты дома нежишься в тепле,
Опасностей не зная и лишений.
А от тебя он хочет лишь любви,
Приветливого взгляда, послушанья —
Ничтожной платы за его труды.
Как подданный обязан государю,
Так женщина — супругу своему.
Когда ж жена строптивая, зла, упряма,
И не покорна честной воле мужа, —
Ну чем она не дерзостный мятежник, —
Предатель властелина своего?
За вашу глупость женскую мне стыдно,
Вы там войну ведете, где должны,
Склонив колени, умолять о мире...

И я была заносчивой, как вы,
Строптивую и разумом и сердцем.

¹ Шекспир. «Укрощение строптивой», акт III, сц. 2. Перевод П. Мелковой.

Я отвечала резкостью на резкость,
На слово — словом; но теперь я вижу,
Что не копьём — соломинкой мы бьемся,
И только слабостью своей сильны¹.

Она не возмущалась. В этих строчках было нечто такое, что пленило ее мятежное воображение.

Она чувствовала, что и сама могла бы так же сказать о мужчине.

Но этого мужчину она представляла себе так же смутно, как английский епископ — господина бога. Он был весь окутан тенью; у него был только один признак — он совершенно не был похож на сэра Айзека. И она чувствовала, что эти слова напрасно вложены в уста сломленной женщины. Сломленная женщина такое не скажет. Но женщина может сказать это, если дух ее не сломлен, как королева может подарить королевство своему возлюбленному от полноты сердца.

7

В тот же вечер, когда леди Харман узнала кое-что таким образом о мыслях сэра Айзека, он позвонил по телефону и сказал, что у них будут обедать Чартерсон и Горацио Бленкер. Ни леди Чартерсон, ни миссис Бленкер приглашены не были; предстояла деловая встреча, а не светский прием, и он хотел, чтобы она надела черное с золотом платье, а к волосам приколола пунцовый цветок. Чартерсон хотел поговорить с ловким Горацио о сахаре, прибывшем в лондонский порт, а сэр Айзек смутно рассчитывал, что несколько глубокомысленных, но джентльменских статей Горацио могут изменить всеобщее отношение к забастовке официанток. Кроме того, у Чартерсона, видимо, было еще кое-что на уме; он ничего не сказал сэру Айзеку, но обдумывал возможность приобрести контрольный пакет акций газеты «Дейли спирит», которая пока не определила свою позицию относительно торговли сахаром, и сделать ее редактором Адольфа, брата Горацио. Он собирался выведать у Горацио, чего хочет Адольф, а потом уж приняться за самого Адольфа.

¹ Шекспир. «Укрощение строптивой», акт V, сц. 2. Перевод П. Мелковой.

Леди Харман приколола к волосам пунцовый цветок, как того хотел ее муж, а на стол поставила большую серебряную вазу с пунцовыми розами. Сэр Айзек, который слегка хмурился, при виде ее послушания повеселел.

Чартерсон, как ей показалось, стал еще огромней, чем прежде, но потом, встречаясь с ним, она всякий раз с удивлением замечала, что он кажется ей огромней прежнего. Он дружески удержал ее руку в своей широкой лапе и с неподдельным интересом справился о здоровье детей. Длинные зубы торчали из-под его нелепых усов, и от этого казалось, что он все время улыбается, а уши — одно больше другого — делали его смешным. Он всегда относился к ней отечески, как и подобает человеку, женатому на красивой женщине, которая годилась ей в матери. И даже когда он справлялся о детях, то делал это с самоуверенным сознанием своего превосходства, как будто и впрямь знал о детях все, о чем она и понятия не имела. И хотя серьезный разговор он вел только с мужчинами, но то и дело обращал на нее внимание, бросал ей какой-нибудь дружеский вопрос или шутовское, двусмысленное замечание. Бленкер по своему обыкновению едва ее замечал, как бесплотного духа, к которому надо относиться с явной, но равнодушной вежливостью. Ему было не по себе, он едва мог совладать со своим беспокойством. Как только он увидел Чартерсона, он сразу понял, что речь пойдет о сахаре, а ему меньше всего на свете хотелось разговаривать на эту тему. У него был свой кодекс чести. Конечно, приходится идти на уступки хозяевам, но он все же считал, что если бы они признали его джентльменство, которое только слепой мог не заметить, это было бы лучше для газеты, для партии, для них самих и уж, конечно, для него. Он не такой дурак и понимает, что к чему в этой истории с сахаром. Они должны ему доверять. Он то и дело выдавал свое волнение. Все время крошил хлеб, пока с помощью неутомимого Снэгсби, который всякий раз подавал ему новый кусок, не накрошил целую гору, уронил очки в тарелку с супом — тем самым дав Снэгсби прекрасную возможность проявить выдержку, — забыл, что нельзя резать рыбу специальным ножом для рыбы, как учит нас леди Гроув, а когда заметил свою оплошность, попытался украдкой положить нож на стол. Мало



«ЖЕНА СЭРА АИЗЕКА ХАРМАНА»



«ЖЕНА СӨРА АЙЗЕКА ХАРМАНА»

того, он все время поправлял очки — уже после того как Сивгсби поспешно унес его тарелку, вынул их оттуда, вытер и отдал ему, — пока от такого усердия нос у него не заблестел. Суп, соусы и все прочее оставалось у него на усах. Словом, из-за этих очков, салфеток, закусок и всего прочего мистер Бленкер суетился, как молодой воробей. Леди Харман в своем черном платье исполняла обязанности хозяйки, скромно оставаясь в тени, и, пока у нее не вырвались под конец неожиданные вопросы, нарушившие разговор, ограничивалась тем, что отвечала, когда к ней обращались, и ни разу за весь обед не взглянула на мужа.

Сначала разговор поддерживал главным образом Чартерсон. Он хотел дать Бленкеру оправиться и заговорить о деле, когда подадут портвейн и леди Харман уйдет. Легко и непринужденно он болтал о всякой всячине, как часто болтают мужчины в клубах, так что только после рыбы речь зашла о деловых вопросах и сэр Айзек, слегка подогретый шампанским, прервал свое неловкое, напряженное молчание, которое хранил в присутствии жены. Горацию Бленкер был крайне заинтересован в том, чтобы возвести в идеал торговые синдикаты, его глубоко взволновала книга мистера Джералда Стэнли Ли под заглавием «Вдохновенные миллионеры», которая доказывала, что богатым людям непременно свойственно великолепное достоинство, и он изо всех сил старался попасть в тон книги и видеть вдохновенных миллионеров в сэре Айзеке и Чартерсоне, а также привлечь к ней их внимание и внимание читателей газеты «Старая Англия». Он чувствовал, что, если только сэр Айзек и Чартерсон будут рассматривать накопление денег как творческий акт, это безмерно возвысит их, и его, и газету. Конечно, методы и направление газеты придется существенно изменить, но зато они будут чувствовать себя благороднее, а Бленкер был из тех тонких натур, которые искренне стремятся облагородиться. Он терпеть не мог пессимизма, самобичевания и копания в себе, от которого слабые люди и становятся пессимистами; он хотел помочь этим слабым людям и хотел, чтобы ему самому помогли, он всей душой стоял за тот оптимизм, что в каждой навозной куче видит роскошный трон, и его взволнованные, яркие замечания были по-

добны лилиям, которые пытаются расцвести в сточной канаве.

Ибо напрасно стали бы мы отрицать, что разговор между Чартерсоном и сэром Айзеком не был сплошным потоком низменных идей; у них даже не хватало ума притвориться, напустить на себя важность. До духовного роста, жизненной энергии и бодрости людей, которые от них зависели, им было не больше дела, чем крысе до крепости дома, который она грызет. Им нужны были люди, сломленные духовно. Здесь они проявляли упорную, отвратительную тупость, и мне непонятно, почему мы, люди, читающие и пишущие книги, должны относиться к этой тупости хотя и иронически, но все же снисходительно только потому, что она так распространена. Чартерсон заговорил о назревающих беспорядках, которые могут привести к забастовке докеров, и заявил, что может сказать лишь одно — он повторил это несколько раз: «Пускай их бастуют. Мы готовы. Чем скорей они начнут, тем лучше. Девонпорт¹ — надежный человек, и на этот раз мы их одолеем...»

Он вообще много говорил о стачках.

— В сущности, проблема сводится к тому, будем ли мы сами решать свои дела, или же они будут распоряжаться вместо нас. Да, да, именно распоряжаться!..

— Конечно, они ничего не смыслят в организации, — сказал Бленкер, желая блеснуть умом, и быстро повернул голову сначала вправо, а потом влево. — Ровным счетом ничего.

Сэр Айзек высказался в этом же смысле. Он втайне надеялся, что этот разговор откроет глаза его жене и она поймет величие его деятельности, поразительную широту его размаха, все его достоинства. Он обменялся с Чартерсоном замечаниями о потогонной системе доставки товаров, разработанной американским специалистом, и Бленкер, покраснев от восторга, стал, как бы объясняя это леди Харман, разглагольствовать о том, что пустяковое изменение в устройстве откидного борта может дать годовую экономию на зарплате во много тысяч фунтов.

¹ Девонпорт, Хадсон (1856—1934) — английский политический деятель и торговец, в 1909—1925 годах — начальник управления лондонского порта.

— Этого-то им и не понять,— сказал он.

А потом сэр Айзек рассказал о собственных маленьких изобретениях. Недавно он распорядился печатать данные о падении и росте прибыли в процентах по разным округам на почтовых открытках, которые каждый месяц рассылаются управляющим всех филиалов, украшенные такими бодрящими замечаниями, оттиснутыми красными буквами: «Превосходно, Кардифф!» или: «Чего ж Портсмут захирел?» — и это дало поразительные результаты: «Все стали работать ноздря в ноздю»,— сказал он, после чего зашел разговор о тайных отчетах и неожиданных ревизиях. А потом они заговорили о том, в чем правы и в чем не правы бастующие официантки. И тут леди Харман приняла участие в разговоре.

Она решила задать вопрос.

— Скажите,— начала она вдруг, и ее вмешательство было до того неожиданным, что все трое мужчин повернулись к ней.— А сколько эти девушки получают в неделю?

— Но я думала,— продолжала она, выслушав смущенные объяснения Бленкера и Чартерсона,— что чаевые запрещены.

Бленкер объяснил, что сэр Айзек предусмотрительно старался принимать на работу девушек, которые живут с родителями. Для семьи их заработок «дополнительный».

— Ну, а как же те, которые не живут с родителями, мистер Бленкер? — спросила она.

— Таких очень мало,— сказал мистер Бленкер, поправляя очки.

— Но как же они?

Чартерсон не мог взять в толк, почему леди Харман задает такие вопросы, действительно ли она делает это по неведению.

— Иногда из-за штрафов у них почти ничего не остается от недельного заработка,— сказала она.

Сэр Айзек пробормотал что-то невнятное, можно было расслышать только: «Совершенный вздор».

— По-моему, им ничего другого не остается, как идти на улицу.

Это были слова Сьюзен. В то время леди Харман не совсем понимала их значение, и, только произнеся их,

она увидела по тому, как судорожно вздрогнул Горацио Бленкер, до какой степени все шокированы. Горацио еще раз уронил очки. Он поймал их и надел снова, причем, казалось, старался заставить свой нос, лицо сохранить тщательно рассчитанное выражение, не выдать себя; свободной рукой он слабо теребил салфетку. Он словно держал ее про запас, на случай, если лицо совсем перестанет ему повиноваться. Чартерсон долго смотрел на нее молча, разинув рот; потом обратился к хозяину с наигранным добродушием.

— Не нам решать эти ужасные вопросы, как по-вашему? — сказал он со вздохом. И продолжал внушительно: — Харман, дела на Дальнем Востоке опять складываются подозрительно. Говорят, не исключена революция даже в Пекине...

Леди Харман увидела вдруг руку Снэгсби и услышала у себя над ухом его деликатное дыхание, когда он очень осторожно, но с опечаленным и укоризненным видом убрал ее тарелку...

8

Если бы леди Харман не заметила сразу, какое впечатление произвели ее слова на гостей, она поняла бы это после их ухода, когда сэр Айзек, вне себя от бешенства, вошел к ней. Он был до того разъярен, что даже сломал на своих губах печать молчания. Он ворвался через оклеенную обоями дверь в ее розовую спальню, как будто между ними была прежняя близость. От него пахло сигарами и вином, рубашка была испачкана и смята, а бледное лицо покрыто красными пятнами.

— Это еще что такое? — закричал он. — Как вы посмели поставить меня в дурацкое положение перед этими людьми?.. Чего вы суетесь в мои дела?

Леди Харман не знала, что ответить.

— Я вас спрашиваю, чего вы суетесь в мои дела? Это касается меня одного. У вас не больше права вмешиваться, чем у первого встречного. Понятно? Что вы в этом понимаете? Как можете судить, что правильно, а что нет? Да еще эти слова, с которыми вы вылезли, о господи! Ведь Чартерсон, когда вы ушли, сказал: «Право, она не знает, наверняка не знает, что говорит!» И это

порядочная женщина! Леди! Говорит, что девушек вынуждают идти на улицу. Стыд и срам! Удивляюсь, как вы осмеливаетесь смотреть мне в глаза... А все эти проклятые газеты и брошюрки, весь этот бред, эти гнилые романы забивают головы приличных женщин всякой дрянью и мерзостью. Пора заткнуть им глотку ихними же писаниями, пора с этим покончить!

И вдруг сэр Айзек предался отчаянию.

— В чем я провинился? — вскричал он. — В чем? Все было так хорошо! Мы могли бы быть счастливейшими людьми на свете! Мы богаты, у нас есть все... Но ты забрала себе в голову эти глупости, снюхалась со всякими подонками, стала социалисткой... Да, да, именно социалисткой!

Пафос его исчерпался.

— Скажешь, нет? — заорал он во всю глотку. Он весь побелел и помрачнел. Потом снова заговорил, гроззя пальцем для вящей убедительности: — Я положу этому конец, миледи. Гораздо скорей, чем вы думаете. И точка!

В дверях он помедлил. У него была вульгарная любовь к эффектной реплике под занавес, а эта фраза казалась ему слабоватой.

— Я положу этому конец, — повторил он и вдруг, как пьяный, с необычайной яростью, выкатив глаза и потрясая кулаками, с нечестивой яростью жадного, прижимистого крестьянина завопил: — Это кончится скорей, чем ты думаешь, черт тебя подери!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СЭР АЙЗЕК В РОЛИ ПЕТРУЧЧО

1

Дважды сэр Айзек чуть не выдал спешные и энергичные приготовления, которые он, не разговаривая с женой, развернул, дабы сломить ее непокорность. Действуя решительно, он надеялся преодолеть отчуждение, заставить ее смириться. Он все еще не хотел верить,

что ссора между ними, ее упрямое желание добиться этой недопустимой свободы — свободы общаться с кем угодно и бывать где угодно, ее дерзкие вопросы и вызывающее поведение, судя по которому могло показаться, что он ей чуть ли не отвратителен, — что все это имеет глубокие корни в ее душе; он отчаянно цеплялся за совсем иное объяснение — что она жертва той зреющей смуты, тех взглядов, которые можно назвать только упадочными, и той прямоты, которую можно назвать только неприличной, всего того, что омрачает наш духовный небосвод; и он все еще считал, что она прелестное создание, хотя ее и коснулось разложение, жертва «идей», тех «идей», что источал отравленный ум ее сестры, что проникали из опрометчиво напечатанных газетных статей, из пьес, так неосмотрительно пропускаемых цензурой, из книг «ослепленных» писателей — как благодарить архиепископа Йоркского за это умное, выразительное словечко! — из неосторожных разговоров гостей, которых не следовало и на порог пускать, из самой атмосферы Лондона. И ему становилось все яснее, что его долг перед самим собой, перед всем миром и перед ней — увезти ее, поселить в более чистой и простой обстановке, куда не проникает эта зараза, ограждать ее, заставить успокоиться и вернуться к той молчаливой покорности, к тому безропотному подчинению, благодаря которым она была ему такой чудесной и милой подругой в первые годы их супружеской жизни. Эти планы родились в его изворотливом, предусмотрительном уме еще задолго до рокового завтрака у леди Бич-Мандарин. Блэк Стрэнд с первого же взгляда показался ему подходящим для этой важной цели, а ссора с женой лишь дала выход той неиссякаемой энергии, благодаря которой он стал Наполеоном среди пекарей, кондитеров, владельцев кафе, и направила эту энергию по уже готовому руслу.

Проведя долгую бессонную ночь после сумасбродной поездки жены в Хэмптон-Корт, он первым делом решил разыскать мистера Брамли. В клубе мистера Брамли он узнал, что этот джентльмен переночевал там и всего четверть часа назад уехал в Блэк Стрэнд. Сэр Айзек пустился за ним по горячим следам и, все больше исполняясь решимости, к полудню был на месте.

Увидев гостя, мистер Брамли несколько смутился, но вскоре понял, что сэр Айзек ничего не знает о том, как он провинился перед ним накануне. Он приехал купить Блэк Стрэнд, купить немедленно, и дело с концом. Оказалось, что он намерен купить дом со всеми пристройками и обстановкой, как есть, целиком. Мистер Брамли, скрывая торжество и ощущение радостной свободы, какое человек испытывает, лишь продав все, что имеет, был тверд, но не слишком упрямым. Сэр Айзек торговался как сумасшедший, потом надбавил цену, и они сразу стали составлять купчую, сев за красивое бюро с неизменной розой, которую Юфимия поставила там, когда мистер Брамли был молод, но уже имел успех на литературном поприще.

Когда с этим было покончено — а все заняло не больше пятнадцати минут, — сэр Айзек извлек из своего автомобиля несколько помятого молодого архитектора, как фокусник извлекает из шляпы кролика, а из Эйлхема примчался в пролетке строитель — его вызвали телеграммой, — и сэр Айзек тут же на месте принялся обсуждать всякие изменения, пристройки и, особенно заботясь о детях, пожелал превратить пустующий сарай во флигель под детскую, соединив его с домом коридором, который должен был пройти через кустарник.

— На это потребуется три месяца, — сказал строитель из Эйлхема. — Время года сейчас самое неблагоприятное.

— На это не потребуется и трех недель, если я пришлю сюда моих молодцов из Лондона, — возразил сэр Айзек.

— Но ведь придется штукатурить...

— Мы не будем штукатурить.

— Стены можно обить материей или оклеить обоями, — сказал молодой архитектор.

— Да, материей и обоями, — сказал сэр Айзек. — И потом надо использовать эти новые патентованные панели для коридора. Я видел рекламу.

— Их можно побелить, тогда стыки будут почти незаметны, — сказал молодой архитектор.

— Ну, если так, дело другое, — сказал строитель из Эйлхема с грустной покорностью.

И вот в одно прекрасное утро сюрприз был готов. Это произошло через четыре дня после разговора леди Харман с Сьюзен, и на другой день она должна была прийти снова и принести деньги, которые дали бы леди Харман возможность вскоре поехать на обед к леди Вайпинг. На собрании «Общества светских друзей» ей побывать так и не удалось, но как раз накануне Агата Олимони заехала за ней в наемном автомобиле, и они, выпив чаю, вместе отправились на заседание комитета «Общества шекспировских обедов». Сэр Айзек оставил этот вызывающий поступок без внимания, и леди Харман, как никогда, уверенная в себе, ничего не подозревая, спустилась в это теплое, солнечное октябрьское утро в столовую, где ее ждал сюрприз. Там она увидела трепещущего Снэгсби, который замер с подносом перед сэром Айзеком, а тот, к ее удивлению, стоял, неестественно широко расставив ноги, у камина в каком-то странном твидовом костюме и гетрах.

— Хорошо, Снэгсби,— сказал сэр Айзек, когда она вошла.— Принесите все.

Она перехватила взгляд Снэгсби, не суливший ничего доброго.

В последнее время его взгляд утратил былую уверенность. Она замечала это и раньше, но теперь это было особенно заметно: казалось, почва ускользала у него из-под ног, он терял веру в прочность того мира, где он некогда распоряжался всем. Их взгляды встретились лишь на миг; его глаза то ли предостерегали ее, то ли молили о сочувствии; потом он вышел. Она посмотрела на стол. Сэр Айзек предусмотрительно уже позавтракал.

Леди Харман, все больше удивляясь, молча села среди общего хаоса и принялась завтракать.

Сэр Айзек откашлялся.

Потом она поняла, что он сказал что-то.

— Что ты сказал, Айзек? — переспросила она, поднимая голову. Он еще шире расставил ноги, рискуя упасть, и заговорил с нарочитой твердостью.

— Мы уезжаем отсюда, Элли,— сказал он.— Сейчас же уезжаем из Лондона.

Леди Харман откинулась на спинку стула и посмотрела на его хмурое, решительное лицо.

— Что это значит? — спросила она.

— Я купил дом у этого Брамли, Блэк Стрэнд. Мы переедем туда сегодня же. Я уже распорядился... Когда позавтракаешь, уложи вместе с Питерс свои вещи. Большой автомобиль будет подан к половине одиннадцатого.

Леди Харман задумалась.

— Но я приглашена на обед к леди Вайпинг, — сказала она.

— Это меня не касается... по всей видимости, — сказал сэр Айзек с насмешкой. — Так вот, автомобиль будет к половине одиннадцатого.

— Но я приглашена на обед...

— Об этом мы подумаем в свое время.

Муж и жена посмотрели друг на друга.

— Мне надоело жить в Лондоне, и я решил переменить обстановку. Понятно?

Леди Харман чувствовала, что против этого можно было бы выдвинуть веские возражения, но не находила их.

Сэру Айзеку пришла в голову удачная мысль. Он позвонил.

— Снэгсби, — распорядился он, — скажите Питерс, чтобы она уложила вещи леди Харман...

— Как же это! — сказала леди Харман, когда дверь за Снэгсби закрылась. Она готова была горячо протестовать, но ее снова остановила и обезоружила чисто женская уверенность, что если она отважится на это, то непременно расплачется или еще как-нибудь даст волю своим чувствам. А что, если подняться наверх и запретить Питерс укладывать вещи?..

Сэр Айзек медленно подошел к окну и постоял там, глядя в сад.

Наверху, в его комнате, раздался громкий стук. Несомненно, там что-то упаковывали...

Леди Харман, чувствуя себя все более униженной, поняла, что не может спорить с ним в присутствии слуг, тогда как его это нимало не смущает.

— Но дети... — сказала она наконец.

— Миссис Харблону уже все знает, — бросил он через

плечо.— Я сказал ей, что это маленький сюрприз.— Он повернулся к ней, и на миг в нем проснулось своеобразное чувство юмора.— Как видишь, это и впрямь маленький сюрприз.

— А как же этот дом?

— Пускай пока постоит запертый... Какой смысл жить здесь, где мы не можем быть счастливы? Как знать, возможно, там нам скорее удастся поладить...

Смущенная леди Харман подумала, что, пожалуй, ей лучше пойти взглянуть, как обстоят дела в детской. Сэр Айзек проводил ее подозрительным взглядом, пошвыстал сквозь зубы, потом подошел к телефону.

В прихожей она увидела двух странного вида молодых людей в зеленых фартуках, которые помогали лакею переносить шляпы, пальто и другие вещи в моторный фургон, стоявший у подъезда. Она услышала, как две служанки, топая, побежали наверх, по лестнице.

— За полчаса разве уложишь сундук! — сказала одна.

В детской девочки неистово спорили, какие игрушки взять с собой.

Леди Харман была поражена до глубины души. Сюрприз удался на славу.

3

Кажется, Лимбургер в своей книге, на которую мы уже ссылались, сказал, что ничто так не поражает и не покоряет женщину, как внезапное и полное насилие над ней, осторожное, но целеустремленное, и мы должны признать, что леди Харман, которая имела вид не столько возмущенный, сколько беспомощный и трогательный, это внезапное бегство от светской, моральной и духовной грязи Лондона показалось, хотя она ни за что не признала бы этого, не только интересным, но даже увлекательным. Ее нежные брови поднялись. И, бездействуя одна среди всей этой суеты, она подумала, что, должно быть, в незапамятные времена Лот вот так же собирал свое движимое имущество.

Она сделала лишь одну-единственную попытку протестовать.

— Айзек, — сказала она, — ведь это просто смешно...

— Молчи уж лучше! — отмахнулся он от нее. — Молчи! Говорить надо было раньше, Элли. А теперь время действовать.

Ей вспомнился Блэк Стрэнд: что ж, в конце концов, там так мило. Она уладила споры в детской, а потом задумчиво пошла укладывать свои вещи. Питерс она застала в состоянии той полнейшей беспомощности, которая так свойственна горничным во всем мире.

От Питерс она узнала, что вся прислуга, мужская и женская, должна уехать в Сэррей.

— Наверное, они очень удивлены? — спросила леди Харман.

— Да, мэм, — ответила Питерс, стоя на коленях перед чемоданом. — Но, конечно, раз канализационные трубы не в порядке, чем скорей мы уедем, тем лучше.

(Так вот как он объяснил им отъезд!)

Услышав шум мотора, леди Харман подошла к окну и увидела, что в переезде будут участвовать четыре фургона «Международной компании». Огромные, одинаковые, они ждали у подъезда. А потом она увидела Снэгсби — он бежал, да, именно бежал от ворот к дому в своей шерстяной куртке. Конечно, бежал он не очень быстро, но все-таки бежал бегом, и страдальческое выражение его лица свидетельствовало, что сэр Айзек гонял его с какими-то необычными и неподобающими его должности поручениями... А потом из-за угла показался лакей или по крайней мере его быстро мелькающие ноги — все остальное было скрыто под целой горой картонок с рубашками и прочими вещами сэра Айзека. Он свалил их в ближайший фургон, глубоко вздохнул и вернулся в дом, бросив укоризненный взгляд на окна.

Отчаянный рев малютки, которая в то утро громче обычного выражала свое нежелание одеваться, заставил леди Харман отойти от окна.

Поездка в Блэк Стрэнд не обошлась без неприятных приключений; близ Фархэма лопнула шина, и пока Клэрэнс лениво возился с запасным колесом, их обогнал второй автомобиль с детьми, которые хором пронзительно закричали: «А мы приедем вперее-ед! Мы вперее-ед!», — а потом большой наемный автомобиль, где сзади сидели горничные, миссис Крамбл и Снэгсби — печальный и круглый, как полная луна, а рядом с шофе-

ром втиснулся деловитый лакей. Следом проехал первый фургон «Международной компании», а потом их автомобиль наконец тронулся, и они пустились вдогонку...

Когда они приехали, леди Харман взглянула на Блэк Стрэнд, и ей показалось, что он весь перекосялся, словно от флюса, и чудесная гармония его куда-то исчезла.

— Ах! — воскликнула она.

Сарай, приспособленный для новых целей и словно покрасневший от натуги, сразу бросался в глаза, его милые старые стены зияли сверкающими окнами, а сбоку, над крышей, поднималась тонкая кирпичная труба. Сарай соединялся с домом изящным коридором с яркими стенами, а остатки кустарника были вытоптаны, и под навесами были свалены кирпичи, сваи и всякие другие строительные материалы. Блэк Стрэнд уже не был больше в руках любителей, он оказался во власти тех могучих созидательных сил, которые строят теперь нашу цивилизацию.

Кудри жасмина над крыльцом были нещадно острижены; дверь, казалось, привезли прямо из тюрьмы. В прихожей еще сверкали яркими красками копии с картин Карпаччо, но почти вся мебель покрылась слоем пыли, и водопроводчик не спеша выносил свой инструмент, как все водопроводчики, в последнюю минуту. Миссис Рэббит, со слезами на глазах, в черном дорожном платье, как и приличествовало случаю, рассказывала самой молодой и неопытной из горничных правдивую историю о прошлом мистера Брамли.

— Мы все были счастливы здесь, — говорила она, — как птички в своем гнездышке.

В окно было видно, как два садовника из Путни вместо сомнительных роз мистера Брамли сажали другие — испытанных, надлежащих сортов...

— Я постарался, как мог, приготовить дом для тебя, — сказал Айзек жене на ухо, заставив ее вспомнить первый приезд в Путни.

— Ну вот, — сэр Айзек с деланным дружелюбием начал фразу, которую явно придумал заранее, — теперь, когда мы далеко от всех этих лондонских глупостей и ни-

кто не будет становиться между нами, нам с тобой надо поговорить, Элли, и разобраться что к чему.

Они позавтракали вместе в маленьком холле-столовой — дети с миссис Харблоу устроили шумный и веселый пикник на кухне, — и теперь леди Харман стояла у окна, глядя, как садовники вырывают кусты роз и сажают вместо них новые.

Она повернулась к нему.

— Да, — сказала она, — мне кажется... мне кажется, так дальше продолжаться не может.

— Я, во всяком случае, не могу, — сказал сэр Айзек.

Он тоже подошел к окну и стал смотреть на садовников.

— Может быть, пойдем погуляем? — И он кивком головы указал на сосновый бор, темневший за куртиной Юфимии. — Там нам не будет так мешать этот стук...

Муж с женой медленно шли через залитый солнцем и все еще прекрасный сад. Оба с грустью понимали. Они решили поговорить. Никогда в жизни они еще не говорили друг с другом открыто и честно о чем бы то ни было. Право, не будет преувеличением сказать, что они вообще ни о чем не говорили. Она была молода и, развиваясь духовно, ощупью искала пути, а он знал, чего хотел, но никогда не считал нужным говорить с ней об этом. А теперь он тоже решил высказаться. Потому что, злясь и говоря громкие слова, сэр Айзек за последние три недели действительно много думал о своей жизни и об их отношениях; никогда еще он столько не думал ни о чем, кроме сокращения расходов своей компании. До сих пор он или говорил с ней несерьезно, как с ребенком, делал ей замечания, или же кричал. К этому и сводилось их духовное общение, как и у большинства супругов. Все его попытки объясниться с ней до тех пор выливались в трескучие нравоучения. Но его это не удовлетворяло, он еще больше нервничал. Стремясь серьезно высказаться, он тонул в собственных излияниях.

Теперь ему хотелось объясниться с ней просто и убедительно. Хотелось говорить спокойно, веско, проникновенно, тихим голосом и заставить ее отказаться от всех и всяких взглядов, кроме его собственных. Он шел медленно, раздумывая о предстоящем разговоре, тихо

насвистывая сквозь зубы и втянув голову в плечи, прикрывшие воротником теплой дорожной куртки, когорую он надел, потому что простудился. А ему нужно было беречься от простуды из-за своего плохого здоровья. Она тоже чувствовала, что ей много есть о чем сказать. И много у нее было на уме такого, чего она сказать не могла, потому что после этой необычной ссоры ей открылось немало неожиданного; она обнаружила и разглядела в себе неприязнь к таким вещам, на которые прежде закрывала глаза...

Сэр Айзек, запинаясь, начал говорить, как только они вышли на песчаную, кишевшую муравьями тропу, которая полого поднималась меж деревьев. Он притворился удивленным. Сказал, что не понимает, чего она «добивается», почему это ей «вздумалось» затеять «все эти неприятности»; он желал знать только, чего она хочет, как, по ее мнению, должны они жить, каковы, на ее взгляд, его права как мужа и ее обязанности как жены, — конечно, если она вообще считает, что у нее есть какие-то обязанности. На эти вопросы леди Харман не дала определенного ответа; отчуждение между ней и мужем, вместо того чтобы прояснить ее мысли, еще больше их запутало, так как она осознала, насколько он ей чужд. Поэтому она ответила уклончиво: сказала, что хочет иметь возможность распоряжаться собой, что она уже не ребенок и имеет право читать книги по своему выбору, видаться с кем хочет, изредка выезжать одна, пользоваться некоторой независимостью... Тут она замаялась: «И иметь определенную сумму денег на расходы».

— Разве я когда-нибудь отказывал тебе в деньгах? — возмущенно воскликнул сэр Айзек.

— Не в этом дело, — сказала леди Харман. — Важно чувствовать...

— Чувствовать, что ты можешь противоречить каждому моему слову, — сказал сэр Айзек с горечью. — Как будто я не понимаю!

Леди Харман не могла объяснить, что дело совсем не в этом.

Сэр Айзек притворно-рассудительным тоном стал внушать ей, что, на его взгляд, муж и жена не могут иметь разный круг друзей. Не говоря уж обо всех про-

чих соображениях, объяснил он, неудобно выезжать порознь; а что до чтения или самостоятельности суждений, то он никогда против этого не возражал, лишь бы это не было «гнильем», которое никакой порядочный муж не потерпит; ведь она просто не понимает, к счастью, до чего это гнилье может довести. Ослепляющий вздор. Он едва удержался, чтобы как архиепископ, не предать все это анафеме, и сохранил рассудительный тон. Конечно, согласился он, было бы превосходно, если бы леди Харман могла быть хорошей женой и в то же время совершенно независимой личностью, просто превосходно, но беда в том — здесь он впал в почти иронический тон, — что она не может быть одновременно двумя различными людьми.

— Но ведь у тебя же есть свои друзья, — сказала она, — и ты едешь к ним один...

— Это совсем другое, — сказал сэр Айзек, и в голове его на миг зазвучало раздражение. — У меня с ними деловые отношения. Я совсем не о том.

Леди Харман чувствовала, что им не удастся убедить друг друга. Она упрекнула себя в том, что говорит недостаточно ясно. И начала снова, подойдя к вопросу с другой стороны. Она объяснила, что сейчас жизнь ее не может быть полной, что она живет только наполовину, у нее есть лишь дом, семья и больше ничего; вот у него есть дела, он выезжает в свет, занимается политикой... и «всякими там вещами»; у нее же всех этих интересов нет, и заменить их тоже нечем...

Сэр Айзек резко прервал ее, сказав, что этому надо только радоваться, и разговор снова зашел в тупик.

— Но я хочу все это знать, — сказала она.

Сэр Айзек задумался.

— Кроме семьи, есть еще многое, — сказала она. — Общество, различные интересы... Неужели я никогда не смогу участвовать в этом...

Сэр Айзек все еще раздумывал.

— Я хочу знать только одно, — сказал он наконец, — и нам лучше выяснить это сейчас же.

Но он все еще колебался.

— Элли!... — Он осекся. — Ты не... Ты не разлюбила меня?

Она промолчала.

— Послушай, Элли! — сказал он изменившимся голосом.— Может быть, под всем этим что-то кроется? Ты что-нибудь скрываешь от меня?

Она посмотрела на него с недоумением и затаенным страхом.

— Что-нибудь...— сказал он и побледнел, как полотно.— Может быть, тут замешан другой мужчина, Элли?

Она вся вспыхнула от жгучего негодования.

— Айзек! — сказала она.— Что ты говоришь? Как у тебя язык повернулся?

— Если это так,— сказал сэр Айзек, и на его лице вдруг появилось зловещее выражение,— тогда я... я убью тебя... А если это не так,— продолжал он задумчиво,— отчего может женщина вдруг потерять покой? Отчего она хочет быть подальше от мужа, встречаться с чужими людьми, шляться бог весть где? Когда женщина довольна, ей ничего не нужно. Она не думает о всяких причудах... не жалуется, не рвется никуда. Ну, я понимаю, твоя сестра... но ты! У тебя есть все, чего может пожелать женщина: муж, дети, прекрасный дом, платья, великолепные драгоценности — все, что душе угодно. Отчего же ты хочешь еще чего-то, хочешь где-то бывать? Это просто детские капризы. Но если ты хочешь выезжать и у тебя нет мужчины...— Он вдруг схватил ее за руку.— Говори, у тебя нет мужчины?— спросил он.

— Айзек! — вскрикнула она испуганно.

— Значит, будет. Ты меня за дурака считаешь, думаешь, я не знаю всех этих писателей и светских хлыщей. Я все знаю. Я знаю, что муж и жена должны быть вместе, а стоит им разлучиться, разойтись в стороны... Может быть, тебе просто захочется полюбоваться лунным светом, развлечься в обществе или еще что-нибудь, а чужой мужчина уж тут как тут, он подкарауливает за углом каждую женщину, так же, как чужая женщина — каждого мужчину. Думаешь, у меня нет соблазнов? Ого! Я все знаю. Что такое жизнь и весь мир, если не это? А все вышло так потому, что у нас больше не рождаются дети, потому что мы послушались дураков, которые сказали, что это слишком, оттого ты и начала жаловаться, потеряла покой. Мы встали на неверный путь, Элли, и должны вернуться к простому, здоровому образу жизни. Понимаешь? Вот чего я хочу, и для этого мы сюда

приехали. Нужно спастись. Я был слишком... слишком современным, и все такое. Я хочу быть настоящим мужем, как велит долг. Я должен защитить тебя от всех этих идей, защитить от тебя самой... Вот что, Элли, по моему разумению, нужно сделать.

Он замолчал, высказав все, что, видимо, давно было у него на уме.

Леди Харман хотела ответить. Но едва она открыла рот, как голос ее дрогнул, и она расплакалась. На миг у нее перехватило дыхание. Но она решилась продолжать, несмотря на слезы. Пусть она не могла сдержаться, но нельзя было допустить, чтобы из-за этого ей навсегда заткнули рот.

— Совсем не этого,— сказала она,— я ожидала... от жизни... не этого...

— Такова жизнь,— прервал ее сэр Айзек.

— Когда я думаю о том, что потеряла...— продолжала она, рыдая.

— Потеряла!— воскликнул сэр Айзек.— Потеряла! Продолжай, Элли, мне это нравится! Как! Потеряла! Черт возьми! Надо смотреть правде в глаза. Ты не можешь отрицать... Такая партия... Ты сделала блестящую партию.

— Но как же прекрасное, как же идеальное?

— А что в мире прекрасно?— воскликнул сэр Айзек с презрением.— Где эти идеалы? Вздор! Если угодно исполнять свой долг и быть разумной— вот идеал, а не метаться и лезть на рожон. В нашей жизни, Элли, нужно иметь чувство юмора...— И привел пословицу:— Что посеешь, то и пожнешь.

Оба замолчали. Они дошли до вершины холма, и показалась реклама, которую она впервые увидела, когда была здесь с мистером Брамли. Она остановилась, он сделал еще шаг и тоже остановился. Он вспомнил свои соображения насчет дорожных реклам. Ведь он хотел все переменить, но за другими заботами это совсем вылетело у него из головы...

— Значит, ты хочешь заточить меня здесь, как в тюрьме,— сказала леди Харман у него за спиной. Он обернулся.

— Хороша тюрьма! Я хочу только, чтобы ты жила здесь и вела себя, как подобает жене.

— У меня должны быть деньги.

— Ну, это... это целиком будет зависеть от тебя. И ты это прекрасно знаешь.

Она серьезно посмотрела на него.

— Я этого не стерплю,— сказала она наконец с кротким упрямством.

Она произнесла это совсем тихо, и ему даже показалось, что он ослышался.

— Что? — переспросил он резко.

— Я этого не стерплю,— повторила она.— Нет, не стерплю.

— Но... что же ты сделаешь?

— Не знаю,— серьезно сказала она, подумав.

Несколько мгновений он перебирал все возможности.

— Не тебе это говорить,— сказал он и подошел к ней вплотную. Еще немного, и он обрушил бы на нее поток назиданий. Его тонкие, бледные губы сжались. — Не стерпишь! А ведь мы могли бы быть так счастливы! — буркнул он, пожал плечами и с выражением печальной решимости на лице повернул назад к дому. Она медленно последовала за ним.

Он чувствовал, что сделал все, чего можно ожидать от терпеливого и разумного мужа. А теперь будь что будет.

5

Заточение леди Харман в Блэк Стрэнд продолжалось ровно две недели без одного дня.

Все это время, кроме тех случаев, когда сэру Айзеку из-за стачки приходилось заниматься делами, он посвятил осаде. Он всячески старался дать жене почувствовать, как мало он использовал власть, которой закон его облек, как мало она чувствовала его права мужа и свой долг жены. Иногда он дулся, иногда хранил нарочито холодное достоинство, а иногда по-мужски озлоблялся на ее непокорное молчание. Он не давал ей передышки в этой борьбе, в которой едва сдерживался, чтобы не ударить ее. Бывали минуты, когда ей казалось, что для нее нет больше ничего в мире, кроме этих старомодных супружеских отношений, этой борьбы — кто

кого, и она со страхом чувствовала, что грубая рука насильника вот-вот схватит ее за плечо или стиснет запястье. Перед насилием она терялась, в отчаянии чувствовала, что мужество изменяет ей и она готова покориться. Но в ту самую минуту, когда сэр Айзек почти решился прибегнуть к силе, у него не хватало духа. Он бросил на нее свирепые взгляды, грозил и отступал. Дальше этого дело пока не шло.

Она не могла понять, почему от Сьюзен Бэрнет нет никаких вестей, но скрывала свою тревогу и разочарование под напускным достоинством.

Она старалась побольше бывать с детьми и, пока сэр Айзек не запер пианино, часто играла, удивляясь, что открывает в Шопене многое, о чем и не подозревала прежде, когда научилась бегло его играть. В самом деле, она нашла в Шопене удивительные чувства, которые волновали, смущали и все же нравились...

Погода в ту осень стояла хорошая и ясная. Золотое солнце щедро сияло весь октябрь и начало ноября, и леди Харман много дней провела среди красот, которые строитель из Эйлхема не успел обезобразить, свести, выжечь, сровнять с землей — словом, сделать то, что делают все строители в садах с тех пор, как стоит мир. Она сидела в гроте, на том самом месте, где они сидели с мистером Брамли, и вспоминала их знаменательный разговор, гуляла меж сосен по склону холма и долгие часы проводила среди вечнозеленых растений Юфимии, иногда размышляя, а иногда просто наслаждаясь теплой нежностью природы, такой чуждой тяготам человеческой жизни. Гуляя среди красивых куртин, по лужайкам и по саду, леди Харман думала с удивлением и любопытством, что именно здесь ей суждено подражать бессмертной Элизабет, быть мудрой, остроумной, веселой, вызывающей, смелой со своим «повелителем» и добиться успеха. Но, очевидно, тут была какая-то разница в темпераменте или еще что-то, существенно менявшее дело. Прежде всего мужчина был совсем иной. Она вовсе не чувствовала радости, все сильнее возмущалась этим провябанием и, не имея иного выбора, страдала от своей слабости и бессилия.

Несколько раз она уже готова была сдаться. Стояли дни, согретые поздним осенним теплом; это было как бы

искусственно вскормленное лето; воздух пронизывало истомой; меж деревьев маячила голубая дымка, навевая мысли о тщетности борьбы с судьбой. Почему бы, в конце концов, не принять жизнь такой, какова она есть, или, вернее, такой, какой хотел ее сделать сэр Айзек? Не так уж она плоха, — убеждала она себя. И дети — конечно, носики у них чуть длинные и острые, — но ведь бывают дети и хуже. Может быть, следующий ребенок будет больше похож на нее. Кто она такая, чтобы пересматривать уготованную ей судьбу и выразить недовольство?

Что бы там ни было, а все же в мире столько светлого и прекрасного — деревья, цветы, закаты и восходы, музыка, голубая дымка и утренняя роса... Конечно, есть и тяжкий труд, и жестокость в деловом мире, и беспощадная конкуренция, но, может быть, вместо того, чтобы бороться с мужем своими слабыми силами, лучше попытаться убедить его? Она попробовала себе представить, как именно она могла бы его убедить...

И вдруг, подняв голову, она с бесконечным удивлением увидела мистера Брамли, который, размахивая руками, весь красный и взволнованный, спешил к ней через крокетную площадку.

6

У леди Вайпинг, ожидая леди Харман, не селились за стол ровно тридцать пять минут. Сэр Айзек несколько перестарался и сразу же перехватил записку, которую его жена в спешке написала, предупреждая леди Вайпинг, что, вероятно, не сможет у нее быть. Предполагалось, что леди Харман будет в центре внимания, на обед были приглашены лишь те люди, которые уже знали ее, а также те, которые жаждали чести быть ей представленными, и леди Вайпинг дважды звонила в Путни, прежде чем оставила всякую надежду туда дозвониться.

— Телефон выключен, — сказала она в отчаянии, возвращаясь во второй раз после борьбы с этим великим средством связи. — Никто не отвечает.

— Это все он, мерзкий карлик, — сказала леди Бич-Мандарин. — Он ее не пустил. Уж я-то его знаю.

— Ах, я без нее совсем как без рук! — сказала леди Вайпинг, входя в столовую и окидывая взглядом накрытый стол.

— Но в таком случае она, конечно, прислала бы записку, — сказал мистер Брамли, с тревогой и разочарованием глядя на пустое место слева от себя, где еще сиротливо лежала маленькая карточка с надписью: «леди Харман».

Разговор, разумеется, все время вертелся вокруг Харманов. И, разумеется, леди Бич-Мандарин высказывалась резко и прямо, награждая сэра Айзека многими неслестными именами. Кроме того, она изложила свои взгляды на брак будущего, требовавшие весьма и весьма строгого обращения с мужьями.

— Половина состояния мужа и всех доходов, — заявила леди Бич-Мандарин, — должна быть записана на имя жены.

— Но станут ли мужчины жениться на таких условиях? — возразил мистер Брамли.

— Мужчины все равно станут жениться, — сказала леди Бич-Мандарин. — На любых условиях.

— Именно такого мнения придерживался сэр Джошуа, — сказала леди Вайпинг.

Все дамы за столом согласились с этим, и только один веселый холостяк адвокат осмелился спорить. Другие мужчины нахмурились и угрюмо отмалчивались, не желая обсуждать этот общий вопрос. И, любопытное дело, даже мистер Брамли почувствовал легкий страх, представив себе, к чему может привести избирательное право для женщин. Леди Бич-Мандарин мгновенно вернулась к конкретному примеру.

— Вот посмотрите на леди Харман, — заявила она, — и вы убедитесь, что женщины — рабыни, балованные, если угодно, но рабыни. В нынешних условиях ничто не может помешать мужу держать жену взаперти, вскрывать все ее письма, одевать ее в дерюгу, разлучать с детьми. Большинство мужчин, конечно, не делает этого, боясь общественного мнения, но сэр Айзек — это маленький ревнивый людоед. Это гном, который похитил принцессу...

И она принялась развивать планы нападения на этого людоеда. Завтра же она нагрянет в Путни, как живое

напоминание о *Habeas corpus*¹. Мистер Брамли, который уже сообразил, что к чему, не удержался и рассказал о продаже Блэк Стрэнд.

— Вероятно, они теперь там,— сказал он.

— Он ее увез! — вскричала леди Бич-Мандарин. — Как будто он живет в восемнадцатом веке! Но если они в Блэк Стрэнд, я поеду туда.

Однако, прежде чем отправиться туда, она еще целую неделю говорила об этом, а потом, так как не могла обходиться без зрителей, взяла с собой некую мисс Гэрредайс, одну из тех молчаливых, чувствительных, беспокойных старых дев, словно не от мира сего, которые появляются неизвестно откуда, замкнутые и неотвратимые, и, сверкая очками, шныряют в нашем обществе. В женщинах этого типа есть что-то — трудно сказать, что именно, — словно это души умерших пиратов, которые неведомым путем обрели девственность. Она приехала с леди Бич-Мандарин, тихая и даже смешная, но все же казалось, что где-то в глубине, под гладкой внешностью, в ней сидит пират.

— Ну вот, приехали! — сказала леди Бич-Мандарин, с удивлением глядя на некогда знакомое крыльцо. — Теперь приступим.

И она собственноручно атаковала звонок, а мисс Гэрредайс стояла рядом, и ее глаза, очки и щеки воинственно блестели.

— Предложить ей уехать с нами?

— Конечно,— сказала мисс Гэрредайс горячим шепотом. — Сейчас же! Навсегда!

— Так я и сделаю,— сказала леди Бич-Мандарин и кивнула, исполненная отчаянной решимости.

Она уже хотела позвонить еще раз, но тут появился Снэгсби.

Он стоял, огромный, непреодолимый, загородив дверь.

— Леди Харман нет дома, миледи,— внушительно сказал этот вышколенный слуга.

— Нет дома? — переспросила леди Бич-Мандарин с сомнением.

¹ *Habeas corpus act* — закон, изданный в XVII веке английским парламентом и предназначенный охранять свободу личности от произвола властей.

— Нет дома, миледи, — повторил Снэгсби безапелляционно.

— А... а когда же она будет?

— Не могу сказать, миледи.

— А сэр Айзек?..

— Сэра Айзека нет дома, миледи. Никого нет дома, миледи.

— Но мы же приехали из Лондона! — сказала леди Бич-Мандарин.

— Очень сожалею, миледи.

— Понимаете, я хотела показать своей приятельнице дом и сад.

Снэгсби явно смутился.

— У меня нет насчет этого распоряжений, миледи, — попытался он возразить.

— Но леди Харман, конечно, не будет против...

Снэгсби смутился еще больше. Похоже было, что он попытался, стоя лицом к гостям, украдкой оглянуться через плечо.

— Я сейчас спрошу, миледи.

Он попятился и, видимо, намеревался захлопнуть дверь у них перед носом. Но леди Бич-Мандарин опередила его. Она уже втиснулась в дверь.

— У кого же вы спросите?

В глазах Снэгсби промелькнуло отчаяние.

— У экономки, — сказал он. — Экономка должна распорядиться, миледи.

Леди Бич-Мандарин обернулась к мисс Гэрредайс, которая всем своим видом показывала, что готова оказать ей любую поддержку.

— Какой вздор! — сказала она. — Мы войдем, вот и все.

И великолепным движением, одновременно мощным и полным достоинства, подобающего леди, эта неустрашная особа не то что оттолкнула, а просто отшвырнула Снэгсби назад, в прихожую. Мисс Гэрредайс не отставала и сразу развернулась в боевой порядок справа от леди Бич-Мандарин.

— А теперь ступайте, спрашивайте, — сказала леди Бич-Мандарин, взмахнув рукой. — Ступайте.

Мгновение Снэгсби с ужасом смотрел на это вторжение, а потом поспешно скрылся.

— Они, конечно, дома,— сказала леди Бич-Мандарин.— Вы только подумайте, этот... этот нахал хотел захлопнуть дверь у нас перед носом!

Обе женщины, радостно-взволнованные, обменялись взглядами, а потом леди Бич-Мандарин с проворством, поразительным при ее полноте, начала открывать одну за другой все двери, выходившие в длинный холл-столовую. Услышав, что мисс Гэрредайс вдруг как-то странно вскрикнула, она повернулась, прервав созерцание длинного низкого кабинета, в котором было написано столько книг про Юфимию, и увидела сэра Айзека, за спиной которого прятался затравленный Снэгсби.

— А-а-а-а! — вскричала она, простирая к нему обе руки.— Значит, вы приехали, сэр Айзек! До чего же я рада вас видеть! Это моя приятельница мисс Гэрредайс, она просто умирает от желания увидеть то, что здесь осталось от сада бедной Юфимии. А как поживает милейшая леди Харман?

На несколько секунд сэр Айзек онемел и только смотрел на гостей с нескрываемой ненавистью.

Потом он обрел дар речи.

— Ее нельзя видеть,— сказал он.— Это никак невозможно.

Он покачал головой; его бескровные губы были плотно сжаты.

— Но ведь мы специально приехали из Лондона, сэр Айзек!

— Леди Харман нездорова,— солгал сэр Айзек.— Ее нельзя тревожить. Ей нужен полный покой. Понимаете? Нельзя шуметь. И даже говорить громко. А у вас такой голос — это может ее просто убить. Поэтому Снэгсби и сказал, что нас нет дома. Мы никого не принимаем.

Леди Бич-Мандарин растерялась.

— Снэгсби,— сказал сэр Айзек.— Откройте дверь.

— Но неужели нельзя повидать ее хотя бы на минутку?

Сэр Айзек, предвкушая победу, даже подобрел.

— Это решительно невозможно,— сказал он.— Ее все тревожит. Всякая мелочь. Вы... вы ее обеспокоите.

Леди Бич-Мандарин бросила на свою спутницу взгляд, который явно свидетельствовал, что она не знает, как

быть. Мисс Гэрредайс, как это обычно бывает с преданными старыми девами, вдруг совершенно разочаровалась в своей предводительнице. Она молчала, недвусмысленно давая понять, что не ее дело — искать выход из положения.

Дамы были разбиты наголову. Некоторое время они стояли неподвижно, потом платья их зашуршали по направлению к двери, и сэр Айзек, торжествуя победу, разразился любезностями...

И только когда они были в миле от Блэк Стрэнд, к леди Бич-Мандарин вернулся дар речи.

— Маленький людоед, — сказала она. — Запер ее где-нибудь в подвале... И какое у него было ужасное лицо! Вид, как у затравленной крысы.

— По-моему, надо было сделать совсем не так, — сказала мисс Гэрредайс, которой легко было теперь критиковать.

— Я напишу ей. Вот что я сделаю, — сказала леди Бич-Мандарин, обдумывая свой следующий шаг. — Меня это не на шутку беспокоит. Скажите, вы не почувствовали там что-то... зловещее. И лицо у этого дворецкого — просто страх божий.

В тот же вечер она рассказала про эту поездку, едва ли не решающую в нашем романе, мистеру Брамли.

Сэр Айзек проводил их взглядом из окна кабинета, а потом выбежал в сад. Он направился прямо в сосновый лес и вскоре, высоко вверху, увидел жену, которая медленно шла ему навстречу, грациозная, высокая, в белом платье, вся залитая солнцем, не подозревая, как близка была помощь.

7

Нетрудно догадаться, в каком волнении мистер Брамли приехал в Блэк Стрэнд.

На первых порах ему повезло, и он до смешного легко преодолел заслон у дверей.

— Леди Харман нет дома, сэр, — сказал Снэгсби.

— Вот как?! — сказал мистер Брамли с уверенностью бывшего хозяина. — В таком случае я погуляю по саду. — Он прошел через зеленую дверь в стене и исчез за углом сарая, прежде чем Снэгсби успел опомниться.

Бедняга последовал за ним до зеленой двери, потом в отчаянии махнул рукой, отправился в буфетную и стал усердно чистить серебро, надеясь найти в этом успокоение. Пожалуй, можно было притвориться, что мистер Брамли вовсе и не звонил у парадной двери. А если нет...

Более того, мистеру Брамли посчастливилось застать леди Харман одну — она в задумчивости сидела на скамейке, которую Юфимия поставила, чтобы удобнее было любоваться куртинами.

— Леди Харман! — сказал он, едва переводя дух, и с внезапной смелостью взял ее за обе руки, а потом сел рядом с ней. — Как я рад! Я приехал повидать вас, узнать, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен.

— Это так мило, что вы приехали! — сказала она, и ее темные глаза сказали то же самое или даже больше. Она оглянулась, и он тоже оглянулся, нет ли поблизости сэра Айзека.

— Поймите, — сказал он, — я, право, в затруднении... Я не хочу быть навязчивым... Но чувствую... Если только я могу что-нибудь сделать... Я чувствую, что вам нужна помощь. Только ради бога не подумайте, что я пользуюсь случаем... Или слишком много на себя беру. Но смею вас заверить: я с радостью умру ради вас, если нужно. С тех самых пор, как я впервые вас увидел...

Бормоча все это, он озирался, боясь, что вот-вот появится сэр Айзек, и в страхе, что за ними могут следить, притворялся, будто болтает о совершенных пустяках. Она слегка покраснела от его намеков, и глаза ее заблестели от избытка чувств, среди которых, пожалуй, была и ирония. Она не вполне верила его словам, но и раньше ожидала, что когда-нибудь, при совершенно иных обстоятельствах, мистер Брамли должен был сказать нечто подобное.

— Поймите, — продолжал он, бросив на нее взгляд, полный мольбы, — у нас так мало времени, а сказать нужно так много, ведь нам могут помешать! Я чувствую, что вам трудно, и вы должны знать... Мы... Мне кажется, всякая красивая женщина имеет как бы право располагать тем или иным мужчиной. Я хочу сказать: я вовсе не осмеливаюсь ухаживать за вами. Хочу сказать только, что я весь ваш, располагайте мной. Много ночей я не

спал. Все думал о вас. И у меня не осталось сомнений, я понял, что готов для вас на все, и мне ничего не нужно, никакой награды. Я буду вам преданным братом, кем угодно, только бы вы согласились принять мою помощь....

Она покраснела. Огляделась вокруг, но поблизости никого не было.

— Как это мило, что вы приехали! — сказала она. — И наговорили столько... Но я почувствовала, что вы мне как брат...

— Я буду вам чем захотите, — заверил ее мистер Брамли.

— Мое положение здесь такое странное и трудное, — сказала она, и открытый взгляд ее темных глаз встретился с встревоженным взглядом мистера Брамли. — Я не знаю, что делать. Не знаю... чего хочу...

— В Лондоне думают... — сказал мистер Брамли. — Там говорят... Что вас силой... Привезли сюда... Что вы как в плену.

— Это правда, — призналась леди Харман с удивлением в голосе.

— Я помогу вам бежать!..

— Но куда же?

Надо признать, что довольно трудно указать подходящее убежище для женщины, которой невыносима жизнь в собственном доме. Конечно, можно было бы поехать к миссис Собридж, но леди Харман чувствовала, что ее мать, которая чуть что запирается у себя в комнате, была бы ей плохой поддержкой, и к тому же пансион в Бурнемуте — место малопривлекательное. Но где еще во всем мире могла леди Харман найти опору? В последние дни мистер Брамли рисовал себе картины самых решительных побегов в благороднейшем духе, но теперь, в ее присутствии, все эти планы рассыпались.

— Не можете ли вы уехать куда-нибудь? — спросил он наконец. И пояснил, боясь недомолвок: — Я хочу сказать: нет ли такого места, где вы могли бы найти надежный приют?

(А в мечтах он уже ехал с ней по горным перевалам, вот он резко остановился и придержал ее мула. Он был поэт и в мечтах всегда воображал мула, а не роскошный экспресс. «Смотри, — сказал он, — там, впе-

реди, Италия! Страна, которой ты еще никогда не видела».)

— Мне некуда уехать,— сказала она.

— Что же делать? — спросил мистер Брамли.— Как быть? — У него был вид человека, который мучительно думает.— Если бы вы только мне доверились... Ах! Леди Харман, я не смею вас просить...

Тут он увидел сэра Айзека, который шел к ним через лужайку.

Мужчины поздоровались любезно, но сдержанно.

— Я заехал посмотреть, как вы здесь устроились и не могу ли я чем-нибудь вам помочь,— сказал мистер Брамли.

— Устроились отлично,— сказал сэр Айзек, но в его тоне не было признательности.

— Я вижу, вы совершенно переделали сарай.

— Пойдемте, я вам покажу,— сказал сэр Айзек.— Там теперь флигель.

Но мистер Брамли продолжал сидеть.

— Это первое, что бросилось мне в глаза, леди Харман. Прекрасное доказательство того, как энергичен сэр Айзек.

— Пойдемте, я вам все покажу,— настаивал сэр Айзек.

Мистер Брамли и леди Харман встали.

— Нам незачем показывать ему флигель вдвоем,— сказал сэр Айзек.

— Я рассказывал леди Харман о том, как нам не хватало ее на обеде у леди Вайпинг, сэр Айзек.

— Это все из-за труб,— объяснил сэр Айзек.— Безрассудно оставаться хоть на один день в доме, где испорчены трубы, тут уж не до обедов.

— Мне было ужасно жаль, что я не могла приехать к леди Вайпинг. Пожалуйста, передайте ей это. Я тогда послала записку.

Мистер Брамли недостаточно ясно помнил, как было дело, чтобы воспользоваться этими словами.

— Ну, разумеется, в таких случаях есть о чем пожалеть,— сказал сэр Айзек.— Но пойдемте посмотрим, что мы тут сделали за три недели. Лет десять назад этого нельзя было сделать и за три года. Вот что значит система!

Мистер Брамли никак не хотел расставаться с леди Харман.

— А вас не интересует эта стройка? — спросил он.

— Я до сих пор не понимаю, как устроен коридор, — сказала она, найдя наконец предлог. — Пожалуй, пойду взгляну тоже.

Сэр Айзек подозрительно посмотрел на нее и начал объяснять новый метод строительства из готовых крупных железобетонных блоков и панелей вместо отдельных кирпичей; метод этот разработали месье Протеро и Кутбертсон, и благодаря им так просто было построить этот великолепный коридор. Все трое чувствовали себя неловко. Сэр Айзек давал объяснения, обращаясь исключительно к мистеру Брамли, мистер Брамли все время тщетно пытался втянуть в разговор леди Харман, и леди Харман сама тщетно пыталась втянуться в разговор.

Их глаза встречались, оба хранили в сердце горячие излияния мистера Брамли, но ни разу не рискнули сказать хоть слово, которое могло бы возбудить подозрение сэра Айзека или обмануть его проницательность. Когда они обошли новые постройки — водопроводчики все еще возились, устанавливая ванну, — сэр Айзек спросил мистера Брамли, все ли он посмотрел, что его интересовало. Наступило короткое молчание, после чего леди Харман предложила чаю. Но за чаем они не могли возобновить прерванный разговор, и так как сэр Айзек явно намеревался не отходить от гостя ни на шаг, пока тот не уедет — намерение это он обнаруживал все более явно, — мистер Брамли растерялся и не мог ничего придумать. Он сделал еще одну безуспешную попытку объяснить.

— Я слышал, вы были опасно больны, леди Харман! — воскликнул он. — Леди Бич-Мандарин ездила вас проведать.

— Когда же это было? — с удивлением спросила леди Харман, разливая чай.

— Но вы, конечно, знаете, что она приезжала! — сказал мистер Брамли и с нескрываемым упреком посмотрел на сэра Айзека.

— Да ведь я вовсе не была больна!

— Сэр Айзек так сказал.

— Сказал, что я больна?

— Тяжело больны. И вас нельзя беспокоить.

— Когда же это было, мистер Брамли?

— Три дня назад.

Оба они посмотрели на сэра Айзека, который сидел у рояля и сосредоточенно жевал булочку. Доев ее, он заговорил рассеянно, безразличным тоном, словно его это совсем не касалось. Только слегка покрасневшие глаза выдавали его волнение.

— По-моему, — сказал он, — эта старуха, я говорю про Бич-Мандарин, часто сама не знает, что болтает. Просто странно слышать. Как она могла сказать такое!

— Но она приезжала ко мне?

— Приезжала. Удивительно, как это ты не знаешь. Но она очень торопилась. А вы, мистер Брамли, приехали узнать, больна ли леди Харман?

— Да, я взял на себя смелость...

— Ну вот, теперь вы видите, что она здорова, — сказал сэр Айзек и смахнул с пиджака крошку.

Он наконец отгеснил мистера Брамли к воротам и проводил его до самого шоссе.

— До свидания! — воскликнул мистер Брамли с невероятной сердечностью.

Сэр Айзек только беззвучно пошевелил губами.

«Ну вот, — раздраженно подумал он. — Придется купить собаку...»

«Пожалуй, лучше всего — черного дога, — продолжал он развивать свою мысль, возвращаясь к леди Харман, — или, может быть, колли, они свирепее».

— Как этот тип сюда пробрался? — спросил он. — И о чем вы с ним говорили?

— Он приехал... посмотреть сад, — ответила леди Харман. — И, разумеется, хотел узнать о моем здоровье, поскольку я не была у леди Вайпинг. А еще, вероятно, он приезжал из-за того, что ты сказал леди Бич-Мандарин.

Сэр Айзек что-то недоверчиво буркнул. Потом вспомнил о Снэгсби и о распоряжениях, которые дал ему, повернулся и быстрым, решительным шагом отправился искать дворецкого...

Снэгсби солгал. Но сэр Айзек, видя, как он в этот неурочный час усердно чистит и без того сверкающее серебро, сразу догадался, что негодяй лжет.

Мистер Брамли произнес немало всяких слов, бредя по живописной дороге от Блэк Стрэнд к железно-дорожной станции. Но последние его слова показывали, как силен был в нем благородный писательский дух. Этими словами он единственно и мог выразить свое настроение:

— Все зря!

Он почувствовал бессильное раздражение.

— Какого дьявола! — воскликнул он.

Какой-то неукротимый демон в нем настойчиво требовал ответа, почему он идет на станцию, что он сделал, что делает и что намерен делать дальше. И мистер Брамли понял, что не может удовлетворительно ответить ни на один из этих вопросов.

Утром его воодушевляла смутная, но прекрасная мечта о блестящем освобождении пленницы. Он намеревался быть очень бескорыстным, очень благородным, очень твердым, а по отношению к сэру Айзеку — слегка высокомерным. Теперь вы знаете, что он говорил и как держался.

— Конечно, все было бы иначе, если б мы с ней поговорили еще немного, — сказал он.

Эта мысль блеснула среди обуревавшей его досады — он недостаточно долго говорил с леди Харман наедине. Он должен поговорить с ней еще. Выскazać до конца. Подумав это, он остановился. Если так, ему вовсе не надо идти на станцию и ехать в Лондон. Вместо этого... Он постоял немного, увидел неподалеку ворота, подошел, уселся на верхнюю перекладину и попытался спокойно обдумать положение. Нужно было как-то продолжить разговор с леди Харман.

Мог ли он открыто вернуться к подъезду Блэк Стрэнд? Он чувствовал, что это бесполезно. Если он пойдет прямо туда, то не увидит никого, кроме сэра Айзека или его дворецкого. Поэтому возвращаться туда нельзя. Он должен пойти кружным путем, через сосновый лес; оттуда виден сад, и он найдет какую-нибудь возможность поговорить с пленницей. В этом плане было что-то захватывающе-романтическое и глупо-ребяческое. Мистер Брамли посмотрел на часы, потом на ясное голу-

бое небо, по которому плыло одно-единственное легкое и светлое облачко. Через час стемнеет, и, возможно, леди Харман уже не выйдет сегодня. Может быть, подойти в темноте к дому? Ведь никто не знает сад лучше его.

В романах такие похождения описываются сплошь и рядом; и в рассказах последнего живого представителя стивенсоновской школы Х. Б. Марриота Уотсона герои всегда ползут сквозь чащу, стучатся в окна, перелезают через стены, но мистер Брамли, сидя на перекладине ворот, прекрасно понимал, что у него нет для этого никакой сноровки. И все же в таком настроении он готов был на что угодно, лишь бы не возвращаться в Лондон.

А если попытаться счастья?

Разумеется, мистер Брамли прекрасно знал окрестности, и так как он был всего лишь безобидный писатель, то мог свободно ходить через чужие владения. Он слез с перекладины по другую сторону ворот и, пройдя тропинкой через сосновый лес, вскоре очутился среди вереска за своим бывшим участком. Он вышел на шоссе, возле которого стояла реклама питательного хлеба, и хотел было уже перелезть через колючую проволоку слева от рекламы, чтобы лесом подняться на вершину холма, откуда весь сад был виден как на ладони, но вдруг увидел, что к нему идет какой-то человек в вельветиновой куртке и гетрах. Он решил не сходить с шоссе, пока не останется один. Человек был незнакомый — наверное, какой-нибудь лесник, — он недоверчиво буркнул что-то, когда мистер Брамли заметил, что погода чудесная. Мистер Брамли еще несколько минут шел вперед, потом, убедившись, что незнакомец исчез из виду, вернулся на то место, где нужно было сойти с шоссе и пуститься на поиски приключений. Но, еще не дойдя до места, он увидел, что к нему снова приближается человек в вельветиновой куртке.

— А, черт! — сказал мистер Брамли и, сдерживая нетерпение, замедлил шаг. На этот раз он сказал, что день удивительно теплый.

— Очень даже, — отозвался незнакомец без всякого почтения.

Возвращаться еще раз было бы нелепо. Мистер Брамли медленно пошел дальше, притворившись, будто соби-



«ЖЕНА СЭРА АИЗЕКА ХАРМАНА»



«ЖЕНА СЭРА ЛИЗЕКА ХАРМАНА»

рает цветы, а как только незнакомец скрылся из виду, опрометью бросился в лес, сильно порвав левую штанину о колючую проволоку. Он пошел меж деревьев к вершине холма, с которой так часто любовался на сверкающие озера Эйлхема. Там он остановился, чтобы поглядеть, нет ли позади этого лесника, который, как ему казалось, вопреки здравому смыслу, следил за ним. Потом мистер Брамли перевел дух и стал думать, как быть дальше. Закат в тот вечер был удивительно красив, огромное красное солнце склонялось к четко очерченным вершинам холмов, а низины уже были окутаны сиреновой дымкой, и три озера розовели, словно осколки топаза. Но мистеру Брамли было не до красот природы...

Часа через два после наступления темноты мистер Брамли добрался до станции, его брюки и рукав пиджака снова пострадали в темноте от колючей проволоки, кроме того, он, видимо, увяз в болоте и не без труда выбрался на твердую почву, а потом ползал по мокрому, цвета ржавчины песку. Но этого мало — он еще порезал левую руку. На станции был новый, незнакомый дежурный, который встретил мистера Брамли без тени почтительности, к которой тот привык. Узнав, что зимнее расписание изменилось и следующего лондонского поезда придется ждать три четверти часа, он отнесся к этому с покорностью человека, уже измученного неудачами и усталостью. Он пошел в зал ожидания и, тщетно попытавшись найти кочергу — новый дежурный, видимо, держал ее в другом месте, — сел у едва тлевшего огня, поглаживая порезанную руку и обдумывая, что делать дальше.

Он не продвинулся к своей цели ни на шаг, с тех пор как расстался у ворот с сэром Айзеком. Не продвинулся он и в следующие два дня. Но в эти печальные дни его благородное намерение прийти на помощь леди Харман осталось непоколебимым, и он без конца воображал, как они, наняв автомобиль с бесстрашным шофером, бешено уносятся прочь — почти все деньги, полученные им за Блэк Стрэнд, еще не были вложены ни в какое дело и хранились в банке, — воображал бурные встречи с разными людьми, бракоразводный процесс, сурового судью, который благодарит его, лишь для проформы при-

влеченного по делу, за благородство, — но никакого практического плана действий придумать ему не удалось. Где бы мистер Брамли ни был, его снедало беспокойство, он не находил себе места. Когда он был в своей квартирке на Понт-стрит, его тянуло в клуб, а когда он приходил в клуб, его тянуло еще куда-нибудь; он неожиданно шел в гости и при первой же возможности бежал прочь, побывал даже в Британском музее, где заказал множество книг по брачному праву. Но задолго до того, как огромная машина изрыгнула их, он уже скрылся и с тревожным чувством вспомнил про эти осиротевшие книги, заказанные на его имя, только среди ночи, когда пытался во всех подробностях восстановить в памяти свой короткий разговор с леди Харман...

9

Через два дня после посещения мистера Брамли в Блэк Стрэнд приехала Сьюзен Бэрнет. Она тоже долгое время не могла найти себе места. Несколько дней она тщетно разыскивала леди Харман и была в глубоком замешательстве. Она принесла в Путни починенные занавеси, связанные в большой узел, и хотела повесить их, но дом был заперт, она увидела только сторожа, главной обязанностью которого было не отвечать ни на какие вопросы. Несколько дней она думала и гадала, без конца повторяя: «Странное дело» и «Хотела бы я знать», — пока наконец не сообразила, что если написать леди Харман в Путни, то ей, вероятно, перешлют письмо. Но и тут она чуть не погубила все, упомянув о деньгах, и лишь по какому-то наитию решила не писать этого, а сообщить лишь, что она починила занавеси и сделала все, как хотела леди Харман. Сэр Айзек прочел письмо и бросил его жене.

— Пускай пришлет счет, — сказал он.

Тогда леди Харман велела миссис Крамбл привезти Сьюзен в Блэк Стрэнд. Это было не так-то просто — миссис Крамбл возразила, что занавеси здесь совершенно не нужны, но леди Харман сказала, что по утрам свет режет ей глаза — она всегда спала при открытом

настежь окне и раздвинутой занавеске,— и, таким образом, предлог нашелся. Сьюзен наконец приехала, ее скромная фигурка не привлекла внимания сэра Айзека, и, оставшись наедине с леди Харман, она вынула квитанцию и двадцать фунтов стерлингов.

— Мне пришлось давать всякие объяснения,— сказала она.— Это было нелегко. Но я все сделала...

День был как нельзя более удачный, потому что накануне сэру Айзеку не удалось скрыть, что он должен все утро провести в Лондоне. Он уехал в большом автомобиле, оставив жену одну, и, пока Сьюзен наверху вешала никому не нужные занавеси, леди Харман надела поверх твидового костюма меховую накидку, взяла муфту, перчатки и беспрепятственно вышла в сад, направилась в лес, через холм, а потом спустилась на шоссе, мимо огромной рекламы питательного хлеба, и, вся трепеща, прошла четыре мили до станции, откуда открывалась дорога в большой мир.

Ей посчастливилось прийти как раз к поезду двенадцать семнадцать. Она взяла билет в первом классе до Лондона и вошла в купе, где ехала какая-то женщина, чувствуя себя уверенней в ее присутствии.

В половине четвертого леди Харман добралась до дома мисс Олимони. Позавтракала она довольно поздно и без аппетита в буфете на вокзале Ватерлоо и по телефону узнала, что мисс Олимони дома. «Мне нужно срочно вас повидать»,— сказала она, и мисс Олимони приняла ее как полагается в срочных случаях. Она была без шляпы, темные густые пушистые волосы оттеняли серые, почти голубые глаза, на ней было изысканное платье, несколько свободное у ворота и с широкими рукавами, но подчеркивавшее изящество ее фигуры. В квартире прежде всего бросались в глаза книги, роскошные восточные портьеры, пышные подушки и огромные вазы с надушенными цветами. На каминной полке стоял хрусталь, которым она любовалась в веселые минуты, а над ним в круглой золоченой раме висела написанная яркими красками

аллегорическая картина Флоренс Суинстед «Пробуждающаяся женщина». Мисс Олимони усадила гостью в кресло, а сама грациозно опустилась на ковер у ее ног и, взяв маленькую изящную кочергу с латунной рукояткой и железным наконечником в форме копья, поворошила угли в камине.

Наконечник выпал и звякнул о каменную решетку.

— Вечная история,— сказала мисс Олимони с очаровательной гримаской.— Но не обращайтесь на это внимания.— Она погрела руки у огня и сказала тихо:— Расскажите мне все.

Леди Харман почувствовала, что было бы лучше, если бы ей самой все рассказали. Но, быть может, это еще впереди, подумала она.

— Видите ли,— сказала она.— Моя супружеская жизнь... кажется мне...

Она замолчала. Говорить об этом было ужасно трудно.

— Это у всех так,— сказала Агата, обратив к ней красивый, освещенный огнем камина профиль, и некоторое время серьезно и задумчиво молчала.— Вы не против, если я закурю?

И, закурив, в довершение эффекта, душистую сигарету, попросила леди Харман продолжать.

Леди Харман, как могла, продолжала свой рассказ. Она сказала, что муж стесняет ее во всем, не позволяет ей иметь собственное мнение, не дает бывать, где она хочет, распоряжаться собой, следит за тем, что она читает и о чем думает.

— Он требует...— сказала она.

— Да,— сурово сказала Агата, пуская в сторону струю дыма.— Все они требуют.

— Он хочет,— продолжала леди Харман,— читать все мои письма, выбирать мне друзей. Я не могу распоряжаться у себя в доме, отдавать приказания слугам, у меня нет своих денег, я у него в полной зависимости.

— Одним словом, вы его собственность.

— Да, самая настоящая собственность.

— Гарем с одной наложницей. И это предусмотрено законом!— Мисс Агата помолчала.— Не понимаю,

как могут женщины выходить замуж? Иногда мне кажется, что именно с этого должен начаться бунт женщин. Вот если бы ни одна из нас не выходила замуж! Если бы мы все, как одна, сказали: «Нет, мы решительно отвергаем такую сделку! Эти условия придумали мужчины. Мы лишены голоса. И поэтому не согласны». Быть может, до этого дело еще дойдет. Я знала, что женщина с такими прекрасными, умными глазами не может это не понять. После того как мы добьемся избирательных прав, нужно будет первым делом пересмотреть условия брака. Наши представительницы в правительстве займутся этим...

Она замолчала, раскурила почти погасшую сигарету и задумалась. Казалось, она совершенно забыла о своей гостье, грезя наяву о женском управлении государством.

— И вот вы, как многие другие, пришли к нам,— сказала она.

— Да,— сказала леди Харман таким тоном, что Агата с удивлением посмотрела на нее.— Вероятно, так оно и будет; но дело в том, что я сегодня просто ушла... Вы видите, я даже переодеться не успела. Я, можно сказать, в безвыходном положении.

Агата присела на корточки.

— Но, дорогая моя!— сказала она.— Неужели вы хотите сказать, что убежали?

— Да, убежала.

— Как... убежали?!

— Я заложила кольцо, достала денег, и вот я здесь!

— И что же вы думаете делать дальше?

— Не знаю... Я надеялась, что вы мне посоветуете.

— Но ведь ваш муж такой человек! Он будет вас преследовать!

— Конечно, если узнает, где я,— сказала леди Харман.

— Он поднимет скандал. Моя дорогая! Разумно ли вы поступаете? Расскажите-ка мне, почему вы убежали. Я сначала совсем не так вас поняла.

— Я сделала это потому...— начала леди Харман и вся вспыхнула,— потому что это было невыносимо.

Мисс Олимони испытующе посмотрела на нее.

— Не знаю, право,— сказала она.

— Я чувствую,— сказала леди Харман,— что если бы я осталась с ним, если бы не выдержала и сдалась... После того, как уже взбунтовалась... Тогда мне пришлось бы быть самой обыкновенной женой, покорной, безропотной...

— Сдаваться было незачем,— сказала мисс Олимони и добавила одно из тех парламентских выражений, которые все глубже проникают в язык женщин:— Я не против этого *nemine contradicente*¹. Но я сомневаюсь...

Она закурила вторую сигарету и снова задумалась, повернувшись к леди Харман в профиль.

— Боюсь, что я не достаточно ясно объяснила вам свое положение,— сказала леди Харман и начала излагать дело гораздо подробнее. Она чувствовала, что мисс Олимони не поняла, а ей хотелось заставить ее понять, что, бунтуя, она не просто добивалась личной свободы и самостоятельности, что она желала этого, так как все больше узнавала о тех важных делах, творившихся за пределами ее семейной жизни, которые должны ее не только интересовать, но и серьезно заботить, что она не только старалась разобраться в сущности предприятия, создавшего ее богатство, но читала книги о социализме и общественном благе, и они ее глубоко взволновали...

— Но он не потерпит, чтобы я даже знала о таких вещах,— сказала она.

Мисс Олимони слушала рассеянно.

Вдруг она перебила леди Харман:

— Скажите мне вот что... Конечно, это не мое дело. Но если вы просите у меня совета... и хотите, чтобы этот совет чего-нибудь стоил...

— Да?— сказала леди Харман.

— Есть ли... Есть ли у вас кто-нибудь другой?

— Другой?— Леди Харман покраснела.

— Да, я о вас спрашиваю.

— У меня?

— Я хочу сказать, кто-нибудь такой... Ну, в общем, мужчина. Мужчина, который был бы вам не безразличен. Который нравился бы вам больше мужа.

¹ *Nemine contradicente* — здесь: всеобщее согласие,

— Я не могу даже помыслить об этом...— сказала леди Харман и осеклась. У нее перехватило дух. Возмущение ее было беспредельно.

— Тогда я не понимаю, почему вы так хотите уйти от мужа.

Леди Харман не могла это объяснить.

— Видите ли,— сказала мисс Олимони тоном знатока.— Наше главное оружие враги обращают против нас же. Когда мы требуем избирательного права, они говорят нам: «Место женщины дома». «Вот именно,— отвечаем мы,— место женщины дома. Дайте же нам дом!» Итак, ваше место дома, рядом с детьми. Там вы должны бороться и победить. А убежать — значит ничего не добиться.

— Но... если я останусь, то не смогу победить.— Леди Харман растерянно посмотрела на хозяйку.— Понимаете, Агата? Я не могу вернуться!

— Но, дорогая моя! Что еще вам остается? На что вы рассчитываете?

— Видите ли,— сказала леди Харман после короткой борьбы с собой, потому что могла не удержаться и заплакать, как ребенок.— Видите ли, я не ожидала услышать от вас такое. Я надеялась, что вы предложите... Если бы я могла пожить у вас совсем недолго, я, может быть, нашла бы работу или еще что-нибудь...

— Ах, это ужасно! — с бесконечным сожалением сказала мисс Олимони, откидываясь назад.— Просто ужасно!

— Конечно, если вы не согласны со мной...

— Я не могу,— сказала мисс Олимони.— Право, не могу.

Она вдруг повернулась к гостье и положила свои красивые руки ей на колени.

— О, умоляю вас! Не уходите от мужа. Пожалуйста, ради меня, ради нас, ради всех женщин не уходите от него! Оставайтесь там, где велит долг. Вы не должны уходить. Не должны! Если вы это сделаете, то признаете себя кругом виноватой. Вы должны бороться у себя в семье. Это ваш дом. Вы должны постичь великий прин-

цип — это не его дом, а ваш. Долг зовет вас туда. Там ваши дети, ваши крошки! Подумайте только, если вы не вернетесь, поднимется страшный шум, будет возбуждено судебное дело. Начнется следствие. Вполне возможно, что он ни перед чем не остановится. И тогда — бракоразводный процесс! Мне никак нельзя быть в этом замешанной. Одно дело — свобода женщины, а другое — бракоразводный процесс. Это невозможно. Мы не смеем! Женщина бросает мужа! Подумайте, какое оружие это даст в руки нашим врагам! Если борьба за избирательное право будет скомпрометирована каким-нибудь скандалом, все погибло. Напрасно тогда наше самоотречение, напрасны все жертвы... Вы понимаете? Понимаете или нет?!

— Бороться! — заключила она после красноречивого молчания.

— Значит, по-вашему, я должна вернуться? — спросила леди Харман.

Мисс Олимони помолчала, чтобы подчеркнуть значение своих слов.

— Да, — сказала она многозначительным шепотом и снова повторила: — Тысячу раз да.

— Сейчас?

— Немедленно.

Некоторое время обе молчали. Потом гостя прервала неловкое молчание.

— Скажите, — спросила она смущенно и нерешительно, тоном человека, которого уже не удивит никакой отказ, — а вы не угостите меня чашкой чая?

Мисс Олимони со вздохом встала, тихо шелестя платьем.

— Ах, я совсем забыла, — сказала она. — Моя горничная ушла.

Оставшись одна, леди Харман некоторое время сидела, подняв брови и глядя широко раскрытыми глазами в огонь, словно молча поверяла ему свое беспредельное изумление. Этого она ожидала меньше всего. Придется поехать в какую-нибудь гостиницу. Но может ли женщина в гостинице жить одна? Сердце ее упало. Казалось, роковые силы гнали ее назад, к сэру Ай-

зеку. Он будет торжествовать, сэр Айзек, а у нее немного останется мужества...

— Нет, я не вернусь,— прошептала она.— Будь что будет, а я не вернусь...

И тут она увидела вечернюю газету, которую читала перед ее приходом мисс Олимони. В газете ей бросился заголовок: «Налет суфражисток на Риджент-стрит». И тогда странная мысль пришла ей в голову. Решимость ее росла с каждой секундой. Она взяла газету и стала читать.

Времени на это у нее было вполне достаточно, потому что хозяйка не только собственноручно готовила чай, но зашла между делом в свою спальню и, явно намекая, что ей нужно уходить, надела одну из тех шляпок, которые спасли суфражистское движение от упрёков в безвкусице...

Леди Харман прочла в газете любопытную вещь. Там было сказано: «В настоящее время в Вест-Энде труднее всего купить молоток...»

И дальше:

«Судья заявил, что в этом деле он не может никому оказать снисхождение. Все обвиняемые приговариваются к тюрьме сроком на месяц».

Когда мисс Олимони вернулась, леди Харман положила газету с виноватым видом.

Впоследствии мисс Олимони вспомнила, как леди Харман виновато вздрогнула, а потом вздрогнула еще сильнее, когда она, снова выйдя из комнаты, вернулась с лампой, так как уже наступили ранние зимние сумерки. Ибо вскоре она узнала, куда девался наконец кочерги, небольшой железный стержень, которого она хватилась почти сразу же после ухода леди Харман.

Леди Харман взяла этот грязный, но удобный инструмент, спрятала его в муфту, пошла прямо от мисс Олимони к почте, что на углу Джейгоу-стрит, и одним решительным ударом разбила матовое оконное стекло, собственность его величества короля Георга Пятого. Сделав это, она подозвала молодого полисмена, который был недавно из Йоркшира, и он, осмотрев упомянутое окно, едва поверил своим глазам, но она препроводила его в Саут-Хэмпсмитский полицейский участок и

там заставила предъявить ей обвинение. По дороге она, озаренная неожиданным прозрением, объяснила ему, почему женщины должны иметь избирательное право.

С того самого мгновения, как леди Харман разбила окно, она была охвачена ликованием, прежде совершенно ей чуждым, но, к собственному ее удивлению, ничуть не неприятным. Впоследствии она поняла, что в то время лишь смутно помнила, как выбрала окно и приготовилась нанести роковой удар, но зато необычайно ясно видела само окно, как целое, так и разбитое, сначала — сероватую поверхность, поблескивавшую при свете уличного фонаря, в которой призрачно и неясно отражалась улица, а потом — то, что осталось после ее удара. Восприятие ее было чисто зрительным; леди Харман не могла потом вспомнить, слышала ли она при этом какой-нибудь звук. Там, где была лишь мутная, грязно-серая поверхность, вдруг сверкнула неправильной формы звезда с тонкими лучами и большим треугольником посредине, а потом — это длилось мучительно долго — скользнула вниз и посыпалась к ее ногам целым дождем осколков...

Леди Харман поняла, что великое событие свершилось, и свершилось бесповоротно. С удивлением смотрела она на дело своих рук. Спасительный железный стержень упал на землю. На миг она усомнилась, хотела ли она вообще разбить это окно, но тут же решила, что надо довести начатое до конца красиво и с достоинством; и потом она думала уже только об этом, отбросив всякие сожаления.

Когда-нибудь, когда искусство писателя и художника-иллюстратора сольются воедино, можно будет рассказать о событиях, которые последовали за ударом, нанесенным леди Харман с той выразительностью, какой они заслуживают. На этой странице следовало бы просто нарисовать окно почти на Джейгоу-стрит, грязно-серое, отражающее свет уличного фонаря, и его же — разбитым. Под окном — кусок деревянной стены унылого цвета, угол почтового ящика, кирпичная кладка

шириной около фута, а еще ниже — мостовая и на ней упавший железный стержень. Больше на этой странице ничего не было бы, а на следующей было бы изображено то же самое, только побледнее, и рисунок пересекало бы несколько объяснительных фраз. Дальше опять та же картинка, но теперь уже с несколькими строчками текста, потом рисунок станет еще бледнее, а печатный текст, все еще затемненный фоном, будет продолжаться. Читатель прочтет здесь о том, как леди Харман убедила недоверчивого молодого йоркширца в своем подвиге, как фруктовщик с тележкой, полной бананов, не преминул отпустить несколько замечаний, после чего она под стражей, но с полнейшим достоинством направилась в полицейский участок. Потом, все еще не без труда разбирая мелкий шрифт из-за наложенного на него рисунка, читатель узнает, как ее взяла на поруки леди Бич-Мандарин, к которой ей, несомненно, следовало обратиться в первую очередь и которая, занимая леди Харман, не поехала на обед, где ожидалась какая-то герцогиня, и как сэр Айзек, раздираемый противоречивыми чувствами и не решаясь увидеться с женой, весь вечер напрасно старался не допустить, чтобы эта история попала в газеты. Ему это не удалось. На другое утро судья отнесся к леди Харман благосклонно, хотя благосклонность его была несколько бесцеремонной: он приказал подвергнуть ее медицинской экспертизе, но из всех подсудимых — в тот вечер разразилась повальная эпидемия битья окон — ни одна не была в столь здравом уме. Она заявила, что сделала это, поскольку, по ее мнению, нет другого способа заставить мужчин понять, как не удовлетворены женщины своей участью, а когда ей напомнили, что у нее четыре дочери, она сказала, что именно мысль об ожидающей их судьбе, когда они вырастут и станут женщинами, заставила ее разбить окно. Все эти доводы она нашла не сама, а заимствовала из разговоров с леди Бич-Мандарин, проведя с ней вечер накануне, но она честно их усвоила и теперь высказала с достоинством и подкупающей простотой.

Сэр Айзек приехал на суд совсем жалкий, и леди Харман была поражена, увидев, в какое отчаяние повергло его ее скандальное поведение. Он был совершенно уничтожен, и, странное дело, чувство ответственности, которое

не пробуждалось во время их поединка в Блэк Стрэнд, вдруг захлестнуло ее, и ей пришлось крепко стиснуть край скамьи подсудимых, чтобы не потерять самообладания. Сэр Айзек, не привыкший выступать публично, сказал тихим, горестным голосом, что приготовил письменное заявление, в котором выражает свое решительное несогласие с идеями, побудившими его жену к опрометчивым действиям, и излагает свое мнение об избирательном праве для женщин и об отношениях между полами вообще, особо касаясь вопроса о современной литературе. Он писал всю ночь. Однако ему не позволили прочесть заявление, и тогда он выступил экспромтом, прося суд оказать леди Харман снисхождение. Она всегда была хорошей матерью и верной женой; на нее дурно повлияли всякие смутьяны, а также скверные книги и газетные статьи, истинный смысл которых она не понимала, и если суд отнесется к этому ее первому проступку снисходительно, он увезет жену домой и даст все необходимые гарантии, что это не повторится. Судья был милостив и дружелюбен, но указал, что необходимо решительно пресечь эти налеты на окна, а потому он не может сделать исключение, о котором просит сэр Айзек. И сэр Айзек вышел из суда в полном отчаянии, оставшись на месяц соломенным вдовцом.

Мы о многом могли бы рассказать подробно: о том, как ее привели в камеру, как долго и томительно тянулось заключение, как Снэгсби едва пережил позор и как мисс Олимони заявила, что на леди Харман действовали ее неотразимые убеждения, и еще много о чем. Нет предела для писателя, который решил следовать не классическим образцам, а английскому и готическому стилю; его могут ограничить лишь неведомые и неисповедимые внутренние веления, с которыми, однако, порой невозможно совладать, и вот теперь они требуют, чтобы мы сделали перерыв, остановились перед этой зияющей дырой в окне, принадлежащем министру почт, и перед красивой женщиной, матерью четверых детей, неловко сжимающей затянутой в перчатку рукой грубый железный наконечник от кочерги.

Итак, мы делаем перерыв, заканчивая на этом главу, а возобновив наш рассказ, обратимся к тому, что творилось в душе мистера Брамли.

МИСТЕРА БРАМЛИ ОДОЛЕВАЮТ НЕЛЕГКИЕ МЫСЛИ

1

Теперь, когда изображение разбитого, зияющего окна побледнело и наконец исчезло, пусть читатель представит себе другое окно — гладкое и блестящее, — окно, через которое мы заглянем в мысли мистера Брамли, аккуратное, чистое и, если можно так выразиться, «матовое», чтобы не пропускать лишнего света, — и в нем тоже окажутся неровные и разрушительные трещины.

Когда мистер Брамли еще в Блэк Стрэнд, завязывая шнурки, поднял голову, он и не подозревал, до какой степени этой молодой женщине, закутанной в темные меха, суждено поколебать моральные основы его жизни.

Читатель, конечно, уже заметил, как далеко отошел мистер Брамли в теперешних поступках и взглядах от снисходительного и добродушного консерватизма ранних своих произведений. Вместе с леди Харман читатель был удивлен пылкостью его слов, сказанных украдкой во время короткого разговора в саду, а в тюрьме это удивление леди Харман не просто возросло, а расцвело пышным цветом. Читатель уже знает кое-что, во всяком случае, больше, чем она, о романтическом порыве, после которого мистер Брамли так поздно и в таком подозрительном виде появился на маленькой железнодорожной станции. В холодной, мрачной одиночке, где леди Харман кормили скудной и безвкусной едой, ум ее особенно обострился, и у нее было время подумать о многом; а так как она внимательно прочла почти все опубликованные книги мистера Брамли, ей было нелегко примирить его страстные слова с моральными основами его произведений. Она склонна была думать, что не совсем точно запомнила эти слова. Однако тут она ошибалась: мистер Брамли действительно предлагал ей бежать, а теперь только и думал, как бы спасти леди Харман и жениться на ней, как только она получит развод.

Мы не уверены, что этот резкий переход от добродушного консерватизма к примитивному и опасному романтизму можно объяснить одним только личным обая-

нием леди Харман, хотя оно и было неотразимо; скорее появление этого высокого, нежного, темноволосого существа дало толчок, освободивший сомнения и неудовлетворенность, давно уже накапливавшиеся в душе мистера Брамли под оболочкой невозмутимости. В душе его и прежде шло какое-то брожение; его последним книгам об Юфимии не доставало былой искренности, и ему, к собственному его удивлению, все труднее становилось мягко, непринужденно, дружелюбно подшучивать над существующими нравами и благополучием и сохранять свой лучезарный оптимизм, не замечая мрачных и неприятных сторон жизни, что считалось главной общественной заслугой литературы в тот период, когда мистер Брамли начал писать. Он имел все основания быть оптимистом, даже в Кембридже его произведения выделялись своей поверхностной, но неизменной веселостью, и его быстрый успех, сразу пришедшая популярность во многом способствовали превращению этой юношеской склонности в литературную манеру. Он решил всю жизнь писать для благополучных, безмятежных людей тоном веселого, благополучного, безмятежного человека и каждый год выпускать новую книгу с семейным юмором, путешествовать по живописным местам, наслаждаться весельем и солнечным светом — пусть эти книги появляются одна за другой, как распускаются розы на одном кусте. Он старался обмануть себя, делая вид, будто не понимает той печальной истины, что третья и четвертая розы были уже далеко не так восхитительны, как первая и вторая, и что если так будет продолжаться, то может наконец расцвести роза совсем уже не привлекательная; однако все же он замечал, что теряет свою живость и становится все раздражительней с тех пор, как Юфимия тихо и грациозно, но так решительно и загадочно его покинула; и после изящной и изящно выраженной скорби мистер Брамли обнаружил, что, несмотря на все усилия остаться веселым, добродушным и жизнерадостным в духе лучших традиций, он стал скучен и становится все скучнее — скрыть это было уже невозможно. И кроме того, он потолстел. Сначала прибавил шесть, потом восемь и, наконец, одиннадцать фунтов. Он снял квартиру в Лондоне, легко, но регулярно обедал и завтракал, снискал благосклонность

нескольких очаровательных дам и принял живейшее участие в деятельности Академического комитета. Словом, он отважно боролся за то, чтобы обрести свой былой оптимизм, почувствовать, что все в порядке, все обстоит как нельзя лучше и у него самого и вообще в мире. Он не сдался без борьбы. Но когда карикатура Макса Бирбома¹ — я имею в виду карикатуру 1908 года — выставила все это напоказ, то в самой его живости появилось что-то настороженное и затравленное. За что бы он ни брался, его не покидало ужасное, нелепое чувство, что его преследуют вещи, о которых он до тех пор и не думал. И даже в пылу спора, оживленно размахивая руками, задрав свой характерный северо-европейский нос, сильно увеличившийся в изображении Бирбома, он, казалось, видел краем глаза что-то такое, чего не хотел видеть, но что явно его преследовало.

Неизменный мягкий юмор мистера Брамли стал скучным и вялым, а на лице появилось новое, тревожное выражение, ибо им овладело то самое, что сэр Айзек подразумевал под «идеями», разрушившими некогда безмятежную и упорядоченную жизнь в Путни. Это была критика, переходившая всякие границы.

Приятная мистеру Брамли и, надо полагать, всем остальным, а также выгодная цель — изображать в прихотливой форме радость жизни и уверенность в неисчерпаемости ее благ — требовала определенных моральных компромиссов. Он провозгласил эту мораль с превеликим удовольствием, и ее самым примерным образом усвоили писатели, которые подражали ему в начале его карьеры. В то время казалось, что на эти моральные основы можно положиться, что им износу не будет! Но теперь уже утверждать их стало нелегко; они кажутся невероятными, хотя прошло слишком мало времени и нельзя оправдать эту невероятность тем, что они вошли в историю. Например, считалось, что к середине Викторианской эпохи человечество достигло идеала в сфере общественных установлений, обычаев и культуры в широком смысле. Конечно, оставались еще отдельные плохие мужчины и женщины, а также классы, которые

¹ Бирбом, Макс (1872—1956) — английский карикатурист и писатель.

приходилось признать «низшими», но в основе все было правильно, общие идеи были правильны; закон был правилен; общественные установления правильны; консолидированная рента правильна; акции британской железнодорожной компании правильны и таковыми останутся во веки веков. Запрещение рабства в Америке было последним великим законом, открывшим этот золотой век. Кроме отдельных случаев, со всеми жизненными трагедиями было покончено раз и навсегда; не было больше нужды в героях и жертвах; для большинства человечества настали времена добродушной комедии. Конечно, возможны улучшения и усовершенствования, но в общих чертах общественный, политический и экономический уклад установлен навеки; это идеал, и приятная задача художника и литератора — поддерживать и прославлять его. Следовало побольше издавать Шекспира и Чарлза Лэма, побольше писать приятных юмористических книг и исторических романов, и Академия изысканной литературы вскоре создала изящную словесность на почтенной официальной основе. Литература должна была превратить свои некогда могучие ферменты, вызывавшие бурное брожение, в полезный для пищеварения желудочный сок. Идеи были убиты или приручены. Последнюю идею, влачившую на воле жалкое существование, затравила толпа в «Женщине, которая осмелилась»¹. И мир видел в то время английскую литературу, которая, ни на что не решаясь, скользила по поверхности, подавляла все, стремилась лишь к изяществу, ползла, подобно солнечному зайчику, по истерзанной бурей вселенной. И гибла...

Во все времена было нелегким делом притворяться, будто нелепые и недолговечные изменения в нашей правовой и политической системе, экономические катастрофы, неразбериха и загнивание философии и религии, жестокое и дурацкое ложе царя Ога², которое является у нас новейшим критерием в сексуальных отношениях, действительно составляют благородную и здравую основу, но из-за острых разочарований, порожденных войной с бурами, притворяться становилось все труд-

¹ Роман Чарлза Грант Аллена, героиня которого ушла от нелюбимого мужа.

² По библейской легенде — один из вавилонских царей.

ней. На первое десятилетие двадцатого века у англичан едва хватило оптимизма. Наша империя, вызвав презрительные насмешки всего мира, едва не потерпела поражение от горстки земледельцев,— и мы остро чувствовали это не один год. И тогда мы начали задаваться всякими вопросами. Мистер Брамли обнаружил, что с каждым годом этого десятилетия все труднее становится сохранять веселое, но совершенно благопристойное легкомыслие. Сразу же после неприятностей в Южной Африке женщины начали выражать недовольство своей участью, и это на глазах у нас возмутило семейный мир леди Харман. Женщины, до тех пор составлявшие пассивную массу читающей публики, создавая популярность мистеру Брамли и ему подобным, теперь желали чего-то иного!

А под всем этим, под явным беспокойством, таились еще более зловещие побуждения и сомнения, расшатывавшие довольство жизнью. В 1899 году никому и в голову не пришло бы задать такой вопрос, а в 1909 году его задал даже мистер Брамли: «Долго ли это продержится?» Множество мелких признаков, как нарочно, доказывало, что христианство, которое, мягко выражаясь, уклонилось от ответа на вызов, брошенный ему дарвинизмом, уже не приносило людям облегчения, как подобает государственной религии, и что где-то там, в массе рабочих, которые строят железные дороги, чтобы возить мистеру Брамли еду и приносить ему дивиденды, делают машины, инструменты, ткани и канализационные трубы, появилось новое, более активное недовольство, более грозный дух, и напрасно его пытаются изображать лишь делом рук «агитаторов»: этот дух уже не успокоить жалкой либеральной ложью, так что в конце концов это может привести... оптимизм не осмеливался даже спрашивать, к чему...

Мистер Брамли изо всех сил старался не поддаться этим мрачным мыслям. Он притворялся, будто все идет хорошо, а большинство неприятностей — дело рук кучки смутьянов. Он притворялся, что быть рабочим очень весело и приятно — для тех, кто к этому привык. Он утверждал, что все, кто хочет изменить наши законы, или наши понятия о собственности, или способы производства — низкие завистники, а все, кто хочет как-либо

изменить отношения между полами,— глупые или порочные люди. Он пытался с прежним добродушным презрением опровергать социалистов, агитаторов, феминисток, суфражисток, приверженцев всеобщего образования и всех прочих сторонников реформ. Но ему все труднее становилось сохранять добродушие. Вместо того чтобы с высоты своего положения смеяться над глупостью и неудачами, он иногда чувствовал себя приниженным и при виде надвигающихся чудовищных событий мог лишь довольно кисло улыбаться. И так как идеи — это порождения духа, они закрадывались к нему в душу и, точно волки, терзали, грызли внутренности, в то время как он еще играл роль их мужественного противника.

Мистер Брамли менялся вместе со своим временем. Крушение всякой гнилой морали неизбежно начинается с того, что многие приверженцы этой системы начинают сглаживать ее острые углы и прикрывать грубую фальшь пышным юмором и сентиментальностью. Мистер Брамли стал снисходительным и романтичным — он еще оставался ортодоксальным, но стал теперь снисходительным и романтичным. Вообще-то он был за решительность, но в данном случае все больше и больше склонялся к всепрощению. В последние книги о Юфимии прокралась бретгартговская теория, что многие плохие женщины — на самом деле хорошие, и убеждение в духе Рэффлса в том, что преступники в большинстве своем — просто колоритные и симпатичные ребята. Прямо удивительно, как менялся внутренне мистер Брамли в соответствии с внешними переменами, с этим тихим закатом принципов! Ему еще не пришлось столкнуться с тем неумолимым фактом, что большинство людей, справедливо или несправедливо осужденных обществом, пострадали от стадности человеческой природы и что, если закон или обычай заклеяет человека, объявит его плохим, он действительно станет плохим. У великой страны должны быть высшие, гуманные, справедливые законы, благородные по своему замыслу и благородно претворяемые в жизнь,— законы, которым не нужны жалкие оговорки шепотом. Найти хорошее в преступнике и заслуживающее прощения в отверженном — значит осудить закон, и мистер Брамли умом понимал это, хотя сердце его не могло этого принять. У него не хватало духу так

решительно пересмотреть свои взгляды на добро и зло; и взгляды эти стали лишь мягче и сентиментальнее. Он шел вброд вместо того, чтобы ступать по твердой почве. Шел прямо к омуту. Такой путь очень опасен, и тихая, печальная кончина Юфимии, кашлявшей и горевшей в лихорадке, несомненно, еще более склонила его на легкий путь сентиментальности и притворной восторженности. К счастью, это книга о леди Харман, а не исчерпывающая монография, посвященная мистеру Брамли. Пощадим же его, пускай хоть что-нибудь останется в тени.

Иногда он давал серьезные статьи за своей подписью в «Двадцатый век» или «Еженедельное обозрение» и однажды, готовя такую статью, прочел несколько исследований о современном обществе, написанных одним из многочисленных «Новых наблюдателей», «Молодых либералов», бунтарей из «Нового века» и тому подобных смутьянов от литературы. Он хотел отнестись к ним мягко, скептически, доброжелательно, но здраво и в духе традиционного консерватизма. Он сел за столик возле склоненной Венеры, под сенью благословенной розы Юфимии, и стал листать сочинение одного из этих авторов, знакомого ему меньше других. Оно было написано с грубой силой, порой не без блеска, но с горечью, которую мистер Брамли считал своим долгом осудить. И вдруг он наткнулся на страстную тираду против современности. Это заставило его слегка нахмуриться, покусывая вечное перо.

«Мы живем,— писал автор,— в эпоху второй Византии, в один из периодов концентрации второстепенных интересов, второстепенных усилий и условностей, огромного беспорядочного нагромождения ничтожных мелочей, которые, как кучи пыли, ложатся на пути историка. Подлинная история таких эпох пишется в банковских книгах или на корешках чеков и сжигается, чтобы не компрометировать некоторых людей; ее скрывают тысячами способов; подобно кроту, она находит себе пищу и убежище в земле; для потомков остается лишь внешняя оболочка, гигантские руины, которые полны необъяснимых загадок».

— Гм,— сказал мистер Брамли.— Он прет напролом. Что же дальше?

«Попранная цивилизация остановится, и пройдут дол-

гие, бесславные века, века неоправданных преступлений, социальной несправедливости, с которой никто не борется, бессмысленной роскоши, торгашеской политики и всеобщей низости и бессилия, пока мы, подобно туркам, очистим свою страну¹».

— Любопытно, где эти дети могли научиться такому языку? — прощентал мистер Брамли с улыбкой.

Но он тут же отложил книгу и стал обдумывать новую неприятную мысль, что в конце концов наш век гораздо ничтожнее многих других и уж, во всяком случае, далеко не так велик, как он, Брамли, полагал. Византия, где похищено золото жизни и лебеди превратились в гусей. Конечно, герои всегда получали какие-то отличия, даже Цезарю нужен был венец, но по крайней мере век Цезаря был великим. Короли, без сомнения, могли бы быть царственней, а проблемы жизни проще и благородней, но это, по справедливости, можно отнести ко всем временам. Он пытался сопоставить ценности, сопоставить прошлое с настоящим здраво и беспристрастно. Нашему искусству, пожалуй, следовало бы быть более чутким к красоте, но все же оно в расцвете. А уж наука поистине делает чудеса. Тут молодой ненавистник современности заблуждается. Разве в Византии было хоть что-нибудь, что можно сравнить с электрическим освещением, трамваем, беспроводным телеграфом, асептической хирургией? Нет, безусловно, то, что он понаписал там про социальную несправедливость, с которой никто не борется,— чепуха. Громкие слова. Как! Ведь мы боремся против социальной несправедливости на каждом выборах, смело и открыто. А преступления! Что этот человек имеет в виду под неоправданными преступлениями? Пустые разговоры! Конечно, вокруг нас много роскоши, но она никому не приносит вреда, и сравнивать нашу благородную и дальновидную политику с беспринципной борьбой из-за восточного трона!.. Какая нелепость!

— Отшлепать бы его хорошенько, этого юнца,— сказал мистер Брамли и, отшвырнув развернутую иллюстрированную газету, где рядом с портретом сэра Эдварда

¹ В 1908 г. националистическая партия младотурков произвела переворот, установив в Турции конституционную монархию,

Карсона¹ в полный рост были помещены портреты короля и королевы в парадных облачениях, сидящих рядом под балдахином на придворном приеме, он решил написать оздоравливающую статью о безумствах молодого поколения и, между прочим, оправдать свою эпоху и свой профессиональный оптимизм.

2

Представьте себе дом, изъеденный термитами; с виду он еще красивый и крепкий, но при малейшем прикосновении может рассыпаться. И тогда вы поймете те перемены в поведении мистера Брамли, которые так поразили леди Харман, ту внезапную тайную страсть, которая во время разговора в саду прорвалась через непрочные преграды вольной дружбы. В нем уже подгнили все его понятия о морали.

А ведь все началось так хорошо. Сначала леди Харман занимала его мысли самым благопристойным образом. Это была чужая жена, особа священная по всем законам чести, и он хотел только одного: почаще ее видеть, разговаривать с нею, заинтересовать ее собой, разделить с ней все, что возможно, без нарушения ею супружеского долга,— и поменьше думать о сэре Айзеке.

Мы уже говорили о том, как быстро богатое воображение мистера Брамли заставило его невзлюбить и осудить сэра Айзека. Леди Харман была уже не просто очаровательная молодая жена, притесняемая мужем, не просто женщина, ищущая сочувствия; она превратилась в терзаемую красавицу, которую никто не понимает. По-прежнему строго уважая свои принципы, мистер Брамли вступил на опасный путь, измышляя, каким образом сэр Айзек мог эти принципы оскорблять, и его фантазия, раз начав работать в этом направлении, вскоре дала ему достаточно пищи для благородного и высоко-нравственного возмущения, для беззаветного, но не вполне оправданного рыцарства. Не без участия леди Бич-Мандарин маленький миллионер превратился для мистера Брамли в супруга-людоеда, и пылкий любовник,

¹ Карсон, Эдвард (1854—1935) — английский юрист и государственный деятель, в начале XX века — заместитель министра юстиции.

терзаясь, не спал по ночам. Ибо, сам того не подозревая, он стал пылким любовником, а недостаток оснований для этого в избытке восполнялся мечтами.

Высоконравственное возмущение есть зависть, окруженная нимбом. В эту ловушку неизбежно попадает пошатнувшийся ортодокс, и вскоре высококонравственное возмущение мистера Брамли стало невыносимым, так как к нему примешались сотни преувеличенных соображений о том, что собой представляет сэр Айзек и как, по всей вероятности, дурно он обращается со своей безропотной женой, которой безусловно недостойн. Эти романтические чувства — первый несомненный признак распада системы моральных основ — и начали проявляться в мыслях и словах мистера Брамли.

— Такой брак, — сказал мистер Брамли леди Бич-Мандарин, — нельзя даже назвать браком. Это — попрание идеала подлинного брака. Это — похищение и самое настоящее рабство...

Но тем самым был сделан огромный шаг в сторону от счастливого оптимизма времен Кембриджа. Что останется от святости брака и семьи, если добропорядочный джентльмен заявляет о попрании «подлинного брака», говоря о женщине, у которой уже четверо детей?! Я стараюсь беспристрастно, ничего не смягчив, рассказать о том, как мистер Брамли впал в романтизм. Вскоре оказалось, что ее дети «не настоящие». «Они были навязаны ей, — сказал мистер Брамли. — Я буквально заболел, когда думаю об этом!» И он в самом деле чуть не заболел. Эти размышления, видимо, пробудили его совесть, и он написал две статьи в «Еженедельное обозрение», в которых заклеил нецеломудренную литературу, декаданс, безнравственность, недавние скандальные истории, суфражисток и заявил, что место женщины дома и что «чистое, возвышенное единобрачие есть единственная всеобщая основа цивилизованного государства». Замечательнее всего в этой статье были недоговорки. Мистер Брамли явно умолчал о том, что единобрачие сэра Айзека, равно как и другие подобные случаи, нельзя считать чистым и возвышенным и что тут необходима — как бы это выразиться? — замена, что ли. Казалось, взяв перо, он на миг вернулся к своим прежним незыблемым взглядам...

В самом скором времени мистер Брамли и леди Бич-Мандарин почти убедили друг друга, что сэр Айзек физически мучает свою жену, которая из гордости молчит, и мистер Брамли уже не фантазировал и не воображал, а решительно обдумывал возможность красивого и целомудренного побега, чтобы «освободить» леди Харман,— вслед за чем последует брак с соблюдением всех формальностей, среди всеобщего сочувствия и восхищения, в присутствии самых уважаемых лиц, «подлинный брак», который будет несравненно возвышенной всех обычных добропорядочных браков. В этих своих мечтах он, как легко заметить, совершенно упустил из виду, что леди Харман не проявила никакой взаимности в ответ на его страстные чувства, а также и еще более серьезное препятствие: Милисенту, Флоренс, Аннет и малютку. Это упущение, разумеется, упростило дело, но вместе с тем запутало его.

Уверенность, что все лучшие люди будут приветствовать высшую добродетель, торжеством которой станет задуманный им побег, романтична по самому своему духу. Все остальные должны по-прежнему соблюдать закон. Никаких революций. Но для исключительных людей при исключительных обстоятельствах...

Мистер Брамли снова и снова убеждал себя, что он прав, и, к своему удовлетворению, неизменно оставался на недостижимых моральных высотах, сохраняя полнейшую ортодоксальность. И чем труднее было совместить какую-либо сторону дела с его ортодоксальной точкой зрения, тем мужественней мистер Брамли стремился ввысь; если бы, прежде чем он с леди Харман вступят в законный брак, им пришлось пожить некоторое время вместе за границей, в каком-нибудь живописном домике на берегу ручья, то вода в этом ручье была бы самой чистой, а отношения и вся обстановка морально безупречны, как пейзаж, который удовлетворил бы придирчивым требованиям Джона Рёскина¹. И мистер Брамли в душе был совершенно уверен, что его намерения при всем внешнем сходстве в корне отличались от всех скандальных историй или бракоразводных

¹ Рёскин, Джон (1819—1900) — английский писатель и теоретик искусства, сторонник нравственного воспитания человека в духе религии и красоты.

процессов, какие только бывали на свете. Всегда можно найти достойный путь. Скандал должен быть благородным, гордым, являть собой пример героической любви, которая превратит проступок — мнимый проступок — в очищающее чудо.

В таком состоянии духа мистер Брамли и предпринял свою неудачную поездку в Блэк Стрэнд; и если читателя интересуют перемены в людских взглядах, происходящие в наше время, то нетрудно заметить, что, хотя применительно к себе мистер Брамли был готов истолковать в самую благоприятную сторону общепринятые понятия о приличиях и добродетели, он ни на минуту не допускал ужасной мысли, что и на леди Харман лежит ответственность. Здесь мистеру Брамли еще предстояло многое открыть. Он считал, что леди Харман вышла замуж по ошибке и брак ее был несчастным, в чем он винил больше всех сэра Айзека и, быть может, мать леди Харман. Единственный выход для леди Харман он видел в благородстве какого-нибудь мужчины. Он все еще не мог себе представить, что женщина способна восстать против одного мужчины без сочувствия и моральной поддержки со стороны другого. Этого до сих пор не могут представить себе большинство мужчин — и очень многие женщины. И если он делал на этом основании какие-то обобщения, они сводились к тому, что в интересах «подлинного брака» следует облегчить развод и придать ему благопристойность. Тогда можно будет безболезненно исправить все «ошибочные браки». Он понимал, что поводы для развода бывают слишком интимными, и по этому порядочных людей, обращающихся в суд, необходимо оградить от неделикатной огласки в прессе...

3

Мистер Брамли все еще безуспешно искал способа обстоятельно поговорить с леди Харман наедине и подготовить ее к побегу, когда он узнал из газет о ее выезде на Джейгоу-стрит и о том, что она вскоре предстанет перед Саут-Хэмпсмитским полицейским судом. Он был удивлен. И чем больше он думал об этом, тем сильнее удивлялся.

Он сразу почувствовал, что избранный ею путь не совсем соответствует тому пути, который он для нее наметил. Он чувствовал себя... обойденным. Словно какая-то стена отделила его от этих событий, хотя он должен был играть в них главную роль. Он не мог понять, почему она это сделала, вместо того чтобы пойти прямо к нему и воспользоваться той благородной помощью, которую — она не могла этого не знать — он всегда готов оказать ей. При всей его доброжелательности эта самоуверенность, это непосредственное соприкосновение с миром казались ему не подобающими женщине и были жесточайшим поруганием его прежних моральных основ. Он хотел понять, в чем тут дело, и, работая локтями, протолкался в дальний, мрачный угол зала суда, чтобы послушать, как будут судить леди Харман. Ему долго пришлось ждать ее появления в душном зале. Судили еще пять или шесть женщин, тоже разбивших окна, они были вульгарны или, во всяком случае, неряшливы с виду. Судья упрекнул их в глупом поступке, и мистер Брамли в душе согласился с ним. Одна из женщин попыталась сказать речь, и это получилось у нее плохо, пискливо...

Когда леди Харман села наконец на скамью подсудимых — странно было видеть ее там, — он постарался пробиться сквозь густую толпу поближе к ней, поймать ее взгляд, поддержать ее своим присутствием. Она дважды взглянула в его сторону, но ничем не показала, что видит его. Его удивило, что она без страха и отвращения, а даже с какой-то заботой смотрела на сэра Айзека. Она была поразительно спокойна. И когда судья заявил, что обязан осудить леди Харман не менее чем на месяц, на ее губах мелькнула едва заметная улыбка. В середине зала виднелось что-то подвижное, похожее на большую помятую коробку из-под конфет, которую швыряет ураган; вот оно повернулось наконец, и мистер Брамли узнал шляпу леди Бич-Мандарин; но хотя он отчаянно махал рукой, ему не удалось обратить на себя внимание этой леди. Впереди стоял какой-то грубый верзил бандитского вида, от которого ужасно пахло колючей, он совершенно заслонял мистера Брамли да еще злобно обругал его за то, что он «пихается». Мистер Брамли подумал, что отнюдь не поможет леди Харман,

если ввяжется в драку с этим бандитом, от которого к тому же так дурно пахнет.

Все это было ужасно!

Когда суд кончился и леди Харман увели, он вышел на улицу и, едва владея собой, поехал к леди Бич-Мандарин.

— Она решила месяц отдохнуть от него и все обдумать, — сказала леди Бич-Мандарин. — И ей это удалось.

Быть может, так оно и было. Мистер Брамли не знал, что думать, и несколько дней находился в замешательстве, которое так часто предвещает появление новых идей, подобно тому, как слабость предвещает простуду...

Отчего она не пришла к нему? Может быть, она вовсе не такая, какой он ее себе представляет? Правильно ли она поняла то, что он сказал ей в саду? И потом, идя в сопровождении сэра Айзека через новый флигель, он поймал ее взгляд, она тогда так хорошо все понимала и — подумать только! — была так спокойна...

Просто не верится: пошла и разбила окно, когда он тут, рядом, готовый помочь ей! Знала ли она его адрес? Может быть, нет?! На миг мистер Брамли ухватился за это невероятное предположение. Может быть, в этом все дело? Но ведь она могла посмотреть в телефонной книге или биографическом справочнике...

И потом, будь это так, она вела бы себя в суде иначе, совсем иначе. Она искала бы его. И нашла...

К тому же ему вспомнилась та странная фраза, которую она сказала на суде о своих дочерях...

И в нем шевельнулось ужасное сомнение: а вдруг она совсем не думала о нем! Ведь он так мало ее знает!..

— Эти проклятые агитаторы всех сбили с толку, — сказал мистер Брамли, пытаясь отделаться от неприятных вопросов.

Но он не мог поверить, что леди Харман действительно сбили с толку.

4

И если моральную систему мистера Брамли, сильно подпорченную романтизмом, вдребезги разбил удар леди Харман по окну почты, — а по всем правилам она должна была, спасаясь от тирании одного мужчины, прибегнуть к благородству другого, — то какими слова-

ми описать ужасное впечатление, которое произвело на него ее поведение, когда ее выпустили? Он с нетерпением ждал этого важного события. Чтобы рассказать о его переживаниях во всех подробностях, потребовалась бы целый том, но над всеми его чувствами господствовала одна общая мысль, что, когда она выйдет из тюрьмы, ее борьба с мужем возобновится, и тогда мистер Брамли так горячо проявит свою преданность, что она поневоле ответит ему взаимностью, хотя он начал теперь подозревать, что в своих мечтах сильно переоценил ее благосклонность. В мыслях и мечтах мистера Брамли его усилия всегда увенчивались взаимностью. Он должен завоевать, пленить леди Харман. Эта мысль не покидала мистера Брамли в его бесцельной, хотя и хлопотливой жизни, стала его путеводной звездой. Он строил планы, как покорить ее воображение. Он был уже уверен, что не безразличен ей; надо разжечь ее интерес, раздуть его в пламя страсти. Думая об этом, мистер Брамли продолжал писать и заниматься своими делами. Два дня он провел в Маргейте у сына, который учился там в пригосударственной школе, и это заставило его задуматься над тем, как подействуют предстоящие ему романтические подвиги на чувствительного и смышленного мальчика. Возможно, некоторое время сын будет даже к нему несправедлив... Потом он поехал на субботу и воскресенье к леди Вайпинг, пробыл там до среды и вернулся в Лондон. Когда кончился срок заключения леди Харман, у него все еще не было определенного плана действий, и он не придумал ничего, кроме как встретить ее у ворот тюрьмы с огромным букетом белых и алых хризантем.

Но ее выпустили потихоньку, на день раньше срока, и что же она сделала! Попросила, чтобы ее встретила мать сэра Айзека,— и не кто иной! Большой автомобиль подъехал к воротам тюрьмы, и свекровь повезла миссис Харман прямо к мужу, который незадолго перед тем простудился и теперь, лежа в постели в Блэк Стрэнд,пил контрксевильскую воду.

Когда опечаленный мистер Брамли узнал обо всем, удивление его возросло еще больше. Он начал догадываться, что, сидя в тюрьме, она переписывалась с мужем, и, пока он предавался мечтам, многое изменилось,

а поехав к леди Бич-Мандарин, которая как раз укладывает багаж, чтобы стать душой общества в милой гостинице в Лендсгерхейде и заняться там зимним спортом, он узнал подробности, от которых весь похолодел.

— Они помирились,— сказала леди Бич-Мандарин.

— Как? — ахнул мистер Брамли, и душу его наполнило отчаянье.— Как?

— Людоед, верно, сообразил, что ее не запугаешь. Пошел на важные уступки. Удовлетворил, как она хотела, требования официанток, обещал, что она будет иметь собственные деньги, и все такое. Дело уладилось. Это Чартерсон и мать сэра Айзека его убедили. И вы знаете, его мать приезжала ко мне за советом, ей же добра желая. Хотела узнать, что это мы вбили ей в голову. Так и сказала. Странная старуха, простая, но неглупая. Мне она понравилась. В сыне души не чаёт и отлично знает ему цену... Он, конечно, недоволен, но с него хватит неприятностей. Как подумает, что она может снова угодить в тюрьму,.. готов позволить все, что угодно...

— И она вернулась!

— Ну, разумеется,— сказала леди Бич-Мандарин, и мистер Брамли почувствовал в этих словах желание его уязвить. Ясное дело, она догадалась.

— Но стачка официанток, при чем тут стачка?

— Она принимает в этом горячее участие.

— Она?

— Да еще какое! Все вышли на работу, система инспекций изменена, и он простил даже Бэбс Уилер. Слег в постель от огорчения, но все сделал.

— И она вернулась к нему.

— Как Годива¹,— сказала леди Бич-Мандарин с той безапелляционной двусмысленностью, которая была неотъемлемой частью ее очарования.

5

Мистер Брамли был так убит всем этим, что целых три дня ему и в голову не приходило увидеться с леди Харман и самому все выяснить. Он оставался в Лондо-

¹ Легендарная леди, жена повелителя Ковентри, которая согласилась на условие своего мужа — проехать обнаженной через город, чтобы освободить жителей от непосильного налога.

не и не мог ничего придумать. А так как было рождество, и Джордж Эдмунд, предвкушая каникулы, приехал из Маргейта, мистеру Брамли пришлось побывать с ним за один день на ипподроме, на «Питере Пэне»¹, на выставке в «Олимпии», а вечером в кинотеатре «Ла Скала» и у Хэмли; один раз он позавтракал с Джорджем Эдмундом в «Критерионе» и дважды в клубе «Клаймакс», но в то же время не мог думать ни о чем, кроме nepостижимой странности женщин. Джордж Эдмунд нашел, что отец очень уступчив, на все согласен, почти не ворчит из-за денег и вообще стал куда лучше. Все эти разнообразные и блестящие развлечения мистер Брамли почти не воспринимал, поглощенный своими мыслями. Пираты на деревянных ногах и с крюками вместо рук, умные слоны, интересные, баснословно дорогие игрушки, веселые шествия, комические трюки, обрывки популярной музыки и некрасивая манера Джорджа Эдмунда есть апельсины мешались у него в голове, никак не влияя на ход мыслей. На четвертый день он встряхнулся, дал Джорджу Эдмунду десять шиллингов, чтобы тот съел отбивную в кафе «Ройяль», а потом обошел кинематографы и погулял по Вест-Энду и, освободившись таким образом, завтракал уже в Эйлхеме. Там он нанял автомобиль и примерно в четверть четвертого был в Блэк Стрэнд, не без труда внушая себе, что просто приехал в гости.

Вероятно, по пути мистер Брамли мог думать только о леди Харман, но он был удивительно рассеян и опустошен: напряженное ожидание минувшего месяца и недоумение последних дней исчерпали его силы, он стал, так сказать, безвольным исполнителем своих недавних страстных стремлений. Отчаявшийся влюбленный подъехал к Блэк Стрэнд, исполненный философского смирения.

Дорога из Эйлхема в Блэк Стрэнд очень живописна; как многие дороги в старой Англии, она часто петляет без всякой нужды, то и дело попадаются крутые подъемы и спуски, а вокруг сухая равнина да кое-где сосновые леса. Глядя на этот пейзаж, так давно знако-

¹ «Питер Пэн» — детская пьеса шотландского писателя Джеймса Барри (1860—1937).

мый, потому что он жил здесь с тех самых пор, как они с Юфимией, оба совсем еще молодые, приехали сюда на тандеме в поисках своего идеала, уютного домишки на юге Англии,— мистер Брамли почувствовал склонность к глубокомыслию и обобщениям. Какие они с Юфимией были юные, когда в первый раз ехали по этой дороге, какие неискушенные, как верили они в счастье; все это было так чудесно и так же безвозвратно кануло в прошлое, как закаты, которыми они любовались вместе.

Да, жизнь велика и необъятна! Она безмерно больше каждого отдельного чувства, каждой отдельной привязанности! С тех пор он повзрослел, достиг успеха; не обошлось, конечно, без огорчений, но они были умеренными, ему все еще приятно было вспомнить слезы и не покидавшую его по целым неделям безысходную грусть, но с тех пор он очень переменялся. А теперь над всем здесь властвовала другая женщина, наполняя его новыми чувствами, желаниями, наивными и робкими, несбыточными надеждами, которые в молодости ему и не снились. Она не была похожа на Юфимию. С Юфимией все было просто и легко, до тех пор, пока не наступило это едва заметное увядание, эта усталость от успеха и благополучия, пришедшая в последние годы. Они с Юфимией всегда верили, что им не нужен никто на свете... Но если это так, то почему он не умер вместе с ней? Не умер, а приспособился с удивительной гибкостью. Видимо, в нем были неведомые, неисследованные глубины, таившие в себе те необычайные возможности, которые пробуждала в нем теперь леди Харман. И в тот день ему впервые пришло в голову, что, вероятно, и в Юфимии под их простыми, милыми отношениями могло таиться нечто подобное. Он стал вспоминать минуты, когда она говорила слова, ставившие его в тупик, смóтрела на него с неожиданным выражением, когда с ней бывало трудно...

Я пишу все это не для того, чтобы объяснить переживания мистера Брамли, а чтобы читатель лучше представил его себе. Вероятно, в человеке вечно зреет желание поговорить с другим по душам, во всяком случае, когда мистер Брамли ехал поговорить с леди Харман, у него было горькое чувство, что он никогда уже

не сможет поговорить по душам с Юфимией о некоторых вещах, которыми они в свое время пренебрегали. А это так помогло бы ему теперь...

Думая обо всем этом, он смотрел на знакомые красноватые вершины холмов, которые буран замел снегом, на поросшие вереском склоны, на темные, таинственные леса, на пятна яркой зелени, где однообразие вересковой пустоши нарушала болотистая лужайка. Несмотря на солнечный день, живые изгороди покрылись с северной стороны голубоватым налетом инея, а с деревьев на па-луую хвою слетала утренняя изморозь; он не раз видел эту картину, и через много лет здесь будет все то же; весь этот простор, по которому гуляет ветер, воплощал собой вечность, словно все останется таким же реальным, когда леди Харман не будет. И таким же реальным все останется, когда не будет его, и новые юные Юфимии и юные Джорджи Брамли, в иных одеждах и уже не на тандемах, приедут сюда и поймут своим ясным молодым умом, что все это предназначено для них: эта гостеприимная природа, на самом деле совершенно равнодушная в своем безмятежном постоянстве ко всем их надеждам и мечтам.

6

Размышления мистера Брамли о постоянстве природы и переменчивости людских судеб сразу прервались, едва он увидел Блэк Стрэнд и обнаружил, что некогда милый и уютный домик изуродован пристройками, кустарник выкорчеван, в старом сарае прорублены окна, а на трубах — поскольку они не дают хорошей тяги — приделаны весьма полезные украшения в виде колпаков. Расчищая место, сэр Айзек вырубил лес на склоне холма и намеревался на будущее лето разровнять место для двух теннисных кортов.

Крыльцо тоже было неузнаваемо, от жасмина не осталось и следа. Мистер Брамли решительно не мог взять в толк, что же произошло, позже он узнал, что сэр Айзек очень выгодно присмотрел в Эйлхеме подлинный, величественный и в то же время простой портал XVIII века и, пронумеровав каждый кусочек, решил перевезти его сюда с крайними предосторожностями, чтобы украсить Блэк Стрэнд. Мистер Брамли,

стоя среди груды камня, нажал кнопку негромкого, но энергичного электрического звонка, и двери отворила уже не миссис Рэббит, а дородный Снэгсби.

В дверях этого дома Снэгсби имел какой-то нелепый вид, словно огромная голова в крохотной шляпе. Мистеру Брамли показалось, что со времени их последней встречи дворецкий воспрял духом и обрел прежнюю уверенность в себе. Кто старое помянет, тому глаз вон. Мистера Брамли приняли, как принимают гостя во всяком порядочном доме. Его провели в маленький кабинет-гостиную со ступенчатым полом, где он провел столько времени с Юфимией, и он просидел там почти полчаса, прежде чем появилась хозяйка.

Комната мало изменилась. Одинокая роза Юфимии исчезла, вместо нее появилось несколько серебряных ваз, и в каждой стояли крупные хризантемы, привезенные из Лондона. Сэр Айзек, который, как сорока, хватал все, что попадалось на глаза, поставил в углу у камина очень красивый подлинный шкаф эпохи королевы Анны¹, на столе лежали роман Элизабет Робинз и две или три книги феминистского и социалистического содержания, которые, конечно, могли бы быть в доме и при мистере Брамли, но не лежали бы так на виду. В остальном все было по-прежнему.

Эта комната, подумал мистер Брамли среди прочих размышлений, совсем как сердце: пока она существует, здесь всегда должны быть вещи и люди. Каким бы светлым, чудесным и нежным ни было прошлое, все равно пустота требует, чтобы ее заполнили снова. Сущность жизни в ее ненасытности. Каким законченным казался этот дом, когда они с Юфимией здесь устроились! И вообще какой полной казалась жизнь в двадцать семь лет! С тех пор он каждый год что-то узнавал или по крайней мере мог бы узнать. И наконец начал понимать, что еще ничего не знает...

Дверь отворилась, и леди Харман, высокая, темноволосяя, помедлив мгновение на пороге, вошла в комнату.

Она производила на него всегда одно и то же впечатление: словно он только теперь вспомнил, какая она. Когда он был далеко от нее, то не сомневался, что

¹ Анна Стюарт, королева Великобритании и Ирландии в 1702 по 1714 г.

она красива, а когда снова видел ее, то с удивлением обнаруживал, как бледно запечатлелась в памяти ее красота. Мгновение они молча смотрели друг на друга. Потом она закрыла дверь и подошла к нему.

Едва мистер Брамли взглянул на нее, все его философское уныние как рукой сняло. Он воспрянул духом. Теперь он думал только о ней, о том, как она к нему относится, и больше ни о чем на свете.

Он заметил, что лицо ее, обрамленное темными волосами, стало бледней и серьезней, а фигура — чуть тоньше.

И когда она подошла, что-то в ней заставило его почувствовать, что она к нему не безразлична, что его приезд пробудил в ней, как и в нем, самые живые чувства. Повинуясь внезапному порыву, она протянула ему обе руки, и он, тоже охваченный порывом, взял и поцеловал их. Сделав это, он устыдился своего безрассудства, поднял взгляд и увидел в ее глазах робость лани. Вдруг она спохватилась, отняла руки, и оба поняли, что поступили опрометчиво. Она подошла к окну и стояла так довольно долго, глядя в сад, потом опять повернулась. Теперь она положила руки на спинку стула.

— Я знала, что вы приедете меня проведать,— сказала она.

— Я так о вас беспокоился,— сказал он, и оба замолчали, думая об этих словах.— Видите ли,— объяснил он,— я не мог понять, что с вами произошло. И почему вы это сделали.

— Сначала я спросила у вас совета,— сказала она.

— Вот именно.

— Сама не знаю, зачем я разбила это окно. Вероятно, только потому, что хотела уйти от мужа.

— Но почему же вы не пришли ко мне?

— Я не знала, где вас найти. И кроме того, мне как-то не хотелось идти к вам.

— Но ведь в тюрьме было ужасно, правда? Ведь там страшный холод? Я все думал о том, как вы сидите одна ночью в какой-нибудь душной камере... вы...

— Да, там было холодно,— призналась она.— Но это пошло мне на пользу. Там было тихо. Первые дни казались бесконечными, а потом время пошло быстрее. И наконец полетело совсем быстро. Я стала думать. Днем мне давали маленькую табуретку. Я сидела на ней и ду-

мала о многом таком, что прежде никогда не приходило мне в голову.

— Так,— сказал мистер Брамли.

— Вот и все,— сказала она.

— И в результате вы вернулись сюда! — сказал он с легким упреком, тоном человека, который имеет право говорить об этом.

— Видите ли,— сказала она после недолгого молчания,— за это время нам удалось достичь взаимопонимания. Мы с мужем не понимали друг друга. А теперь нам удалось... объясниться.

— Да,— продолжала она.— Вы знаете, мистер Брамли, мы... мы оба неправильно понимали друг друга. Поэтому-то и еще потому, что мне не у кого было попросить совета, я обратилась к вам. Писатели так хорошо разбираются в этих вещах. Вы знаете столько жизней, с вами можно говорить так, как ни с кем другим; вы вроде доктора в этих делах. Я должна была заставить мужа понять, что я взрослый человек, и мне нужно было подумать, как совместить долг и... свободу... А сейчас муж болен. Он слег, некоторое время ему было трудно дышать — доктор думает, что это астма,— деловые волнения расстроили его, и ему стало хуже. Сейчас он наверху — спит. Конечно, если бы я знала, что он заболел из-за меня, то никогда не сделала бы ничего подобного. Но что сделано, то сделано, мистер Брамли, и вот я вернулась домой. После этого многое изменилось. Все стало на свои места...

— Я вижу,— с глупым видом сказал мистер Брамли.

Когда она говорила это, ему казалось, что темная завеса упала на романтические дали. Она стояла, словно прикрываясь стулом. Голос ее звучал решительно, но мистер Брамли чувствовал, что она знает, как от этих слов меркнут и гаснут его мечты. Он выслушал ее спокойно, но потом вдруг все его существо восстало против такого решения.

— Нет! — воскликнул он.

Она молча ждала, что он скажет.

— Понимаете,— сказал он,— я думал, все дело в том, что вы хотели уйти от мужа... что эта жизнь для вас невыносима, что вы были... Простите, если я беру на себя смелость... если я вмешиваюсь не в свое дело. Но ка-

кой смысл притворяться? Вы для меня очень, очень много значите. И мне казалось, что вы не любите мужа, что вы поработаны и несчастны. Я был готов на все, только бы вам помочь, на все, что угодно, леди Харман. Я знаю, это может показаться смешным, но было время, когда я готов был умереть, лишь бы знать, что вы счастливы и свободны. Так я думал и чувствовал... А потом... потом вы вернулись сюда. Как видно, вам это не претит. Я ошибся...

Он замолчал, и лицо его светилось необычайной искренностью. На миг он перестал быть застенчивым.

— Я знаю, что это правда,— сказала она.— Знаю, что была вам не безразлична. Именно поэтому я так хотела поговорить с вами. Мне казалось...

Она жала губы, как всегда, когда старалась подыскать слово.

— Я не понимала по-настоящему своего мужа, мистер Брамли, да и себя тоже. Я видела только, как он беспощаден ко мне... и беспощаден в делах. Но теперь все переменилось. К тому же я забывала о его слабом здоровье. Он очень болен; мне кажется, его болезнь начиналась уже тогда. Вместо того, чтобы объясниться со мной... он... разволновался... и поступил неразумно. А теперь...

— Теперь, я полагаю, он... объяснился с вами,— сказал мистер Брамли медленно и с глубочайшим отвращением.— Леди Харман, что же он вам объяснил?

— Дело не столько в том, что он мне объяснил, мистер Брамли,— сказала леди Харман,— сколько в том, что все объяснилось само собой.

— Но как, леди Харман? Как?

— Понимаете, я была совершенной девчонкой, почти ребенком, когда вышла за него замуж. Естественно, он старался сам обо всем заботиться, и на мою долю ничего не оставалось. И столь же естественно, он не замечал, что я уже взрослая женщина. Нужно было что-то сделать. Конечно, мистер Брамли, он был в ужасе, но потом написал мне письмо, что все понял,— это было такое искреннее, необычное письмо, он никогда со мной так не говорил... я была просто поражена. Он написал, что не хочет стеснять мою свободу, что он сделает... устроит все так, чтобы я чувствовала себя свободной и

могла бывать, где хочу. Это было благородное письмо, мистер Брамли. Он благородно отнесся ко всему, что было между нами. Написал мне такие добрые, хорошие слова, совсем не то, что раньше...— Она вдруг замолчала, потом заговорила снова: — Знаете, мистер Брамли, так трудно говорить одно и умалчивать о другом — о том, что язык как-то не поворачивается сказать, и все же, если я не скажу вам, вы не сможете понять наших отношений.

Она бросила на него умоляющий взгляд.

— Говорите все, что считаете нужным,— сказал он.

— Когда боишься человека и чувствуешь, что он неизмеримо сильнее, суровее и тверже тебя, а потом вдруг видишь, что это совсем не так, все сразу меняется.

Он кивнул, глядя на нее.

Она понизила голос почти до шепота.

— Мистер Брамли,— сказала она,—когда я вернулась к нему — вы знаете, он уже лежал больной,— то вместо того, чтобы меня ругать, он плакал. Плакал, как обиженный ребенок. Уткнулся лицом в подушку — такой несчастный... Я никогда не видела, чтобы он плакал, разве только один раз, давным-давно...

Мистер Брамли смотрел на ее нежное покрасневшее лицо, и ему казалось, что он в самом деле готов хоть сейчас умереть за нее.

— Я поняла, какой я была жестокой,— сказала она.— В тюрьме я думала об этом, думала, что женщины не должны быть жестокими, несмотря ни на что, и когда увидела его таким, то сразу поняла, как это верно... Он просил меня быть хорошей женой. «Или нет,— сказал он.— Будь мне просто женой, пусть даже не хорошей»,— и заплакал...

Мгновение мистер Брамли молчал.

— Понимаю,— сказал он наконец.— Да, понимаю.

— И потом дети, эти беспомощные маленькие создания. В тюрьме я очень о них беспокоилась. Я много думала о них. И поняла, что нельзя целиком предоставлять их нянькам, чужим людям... Кроме того, вы же видите, он согласился почти на все, чего я хотела. Это касалось не только лично меня, я беспокоилась об этих глупых девушках-забастовщицах. Я не хотела, чтобы с ними плохо обращались. Мне было их жаль. Вы себе

представить не можете, до чего жаль. И он... он уступил в этом. Сказал, что я могу разговаривать с ним о деле, о том, как мы ведем наше дело,— видите, какой он добрый. Вот почему я вернулась сюда. Куда же еще мне было идти?

— Конечно,— с трудом выдавил из себя мистер Брамли.— Я понимаю. Только...

Он замолчал, подавленный, а она ждала.

— Только не этого я ожидал, леди Харман. Я не ожидал, что все может уладиться таким образом. Конечно, это разумно, это удобно и приятно. Но я-то думал... Ах! Я думал о другом, совсем о другом. Думал, что вы, такая красавица, попали в мир, где нет ни страсти, ни любви. Думал, что вы созданы для красоты, для прекрасного и лишены всего этого... Но неважно, о чем я думал! Неважно! Вы сделали выбор. Правда, я был уверен, что вы не любили, не могли любить этого человека. Мне казалось, вы сами чувствовали, что жить с ним — это кошунство. И вот... Я отдал бы все на свете, все без остатка, чтобы спасти вас от этого. Потому... потому что вы для меня так много значите. Но это была ошибка. Поступайте так... как вы считаете нужным.

Говоря это, он вскочил, сделал несколько шагов, повернулся к ней и произнес последние слова. Она тоже встала.

— Мистер Брамли,— сказала она тихо.— Я вас не понимаю. О чем вы? Я должна была так поступить. Он... он мой муж.

Он сделал нетерпеливый жест.

— Неужели вы ничего не знаете о любви? — воскликнул он.

Она сжала губы и стояла молча, не двигаясь,— темный силуэт на фоне створчатого окна.

Сверху послышался стук. Три удара, потом еще три.

Леди Харман сделала едва заметное движение, словно хотела отмахнуться от этого звука.

— Любовь,— сказала она наконец.— Есть люди, которым дано ее изведать. Это бывает... Бывает в юности. Но замужней женщине нельзя думать об этом.— Она говорила почти шепотом.

— Надо думать о муже и о своем долге. Невозможно вернуть прошлое, мистер Брамли.

Стук раздался снова, чуть настойчивей.

— Это муж,— сказала она. И, поколебавшись, продолжала: — Мистер Брамли, мне так нужна дружба, я очень хочу иметь друга. Мне не хочется думать о... том, что лишит меня покоя... о безвозвратно утраченном... погибшем. О том, про что вы сейчас говорили. Какое это имеет отношение ко мне? — Он хотел было перебить ее, но она его остановила: — Будьте мне другом. К чему гсворить о невозможном? Любовь! Мистер Брамли, о какой любви может помышлять замужняя женщина? Я никогда об этом не думаю. Никогда об этом не читаю. Я хочу быть верной долгу. Долгу перед ним, перед детьми и перед своими ближними. Я хочу помогать слабым, страдающим людям. Хочу, чтобы он помогал им вместе со мной. Хочу перестать быть праздною, бесполезною расточительницею...

Она протянула к нему руки.

— Ох! — вздохнул он. И сказал: — Вы можете быть уверены, что, если я в силах вам помочь... я готов на все, лишь бы только не огорчать вас.

Она сразу переменялась, стала доверчивой и серьезной.

— Мистер Брамли,— сказала она.— Я должна идти к мужу. Он ждет меня. И когда он узнает, что вы здесь, то захочет вас видеть. Вы подниметесь к нему наверх?

Мистер Брамли всем своим видом старался показать, какая в нем происходит борьба.

— Я сделаю все, чего вы пожелаете, леди Харман,— сказал он почти с театральным вздохом.

Он проводил ее до двери и снова остался один в своем бывшем кабинете. Он медленно подошел к старому письменному столу и сел на знакомый стул. Вскоре он услышал ее шаги наверху. Под влиянием странных и неожиданных обстоятельств он легко впадал в театральность.

— Господи! — сказал мистер Брамли.

Он обращался к этой милой и знакомой комнате с обидой и недоумением.

— Он ее муж! — сказал мистер Брамли и добавил: — О, эта власть слов...

Мистеру Брамли, у которого голова шла кругом, показалось, что сэр Айзек, обложенный подушками на диване в верхней гостиной, бледный, подозрительный и тяжело дышащий, воплощал в себе самодержавное Соственничество. Все вокруг было ему покорно. Даже жена сразу опустилась до положения красивой прислужницы. Эта болезнь, сказал он гостю, выразительно шевеля тонкими губами, — «дело временное, такое со всяким может случиться». У него почему-то отнялась одна нога, «просто пустяковое нервное утомление», — а тут еще легкая астма, которая то появляется, то исчезает, воспользовалась его слабостью и стала одолевать сильнее обычного.

— Элли хочет отвезти меня через неделю или две в Мариенбад, — сказал он. — Там меня подлечат, она тоже поправится, и мы оба вернемся здоровехонькие.

Выходило, что неприятности минувшего месяца здесь старались обратить в шутку.

— Слава богу, что они еще не остригли ей волосы, — сказал он неизвестно к чему с таким видом, словно хотел сострить. И это был единственный намек на заключение леди Харман.

Сэр Айзек был в домашнем костюме из шерсти ламы, его больная нога была накрыта очень красивой и пышной меховой полстью. Самые лучшие, яркие подушки Юфимии были подложены ему под спину. Вся мебель была переставлена ради его удобства. У изголовья, под рукой, стоял столик с отборными лекарствами, медикаментами, снадобьями, укрепляющими средствами, новейшие развлекательные книжки валялись на полу между столиком и диваном. В ногах у сэра Айзека стоял перенесенный сюда из спальни столик Юфимии, а на нем лежали письменные принадлежности, оставленные стенографисткой, которая писала письма под его диктовку. Три черных кислородных баллона и другие приспособления в углу показывали, что затрудненное дыхание сэра Айзека облегчали кислородом, а для услаждения взгляда по всей комнате в изобилии были расставлены цветы, привезенные из Лондона. И, конечно, здесь были гроздья винограда, эти сказочные дары юга.

Все это служило фоном для сэра Айзека, который в ореоле своей собственнической страсти красовался на переднем плане картины. Когда мистера Брамли провели наверх, Снэгсби накрыл столик у дивана и подал чай, едва ли заботясь о еще чем-либо удобстве. И сам сэр Айзек держался с уверенностью и самонадеянностью человека, совершенно оправившегося от потрясения. Какие бы он ни пролил там слезы, он добился своего и уже забыл о них. «Элли» принадлежала ему, и дом и все вокруг тоже принадлежало ему — один раз, когда она подошла к дивану, он даже обнял ее, не стесняясь проявить свои собственнические чувства, — и настороженная подозрительность его последней встречи с мистером Брамли теперь сменилась выражением хитрого и затаенного торжества над предугаданными и предотвращенными опасностями.

Пришла мать сэра Айзека, крепкая, смуглая, уверенная в себе, и при виде ее у мистера Брамли мелькнула мысль, что отец сэра Айзека был, вероятно, совсем светлый блондин с длинным носом. Она была простая, энергичная и очень оживила разговор, который никак не клеился.

Мистер Брамли всячески избегал смотреть на леди Харман, так как знал, что сэр Айзек за ним следит, но он остро чувствовал, что она здесь, рядом, ходит по комнате, разливает чай, как примерная жена. Она теперь прежде всего казалась примерной женой, и это было ему очень неприятно. Разговор вертелся главным образом вокруг Мариенбада, изредка отклоняясь в сторону и снова возвращаясь к этой теме. Миссис Харман несколько раз дала понять, что состояние сэра Айзека внушает серьезные опасения.

— Мы очень надеемся на лечение в Мариенбаде, — сказала она. — Мне кажется, все будет хорошо. Вот только оба они никогда еще не были за границей и не знают иностранных языков, так что им трудно будет объясниться.

— Чего там! — проворчал сэр Айзек, бросив на мать недовольный взгляд, и заговорил на языке лондонских предместий, видно, ее присутствие напомнило ему молодость. — Все сойдет хорошо, мамаша. Нечего киснуть.

— Конечно, с ними будет человек, чтобы присматри-

вать за вещами, они поедут вагоном «люкс» и все такое,— объяснила миссис Харман не без гордости.— Но все же это не шутка: ведь он болен, и оба, уверяю вас, сущие дети.

Сэр Айзек вмешался в разговор с грубой бесцеремонностью и прервал эти излияния, осведомившись о почве в лесу, где нужно было расчистить и выровнять место для теннисных кортов.

Мистер Брамли старался изо всех сил не уронить достоинства светского человека. Он глубокомысленно рассуждал о песчаной почве, дал очевидный, но полезный совет, который мог пригодиться во время путешествия по континенту, и старался не думать, что эта милейшая, нежнейшая, красивейшая женщина в мире безнадежно обречена на такую жизнь. Он избегал смотреть на нее, пока не почувствовал, что неловко так подчеркнуто смотреть в сторону. Зачем она вернулась к мужу? Отрывочные фразы, которые она сказала внизу, всплыли в его памяти. «Я никогда об этом не думаю. Никогда об этом не читаю». Так поступила она с прекраснейшей любовью и с прекраснейшей жизнью! Он вспомнил неуместные и в то же время до нелепости точные слова леди Бич-Мандарин: «Как Годива» — и вдруг невольно заговорил о забастовщиках.

— Ваш конфликт с официантками уладился, сэр Айзек?

Сэр Айзек шумно допил чай и посмотрел на жену.

— Я вовсе не хотел быть жестоким,— сказал он, ставя чашку на стол.— Ничуть. Конфликт начался неожиданно. В большом деле невозможно уследить сразу за всем, особенно если голова другим занята. Как только у меня освободилось время, чтобы разобраться в этой истории, я все уладил. Просто обе стороны не понимали друг друга.

Он снова посмотрел на леди Харман. (Она стояла позади мистера Брамли, так что он не мог ее видеть, но... как знать, может быть, их глаза все же встретились?)

— Как только вернемся из Мариенбада,— великодушно добавил сэр Айзек,— мы с леди Харман вместе займемся этим делом всерьез.

Мистер Брамли под тоном вежливого интереса скрыл, как неприятно ему это «вместе».

— Простите, я не совсем понял... Чем именно?

— Лондонскими официантками... общежитиями... и всем прочим. Это ведь куда разумнее всяких суфражистских затей, а, Элли?

— Очень интересно,— сказал мистер Брамли с приторным сочувствием.— Очень.

— И заметьте, если поставить это на деловую основу,— сказал сэр Айзек, вдруг став серьезным и пронизательным,— если как следует поставить это на деловую основу, можно очень многое улучшить. В таком широком деле, как наше, этот результат естествен. Я очень этим заинтересовался.

И он присвистнул сквозь зубы.

— Я не знал, что леди Харман хочет принять в этом участие,— сказал он.— Иначе я занялся бы этим уже давно.

— Но теперь занялся,— сказала миссис Харман.— Всю душу вкладывает. Поверите ли, приходится все время ставить ему термометр, следить, как бы от работы у него температура не поднялась.— Тон ее стал рассудительным и откровенным. Она разговаривала с мистером Брамли так, будто ее сын был глуховат и не слышал.— Но это все же лучше, чем вечные волнения,— сказала она...

8

Мистер Брамли возвращался в Лондон в весьма расстроенных чувствах. Когда он увидел леди Харман, его страсть вспыхнула с новой силой, и, слишком хорошо понимая, что рассчитывать ему не на что, он испытывал искушение совершить что-нибудь отчаянное и нелепое. Эта женщина так покорила все его существо, что мысль оставить всякую надежду была для него невыносима. Но на что было надеяться? И он терзался ревностью, самой отвратительной ревностью, ревновал так, что вынужден был гнать от себя самую мысль о ней. Он с трудом сдерживался, чтобы не начать метаться по вагону. Мысли вихрем вертелись в голове в поисках выхода. И вдруг он поймал себя на том, что готов яростно и безнадежно восстать против самого института брака, который он всегда с достоинством и улыбкой защищал от всяких сторонников новшества, неумеренных критиков и горячих

юнцов. Раньше он никогда не бунтовал. Страстный протест, поднимавшийся у него в душе, так его удивил, что он от бунта перешел к придирчивому исследованию происшедших в нем перемен.

«Я не против подлинного брака,— говорил он себе.— Я только против такого брака, который, как западня, влечет к себе почти неизбежно, так что все попадают в нее, а выхода нет, разве только разорваться на части. Выхода нет...»

Потом ему пришло в голову, что по крайней мере один выход для леди Харман есть: сэр Айзек может умереть!..

Он остановился, пораженный и испуганный собственными мыслями. Но, кроме всего прочего, ему хотелось знать, допускала ли когда-нибудь эту мысль о смерти сама леди Харман. Ну, конечно, иногда и у нее могла мелькать такая мысль, такая надежда. Затем он перешел к более общим размышлениям. Сколько на свете хороших, добрых, честных, порядочных людей, для которых чужая смерть — это избавление от тяжкого ига, возможность втайне желанного счастья, осуществление погибшей и запретной мечты! Как ночью при ослепительной вспышке молнии, человеческое общество вдруг представилось ему в виде множества пар, которые сидят в ловушках и каждый тайно мечтает о смерти другого.

— Господи! — сказал мистер Брамли. — К чему мы идем?

И, встав с дивана, начал расхаживать по тесному купе — он взял отдельное купе, — пока поезд, проезжая стрелку, не дернулся и ему не пришлось снова сесть.

— Большинство браков счастливые, — сказал мистер Брамли, стараясь вылезти на твердую почву, словно человек, упавший в воду. — Нельзя же судить по исключительным случаям...

— Но их ведь очень много, этих исключительных случаев.

Он скрестил на груди руки, закинул ногу за ногу, нахмурился и стал уговаривать себя взяться за ум, решившись прогнать прочь всякие мысли о смерти.

Он вовсе не собирался отвергать институт брака. Это значило бы зайти слишком далеко. Он никогда не видел смысла в неупорядоченных отношениях между

полами, никогда. Это противно самому порядку вещей. Человек — брачащееся животное, он должен вступать в брак так же, как некогда он добыл огонь; люди всегда соединялись парами, как узоры орнамента на каминной доске; для человека так же естественно жениться, требовать верности и хранить ее, а иногда бешено ревновать, как иметь мочки на ушах и волосы под мышками. Быть может, все это трудно совместить с мечтой; боги, изображаемые на расписных потолках, не скованы такими узами и совершают прекрасные поступки по самой своей природе; а здесь, на земле, среди смертных, эти узы есть, и приходится к ним приспособляться... Делаем ли мы это? Мистер Брамли снова потерял нить. Эта мысль увела его в пустыню, по которой он начал блуждать, исполненный нового отчаянного желания найти такую форму брака, которая удовлетворила бы его.

Он начал пересматривать брачное законодательство. При этом он изо всех сил старался не думать именно о леди Харман и о себе. Он просто брал вопрос в целом и рассматривал его разумно, без крайностей. К этому вопросу надо подходить разумно, без крайностей и не думать о смерти, как о выходе из положения. Прежде всего в брак слишком легко вступить и слишком трудно его расторгнуть; многое множество девушек — леди Харман в этом отношении только характерный пример — вышли замуж, прежде чем начали что-либо понимать. Нужно запретить ранние браки — ну, скажем, лет до двадцати пяти. А почему бы и нет? Или, если уж, поскольку человек слаб, необходимо жениться раньше, следует предусмотреть возможность расторгнуть такой брак. (Леди Харман должна иметь такую возможность.) Каков должен быть брачный возраст в цивилизованном обществе? Когда мировоззрение человека в целом уже сформировано, решил мистер Брамли, но тут же задумался: а не меняется ли мировоззрение человека всю его жизнь? Для леди Харман это безусловно справедливо... А раз так, спрашивались самые нежелательные выводы...

(Тут размышления мистера Брамли несколько отклонились в сторону, и он поймал себя на мысли, что, быть может, сэр Айзек протянет еще много лет и даже переживет свою жену, которая, выкармливая детей, лишится

здоровья. И потом — ждть чужой смерти! Оставить любимое существо в объятиях полутрупа!)

И он поскорее снова вернулся к беспристрастным размышлениям о реформе брачного законодательства. Так что же он может предложить? Покамест лишь одно — тщательно обдумывать этот шаг и вступать в брак в более зрелом возрасте... С этим, конечно, согласятся даже самые ярые ортодоксы. Но таким способом нельзя полностью избежать ошибок и обмана. (А у сэра Айзека такая нездоровая бледность.) Необходимо, насколько это возможно, облегчить развод. Мистер Брамли попытался мысленно перечислить поводы для развода, приемлемые в подлинно цивилизованном обществе. Но есть еще чисто практические трудности. Брак — это союз, основанный не только на сексуальных отношениях, но и на экономических, можно сказать, нерасторжимых узах, и, кроме того, есть дети. А еще ревность! Конечно, в экономическом смысле почти все можно уладить, а что касается детей, то мистер Брамли теперь был далек от восторженной любви к детям, которая заставила его так радоваться рождению Джорджа Эдмунда. Сами по себе дети еще не основание для нерасторжимости брака. Надо трезво смотреть на вещи. Как долго супругам абсолютно необходимо жить вместе ради детей? Состоятельные люди, цвет общества, отдают детей в школу в возрасте девяти или десяти лет. Вероятно, наше пылкое чадолубие преувеличено, и мы преувеличивали его в своих произведениях...

Тут он задумался об идее десятилетних браков Джорджа Мередита.

Потом ему вспомнился сэр Айзек, этот собственник, обложенный подушками. До чего же беспочвенна вся эта болтовня о том, как изменился брак! Главное насколько не затронуто. Он вспомнил тонкие губы и опасливый, хитрый взгляд сэра Айзека. Какой закон о разводе может придумать человеческий ум, чтобы освободить любимую женщину от его... хватки? Брак — это порождение алчности. С таким же успехом можно ждть, что этот человек продаст все имущество и раздаст деньги бедным, как и надеяться, что сэры Айзеки в этом мире облегчат для своих жен супружеское иго. Наше общество основано на ревности, поддерживается ревностью,

и смелые планы, которые мы измышляем для освобождения женщин от собственников — да, в сущности, и для освобождения мужчин тоже, — ни на миг не выдержат пыльной духоты рынка и сразу же увянут от пагубного дыхания действительности. Брак и собственность — близнецы, дети человеческого индивидуализма; только на таких условиях человека можно заставить жить в обществе...

Мистер Брамли понял, что планы реформы брака и развода, родившиеся в его уме, мертвы и по большей части мертворожденны, а самому ему ничего не остается, кроме отчаяния... Он понял, что пытаться сколько-нибудь серьезно изменить брак — это все равно, как муравью начать карабкаться на гору высотой в тысячу футов. Великий институт брака казался ему неприступным, окутанным хмурой синевой, горным хребтом, который отделял его от леди Харман и от всего, о чем он мечтал. Конечно, в ближайшие годы можно попытаться кое-как подлатать брачное законодательство, наложить мелкие заплаты, которые сделают невозможным некоторые посягательства и облегчат положение некоторых хороших людей; но он знал, что если смотреть правде в глаза, то и через тысячу лет останется все тот же высокий горный хребет, который можно, пожалуй, преодолеть по опасной дороге или протиснувшись узким тоннелем, но в общем между ним и леди Харман будет все та же гора. Не потому, что это разумно или справедливо, а потому, что это так же в природе вещей, как кровь, текущая в жилах, и облака на небе. Прежде чем человечество выберется из этой окруженной горами долины — если только оно вообще когда-нибудь выберется оттуда, — должны смениться тысячи поколений, пройти десятки тысяч лет борьбы, напряженной работы мысли и терзаний в тисках господствующих привычек, взглядов и первобытных инстинктов. Новое человечество...

Его сердце сжалось от отчаяния.

А пока? Пока нужно жить.

Он начал находить некоторое оправдание тем тайным культам, которые существуют под красивой оболочкой жизни, тем скрытым связям, с помощью которых люди — как бы это сказать? — несогласные с общепринятыми установлениями и, во всяком случае, не такие эгои-

стичные и ревнивые, как эгоистична и ревнива толпа, находят себе убежище и помогают друг другу смягчить жестокий гнев великой нелепости.

Да, мистер Брамли дошел до того, что назвал так наш основной общественный институт, ко всем одинаково равнодушный и беспощадный. Вот как обстоятельства могут порой подорвать самые основы морали в человеке, некогда твердо и безоговорочно принимавшем существующий порядок! Он все еще утверждал, что великая нелепость необходима, решительно необходима — для большинства людей, для части людей это вполне естественно; но ему представлялась некая иная возможность для «избранных». Мистер Брамли весьма смутно представлял себе, каковы эти «избранные», с помощью каких возвышенных тайн они вырвут счастье из губительных лап грубости и ревности. Иначе и быть не могло. Ибо тайна и благопристойность — как нефть и вода; как ни старайтесь их смешать, все равно они разделятся снова.

Некоторое время мистер Брамли размышлял о том, как можно сохранить тайну. Он вдруг подумал — и это показалось ему настоящим открытием, — что в неприступных горах этого высшего института всегда были... пещеры. Он недавно читал Анатоля Франса, и ему вспомнилась героиня «Красной лилии». Он находил что-то общее между леди Харман и графиней Мартен — обе высокие, темноволосые, гордые; и леди Харман — одна из тех немногих женщин, которым пристало бы носить великолепное имя Тереза. Там, в Париже и Флоренции, был свой мир любви, незаконной, но истинной, существующей, так сказать, тайно и вместе с тем благопристойно, под сенью огромной горы. Но он чувствовал, что трудно представить в этом мире леди Харман, а сэра Айзека — в роли графа Мартена.

Как непохожи на наших женщин эти француженки, по песчерам думающие только о любви, как они от всего отрешены, какие у них возлюбленные, какие тайны, какие удобные, романтически обставленные квартиры, как все устремлено к одной цели, и цель эта — l'amour! ¹. На миг он и в самом деле пожалел, что леди Харман не подходит для их мира. Она совсем другая и похожа на

¹ Любовь (франц.).

них разве только своей простотой. Что-то в этих женщинах, словно бездонная пропасть, отделяло их всех от нее, которую цепкие щупальца долга, семейные узы и природная порядочность держали в стороне от тайн и приключений. На мгновение представив себе Эллен в роли графини Мартен, он понял всю нелепость такого сравнения, едва только взглянул на него попристальной. И теперь он уже стал искать в этих двух женщинах не сходство, а различие; Тереза, непреклонная, уверенная, чувственная, скрытная, воспитанная на блестящих традициях супружеской измены, была полной противоположностью Эллен с ее смутной, но неуклонной правдивостью и прямоотой. Не случайно Анатоль Франс сделал свою героиню дочерью алчного финансового авантюриста...

Ну, конечно же, пещера — это часть горы...

Он стал размышлять о вещах еще больше отвлеченных и все время старался отогнать от себя образ сэра Айзека, мрачного и вместе с тем злобно самоуверенного, властвовавшего над своей собственностью; и, как деревенский ротозей, который, разгуливая по ярмарке, не подозревает, что на спине у него написано неприличное слово, мистер Брамли не подозревал, как он жадно желал и, если бы мог, сам схватил бы эту собственность. Он забыл, как сам некогда бдительно следил за Юфимией, и даже не пытался представить себе, каким был бы он, будь леди Харман его женой. Эти мысли пришли к нему потом, вместе с предрассветной прохладой, когда человек не способен лицемерить. А пока он думал о том, какой сэр Айзек грубый эгоист, какие у него руки, глаза, как он богат. О собственном эгоизме он совершенно забыл.

Все пути, какие только приходили ему в голову, вели к леди Харман.

9

В тот вечер переполненный впечатлениями Джордж Эдмунд с шумным восторгом пересказывал отцу кинофильмы, и тот слушал его терпеливо, но, как показалось мальчику, невнимательно. На самом же деле мистер Брамли совсем не слушал; он был поглощен своими мыслями. Он бормотал «ага» или «гм», ласково похлопывал сына по плечу и бессмысленно повторял его слова: «Крас-

нокожие индейцы, вот как!» или «Вылезай из воды, живо! Лопни мои глаза!» Иногда он отпускал совсем уж глупые, с точки зрения Джорджа Эдмунда, замечания. И все же Джорджу Эдмунду необходимо было с кем-то поделиться, а никого другого под рукой не оказалось. Поэтому Джордж Эдмунд продолжал говорить, а мистер Брамли — думать.

10

Мистер Брамли не мог заснуть до пяти утра. Казалось, после стольких лет скованности ум его наконец вырвался на волю. Все вокруг спали, один мистер Брамли, так сказать, проворно взбирался все выше и выше, с невероятной быстротой догоняя свой возраст. Утром он встал бледный, небрежно побрился, но зато теперь он был на тридцать лет впереди своих романов про Юфимию, и школа очарования, снисходительного юмора и изящной отрешенности от земных дел потеряла его навсегда...

Захваченный бурным водоворотом ночных мыслей, он, помимо всего прочего, почувствовал неодолимую потребность разобраться в самом себе. В конце концов это было неизбежно. Решительное возвращение леди Харман к мужу заставило его начать с самых основ. Ему пришлось наконец пристально посмотреть на себя, ибо в нем заговорил мужчина, заглянуть под внешнюю оболочку джентльменских манер, утонченной и красивой мужественности, привычных поз. Одно из двух: либо он не перенесет этого (а порой ему казалось, что у него не хватит сил), либо перенесет. Однако, если не считать коротких минут отчаяния, он мог это перенести, и ему пришлось с величайшим удивлением признать, что такого человека, как он, может связывать с красивой женщиной нечто большее, чем физическая привлекательность, ухаживание и жажда обладания. Он любил леди Харман, горячо любил, только теперь он начал понимать, как сильна эта любовь, — и пусть она пренебрегла им, отвергла его как возлюбленного, лишила всякой надежды, пусть он посрамлен в глазах романтиков, все же ей довольно было с доверием взглянуть на него, дружески протянуть ему руку, чтобы его покорить. Он привык себе, что страдает, или, вернее сказать, делал вид, что его страстная натура мучительно страдает, но, подоб-

но тому, как свежий воздух и лучи восходящего солнца проникают в затхлую комнату, если поднять шторы и открыть окно, так и он проникся сознанием, что любит ее чистой, возвышенной любовью, жаждет ей помочь, жаждет — и это было для него ново — понять ее, ободрить, отдать ей безвозмездно то, за что раньше мечтал получить воздаяние.

А еще в эти тихие ночные часы мистер Брамли осознал, как мало он понимал ее до сих пор. Он был ослеплен страстью. Он рассматривал ее, себя и все на свете лишь как проявление извечной двойственности полов, как непрестанное домогательство. Но теперь, когда его мечты обладать ею снова рухнули, когда он понял, как мало для нее значит эта романтическая основа, он начал смотреть на нее и на их возможные отношения другими глазами. Он видел, как серьезно и глубоко ее человеколюбие, как честно, просто и бескорыстно стремится она все узнать и понять. По крайней мере ум ее, думал он, недоступен для сэра Айзека. И если она уступила мужу, то простота, с которой она это сделала, не унижала, а возвышала ее, свидетельствовала о ее чистоте и давала мистеру Брамли возможность раскрыть всю полноту своей горячей души. С удивлением, словно он проснулся новым человеком, мистер Брамли вдруг понял, что был одержим страстью к женщинам. Давно ли? Со студенческих лет. Что мог он противопоставить ее прекрасному самоотвержению? Интересовался ли он когда-нибудь, со времен юности, философией, общественными проблемами, думал ли о чем-нибудь общечеловеческом, об искусстве, или о литературе, или религии, безотносительно к вечной своей страсти? Говорил ли он за все эти годы с девушкой или женщиной искренне, без задней мысли? Он сорвал покров со своей лжи и ответил «нет». Самая его утонченность была не более как фиговый листок, который выдавал его с головой. Даже его консерватизм и строгая нравственность были лишь способом продать увлечения, которые слишком грубая простота могла преждевременно исчерпать. И в самом деле, разве вся литературная эпоха, его породившая, с ее вымученной чистотой и изысканностью, не была чем-то вроде яркого, бросающегося в глаза фигового листочка, разве это не был огромный заговор с целью, красно-

речиво умалчивая об определенных вещах, тем самым постоянно на них намекать? Но эта чудесная женщина, как видно, не воспринимала подобных намеков! Самой своей доверчивой наивностью она заставляла его устыдиться древней эгоистической игры «Он и Она», которой он был так увлечен... Мистер Брамли почитал и боготворил эту чистую слепоту. Он смиренно склонялся перед ней.

— Нет! — воскликнул вдруг мистер Брамли среди ночной тишины. — Любовь поможет мне, я еще выберусь из этого болота! Она будет моей богиней, и благодаря ей я избавлюсь от этой вечной, неразумной чувственности... Я буду ей другом, верным другом.

Некоторое время он лежал молча, а потом прошептал с глубоким смирением:

— Господи, помоги мне!

В эти тихие ночные часы, которые тянутся так медленно и порой навевают немолодому мужчине столько благотворных мыслей, мистер Брамли стал думать о том, как он откажется от низменных желаний, посвятит себя идеальной любви, очистится от скверны жадности и собственнических чувств, научится служить ей бескорыстно.

И если к его искренности очень скоро снова примешался эгоизм, если, задремав наконец, он увидел себя героем, исполненным прекрасного и возвышенного самоотвержения, не торопитесь смеяться над ним, потому что такой уж создал бог его душу и иной она быть не могла.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

ЛЕДИ ХАРМАН НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ

1

Договор между леди Харман и ее мужем, этот договор, который должен был стать ее Великой хартией вольностей, конституционной основой ее свободы до конца супружества, имел много практических недостатков. Прежде всего договор этот был неписанный, он составлялся по частям, в течение долгого времени и по большей части через посредников. Чартерсон только все запуты-

вал и в ответственные минуты еще больше скалил свои длинные зубы, миссис Харман прибегала к объятиям и слезам, а толку от нее добиться не удавалось; сэр Айзек писал жене письма с одра болезни, зачастую совершенно неразборчивые. Поэтому решительно невозможно перечислить пункты этого договора или сколько-нибудь точно изложить его условия; можно лишь сказать, что получилась некая видимость взаимопонимания. А практические выводы ей предстояло сделать.

Прежде всего леди Харман твердо обещала, что больше не убежит и тем более не станет бить стекла или совершать какие-либо другие скандальные поступки, которые могли бы снова привести ее на скамью подсудимых. Она должна быть хорошей, верной женой и, как подобает жене, служить утешением сэру Айзеку. А он, со своей стороны, чтобы сохранить такие отношения, сильно отступил от своих прежних принципов брачного абсолютизма. Он предоставил ей в мелочах некоторую долю независимости — самого слова «независимость» тщательно избегали, но дух его был вездесущ.

Так, например, они договорились, что сэр Айзек будет ежемесячно класть на ее имя в банк сто фунтов, которыми она вправе распоряжаться по своему усмотрению, а он может проверять оплаченные чеки и корешки квитанций. Она вправе уезжать и приезжать, когда считает нужным, но должна неизменно присутствовать за столом, щадить чувства сэра Айзека, поддерживать его достоинство и «по договоренности» ездить с ним на приемы. Она вправе иметь собственных друзей, но это условие осталось несколько туманным; впоследствии сэр Айзек решительно заявил, что женщине прилично дружить только с женщинами. Кроме того, ей была гарантирована тайна переписки, но со временем эта гарантия была нарушена. Второй «рольс-ройс» поступал целиком в ее распоряжение, и сэр Айзек обещал заменить Кларенса другим, менее дерзким шофером, а самому Кларенсу как можно скорее подыскать другое место. Кроме того, было решено, что сэр Айзек должен прислушиваться к ее мнению, обставляя дом и намечая перепланировку сада. Она может читать, что хочет, и иметь собственное мнение по любому вопросу, без мелочной и подозрительной опеки со стороны сэра Айзека, и свободна

выражать это мнение в любой форме, приличествующей леди, при условии, что она не станет открыто противоречить ему в присутствии гостей. Но если у нее возникнут соображения, затрагивающие престиж или ведение дел «Международной хлеботорговой и кондитерской компании», она должна прежде всего высказать их с глазу на глаз сэру Айзеку.

В этом вопросе он проявил особую и весьма похвальную чувствительность. Он гордился своей фирмой еще больше, если только это возможно, чем некогда гордился женой, и, вероятно, во время раздоров между ними его сильнее всего уязвило то, что она поверила враждебной критике и обнаружила это за обедом в присутствии Чартерсона и Бленкера. Он завел об этом речь сразу же, как только она к нему вернулась. Он с жаром протестовал, пустился в подробные объяснения. И, быть может, главным для леди Харман в этот период перестройки их отношений было открытие, что деловые качества ее мужа вовсе не сводятся к энергичному и упорному стяжательству. Без сомнения, он был стяжателем до глубины своей низменной души, но все это были отталкивающие проявления куда более сложной и многосторонней страсти. Он был неисправимый прожектор. Больше всего на свете он любил наводить порядок, перестраивать, изыскивать способы экономии, вторгаться в новые области, любил организовывать и вводить новшества так же бескорыстно, как художник любит использовать возможности своего искусства. Он предпочитал извлечь прибыль в десять процентов из хитро задуманного дела, чем тридцать — по чистой случайности. Ни за что на свете он не стал бы наживать деньги нечестным путем. Он знал, что умеет предусматривать затраты и доходы лучше многих других, и так же дорожил своей репутацией в этой области, как поэт или художник своей славой. Поэтому, увидев, что его жена способна интересоваться делами и даже кое-что понять, сэр Айзек жаждал показать ей, как замечательно он все устроил, а когда он заметил, что она хоть и наивно, беспомощно, но весьма решительно заинтересована в судьбе неквалифицированных или низкоквалифицированных молодых работниц, которые с трудом перебиваются на свой низкий заработок в больших городах, он сразу ухватил-

ся за возможность заинтересовать ее, вернуть ее уважение к себе, блестяще решив эту проблему. Отчего бы ему и не сделать это? Он давно уже не без зависти замечал, какую прекрасную рекламу сделали такие фирмы, как «Левер, Кэдбери, Бэррафс и Уэлкам», ловко выставляя напоказ свою щедрость к служащим, и вполне вероятно, что и он не останется в накладе, приложив руку к этому общественно полезному делу, которым так долго пренебрегал. Стачка, организованная Бэбс Уиллер, приносила «Международной хлеботорговой и кондитерской компании» страшные убытки, и если он не собирался осуществить все замыслы своей жены, то, во всяком случае, твердо решил впредь ничего подобного не допускать.

Он взял с собой в Мариенбад секретаршу-стенографистку. Несколько раз туда на четыре дня приезжали совещаться один из самых сообразительных молодых инспекторов и Грейпер, управляющий по найму; пробыл неделю и архитектор сэра Айзека, похожий на кролика, а в конце марта, когда раскрылись почки, Харманы вернулись в Путни, так как решили снова жить там, а в Блэк Стрэнд ездить на субботу и воскресенье, а также летом. Они привезли с собой готовые проекты четырех общежитий в Лондоне для официанток «Международной компании», которым негде жить или приходится ездить издалека, а также, если останутся свободные места, и для прочих молодых работниц...

2

Леди Харман вернулась в Англию из сосновых лесов Чехии, с курорта, где царил строгий режим и диета, смущенная и растерянная не меньше прежнего. Ее написанная Хартия вольностей действовала совсем не так, как она ожидала. Сэр Айзек удивительно широко истолковывал положения договора, неизменно стремясь ограничить ее свободу и снова забрать над ней прежнюю власть.

В Мариенбаде с ним произошло настоящее чудо: хромота исчезла без остатка, нервы окрепли; не считая того, что он стал чуть-чуть раздражительней прежнего да изредка страдал одышкой, здоровье его, казалось, совершенно поправилось. Перед отъездом с курорта он даже

начал ходить на прогулки. Один раз он пешком прошел по дорожке вверх до Подхорна. И по мере того, как силы его восстанавливались, он становился нетерпимее, уже не так охотно признавал ее право на свободу, и она все реже ощущала чувство раскаяния и долга. Но этого мало: по мере того, как планы создания общежитий, которые так помогли ей примириться с ним, обретали определенность, она все яснее понимала, что это совсем не тот прекрасный акт человеколюбия, о каком она мечтала. Она чувствовала, что это кончится просто-напросто применением прежних его деловых методов в устройстве дешевых пансионатов для молодых девушек. Но когда он ознакомил ее с множеством подробных проектов и предложил высказать свои соображения, она впервые поняла, какими туманными, наивными и беспочвенными были ее желания и как много ей предстояло узнать и понять, прежде чем она сможет что-то сказать Айзеку в ответ на его вечное: «Все это я делаю для тебя, Элли. Если тебе что-нибудь не нравится, скажи, что именно, и я все устрою. А то пустые сомнения. На одних сомнениях далеко не уедешь».

Она чувствовала, что, вернувшись в Англию из живописной и словно бы игрушечной Германии, она снова соприкоснется с настоящей жизнью и сумеет во всем разобраться. Ей нужен был совет, нужно было услышать мнение людей об ее замыслах. И, кроме того, она надеялась воспользоваться наконец обещанными свободами, которых ей так и не удалось вкусить за границей в глуши, где приходилось постоянно быть при муже. Она подумала, что полезные советы насчет общежитий может дать ей Сьюзен Бэрнет.

И потом, хорошо бы иногда поговорить с умным и понимающим человеком, которому можно довериться и который настолько к ней не безразличен, что готов думать вместе с ней и помогать ей...

3

Итак, мы проследили, как леди Харман, покорная жена, никогда не помышлявшая о своем долге перед обществом — обычный удел женщины в те времена, — обрела весьма ограниченную, туманную и шаткую свободу — обычный удел женщины в наше время. А теперь

нужно рассказать, как она оценивала себя самое, свои способности и что думала делать в будущем. Она твердо решила следовать своему природному чувству долга, которое побуждало ее служить людям. Она безоговорочно приняла ответственность, что свойственно скорее женскому, чем мужскому складу ума. Но, осуществляя свое решение, она проявила остроту и цельность мысли, свойственные скорее мужчине, чем женщине. Она хотела точно знать, что делает, каковы будут результаты и как ее поступок взаимосвязан со всем окружающим.

Беспорядочное чтение последних лет, самостоятельные наблюдения и то, что она узнавала случайно, например, из разговоров с Сьюзен Бэрнет, помогли ей понять, что в мире много бессмысленных бед и несчастий из-за глубокой несправедливости и несовершенства общественной системы, а злобная статья в «Лондонском льве» и острый язычок Сьюзен убедили ее, что больше всех за это зло ответственно праздные и свободные люди вроде нее, у которых есть досуг и возможность думать, а также крупные дельцы вроде ее мужа, в чьей власти многое изменить. Она испытывала потребность сделать что-то, иногда эта потребность становилась непреодолимой, но она терялась, не зная, какой из множества расплывчатых, противоречивых планов, приходивших ей в голову, избрать. Свой замысел устроить общежития для официанток она выдала мужу раньше времени, еще во время спора с ним. Она вполне сознавала, что это средство может отчасти излечить лишь одно зло. Ей же хотелось чего-нибудь общего, всеобъемлющего, чтобы найти ответ на главный вопрос: «В чем цель моей жизни?» Ее честная и простая душа настойчиво искала ответа. Из окружавшей ее разногласицы она надеялась узнать, как ей жить. Она давно уже с жадностью читала; еще из Мариенбада она написала мистеру Брамли, и он выслал ей книги и газеты, среди которых было немало передовых и радикальных, чтобы она могла узнать, «о чем думают люди».

Многое из сказанного во время прежних споров с сэром Айзеком засело у нее в голове, любопытным образом будило ее мысль и вспоминалось ей, когда она читала. Она вспоминала, например, как он, бледный, с глазами, налитыми кровью, махал на нее руками и кричал:

«Ну, еще бы, я ничего не смыслю, а эти писаки, которых ты читаешь, этот Бермуд Шоу, и Голсуорс, и все прочие, они-то черт знает какие умники; но скажи мне, Элли, что, по-ихнему, мы должны делать? Скажи-ка! Спроси кого-нибудь из них, что должны, по-ихнему, делать такие, как я... Вот увидишь, они попросят пожертвовать денег на театр, или устроить клуб для писателей, или разрекламировать их книги в моих витринах, или еще чего-нибудь в таком роде. Этим дело и кончится. Попробуй, и увидишь, прав ли я или нет. Они знают себе брюзжат; конечно, повод побрюзжать всегда найдется, я не спорю, но назови что-нибудь такое, за что они все отдадут!.. Вот потому я и не согласен со всякими там идеями. Все это болтовня, Элли, пустая болтовня, и больше ничего».

Обидно писать о том, как трудно было леди Харман найти против этого хотя бы слабые возражения. В этот новый период своей жизни, получив некоторую независимость, она то и дело отправлялась в паломничество на поиски этих возражений. Она не могла поверить, что жизнь состоит только из трудностей, жестокостей, лишений и горя, что в этом заключается конечная мудрость, предел человеческих возможностей, но когда она начинала строить планы, как все изменить или переделать, куда только девалась неодолимая прочность, с которой она только что сталкивалась, — теперь перед ней было нечто более легкое и неуловимое, чем чириканье воробьев в канаве. Вернувшись в Лондон, она сразу принялась искать решения; мистер Брамли подбирал для нее книги, и она присоединила к этому собственные усилия, начав ходить на собрания. Иногда с ней ехал сэр Айзек, несколько раз ее сопровождал мистер Брамли, и вскоре, благодаря ее серьезности и обаянию, вокруг нее образовался кружок очень общительных друзей. Она старалась побольше встречаться с людьми, внимательно прислушивалась к мнениям признанных авторитетов, передовых умов.

Ей часто приходилось прерывать свои поиски, но она не оставляла их. Она уже снова ждала ребенка, но у нее случился выкидыш, и нельзя сказать, чтобы это слишком ее опечалило, но не успела она оправиться, как снова заболел сэр Айзек, после чего болезнь его

стала часто обостряться, и пришлось снова возить его за границу — всегда в самых комфортабельных поездах, беря с собой горничную, агента, камердинера и секретаршу, — куда-нибудь на юг, в теплые края, подальше от всех забот. И мало кто знал, на каком волоске висела вся ее свобода. Сэр Айзек становился все раздражительней, иногда у него бывали вспышки нелепой подозрительности, происходили бурные сцены, которые кончались для него приступами невыносимого удушья. Были случаи, когда он искал ссоры с ее гостями, внезапно требовал, чтобы она отказывалась от приглашений, осыпал ее оскорблениями, чуть не довел до нового бунта. Но потом смягчал ее униженными мольбами. Снова привозили кислородные баллоны, и он, оправившись, становился жалким, покорным, присмирив на время.

Он доставлял ей больше всего забот. Дети были здоровые, ими, как принято в состоятельных семьях, занимались гувернантка и домашний учитель. Она проводила с ними много времени, замечала в них растущее сходство с отцом, боролась, как могла, с их врожденной скрытностью и нетерпимостью, следила за учителями и вмешивалась, когда считала, что нужно вмешаться, одевала их, дарила им подарки, старалась убедить себя, что любит их, и, когда здоровье сэра Айзека ухудшилось, стала все больше распоряжаться по дому...

Среди всех этих обязанностей, хлопот и неотложных дел она не оставляла своих попыток понять жизнь и порой почти верила, что понимает ее, но потом весь мир, частью которого она была, казалось, снова рассыпался на бесчисленное множество несвязанных, непримиримых кусочков, которые немислимо связать воедино. Эти мгновения, когда в ней так ярко вспыхивала и так быстро угасала вера в то, что она постигла мир в его единстве, были мучительны и в то же время придавали ей сил. Она твердо надеялась, что в конце концов поймет по-настоящему нечто очень важное...

Многим, с кем леди Харман встречалась, она нравилась, и они хотели познакомиться с ней покороче; леди Бич-Мандарин и леди Вайпинг горячо покровительствовали ей в свете, Бленкеры и Чартерсоны, встречаясь с ней в гостях, постепенно пробудили в ней новые интересы; она быстро менялась, несмотря на все задержки и

помехи, о которых мы уже говорили, и вскоре поняла, как ничтожно мало узнает человек, зная множество людей, и как мало слышит, слушая множество разговоров. Вокруг мелькали приятные мужчины, которые вежливо сторонились ее и острили по поводу ее затруднений, и надутые, бесцветные женщины.

Она кружилась в водовороте культурных движений, выдержала иску миссис Хьюберт Плессингтон, расспрашивала авторов многообещающих проектов, но все вокруг, вместо того чтобы дать пищу ее уму, приглашали ее на заседания всяких комитетов и намеками выпрашивали денег по подписке. Несколько раз в сопровождении мистера Брамли — какое-то внутреннее побуждение заставляло ее скрывать от мужа его участие в этих экспедициях или лишь мельком упоминать об этом — она незаметно побывала на публичных собраниях, где, как она поняла, обсуждались великие проблемы или готовились великие перемены. К некоторым из общественных деятелей она потом старалась присмотреться попристальней, не доверяя первому впечатлению.

Она познакомилась с манерами и замашками наших трибунов, с важным, похожим на манекен председателем или председательницей, которые едва удостоиваются собравшихся несколькими словами, с хлопотливым секретарем или распорядителем и со знаменитостями, которые сидят с многозначительным видом, великодушно притворяясь, будто с интересом и вниманием слушают других. А когда приходит черед им самим говорить, они с плохо скрытым облегчением спешат к рампе или вскакивают с места и заливаются соловьями: одни острят, другие говорят волнуясь, с трудом, кто держится вызывающе, кто примирительно, кто тупо долбит свое; но все они вызывали у нее разочарование, одно разочарование. Ни в ком из них не было искры божьей. Трибуна не располагает к откровенности: когда на человека направлено внимание публики, он поневоле становится неискренним. На собраниях не высказывают свои взгляды, а разыгрывают их, даже сама истина вынуждена румянить щеки и чернить брови, чтобы привлечь к себе внимание, а леди Харман видела главным образом игру и грим. И эти люди не захватывали ее, не волновали, не могли убедить даже в том, что сами себе верят.

Но порой среди бесконечной пустой болтовни случался вдруг такой разговор, из которого она многое узнавала, и тогда готова была примириться с напрасными усилиями и пустой тратой времени на светские визиты. Как-то раз на одном из приемов у леди Тарверилл, где собралось случайное общество, она встретилась с писателем Эдгаром Уилкинзом и не без пользы узнала кое-что о том, что он думает о себе и об интеллектуальном мире, к которому он принадлежит. К столу ее вел любезный, но совершенно неинтересный чиновник, который, поговорив с ней, сколько полагалось для приличия, равнодушно завел точно такой же пустой разговор с дамой, сидевшей по другую руку от него, и леди Харман некоторое время сидела молча, пока освободился Уилкинз.

Этот горячий человек со взъерошенными волосами сразу же обратился к ее сочувствию.

— О, господи!— сказал он.— Вы подумайте, я съел баранину. И даже не заметил. На этих приемах всегда съедаешь лишнее. Не остановишься вовремя, а потом уж поздно.

Она была несколько удивлена таким началом и, не придумав ничего лучшего, пробормотала какую-то сочувственную фразу.

— Моя фигура — это сущее наказание,— сказал он.

— Ну что вы! — возразила она и сразу почувствовала, что это было сказано слишком смело.

— Вы-то хорошо выглядите,— сказал он, давая ей понять, что обратил внимание на ее внешность.— А я чуть что, толстею, появляется одышка. Это невыносимо, приходится сгонять вес... Но вам едва ли все это интересно, правда?

Он явно попытался прочесть ее фамилию на карточке, которая лежала перед ней среди цветов, и ему столь же явно это удалось.

— Наш брат, писатель, художник и тому подобное — это порода ненасытных эгоистов, леди Харман. И нам нет оправдания. Как, по-вашему?

— Не... не все такие,— сказала она.

— Все,— настаивал он.

— Я этого не замечала,— сказала она.— Но вы... очень откровенны.

— Кажется, кто-то говорил мне, что вы в последнее время интересуетесь нами. Я хочу сказать — людьми, которые сеют всякие идеи. Кто-то, кажется, леди Бич-Мандарин, говорила, что вы выезжаете в свет, ищете титанов мысли и открыли Бернарда Шоу. Зачем вам это?

— Я хочу понять, о чем люди думают. Интересуюсь идеями.

— Ну и как, печальная получается картина?

— Иногда просто теряешься.

— Вы ходите на собрания, пытаетесь докопаться до сути всяких движений, хотите увидеть и понять людей, которые пишут удивительные вещи? Разгадываете смысл удивительного?

— Чувствуется, что происходит многое.

— Важные, знаменательные события.

— Да... пожалуй.

— И когда вы видите этих великих мыслителей, вождей, героев духа и вообще умников...

Он рассмеялся и как раз вовремя заметил, что чуть не положил себе фазана.

— Ах нет, заберите! — воскликнул он резко.

— Все мы прошли через эти иллюзии, леди Харман,— продолжал он.

— Но я не думаю... Разве великие люди на самом деле не великие?

— По-своему, на своем месте — да. Но не тогда, когда вы приходите посмотреть на них. Не за обеденным столом, не в постели... Воображаю, какие вас постигли разочарования! Видите ли, леди Харман,— сказал он доверительным тоном, отвернувшись от своей пустой тарелки и наклоняясь к ее уху,— по самой своей природе мы — если только я могу причислить себя к этой категории,— мы, идеологи, всегда распущенные, ненадежные, отталкивающие люди. В общем, подонки, выражаясь на чистом современном английском языке. Если вдуматься, это неизбежно.

— Но... — заикнулась было она.

Он посмотрел ей прямо в глаза.

— Это неизбежно.

— Почему?

— То, что делает литературу развлекательной, выразительной, вдохновенной, сокровенной, чудесной, прекрасной и... все такое прочее, делает ее создателей — еще раз извините за выражение — подонками.

Она улыбнулась и протестующе подняла брови.

— Писатель должен быть подобен чувствительной нервной ткани, — сказал он, подняв палец, чтобы подчеркнуть свои слова. — Должен мгновенно на все откликаться, обладать живой, почти неуловимой реакцией.

— Да, — сказала леди Харман, внимательно прислушиваясь к его словам. — По-моему, это так.

— Можете ли вы допустить хоть на миг, что это совместимо с самообладанием, сдержанностью, последовательностью, с любым качеством, которое должно быть свойственно человеку, заслуживающему доверия?.. Конечно, нет. А если так, мы не заслуживаем доверия, мы непоследовательны. Наши добродетели — это наши пороки... В мою жизнь, — сказал мистер Уилкинз еще более доверительно, — лучше не заглядывать. Но это между прочим. У нас ведь не об этом речь.

— А мистер Брамли? — спросила она неожиданно для самой себя.

— О нем я не говорю, — сказал Уилкинз с беззаботной жестокостью. — Он себя сдерживает. А я говорю о людях, наделенных подлинным воображением, о тех, что дают себе волю. Теперь вы понимаете, почему они подонки и неизбежно должны быть подонками. (Нет, нет! Уберите! Вы же видите, я разговариваю.) Я так остро чувствую это естественное и неизбежное беспутство всякого, кто пишет добропорядочные книги и, вообще говоря, служит всякому искусству, что всегда восстаю против попыток сделать из нас героев. Мы не герои, леди Харман, это не по нашей части. Самая неприятная черта Викторианской эпохи — это стремление превращать художников и писателей в героев. В добродетельных героев, в образец для юношества. Ради этого умалчивали; скрывали правду о Диккенсе, пытались его обелить, а ведь он был порядочный распутник, знаете ли; молчали и про любовниц Теккерея. Вы знаете, что у него были любовницы? Еще сколько! Ну, и так далее. Точно так же, как бюст Юпитера — или Вакха? — выдают за Платона, который, наверно, ничем не отличался от всякого друго-

го писаки. Вот почему я не хочу иметь ничего общего с этими академическими затеями, которыми так увлекается мой друг Брамли. Кстати, вы с ним знакомы? Вон он, третий от нас... Ах, вы знакомы! Он, кажется, хочет выйти из Академического комитета, не так ли? Я рад, что он наконец взялся за ум. Что толку иметь академию и все прочее, напяливать на нас форму и доказывать, будто мы что-то собой представляем и достаточно добропорядочны, чтобы можно было пожать нам руку, когда на самом деле мы, ей же богу, по самой своей природе самый последний сброд? И это неизбежно. Бекон, Шекспир, Байрон, Шелли — вся эта блестящая плеяда... Нет, Джонсон в нее не входил, его придумал Босуэлл¹. Еще бы! Мы делаем великие дела, наше искусство восхищает и дает людям надежду, без него мир мертв, но это еще не причина... не причина, чтобы вместе с грибами класть в суп и перегной, на котором они выросли, верно? Это очень точный образ. (Нет, нет, уберите!)

Он помолчал, но едва она открыла рот, перебил ее:

— И вы видите, что если бы даже темперамент не заставлял нас неизбежно... ну, опускаться, что ли, мы все равно вынуждены были бы опускаться. Требовать от писателя или поэта, чтобы он был благопристойным, классическим и так далее, — это все равно, что требовать от знаменитого хирурга строгих приличий! Это... это, видите ли, просто несовместимо. Уж что-нибудь одно — или король, или дворецкий, или семейный поверенный, если угодно.

Он снова замолчал.

Леди Харман слушала его внимательно, но с неприязнью.

— Что же тогда делать нам? — спросила она. — Нам, людям, которые не могут разобраться в жизни, которым нужно указать путь, дать идею, помочь... если... если все, от кого мы этого ждем...

— Порочные люди.

— Ну, будь по-вашему, порочные.

Уилкинз ответил с видом человека, который тщательно разбирает сложную, но вполне разрешимую задачу:

¹ Джон Босуэлл, автор книги «Жизнь Сэмюэля Джонсона», представляющей собой биографию английского писателя XVIII века.

— Если человек порочен, из этого вовсе не следует, что ему нельзя доверять в делах, в которых добродетель, так сказать, не имеет значения. Эти люди очень чуткие, они — ничего, если я назову себя Золовой арфой? — они Золотые арфы и не могут не отозваться на дуновение небесного ветра. Что ж, слушайте их. Не идите за ними, не поклоняйтесь им, даже не чтите их, но слушайте. Не позволяйте никому мешать им говорить, рисовать, писать или петь то, что они хотят. Свобода, чистое полотно и людское внимание — вот истинная награда для художника, поэта и философа. Прислушайтесь к ним, взгляните на их произведения, и среди бесконечного множества сказанного, изображенного, выставленного и напечатанного вы непременно найдете свой путеводный огонек, найдете что-нибудь для себя, своего писателя. Никто на свете больше моего не презирает художников, писателей, поэтов и философов. Ох! Это мерзкий сброд, подлый, завистливый, драчливый, грязный в любви — да, грязный, но он создает нечто великое, сияющее, душу всего мира — литературу. Жалкие, отвратительные мошки — да, но они же и светлячки, несущие свет во мраке.

Его лицо вдруг загорелось воодушевлением, и она удивилась, вспомнив, что сначала оно показалось ей грубым и заурядным. Он вдруг замолчал и посмотрел мимо нее на ее второго соседа, который, видимо, намеревался снова повернуться к ним.

— Если я сейчас же не остановлюсь, — сказал он, и голос его вдруг упал, — то начну говорить громко.

— Мне кажется, — сказала леди Харман вполголоса, — вы... слишком суровы к умным людям, но все это правда. Я хочу сказать, правда, в определенном смысле...

— Продолжайте, я прекрасно вас понимаю.

— Идеи, конечно, существуют. Именно они... они... Я хочу сказать, нам только кажется, будто их нет, но они незримо присутствуют.

— Как бог, который никогда не бывает во плоти в наше время. А дух его всюду. Мы с вами понимаем друг друга, леди Харман. Именно в этом дело. Мы живем в великое время, такое великое, что в нем нет возможностей для великих людей. Зато есть все возможности для великих дел. И мы их совершаем. Благодаря небесно-

му ветру. И когда такая красавица, как вы, вникает во все...

— Я стараюсь понять,— сказала она.— Хочу понять. Я не хочу... не хочу прожить жизнь без пользы.

Он намеревался сказать еще что-то, но опустил глаза и промолчал.

Закончил он разговор так же, как начал:

— О господи! Леди Тарврилл смотрит на вас, леди Харман.

Леди Харман повернулась к хозяйке и ответила ей улыбкой на улыбку. Уилкинз, отодвинув стул, встал.

— Я был бы рад как-нибудь продолжить этот разговор,— сказал он.

— Надеюсь, мы это сделаем.

— Что ж!— сказал Уилкинз, и взгляд его вдруг затуманился, а потом их разлучили.

Наверху в гостиной леди Харман не успела поговорить с ним: сэр Айзек рано приехал за ней,— и все же она не потеряла надежды с ним встретиться.

Но они не встретились. Некоторое время она ездила на званые обеды и завтраки с чувством приятного ожидания. А потом рассказала обо всем Агате Олимони.

— И больше я его не видела,— заключила она.

— Его никто больше не видит,— сказала Агата многозначительно.

— Но почему?

В глазах мисс Олимони появилось таинственное выражение.

— Моя дорогая,— прошептала она, озираясь.— Неужели вы ничего не знаете?

Леди Харман была невинна, как дитя.

И тогда мисс Олимони взволнованным шепотом, умалчивая о всяких ужасах, но богато расцветчивая подробности, как любят делать старые девы, внеся два совершенно новых добавления, которые пришли ей в голову, и не называя имен, так что ничего нельзя было проверить, поведала ей ужасную широко известную в то время историю о безнравственности писателя Уилкинза.

Подумав, леди Харман решила, что это объясняет многое из сказанного во время их разговора и в особенности последний взгляд.

Все это, должно быть, началось уже тогда...

Пока леди Харман делала благородные и ревностные попытки постичь смысл жизни и разобраться, в чем состоит ее общественный долг, строительство общежитий, задуманных ею — как она теперь понимала, слишком преждевременно, — шло своим чередом. Порой она старалась о них не думать, отвернуться, убежать от них подальше, а порой, забывая обо всем остальном, только и думала об этих общежитиях, о том, что с ними делать, какими они должны быть и какими не должны. Сэр Айзек не устал повторять, что это ее детище, спрашивал ее советов, требовал одобрения — словом, так сказать, без конца предьявлял за них счет.

Общежитий строилось пять, а не четыре. Одно, самое большое, должно было стоять на видном месте в Блумсбери, недалеко от Британского музея, другое — на видном месте перед парламентом, третье — на видном месте на Ватерлоо-роуд, близ площади святого Георга, четвертое — в Сайденхеме и пятое — на Кенсингтон-роуд, с тем расчетом, чтобы оно бросалось в глаза многочисленным посетителям выставок в «Олимпии».

В кабинете сэра Айзека в Пути лежала на этажерке роскошная сафьяновая папка с великолепным золотым тиснением: «Общежития Международной хлеботорговой и кондитерской компании». Сэр Айзек очень любил после обеда звать леди Харман в свой кабинет и обсуждать с ней планы; он усаживался за стол с карандашом в руке, а она, сев по его просьбе на подлокотник кресла, должна была одобрять всевозможные предложения и улучшения. Эти общежития должен был проектировать — и уже проектировал — безропотный архитектор сэра Айзека; и фасады новых зданий было решено облицевать желто-розовыми изразцами, уже знакомыми всем по филиалам «Международной компании». По всему фасаду должна была пройти крупная надпись:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Строительные участки на планах значились немногим больше самого здания, и строители из кожи лезли вон, стараясь дать как можно больше полезной площади.

— Каждая лишняя комната — это лишняя единичка в знаменателе наших затрат,— говорил сэр Айзек, ставшая женой вспомнить школьные времена.

Наконец-то ей пригодилось знание дроби. На первом этаже было запроектировано много удобных и просторных комнат, а также столовая, которую можно использовать и для собраний («Для танцев»,— сказала леди Харман. «Ну, это занятие едва ли желательно»,— сказал сэр Айзек), всякие подсобные помещения, квартира для управительницы («Пора подумать об управительницах»,— сказал сэр Айзек), контора, библиотека и читальня («Мы подберем для них хорошие, серьезные книги,—сказал сэр Айзек,—тогда они не будут забивать себе головы всяким вздором»), несколько мастерских со столами для кройки и шитья— это предложила Сьюзен Бэрнет. А на верхних этажах одна над другой, как ячейки в улье, должны были расположиться спальни с самыми низкими потолками, какие только позволяли строительные правила. Предполагалось построить большие общие спальни с перегородками по три шиллинга шесть пенсов в неделю — со своим бельем — и отдельные комнаты стоимостью от четырех шиллингов шести пенсов до семи шиллингов шести пенсов. На каждые три перегородки и на каждую отдельную спальню полагалась раковина с горячей и холодной водой. В больших спальнях были выдвижные ящики под кроватями, стенные шкафы, полки для посуды, зеркала и отопительные батареи и на каждом этаже туалетная. Порядок образцовый.

— Девушка может взять койку за три шиллинга шесть пенсов в неделю,— сказал сэр Айзек, постукивая карандашом по чертежу.— Может завтракать ветчиной или колбасой на два шиллинга в неделю и плотно ужинать холодным мясом, консервированным лососем, паштетом из креветок, повидлом и так далее на три шиллинга шесть пенсов в неделю. Ну, проезд в автобусе и завтрак на работе обойдутся, скажем, еще в четыре шиллинга. Значит, она может с удобством прожить примерно на двенадцать шиллингов шесть пенсов в неделю, имея возможность читать газеты, брать книги из библиотеки... В наше время ничего подобного не получишь и за сумму, вдвое большую. Они живут сейчас

в грязных неудобных каморках и за уголь платят особо.

— Вот тебе и решение проблемы, Элли,— сказал он.— Пожалуйста. Всякая девушка, которая не живет у родителей, может жить здесь. И управительница будет за ней присматривать. А если правильно поставить дело, Элли, если поставить его правильно, оно будет приносить два-три процента прибыли, не говоря уж о рекламе для компании.

Мы вполне можем обязать жить здесь всех девушек, которые не живут у родителей. Тогда они не попадут на панель, если только их вообще можно от этого удержать. Думаю, что даже у мисс Бэбс Уилер не хватит наглости устроить против этого стачку.

А потом мы договоримся с какими-нибудь крупными фирмами, мануфактурными и другими магазинами поблизости от каждого общежития, чтобы их служащие поселились в свободных комнатах. Таких найдется сколько угодно.

Конечно, мы должны быть уверены, что девушки всегда ночуют дома.— Он протянул руку и взял план первого этажа общежития в Блумсбери, которое предполагалось построить первым.— Что если,— сказал он,— устроить привратницкую с окошечком, и всякий, кто придет позже одиннадцати, должен будет звонить вот здесь...— Он взял серебряный карандашик и принялся за дело.

Леди Харман, заглядывая через его плечо, глубоко задумалась.

Многое в этом проекте вызвало у нее серьезные опасения; эта управительница, присматривающая за девушками, эта тщательно подобранная библиотека, звонок, привратницкая, намеки на «дисциплину», которые напоминали ей о протестах Бэбс Уилер. Во всем этом была неумолимая строгость, от которой ей, непонятно почему, становилось холодно. Сама она, в своих смутных мечтах, представляла себе уютные, гостеприимные, недорогие дома, где бездомные женщины, служащие в Лондоне, могли найти свободный и радостный приют, но ее муж, как она потом поняла, вовсе не был уверен, что они придут туда по собственной воле. Он, казалось, все время искал способов принудить их к этому, а принудив, начать

притеснять. Иногда в такие вечера он проявлял намерение тщательно разработать «распорядок». Она предвидела, что из-за этого распорядка у них будет много споров. Здесь неизбежно должна была проявиться его узколобость. Ей самой пришлось выдержать борьбу с жестокостью сэра Айзека, и,— быть может, ей недоставало того аристократизма, который в Англии так естественно приобретает большинство преуспевающих людей среднего класса,— она не верила, что то, отчего так страдала и задыхалась она сама, может быть приятно и полезно ее менее богатым сестрам.

Ей пришло в голову испытать проект, ознакомив с ним Сьюзен Бэрнет. Сьюзен обладала удивительной способностью во всем видеть неожиданные стороны. Леди Харман пригласила ее переделать занавеси в кабинете и заговорила о деле как бы вскользь, когда расспрашивала, как поживает семья Бэрнетов.

Сьюзен, видимо, была предубеждена против таких затей.

— Да,— сказала она, выслушав объяснения и просмотрев планы.— Но где же дом?

— Это и есть дом.

— На мой взгляд, это казарма,— заявила Сьюзен.— Разве у дома могут быть стены такого цвета? И ни занавесок, ни пологих над кроватями, ни ширмы, девушке негде даже фотографию или картинку повесить. Как же ей чувствовать себя дома в такой чужой комнате?

— Они смогут вешать фотографии,— сказала леди Харман, мысленно делая себе заметку.

— И потом, конечно, там будет распорядок.

— Нельзя же совсем без распорядка.

— Дома, если только это настоящий дом, не бывает никакого распорядка и, с вашего позволения, штрафов.

— Нет, штрафов не будет,— поспешно сказала леди Харман.— Об этом я позабочусь.

— Но ведь надо же как-то заставить их соблюдать распорядок, раз уж он будет,— сказала Сьюзен.— А когда столько народу и нет отца с матерью и настоящей семьи, то, по-моему, без этого самого распорядка никак не обойтись.

Леди Харман рассказала ей о преимуществах общезжитий.

— Я не спорю, это дешево, и для здоровья полезно, и жить веселей,— сказала Сьюзен.— Если не будет слишком больших строгостей, я думаю, многие девушки туда с охотой пойдут, но в лучшем случае это будет заведение, леди Харман. Да, заведение, уж можете мне поверить.

Она держала в руке план фасада общежития в Блумсбери и раздумывала.

— Конечно, что до меня, то я предпочла бы жить с добрыми, работающими христианами где угодно, лишь бы не в таком месте. Ведь главное — быть свободной, знать, что ты сама себе хозяйка. Пускай даже не будет водопровода и придется таскать воду ведрами... Если бы девушкам платили как следует, не было бы никакой нужды в таких домах, ровным счетом никакой. Это все бедность виновата. И потом, если они уйдут туда, многие хозяйки потеряют жильцов. Подумайте, если по всему городу понастроят таких домов, получится та же история, что с мелкими пекарями, бакалейщиками и всеми остальными. Да ведь в Лондоне тысячи людей кое-как сводят концы с концами только потому, что сдают две, а то и три комнаты, иногда с пансионом, и всякому ясно, что им тогда придется снизить цены или потерять жильцов. Для них никто не построит общежития.

— Вы правы,— сказала леди Харман.— О них я не подумала.

— У очень многих людей нет ничего, кроме жалкого скарба да тех денег, что им платят за квартиру, они связаны по рукам и ногам. Взять хоть тетю Ханну, сестру моего отца. Живет в подвале, работает, как проклятая, и мне не раз приходилось давать ей взаймы десять шиллингов, чтобы она могла уплатить за аренду, хотя ей на хлеб не хватает. От таких общежитий ей добра ждать нечего.

Леди Харман бессмысленно смотрела на план.

— Да, пожалуй,— сказала она.

— И потом, если у вас там будет хорошо и весело, многие девушки станут удирать из дому. Такие, как наша Элис, на все готовы, лишь бы иметь немного лишних денег на тряпки, они ни о чем не думают, им бы только болтать, смеяться да гулять. Для Элис лучше жилья и не сыщешь: приходи, когда душе угодно, и ухо-

ди, когда хочешь, никто и не спросит. Уж она-то пойдет туда жить, а мама, которая ее вырастила, лишится десяти шиллингов в неделю, что она приносит домой. И таких, как Элис, много. Она совсем не плохая, нет, она хорошая, добрая девушка, надо правду сказать, но она пустая, что ни говори, пустая, ни о чем думать не хочет, кроме удовольствий. И мне иногда кажется, что это ни капельки не лучше, чем быть плохой, какая бы от этого другим ни была польза, я ей так прямо и говорю. Но она, конечно, не знала того, что выпало на мою долю, и поэтому думает иначе...

Вот что сказала Сьюзен.

Разговор с ней смутил леди Харман, и она, вспомнив о мистере Брамли, попросила у него совета, который не заставил себя ждать. Она пригласила его к чаю в такой день, когда сэр Айзек заведомо должен был уехать, показала ему проекты и рассказала о том, как их предполагается осуществить. А потом с очаровательной верой в его знания и способности изложила свои сомнения и страхи. Что он думает об этих общежитиях? И о том, что сказала Сьюзен Бэрнет про разорение квартирных хозяек?

— Я думала, что наша кампания — хорошее дело, — сказала она. — Но можно ли считать ее хорошим делом?

Мистер Брамли долго хмыкал, чувствуя себя обманщиком. Некоторое время он с глубокомысленным видом уклонялся от ответа, а потом вдруг отбросил притворство и признался, что понимает во всем этом не больше ее.

— Но я вижу, что вопрос этот сложный и... и к тому же небезынтересный. Вы мне позволите им заняться? Надеюсь, я смогу кое-что выяснить...

Он ушел, преисполненный горячей решимости.

Джорджина, едва ли не единственная из тех, кому леди Харман призналась в своих сомнениях, отнеслась к делу без всяких опасений.

— Ты думаешь сделать из этих общежитий бог весть что, Элла, — сказала она, — а на деле получится именно то, чего нам не хватало.

— Что же именно? — спросила миссис Собридж, склонившаяся над своим вышиванием.

— Цитадель для суфражистского гарнизона,— сказала Джорджина звенящим голосом, с блеском Великой Одержимости в глазах.— Женский Форт Шаброль¹.

6

Несколько месяцев мистер Брамли ни о чем не задумывался, а иногда и вовсе махал на все рукой, твердо придерживаясь решения бескорыстно любить леди Харман. Духовно он был обездолен, лишившись своих старых моральных основ и привычных убеждений, а новые его взгляды были весьма сумбурны. Он усиленно работал над романом, в котором совершенно отходил от прежней традиции книг о Юфимии. Но чем больше он работал, тем яснее понимал, что, если взглянуть всерьез, роман получается пустяковый. Перечитав написанное, он с удивлением обнаружил грубость там, где хотел быть искренним, и риторику там, где замысел требовал страсти. Что с ним такое? Мистер Брамли был тронут, когда леди Харман обратилась к нему, но, не сумев разрешить ее затруднения, понял всю поверхностность своих знаний, которую до тех пор скрывал даже от самого себя под маской насмешливого скептицизма. Он ушел от леди Харман, решившись во что бы то ни стало справиться с проблемой общежитий, и не без удовольствия отложил в сторону перемаранную рукопись своего нового злополучного романа.

Чем больше он думал о характере исследования, к которому собирался приступить, тем больше увлекался. Именно такого реального дела он давно жаждал. У него даже появились сомнения, станет ли он впредь вообще заниматься прежней профессией — писать романы, по крайней мере такие, как раньше. Сочинять всякие истории, чтобы избавить процветающих пожилых буржуа от неприятной необходимости думать, — разве это дело для уважающего себя человека! Стивенсон, изучив до

¹ Так называли дом, где помещался центр французской антисемитской лиги (на улице Шаброль в Париже) и где ее главарь Жюль Герен отсиживался тридцать восемь дней в 1899 году, оказывая сопротивление полиции, которая явилась арестовать его по обвинению в агитации против пересмотра дела Дрейфуса.

самых глубин это позорное ремесло, тоже понял это и уподобился *filles de joie*¹, а Хэггард, писатель той же школы и эпохи, достигнув вершины успеха, забросил кровавые драмы и стал добросовестно исследовать сельское хозяйство. Каждый успешный шаг требовал от мистера Брамли все больше тяжкого труда и изобретательности. Постепенно у него накапливались факты и неожиданные открытия... Леди Харман увидит, что благодушные, которое он всегда на себя напускал, не мешает ему быть пронизательным и делать обобщения... Она просила его об этом. А что если он справится с этим так, что станет ей необходимым? Если он справится с блеском?

Он взялся за дело, и читателю, который знает, что в характере его было нечто от хамелеона, нетрудно понять, что во время работы настроение его то и дело менялось. Иногда он работал с бескорыстным увлечением, а иногда его подстегивала мысль, что наконец-то он может помочь ей в трудную минуту жизни и это будет способствовать их сближению. А вскоре у него появился третий стимул: он обнаружил, что сама по себе задача — определить значение этих общежитий — очень заманчива для умного и образованного человека.

Потому что прежде, чем решить вопрос о современном наемном служащем, умный человек должен рассмотреть весь огромный процесс реорганизации общества, которая началась с развитием фабричного труда и ростом больших городов и даже теперь едва ли настолько завершена, чтобы можно было определить ее общий характер. Сначала мистер Брамли не понимал важности этого явления, а когда понял, теории начали расти у него в голове, как грибы, и он весь дрожал от внутреннего волнения. Очень довольный собой, он изложил их леди Харман, и она была поражена, потому что никто еще не объяснял ей все это так просто и убедительно. Мир торговли, наемного труда и конкуренции, который до тех пор представлялся ей таким сложным и таинственным, вдруг как будто вошел в систему, показался единым процессом.

— Так вот, — сказал мистер Брамли (в тот день они встретились в Кенсингтонском парке и сидели рядыш-

¹ Проститутка (франц.).

ком на зеленых стульях перед застывшими контурами «Физической энергии»¹⁾), — если вы не против, я прочитаю вам нечто вроде лекции и постараюсь говорить как можно проще. Еще со времени открытия Америки человечество начало осваивать пустующие территории; с тех пор и примерно до 1870 года длился период быстрого роста народонаселения, что было вызвано новыми жизненными возможностями и изобилием во всех областях. За это время, то есть, грубо говоря, за четыреста лет, произошло бурное развитие семейных связей; почти каждый считал нужным жениться и иметь большую семью, холостяков стало мало, многочисленные монастыри почти исчезли, словно их унесло наводнение, и даже священники, нарушая обет безбрачия, женились и имели детей. Естественные факторы, сдерживавшие рост населения — голод и чума, — были побеждены благодаря новым знаниям и научным открытиям; вследствие всего этого количество людей на земле увеличилось в три или четыре раза. Семья по-прежнему играла основную роль в человеческой жизни и благодаря процветанию росла; возвращение к семье означало возврат к общественному укладу времен раннего варварства, и, естественно, современные человеческие представления начиная с пятнадцатого века не знают иной формы. Вот как я себе это представляю, леди Харман. Поколение наших дедов в начале девятнадцатого века руководствовалось двумя созидательными идеями: семьи и прогресса, — не понимая, что тот самый прогресс, который открыл новые возможности для семьи и возродил древний завет плодиться и размножаться, может снова лишить ее этих возможностей, провозгласив, что на земле больше нет места. Именно это и происходит теперь. Возможности исчерпаны. Простой люд больше не может плодиться такими огромными роями, и за последние полтора столетия все решительней вступают в игру силы общественной организации, находя новые массовые пути производства, новые, более широкие связи между людьми, которые все больше и больше разрушают обособленность семьи и,

¹ Копия конной статуи работы скульптора Джорджа Уотса, оригинал установлен в Южной Африке на могиле английского колониального деятеля Сесила Родса,

вероятно, в конце концов разрушив ее совсем, придут ей на смену. Вот какие выводы получились у меня на основе исторических данных.

— Так,— сказала леди Харман, нахмурившись.— Так.

И про себя подумала: успеет ли он от этого общего вступления перейти к общежитиям прежде, чем ей придется уехать, потому что сэр Айзек будет ждать ее к чаю.

А мистер Брамли продолжал, целиком поглощенный своими мыслями:

— Этот процесс, леди Харман, в разных областях происходит с разной быстротой. Не стану занимать ваше внимание всем этим, не буду говорить ни об эмиграции, ни о чрезмерной плодовитости, предшествовавшей настоящему периоду. Достаточно сказать, что теперь все направлено назад, к ограничению роста населения, количества браков, к сокращению рождаемости и средней численности семьи, к... к освобождению женщины, которая до сих пор должна была всю себя отдавать детям, и, наконец, к исчезновению отдельных семей, которые четыре столетия составляли основу общественной жизни и определяли почти все наши чувства и нравственные понятия. Самостоятельность семьи неуклонно разрушается, и на смену ей приходит самостоятельность личности в сочетании с объединенными экономическими усилиями.

— Простите,— сказала леди Харман, прервав его жестом,— если можно, расскажите подробнее об этой самостоятельности...

Мистер Брамли не заставил себя упрашивать. Ясно и просто, как в популярной лекции, он объяснил свою точку зрения. Она понимала его, хоть и не без труда. Он стремился говорить так, чтобы это удовлетворило его самого, и не замечал, как нелепо выглядит увлечение вопросами мирового народонаселения на фоне ее практических трудностей. Он заявил, что начало новой, современной стадии жизни человечества, в которой на смену «плодовитости» придет, вероятно, регулирование численности населения до устойчивого равновесия, проявилось прежде всего в экспроприации английского крестьянства и возникновении фабричной системы с машинным производством.

— С этого времени можно проследить, как домашние

и семейные способы производства заменяются коллективными. Этот процесс зашел довольно далеко. Вместо колодцев, откуда женщины доставали воду ведрами, — трубы и краны водопроводной компании. Вместо кустарной свечи — электрическая лампочка. Вместо домотканой одежды — фабричная. Вместо домашнего пива — бочки с пивоваренного завода. Вместо домашнего хлеба — сначала мелкие пекарни, а потом безотказный и точный механизм «Международной хлеботорговой и кондитерской компании». Вместо тех уроков, которые ребенок получал, сидя на коленях у матери, — обязательное начальное обучение. Вместо отдельных домов — квартиры. Вместо маленького земельного надела — большая ферма и вместо семейного ремесла — фабрика. Повсюду синтез. Повсюду мелкий независимый собственник уступает место компании, а компания — тресту. Вы следите за моей мыслью, леди Харман?

— Продолжайте, — сказала она, ободренная этим упоминанием о «Международной компании» и ожидая, что он сейчас перейдет к интересующему ее вопросу.

— В настоящее время для Лондона и вообще для всей Англии период экспансии закончен; во всяком случае, мы вступили на порог следующего за ним периода синтеза раньше, чем любая другая страна в мире; но поскольку Англия первой достигла новой стадии, характерные признаки этой стадии у нас несут на себе более явный отпечаток старого, чем в таких позднее развившихся городах, как Нью-Йорк, Бомбей или Берлин. Вот почему Лондон и другие большие английские города — это скопление маленьких домишек и мелких семей, тогда как в новых больших городах строятся дома со множеством квартир. За границей лучше, чем у нас, поняли, к чему неизбежно приведет этот процесс, который там начался позже, и поэтому, когда у нас постепенно появилось новое текучее население, главным образом холостые и бездетные люди, им пришлось селиться в пансионах, в домах, предназначенных для семьи, ставших ее принадлежностью, и это оказалось возможным, потому что семьи теперь уже не так многочисленны, как раньше. Лондон все еще во многом остается городом квартирных хозяек и пансионеров, и нигде в мире столько людей не живет на частных квартирах. Поэтому ваши обще-

жития — это не что иное, как начало конца. Подобно тому, как крупные предприниматели уничтожили владельцев мелких кафе и грязных трактиров времен Титлбэ-та Титмауса и Дика Свивеллера¹, так теперь ваши общежития уничтожат лондонскую систему пансионеров. Конечно, есть и другие сходные процессы. Как же. Скажем, ХАМЖ, АМХ², Лондонское объединение клубов для девушек и так далее, — все они играют подобную же роль.

— Но, мистер Брамли, что же станется с квартирными хозяйками? — спросила леди Харман.

Мистер Брамли еще не успел развить свою теорию до конца.

— О хозяюшках я не подумал, — сказал он, помолчав.

— Их судьба меня тревожит, — сказала леди Харман.

— Гм... — хмыкнул мистер Брамли, потеряв нить.

— Вы знаете, на днях я ездила в Челси, там есть целые кварталы пансионеров, и... боюсь, что я поступила нехорошо, но я сделала вид, будто ищу комнату для знакомой девушки, которая работает в конторе, и я осмотрела... столько комнат. И там такие бедные старухи, грязные, надорванные работой, изможденные, и они так хитрят, лезут вон из кожи, просто ужас, только бы залучить к себе эту несуществующую девушку...

Она испытующе посмотрела на него, и глаза у нее были страдальческие.

— Это уже, пожалуй, дело, так сказать, общественной скорой помощи, — сказал мистер Брамли. — Итак, с вашего разрешения, я продолжаю... К этому мы можем вернуться потом. Кажется, я остановился на общем синтезе...

— Да, — сказала леди Харман. — Значит, общежития займут место этих маленьких отдельных домиков и унылых пансионеров? Вот мы с мужем горячо взялись за это новое дело, совсем как он тридцать лет назад взялся за свои филиалы, разорил сотни мелких пекарей, кондитеров и владельцев кафе. Некоторые из них, бедняги... Мне не хочется и думать об этом. В конце концов

¹ Титлбэт Титмаус — герой книги «Десять тысяч годовых» английского писателя XIX века Сэмюэля Уоррена; Дик Свивеллер — герой романа Диккенса «Лавка древностей»;

² Христианская ассоциация молодых женщин, Ассоциация молодых христиан.

вышло нехорошо, жестоко. Он устроил эти свои кафе и нанял девушек, которые бастуют и говорят, что их угнетают и притесняют... А теперь мы устраиваем что-то вроде казармы и хотим, чтобы люди там жили...

Не договорив, она только махнула рукой.

— Не спору, это дело чревато некоторыми опасностями,— сказал мистер Брамли.— Примерно так же, как замена мелких землевладений в Италии латифундиями. Но вместе с тем в нем заложены большие возможности. Такие синтезы уже бывали в различные эпохи, и их история — это история упущенных возможностей... Неужели и нам упустить возможность?

У леди Харман было такое чувство, словно что-то выскользнуло у нее меж пальцев.

— Для меня,— сказала она,— всего на свете важнее, чтобы эти общезития, которые так быстро возникают теперь из моего случайного предложения, сами не превратились в упущенную возможность.

— Вот именно! — подхватил мистер Брамли с видом человека, который снова поймал нить.— К этому я и веду.

Он протянул руку и мгновение шевелил пальцами в теплом воздухе, потом сказал: «Ага»,— словно нащупал что-то, а она почтительно ждала, что он скажет дальше.

— Видите ли,— сказал он,— я рассматриваю этот процесс синтеза, эту замену домашних, индивидуальных форм массовыми, коллективными, как неизбежность, да, неизбежность. Такова наша эпоха, и приходится к ней приспособливаться. Это настолько же не в вашей или в моей власти, как движение солнца по зодиаку. По сути дела, это именно так. И я думаю, что мы должны не вздыхать о гибнущих домиках, о золотом веке, сохе, свиньях и курах, которые жили вместе с людьми, а стараться сделать эту новую жизнь в эпоху синтеза терпимой для многого множества мужчин и женщин, дать им надежду на будущее, добиться подъема и прогресса. Вот в чем заключается роль ваших общезитий, леди Харман, вот в чем их значение. Это передовая роль. Если вам удастся достичь цели — а сэру Айзеку это всегда удается, или, во всяком случае, ничто не бывает ему в убыток,— все бросятся подражать вам и в хорошем и в плохом;

борозда, проложенная вами, начнет углубляться... Ну, словом, вы меня понимаете.

— Да, — сказала она. — И это пугает меня еще больше.

— Но зато дает и надежду, — сказал мистер Брамли, осмелившись коснуться ее руки. — А этого вполне достаточно, чтобы вдохновить человека.

— Но я боюсь, — сказала она.

— Вы закладываете основы новой общественной жизни, да, да, я не преувеличиваю. Как странно и в то же время характерно для современных общественных процессов то, что ваш муж, который в личной жизни бесконечно стремится сохранить все свои права и семейные узы, который отчаянно и недалековидно отстаивает свой дом, не переносит книг и разговоров на эту тему, в деловой сфере наносит такой сокрушительный удар старому укладу. Вы сами видите, что это так.

— Да, — сказала леди Харман. — Да. Конечно, он не знает...

Мистер Брамли помолчал.

— Понимаете, — продолжал он, — в худшем случае эта новая жизнь может стать своего рода рабством в казармах; в лучшем случае — чем-то прекрасным. Какой прекрасной она может стать! Вместо тесноты и ругани между членами семьи — новый дом, где живут друзья...

Он снова помолчал, а потом его мысли потекли по иному руслу.

— Занимаясь всем этим, я нашел много любопытных брошюр и статей о положении продавцов. Они очень недовольны так называемой системой служебных квартир. Хозяева заставляют их жить в общих комнатах над магазинами, а едят они обычно в подвалах, при газовом свете; их немилосердно штрафуют и всячески притесняют, заставляют ложиться в половине одиннадцатого, ходить по воскресеньям в церковь — словом, бесконечная мелочная тирания. Продавцы очень возмущаются, но бастовать не могут. Куда им деваться? Их вышвырнут на улицу. Бастовать могут лишь те, которым есть где жить. Поэтому, прежде чем добиваться дальнейших улучшений в своей жизни, эти молодые люди должны иметь кров над головой. Сейчас это практически неосуше-

ствимо, потому что они не могут снимать квартиру и жить сколько-нибудь прилично на ту сумму, в которую хозяевам обходится их жилье и стол при магазине. Что ж, здесь для ваших общежитий тоже открывается интересная перспектива. Вы дадите продавцам возможность жить на стороне. Но чем больше вы вмешиваетесь в их дела, регулируете их жизнь, оказываете на них давление и имеете с ними дело, так сказать, оптом, через их хозяев, тем больше вы приближаете новую систему к старой. Любопытное привходящее обстоятельство, не правда ли?

Леди Харман отдала должное этому обстоятельству.

— Но это — только начало. Общежития могут затронуть еще кое-что...

Мистер Брамли собрался с духом и перешел к новой стороне дела.

— Я имею в виду брак, — сказал он. — Это одна из наиболее любопытных и сложных сторон жизни наемного служащего в наше время, а вы знаете, что такие служащие составляют теперь большинство взрослого населения. Понимаете, они не могут вступать в брак. Им приходится делать это все позже и позже; средний брачный возраст неуклонно растет; и пока они одиноки, мы еще представляем себе, как организовать их жизнь: устраиваем клубы, общежития, служебные квартиры и все прочее. Но у нас нет ни малейшего представления, как приспособить природный инстинкт спаривания к новому положению вещей. В конце концов служащий женится; он оттягивает это до последней возможности, но рано или поздно должен жениться, несмотря на то, что наша экономическая система не сулит ничего хорошего его семье, кроме неуверенности и новых тягот. Им поневоле приходится самым жалким, нелепым и бессмысленным образом подражать прежней семейной жизни в те исторические эпохи, которые я назвал бы эпохами плодovitости. Они создают семью, мечтают о собственном особнячке, но вынуждены жить в пансионатах, и обычно в далеко не лучших пансионатах, потому что хозяйки терпеть не могут их жен, а другие жильцы не выносят детей. Нередко молодые пары бывают бездетны. Понимаете, они культурнее сельских жителей, а культура и плодovitость исключают друг друга.

— Что вы этим хотите сказать? — тихо прервала его леди Харман.

— Во всем мире падает рождаемость. Люди уже не заводят таких больших семей, как раньше.

— Да, — сказала леди Харман. — Теперь я поняла.

— А более преуспевающие или верящие в свое счастье снимают домики в предместьях — эти коробки, из-за которых такие места, как Хендон, превратились в какой-то кошмар, — или же селятся в нелепых, построенных на скорую руку коттеджах, где-нибудь в пригороде, где молодая жена сама справляется со всей домашней работой и делает вид, будто ей это нравится. Наверно, некоторое время им в самом деле кажется, что они счастливы: женщина перестает работать, а мужчина, оказавшись в весьма невыгодном положении, вынужден конкурировать с холостяками. А впереди ничего нового, кроме новых трудностей. Жизнь становится скучной и однообразной. Иногда они подыскивают жильца. Вы не читали «Платный гость» Гиссинга?

— Пожалуй, вы правы, — сказала леди Харман. — Так оно и есть. Но мы закрываем на это глаза.

— Конечно, не нужно думать, что скука — это несчастье, — сказал мистер Брамли. — Я не хочу изображать положение дел печальней, чем оно есть. Но нельзя называть хорошей, полноценной жизнью это существование в неомальтузианской хибарке в предместье.

— Нео... как вы сказали? — переспросила леди Харман.

— Дело не в названии, — торопливо сказал мистер Брамли. — Удивительно, что, пока вы не заставили меня задуматься обо всем этом, я принимал это как должное, словно иначе и быть не может. А теперь я вижу все иными глазами. Меня поражает эта неразбериха, никчемность и бессцельность. И опять-таки, леди Харман, мне кажется, что здесь перед вами открываются большие возможности. Можно устроить общежития так, чтобы создать там условия для более современной, коллективной и культурной семейной жизни, чем в больших семьях, и я не вижу причины, почему бы не распространить эту коллективную жизнь и на женатых людей. Сейчас в этих маленьких общинах дальше спаривания никто по-

ка не идет: едва поживившись, супруги отправляются искать дом, которого у них никогда не будет. И, рассматривая ваш.. ваш комплекс проблем, я все более убеждался, что новые общественные... связи, которые повсеместно заменили старые семейные отношения, могут охватить всю жизнь человека, могут преодолеть многие неудобства и недостатки. Жизнь женщины в маленькой бездетной семье или в семье, где один или двое детей, даже хуже, чем жизнь мужчины.

Лицо мистера Брамли горело одушевлением, и он вытянул палец, подчеркивая свои слова.

— Леди Харман, почему бы не устроить общежития для женатых людей? Почему бы не попытаться осуществить опыт, о котором говорили многие, почему бы не создать общие кухни, столовые, детские, коллективную жизнь, чтобы единственным детям и детям из маленьких семей, где их двое или трое, было с кем играть, молодые матери могли при желании не отставать от жизни и работать? Таков следующий шаг, который возможен в развитии ваших общежитий... Как видите, в конце концов они открывают для замужней женщины путь к относительной свободе. Не знаю, читали ли вы книгу миссис Стетсон. Да, Шарлотта Перкинз Джилмен Стетсон... Книга называется «Женщина и экономика». Я понимаю,—продолжал мистер Брамли,—что открываю ваш проект, как гармонику, но я хочу показать вам весь ход моих мыслей. Хочу заставить вас понять, что я не бездельничал эти недели. Я знаю: теперешние общежития еще очень далеки от всех этих домыслов о том, какими они могут стать в будущем, знаю, сколько трудностей на вашем пути—самых разных трудностей. Но стоит мне только подумать, что вы стоите во главе созидательных сил, готовящих эти перемены...

И он красноречиво умолк.

Леди Харман задумчиво смотрела на солнечные блики среди тени листвы.

— Вы думаете, всего этого можно достигнуть? — спросила она.

— И не только этого,—сказал мистер Брамли.

— До сих пор я боялась. Но теперь... Благодаря вам я чувствую себя так, будто кто-то посадил меня за руль автомобиля, завел мотор и велел мне править...

После этого разговора леди Харман села в такси и, возвращаясь домой, проехала мимо стройки на Кенсингтон-роуд. Всего несколько недель назад там был только пыльный пустырь и руины снесенных домов; теперь же стены общежития поднимались уже до третьего этажа. И она поняла, как быстро в наше время железобетон обгоняет поиски мудрости.

Далеко не сразу, да и то скорее потому, что у нее было более серьезных интересов, а вовсе не потому, что они были так дороги ее сердцу, эти общежития в ближайшие три года постепенно овладели помыслами леди Харман и стоили ей немало труда. Ей пришлось пересилить себя. Долгое время она старалась смотреть куда-то мимо, в надежде увидеть нечто — она не знала, что именно, — высокое и значительное, чему легко будет посвятить всю свою жизнь. Ей было трудно посвятить себя общежитиям. В этом ей помог мистер Брамли, движимый более или менее достойными побуждениями. Только общежития, думал он, могут дать им с леди Харман повод видеться, дать им общие интересы, и тогда он сможет служить ей, быть ей другом. Это оправдывало их полулегальные встречи, их маленькие совместные прогулки, частые тихие разговоры.

Они вместе осматривали по всему Лондону клубы для девушек, ставшие девушкам вторым домом, — эти маленькие чудеса цивилизации в таких местах, как Уолворт и Сохо. Клубы были устроены для работниц, стоявших на общественной лестнице ниже тех, для кого предназначались общежития, но устраивали их умные и доброжелательные люди, и леди Харман, побывав там на танцевальных вечерах и позавтракав вместе с целой гурьбой веселых молодых работниц из Сохо, увидела именно те конкретные результаты, которых так жаждала. Кроме того, мистер Брамли несколько раз водил ее гулять по вечерам, когда люди потоком текут с работы домой; они пробивались через толпу по тротуару железнодорожно-

го моста в Черринг-Кроссе со стороны Ватерлоо и в мягком свете сентябрьского заката двигались среди моря качающихся голов, а потом пили чай в одном из кафе «Международной компании» близ Стрэнда, где мистер Брамли безуспешно пытался вызвать официантку на разговор о Бэбс Уилер и недавней стачке. Молодая женщина охотно разговорилась бы с ним одним или с одной леди Харман, но в присутствии обоих она робела. Побывав на мосту, леди Харман пожелала совершить еще несколько прогулок, посмотреть, как люди возвращаются домой на метро, побывать на больших железнодорожных станциях, в поездах. Один раз они доехали до самого Стритхема и увидели, как толпа высыпала из поезда, разошлась в разные стороны,— и вот уже одинокие маленькие фигурки взбегают вверх по лестницам или ныряют в подвалы. А потом мистер Брамли вспомнил, что знает человека, который может отвести их к «Жерару», на большую телефонную станцию, и там леди Харман увидела, как заботится о своих служащих Государственная телефонная компания, осмотрела просторный клуб, комнаты для отдыха, а потом постояла в том центре, где перекрещиваются все телефонные разговоры и телефонистки со странным металлическим приспособлением на ушах целый день следят за мигающими огоньками, без конца вынимают и вставляют в гнезда тонкие гибкие, словно живые, шнуры. После этого они разыскали миссис Барнет и выслушали ее соображения насчет домов для старых дев в предместьях. А потом побывали в колледже для учителей начальной школы, на почте и снова, подсев к столику, стали наблюдать исподтишка за официантками «Международной компании».

Иногда им казалось, что все виденное складывается в легко объяснимую по истолкованию мистера Брамли картину, из которой можно извлечь ясное представление о том, какими должны быть общежития, а иногда все снова путалось, и леди Харман терялась, становилась в тупик. Однажды она попыталась объяснить мистеру Брамли, чего именно ей не хватает.

— Мы с вами видим не все,— сказала она,— и это совсем не то, с чем придется иметь дело. Понимаете: перед нами они все нарядные, приличные, занятые делом, но потом они уходят домой, и двери за ними закрывают-

ся. Мы хотим переделать и заменить именно дом, а сами даже не знаем, каков он.

Мистер Брамли водил ее в Хайбэри, в новые кварталы Хендона и в Клэпхем.

— Я хочу войти внутрь,— сказала она.

— Это решительно невозможно,— сказал мистер Брамли.— Здесь никто не ходит в гости, разве только родственники и будущие родственники, все остальные общаются друг с другом через решетку сада. Может быть, мне удастся найти какие-нибудь книги...

Он принес ей романы Эдвина Пью, Петта Риджа, Фрэнка Суиннтонна и Джорджа Гиссинга. По их описанию эти дома были непривлекательны, и она подумала, что не зря, должно быть, ни одна женщина не описала по-женски маленький лондонский домик изнутри...

Она преодолела свою робость и чуть ли не насильно вторглась в дом Бэрнетов. Там она увидела Сьюзен в роли хозяйки, но, кроме этого, ей не удалось извлечь полезных сведений. Никогда в жизни она еще не чувствовала себя так далеко от настоящего семейного дома, как в гостиной Бэрнетов. Даже скатерть на чайном столе была новехонькая и, казалось, защищала старый стол от нескромных глаз; чай тоже был явно не такой, как обычно, и за столом было не больше уюта, чем в витрине кондитерской, откуда, видно, и позаимствовали сервировку; во всех углах комнаты задыхались и стонали наспех прикрытые и нарочно задвинутые подальше вещи. Светлые прямоугольники на выцветших обоях показывали, что даже картины перевешаны. Мать Сьюзен, маленькая неряшливая женщина, кое-как принарядилась, надев новый чепец; выражение лица у нее было такое, словно ее крепко встряхнули и обругали; сразу было видно, каких волнений стоили ей все эти приготовления. Она смотрела на свою умную дочь, ожидая от нее указаний. Сестры Сьюзен жались по стенам и при первой возможности норовили улизнуть в коридор, оставив Сьюзен наедине с важной гостьей, но при этом усердно подслушивали. Они судорожно вздрагивали, когда она к ним обращалась, и неизменно называли ее «миледи», хотя Сьюзен и сказала им, что этого делать не нужно. А когда им казалось, что на них никто не смотрит, они восторженно глазели на платье леди Харман. Люк убе-

жал на улицу и, хотя за ним несколько раз посылали младшую из сестер, не хотел вернуться, пока леди Харман не уйдет, что было в высшей степени неприлично. Даже Сьюзен словно подменили: куда девалась ее разговорчивость и непринужденность; на этот раз рот у нее не был набит булавками, и, вероятно, от этого она все время запиналась и не знала, что сказать; вся красная, с блестящими глазами, она сидела на хозяйском месте, и ее волнение передавалось окружающим. Она была убийственно вежлива. Никогда в жизни леди Харман не чувствовала так остро, что совсем не умеет вести непринужденный разговор. Все, что приходило ей в голову, казалось неуместным и похожим на инспекторскую ревизию. Однако разговор, пожалуй, получился все же непринужденней, чем ей казалось.

— Какая большая у вас семья! — сказала она миссис Бэрнет. — У меня четыре маленькие девочки, и я едва с ними справляюсь.

— Вы еще молоды, миледи, — сказала миссис Бэрнет, — а дети не всегда благословение божье, как можно подумать. Вскормить их ох как нелегко!

— Но на вид они все такие здоровые...

— Вот если бы Люк пришел, миледи, вы бы на него поглядели. Он такой крепыш. А когда он был маленький...

И она принялась вспоминать всякие подробности, которые так милы сердцу матери, привыкшей жить по старинке. Лишь этот короткий наплыв воспоминаний и нарушил в тот день мучительную принужденность...

После этой неудачной попытки окунуться в жизнь леди Харман робко вернулась к умозрительным заключениям мистера Брамли.

Пока леди Харман постепенно привыкала к мысли, что устройству общежитий суждено стать главной целью ее жизни, — если только замужняя женщина вообще может иметь в жизни какую-то цель, кроме исполнения своего супружеского долга, — и незаметно проникалась верой в теорию мистера Брамли, согласно которой все это имело огромное общественное значение, сами общежития входили в жизнь, как она чувствовала, слишком

быстро и преждевременно. Многие в их организации противоречило теории мистера Брамли; но то, что они, быть может, потеряли в общественной ценности, окупилось на практике благодаря косвенному общению между сэром Айзеком и мистером Брамли через посредство леди Харман. Конечно, сэр Айзек не считал и даже мысли такой не допустил бы, что мистер Брамли вправе строить планы или предлагать что бы то ни было, и если до него вообще доходили кое-какие мнения мистера Брамли, то они передавались ему в очень осторожной форме, как самостоятельные мысли леди Харман. У сэра Айзека были викторианские здоровые взгляды на роль литературы в жизни. Если бы кто-нибудь сказал ему, что литература может направлять деловых людей, с ним случился бы приступ удушья, и поэтому интерес мистера Брамли к общезнаниям он воспринимал с чувствами, из которых самым добрым было снисходительное пренебрежение к сочинителю, намеренному в изящной форме воздать хвалу делу его рук.

А вообще-то сэр Айзек испытывал к мистеру Брамли чувства отнюдь не добрые. Он не терпел, когда какой-нибудь мужчина и близко подходил к леди Харман, кто бы этот мужчина ни был; даже официанты, швейцары в гостиницах и священники вызывали у него опасения. Конечно, он признал, что у нее должны быть друзья, и не мог без всякой причины отказаться от своих слов. Но все же этот ревностный поклонник его тревожил. Он сдерживался, уверяя себя, что леди Харман добродетельна и верна ему, и ему удавалось скрывать свою ревность под маской презрения. Ясно как день, что этот человек влюблен в его жену и влечется за ней... Ну что ж, пускай. Не очень-то он преуспеет...

Но иногда яростная ревность прорывалась сквозь напускное благодушие, и он так изощренно донимал Эллен, что она отказывалась от всех приглашений и оставалась дома. Его душевное состояние становилось болезненным. Едва заметные нарушения функций организма, вызывавшие отвердение его артерий, одышку, ухудшение состава крови, сказывались и на его нервах: он быстро переходил от одного настроения к другому, смертельно уставал и неожиданно впадал в бешенство. А потом он

на время овладевал собой, смягчался и становился благороднее.

Только через него могла стать действительностью ее мечта о новой, по-иному организованной общественной жизни, если это вообще было возможно. Он называл общезжития ее общезжитиями, искал ее одобрения каждому своему шагу, но все до последней мелочи держал в своих руках. Без него нечего было и думать осуществить все ее желания и замыслы. А его отношение менялось в зависимости от того, как он был настроен: иногда он живо интересовался ходом дел, а иногда приводил ее в ужас своим безразличием и скупостью, сетуя, что это его обременяет, иногда как будто чуял, что тут не обошлось без мистера Брамли, или по крайней мере подозревал чье-то влияние, и что бы она ни предлагала, негодовал, словно каждое ее предложение было изменой. Особенно возмутился он, когда она заикнулась было, что в будущем можно попробовать устроить общезжития и для семейных.

Он выслушал ее, все плотнее сжимая губы, так что они стали желтовато-белыми и покрылись множеством зловещих морщинок. Потом прервал ее молчаливым жестом. И, наконец, заговорил.

— Вот уж не ожидал, Элли,— сказал он.— Никак не ожидал. Право же, порой ты просто неразумна. Женатые продавцы из всяких там магазинов!

Некоторое время он подыскивал слова, чтобы точнее выразить свою мысль.

— Хорошенькое дело — строить дом, чтобы они жили там со своими бабами,— сказал он наконец.

И продолжал:

— Если мужчина хочет жениться, пускай работает, пока не будет в состоянии содержать жену. А то дома для женатых, скажите на милость!

И он с необычайной для него живостью принялся перебирать все возможные последствия.

— Выходит, между перегородками надо поставить двуспальные кровати, так, что ли? — сказал он и некоторое время забавлялся этой мыслью.— Право, Элли, услышать такое от тебя... Вот уж не ожидал.

Он не мог остановиться. Воображение его разыгралось, и теперь он должен был излить душу. Очевидно,

он горько завидовал счастью, которое могло выпасть на долю этих молодых людей. Им овладела та бессознательная ненависть к чужой любви, которая так часто определяет моральный кодекс нашего общества. Подумать только — целые анфилады комнат для новобрачных! От одной этой мысли он бледнел и руки у него дрожали. Его служащие — молодые мужчины и женщины! В его налитых кровью глазах загорелся огонь, которого хватило бы на сотню комитетов бдительности. Он один мог бы заменить целое общество борьбы против размножения неполноценных людей. Поощрять ранние браки казалось ему неслыханным, постыдным делом, достойным Пандара¹. Что она себе думает? Его Элли, которая была невинна, как младенец, пока ее не сбила с толку Джорджина!

В конце концов посыпались оскорбления, начался приступ удушья, несколько дней он был болен и, не в силах возобновить спор, молча выказывал ей свою неприязнь...

А потом, видимо, в его организме начались какие-то новые скрытые процессы. Во всяком случае, он успокоился, размяк, стал относиться к жене с нежностью, которой не баловал ее в последнее время, и очень удивил ее, сказав, что если она хочет устроить общежития для женатых, что ж, быть может, это не так уж неразумно. Конечно, необходим тщательный отбор: надо взять только трезвых и не слишком молодых людей.

— Пожалуй, если правильно поставить дело, это даже ограничит безнравственность, — сказал он.

Но дело не пошло дальше этого согласия, и леди Харман суждено было стать вдовой, прежде чем в Лондоне появилось общежитие для семейных.

Пока леди Харман сомневалась, а мистер Брамли развивал свои теории, железобетонные здания росли. Когда Харманы вернулись из Гисингена, куда сэр Айзек ездил поправлять здоровье, подозревая, что мариенбадский

¹ П а н д а р — персонаж из «Илиады» Гомера, а также один из героев поэмы Чосера «Троил и Крессида» и одноименной драмы Шекспира, где он помогает Троилу завладеть Крессидой,

врач нарочно его недолечил, боясь потерять пациента, первое из пяти общежитий было готово к открытию. Предстояло найти для него управительницу и обслуживающий персонал, а ни леди Харман, ни мистер Брамли не были к этому готовы. Зато о новых возможностях пронюхали люди, гораздо более искушенные; леди Харман еще и не подозревала об этом важном и срочном деле, когда журналистка миссис Хьюберт Плессингтон, несмотря на свою занятость, решила посодействовать Харманам и пригласила их на обед. На обеде блистала статная, видная вдова, некая миссис Пемроуз, года полтора назад, после десяти счастливых лет совместной жизни, похоронившая мужа, которому успешно помогала в его социологических исследованиях,— а кроме того, она изучала проблему заработной платы, занималась клубами для девушек и обладала, как сказала миссис Плессингтон сэр Айзеку, большими организаторскими способностями, чем любая другая женщина в Лондоне, ей нужен только хороший руководитель, дабы восполнить недостаток в ней созидательного начала. Сэр Айзек воспользовался случаем поговорить с ней; он завел речь о суфражистском движении и с восторгом обнаружил, что их взгляды поразительным образом совпадают. Он заявил, что она разумная женщина, всегда готовая прислушаться к мнению мужчины, и, без сомнения, чужда слепой приверженности к феминизму, что так редко среди представительниц ее пола в наше время. Леди Харман в тот вечер видела эту женщину только издали и была поражена больше всего ее бледностью, умением красноречиво молчать и тем, какое впечатление ее способности произвели на мистера Плессингтона, который до тех пор, как ей казалось, слишком восхищался своей женой, чтобы замечать кого-либо еще. А потом леди Харман пришлось удивиться еще больше: несколько человек, не сговариваясь, стали уверять ее, что миссис Пемроуз — единственный подходящий человек на место директора-распорядителя новых общежитий. Леди Бич-Мандарин так загорелась, что приехала со специальным визитом.

— А вы даючо ее знаете? — спросила леди Харман.

— Достаточно давно, чтобы понять, какой она подходящий человек! — сказала леди Бич-Мандарин.

Уклончивость ее ответа не укрылась от леди Харман.

— Сколько же времени вы знакомы? — спросила она.

— Счет ведут не годы и не стрелки на часах¹, — сказала леди Бич-Мандарин, щеголяя своим знанием поэзии. — Для меня главное — это скрытая сила ее характера. Миссис Плессингтон привезла ее ко мне на днях.

— Вы с ней разговаривали?

— С меня достаточно было взглянуть на нее.

Это удивительное единогласие, как ни странно, только укрепило в леди Харман смутную неприязнь к миссис Пемроуз. Когда сэр Айзек как будто невзначай назвал ее однажды за завтраком единственным человеком, которому можно доверить управление этим важным делом, леди Харман решила повидаться с ней еще раз. Пустившись на хитрость, она пригласила миссис Пемроуз к чаю.

«Я много слышана о вашей осведомленности в социальных вопросах и хочу просить у вас делового совета», — написала она миссис Пемроуз и тут же послала записку мистеру Брамли с просьбой приехать и помочь ей составить мнение о госте.

Миссис Пемроуз явилась в платье сизого цвета и в соломенной шляпке почти без полей в тон платью. У нее было бледное, слегка веснушчатое лицо, маленькие колючие серо-голубые глаза и несколько широкий, но все же изящный нос; подбородок ее сильно выступал вперед, а голос звучал как-то деревянно и слегка шепеляво. Разговаривая, она то и дело вставляла «да» с мнимым глубокомыслием. Держалась она очень прямо и все время была настороже.

Она сразу отнеслась к мистеру Брамли как к человеку случайному и ненужному, всем своим видом показывая, что по-настоящему считается только с сэром Айзеком. Не исключено, что она успела собрать на этот счет кое-какие сведения.

— Да, — сказала она. — В этом вопросе я достаточно компетентна. Я работала бок о бок с моим покойным Фредериком всю его жизнь, мы все делали вместе, а он специально занимался проблемой городских служащих. Да, я уверена, что он очень заинтересовался бы проектом сэра Айзека.

¹ Искраженная цитата из стихотворения английского поэта XIX века Филипа Бейли.

— Вы знаете, чего мы хотим?

— К замыслу сэра Айзека невозможно остаться равнодушной. Как же иначе! Да, мне кажется, я хорошо представляю себе ваши намерения. Это великий эксперимент.

— Вы считаете это решением проблемы? — спросил мистер Брамли.

— В руках сэра Айзека это, несомненно, решение проблемы, — сказала миссис Пемроуз, пристально глядя на леди Харман.

Наступило короткое молчание.

— Да, так вот, вы написали мне, что вы в затруднении и хотели бы обратиться к моему опыту. Разумеется, сэр Айзек может располагать мной.

Леди Харман чувствовала, что ее поневоле вынуждают играть роль представительницы мужа. Она спросила, ясно ли миссис Пемроуз представляет себе, какого рода эксперимент они задумали.

Миссис Пемроуз была уверена, что все представляет себе совершенно ясно. Не только в торговле, но и в промышленности, особенно в условиях столицы, где и без того большие расстояния постоянно растут, уже давно неодобрительно относятся к тому, что люди каждый день ездят на работу и обратно. Это напрасная трата времени и сил, и потом трудно следить за подчиненными, они вечно опаздывают, никогда нельзя быть в них уверенным.

— Да, мой муж подсчитал, сколько часов тратится попусту в Лондоне каждую неделю не на работу или на отдых, а на утомительные поездки в переполненном транспорте. Цифра получилась огромная. Сотни рабочих жизней в неделю. Сэр Айзек хочет со всем этим покончить, приравнять своих служащих к приказчикам мануфактурных и бакалейных магазинов, которые живут на служебных квартирах.

— Но мне кажется, они недовольны такой системой, — заметил мистер Брамли.

— Против этого агитирует только один немногочисленный профсоюз приказчиков, — сказала миссис Пемроуз. — Но им нечего предложить взамен.

— Но это ведь не служебные квартиры, — сказал мистер Брамли.

— Да, я уверена, вы скоро убедитесь, что это то же самое,— сказала миссис Пемроуз со снисходительной улыбкой.

— Нет, мы стремимся совсем не к этому,— сказала леди Харман и нахмурилась, раздумывая, как бы объяснить, в чем тут разница.

— Да, возможно, строго говоря, это не совсем то,— сказала миссис Пемроуз, не давая ей начать подробные объяснения.— Строго говоря, иметь служебную квартиру — это значит жить над магазином, а столоваться в подвале, тогда как общежитие — это специальный дом, в котором будут жить служащие из многих мест.

— Да, это, если угодно, коллективизм,— продолжала миссис Пемроуз. Но тут же заверила их, что это слово, «коллективизм», ее не пугает, она сама коллективистка, социалистка, как и ее муж. Прошло то время, когда слово «социализм» считалось предосудительным.— Да, вместо одиночного нанимателя у нас появляется коллективный, есть бюро труда и все прочее. Мы теперь распределяем рабочую силу. Мы уже больше из-за нее не конкурируем. В этом главное отличие нашего времени.

Мистер Брамли слушал ее, удивленно подняв брови. Для него еще были непривычны эти новые идеи коллективизма, и социализм нанимателей все еще казался ему диковинным.

— Это,— заявила миссис Пемроуз,— шаг вперед в развитии цивилизации, в организации и дисциплине труда. Конечно, всякие смутьяны поднимут шум. Но все преимущества налицо: большие комнаты, свет, ванны, хорошее соседство, разумный отдых, возможность совершенствоваться...

— А свобода? — сказал мистер Брамли.

Миссис Пемроуз, слегка склонив голову набок, удостоила его наконец взглядом и снова снисходительно улыбнулась.

— Если бы вы знали столько, сколько я, о том, как трудно работать для общества,— сказала она,— вы не ратовали бы так за свободу.

— Но... ведь это главная потребность души!

— Позвольте мне с вами не согласиться,— сказала миссис Пемроуз, и мистер Брамли потом не одну неделю ломал себе голову, как можно было в пристойной фор-

ме ей возразить. Она высказалась так неопределенно, словно кто-то безликий вдруг ударил его кулаком.

Они перешли к обсуждению подробностей. Миссис Пемроуз сослалась на свой опыт организации клубов для девушек.

— У людей, которые леди Харман... интересуют,— сказал мистер Брамли,— несколько больше достоинства, чем у этих молодых женщин...

— Все это показное,— сказала миссис Пемроуз.

— Какая гадина! — сказал мистер Брамли, когда она наконец ушла. Ему было не по себе.— Она воплощение всего, чего следует опасаться в этом новом деле; она, можно сказать, в этом смысле само совершенство, такая самоуверенная, высокомерная, опасная, хоть и не подозревает об этом, полная сословных предрассудков. Таких, как она, много, они ненавидят тех, кто работает, хотят, чтобы рабочие были покорными и ручными. Мне кажется, это свойственно человеческой природе. В каждой мужской школе есть грубияны, которым доставляет удовольствие мучить учеников для их же блага; увидев грязное пятнышко на лице малыша, они не упустят случая больно его ущипнуть и под видом воспитания одержимы страстью мучить. Помню, у нас... Но это неважно. Смотрите, и близко не подпускайте эту женщину к вашим общежитиям, иначе они станут служить дьяволу...

— Да,— сказала леди Харман.— Я, конечно, не допущу ее ни в коем случае.

Но она забыла про мужа.

— Я уже договорился,— сказал он ей через два дня за обедом.

— С кем?

— С миссис Пемроуз.

— Но, надеюсь, ты не предложил ей...

— Предложил. И, по-моему, мы должны радоваться, что она согласилась.

— Но, Айзек! Я против!

— Надо было раньше сказать, Элли. А теперь все уже решено.

Она с трудом удержала слезы.

— Но... но ты же обещал, что я сама буду управлять общежитиями!

— Конечно, Элли. Но нам нужен еще кто-то. Ведь мы иногда уезжаем за границу и все такое, а кроме того, есть деловая сторона и многое другое, чем ты заниматься не можешь. Она нам просто необходима. Более подходящего человека нам не найти.

— Но... она мне не нравится.

— Вот тебе на! — воскликнул сэр Айзек. — Почему, объясни бога ради, ты не сказала мне это раньше, Элли? Я был у нее и предложил ей у меня работать.

Вся бледная, она смотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых блестели слезы горького разочарования. Она не решилась больше сказать ни слова, потому что боялась разрыдаться.

— Ну полно, Элли, — сказал сэр Айзек. — Какая же ты чувствительная! Ты мне только скажи, что ты хочешь сделать в этих твоих общежитиях, и я все сделаю.

11

Не успела леди Харман прийти в себя от удивления, вызванного таким неожиданным оборотом дела, как наступил день официального открытия первого общежития в Блумсбери. Вопреки ее желанию было устроено небольшое публичное торжество, на которое мистер Брамли вынужден был смотреть из толпы, чувствуя, что он, несмотря на все свои старания, всего только посторонний. Миссис Пемроуз держалась скромно, но сразу бросалась в глаза, как всегда бросается в глаза неожиданность, нарушающая людские планы. Пришли несколько репортеров и Горацио Бленкер, который собирался напечатать по этому случаю хвалебную передовицу, а потом и целую серию статей в газете «Старая Англия».

Горацио после безуспешных попыток залучить на церемонию принцессу Аделаиду привез миссис Блэптон, и в половине четвертого дня великое событие свершилось. Перед новым зданием расстелили ярко-красный ковер, а над ним натянули тент от жаркого июльского солнца, окна и ступени перед запертой дверью украсили маргаритками, в нижний этаж набилось множество гостей, которые все прибывали, готовясь выйти через заднюю дверь и нетерпеливой толпой встретить миссис Блэптон; Грейпер, заведующий личным отделом фирмы,

и два его помощника в ослепительных шелковых цилиндрах были, казалось, вездесущи; похожий на кролика архитектор нацепил большой черный шелковый галстук, чтобы придать себе солидности, но от этого стал лишь еще больше похож на кролика; отовсюду стекались ребятишки, няньки с колясками, шоферы такси, старики, вышедшие на прогулку, и прочие бездельники, привлеченные тентом, ковром и цветами. Квадратное здание во всем величии дултонского кирпича и желто-розовых изразцов с огромными буквами над окнами третьего этажа

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЩЕЖИТИЯ

было воплощением всех тех новых сил, которые в наше время тревожат и разрушают старинный покой Блумсбери.

Миссис Блэптон, опоздав всего на пять минут, прибыла в сопровождении Берти Тревора и второго секретаря своего мужа. При виде ее Грейпер развил такую бурную деятельность, что походил скорее на какое-то апокалиптическое чудовище с семью руками и в десяти шляпах, чем на нормального человека; он расставил по местам именитых гостей, дверь удалось отпереть без особого труда, и леди Харман очутилась в широком коридоре рядом с мистером Тревором и чуть позади миссис Блэптон, которая деловито осматривала новое творение. Сэр Айзек (вместе с не отстававшим ни на шаг Грейпером) лично сопровождал политическую знаменитость, а миссис Пемроуз уже с хозяйским видом шла по другую руку от нее, давая пространные объяснения. За леди Харман следовала по пятам леди Бич-Мандарин, — ее похвалы, как газ, заполняли все огромное здание, и с ней рядом — миссис Хьюберт Плессингтон и мистер Поп, один из тех чудаков, которых называют публицистами, потому что нужно же их как-то называть: такие люди обычно всюду восседают в председательском кресле, примыкают ко всем политическим партиям, пишут письма в газеты, не упускают ни одного случая сказать речь и вообще постоянно напоминают об общественных установлениях нашей страны. Он был несколько рассеян, то и дело шевелил губами, словно придумывал, как бы по-новому обернуть какую-нибудь классическую банальность; вся-

кий, кто хоть немного его знал, мог без труда предсказать, какую речь он собирается произнести. Он выступил в столовой, где у стены оказалось подходящее возвышение. Для начала он, как это принято, заявил, что «не мог не воспользоваться случаем», потом пообещал присутствующим быть кратким, хотя все, вероятно, согласятся с ним, что сегодня торжественно отмечают не какое-нибудь заурядное, незначительное событие — нет! — это один из важнейших и, мало того, он берет на себя смелость добавить с полным уважением ко всем собравшимся, один из наиболее многообещающих социальных экспериментов в современной общественной деятельности. Некогда он сам — да будет ему позволено вскользь упомянуть о себе! — он сам кое-что сделал для развития промышленности. (Раздраженный голос: «Это еще кто такой!» — и шепот Горацио Бленкера: «Это Поп, замечательный человек; эксперимент в Ист Пэрблоу... оплата натурой вместо денег... да!»)

Леди Харман перестала прислушиваться к напряженному, но бодрому тенору мистера Попа. Она уже не раз слышала и его и бесчисленное множество ему подобных. Он отнимал больше половины времени на всех публичных собраниях, где ей довелось побывать. Она даже перестала удивляться его тупому самодовольству. Сегодня все ее удивление было поглощено тем, как воплотилась ее мечта о простых, уютных, красивых домах для несчастных, тяжело работающих молодых женщин; она еще никогда в жизни так не удивлялась с тех самых пор, когда в муках произвела на свет божий мисс Миллисенту Харман. Она даже вообразить не могла ничего подобного. Тем временем выступила и сказала несколько слов миссис Блэптон, возле которой на всякий случай стоял молодой секретарь, готовый прийти к ней на помощь, а потом вперед вытолкнули сэра Айзека, и он сказал:

— Большое спасибо! Право, это все заслуга моей жены... Тьфу, пропасть!.. Благодарю вас.

Видимо, он приготовил более пространную речь, но в последнюю минуту все позабыл, и в памяти у него остались только заключительные слова.

— Ну вот, Элли,— сказал он, когда они ехали домой в открытом автомобиле,— теперь начало твоим общежитиям положено.

— Значит, они мои? — спросила она резко.

— Разве я тебе этого не говорил?

К самодовольству на его лице примешивалось то усталое и раздраженное выражение, которое появлялось всякий раз, как он делал какое-нибудь усилие или волновался.

— А если я захочу что-нибудь предпринять? Что-нибудь изменить?

— Конечно, сделай одолжение. Но что с тобой, Элли? Кто забивает тебе голову таким вздором? Ведь нужно же, чтобы кто-то руководил делом, нужна образованная, знающая женщина, чтобы присматривать за управительницами и за всеми прочими. Положим, она не вполне тебя устраивает. Но ведь другой нет, и я не вижу... Вот, извольте радоваться, я целый год работаю не покладая рук, налаживаю все, чтобы доставить тебе удовольствие, а ты еще недовольна! Ты совсем как балованный ребенок, Элли! Хорошенькое дело!..

После этого оба молчали до самого Путни, погруженные в свои мысли, которых не могли высказать.

12

И вот леди Харман постигла та же печальная судьба, которая неминуемо ждет всякого, кто позволит себе выйти за грань привычных привязанностей с иной целью, кроме корысти и удовольствия. Этому способствовали старания мистера Брамли; и она нарушила самый священный закон нашего разумного британского кодекса: начала принимать всерьез себя и свои общежития, думала, будто имеет какое-то значение, как она будет работать и что из этого получится. Все силы, которые у нее не отнимало воспитание детей, болезнь мужа и всякие домашние дела, она отдавала своему сложному, неверному, трудному делу. Вместо того чтобы помнить, что это всего только общежития, и вполне достаточно построить их, передать миссис Пемроуз и устранившись, гордясь своей добротой, она, прислушавшись к голосу совести, а также под влиянием неутомимого мистера Брамли решила, что у сэра Айзека нельзя взять и дареного коня, не посмотрев ему в зубы, и что это новое дело, как почти все новое в жизни, может иметь не только приятные, но и са-

мые неприятные последствия, и что именно она больше чем кто бы то ни был должна стремиться к первому и избегать второго. А едва человек пробует смотреть на вещи критически, он уже не может быть довольным, у него появляются вполне определенные желания, и он начинает понимать, как упорны, путаны и неискренни люди в своих поступках. Мистер Брамли открыл глаза себе и ей на необходимость этих огромных совместных усилий во всем, необходимость организации и общественного сплочения во избежание распада общества и регресса, и он же открыл глаза себе и ей на то, как легко все это может привести к новому рабству, как тернист и труден путь к единству, которое должно стать залогом свободы и дать людям возможность жить красиво и независимо. Каждый шаг по пути к организации неизбежно порождает свои пороки—вызывает новую вспышку эгоизма, жадности и тщеславия у тех, в чьи руки попадает власть, новые формы злобного бездушия, столь свойственного чиновникам и управляющим, вызывает у всех протест, упорство и опасения. Бедная леди Харман думала, что добрые намерения повсюду найдут отклик. Теперь же она увидела, что значит в действительности осуществить задачу, которую она не столько поставила перед собой, сколько натолкнулась на нее случайно и пережила так много разочарований и огорчений.

— Эти общежития, — сказал мистер Брамли пророческим тоном, — могут стать — или не стать — свободными и прекрасными, точно так же, как весь мир, в котором мы живем, может стать свободным и прекрасным. И мы должны приложить к этому все усилия. Мы можем приблизить рождение этого мира, если будем щедры и бескорыстны, станем помогать другим, не поработая их, и жертвовать, не требуя благодарности, если начнем думать о будущем, защищать людей, заботиться о них... С тех пор, как я узнал вас, я поверил в то, что это возможно...

Общежитие в Блумсбери с самого начала испытало трудности, которые могли смутить кого угодно. Девушки из кафе «Международной компании», для которых оно было предназначено, словно сговорились и не хотели там жить. Им были разосланы извещения, в которых было сказано, что отныне для обеспечения «благопристойно-

сти» служащих все девушки, не живущие у родителей или близких родственников, должны поселиться в общежитии. Далее следовал список преимуществ нового заведения. Составляя этот документ с помощью миссис Пемроуз, сэр Айзек упустил из виду, что его управляющие крайне плохо осведомлены, где живут девушки, и что после того, как документ будет разослан, этот немаловажный факт уже едва ли удастся выяснить. Но девушки как будто не знали, что это неизвестно их начальству, а мисс Бэбс Уилер, видно, уже наскучило вести себя смиренно, и она жаждала снова шуметь во время перерывов, произносить речи, стоя на столах, под одобрительные крики девушек, давать интервью репортерам, устраивать горячие и бурные военные советы — в общем, делать то же, что во время первой забастовки, которая кончилась так успешно. Мистер Грейпер сломя голову бросился к хозяину, вызвал миссис Пемроуз, и все трое стали обсуждать печальную перспективу стачки, из-за которой великое благодеяние, оказанное ими миру, с первых же шагов было бы дискредитировано теми, кого они хотели облагодетельствовать. Сэр Айзек пришел в бешенство, и мистер Грейпер с трудом удержал его от опрометчивого шага: он хотел немедленно договориться с хозяевами трех больших магазинов на Оксфорд-стрит и предоставить общежитие для их продавцов.

Даже миссис Пемроуз и та не согласилась на сей раз с сэром Айзеком, заметив:

— Мне кажется все же, что главная цель общежитий — предоставить приличное жилье прежде всего нашим служащим.

— А разве мы им его не предоставили, черт бы их побрал? — воскликнул сэр Айзек, кипя негодованием.

Эти первые трудности, вставшие на пути нового начинания, преодолела леди Харман. То была ее первая серьезная победа в борьбе, в которой она до сих пор терпела одни лишь поражения. Она обнаружила редкую способность, — увы, слишком редкую среди филантропов, — способность не обезличивать людей, с которыми приходится иметь дело, а видеть в каждом человеческую душу, такую же живую и полноценную, как ее собственная. Бесспорно, это усложняет организацию, лишает ее «действенности», но зато способствует взаимопо-

ниманию. И вот, поговорив с Сьюзен Бэрнет и расспросив ее, как относится к этой затее ее сестра, она сумела совершить обходной маневр.

Подобно многим людям, которые нелегко обретают ясность, леди Харман, обретя ее, действовала с необычайной решительностью, которую удивительная мягкость характера делала лишь более активной.

Сэр Айзек очень удивился, когда она сама пришла к нему в кабинет, где он с неудовольствием рассматривал готовые проекты общежития в Сайденхеме.

— Мне кажется, я поняла, из-за чего вышли неприятности,— сказала она.

— Какие неприятности?

— С моими общежитиями.

— Как же ты это поняла?

— Узнала, что говорят девушки.

— Они наговорят бог весть чего.

— Не думаю, чтобы у них хватило на это хитрости,— сказала леди Харман, подумав. Потом, собравшись с мыслями, продолжала: — Видишь ли, Айзек, их испугал распорядок. Я не знала, что ты велел его отпечатать.

— Распорядок необходим, Элли.

— Да, но это должно быть незаметно,— сказала она решительно.— А его выставили на самом виду. Напечатали в две краски и развесили на стенах, совсем как те инструкции и перечни штрафов, которые тебе пришлось убрать...

— Знаю,— сказал сэр Айзек отрывисто.

— Это напомнило девушкам прошлое. И потом ваши извещения... Там им как будто чем-то угрожают, если они не переедут в общежитие. И фасад у дома, как у филиала компании: им кажется, что жить там будет неудобно. И вечером снова опять та же дисциплина и распорядок, который им надоедает за день.

— Тут уж ничего не попишешь! — пробормотал сэр Айзек.

— Жаль, что мы об этом раньше не подумали. Вот если бы у общежития был самый обычный вид и мы называли бы его «Осборн»¹ или еще как-нибудь старомодно, чтобы напоминало покойную королеву и все такое.

¹ Осборн — название бывшей королевской резиденции на острове Уайт близ Портсмута.

— Слишком дорого обойдется — снимать эти огромные буквы только ради каприза мисс Бэбс Уилер.

— Пожалуй, теперь уже поздно. Но мне думается, можно было бы успокоить их опасения... Я хочу, Айзек... пожалуй... — Наконец она собралась с духом и объявила о своем решении: — Пожалуй, я поеду поговорю с представительницами девушек и расскажу им, для чего построено общежитие.

— Тебе не пристало ездить к ним и произносить речи.

— Но я просто поговорю с ними.

— Нельзя так ронять свое достоинство, — сказал сэр Айзек, поразмыслив немного.

Некоторое время каждый настаивал на своем. Наконец сэр Айзек решил призвать на помощь своего эксперта.

— А не посоветоваться ли нам с миссис Пемроуз? Она в этих делах понимает больше нашего.

— Я не намерена советоваться с миссис Пемроуз, — сказала леди Харман, помолчав.

Она произнесла это таким тоном, что сэр Айзек поднял глаза и посмотрел на нее.

А в субботу леди Харман уже сидела в комнате, битком набитой непокорными девушками из кафе на Риджент-стрит; комната показалась ей очень странной: на мебели серые матерчатые чехлы, шторы спущены, — и к тому же она в первый раз очутилась лицом к лицу с теми, ради кого почти поневоле старалась. Собрание было созвано отделением профсоюза официанток в «Международной компании»; мисс Бэбс Уилер и мистер Грейпер — представители, так сказать, крайних полюсов — сидели на импровизированной трибуне, откуда леди Харман предстояло обратиться к собравшимся. Ей очень не хватало поддержки мистера Брамли, но она не сумела придумать повода его пригласить, чтобы при этом не явились сэр Айзек, миссис Пемроуз и... все остальные. А это очень важно, чтобы их не было. Она хотела поговорить с девушками непринужденно.

Леди Харман почувствовала расположение к мисс Бэбс Уилер, и в глазах этой независимой молодой женщины она прочла ответную симпатию. Мисс Уилер была маленькая, живая, круглолицая, голубоглазая, она часто

подбоченивалась, и глаза у нее весело блестели. Три ее подруги, которые вместе с ней встретили леди Харман в прихожей и проводили ее в комнату, были такие же молодые, но гораздо более бесцветные, их украшала лишь горячая преданность своей руководительнице. Они не скрывали, что, по их мнению, она «милочка» и «чудо как хороша». И леди Харман показалось, что все собравшиеся девушки очень простые, довольно непоседливые, им не терпелось посмотреть, как она одета, а увидев ее, они успокоились и вполне дружелюбно приготовились ее выслушать. В большинстве это были молодые девушки, одетые с дешевым щегольством лондонских окраин, некоторые, постарше, были одеты неряшливей, а кое-где мелькали красотки в крикливых и весьма сомнительных нарядах. В первом ряду, робко давая понять, что узнала леди Харман, в новой шляпке, несколько изменившей ее внешность, сидела сестра Сьюзен, Элис.

Леди Харман решила не произносить речи вовсе не из робости. Она была слишком поглощена своей задачей, чтобы думать о впечатлении, которое может произвести. Она говорила с девушками так, как могла бы говорить в непринужденной обстановке с мистером Брамли. И пока она говорила, мисс Бэбс Уилер и многие другие девушки, не сводившие с нее глаз, влюбились в нее.

Как всегда, ей не сразу удалось собраться с мыслями.

— Понимаете...— сказала она, замолчала и начала снова. Она хотела рассказать им и рассказала с неловкой простотой, как эти общежития появились, потому что ей хотелось, чтобы у них было какое-нибудь жилье лучше тех неудобных клетушек, в которых они ютятся. Это сделано не ради прибыли, но и не с целью благотворительности.

— И мне хотелось, чтобы там вы чувствовали себя свободно. Я вовсе не собиралась вмешиваться в ваши дела. Я сама не терплю, когда в мои дела вмешиваются, и не хуже других понимаю, что и вам это не нравится. Мне хотелось, чтобы со временем вы сами начали распоряжаться в этих общежитиях. Избрали комитет или еще что-нибудь... Но поймите, не всегда удается сделать так, как хочешь. Обстоятельства в этом мире не всегда складываются в соответствии с нашими желаниями... особенно, если не умеешь хитрить.

На миг она смутилась, но потом оправилась и сказала, что ей не нравятся правила внутреннего распорядка. Их составили наспех и дали ей прочесть уже в отпечатанном виде. Там много всякого...

Она чуть было опять не сбилась, но тут мистер Грейпер подал ей злополучную бумагу, большой глянцеви́тый лист на шнурке. Она посмотрела на него. Ну вот, например, сказала она, ей и в голову не пришло бы вводить штрафы. (Долгие, бурные аплодисменты.) Штрафы всегда были ей не по душе. (Снова аплодисменты.) Но эти правила распорядка недолго и порвать. Девушки встретили эти слова одобрительными криками, и ей пришло в голову, что нет ничего проще, как порвать лист, который она держала в руках,— прямо сейчас, перед всеми. Лист поддался не сразу, но она сжала зубы и разорвала его пополам. Это доставило ей такое удовольствие, что она стала рвать его в клочки. И ей казалось, вопреки здравому смыслу, что она рвет миссис Пемроуз. На лице мистера Грейпера появился ужас, а девушки, желая высказать ей самое горячее одобрение, устроили бурную овацию. Они стучали зонтиками об пол, били в ладоши, гремели стульями и пронзительно кричали. Один стул с треском сломался.

— Мне хочется,— сказала леди Харман, когда эта буря утихла,— чтобы вы пришли и осмотрели общежитие. Может быть, сделаем это в будущую субботу? Устроим чай, вы увидите здание, а потом ваш комитет, я и... мой муж составим настоящие правила...

Она поговорила с ними еще немного со всей искренностью, просила их помочь ей, не дать понапрасну пропасть хорошему делу, отбросить опасения, не быть слишком строгими к ней «и к моему мужу», не превращать трудное в невозможное, ведь это так легко сделать, и когда она кончила, девушки сразу завладели ею. Ее окружили сияющие лица, все хотели подойти поближе, коснуться ее, заверить, что для нее они готовы жить где угодно. Только для нее.

— Вы пришли поговорить с нами, леди Харман,— сказала одна.— И мы все сделаем, вот увидите!

— Мы просто не знали, леди Харман, что эти общежития ваши!

— Приходите к нам еще, леди Харман!

Они не стали ждать следующей субботы. В понедельник утром к миссис Пемроуз поступило тридцать семь заявлений.

После этого леди Харман не один год одолевали мучительные раздумья, как же все-таки она поступила, — очень мудро или необычайно глупо, когда порвала эти правила распорядка. В ту минуту ей казалось, что нет ничего естественнее и проще; она уже давно поняла, как символичны и убедительны могут быть простые движения рук. Это определило ее позицию не столько для нее самой, сколько для других. В результате она решительно, гораздо решительней, чем допускали ее взгляды, выступила за свободу, против дисциплины. Потому что ее взгляды, как и большинство наших взглядов, извилистым водоразделом проходили между этими двумя крайностями. Лишь редкие и необычные натуры целиком стоят за полную определенность в человеческих отношениях.

Девушки аплодировали ей, они полюбили ее. Она сразу приобрела сторонниц, которые стали для нее тяжким бременем. Они провозгласили ее своей защитницей и ссылались на ее авторитет; на ней лежала вся ответственность за бесконечные трудности, которые возникли после того, как они по-своему истолковали ее решительный поступок. И общежития, которые, казалось, совсем уже ушли у нее из рук, внезапно вернулись и завладели ею без остатка.

А трудности были немалые. Леди Харман не могла решить, что хорошо, а что плохо; каждый, даже пустяковый вопрос сплошь и рядом состоял из непримиримых противоречий. И если силы порядка и дисциплины всегда действовали грубо и недальновидно, леди Харман при всей своей неопытности не могла не видеть, что девушки порой бывают очень непокорны. Часто, слишком часто ей хотелось, чтобы они не были такими. Они словно искали повода для раздоров.

Самая их преданность ей выражалась не столько в старании как-то наладить дела в общежитии, сколько в громких приветствиях, от которых ей становилось неловко, в шумных изъявлениях любви, в том, что они изошренно и неустанно изводили всякого, кого подозревали в

недостаточной приверженности к ней. Первый наплыв в общежитие был пожеж скорей на бушующий поток, чем на струю, мирно текущую по трубе, как того желала миссис Пемроуз, и когда она попыталась оставить в силе старые правила распорядка до тех пор, пока сэр Айзек не утвердит новые, девушки собрались в швейной мастерской и устроили митинг. Пришлось позвонить леди Харман, чтобы она приехала их успокоить.

А потом стали возникать проблемы поведения, незначительные сами по себе, но столь важные в жизни общежитий. В новых правилах распорядка был пункт, запрещавший вести себя «шумно и неприлично». Едва ли кому-нибудь придет в голову, что коридор в десять футов шириной и в двести футов длиной может побудить кого-нибудь к неприличному поведению, но миссис Пемроуз именно это и пришло в голову. Одно время коридоры крайне нежелательным образом действовали на девушек, совершенно к ним не привыкших. Например, их тянуло бегать по коридорам сломя голову. Они бегали взапуски, толкались, с визгом обгоняли друг друга. Средняя скорость бега по коридорам общежития в Блумсбери в первые две недели после открытия доходила до семи миль в час. Был ли это беспорядок? Было ли это неприлично? В здании, почти целиком построенном из стали, шум доносился даже до комнаты главной управительницы. Не меньшим соблазном были и длинные ряды окон, выходивших на площадь. Внизу росли красивые старые деревья, и девушки любили смотреть с высоты на их верхушки, где всегда чирикали воробьи, а сквозь листву виднелись трубы, башенки и клочки лондонского неба. Девушки смотрели в окна. Что ж, этого им никто не мог запретить. Но они не смотрели скромно, как того требует приличие. Они высовывались из распахнутых настежь окон или даже садились на подоконники, рискуя упасть, переговаривались через весь дом из окна в окно, привлекая всеобщее внимание, а однажды — миссис Пемроуз знала это точно — в разговор ввязался мужчина, проходивший по улице. И это в Блумсбери, в воскресное утро!

Но решительные меры миссис Пемроуз была вынуждена принять, чтобы предотвратить куда более серьезную опасность. Девушки ходили друг к другу в гости.

В большинстве своем они никогда не имели приличной отдельной комнаты и даже не смели мечтать об этом, так что прежде всего они принялись усердно украшать свое жилье, вставляли в рамки фотографии, вбивали гвозди («От всего этого хлама только пыль скапливается», — говорила миссис Пемроуз), а потом начали ходить в гости. Они делали это, не считаясь со временем и во всяком виде. Они собирались по трое и по четверо — одна садилась на стул, а остальные на кровать, — болтали до поздней ночи неизвестно о чем, то и дело громко смеясь. Миссис Пемроуз донесла об этом леди Харман, которая, однако, с удивительным легкомыслием пренебрегала возможными дурными последствиями такой свободы общения.

— Но, леди Харман! — сказала миссис Пемроуз с ужасом в голосе. — Некоторые из них... целуются!

— Что ж, если они любят друг друга, — сказала леди Харман. — Право, я не вижу...

А когда заведующие этажами получили приказ время от времени неожиданно заглядывать в комнаты, девушки стали запирают двери, и похоже было, что леди Харман готова признать их право на это. Заведующие из кожи вон лезли, чтобы не уронить престиж власти, — две из них некогда заведовали отделами в магазинах, две другие были учительницами начальной школы, пока их не вытеснили более молодые дипломированные соперницы, а одна, которой миссис Пемроуз особенно доверяла, была надзирательницей в «Холлоуэе»¹. Не замедлили сказаться результаты секретных разговоров в комнатах: всюду чувствовалось глухое недовольство, наиболее ревностных заведующих старались осадить мелкими выходками. В этом тоже нелегко было разобраться. Если какая-нибудь заведующая говорит повелительным тоном, будет ли «шумным и неприличным» кричать: «Фу!» — передразнивая ее так, чтобы она это слышала? Ну, а с запираанием дверей миссис Пемроуз покончила очень просто, отобрав у девушек ключи.

Жалобы и стычки вызывали неприятные сцены и «конфликты». В этой нескончаемой борьбе характеров

¹ «Холлоуэй» — одна из лондонских тюрем, в которой содержались многие суфражистки.

обе стороны казались женщине со смущенными темными глазами, пытавшейся их примирить, такими неуступчивыми и нетерпимыми. Разумом она была на стороне администрации, но сердце ее тянулось к девушкам. Решительность и самоуверенность миссис Пемроуз ей не нравились; она подсознательно чувствовала, что все безоговорочные суждения о людях несправедливы. Человеческая душа плохо приспособлена и повелевать и повиняться, и хотя миссис Пемроуз вместе с многочисленными помощницами — так как вскоре открылись общежития в Сайденхеме и Восточном Кенсингтоне — честно старалась исполнять свои обязанности, дело портило не только ее высокомерие, но и раздражительность; любое осложнение и трудность, любая непокорная и беспокойная девушка вызывали у нее настоящее озлобление. А девушки сильно преувеличивали поддержку леди Харман, и это отнюдь не помогало администрации брать верх.

Миссис Пемроуз все чаще стала повторять слово «искоренить». Некоторые из девушек были взяты на заметку как зачинщицы, смутьянки, от которых желательно «избавиться». Узнав об этом, леди Харман поняла, что если ей и хочется избавиться от кого бы то ни было, то разве только от самой миссис Пемроуз. Она любила разных людей; ей совсем не нужен был ничтожный успех с остатками избранных, усмирённых и угодливых девушек. Она поделилась этим с мистером Брамли, и мистер Брамли, возмущившись, горячо ее поддержал. Главными смутьянками в Блумсбери считались некая Мэри Транк, темноволосая девушка, полагавшая, что очаровательно растрепанные волосы ей к лицу, и крупная блондинка Люси Бэксенделл, и они решили пожаловаться леди Харман на миссис Пемроуз. Они заявили, что «на нее не угодишь».

Положение еще больше осложнилось.

Вскоре леди Харман пришлось уехать с сэром Айзеком на Ривьеру, а когда она вернулась, Мэри Транк и Люси Бэксенделл исчезли из общежития и из числа служащих «Международной компании». Леди Харман попыталась выяснить, что произошло, но всюду наталкивалась на уклончивые ответы или загадочное молчание.

— Они ушли по собственному желанию,— сказала миссис Пемроуз и мысленно добавила: «К счастью».

Она клялась, что понятия не имеет, почему они ушли. Но леди Харман опасалась худшего. Сьюзен Бэрнет не могла ей помочь. Элис ничего не слышала об этом случае. Леди Харман не могла учинить настоящее расследование, но с тревогой чувствовала, что миссис Пемроуз тайно готовится выгнать и других. В коридорах, в комнатах, в клубах носилось в воздухе что-то новое, какой-то страх, дух смирения...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ПОСЛЕДНИЙ КРИЗИС

1

Любитель сглаживать острые углы легко мог бы изобразить дело так, будто с этих пор и до конца своих дней леди Харман занималась только благотворительностью. Потому что после первых шагов ей суждено было многое узнать, многому научиться, обрести ясную цель и принять серьезное участие в удивительном процессе создания коллективной жизни — в процессе, который в конечном счете мог оправдать смелые предположения мистера Брамли и оказаться первой попыткой заложить фундамент нового общественного порядка. Возможно, когда-нибудь будет написана официальная биография, которая встанет в один ряд с немислимыми жизнеописаниями английских общественных деятелей, и где обо всем этом будет рассказано деликатно и благопристойно. Если Гораццо или Адольф Бленкер доживут до того времени, это достойное дело будет возложено на них. Леди Харман предстанет там как бесстрастная женщина, всю свою жизнь преследовавшая одну ясную и благородную цель; сэра Айзека и ее подлинные отношения с ним автор всячески поощадит. Книга будет богато иллюстрирована ее фотографиями в различных позах, рисунками дома в Путни и, возможно, гравюрой убогого домишки

ее матери в Пендже. Главная задача всех английских биографов — скрыть истину. Многие из того, что я уже рассказал, а тем более то, что намерен рассказать, разумеется, не войдет в такую биографию.

На деле леди Харман занималась благотворительностью лишь по временам, в силу необходимости, и нас интересуют главным образом те периоды ее жизни, когда ею владело не только возвышенное человеколюбие. Конечно, иногда она почти подходила под общую мерку и становилась такой, какой казалась со стороны, — самой обыкновенной благотворительницей, но чаще всего под серьезной и исполненной достоинства внешностью зияла пустота, а заблудшая женская душа стремилась к вещам гораздо менее возвышенным.

Порой она вдруг обрела уверенность — и тогда даже миссис Хьюберт Плессингтон могла бы ей позавидовать, — а иногда весь грандиозный план создания из этих общежитий нового уклада городской жизни, коллективного, свободного и терпимого, разваливался, словно издеваясь над ней, и она кляла себя за глупость. Тогда ее борьба против миссис Пемроуз начинала казаться ей пустой перебранкой, и она сомневалась даже в собственной правоте: а вдруг миссис Пемроуз в самой своей беспощадности умнее ее? В такие минуты вся затея представлялась ей детски наивной, она удивлялась, что не понимала этого раньше, проклинала свое дурацкое самомнение, считала себя невежественной женщиной, которая использует власть и богатство мужа для рискованных экспериментов. Когда ее постигало такое разочарование, она не могла совладать со своими мыслями и ничто ее не удовлетворяло; она ловила себя на том, что плывет к неведомым, чуждым отмелям и жаждет бросить там якорь. Думая о своих отношениях и спорах с мужем, она втайне стыдилась, что покоряется ему; и в минуты усталости стыд становился нестерпимым. Пока она верила в общежития и в свою цель, у нее еще хватало сил выносить этот стыд, но когда ей снова пришлось замкнуться в личной жизни, весь этот ужас сразу всплыл наружу. Мистеру Брамли иногда удавалось ободрить ее красноречивыми рассуждениями насчет общежитий, но в более интимные и сокровенные свои переживания она по вполне понятным причинам не могла его посвятить. Он

был полон благородного самоотвержения, но она уже давно знала пределы этого самоотвержения...

Мистер Брамли был ей другом, он любил ее и был способен, она чувствовала, терзать себя и ее ревностью. Трудно сказать — вероятно, она и сама не знала этого, — в какой мере она поняла это чутьем, а в какой заметила по его поведению. Но она знала, что не смеет поощрить его ни малейшим вздохом, ни малейшим намеком на чувство, чтобы не раздуть жар еще сильнее. Она всегда была начеку, всегда помнила про эту опасность; так возникало искусственное отчуждение, державшее их на расстоянии, хотя душа ее жаждала дружеского участия.

И результатом этого душевного упадка было удручающее чувство одиночества. Иногда она чувствовала непреодолимую потребность в чем-то участии, чтобы кто-то утешил ее, освободил от холодного, грубого разочарования и тоски, которыми была полна ее жизнь. Порой, когда сэр Айзек донимал ее либо своими нежностями, либо придирками, или когда отношения девушек с администрацией снова обострялись, или когда вера изменяла ей, она лежала ночью у себя в спальне, и душа ее жаждала — как бы это назвать? — соприкосновения с другой душой. И, быть может, постоянные разговоры с мистером Брамли, его мысли, которые по каплям просачивались к ней в голову, вселяли в нее веру, что это щемящее одиночество и пустоту может заполнить любовь, чудесное, возвышенное чувство, которое испытываешь к любимому человеку. Она давно уже сказала мистеру Брамли, что никогда не позволит себе думать о любви, и по-прежнему держалась с ним отчужденно, но, сама того не замечая, в своем одиночестве уже ощупывала замки на дверях этой запертой комнаты. Она испытывала тайное любопытство к любви. Быть может, в этом есть нечто такое, чего она не знает. Она почувствовала влечение к поэзии, нашла новую привлекательность в романах; все чаще она заигрывала с мыслью, что в мире есть какая-то неведомая красота, которая вскоре может открыться ее глазам, нечто более глубокое и нежное, чем все, что она знала до сих пор; оно где-то совсем рядом и поможет ей увидеть мир в истинном свете.

Вскоре она уже не просто ощупывала замки, — дверь бесшумно отворилась, и она заглянула внутрь. Лю-

бовь казалась ей чем-то удивительным: она приходит незаметно, но наполняет всю душу. Эту мысль подало ей одно очень странное место в романе Уилкинз¹. Из всех сравнений она выбрала для любви сравнение... с электричеством — с этой силой, пульсирующей между атомами, которую мы теперь заставили давать нам свет, тепло, связь, удовлетворять тысячи нужд и лечить тысячи болезней. Она присутствует и всегда присутствовала в человеческой жизни, но еще сто лет назад действие ее было незаметно, о ней знали лишь по странным свойствам янтаря, треску сухих волос и раскатам грома.

А потом она вспомнила, как однажды мистер Брам-ли возносил хвалу любви:

«Она преображает жизнь. Человек как будто вновь обретает что-то безнадежно утерянное. Весь мир, разобщенный и непонятный, сливается воедино. Подумайте, что значит истинная любовь; это значит всегда жить в мыслях другого, и этот другой всегда живет в ваших мыслях... Но тогда уж — никаких пределов, запретов, никакого признания высших прав. Необходима уверенность, что оба друг другу желанны и свободны...»

Разве не стоило переступить любые границы, чтобы увидеть такой свет?..

Она старательно прятала эти мысли и до того робела, что чуть ли не таила их от самой себя. Когда они одолевали ее, а это случалось не часто, она упрекала себя в слабости, гнала их прочь и снова с головой уходила в дела. Но это не всегда удавалось: сэр Айзек все чаще болел, и приходилось ездить с ним за границу, где на лоне чудесной природы ей нечем было занять себя и ничто не отвлекало ее от сомнений. Тогда-то запретные мысли и овладевали ею.

Это чувство неудовлетворенности, неполноты жизни и одиночества было очень смутно, и она не знала, как его утолить. Угнетенная, она порой думала о любви, но думала и о многом другом. Часто неясное влечение принимало человеческий образ, иногда окутанный тьмой,—то

¹ Уилкинз, Мэри Элеанор (1862—1930) — американская писательница, автор популярного в свое время романа «Джейн Филд».

был беззвучный шепот, незримый возлюбленный, который явился ночью к Психее¹. Но иногда этот образ становился отчетливей, терял свою мистическую таинственность, разговаривал с ней. И, быть может, потому, что воображение всегда избирает самый легкий путь, этот призрак лицом, голосом и манерой держаться напоминал мистера Брамли. Она почуствовала отвращение, когда поймала себя на мысли о том, каким возлюбленным мог бы быть мистер Брамли,— словно она вдруг сложила оружие, позволила ему высказать затаенные мольбы, подпустила бы его к себе.

Стараясь правдиво изобразить мистера Брамли, я, быть может, обрисовал его не совсем таким, каким он представлялся леди Харман. Я опрометчиво пренебрег его чувствами и достиг лишь мнимого сходства; перед леди Харман мистер Брамли старался показать себя с самой лучшей стороны. Но он по крайней мере был честный влюбленный, и почти все возвышенные речи, которые он на нее изливал, были искренни; рядом с ней, при мысли о ней он становился хорошим; и нам тем легче показать его с лучшей стороны. А леди Харман с готовностью наделяла его самыми благородными качествами. Мы, люди его круга, его собратья по перу, не без дьявольского участия Макса Бирбома склонны были считать и считали, что выразительная живость его лица, в сущности, прикрывает внутреннюю пустоту; но когда это довольно приятное лицо было обращено к ней, оно все преображалось и сияло. По сравнению с сэром Айзеком он казался ей почти идеалом. Благодаря этому контрасту даже недостатки его превращались в блестящие достоинства...

Она редко думала о мистере Брамли в таком плане и с такой определенностью, а когда это случалось, гнала прочь преступные мысли. Это было самое милолетное из всех доступных ей утешений. И надо сказать, что чаще всего это было вдали от мистера Брамли, когда образ его успевал слегка затуманиться после нескольких недель или месяцев разлуки...

¹ Психея, олицетворение человеческой души в греческой мифологии, стала женой невидимого существа, которого все считали уродливым чудовищем, но впоследствии оно оказалось прекрасным Купидоном.

А иногда та же душевная тревога, то же ощущение, что она несчастна, увлекали ее мысли совсем в другую сторону, и она начинала думать о религии. Она со стыдом думала о религии как о чем-то еще более неприличном: ведь воспитание отторгло ее от веры. А теперь она даже тайно молилась. Иногда, вместо того чтобы ехать в общежития, она просто потихоньку удирала из дому и осмеливалась одна, без мистера Брамли, пойти в церковь; так она побывала в Бромптонской часовне, потом несколько раз в Вестминстерском соборе и, наконец, вспомнив про собор святого Павла, — в соборе святого Павла, стремясь утолить свою жажду, имени которой она не знала. Эту жажду невозможно было утолить в простой, некрасивой церковке. Тут нужны были хор и орган. Она зашла в собор святого Павла, проходя мимо в подавленном настроении, и с тех пор ей открылось чудо, которое таили в себе великая музыка и голоса певчих, она преклоняла колени и, устремив взор вверх, на своды совершенной красоты и божественную роспись, на время испытывала чудесное облегчение. Порой она ждала, что вот-вот ей откроется нечто сокровенное и все станет ясным. А порой чувствовала, что это сокровенное и заключено в успокоении.

В глубине души она не была уверена, помогают или мешают ей жить эти тайные посещения храма. Отчасти они помогали равнодушнее переносить неприятности и унижения, — это, конечно, было хорошо, — но вместе с тем они порождали в ней безразличие ко всему миру. Она рассказала бы обо всем мистеру Брамли, но чувствовала, что многого тут не передать словами. А рассказать не все было невозможно. Или рассказать все, или молчать. И она молчала, приемля, правда, с некоторым недоверием, утешение, которое давала религия, и по-прежнему продолжала выполнять свои обязанности и заниматься благотворительными делами, которые превратила в цель своей жизни.

2

Однажды во время великого поста — это было почти через три года после открытия первого общежития — она пошла в собор святого Павла.

Она была очень удручена; борьба между миссис Пем-

роуз и девушками в Блумсбери неожиданно вспыхнула с новой силой, а сэр Айзек, который после временного улучшения снова занемог, стал с ней необычайно резок, раздражителен и злобен. Он грубо накричал на нее и принял сторону администрации в этом конфликте, зачинщицей которого была теперь Элис, сестра Сьюзен Бэрнет. Леди Харман чувствовала, что за новыми беспорядками стояла все та же пылкая профсоюзная деятельница мисс Бэбс Уилер, круглолицая, голубоглазая и неукротимая, которая совершенно покорила Элис. Мисс Бэбс Уилер старалась не для себя, а для профсоюза; сама она жила у матери в Хайбери, а своим орудием в общезитиях избрала Элис. Профсоюз давно уже не одобрял стремления многих официанток подражать знатным леди; такне девушки считали, что бастовать — это не по-благородному, что от этого страдает их престиж, а наплыв в общезития продавщиц из универмагов еще больше укрепил их уверенность. В Блумсбери вселились сто утонченных, элегантных продавщиц — их скорее следовало бы назвать манекенами — из большого магазина готового платья Юстаса и Милла на Оксфорд-стрит, — молодые, высокие, энергичные женщины, которые по привычке, едва ли сами замечая это, ходили, задрав нос, и при всяком удобном случае молчаливо, но недвусмысленно показывали, что считают девушек из «Международной компании» ниже себя. Простых смертных это молчаливое превосходство раздражало, и случаев для столкновений было более чем достаточно. Те девушки из «Международной компании», которых, к сожалению, приходится называть простонародьем, уже совершили множество провинностей, прежде чем все это дошло до ушей леди Харман. Миссис Пемроуз воспользовалась случаем беспощадно «искоренить» зло и предложила мисс Элис Бэрнет вместе с тремя ее ближайшими подругами освободить комнаты «для предстоящего ремонта».

Девушки, совершенно правильно поняв, что их выгоняют, отказались забрать свои вещи. После этого в общезитие пришла мисс Бэбс Уилер, и хотя миссис Пемроуз трижды приказывала ей уйти, поднялась на лестницу, откуда произнесла речь перед шумной толпой, собравшейся в вестибюле. И во время всех этих беспорядков

часто раздавались громкие хвалы леди Харман. Тогда миссис Пемроуз потребовала немедленно выгнать многих девушек не только из общежития, но и с работы, угрожая в противном случае отставкой, и леди Харман оказалась в необычайном затруднении.

А тут еще вмешалась Джорджина Собридж; верная себе, она выслушала жалобы сестры и потребовала, чтобы ее назначили генеральным директором всех общежитий, отказываясь верить, что такая простая вещь решительно невозможна; она ушла разобиженная, после чего засыпала леди Харман письмами, полными далеко не родственных упреков. А мистер Брамли, когда она хотела с ним посоветоваться, вдруг испугал ее, дав волю своим чувствам. И когда после всего она отправилась в собор святого Павла, это было очень похоже на бегство.

С необычайным чувством, как в убежище, вошла она с шумной и мрачной лондонской улицы в тихий, просторный храм. Дверь затворилась за ней, и она очутилась в совсем ином мире. Здесь был смысл, гармония, цельность. Вместо нелепого водоворота поступков и желаний она ощутила тихое сосредоточение на небольшом круге света, падавшего на хор, и над всем властвовал нежный, поющий голос. Проскользнув через придел в неф, она подошла к скамье. Как здесь было чудесно! Там, снаружи, она чувствовала себя беззащитным, истерзанным совестью существом, которому негде укрыться от отчаяния; а здесь, где все дышало миром, она вдруг стала лишь одной из множества безмятежно спокойных, маленьких, одетых в черное людей, пришедших помолиться в великий пост; отыскав свободное местечко, она преклонила колени и почувствовала, что забывает обо всем на свете...

Какая красота! Она подняла взор к высоким темным сводам, таким легким и изящным, что их, казалось, создали не руки человека, а очертили крылья кружащих ангелов. Шла служба, стройные голоса певчих, звучащие без аккомпанемента органа, сливались в ее воображении с бесчисленными точечками свечей. А под огромным сводом благоговения и красоты, распускаясь, точно цветы в саду, точно весенний ветер, веяла мелодия «Мизере» Аллегри...

Ее душа преисполнилась чувства уверенности и покоя. Казалось, сумбурный, враждебный, нелесный мир вдруг раскрыл перед ней сокровенные, сияющие тайны. Она как будто проникла в суть вещей. Борьба, столкновение интересов и желаний — все это лишь пустая суета, оставшаяся позади. Некоторое время ей не стоило никаких усилий удержаться на этой высоте, она радостно плыла по ласковым, мягким звукам, а потом... потом пение смолкло. Она пришла в себя. Мужчина, сидевший рядом с ней, пошевелился и вздохнул. Она попыталась снова вернуть откровение, но оно исчезло. Глухие, непроницаемые двери неумолимо затворились и скрыли ее мгновенное видение...

Все вокруг вставали и уходили.

Она медленно вышла в серый, свинцовый мартовский день, на улицу, где торопливо сновали черные фигуры прохожих, бурлило движение. Она постояла на ступенях, все еще не совсем пробудившись. Мимо проехал омнибус, и в глаза бросилась знакомая реклама: «Международная хлеботорговая компания, питательный хлеб».

Наконец, опомнившись, она торопливо пошла к ожидавшему ее автомобилю.

3

Автомобиль быстро и плавно мчал ее по набережной к решетке Черринг-Кросса, за которым вдали, едва различимые на фоне заката, серели башни парламента, и мало-помалу она снова начала думать о своих затруднениях. Но они уже не казались ей чем-то огромным, невероятно важным, опутавшим и связавшим ее по рукам и по ногам, как это было, когда она вошла в собор. Теперь, под куполом вечернего неба, они казались совсем маленькими, даже в сравнении с серыми домами справа от нее и залитой теплым светом рекой слева, с бесчисленными темными баржами, с непрерывно бегущими трамваями, с потоком людей, со всем этим оркестром человеческой жизни, который звучит там так громко. Она сама казалась себе маленькой, потому что прикосновение красоты спасает нас от самих себя, превращает нас в богов, дает нам власть над нашим ничтожеством. Машина проехала по железнодорожному мосту в Черринг-Кросс, от-

куда видны квадратные стены Вестминстера с остроко-
нечными башенками, уходящими высоко в небо, подня-
лась на невысокий склон и, обогнув Парламентскую пло-
щадь, вскоре снова выехала на набережную, а вдали на
золотом фоне заката чернели дымящиеся трубы Челси.
Оттуда она проехала на Фулхем-роуд, где небо вдруг
скрылось, словно задернулся занавес, а потом — на
оживленный мост в Путни и дальше по шоссе к дому.

Снэгсби вместе с новым лакеем, худым, бледным,
рыжеволосым молодым человеком, встретил ее почти-
тельно и вертелся вокруг, всячески стараясь ей услу-
жить. На столе в прихожей лежали три или четыре не
очень важные визитные карточки, несколько официа-
льных извещений и два письма. Она бросила извещения в
корзинку, специально для них поставленную, и вскрыла
первое письмо. Письмо было от Джорджины; длинное,
на нескольких листках, оно начиналось так:

«До сих пор отказываюсь верить, что ты не хочешь
помочь мне стать генеральным директором твоих обще-
житий и выдвинуться на этом посту. Я еще могла бы
это понять, будь у тебя самой время или необходимые
способности; но у тебя ничего этого нет, и ты, как собака
на сене, лишаешь меня возможности, которой я ждала
всю жизнь...»

Леди Харман отложила это письмо, решив дочитать
его потом, взяла второе, адрес на котором был над-
писан незнакомой рукой. Оказалось, что письмо от Элис
Бэрнет, оно было написано размашистым почерком
и необычайно многословно, как бывает, когда не очень
образованный человек, волнуясь, излагает сложное де-
ло. Но вся суть была изложена в самом начале письма —
Элис выгнали из общежития.

«Мои вещи выбросили на улицу», — писала она.

Тут леди Харман заметила, что Снэгсби все еще не
ушел.

— Сегодня приезжала миссис Пемроуз, миледи, —
сказал он, обратив наконец на себя ее внимание.

— И что же?

— Она спрашивала вас, миледи, а когда я сказал,
что вас нет дома, спросила, нельзя ли ей повидать сэра
Айзека.

— И повидала?

— Сэр Айзек принял ее, миледи. Они пили чай у него в кабинете.

— Жаль, что меня не было,— сказала леди Харман, подумав.

Она взяла оба письма и поднялась по лестнице. Все еще с письмами в руке она вошла в кабинет мужа.

— Не зажигай света,— сказал он, когда она протянула руку к выключателю.

Голос был раздраженный, но лица сэра Айзека она не видела, потому что он сидел в кресле, повернувшись к окну.

— Как ты себя чувствуешь сегодня? — спросила она.

— Хорошо,— буркнул он сердито.

Когда справлялись о его здоровье, ему, казалось, это было так же неприятно, как и полное безразличие.

Она подошла к окну и выглянула из темной комнаты в сад, где под красноватым небом сгущались сумерки.

— У миссис Пемроуз опять неприятности с девушками,— сказала она.

— Она мне говорила.

— Она была здесь?

— Битый час просидела.

Леди Харман попыталась представить себе, о чем они разговаривали весь этот час, но не могла. Она перешла к делу.

— Мне кажется, она... допустила произвол...

— Не удивительно, что тебе так кажется,— сказал сэр Айзек, помолчав.

В его тоне было столько враждебности, что она испугалась.

— А тебе нет?

Он покачал головой.

— Мои взгляды и твои взгляды или, во всяком случае, те, которых ты откуда-то нахваталась... не знаю, уж откуда... одним словом, наши взгляды не сходятся. Надо как-то навести порядок в этих общезжитиях...

Она поняла, что он уже подготовлен.

— Мне кажется,— сказала она,— что миссис Пемроуз вовсе не наводит там порядок. Она притесняет девушек и вызывает недовольство. Внушила себе, что некоторые девушки настроены против нее...

— А ты себе внушила, что она настроена против некоторых девушек...

— Но ведь она, по сути дела, их выгоняет. А одну буквально выбросила на улицу.

— Это необходимо. Приходится кое-кого выгонять. Если все время гладить их по головке, общежития развалятся. Бывают такие смутьяны и смутьянки. Это они устраивают стачки, шумят, разжигают недовольство. От таких надо избавляться. Надо подходить к делу трезво. Нельзя управлять общежитиями, если голова набита всякими нелепыми идеями. От этого добра не жди.

Слова «нелепые идеи» привлекли на миг внимание леди Харман. Но она не могла выяснить, что под ними разумелось, так как нужно было продолжить деловой разговор.

— Я хочу, чтобы в таких случаях спрашивали моего мнения. Уже многих девушек выселили...

Силуэт сэра Айзека оставался непреклонным.

— Она знает свое дело,— сказал он.

Тут он, видимо, почувствовал потребность как-то оправдаться.

— Они не должны устраивать беспорядки.

Некоторое время оба молчали. Леди Харман с волнением начала понимать, что дело обстоит гораздо серьезней, чем ей казалось. Она думала лишь о том, чтобы вернуть Элис Бэрнет, не понимая, к чему все это может привести, а ведь главное было в том, что она недооценивала миссис Пемроуз.

— Я не допущу, чтобы выселили хоть одну девушку, прежде чем сама не разберусь, в чем дело. Это... это очень важно.

— Она говорит, что не может руководить делом, если у нее нет власти.

И опять оба замолчали. Ее охватило беспомощное чувство обиды, как обманутого ребенка.

— Я думала...— начала она,— эти общежития...— Голос ее осекся.

Сэр Айзек стиснул подлокотник кресла.

— Я построил их, чтобы сделать удовольствие тебе,— сказал он.— Тебе, а не твоим друзьям.

Она посмотрела ему в лицо, серевшее в полумраке.

— Я построил их не для того, чтобы ты забавлялась с этим Брамли,— добавил он.— Теперь ты знаешь, в чем дело, Элли.

Она была застигнута врасплох.

— Как же это!..— сказала она наконец.

— «Как же!» — передразнил он ее.

Она стояла, не шевелясь и даже не пытаясь найти выход из этого невероятного положения. Он первый прервал молчание. Его рука поднялась, потом снова упала, глухо стукнув о подлокотник.

— Эти общежития принадлежат мне, понятно? — сказал он.— И, что бы ты ни говорила, там необходимо навести порядок.

Леди Харман ответила не сразу. Она лихорадочно подыскивала слова и не находила их.

— Неужели ты думаешь...— проговорила она наконец,— неужели ты действительно думаешь...

Он снова отвернулся к окну. Ответ его прозвучал необычайно рассудительно:

— Я построил эти общежития не для того, чтобы там распоряжались ты и твой... друг.

Эти слова прозвучали решительно, как ультиматум.

— Но он только потому мой друг, что старается помочь в делах общежитий.

Мгновение сэра Айзек, казалось, взвешивал это. Но потом снова вернулся к своему предубеждению.

— Господи! — воскликнул он.— Какой же я был дурак!

Она сочла за лучшее пропустить это мимо ушей.

— Для меня эти общежития важнее всего на свете,— сказала она.— Я хочу, чтобы все наладилось и было хорошо... И потом...— Он слушал молча и недоверчиво.— Мистер Брамли для меня всего только помощник. Он... Как ты мог подумать такое, Айзек? Про меня! Как ты посмел? Как ты мог допустить мысль?..

— Прекрасно,— сказал сэр Айзек и по своему обыкновению присвистнул сквозь зубы.— Если так, распоряжайся общежитиями без него, Элли,— предложил он.— Тогда я тебе поверю.

Она поняла, что он хочет испытать ее и предлагает сделку. Ей представился мистер Брамли, такой, каким

она видела его в последний раз, в коричневом костюме и галстуке, чуть съехавшем набок, — он тщетно протестовал против такой несправедливости.

— Но мистер Брамли так помогает мне, — сказала она. — И он такой... безобидный.

— Все равно, — сказал сэр Айзек, тяжело дыша.

— Но разве можно вот так, ни с того ни с сего, отвернуться от друга?

— По-моему, никакие друзья тебе не нужны, — сказал сэр Айзек. — Ведь он был безропотным... рабом.

— Я и не спорю, он хороший, — продолжал сэр Айзек все тем же неестественно рассудительным тоном. — Но... он не будет управлять моими общежитиями.

— Что это значит, Айзек?

— А то, что ты должна сделать выбор. — Он помедлил, видимо, ожидая ответа, потом продолжал: — Вот что я тебе скажу, Элли: мне этот Брамли осточертел. Да, осточертел. — Он снова помолчал, переводя дух. — Если ты хочешь по-прежнему заниматься общежитиями, пускай он — фью! — катится ко всем чертям. Тогда, если тебе угодно, пускай эта самая Бэрнет вернется и торжествует... конечно, миссис Пемроуз плюнет и уйдет, но, говорю тебе, я согласен... Но только, чтоб и духу — фью! — да, и духу этого твоего мистера Брамли не было, чтобы я о нем больше не слышал, и ты чтобы о нем тоже не слышала... Как видишь, я поступаю очень разумно и проявил редкую терпимость, хотя люди... люди болтают о тебе на каждом углу. Но есть... есть предел... Ты дошла бог весть до чего... и если б я не был уверен, что ты не виновата... в этом смысле... но я не хочу больше говорить об этом. Довольно, Элли.

Казалось бы, она давно ожидала этого. Но, несмотря ни на что, он все же застал ее врасплох, и она не знала, как быть. Ей одинаково сильно хотелось сохранить и мистера Брамли и общежития.

— Но, Айзек, — сказала она. — Что ты подозреваешь? Что ты выдумал? Мы с ним старые друзья... Как могу я вдруг все порвать?

— Не прикидывайся наивной, Элли. Мы с тобой отлично понимаем, что бывает между женщиной и женщиной. Я не говорю, будто знаю... то, чего не знаю. Я не говорю, что ты меня обманываешь. Но только...

И вдруг его раздражение вырвалось наружу. Он потерял власть над собой.

— К черту! — закричал он, и дыхание его, и без того тяжелое, участилось еще больше.— Это надо прекратить! Как будто я ничего не понимаю! Как будто не понимаю!

Она хотела возразить, но он слова не давал ей вставить.

— Это надо прекратить. Прекратить. Конечно, ты ничего не сделала, конечно, ты ничего не понимаешь и не думаешь... Но я болен... И ты нисколько не пожалеешь, если мне станет хуже... Ты можешь ждать, у тебя есть время... Есть... Ладно же! Ладно! Вот ты нарочно сейчас споришь, доводишь меня до бешенства. Хотя знаешь, я от этого могу задохнуться... Это надо прекратить, говорю тебе... прекратить!..— Он стукнул кулаком по подлокотнику кресла и схватился за шею.— Вон! — крикнул он.— Ко всем чертям!

4

Не знаю, кто мой читатель — человек решительный или же представитель новой породы людей, постоянно одолеваемых сомнениями; в последнем случае ему легче будет понять, как получилось, что леди Харман в следующие два дня бесповоротно приняла два прямо противоположных решения. Она решила, что ее отношения с мистером Брамли, при всей их невинности, придется прекратить в интересах дела и во имя победы над миссис Пемроуз, и не менее твердо решила, что неожиданный запрет мужа—это возмутительная тирания, которой необходимо горячо сопротивляться. Она с удивлением обнаружила, что мысль о расставании с мистером Брамли не укладывается у нее в голове. Но прежде чем прийти к столь рискованному заключению, ей пришлось пробиться сквозь настоящие джунгли противоречивых мыслей и чувств. Когда она думала о миссис Пемроуз, и в особенности о том, что вероятнее всего это она настроила мужа против мистера Брамли, ее возмущение вспыхивало с новой силой. Миссис Пемроуз представала перед ней как настоящая злодейка, воплощение шпионства, хладнокровного предательства и коварства, как средоточие всех

зол власти и бюрократизма, и ее, как огромная волна, захлестывало чувство ответственности за всех этих непокорных, слабых и таких милых молодых женщин, которые подталкивали друг друга локтями, пересмеивались, были виной всяких недоразумений, совершали ошибки и старались наладить свою жизнь под властным и беспощадным гнетом миссис Пемроуз. Она должна была выполнить свой долг перед ними, долг, который превышает всего другого. И если для этого надо отказаться от неизменной помощи мистера Брамли, неужели это слишком большая жертва? Но едва она решила так, все началось сначала, и она снова с возмущением задавала себе вопрос: как может кто бы то ни было запретить ей дружбу, которая была такой честной и невинной? И если сегодня она согласится на это возмутительное требование, какие новые запреты навяжет ей сэр Айзек завтра? А тут еще его болезнь так все осложняла. Она не могла пойти и поговорить с ним начистоту, не могла прямо бросить ему вызов, потому что у него сразу начался бы приступ удушья...

Поэтому леди Харман заключила, нелогично, но вполне естественно, что, каким бы ни было ее решение, она должна сама сообщить его мистеру Брамли. Она назначила ему по почте свидание в Кью-гарденс и благоразумно поехала туда не в своем автомобиле, а на такси. Оба бесповоротных решения так уравновесились у нее в голове, что по дороге в Кью-гарденс дважды перевешивало то одно, то другое.

Приехав в парк, она почувствовала, что ей совсем не хочется объявлять ему ни то, ни другое решение. Она была так рада видеть мистера Брамли; он пришел в новом светло-коричневом костюме, который был ему очень к лицу, день выдался теплый и ясный; день лилий, нарциссов и эдельвейсов; деревья ярко зеленели, солнце сияло, и ее дружеские чувства к мистеру Брамли незаметно слились с весенним трепетом природы и солнечным светом. Они вместе пошли по ярко-зеленой лужайке, охваченные беспричинной радостью, шепотом восторгаясь поразительным совершенством творения, которое садовники нам в назидание выставили в самом выгодном свете, и душа у леди Харман совсем не лежала к делу, которое привело ее в парк.

— Давайте собирать нарциссы в роще у реки,— предложил мистер Брамли, и было бы просто нелепо отказать от этого удовольствия, прежде чем решать роковой вопрос, который не давал ей покоя: подчиниться ли неодолимой силе или же упорно сопротивляться ей?

Мистер Брамли в этот день превзошел самого себя. Он был весел, беззаботен, предупредительно вежлив; каждой нотой своего голоса, каждым движением он показывал, что если бы ему предложили все чудеса мира и все человечество, он выбрал бы только этот парк и не пожелал бы другой спутницы и другого времяпрепровождения. Он говорил о весне и цветах, читал стихи, украшал и без того прелестный день перлами своих познаний.

— Приятно иногда вот так отдохнуть,— сказал он, и после этого ей стало совсем уж трудно завести разговор о неприятностях с общежитиями.

Наконец, когда они пили чай в павильончике возле индийской пагоды, удобный случай представился. Павильончик был старый, тот самый, который потом сожгли суфражистки, сторонницы мисс Олимони, чтобы доказать неумолимость женской логики. Это произошло в ту богатую событиями неделю, когда, по словам мисс Олимони, торговцы белыми рабами (они были переодеты в няnek, но, к счастью, от них пахло виски) чуть не похитили ее с Брикстонской ярмарки, устроенной в пользу трезвенников. Но в те менее бурные времена павильончик еще стоял; посетителей обслуживали приветливые официанты во фраках, строгость которых несколько смягчали яркие соломенные шляпы; а нахальные грязные лондонские воробьи в несметном множестве чирикали, щебетали, попрошайничали, порхали в воздухе и дрались, садясь иногда прямо на столы и прыгая под ногами у посетителей. Здесь мистер Брамли и леди Харман, когда их приподнятое настроение несколько рассеялось от долгой прогулки, а также от близости варенья и кресс-салата, снова вспомнили о своем общем деле, которое должно было объединить общество на коллективной основе.

Она начала рассказывать ему про столкновение между миссис Пемроуз и Элис Бэрнет, которое могло погубить Элис. Ей легче было начать так, как будто она еще могла что-то сделать, а уж потом перейти к неожиданному осложнению и признаться, что она вдруг оказалась

бессильной перед миссис Пемроуз. Она подробно рассказала про новую неприятность, про вражду между «благородными», которые были так далеки от женского идеала, и «простыми», тоже оказавшимися сомнительным сокровищем.

— Конечно,—сказала она,—всякий знает, что невежливо кашлять другому в лицо и издавать неприятные звуки, но как трудно им объяснить, что столь же невежливо проходить мимо человека и притворяться, будто не замечаешь его. Когда эти девушки смотрят на других свысока, их дурное воспитание еще заметнее; они становятся такими чопорными и... противными. А еще они чураются профсоюза, считают это «неблагородным» делом, может быть, в этом-то вся беда. Мы ведь уже не раз говорили об этом. У девушек из мануфактурного магазина такие бездушные, эгоистические, низменные, претенциозные понятия, даже хуже, чем у наших официанток. А тут еще эта миссис Пемроуз, как будто без нее забот мало; ее надзирательницы делают всякие глупые жестокости, и я не могу даже сказать, что не им судить о хорошем поведении. По их мнению, чтобы поддерживать дисциплину, с людьми надо разговаривать, как со слугами, смотреть на них свысока, подавлять их. И прежде чем успеешь что-нибудь сделать, начинаются неприятности, девушки дерзят, пишутся доклады об «открытой непочтительности», и их выгоняют. Выгоняют то и дело. Это уже четвертый случай. Что же с ними будет? Я, как вам известно, хорошо знаю эту Бэрнет. Она простая добрая девушка... И вдруг такой позор... Как могу я это допустить? — Она протянула руки над столом.

Восхищенный мистер Брамли подпер рукой подбородок и глубокомысленно сказал «гм», всей душой стремясь разобраться в ее трудностях и найти выход. Он высказал несколько блестящих обобщений на тему о развитии нового общественного чувства под влиянием изменившихся условий, но, кроме замечания, что миссис Пемроуз всего только организатор, ничего не смыслит в психологии и совершенно не на месте, он не сказал ничего такого, что хоть в малейшей степени помогло бы уладить дело. Но как бы то ни было, леди Харман после такого вступления, несомненно, перешла бы к робким намекам, а потом, собравшись с духом, рассказала бы ему о новом затрудне-

нии, возникшем из-за ревности сэра Айзека, и о необходимости серьезно на что-то решиться, если бы не совершенно особое обстоятельство, которое испортило их разговор и лишило его даже видимой непринужденности.

Оно отравило их мысли, и первым это почувствовал мистер Брамли.

Мистер Брамли редко чувствовал себя непринужденно. В ресторане или в каком-нибудь другом общественном месте, что бы он ни делал и о чем бы ни говорил, он всегда был настороже, внимательно прислушивался, поглядывал на окружающих. И теперь, казалось бы, целиком поглощенный беседой с леди Харман, он тем не менее сразу заметил, что за соседним столиком какой-то неряшливый, неуместный здесь человек в котелке и дешевом сером костюме прислушивается к их разговору.

Этот человек вошел в павильон как-то странно. Он в нерешительности постоял у двери. А потом явно намеренно выбрал ближайший к ним столик и все время украдкой следил за ними.

Но это было еще не все. Мистер Брамли, нахмурившись, силился что-то вспомнить. Облокотившись на стол, он подался вперед, к леди Харман, приложил палец к губам, глядя за окно на цветущие деревья, и сказал едва внятным, задумчивым, таинственным шепотом:

— Где я видел нашего соседа слева?

Леди Харман уже давно обратила внимание на его рассеянность.

Она взглянула на человека за соседним столиком и, не найдя в нем ничего достопримечательного, продолжала разговор.

Мистер Брамли, казалось, слушал внимательно, но потом снова прервал ее:

— Где же все-таки я его видел?

И с этого мгновения разговор был отравлен; решимость совершенно покинула леди Харман. Она чувствовала, что мистер Брамли ее больше не слушает. В ту минуту она еще не разделяла его беспокойства. Но дело, и без того нелегкое, теперь стало попросту невозможным; она чувствовала, что сейчас он все равно не поймет, какой серьезный ей предстоит выбор. Пройдя мимо большой оранжереи и красивого озера, по которому

плавали утки и лебеди, они вышли к воротам, где ждало такси.

Она чувствовала, что хоть теперь должна объяснить ему положение дел. Но времени уже почти не осталось, пришлось бы скомкать разговор, и хотя подобные вещи случаются достаточно часто, ни у одной жены еще не хватило духу небрежно обронить: «Ах, между прочим, мой муж ревнует меня к вам». И тогда ей захотелось сказать ему просто, без всяких объяснений, что на время они должны перестать видаться. Но пока она набиралась смелости, мистер Брамли снова забеспокоился.

Он встал с сиденья открытого автомобиля и, оглянувшись, сказал:

— Этот человек едет за нами следом.

5

Безрезультатный разговор с мистером Брамли повлиял на леди Харман самым удивительным образом. Ей почему-то взбрело в голову, что, если разговор ничем не кончился, это к лучшему. Из двух зол она не выбрала ни одного и решила оказывать мужу кроткое неповиновение...

Весна в Англии на редкость непостоянна: иногда дует восточный ветер и погода стоит капризная, иногда — северо-западный, и тогда нас овеивает холодное дыхание океана и идут проливные дожди, а иногда за весной следует целый год, полный бесконечных метеорологических колебаний. В ту весну ветер почти все время дул с юго-запада, погода стояла теплая и ласковая, бывали, конечно, и дожди, но короткие, освежающие, приятные. Такая весна никого не оставляет равнодушным, и леди Харман стало казаться, что неприятности с миссис Пемроуз уладятся, что бог скоро все рассудит по справедливости, а пока надо пользоваться и наслаждаться жизнью как можно беззаботней. И она наслаждалась самым невинным образом. Главное, что она здорова, может радоваться весеннему ветру и солнцу. Так продолжалось три коротких дня. Она повезла детей в Блэк Стрэнд проведать нарциссы, которые она там посадила, и цветы превзошли все ее ожидания. На огороженной опушке леса, за счет которого она расширила сад, неистово разрос-

ся терновник, а под ногами стлался густой ковер из первоцветов. И даже их лондонский сад был полон сюрпризов. На другой день после поездки в Блэк Стрэнд было так тепло, что они всей семьей весело пили чай на лужайке под кедром. Девочки в этот день выглядели удивительно мило, на них были новые голубые шляпки, и по крайней мере Аннет с малюткой могли показаться даже прелестными. Миллисента же под руководством новой гувернантки из Швейцарии выучилась неожиданно бойко болтать по-французски, что позволяло отчасти примириться с ее тонкими, некрасивыми ножками.

А потом легкомысленная радость леди Харман была нарушена самым потрясающим образом. Она заметила, что за ней следят. Неряшливый человечек в сером следовал за ней по пятам.

Она обнаружила это в один прекрасный день, когда поехала объяснить с Джорджиной. Она чувствовала себя так хорошо, так уверенно, и поэтому ей нестерпима была мысль, что Джорджина затаила на нее обиду; она решила поехать к сестре, поговорить с ней начистоту, объяснить, что она не может без согласия мужа взять генерального директора. Человека в сером она заметила, когда спускалась с Путни-хилл.

Она сразу его узнала. Он стоял на углу Редферн-роуд, не видя ее. Он прислонился к стене в привычной позе человека, которому часто и подолгу приходится подпирать стены, и что-то растолковывал пожилому метельщику, который и поныне метет там улицу, не обращая никакого внимания на автомобили. Увидев ее, он встрепнулся и отошел от стены.

У него было одно из тех лиц, которые невольно хочется назвать «рылом», прямой, воинственный нос, кривые ноги и сгорбленная спина. Непременный котелок был ему маловат, а фалды кургузого пиджака словно кто-то нарочно обкорнал. И леди Харман сразу убедилась, что мистер Брамли был прав в своих подозрениях, хотя до тех пор это казалось ей невероятным. Сердце ее забилося чаще. Она решила проверить, до каких пор этот человек станет за ней следовать, и скромно продолжала путь, делая вид, будто ничего не заметила.

Удивление ее было безмерно, и вскоре в ней снова шевельнулось сомнение: неужели Айзек сошел с ума? На

углу она убедилась, что человек в сером идет за ней, и остановила такси. Сыщик подошел поближе, чтобы услышать, какой адрес она назовет.

— Пожалуйста, поезжайте потихоньку вниз, а там я вам скажу,— попросила она шофера. И почувствовала торжество, если только это можно назвать торжеством, увидев, как человек в сером, сломя голову, ринулся к стоянке такси. Она стала лихорадочно обдумывать план действий.

Убедившись, что ее преследователь не отстает, она попросила шофера повернуть и поехала в сторону Лондона, а потом свернула на Оксфорд-стрит, к универмагу Уэстбриджа. Человек в сером, видимо, уже перерасходовал свои пенсы на такси. Он ехал за ней по всей Бромтон-роуд, и его нос торчал, как кливер впереди парусного судна.

Она была раззадорена, охвачена любопытством и вовсе не чувствовала столь естественного в таких случаях возмущения: выходило так, будто она вполне ожидала этого от сэра Айзека. Он приставил к ней сыщика! Вот, значит, чем кончилась мнимая свобода, которую она завоевала, разбив окно почты. Ей следовало это предвидеть...

Конечно, она была удивлена и возмущена, но совсем не так, как положено благородной героине. Разумеется, ей было далеко до того царственного величия, с которым держалась бы при подобных обстоятельствах миссис Собридж. Вероятно, потому, что в жилах ее отца была примесь плебейской крови, любопытство переселило в ней возмущение. Она хотела знать, что это за человек, чей нос торчит над стеклом такси позади нее. До тех пор ей по неопытности и в голову не приходило, что можно нанимать сыщиков для слежки за женщинами.

Она сидела, чуть наклонившись вперед, и думала.

Долго ли он будет ее преследовать, и нельзя ли от него отделаться? Или же эти сыщики настолько опытные, что, напав на след, они, как индейские охотничьи собаки, уже ни за что не собьются? Надо проверить.

Она отпустила такси у магазина Уэстбриджа и с чисто женской ловкостью поймала отражение сыщика в витрине,— он осматривал многочисленные двери универмага. Станет ли он следить за всеми разом? За углом было

еще несколько дверей. Нет, он решил войти внутрь. Она вдруг почувствовала желание, неразумное и почти бессознательное, увидеть этого человека в отделе детского белья. В ее власти было загнать его в самое нелепое окружение. По крайней мере такую прихоть женщина вправе себе позволить...

Он вошел за ней с удивительным хладнокровием и укрылся за витриной с детскими носками. Когда подошла продавщица, он попросил показать все носки, какие только бывают на свете.

Приходится ли этим ищейкам что-нибудь покупать? Если да, то странные, должно быть, наименования появляются в их отчетах. Положим, он купит сейчас пару носков, подаст ли он на них счет сэру Айзеку? И ей вдруг ужасно захотелось увидеть отчет этого сыщика, нанятого ее мужем. А куда он денет свои покупки? Она слишком хорошо знала своего мужа и была уверена, что если уж он заплатил деньги, то непременно должен получить товар. Но где... где он все это держит?..

Сыщик теперь стоял к ней спиной; он явно разыгрывал роль заботливого отца и с удивительной придирчивостью выбирал детские носочки... Итак, вперед! Мимо витрин с самыми нескромными товарами, к лифту!

Но он и это предусмотрел: кружным путем он подошел как раз вовремя, чтобы услышать, как дверца лифта захлопнулась за спокойной и сосредоточенной женщиной, которая все еще, казалось, не замечала его существования.

Он бросился вверх по лестнице, а она, не выходя из лифта, тем временем снова спустилась вниз; он остановился, когда она проезжала мимо; глаза их встретились, и в его взгляде было что-то похожее на мольбу. Он весь взмок, его котелок съехал набок. Видимо, он с самого утра оделся не по погоде. И, кроме того, он понял, какую совершил ошибку, войдя в универмаг. Едва она успела взять такси, как он был уже опять на улице и продолжал погоню, весь потный, но упорный и неотступный.

Леди Харман старалась вспомнить, нет ли поблизости еще угловых магазинов с выходами на две улицы. Она заставила его побывать у Питера Робинсона, потом у Дебенхэма и Фрибоди и, наконец, направилась к Мо-

нументу¹. Но по дороге она вспомнила про эскалатор у Хэррода. Интересно, что он сделает, если она поднимется наверх, а потом снова спустится? Побежит ли вверх и вниз по лестнице? Он побежал. Она заставила его проделать это несколько раз. А потом вспомнила о станции метро на Пикадилли; она вошла туда с Бромтон-роуд, вышла на Даун-стрит, потом вошла снова и поехала до Саут-Кенсингтона, а он носился из вагона в вагон и входил на эскалаторы, смешно пятясь, видимо полагая, что спина его менее приметна, чем лицо.

Теперь он, без сомнения, понял, что она ловко наблюдает за ним. Он, конечно, решил, что она хочет от него отделаться, и в нем проснулась профессиональная гордость. Весь встрепанный, тяжело дыша, он буквально ходил за ней хвостом, отбросив всякую осторожность, но не отступался, так как раздражение придавало ему упорства.

Он взобрался наверх по лестнице в Саут-Кенсингтоне, хватая ртом воздух и смешно сопя, но не желая признать себя побежденным.

И она вдруг почувствовала, что он ей противен и что ей хочется домой.

Она взяла такси, и когда они выехали на оживленную Фулхем-роуд, в голову ей пришла вдруг блестящая мысль. Она попросила шофера остановиться у захудалого мебельного магазинчика, щедро заплатила ему и попросила его снова съездить к Саут-Кенсингтонской станции метро купить вечернюю газету и вернуться за ней. Сыщик остановился шагах в тридцати и сразу попался на удочку. Отпустив такси, он притворился, будто рассматривает в соседней витрине дешевые игрушки, шоколад и кокосовое мороженое. Она купила медную пружину для двери, поспешно расплатилась и встала неподалеку от выхода, но так, чтобы ее не было видно с улицы.

А потом вернулось ее такси, она быстро села и уехала, оставив его с носом.

Он сделал отчаянную попытку вскочить в автобус. Она видела, как он бежал наперекор движению, разма-

¹ Монумент, воздвигнутый в центре Лондона в XVII веке в память о пожаре, опустошившем в 1666 году большую часть города.

хивая руками. И вдруг на него налетел велосипедист, который вез большую корзину; насколько она могла видеть, удар был довольно сильный, их сразу обступила толпа, поднялся шум, а автомобиль тем временем свернул за угол.

6

Некоторое время она только и думала об этом человеке. Женат ли он? Часто ли ему удастся побыть дома? Много ли он зарабатывает? Бывают ли у него трения с нанIMATEЛЯМИ из-за расходов?..

Она решила спросить у Айзека. Приехать домой и все сказать ему напрямик. Возмущение и сознание своей невиновности придавали ей сил...

Но потом в ее душу вдруг закралось странное сомнение: а так ли уж очевидна ее невиновность, как ей кажется?

Это сомнение росло, и ей стало не по себе.

Два года она встречалась с мистером Брамли без всяких опасений, словно оба были невидимками, а теперь вот приходилось ломать себе голову, взвешивать, что же могло быть неправильно понято и истолковано. Ничего, ровным счетом ничего, сказала она себе, все делалось открыто, без утайки, но все-таки она шарила в памяти, искала что-нибудь упущенное, забытое, что можно было бы истолковать в дурную сторону... Как же начать? «Айзек,— скажет она,— за мной следят, за мной гоняются по всему Лондону». А вдруг он станет отрицать свою причастность к этому? Но как сможет он отрицать?!

Автомобиль въехал в ворота и остановился у подъезда дома. Снэгсби сбежал с крыльца ей навстречу, и на лице у него был написан ужас.

— Привезли сэра Айзека, миледи, он очень плох.

Пройдя мимо Снэгсби в прихожую, она увидела Флоренс, взволнованную, с округлившимися глазами.

— Папа опять заболел,— сказала Флоренс.

— Ступай в детскую,— велела ей леди Харман.

— Лучше я буду тебе помогать,— сказала Флоренс.—

Не хочу играть с ними.

— Сказано тебе, ступай в детскую!

— Да, а я хочу поглядеть, как он будет кислородом дышать,— заняла Флоренс в спину матери.— Я ни разу не видела, как дышат кислородом. Мама-а-а!

Когда леди Харман вошла в комнату мужа, его уже усадили на кушетку и обложили подушками. Он был без пиджака, воротничка и жилета, рубашка и фуфайка были порваны у ворота. Около него суетился Амсуорт, врач, живший по соседству, но кислород еще не принесли, и сэр Айзек, с перекошенным лицом, отчаянно хватал ртом воздух. При виде жены лицо его перекошилось еще больше.

— Проклятый климат!— прохрипел он.— Если б не твои выдумки, я бы сюда не вернулся.

Казалось, эти слова принесли ему облегчение. Он глубоко вздохнул, плотно сжал губы и кивнул, подкрепляя свои слова.

— Он нервничает...— сказал Амсуорт.— А если ваше присутствие его раздражает...

— Пускай остается,— сказал сэр Айзек.— Ей... это приятно...

Вошел коллега Амсуорта с долгожданным кислородным баллоном.

7

После этого все на свете, кроме болезни сэра Айзека, отошло на задний план. А болезнь его вступила в новую стадию. Было ясно, что он не может больше жить в Англии, что нужно переехать в какую-нибудь страну с мягким и теплым климатом. Там, заверил леди Харман Амсуорт, разумеется, при соблюдении необходимых предосторожностей, сэр Айзек может прожить еще много лет. «Конечно, он останется инвалидом, но не будет прикован к постели».

«Международная компания» стала готовиться к его отъезду. Почти все дела сэра Айзека переложил на управляющих и все перестраивал по-новому с тем, чтобы управление филиалами осуществлялось издалека. Ему помогал Чартерсон, и вскоре все было устроено так, что он мог руководить компанией с того курорта, который врачи ему посоветуют. А посоветовали они Санта-Маргерита на Лигурийском побережье, у залива Рапалло, близ Портофино.

Курорт выбрал старый доктор Бергенер из Мариенбада. Сэр Айзек хотел снова ехать в Мариенбад, где лечился в первый раз; у него остались яркие и весьма преувеличенные воспоминания о том, как его там лечили; он стал еще более подозрителен; не доверяя своему лондонскому врачу, велел леди Харман послать старику Бергенеру длиннейшую телеграмму с целым списком вопросов и только после этого успокоился. Бергенер не советовал ехать в Мариенбад — место казалось ему неподходящим и время года тоже, — лучше всего поселиться в отеле «Ридженси» в Санта-Маргерита: полный пансион, прекрасный сад, у самого моря, номера отлично обставлены, там есть все условия, необходимые для сэра Айзека. Бергенер утверждал, что при хорошем лечении, соблюдая должные предосторожности, изредка пользуясь кислородом и избегая всяких волнений, сэр Айзек проживет там бесконечно долго, то есть лет восемь — десять. И, сообразившись этими восемью — десятью годами, что было почти втрое больше, чем мог обещать лондонский врач, сэр Айзек наконец согласился, чтобы его отвезли в Санта-Маргерита.

Времени терять было нельзя, и они вскоре выехали специальным поездом, со всеми возможными удобствами и медицинской помощью в пути. Они взяли с собой врача, которого рекомендовал мариембадский доктор, — это был очень неглупый молодой баварец с совершенно квадратной головой и светлыми волосами, в неизменном сюртуке, с манерами нелюбезного швейцара в отеле и с багажом, целиком состоявшим из медицинских инструментов и множества сверкающих черных коробок странного вида. Он выехал вместе с ними прямо из Лондона. А в Генуе они по его совету наняли опытную сиделку, миловидную, пухлую женщину, которая говорила только по-итальянски и по-немецки. Неизвестно почему, скорей всего из страха перед суфражистским влиянием, доктор не хотел, чтобы сиделкой была англичанка, пусть даже очень опытная. Кроме того, с ними ехала стенографистка-машинистка, которая должна была писать сенью под диктовку сэра Айзека, и Саммерсли Сэтчелл, секретарша леди Харман, молодая особа в очках, необычайно умного вида, которая прежде служила у покойной леди Мэри Джастин. Она и молодой врач сра-

зу невзлюбили друг друга; по его словам, это произошло потому, что она пожелала выучиться у него немецкому языку. Кроме того, ехала еще горничная леди Харман, вторая горничная и камердинер сэра Айзека. Остальную прислугу им должен был предоставить управляющий отелем.

На подготовку и на переезд к месту ссылки ушло несколько недель. Дом в Путни должен был пустовать, а детей перевезли в Блэк Стрэнд. Пришлось упаковать целую кучу вещей, так как леди Харман понимала, что на этот раз вернется не скоро, — по всей вероятности, она уезжала на долгие годы. Харманам предстояло жить в теплых, солнечных краях до конца дней сэра Айзека.

Здоровье его совсем расшаталось, артерии все больше отвердевали, теперь это была главная его болезнь. За последние месяцы он очень изменился: похудел, ссутулился, осунулся, черты лица обострились. Ему все трудней было дышать лежа, и он даже спал сидя; начались вкусовые и обонятельные расстройства: он жаловался, что еда имеет странный привкус, кричал на повара, страдал от приступов тошноты. Порой ему слышались странные звуки, как будто воздух свистел в водопроводных трубах, но все остальные, как ни прислушивались, ничего не могли услышать. С каждым днем он становился все раздражительней, недоверчивей, все хуже владел собой, когда злился. Его склонность к грубой и грязной ругани, скрываемая давно, быть может, еще с тех времен, когда он учился в колледже мистера Гэмбарда в Илинге, теперь прорвалась наружу...

В первые дни его болезни леди Харман была рада необходимости ухаживать за ним, так как это было удобным предлогом не думать о неприятностях в общезитиях и о мучительной проблеме отношений с мистером Брамли. Она написала ему две коротких записки, в которых, ссылаясь на неотложные дела, предупреждала, что не может с ним увидеться. Но вскоре, сначала в бессонные ночи, а потом и днем, она начала с тревогой задумываться о своем будущем, которое рисовалось ей в самом мрачном и неприглядном свете. Она чувствовала, что слезка за ней продолжается, но не знала, почему: то ли потому, что у мужа не было возможности изменить свои распоряжения, то ли он все еще хотел подробно

знать о каждом ее шаге. Теперь она неотлучно была при нем, кроме тех случаев, когда он приходил в ярость или молча дулся на нее, — в остальное время он терпел жену и не отвергал ее забот. Видно было, что его терзает ревность, бесит даже ее цветущее здоровье, и он не преминет бросить ей упрек всякий раз, как у нее заблестят глаза или в движениях появится живость. После того разговора в сумерках они больше уже не спорили из-за общежитий, это ушло далеко в прошлое. Заводить этот разговор снова или жаловаться на сыщика, который тенью последовал за ней даже за границу, значило бы только приблизить разрыв с мистером Брамли.

Она хотела избежать этого, пусть даже на время пренебрегая делами общежитий. Она не виделась с мистером Брамли, но и не порвала с ним окончательно. Избежать разговоров о сыщике не составляло труда: стоило только притвориться, будто она ничего о нем не знает — а что до общежитий, то это каждый день откладывалось до завтра.

Со времени своего первого бунта она многое поняла и знала теперь, что в раскрепощении женщины главное — это право иметь друзей-мужчин. С этим так или иначе связаны все прочие ограничения, на которые сетуют женщины. Полное освобождение женщины наступит вместе с полным освобождением человечества от ревности — и никак не раньше. Все женские свободы останутся обманом до тех пор, пока женщина не сможет свободно видеться с любым мужчиной, а когда это станет возможным, ее уже больше не от чего будет освобождать. Когда леди Харман подняла свой первый бунт, этот вопрос о дружбе с мужчинами казался ей по натуре самой разумной и элементарной уступкой, но так было лишь потому, что мистер Брамли в те времена не говорил с ней о любви и она еще не заглянула за ту дверь, которую считала для себя запертой раз и навсегда. Теперь она поняла, как прав был со своей точки зрения сэр Айзек.

И, поняв все это, она почувствовала, что вовсе не хочет отказываться от мистера Брамли.

К тому же ее все больше тревожила мысль, что в общежитиях дело обстоит из рук вон плохо. Тревожила до такой степени, что она, поборов отвращение, реши-

ла повидаться с миссис Пемроуз в Блумсбери и поговорить о выгнанных девушках. Миссис Пемроуз держалась настороженно и была готова обороняться во всеоружии своих знаний и высокомерия. Ее маленькие голубые глазки стали еще более колючими, в голосе явственной звучал металл, и шепелявила она сильнее обычного.

— Конечно, леди Харман, будь у вас хоть небольшой опыт практического руководства...

И еще:

— Я три раза давала этим девушкам возможность исправиться... полную возможность.

— Но ведь это было так жестоко — выгнать их на улицу! — твердила леди Харман. — У всех людей есть недостатки.

— Нужно думать об остальных. Нужно думать... о заведении в целом.

— Не знаю, право, — сказала леди Харман, пытаюсь постичь всю глубину этой мысли. Великая истина подавила, затмила тот факт, что заведение существует для людей, а не люди для заведения.

— Дело в том, — продолжала она, обращаясь скорее к самой себе, чем к миссис Пемроуз, — что мы надолго уезжаем.

Миссис Пемроуз не выказала особого огорчения.

— Поэтому мне нет смысла вмешиваться сейчас, а потом все оставить...

— Конечно, это привело бы к полнейшей дезорганизации, — сказала миссис Пемроуз.

— Но я хотела бы как-то смягчить наказание... пощадить гордость этой девушки, Элис Бэрнет. В сущности, вы дали ей понять, что ей... не место среди других девушек.

— Она знала, на что идет, ее не раз предупреждали.

— Мне кажется, она... упряма. Ах! У нее такой трудный характер! Но это очень обидно, когда тебя выгоняют.

— А ее не выгоняли, строго говоря...

— Но она знает, что ее выгнали...

— Я вижу, леди Харман, вы предпочли бы выгнать меня.

Темноволосая леди посмотрела на суровую, властную женщину, сидевшую перед ней, и снова опустила глаза. Она подумала, что миссис Пемроуз лишена всякого благородства, а во главе такого дела может стоять только благородный человек.

— Я одного хочу: никому понапрасну не причинять зла,— сказала леди Харман.

Она еще пыталась как-то договориться с миссис Пемроуз, чтобы предупредить новое недовольство среди девушек. Принимая все это слишком близко к сердцу, она не щадила свою гордость. Но добрейшая миссис Пемроуз, как все люди ее круга, оставалась непреклонной, и леди Харман наконец махнула на все рукой.

Она вышла в просторный, красивый вестибюль, и миссис Пемроуз тоже вышла проводить ее, как хозяйка гостью. Оглядев огромное здание, она вспомнила, сколько с ним было связано надежд и упований. Оно должно было стать прекрасным домом для счастливых людей, а теперь здесь царили неизменные правила поведения, инструкции, систематическое притеснение и ловкое подавление душ. Это было казенное заведение с мертвым, казенным распорядком; заведением назвала его миссис Пемроуз, и это же предсказала Сьюзен Бэрнет пять лет назад. Мечта, поработанная действительностью.

Вот так, подумала леди Харман, действительность неизбежно поработает все мечты, и никогда еще трепетная весенняя листва, солнце, чириканье воробьев и смутный, отдаленный гул уличного движения там, за гемной, тяжелой входной дверью, не сулили ей такой близкой радости.

«Заманили и погубили» — к этому свелась ее жизнь; та же судьба, что и общежития, постигла все надежды, мечты, светлые ожидания, благородные чувства и горячие, волнующие порывы...

Вероятно, леди Харман переутомилась, готовясь к отъезду. Потому что от этих горьких мыслей ей неудержимо хотелось плакать. И она изо всех сил старалась скрыть это от миссис Пемроуз.

Но от миссис Пемроуз ничто не укрылось, она видела, как темные глаза леди Харман наполнились слезами, и эта леди вышла на улицу, не сказав больше ни слова, даже не махнув рукой на прощание.

Миссис Пемроуз почувствовала странное смущение. Она смотрела вслед высокой женщине, которая подошла к автомобилю, открыла дверцу, изящно уселась и уехала...

— Истеричка,— прошептала миссис Пемроуз и сразу успокоилась.

— Ребячество,— добавила она, стараясь окончательно заглушить в себе непривычное беспокойство.

— И кроме того,— изрекла она,— тут уж ничего не поделаешь.

8

Долгое путешествие в Санта-Маргерита очень утомило сэра Айзека, хотя он не жалел денег на всевозможные удобства; но, придя в себя после переезда, он стал поправляться: лечение, предписанное Бергенером, на первых порах удивительно помогло. Вскоре он уже вставал с постели и мог сидеть в кресле. А еще через некоторое время молодой доктор начал поговаривать об автомобильных прогулках. Свой автомобиль они не взяли, поэтому доктор поехал в Геную, пробыл там целый день, подыскал после долгих хлопот автомобиль с самыми мягкими рессорами и дал указания, как приспособить его для удобства сэра Айзека. На этом автомобиле они совершили под жарким итальянским солнцем немало прогулок по прекрасной Италии — на восток от Генуи, на запад от Сестри и на север от Монталлегро. Однажды, когда они поднялись на гору Портофино, сэр Айзек вышел из автомобиля, прошелся немного пешком, полюбовался пейзажем и похвалил Бергенера. После этого он решил посетить красивый старинный монастырь в горах, у дороги на Портофино.

Сначала леди Харман ухаживала за мужем и жила с ним бок о бок, испытывая к нему лишь глухую неприязнь. Так должно было продолжаться восемь, а то и десять лет. Но потом ее воображение снова пробудилось. Пришло дружеское письмо от мистера Брамли, и она в ответном письме поделилась с ним, как красиво море, как изумителен и чудесен берег, у которого едва плещут волны. Три старших девочки тоже писали ей

забавные письмеца, и она им отвечала. Она съездила в Рапалло и привезла целую кучу книг в издании Таухница¹...

Приехав в монастырь у дороги на Портофино, они словно на миг перенеслись прямо в средние века. В монастыре, где обычно отдыхали выздоравливавшие картезианцы², было в ту пору совсем тихо и безлюдно— баварец несколько раз ударил в гулкий колокол, прежде чем откликнулся старый садовник, работавший на склоне горы, в винограднике,— взлохмаченный, небритый, нескладный, в темных лохмотьях, едва прикрывавших его наготу, но очень приветливый; надтреснутым голосом он быстро произносил какие-то красивые, длинные слова, показывая желтые зубы. Он заковылял куда-то за ключом, потом вернулся к монастырским воротам, на залитый жарким солнцем мощный дворик, повел их в просторные, прохладные помещения, показал чистые и простые кельи, тенистые коридоры и чудесную апельсиновую рощу, а потом вывел на красивую террасу, которая выходила к сверкающему, трепетному морю. Он все время порывался рассказать им о каком-то Франческо, но они ничего не могли понять, пока доктор не разобрал слова «battaglia»³ и «Павия» и не догадался в чем дело. Франциск Первый, объяснил он на ломаном, но все же понятном английском языке, жил здесь, когда попал в плен к императору и потерял все, кроме чести⁴. Они оглядели стройные колонны и воздушные своды.

— Они совсем такие же, как в то время,— сказал молодой доктор. Воображение его оживилось, и он на миг забыл про свою науку.

Они вернулись в отель довольные и примиренные. Сэр Айзек почти не устал. Леди Харман поспешила наверх, чтобы снять пыльное дорожное платье и надеть чистое муслиновое, а он, опираясь на руку доктора, пошел на террасу, куда им должны были подать чай.

¹ Немецкий издатель Кристиан Таухниц основал в прошлом веке библиотечку наиболее известных авторов.

² Члены католического монашеского ордена.

³ Битва (итал.).

⁴ Франциск I — французский король; в XVI веке, после поражения его войск у Павии, попал в плен к германскому императору Карлу V.

Когда она спустилась на террасу, весь ее мир уже был перевернут вверх дном.

На стол обычно клали письма так, чтобы сэр Айзек мог дотянуться до них со своего кресла, и он — возможно, не дав себе труда взглянуть на конверт, — взял верхнее письмо и вскрыл его.

Теперь он комкал это письмо в руке.

Только подойдя почти вплотную к столу, она заметила перемену. Его маленькие глазки взглянули на нее со жгучей ненавистью, губы были белы и плотно сжаты, ноздри раздувались от тяжелого дыхания.

— Так я и знал! — прохрипел он.

Она сохранила достоинство, хотя сердце у нее упало.

— Это письмо адресовано мне, — сказала она.

В глазах у него мелькнула издевка.

— На, полюбуйся! — сказал он и швырнул ей письмо.

— Это мое письмо!

— Полюбуйся! — повторил он.

— Какое право ты имеешь вскрывать мои письма?

— Дружба! — сказал он. — Невинная дружба! Вот, почитай, что пишет твой... друг!

— Что бы он ни писал...

— Ага! — воскликнул сэр Айзек. — Меня не проведешь! И не пробуй! О-о-о! Фью!.. — Некоторое время он не мог отдышаться. — Он такой безобидный. Так много помогает. Он... Прочти, ты...

Он запнулся, а потом бросил ей в лицо какое-то странное слово.

Она посмотрела на письмо, но не взяла его со стола. И вдруг увидела, что лицо мужа краснеет и он судорожно машет рукой. Его глаза, в которых вдруг угасла вся ярость, молили о помощи.

Она бросилась к застекленной двери, которая вела с балкона в столовую.

— Доктор Грeve! — закричала она. — Доктор Грeve! — Больной у нее за спиной издавал страдальческие звуки. — Доктор Грeve! — отчаянно крикнула она, после чего услышала сверху голос баварца, и по лестнице застучали его торопливые шаги.

Пробежав мимо нее, он что-то крикнул по-немецки. И она догадалась, что ему нужна сиделка.

Подоспевшая мисс Саммерсли Сэтчелл пришла ей на помощь.

И сразу все обитатели отеля стали стекаться на террасу.

Только через час сэра Айзека удалось уложить в постель, и он оправился настолько, что она могла уйти к себе. Вспомнив о письме мистера Брамли, она пошла на террасу и взяла листок со стола, где забыла его в суматохе, когда у мужа начался припадок.

Уже темнело, в доме зажгли электричество. Она стояла под одной из ламп и читала письмо, а два мотылька кружили около нее...

Письмо мистера Брамли было полно страстных излияний. Он намекал на «последние минуты счастья в Кьюгарденс». Писал, что право поцеловать полу ее одежды не променяет на «безраздельное обладание другой женщиной».

Это было так понятно, если видеть все в правильном свете. И так невозможно объяснить. Зачем она допустила это? Зачем?

9

Молодой доктор был смущен и даже оскорблен тем, что сэр Айзек снова занемог. Видимо, он считал это неправомерным и склонен был винить во всем леди Харман. Такой приступ, сказал он, мог бы случиться впоследствии, но никак не теперь. Несколько недель больной будет в прежнем состоянии, потом снова начнет поправляться, и, что бы он ни сказал, что бы ни сделал, леди Харман не должна ему перечить. Целый день сэр Айзек лежал пластом, весь в холодном поту. Один раз он согласился поесть, но его сразу начало тошнить. Вид у него был такой больной, что, несмотря на все заверения доктора, леди Харман сомневалась в его выздоровлении. Однако к вечеру он ожил, доктор сам наконец поверил в свои прогнозы, больной теперь мог сидеть, опираясь на подушки, свободно дышать и заниматься делами. Видимо, из всех дел его интересовало только одно. Едва почувствовав, что силы возвращаются к не-

му, он велел позвать жену. Но в тот вечер доктор не позволил ему разговаривать.

На другое утро сэр Айзек почувствовал себя еще лучше. Он нетерпеливо потребовал к себе леди Харман.

На этот раз доктор сказал ей об этом.

Она тотчас же пришла. Он сидел весь бледный, неузнаваемый, вцепившись в одеяло, и глаза его горели ненавистью.

— Ты думала, я забыл! — приветствовал он ее.

«Не спорьте», — подал ей знак доктор, стоявший в ногах кровати.

— Я все обдумал, — сказал сэр Айзек. — Ты, конечно, надеялась, что я слишком болен... Знаю я тебя...

Он облизнул губы и продолжал:

— Вызови сюда старика Грэппена. Я хочу кое-что изменить. Раньше я думал сделать по-другому. Но теперь ты так легко не отделаешься. Понятно? Так вот, вызови старика Грэппена.

— Что ты задумал?

— Неважно, миледи, неважно. Прошу вызвать Грэппена.

Она подождала немного.

— Больше тебе ничего не нужно?

— Теперь я улажу это дело с общежитиями. Будь спокойна. Твои общежития! Ты к ним теперь и близко не подойдешь. Никогда в жизни. Ты хотела уволить миссис Пемроуз! Как же! Да ты недостойна землю у нее под ногами целовать! Миссис Пемроуз!

Он собрал все силы и вдруг с необычайной яростью изрыгнул то самое слово, которым он назвал ее, когда прочитал письмо.

Видимо, это слово доставило ему большое удовольствие. Он повторил его трижды, смакуя каждый звук.

— Спокойно! — воскликнул доктор. — Тсс!

Сэр Айзек вспомнил, что ему ни в коем случае нельзя волноваться.

— Вызови Грэппена, — сказал он тихо и серьезно.

За последний год она столько наслышалась площадных слов, столько раз прощала их, объясняя все его болезнью, что теперь как будто не слышала оскорбления.

— Он нужен тебе срочно? — спросила она. — Послать телеграмму?

— Срочно! — Он понизил голос до шепота. — Да, дура ты набитая, да. Телеграмму. (Фью.) Телеграмму... Ты знаешь, мне нельзя волноваться. Телеграмму.

Он замолчал. Но в глазах его по-прежнему горела ненависть.

Взглянув на доктора, она пошла к двери.

— Я пошлю телеграмму, — сказала она и вышла, а он все смотрел ей вслед со злобой.

Она тихо прикрыла за собой дверь и пошла по длинному прохладному коридору в свою комнату...

10

Надо терпеть. Терпеть. Его болезнь будет протекать от кризиса к кризису. Быть может, много лет. И нет ни выхода, ни спасения.

Терпеть... Что еще ей оставалось? Конечно, это вопиющая несправедливость, но она уже начала понимать, что быть замужней женщиной — значит стоять вне справедливости. Жить под властью тирана. Однажды она вообразила, что это не так, и потом чуть ли не всю жизнь постепенно убеждалась в этой своей первой ошибке. Она вообразила, будто общежития ее, просто потому, что он так сказал. Но они всегда принадлежали ему одному, и теперь, конечно, он поступит с ними, как ему заблагорассудится. Закон не принимает во внимание условий неписаного семейного договора.

Она села за письменный стол, который управляющий отелем поставил специально для нее.

Подперев рукой подбородок, она попыталась обдумать свое положение. Но что было обдумывать, если природа, законы и обычаи словно сговорились отдать женщину в полную власть ревнивым и жадным мужчинам?

Она придвинула к себе телеграфный бланк.

Сейчас она напишет телеграмму, и Грэппен сломя голову примчится на зов, чтобы совершенно ее обездолить. Тут она вдруг подумала, что муж доверил это ей. И она выполняет его волю... Но как это нелепо.

Она сидела, постукивая карандашом по телеграфному бланку, и на губах у нее блуждала улыбка.

Да, это нелепо, и все остальное тоже. Ничего другого тут не скажешь и не придумаешь. Таков уж удел женщины. Конечно, она боролась, подняла свой маленький бунт. Многие женщины, без сомнения, поступали так же. И в конечном счете ничто не изменилось.

Но отказаться от общежитий было нелепо. Конечно, она наделала много глупостей, но не сумела благодаря им почувствовать себя полноценным человеком. Да она и не была полноценным человеком. Она была женой — и только...

Леди Харман вздохнула, собралась с силами и начала писать.

Потом снова остановилась.

Три года эти общежития были единственным оправданием ее безропотной покорности. И, если теперь их вырвут у нее из рук, если после смерти мужа отнимут все, и она окажется в жалкой зависимости от собственных детей, если за всю свою добродетель она должна выносить его оскорбительные подозрения, пока он жив, а потом принять позор его посмертного недоверия, чего ж ради ей терпеть дальше? Там, в Англии, есть мистер Брамли, ее суженый, готовый на все, любящий...

Мысль о том, что он ее суженый, приносила ей бесконечное облегчение. Он ее суженый. Он так много ей дал, и вообще с ним было так хорошо. И если в конце концов ей придется уйти к нему...

Но, когда она попыталась реально представить себе этот шаг, в душе ее шевельнулось холодное, отталкивающее чувство. Это было все равно что выйти из знакомого дома в пустоту. Как это сделать? Взять с собой кое-какие вещи, встретиться с ним где-нибудь, а потом ехать, ехать весь вечер и ночью тоже? До чего же это страшно и неуютно — уйти, чтобы никогда не вернуться!

Она не могла представить себе мистера Брамли, как обычно, простым и близким. С таким же успехом она стала бы пытаться представить себе его скелет. Во всех этих странных размышлениях он был милой тенью, призрачной и бесплотной, — конечно, он преданно любил ее, но был так далек...

Она хотела быть свободной. Ей нужен был не мистер Брамли; если он и был чем-нибудь для нее, то лишь сред-

ством к достижению этой цели. Всегда, всю жизнь она стремилась обрести себя. Может ли мистер Брамли дать ей это? И даст ли? Мыслимо ли, что он принесет такую жертву?

Но все это лишь глупые мечты! У нее есть муж, которому она нужна. И дети, чью душевную грубость и черствость она должна постоянно, изо дня в день, смягчать своим влиянием, своим незаметным примером. Если она уйдет, кто будет самоотверженной нянькой ему, наставницей и другом им? Убежать, думая только о своем счастье, — в этом было что-то недостойное. Убежать только потому, что ее оскорбили, — в этом было что-то мстительное. Убежать из-за того, что ее лишают наследства, губят общежития... Нет! Одним словом, она не могла это сделать...

Если сэр Айзек пожелает лишить ее наследства, делать нечего. Если он пожелает и дальше перехватывать и читать ее письма, значит, так тому и быть. Ведь ничто на свете не может остановить его, если он сам не остановится. Она была в западне. Таков удел всех женщин. Она жена. И что может сделать честная женщина, кроме как оставаться женой до конца?..

Она дописала телеграмму.

11

Вдруг в коридоре послышались быстрые шаги, раздался стук в дверь, и вбежала перепуганная сиделка, тараторя по-итальянски что-то непонятное, но по ее жестам можно было догадаться, в чем дело.

Леди Харман сразу встала, понимая, что положение серьезное, и поспешила вслед за ней по коридору.

— Est-il mauvais? — попробовала она заговорить. — Est-il...¹

Ах! Как спросить: «Ему хуже?»

Сиделка попробовала объяснить по-английски, но у нее ничего не вышло. Тогда она, снова перейдя на родной итальянский, воскликнула что-то насчет «rovergo signore»². Ясно, что дело совсем плохо. Неужели у него

¹ Ему плохо? Ему... (франц.).

² Бедного синьора (итал.).

снова мучительный припадок? Как же это? Как же это? Ведь всего десять минут назад он с такой злобой напал на нее.

У двери комнаты, где лежал больной, сиделка сжала локоть леди Харман и сделала предостерегающий жест. Они вошли почти бесшумно.

Доктор повернул к ним лицо. Он стоял, наклонившись над сэром Айзеком. Одну руку он поднял, словно хотел их остановить. Другой поддерживал больного.

— Нельзя, — сказал он.

И снова неподвижно склонился над больным; только теперь леди Харман вдруг заметила, какая у него плоская фигура и затылок. Потом он медленно повернул голову, выпустил из рук что-то тяжелое, выпрямился и опять поднял руку.

— *Zu spät!* — прошептал он, видимо, удивленный. Потом замолчал, подыскивая английское слово. — Он отошел.

— Отошел?

— Сразу.

— Умер?

— Да. Сразу.

Сэр Айзек лежал на кровати. Рука его была вытянута и словно вцепилась во что-то невидимое. Открытые глаза пристально смотрели на жену, и когда она встретила его взгляд, он вдруг громко захрипел.

Она быстро посмотрела на доктора, потом на сиделку. Ей казалось, что оба сошли с ума. Меньше всего это было похоже на смерть.

— Но ведь он не умер! — воскликнула она, все еще стоя посреди комнаты.

— Это воздух у него в горле, — сказал доктор. — Он умер, да. Быстро умер, когда я хотел ему помочь.

Он ждал от нее проявления женской слабости. И вид у него был такой, как будто случившееся делало ему честь.

— Но... Айзек!

Она не могла опомниться от изумления. Хрип у него в горле прекратился. Но он все так же смотрел на нее.

¹ Слишком поздно (нем.).

И вдруг сиделка ринулась к леди Харман и подхватила ее, хотя та и не думала падать. Несомненно, приличие требовало, чтобы она упала в обморок. Или повалилась на труп мужа. Но леди Харман не приняла помощи, она высвободилась, все еще полная удивления; сиделка, хоть и несколько смущенная, стояла наготове позади нее.

— Но,— сказала леди Харман медленно, не подходя к покойному, а лишь указывая на его открытые, немигающие глаза,— неужели он умер? Неужели он действительно умер? Это правда?

Доктор бросил на сиделку выразительный взгляд, досадуя, что леди Харман своим недоверием испортила прекрасную сцену. Эти англичане никогда не знают, как положено себя вести и что следует делать. Он ответил ей почти с иронией.

— Мадам,— сказал он с легким поклоном,— ваш муж действительно умер.

— Но... неужели вот так!— воскликнула леди Харман.

— Да, вот так,— повторил доктор.

Она сделала три шага к постели и опять остановилась, сжав губы, глядя на покойного широко раскрытыми, изумленными глазами.

12

Первое время ею владело только одно чувство — удивление. Она не думала о сэре Айзеке, не думала о себе, все ее существо потрясло это чудо — смерть, конец. Неужели — вот так!

Смерть!

Она никогда раньше не видела смерти. Она ожидала торжественного, почти величественного заката, медленного угасания, а это промелькнуло, как стрела. Она была ошеломлена и долго не могла опомниться, а врач, ее секретарша и персонал отеля делали то, что считали подобающим для столь важного случая. Она позволила увести себя в другую комнату и с полнейшим безразличием слушала, как разговаривали шепотом молодой док-

тор и медик из Рапалло, приглашенный на консилиум. А потом во всех комнатах закрыли ставни. Сиделка и горничная все время были рядом, готовые помочь ей, когда она начнет убиваться от горя. Но горе не приходило. Время ползло, он был мертв, а она все еще не чувствовала ничего, кроме удивления. Сэр Айзек всегда был склонен к неожиданным поступкам, и столь же неожиданным был его конец. Он умер! Прошло несколько часов, прежде чем она осознала, что это конец. После такой потрясающей смерти она ждала от него чего угодно. Что он еще сделает? И когда в его комнате слышался шум, ей казалось, что это он, не кто другой. Она ничуть не удивилась бы, если бы он появился сейчас в дверях, бледный от злости, с вытянутой, дрожащей рукой и упреками на устах.

Появился и крикнул:

— Видишь, я умер! И ты в этом виновата, будь ты проклята!

Лишь после многих усилий, несколько раз заглянув в комнату, где он лежал, она убедила себя, что смерть безвозвратна, что нет больше сэра Айзека, от него осталось только неподвижное тело, застывшее в вечном покое.

Тогда она на время стряхнула с себя оцепенение и начала понемногу распоряжаться. Доктор пришел спросить, что заказать на завтрак и на обед, управляющий отелем деликатно и витиевато выразил ей свое соболезнование, потом пришла сиделка с каким-то пустяковым вопросом. Они сделали все, что полагается, и теперь им не к кому было обратиться за указаниями, кроме нее. Она заметила, что все ходили на цыпочках и говорили шепотом...

Ей стало ясно, что у нее есть обязанности. Что полагается делать, когда умирает муж? Известить родных и друзей. Она решила прежде всего разослать телеграммы по всем адресам — его матери, своей матери, поверенному в делах. Она вспомнила, что утром уже написала одну телеграмму — Грэппену. Может быть, все-таки следует его вызвать? Теперь он стал ее поверенным. Может быть, ему лучше приехать, но вместо той телеграммы, которая все еще лежала на столе, надо послать извещение о смерти...

Дают ли объявления в газетах? И как это делается?

Она позвала мисс Саммерсли Сэтчелл, которая гуляла на залитой солнцем открытой террасе, села за стол, бледная, деловитая, и стала внимательно вникать во все мелочи, выслушивая практические советы, которые давала ей мисс Саммерсли Сэтчелл, делала заметки, писала телеграммы и письма...

К полудню все постепенно затихло, и овдовевшая женщина осталась одна в своей комнате; опустошенная, она сидела неподвижно, глядя, как тонкие солнечные блики медленно ползут по полу. Он умер. Теперь это представилось ей особенно ясно. Он мертв. Ее замужняя жизнь кончена навсегда, а ведь до сих пор она и не представляла для себя иной жизни. Это потрясающее событие, которое было подобно внезапной слепоте или глухоте, должно было стать началом чего-то нового, необычайного в ее судьбе.

Сначала она испугалась этой странной новизны. Но потом, несмотря на слабые угрызения совести, почувствовала радость...

Леди Харман не хотела признаваться в этой радости, убеждала себя, что она только потрясена, старалась, как могла, быть печальной, но радость осветила ее душу, как заря, чувство освобождения забрезжило на горизонте и залило все ее существо, как заливает утреннее солнце безоблачное небо над морем. Она не могла усидеть на месте и встала. Чувствуя потребность взглянуть на мир, она подошла к окну и едва удержалась, чтобы не распахнуть его. Он умер, все кончено навсегда. Да, все кончено! Ее замужняя жизнь ушла в прошлое. Мисс Сэтчелл позвала ее к завтраку. За столом леди Харман была печальна и внимательно слушала рассуждения молодого доктора о характере смерти сэра Айзека. А потом... потом она почувствовала, что просто не может вернуться в свою комнату.

— У меня разболелась голова, — сказала она. — Пойду посижу у моря.

И ее горничная, несколько шокированная, принесла ей зонтик и ненужные пледы, как будто новоиспеченная вдова непременно должна зябнуть. Она отослала горничную и спустилась на берег одна. Там она села на

скалу у самой воды и попыталась бороться со своей радостью, но вскоре оставила тщетные попытки. Он умер. Эта мысль так переполнила ее, так завладела ею, что никаким другим мыслям уже не оставалось места; этим была заполнена не только ее душа, но и весь мир, словно золотой шар, эта мысль облекла все вокруг: сапфировый простор моря, волны, плескавшиеся о скалы у ее ног, ослепительно яркое солнце, темный мыс Портофино и парусное суденышко, скользившее вдаль. Она забыла о том, как долго пришлось ей с ним нянчиться, забыла о всех неприятностях и страданиях, забыла об обязанностях и ритуалах, которые предстояло выполнить, все мелочи и жизненные неурядицы потонули в этой сверкающей перспективе. Она наконец свободна. Она стала свободной женщиной.

Никогда больше он не скажет ей ни слова, не поднимет руку на ее жизнь, никогда не будет налагать запреты или издеваться над ней; никогда не просунет голову в оклеенную обоями дверь между их комнатами, никогда не предъявит ей с сознанием своих прав гадкие и унижительные требования; никогда он не будет больше тревожить ее ни физически, ни морально — никогда. И никаких сыщиков, никаких подозрений, попретков. Он хотел нанести ей последний удар, но не успел. Теперь общежития в ее руках, их никто не может отнять, она сама решит, как ей поступить с миссис Пемроуз, и советоваться будет, с кем сочтет нужным. Она свободна.

И она принялась строить планы возрождения этих общежитий, из-за которых было столько споров и трудностей, планы, радостные, как солнце и небо Италии. Щупальца, опутывавшие ее, исчезли; руки у нее развязаны. Общежития будут главным делом ее жизни. Она получила хороший урок и знает, как сочетать строгость с добротой, чтобы сплотить членов своего нового коллектива, таких разных и таких непокорных. И она чувствовала, что теперь, свободная от помех, она может это сделать, теперь это в ее власти. Она обрела эту власть, когда считала уже, что все потеряно...

И вдруг она с удивлением и ужасом осознала, как ясно и безмятежно у нее на душе. Она была поражена и возмущена своей радостью. Она стала бороться с этим

чувством, стараясь насильно вызвать в себе горе, приличествующее случаю. Как бы там ни было, но смерть — это несчастье, которое нужно оплакивать. Она заставляла себя думать о сэре Айзеке с любовью, пыталась вспомнить, какую трогательную щедрость он проявлял, какой он был добрый, нежный и любящий, но напрасно. Ничто не приходило ей на память, кроме его бледного перекошенного лица, ничто, кроме ненависти, подозрений и грубого, бездушного деспотизма. А от этого она освободилась.

Она не могла горевать о нем. Не могла, хотя старалась изо всех сил; и, когда она возвращалась в отель, ей пришлось сдерживать шаги, чтобы двигаться медленно и печально; она боялась взглядов соседей и прошла в сад, чтобы не выдать свою радость освобождения. Но так как соседи были англичане, их занимало главным образом изъявление сочувствия, которое должно быть одновременно искренним, совершенно ненавязчивым и выдержанным в лучшем вкусе, и переживаний леди Харман они не замечали.

Ощущение свободы в ней то вспыхивало, то меркло, как солнце в весенний день, хотя она изо всех сил старалась быть печальной. После обеда ей представились долгие годы жизни, лежавшие впереди, и сначала эти видения были полны радужных надежд, но потом ею овладел страх, она не могла усидеть в доме и, уже не считаясь с тем, что подумают соседи, вышла на берег, залитый лунным светом, где долго стояла у пристани, мечтая, успокаиваясь и впивая мирную неподвижность моря и неба. Теперь ей некуда было спешить. Она могла оставаться здесь сколько хотела. Ей не перед кем отчитываться; она свободна. Она может идти куда хочет, делать что хочет, беспокоиться не о чем...

Она стала думать о мистере Брамли. Сначала он казался таким маленьким в необъятной перспективе, открывшейся перед ней... Но потом он стал занимать в ее мыслях все больше места. Она вспомнила его преданность, его самоотверженную помощь, его скромность. Как хорошо иметь в этом огромном мире друга, который тебя понимает...

Эту дружбу она должна сохранить...

Но до чего же великолепно быть свободной, когда никто не лезет в душу...

Налетел легкий ветерок, всколыхнув неподвижный воздух, и она пробудилась от своих мечтаний, повернулась и посмотрела на окна отеля, закрытые ставнями. Сиротливый, тусклый свет шел с веранды. Весь остальной дом казался бесформенной серой массой. Длинный белый фасад флигеля виднелся сквозь апельсиновые деревья, и многие окна были освещены — их обитатели укладывались спать. А за отелем, вверх, к самому небу, вздымалась черная гора.

Где-то далеко в темноте чистый, сильный мужской голос пел под звенящий аккомпанемент.

Меж черных деревьев порхали десятки светлячков, и, когда невидимый голос вдруг умолк, стало слышно, как вдалеке заливаются соловьи.

13

Вернувшись к себе, она стала думать о сестре Айзеке, и особенно ярко ей вспомнился его последний застывший взгляд...

Ей вдруг захотелось пойти взглянуть на него еще раз, убедиться, что он обрел покой и уже не покажется таким странным. Она прокралась по коридору и тихонько вошла в его комнату, которая, она это чувствовала, по-прежнему оставалась его комнатой. Вокруг него стояли свечи, и прикрытое лицо, обозначавшееся под тонким покровом, было как у человека, спящего мирным сном. Она осторожно приподняла покров.

Он был не просто неподвижен, его неподвижность казалась беспредельной. Он был недвижимее и белее лунного света за окном, дальше луны и звезд... Она тихо стояла, глядя на него.

Он лежал, маленький, съежившийся, словно бесконечно устал. Его жизнь была кончена, ушла навсегда. Никогда не видела она ничего более безвозвратного. В юности ей казалось, что смерть — это врата лучшей, более щедрой и свободной жизни, чем та, которую мы влачим в этом несвободном мире, но теперь она увидела, что смерть — это конец.

Жизнь кончена. Да, раньше она не понимала, что такое смерть. Эта чудесная ночь там, за окном, и все чудесные ночи и дни, которые еще впереди, и вся красота, все радости, какие есть на свете, для него теперь ничто. Никогда в нем не проснутся мечты, желания, надежды.

А были ли у него вообще желания, надежды, ощущение полноты жизни?

Красота, которая открылась ей в последние годы, тайна любви — все это было ему недоступно.

И она поняла, как он был жалок и достоин сожаления со своей жестокостью, ограниченностью, со своими ворчливыми подозрениями, со своим злобным отречением от всего щедрого и красивого. И пожалела его, как иногда жалела своих детей, которые упрямо оставались слепы к щедротам и благам жизни.

Да, наконец-то у нее появилась к нему хоть тень жалости.

А все же, сколько упорства хранила в себе эта маленькая, застывшая, белая фигурка, которая недавно была сэрром Айзеком Харманом! И он торжествовал, упорствовал в своем торжестве; его губы были сжаты, возле углов рта залегли морщины, словно он не хотел выдать никаких иных чувств, кроме удовлетворения сделкой, заключенной с жизнью. Леди Харман не прикоснулась к нему, — ни за что на свете она не коснулась бы этой холодной, восковой фигуры, которая так недавно мешала ей жить, но долго стояла рядом с покойным, раздумывая о таинстве смерти...

Это был такой суровый человек, такой целеустремленный, своевольный и властный, а теперь — вот он лежит, съжившийся и жалкий, несмотря на все свое упорство! Она никогда раньше не понимала, что он жалок... Может быть, она слишком боялась, слишком не любила его, чтобы быть справедливой? Могла ли она ему помочь? Было ли что-нибудь такое, что она могла сделать и не сделала? Могла ли она хотя бы избавить его от мучительных подозрений? Ведь, наверное, в своей злобе он был несчастен.

Мог ли кто-то другой ему помочь? Вот если бы кто-нибудь любил его больше, чем ей удавалось притворяться...

Как странно, что она здесь, в этой комнате,— своя и вместе с тем такая чужая. До того чужая, что не чувствует ничего, кроме удивления перед невозвратимой утратой... Чужая — такой она была всегда, пленница в доме этого человека, девушка, которой он завладел. Догадывался ли он когда-нибудь, какой чужой она ему была? Та, которая искренне его оплакивала, теперь была во власти агентов и переводчиков Кука — бедная женщина ехала экспрессом из Лондона, чтобы проводить в последний путь сына, которого она родила на свет, вырастила и боготворила. Она была ему ближе всех; собственно говоря, она была единственным близким ему человеком. Должен же он был любить ее хоть когда-то? Но и она не была ему по-настоящему близка. Никто не был по-настоящему близок его расчетливому, подозрительному сердцу. Говорил ли он или думал когда-нибудь по-настоящему искренне и нежно даже о ней? Конечно, он был щедр, никогда не отказывал ей в деньгах, но ведь денег у него было так много...

Как хорошо иметь друга! Хотя бы одного-единственного друга!..

Вспомнив о матери сэра Айзека, леди Харман постепенно перестала думать о застывших останках, которые были перед ней. Она снова опустила белый покров на его лицо и медленно отвернулась. Надо встретить бедную старуху, как-то утешать ее, что-то ей говорить...

Потом она мысленно перешла к необходимым приготовлениям. В комнате должно быть много цветов; миссис Харман, наверное, ожидает, что там будут цветы, крупные белые цветы. С этим надо поторопиться. Цветы можно заказать в Рапалло. А потом его придется отвезти в Англию, устроить пышные похороны со всеми траурными церемониями, каких требует его положение. Это нужно миссис Харман, и пусть так будет. За гробом будут идти министры, парламентарии и всякие Бленкеры, которые будут чувствовать неловкость и, насколько им это удастся, напустят на себя глубокомыслие, а также Чартерсоны в качестве друзей, какие-то неизвестные родственники, длинный кортеж служащих...

Но как его отвезти? Быть может, набальзамировать

труи? Набальзамировать! Какое странное дополнение к смерти! Она совсем отвернулась от маленькой фигурки и больше уже не могла смотреть в ту сторону. Пускай придут и сделают все, что полагается,— всякие таинственные, зловещие операции своими ножами и снадобьями...

Ей нечего думать об этом. Нужно все сделать так, как захочет миссис Харман. Она уже не была безучастна, теперь ей хотелось предугадать и исполнить всякое желание миссис Харман.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ЛЮБОВЬ И СЕРЬЕЗНАЯ ЖЕНЩИНА

1

Мистер Брамли узнал о смерти сэра Айзека совершенно неожиданно. Он был в клубе «Клаймакс» и очень скучал; он выпил чаю с тостами и перелистал в читальне еженедельники, но неделя выдалась удивительно неинтересная. Потом он спустился в вестибюль, празднично окинул взглядом свежие бюллетени на доске и прочитал, что «сэр Айзек Харман скоропостижно скончался сегодня утром в Санта-Маргерита, в Лигурии, куда уехал отдохнуть и переменить обстановку».

Он продолжал механически читать бюллетень, но какая-то часть его существа замерла на этом месте. Потом он вернулся к поразившим его строчкам, перечитал их и снова обрел цельность.

Он так давно ждал этого события, так часто думал о нем в самой разной связи, мечтал, надеялся, молил об этом бога и гнал от себя эту мысль, что теперь, когда долгожданное событие наконец произошло, оно, казалось, не имело для него ни малейшего значения. Он уже исчерпал все переживания, прежде чем это случилось. Прошло четыре долгих года с тех пор, как ему впервые пришла в голову такая мысль, он всесторонне ее обдумал, и для размышлений уже не оставалось пищи. Это стало чисто теоретической возможностью, все менее ре-

альным, все более туманным сном наяву. Он старался не думать об этом, старался убедить себя, что сэр Айзек бессмертен и останется вечным инвалидом. И вот это случилось!

Строчкой выше сообщалось об опоздании парохода, строчкой ниже — о продолжении речи мистера Ллойд-Джорджа: «Он предложил уважаемому члену палаты повторить свои обвинения...»

Некоторое время мистер Брамли неподвижно стоял перед лиловыми буквами, потом медленно пошел в столовую, сел в кресло у камина и предался каким-то туманным размышлениям. Сэр Айзек умер, его жена теперь свободна, долгое ожидание, ставшее уже привычным, кончилось.

Он думал, что в нем вспыхнет бурное торжество, но сначала у него было лишь ощущение перемены, решительной перемены...

А потом он почувствовал радость, его радовало, что он ждал, что она требовала от него терпения, что между ними не произошло ничего ужасного, позорного. Теперь все стало простым и ясным. Его испытания кончились. Они смогут пожениться без скандала.

Он сидел, и ему представилась новая перспектива, смутная и туманная, которая потом, хотя он все еще не собрался с мыслями, стала ясней и определенной. Сначала он просто предвкушал, как сообщит всем, что скоро женится, как скажет Джорджу Эдмунду, что у него будет новая мать. Он представлял себе это во всех подробностях. Может быть, привезти ее к Джорджу Эдмунду в школу, и пусть мальчик ее полюбит — а он, конечно, ее сразу полюбит, — а уж потом сказать ему обо всем прямо или же лучше сообщить эту новость наедине? И то и другое может получиться очень эффектно.

Потом мистер Брамли начал думать о письме, которое необходимо написать леди Харман, — дело предстояло нелегкое. Когда человек умирает, радоваться не пристало. И мистер Брамли уже начал чувствовать благородную жалость к человеку, отвращение к которому он с таким трудом подавлял. Бедный сэр Айзек жил, как слепой, не видя солнца, он был занят только накоплением, тогда как счастье жизни в том, чтобы отдавать и тра-

тить... Мистер Брамли стал раздумывать о том, какие чувства леди Харман теперь испытывает к своему покойному мужу. Может быть, она в искреннем горе. Вероятно, она измучилась и устала за время его болезни, и надо написать хорошее, ласковое письмо, спокойное, без тени радости — и все же будет жестоко, если хоть капля его облегчения не просочится наружу. До тех пор, если не считать нескольких страстных порывов, вроде того, который ускорил события в Санта-Маргерита, письма его были формальными, касались духовных вопросов и филантропии, так как он помнил, что ни одно письмо не гарантировано от подозрительного любопытства сэра Айзек. Остаться по-прежнему официальным, написать «Глубокоуважаемая леди Харман» или же обратиться к ней как-то иначе, теплее? Через полчаса он сидел в библиотеке, и на полу у его ног валялись клочки бумаги, корзина была почти полна, а он все еще ломал себе голову, как начать.

Наконец он написал: «Моя дорогая леди», — и продолжал: «Не знаю, как начать это письмо — быть может, Вам не менее трудно будет его прочесть...»

А на рассвете он проснулся, как это часто с ним бывало, охваченный внезапными сомнениями. Такое ли письмо, спросил он себя, влюбленный должен написать своей любимой после столь долгожданного избавления, теперь, когда перед ней открылся путь в жизнь, когда пришел конец ее постыдному рабству и его унижениям? Он стал вспоминать холодные и высокопарные фразы своего вымученного письма. Ох уж этот аристократизм! Всю жизнь он был жертвой аристократизма, потом освободился было от него, а теперь вот снова впал в такой тон. Неужели он никогда не будет простым, горячим и искренним? Ведь он рад, и она, конечно, тоже рада, что сэр Айзек, их враг и тюремщик, умер; они должны радоваться вместе. В конце концов он почувствовал, что не может больше лежать, терзаясь угрызениями совести, накинул теплый халат и сел писать. Он писал карандашом. Вечное перо, как обычно, лежало на ночном столике, но ему казалось, что карандаш больше подходил к случаю, и он написал проникновенное, пылающее любовное письмо, к концу которого у него начался страстный приступ чихания. В письменном

столе в спальне не нашлось конверта, поэтому он положил свиток со своими излияниями под пресс-папье и, успокоившись, снова лег. Наутро он с волнением перечитал письмо и, одолеваемый какими-то смутными неприятными предчувствиями, отправил его, после чего эти предчувствия еще больше усилились. Завтракая в клубе, он уже обдумывал третье письмо, спокойное, нежное и ласковое, дабы сгладить впечатление от двух предыдущих посланий. Письмо это он написал позже, перед вечером.

Дни тянулись бесконечно долго, пока наконец не пришел ответ на первое его письмо,— за это время он послал ей еще два новых варианта. Ответ был очень короткий, написанный характерным для нее крупным, твердым, decisamente четким почерком:

«Ваше письмо очень меня обрадовало. Я живу здесь так странно, такой тихой жизнью. Ночи необычайно красивы, луна огромная, а листочки на деревьях совсем черные и не шелохнутся. Мы возвращаемся в Англию, хоронить будем из нашего дома в Путни».

И больше ни слова, но мистер Брамли сразу живо и ясно представил ее себе. Он увидел, как ее темный силуэт мелькает в лунном свете, и душу его переполнила любовь. Он не мог усидеть на месте, встал и начал ходить по комнате; при этом он несколько раз тихонько прошептал ее имя; потом вздохнул и наконец, подойдя к письменному столу, написал ей шестое письмо — и это письмо было прекрасно. Он писал, что любит ее, что полюбил ее с первого взгляда, он старался выразить всю ту нежность, которая захлестнула его, когда он представил себе ее там, в Италии. Когда-то, написал он, ему хотелось первым отвезти ее в Италию. Но, быть может, они еще побывают в Италии вместе.

2

Лишь постепенно, почти неощутимо в душу мистера Брамли стали закрадываться сомнения. Он не сразу заметил, что ни одно из коротких писем, которые он получил от нее, не было ответом на его страстные излияния, написанные ночью карандашом. Ее сдер-

жанность казалась ему лишь естественным проявлением женской скромности — она всегда была сдержанной.

Она попросила его не приходиться сразу же после ее возвращения в Англию; как она написала, ей нужно «сначала освоиться», и его деликатность подсказывала ему то же самое. Сэр Айзек еще не похоронен, и его набальзамированное тело по какой-то неосознанной внутренней щепетильности было для мистера Брамли еще большим препятствием, чем сам этот человек при жизни, а мистер Брамли хотел, чтобы этого препятствия не стало. Пускай все будет кончено. И тогда они встретятся по-настоящему.

Тем временем в душе его шла любопытная борьба. Он днем и ночью гнал от себя мысль, что леди Харман теперь очень богатая женщина. И все же в глубине сознания — он и не подозревал, что в его сознании есть такие постыдные глубины, — шевелились самые низменные и презренные мысли, которые заставляли его внутренне краснеть; например, у него возникали планы роскошного путешествия за границу: ему мерещились почтительно кланяющиеся швейцары в отелях, яхта на Средиземном море, автомобили, а потом настоящий дворец в Лондоне, ложи в опере, покровительство артистам — и самое ужасное! — титул баронета...

Чистая душа мистера Брамли терзалась и старалась отбросить эти грязные мечты о великолепии. Он пришел в неопишуемый ужас, когда обнаружил, что способен на такое. Он был похож на заболевшего чумой, который видит у себя первый симптом болезни. Все лучшее в нем боролось, сопротивлялось. Конечно, он ни единым словом не обмолвится, никогда даже не предположит, не намекнет... При жизни сэра Айзека он ни разу не думал об этой стороне дела. В этом он мог поклясться, положила руку на сердце. Но однажды в Пэлл Мэлл он поймал себя на такой грубой, ничтожной мысли, что даже вскрикнул и ускорил шаги... Тоже еще доброжелательный отчим выискался!

А потом среди этих огорчений у него родилась надежда. Быть может, в конце концов все как-то устроится... Быть может, она вовсе не богата, не так уж богата... Или же связана каким-нибудь условием...

Он понял, что в этом единственная его надежда на спасение. Иначе — горе ему! — с ним может произойти нечто ужасное, он слишком ясно понимал, как это будет ужасно.

Вот если бы ее лишили наследства, если бы он мог увести ее, освободить от всего этого богатства, которое уже теперь породило в нем такие омерзительные мысли!

Но как же тогда общежития?..

Он оказался перед неразрешимой проблемой.

Просто ужасно, до какой степени эти мысли заставляли его забыть главное, — что разлуке пришел конец, непреодолимых преград больше нет, впереди широкая и светлая дорога к честной любви.

Наступил наконец день похорон, и мистер Брамли, уехавший к сыну в Маргейт, старался не думать об этом. Он бежал от последних проводов сэра Айзека. Некролог Бленкера в газете «Старая Англия» был шедевром тактичного восхваления; автор подчеркивал свою преданность сэру Айзеку, но при этом не забыл его вдову, унаследовавшую состояние, и учел возможные перемены, которые это состояние может претерпеть. Мистер Брамли, читая некролог в поезде на обратном пути в Лондон, сразу вспомнил про общежития. Эту проблему он даже не начал решать. Конечно, необходимо, чтобы общежития остались, положительно необходимо. Теперь они смогут заниматься этим вместе, не скрываясь, рука об руку. Но этот соблазн снова родил в нем пошлые мечты, которые до тех пор были просто немыслимы. Опять ему представилась богатая парочка у роскошного автомобиля или под огромной гостеприимной аркадой...

Дома его ждало длинное письмо от леди Харман, глубоко поразившее его. Листки были сложены так, что прежде всего ему бросились в глаза строчки на третьей странице: «...никогда не выходить замуж. Совершенно ясно, что наша работа требует без остатка всего моего времени и средств». Он поднял брови, и на лице его появилось испуганное выражение; дрожащими руками он развернул письмо, чтобы прочитать его от начала до конца. Видимо, она много передумала, прежде чем это написать. Начиналось письмо так:

«Дорогой мистер Брамли!

Я никогда не представляла себе, как много надо сделать после смерти человека, прежде чем его можно похоронить».

— Да,— сказал мистер Брамли.— Но при чем здесь это?

«Так много неожиданного...»

— Что такое?

«...в нас самих и вокруг нас».

— Очевидно, он оставил завещание с какими-то осложняющими условиями. Я должен был это предвидеть.

«Как странно быть вдовой, это и представить себе невозможно: никто за тобой не следит, не о ком думать, некому давать отчет, получаешь свободу распоряжаться собой...»

Дочитав письмо, мистер Брамли долго стоял, ошеломленный, держа его в руке.

— Я этого не вынесу,— сказал он.— Мне необходимо знать.

Он подошел к письменному столу и написал:

«Дорогая, я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж».

Что еще мог он к этому добавить? Он постоял в нерешительности с этим коротким посланием в руке, подумал, не отправить ли его по телеграфу, и вспомнил роман Джеймса «В клетке». Телеграфисты в конце концов всего только люди. Он решил отправить письмо с посыльным, позвонил камердинеру, который был один на четверых, и велел сделать это.

Посыльный вернулся из Путни в тот же вечер около половины девятого. Он принес ответ, написанный карандашом.

«Дорогой друг! — писала она.— Вы были так добры, так много помогли мне. Но боюсь, что это невозможно. Простите меня. Мне хочется все обдумать, но я не могу. Я никогда не могла думать здесь. Я еду в Блэк Стрэнд, через день-два напишу вам, и тогда мы поговорим. Будьте терпеливы».

Она подписалась «Эллен», а раньше всегда подписывалась Э. Х.

— Да! — воскликнул мистер Брамли. — Но мне необходимо знать!

Он терзался целый час, а потом позвонил ей по телефону.

Телефон был не в порядке, он жужжал, и почти ничего не было слышно, как будто на другом конце провода смущенно молчали.

— Я хочу приехать к вам сейчас же, — сказал мистер Брамли.

— Это невозможно, — только и расслышал он.

Может быть, набраться мужества, поехать к ней и сломить ее колебания, как подобает мужчине? Но там, наверное, миссис Харман, всякие родственники, чужие...

В конце концов он не поехал.

3

На другой день он завтракал один, за маленьким столиком, как делают люди, когда ищут одиночества. Но справа от него сидели политические деятели — Адольф Бленкер, Поп, организовавший эксперимент в Ист-Пэрбл-лоу, сэр Пайпер Николлз и Манк, редактор ежедневной газеты «Очищение» — мудрые люди, поглощенные теми таинственными манипуляциями и политическими интригами, из-за которых либеральная партия уже тогда вызвала недоверие и осуждение, и с ними Горацио Бленкер, который по своему обыкновению тенором распространялся о деле справедливости и совести, «бленкал и мекал», как выразился в разговоре с мистером Брамли один весьма сдержанный член парламента, когда был в желчном настроении.

— Если она выйдет замуж, то будет, по сути дела, нищей, — услышал мистер Брамли.

— Вот как, — сказал мистер Брамли и перестал есть.

— Не знаю, помните ли вы подробности дела Астора... — начал Манк.

Никогда в жизни мистер Брамли так откровенно не подслушивал. Но о леди Харман он больше ничего не

услышал. Манк вспомнил законные и незаконные условия различных американских завещаний, не преминул высказаться и мистер Поп.

— В Ист-Пэрблоу,— заявил он,— перед нами часто вставала эта проблема — судьба вдовы...

Мистер Брамли отодвинул тарелку и пошел к письменному столу.

Этого и следовало ожидать, он чувствовал это в глубине души и теперь, пожалуй, был рад. Конечно, она в нерешительности, конечно, ей нужно время подумать и, конечно же, поделиться с ним своими мыслями она сейчас не может.

Они поженятся. Непременно поженятся. Любовь превыше всего, и он не сомневался, что, живя с ним, на его сравнительно скромные доходы в две тысячи фунтов годовых, она будет неизмеримо счастливее, чем была или могла бы быть с сэром Айзеком при всем его богатстве. Конечно, она не хочет зависеть от него, но он объяснит ей, какое огромное наслаждение для него доставлять ей все необходимое. Не написать ли ей сейчас же? Он начал мысленно писать прекрасное и благородное письмо в самых лучших выражениях, но потом подумал, что будет затруднительно объяснить ей, как он узнал о положении дел. Гораздо приличнее подождать либо официальных известий, либо собственного ее признания.

А потом он начал понимать, что это означает конец их совместной работе, связанной с общежитиями. В первые минуты, радуясь избавлению от роскошного автомобиля и всех богатств сэра Айзека, он совершенно забыл об этом...

А ведь если вдуматься, общежития были серьезным препятствием. Сэр Айзек это хитро придумал.

Сэр Айзек был дьявольски хитер...

Мистер Брамли не мог оставаться в клубе, боясь, что кто-нибудь заговорит с ним и нарушит течение его мыслей. Он вышел на улицу.

Из-за этих общежитий все рухнуло.

То, что он считал спасительным выходом, на деле оказалось ловушкой.

Куда ни повернись, сэр Айзек всюду отрезал им путь...

Мистер Брамли был так раздосадован, что даже прохожие его раздражали. Он повернул к дому. Выбирать из двух зол для него всегда было невыносимо. Он старался уйти в сторону, отмахнуться, отыскать несуществующий третий путь.

— Целых три года! — воскликнул мистер Брамли, очутившись наконец у себя в кабинете, где он мог дать волю своим чувствам. — Три года я старался ее этим заинтересовать. А теперь... Теперь все обернулось против меня!

Отчаянная, низменная злоба на покойника охватила его. Он швырял на пол книги, осыпал сэра Айзека грубыми оскорблениями и мешал слова, к несчастью, весьма распространенные, с другими, крайне редко употребляемыми. Ему хотелось поехать на Кенсл-Грин¹, стукнуть по надгробной плите и высказать усопшему баронету все, что он о нем думает. Но вскоре он успокоился, раскурил трубку, подобрал с пола книги и стал обдумывать, как отомстить памяти сэра Айзека. Я глубоко сожалею, что мне приходится рассказывать про эти некрасивые минуты в истории любви мистера Брамли. Я сожалею, что мужчины, которые питают к женщинам глубокую любовь и преданность, с такой легкостью готовы горло за них перегрызть. Это самое отвратительное в любовных отношениях. Право, многое в человеческом сердце вызывает у меня сожаление. Но мистер Брамли горько разочаровался. Ему было больно, тяжело. Он не мог удержаться, он должен был выяснить все возможности и на другое утро, пылая жаждой мести, пошел советоваться к Максвеллу Хартингтону.

Он изложил дело, не называя имен.

— Это вы про леди Харман? — спросил Максвелл Хартингтон.

— Нет, почему же непременно про леди Харман. Меня интересует общий принцип. Что делать человеку... что делать женщине, связанной такими условиями?

¹ Лондонское кладбище, на котором погребены многие знаменитости.

Хартингтон привел прецеденты и взвесил все возможности. Мистер Брамли краснел, говорил уклончиво, но упорно добивался ответа.

— Допустим, они страстно любят друг друга и почти так же любят свою работу, неважно, в чем она состоит,— сказал он.— Неужели нет никакого выхода?..

— В завещании наверняка есть условие «*Dum casta*»¹,— сказал Максвелл Хартингтон.

— *Dum?.. Dum casta?* О! Об этом не может быть и речи! — воскликнул мистер Брамли.

— Конечно,— сказал Максвелл Хартингтон, откидываясь в кресле и протирая глаз большим пальцем.— Конечно, никто не навязывает эти условия. Никому и никогда.— Он помолчал, а потом заговорил снова, обращаясь, видимо, к черным жестяным коробкам, которые выстроились на грязных подставках перед ним.— Кто станет за вами следить? Этот вопрос я всегда задаю в таких случаях. Если только женщина не будет все делать прямо на глазах у душеприказчиков, они и ухом не поведут. Даже сэр Айзек, наверное, не оставил денег, чтобы нанять частного сыщика. А? Вы, кажется, что-то сказали?

— Нет, ничего,— пробормотал мистер Брамли.

— Так зачем же они станут устраивать этакую гадость,— продолжал Максвелл Хартингтон, теперь уже обращаясь непосредственно к своему клиенту,— если могут спокойно делать свое дело и горя не знать. В таких случаях, Брамли, как и почти во всем, что касается отношений между мужчинами и женщинами, в наше время каждый может делать решительно что хочет, если только нет человека, который заинтересован в скандале. Тогда уж ничего не попишешь. Пусть даже они чисты. Это не имеет значения. Все равно можно поднять скандал и опозорить их. А если скандала нет, то нет и позора. Конечно, все наши законы, кодексы, общественные институты, обычаи существуют специально для того, чтобы отдавать людей на милость вымогателей и ревнивых злодеев. По-настоящему это может понять только юрист. И все же это не наше дело. Это психология. Если нет рев-

¹ «*Dum casta*» (лат.) — буквально: «до тех пор, пока чиста», то есть завещание имеет силу до тех пор, пока это условие не нарушено.

нивых злодеев. из скромных и приличных людей никто ведь не станет лезть в ваши дела. Ни один приличный человек не станет. Насколько мне известно, единственный злодей — завещатель — теперь лежит на Кенсл-Грин. Если принять некоторые предосторожности, скажем, поставить красивый, но массивный памятник...

— Он... перевернется в могиле.

— Ну и пусть. Душеприказчиков это ни к чему не обязывает. Да они об этом и не узнают. Я никогда еще не слышал, чтобы душеприказчиков интересовали посмертные движения завещателя. Иначе нам пришлось бы без конца молиться за упокой душ умерших. Подумать только: что было бы, если учитывать загробные желания завещателя!

— Ну, во всяком случае, — сказал мистер Брамли, помолчав, — такое решение вопроса исключено, совершенно исключено. Это невысказано.

— Тогда зачем же вы пришли ко мне? — спросил Максвелл Хартингтон, принимаясь шумно и некрасиво тереть другой глаз.

5

Когда мистер Брамли наконец увиделся с леди Харман, в голове у него и следа не осталось от омерзительного хаоса вожеланий, умыслов, решений, догадок, смутных предположений, страстей, оправданий и всяких нелепых и сумбурных мыслей. Она стояла, ожидая его, в гроте, около скамьи, на том самом месте, где они разговаривали пять лет назад, — высокая, исполненная простоты и изящества женщина, которую он обожал всегда, с первой встречи, немного робкая и отчужденная в своем трауре, но встретившая его открытым, радостным взглядом, дружески протянув руки. Он поцеловал бы эти руки, если б не стеснялся Снэгсби, который проводил его к ней; но и без этого ему показалось, что тень поцелуя пронеслась между ними, как дуновение ветра. На миг он удержал ее руки в своих.

— Как хорошо, что вы здесь, — сказала она, когда они сели рядом на скамью, — я так рада видеть вас снова.

Некоторое время они сидели молча.

Мистер Брамли много раз представлял себе эту встречу во всевозможных вариантах и готовился к ней. Но теперь он почувствовал, что ни одна из приготовленных фраз не годится, и она взяла на себя самое трудное — начала разговор.

— Я не могла повидаться с вами раньше,— сказала она и пояснила: — Мне никого не хотелось видеть. Я была какой-то чужой. Чужой даже самой себе.— И она заговорила о главном: — Это было так неожиданно — вдруг почувствовать себя свободной... Мистер Брамли, это было так чудесно!

Он не перебивал ее, и она продолжала:

— Понимаете, я наконец стала человеком, стала сама себе хозяйкой. Никогда я не думала, как много будет значить для меня эта перемена... Это... это... все равно что родиться заново, а до тех пор живешь и не понимаешь, что ты еще не родился... Теперь... теперь меня ничто не стесняет. Я могу делать все что хочу. Раньше у меня было такое ощущение, что я марионетка, которую дергают за ниточки. А теперь некому дергать, никто не может помешать мне...

Взгляд ее темных глаз был устремлен меж деревьев, вдаль, а мистер Брамли не сводил глаз с ее лица, обращенного к нему в профиль.

— Я словно вырвалась из тюрьмы, откуда никогда не надеялась выйти. Я чувствую себя, как мотылек, который только что вылетел из кокона,— знаете, какие они вылетают, мокрые и слабые, но... свободные. Мне кажется, первое время я ни на что не буду способна — только греться на солнце.

— Как странно,— продолжала она,— человек даже чувства свои старается изменить в угоду другим, старается чувствовать так, как это принято. Сначала я боялась взглянуть в зеркало... Мне казалось, что я должна быть убита горем, беспомощна... А я вовсе не убита горем и не беспомощна...

— Но разве вы совсем свободны? — спросил мистер Брамли.

— Да.

— Совершенно?

— Не меньше любого мужчины

— Но... В Лондоне говорят... Говорят что-то про завещание...

Она сжала губы. В глазах ее мелькнуло беспокойство, брови дрогнули. Казалось, она собиралась с духом, потом наконец заговорила, не глядя на него.

— Мистер Брамли,— сказала она,— прежде чем я узнала что-либо о завещании... В тот самый вечер, когда умер сэр Айзек... Я решила... что никогда больше не выйду замуж. Никогда.

Мистер Брамли не шевельнулся. Он только печально смотрел на нее.

— Я уже тогда это решила,— сказала она.— О завещании я еще ничего не знала. Я хочу, чтобы вы это поняли... Ясно поняли.

Больше она ничего не сказала. Молчание затягивалось. Тогда она заставила себя посмотреть ему в глаза.

— А я думал...— сказал он, отводя наконец глаза от ее лица, и предоставил ей самой догадываться, что именно он думал.

— Но ведь я,— проговорил он, видя, что она молчит,— ведь я вам не безразличен?

Она отвернулась. Теперь она смотрела на свою руку, лежавшую у нее на коленях, поверх черного платья.

— Вы мой самый близкий друг,— проговорила она едва слышно.— Можно сказать, единственный друг. Но... Я никогда больше не выйду замуж...

— Дорогая,— сказал он.— Тот брак, который вы знали...

— Нет,— сказала она.— Все равно.

Мистер Брамли глубоко вздохнул.

— Став вдовой, я в первый же день поняла, что освободилась. Не от этого именно брака... От всякого брака... Все мы, женщины, связаны в браке. Большинство, возможно, хочет этого, но они хватаются за это, лишь как за спасательный пояс во время кораблекрушения, потому что боятся утонуть. А я теперь свободная женщина, как те, которые хорошо зарабатывают или имеют состояние. Я отбыла каторгу, мой срок кончился... Я знала, конечно, что вы мне это предложите. И не в том дело, что я к вам безразлична, что я не ценю вас, вашу помощь... любовь и доброту...

— Знайте,— сказал он,— что хотя это единственное, о чем я мечтал и чем вы могли бы мне отплатить... Все, что я делал, я делал бескорыстно...

— Дорогая! — воскликнул мистер Брамли, вдруг начиная сначала.— Умоляю вас, выйдите за меня замуж. Будьте мне любимой и близкой спутницей жизни, ее украшением, радостью... Я не могу это высказать, дорогая. Но вы сами, сами знаете... С тех пор, как я вас увидел, заговорил с вами здесь, в этом саду.

— Я все помню,— отозвалась она.— Это было лучшее в моей жизни, как и в вашей. Но только...

Она крепко сжала спинку скамьи. Казалось, она внимательно рассматривает свою руку. Голос ее понизился до шепота.

— Я не выйду за вас замуж,— сказала она.

6

Мистер Брамли в отчаянии откинулся назад, потом подался вперед, уронив руки на колени, и вдруг выпрямился, встал, оперся одним коленом о скамью.

— Скажите же, что мне делать? — спросил он.

— Я хочу, чтобы вы остались моим другом.

— Я не могу.

— Не можете?

— Нет... я надеялся.

И он повторил почти сердито:

— Дорогая, я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж, больше мне ничего на свете не нужно.

Она помолчала.

— Мистер Брамли,— сказала она, подняв на него глаза.— А о наших общежитиях вы не подумали?

Как я уже говорил, мистер Брамли не любил выбирать из двух зол. Он вскочил, уязвленный. Теперь он стоял, протягивая к ней дрожащие руки.

— Какое это может иметь значение, когда любишь! — воскликнул он.

Она слегка отодвинулась от него.

— Но разве это не имело значения всегда? — спросила она.

— Да,— возразил он.— Но эти общежития... Мы их создали — разве этого мало? Мы все наладили...

— Знаете ли вы, что произойдет с общезнаниями, если я выйду замуж? — спросила она.

— Они останутся, — ответил он.

— Да, останутся, но управлять ими будет комитет. Его состав назначен поименно. И туда войдет миссис Пемроуз. Неужели вы не понимаете, что тогда будет? Он все предусмотрел...

Мистер Брамли вдруг сник.

— Да, слишком хорошо предусмотрел, — сказал он.

Он взглянул на ее нежные глаза, на ее изящную фигуру и подумал, что она создана для любви, и это ужасно, если смыслом ее жизни станет лишь дружба и свобода.

7

А потом они гуляли по сосновому лесу за садом, и мистер Брамли печально говорил о любви, об этом великом счастье, которого они лишены.

Она слушала, и смущение все ясней отражалось в ее темных глазах. Несколько раз она порывалась заговорить, но сдерживала себя и снова молча слушала.

Он говорил о близости любящих сердец, о волнующей страсти, о том, как любовь наполняет душу гордостью и превращает мир в чудо, о том, что каждый человек имеет право на любовь. Говорил о своих мечтах, о своем терпеливом ожидании и о безумных надеждах, которые он не мог подавить в себе, когда узнал о смерти сэра Айзека. И, намекая на несбыточные радости, рисуя их себе, вспоминая свои тайные надежды, он забыл про ее слова, что она решилась любой ценой сохранить свободу, и его снова охватила неудержимая злоба против сэра Айзека, который попусту растратил все то, что он на его месте лелеял бы с такой нежностью.

— Ваша жизнь, — сказал он, — ваша прекрасная жизнь только начиналась и была полна... полна драгоценных семян восторга и прелести, готовых взойти для любви, созревших для любви, а потом появились эти жадные лапы — воплощение всей презренной низости жизни — и схватили, смяли, погубили вас... Поверьте, дорогая, вы ничего не знаете, вы даже не начали чувствовать...

Изливая свои горькие чувства, он не заметил, что в глазах ее появился испуг.

— И он победил! Этот низкий, чудовищный карлик победил в конце концов: его мертвые лапы, мертвые желания держат вас даже из могилы! Всегда и во всем побеждают эти лапы; они властвуют над жизнью! Я был глуп, когда мечтал, надеялся. Я забыл про них. Думал только о вас и о том... что, быть может, мы с вами...

Он не обратил внимания на ее робкий протест. Он продолжал с гневом обличать господство ревности над миром, забыв, что в этот миг сам терзался ревностью. Такова жизнь. Жизнь — это ревность. Вся она состоит из беспредельной алчности, подозрений, обид; мужчины бросаются друг на друга, как дикие звери, от которых они когда-то произошли; разум едва пробивается в этой борьбе, осыпаясь ударами, и искалеченный. Лучшие, умнейшие люди, соль земли, звезды человеческой мудрости, были лишь бессильными ангелами, которых несли на своих спинах звери. Можно мечтать о лучшем мире, о том, что в наших обуреваемых страстью душах таится культура и мудрость, о спокойствии, мужестве и великой героической борьбе, которая еще предстоит, но до этого очень далеко — десятки тысяч лет, и мы должны жить, должны умирать, мы — всего лишь стадо зверей, терзаемых мучительными проблесками знания, овладеть которым нам не дано, и счастья, которое нам недоступно. Развивая эти мысли, мистер Брамли становился все красноречивее.

— Да, конечно, я нелеп! — воскликнул он. — Все мужчины нелепы. Мужчина — нелепое животное. Мы подавили в себе первобытные инстинкты — похоть, ненависть, голод, страх, избавились от трагического величия слепой судьбы, а заменить их нам ничем. Мы смешны, смешны! Наше время — это комическая эпоха в истории жизни, эпоха сумрака и слепоты, мы находим путь ощупью. Мы так же нелепы, как глупый котенок, которого сунули в мешок. Вот вам человеческая душа! Она мяукает, как котенок. Все мы такие — поэты, учителя. Разве есть надежда избежать этого? Почему я смогу этого избежать? Кто я такой, чтобы претендовать на взаимность,

не быть отвергнутым влюбленным, человеком, над которым насмеялась его любовь? Почему я, открыв красоту, решил, что ее не отберут у меня? Вся моя жизнь смешна, и эта... эта последняя глупость, разве из нее могло выйти что-нибудь, кроме жалкой комедии? Но у меня в груди все-таки есть сердце, и оно обливается кровью. Чем дальше заходит человек, тем глубже он увязает в болоте смешного. Но я не такой, я не из тех, которые могут довольствоваться почетом, уважением и богатством. Я познал нечто высшее, и именно из-за этого познания, именно из-за него я так смешон, смешнее всех на свете. Всю жизнь я старался не замыкаться в себе, идти к людям и отдавать... Свои первые книги, эти безделки, где я притворялся, будто все в мире прекрасно, я написал потому, что хотел дать другим счастье и радость и, давая, самому быть счастливым. А все ревнивые стяжатели, сильные, молчаливые, расчетливые хозяева мира, посмеивались надо мной. Как я лгал, чтобы сделать людям приятное! Но уверяю вас, несмотря на все их насмешки, моя торговля пером была благородней их преуспевания. И если бы мне пришлось начинать жизнь сначала...

Он не договорил.

— А теперь,— сказал он странно спокойным голосом, который так не соответствовал его волнению,— теперь, когда я обречен мучительно и безнадежно любить вас до конца моих дней, любить безнадежно из-за ненавистных мне законов и обычаев, из-за презренных оговорок...

Он замолчал, потеряв нить своих мыслей.

— Но я готов,— сказал он.— Я сделаю все, что в моих силах. Буду повиноваться вам во всем, помогать, служить вам. Если вы не можете пойти мне навстречу, что ж, это сделаю я. Я не могу не любить вас; не могу без вас жить. Никогда я не соглашался на добровольное самоотречение. Я ненавидел самоотречение. Но, если другого пути нет, пусть будет так. Мне больно, невыносимо больно, но вы по крайней мере увидите, как я люблю вас. Хотя бы это...

Голос его пресекся. На глазах выступили слезы.

И тут, на вершине этого великолепного самопожертвования, душа его взбунтовалась. Он так быстро пере-

шел к противоположному, что она не сразу поняла, что с ним произошло. Она все еще с радостью и грустью воспринимала его удивительное благородство.

— Я не могу,— сказал он.

Он вдруг отбросил все уступки, как дикарь отбросил бы одежду.

— Когда я думаю о его детях...— сказал он.— Везде и всюду эти дети, которых вы ему родили, а я... я не смею даже коснуться вашей руки!

И, охваченный страстью, мистер Брамли крикнул:

— Нет! Не смей даже коснуться вашей руки!

— Этого я не вынесу,— сказал он горячо.— Не вынесу. Если вы не можете меня любить, я уйду. Мы никогда больше не увидимся. Я готов на все... На все, только не на этот ужас. Я уеду за границу. На чужбину. Буду летать на самолетах... Разобьюсь, сделаю что угодно, но этого я не вынесу. Не могу. Поймите, вы требуете слишком многого, больше, чем может вынести человек из плоти и крови. Я старался вам покориться, но не могу. Я не допущу, чтобы этот... этот...

Он махнул дрожащей рукой. Ему никак не удавалось найти достаточно сильное и резкое слово, чтобы заклеить покойного баронета. Он представил его себе в виде мраморного памятника на Кенсл-Грин, исполненного лживого достоинства, лживой невозмутимости и невыносимого торжества. Он искал какого-то короткого слова, чтобы все это раскрыть, разоблачить, выкрикнуть это слово во всю силу легких так, чтобы небо расколосось. Но он не нашел слова и совсем отчаялся.

— Я не допущу, чтобы он смеялся надо мной,— сказал он наконец.— Одно из двух. Третьего нет. Но я знаю ваш выбор. Я вижу, мы должны расстаться, а если так... Если так, я ухожу!

Он взмахнул руками. Вид у него был жалкий и смешной. Лицо его сморщилось, как у обиженного ребенка. Теперь у него уже не просто прервался голос от избытка чувств, к собственному своему удивлению, он почувствовал, что сейчас заплачет, громко, позорно, по-детски. Он плакал горько и безутешно; перейдя эту грань, он уже не мог остановиться. Стыд не сдержал его, хоть и переполнял его душу. Он в отчаянии нелепо воздел руку. И

вдруг этот бедный писатель, самый несчастный человек на свете, повернулся и побежал, всхлиывая, по узкой тропинке меж деревьями.

8

А она, огорченная и удивленная, осталась стоять на месте. Его последний порыв заставил ее широко раскрыть глаза.

— Но мистер Брамли! — воскликнула она наконец. — Мистер Брамли!

Он словно не слышал ее. Спотыкаясь, он бежал среди деревьев так быстро, что еще минута — и он исчез бы из виду. И мысль, что он исчезнет навсегда, испугала ее.

Мгновение она колебалась. Потом, решившись, быстрым и твердым движением подобрала подол траурного платья и пустилась вслед за ним по узкой тропинке. Она бежала легко, в черно-белом ореоле мягкой, ритмично трепетавшей ткани. Длинные ленты из черного крепа, знак траура по сэрю Айзеку, развеваясь, летели вслед за ней.

— Мистер Брамли! — задыхаясь, крикнула она, но он не слышал. — Мистер Брамли!

Ей было не угнаться за ним, он быстро удалялся, мелькая среди пятнистых от солнца стволов сосен, и на бегу что-то с плачем бормотал, не обращая на нее внимания. Она слышала только надрывающие сердце, но нечленораздельные звуки: «Ва-ва-ву-ва-ву», — которые время от времени вырывались из его груди. На прогалине ей показалось, что она настигает его, но сосны снова сомкнулись, перемежаясь с молодыми елочками, и она увидела, что он все больше удаляется от нее. Вот он свернул в сторону, скрылся, потом показался снова, еще дальше, и опять скрылся..

Она хотела окликнуть его в последний раз, но не смогла перевести дух и, задыхаясь, перешла на шаг.

Ведь не выбежит же он на шоссе! Страшно было подумать, что он, обезумевший от отчаяния, выбежит на шоссе и, может быть, угодит прямо под колеса автомобиля.

Она дошла по тропинке до самого турникета, где кончались сосны. И там она его увидела — он лежал ничком, спрятав лицо среди колокольчиков.

— Ах! — тихо вскрикнула она и схватилась за сердце.

Ее охватило то непреодолимое чувство ответственности, та щемящая, непостижимая жалость, которая всплывает из тайных глубин женской души в минуту волнения.

Она подошла к нему легкими, бесшумными шагами. Он не шевельнулся, и мгновение она стояла молча, глядя на него.

Потом с бесконечной нежностью проговорила:

— Мистер Брамли.

Он вздрогнул, прислушался, потом повернулся, сел и посмотрел на нее. Лицо у него было красное, волосы встрепанные, глаза еще мокрые от слез.

— Мистер Брамли,— снова сказала она, и голос ее вдруг задрожал, а глаза затуманились печалью.— Вы же знаете, я не могу без вас.

Он встал на колени — никогда еще она не казалась ему такой красивой. Она быстро дышала, ее темные волосы растрепались, в глазах было какое-то необычное выражение — протестующее и в то же время нежное. Мгновение они смотрели друг на друга открытым взглядом, словно видели друг друга впервые.

— Ох! — вздохнул он наконец.— Я сделаю все, дорогая, все, что хотите. Стоит вам сказать только слово, и все будет по-вашему, я буду вам другом и согласен забыть эту... — он махнул рукой,— эту любовь.

Видя, что он готов снова впасть в отчаяние, она молча, не зная, что сказать, опустилась рядом с ним на колени.

— Давайте посидим тихонько здесь, среди гиацинтов,— сказал мистер Брамли.— А потом пойдем назад к дому и по дороге поговорим... Поговорим о наших общезжитиях.

Он сел, а она осталась стоять на коленях.

— Я ваш,— сказал он,— располагайте мною. Мы будем работать... Я вел себя как дурак. Мы будем работать. Для людей. Это... Ах, это очень большое и важное дело. Мы должны благодарить за него бога. Но только...

Он посмотрел на ее трепещущие губы и почувствовал, что им владеет одно желание — желание разумное и не

слишком дерзкое. Он теперь относился к ней, как к сестре. И у него было такое чувство, что если это единственное желание будет удовлетворено, то успокоится и его оскорбленное самолюбие и он перестанет завидовать сэру Айзеку... во всем.

Но ему не сразу удалось заставить себя заговорить об этом — так он боялся отказа.

— Мне хотелось бы только одного,— сказал он, весь дрожа.

Он потупился и стал разглядывать растоптанные колокольчики у своих ног.

— Ни разу,— продолжал он,— ни разу за все эти годы... Мы даже не поцеловались... Это так немного... но хоть это...

Он замолчал, у него перехватило дыхание. Он не мог вымолвить больше ни слова, потому что сердце его бешено колотилось. И не смел посмотреть ей в лицо...

Ее одежда тихо зашелестела от быстрого движения...

Она наклонилась, положила руку ему на плечо, заставила его откинуться назад и, ни в чем не признавая компромиссов, поцеловала удивленного мистера Брамли прямо в губы...

Билби

Безделушка

ГЛАВА I

ЮНЫЙ БИЛБИ ПОСТУПАЕТ В ШОНТС

Кошка рождается от кошки, собака — от собаки, а вот дворецкий и горничная не производят себе подобных. У них иные дела.

Замену им надо искать среди других представителей человеческого рода, главным образом под кровом много-семейных садовников (старших, а не младших), лесников, кучеров, но отнюдь не привратников: те слишком обременены годами и обитают в сущих конурах. Так случилось, что на господскую службу поступил юный Билби, пасынок мистера Дарлинга, садовника в замке Шонтс.

Кому не известен славный Шонтс! Его фасад! Две башни! Огромный мраморный бассейн! Террасы, по которым гуляют павлины, а внизу озеро с черными и белыми лебедями! Огромный парк с аллеей! Вид на реку, бегущую среди голубых далей! А полотна Веласкеса — правда, они сейчас в Америке, — а Рубенс из здешней коллекции, тот, что теперь в Национальной галерее! А собрание фарфора! А сама история замка!.. Он был оплотом старой веры¹, и в нем сохранились

¹ То есть католичества, переставшего быть государственной религией в Англии при Генрихе VIII (годы царствования — 1509—1547). При королеве Марии Кровавой (1553—1558) католичество было восстановлено и снова отменено в годы правления Елизаветы I (1558—1603). Почти до самого конца XVIII века Англия была объектом происков католических держав, засылавших в страну шпионов-иезуитов.

разные потайные ходы и клетушки, где когда-то прятали иезуитов. И кому, наконец, не известно, что маркизу пришлось отдать Шонтс в многолетнюю ренту Лэкстонам, этим, знаете, *Молочная смесь «Расти большой»* и *патентованные соски!* Любкой мальчик позавидовал бы возможности поступить на службу в столь прославленный замок, и лишь каким-то душевным уродством можно было объяснить то, что Билби стал на дыбы. И все же Билби взбунтовался. Он объявил, что не желает быть слугой, что не будет пай-мальчиком, не пойдет в Шонтс и не станет усердно трудиться на поприще, уготованном ему богом. Как бы не так!

Все это он выпалил матери, когда та пекла пирог с рубленным мясом в светлой кухоньке их садовничьего домика. Он вошел взъерошенный и растрепанный; лицо грязное, разгоряченное, руки в карманах, что ему строго-настрого запрещалось.

— Мама,— объявил он,— я все равно не пойду в поместье прислуживать лакеям, до хрипоты просите — не пойду. Так и знайте!

Он выпалил все это единым духом и потом долго не мог отдышаться.

Матушка его была сухощавая, решительная женщина. Она перестала катать тесто и дослушала его до конца, а затем взмахнула в воздухе скалкой и застыла перед ним, опершись на свое оружие и слегка наклонив голову набок.

— Ты сделаешь все, что велит отец,— проговорила она.

— А он мне не отец,— возразил юный Билби.

Мать только кивнула, это значило, что решение ее твердо.

— Все равно не пойду! — крикнул юный Билби и, чувствуя, что он не в силах продолжать этот разговор, двинулся к входной двери с намерением ею хлопнуть.

— А я говорю — пойдешь! — сказала мать.

— Посмотрим! — ответил юный Билби и поспешил хлопнуть дверь, так как снаружи донеслись шаги.

Чуть погодя с заливой солнцем улицы вошел мистер Дарлинг. Это был рослый мужчина с волевым ртом, тщательно выбритым подбородком и какими-то бурыми

бакенбардами; на его одежде было великое множество карманов; в руке — большой анемичный огурец.

— Я сказал ему, Полли,— объявил он.

— Ну и что он? — спросила жена.

— А ничего,— ответил мистер Дарлинг.

— Он говорит, что не пойдет,— заметила миссис Дарлинг.

Мистер Дарлинг с минуту задумчиво глядел на нее, а потом сказал:

— Что за упрямый парень! Велено — так пойдет.

Но юный Билби с прежним упорством воевал против неизбежного.

— Не буду я слугой,— говорил он.— И не заставите вы меня!

— Надо же тебе кем-то быть,— говорил мистер Дарлинг.

— Каждый человек должен быть кем-нибудь,— добавляла миссис Дарлинг.

— Так я буду кем-нибудь еще,— отвечал юный Билби.

— Ты что, вздумал стать джентльменом? — осведомился мистер Дарлинг.

— А хоть бы и так! — бросил юный Билби.

— По одежке протягивай ножки,— сказал мистер Дарлинг.

Юный Билби набрался духу и сказал:

— А может, я хочу стать машинистом.

— И будешь ходить весь замасленный,— отозвалась его мать.— Погибнешь в каком-нибудь крушении. Да еще штрафы вечно плати. Ну что тут хорошего!

— Или в солдаты пойду.

— Что? В солдаты? Ну нет! — решительно вскричал мистер Дарлинг.

— Так в матросы.

— Да тебя будет там каждый божий день выворачивать наизнанку,— возмутилась миссис Дарлинг.

— К тому же,— сказал мистер Дарлинг,— я уже уговорился, что первого числа будущего месяца ты явишься в имение. И сундучок твой уже сложен.

Кровь прилила к лицу юного Билби.

— Не пойду,— проговорил он еле слышно.

— Пойдешь,— сказал мистер Дарлинг,— а не пой-
дешь — за шиворот тебя притащу.

Сердце юного Билби пылало, как раскаленный уголь, когда он — один-одинешенек — шел по влажному от росы парку к прославленному дому, куда следом должны были доставить его пожитки.

Весь мир казался ему сплошным свинством.

Еще он объявил — очевидно, косуре и двум ланям:
— Думаете, я сдамся? Не на таковского напали!
Так и знайте!

Я не пытаюсь оправдывать его предубеждение против полезного и достойного труда слуг. И все-таки труд этот был ему не по сердцу. Возможно, в воздухе Хайбэри, где он жил последние восемь лет, было что-то такое, что породило в его уме столь демократические идеи. Ведь Хайбэри — одно из тех новых поселений, где, по-видимому, совсем забыли о существовании поместий. А быть может, причина таилась в характере самого Билби...

Наверно, он стал бы возражать против любой работы. До сих пор он был на редкость свободным мальчиком и умел наслаждаться своей свободой. Чего ради ему от нее отказываться? Занятия в маленькой сельской школе, где учились вместе и девочки и мальчики, легко давались этому городскому мальчугану, и все полтора года он был здесь первым учеником. Так почему ему и дальше не быть первым учеником?

А вместо этого, уступив угрозам, он бредет сейчас через залитый солнцем уголок парка в косых лучах утреннего света, которые частенько выманивали его на целый день в лес. Ему надо идти до угла прачечной, где он не раз играл в крикет с сыновьями кучера (тех уже проглотила трудовая жизнь), и дальше, вдоль прачечной до конца кухни — и там, где ступеньки ведут вниз, в подвал, сказать «прости» солнечному свету, своему детству и отрочеству, своей свободе. Ему предстоит спуститься вниз, пройти по каменному коридору до буфетной и здесь спросить мистера Мергелсона. Он остановился на верхней ступеньке и взглянул в синее небо, по которому медленно плыл

ястреб. Он провожал птицу глазами до тех пор, пока она не скрылась за ветвями кипариса; но он вовсе и не думал про ястреба, даже не замечал его: он подавлял в себе последний бурный порыв своей вольнолюбивой натуры. «А не наплевать ли на все это? — спрашивал он сам себя.— Ведь и сейчас еще можно сбежать».

Послушайся он этого искушения, все сложилось бы куда лучше для него самого, для мистера Мергелсона и для замка Шонтс. Но на душе Билби была тяжесть, и вдобавок он не успел позавтракать. Денег у него никогда не водилось, а на пустой желудок далеко не сбежишь. Податься ему было некуда. И он спустился в подвал.

Коридор был длинный и холодный, а в конце его — дверь, открывавшаяся в обе стороны. Билби знал: ему в эту дверь, потом налево, мимо кладовой и дальше, до буфетной. Дверь кладовой была распахнута, там сидели за завтраком служанки. Проходя мимо, он состроил гримасу — не с тем, чтобы их обидеть, а так, для потехи: ведь надо же парню что-то делать со своей рожей! Затем он вошел в буфетную и предстал пред очи мистера Мергелсона.

Мистер Мергелсон, как всегда всклокоченный, в одном жилете, вкушал свой утренний чай, перебирая в памяти мрачные воспоминания вчерашнего вечера. Он был тучный, носатый, с толстой нижней губой и густыми бакенбардами; говорил скрипучим голосом, точно какой-нибудь раскормленный попугай. Он вынул из жилетного кармана золотые часы и взглянул на них.

— Велено прийти в семь, а сейчас десять минут восьмого, молодой человек, — проговорил он.

Юный Билби пробормотал что-то невразумительное.

— Подожди здесь, — сказал мистер Мергелсон, — а я, как будет время, объясню тебе твою службу. — И он с нарочитой медлительностью принялся смаковать свой чай.

За столом, кроме мистера Мергелсона, сидели еще три джентльмена, одетые по-домашнему. Они принялись внимательно разглядывать юного Билби, и младший из них, рыжеволосый, нахального вида парень,

в жилете и зеленом фартуке, вздумал скривить ему рожу с явным желанием передразнить мрачность новичка.

Ярость Билби, на время подавленная страхом перед мистером Мергелсоном, вскипела с новой силой. Он весь побагровел; глаза наполнились слезами, а в голове опять завертелась мысль о бегстве. Нет, он этого не вытерпит. Он круто повернулся и направился к двери.

— Ты куда?! — закричал мистер Мергелсон.

— Испугался, — заметил второй лакей.

— Стой! — заорал первый лакей и уже на пороге схватил мальчика за плечо.

— Пустите! — вопил, отбиваясь, новичок. — Не пойду я в холуи. Не пойду, и все.

— Молчать! — взревел мистер Мергелсон, потрясая чайной ложкой. — Тащите его сюда, к столу. Что ты сказал про холуев?

Билби разрыдался, но его все-таки привели и поставили в конце стола.

— Что вы такое сказали о холуях, позвольте узнать? — осведомился мистер Мергелсон.

Мальчик сопел и молчал.

— Если я верно вас понял, молодой человек, вы не хотите служить в холуях?

— Не хочу, — отвечал юный Билби.

— Томас, — сказал мистер Мергелсон, — стукни его по башке, да покрепче.

Дальнейшие события развивались с непередаваемой быстротой.

— Ах, так ты кусаться!.. — вскричал Томас.

— Кусаться?! А ну наподдай ему! Стукни его еще разок! — распорядился мистер Мергелсон.

— А теперь стойте здесь, молодой человек, и ждите, пока мне будет досуг вами дальше заняться, — сказал мистер Мергелсон и с нарочитой медлительностью принялся допивать чай.

Второй лакей задумчиво потер голень и сказал:

— Если мне еще придется его лупить, так пусть он сперва переобуется в комнатные туфли.

— Отведите мальчишку в его комнату, — сказал мистер Мергелсон, вставая из-за стола. — Приглядите, чтоб он смыл с лица грязь и слезы под рукомыльником

в конце коридора, и пусть наденет тапочки. А потом покажите ему, как накрывать на стол в комнате дво-рецкого.

Билби познакомили с его обязанностями, и он сразу решил, что они слишком многочисленны, разнообразны, скучны, и запомнить их невозможно; да он и не старался их толком запомнить, ибо хотел делать все похуже и считал, что для начала лучше всего проявить забывчивость. Билби начал с первой ступеньки служебной лестницы; он должен был прислуживать старшим слугам, и ему закрыт был доступ за обитую зеленым сукном дверь наверх. Он обитал в каморке под лестницей; потолок в ней был скошенный, а освещало ее окно, которое не открывалось и выходило в нижний коридор. Он выслушивал приказы и в душе кипел, но до вечера виду не подавал: страх перед тяжелыми ручищами четверых старших слуг и слишком быстрым возвращением в садовничий домик пересиливал желание доказать свою непригодность к этой работе. И вот он для пробы разбил две тарелки, за что получил подзатыльник от самого мистера Мергелсона. Мистер Мергелсон ударял отрывисто, не слабее, чем Томас, но на другой манер. Рука у Мергелсона была большая и жирная, и он брал стремительностью; у Томаса она была мозолистая и неторопливая. Затем юный Билби всыпал соль в чайник, в котором экономка заваривала для всех чай. Но оказалось, что прежде чем бросить заварку, она ополаскивает чайник кипятком. Он лишь понапрасну истратил соль; надо было бросить ее в большой чайник.

В другой раз он уж не ошибется.

За весь бесконечный первый день службы с Билби никто не разговаривал; ему знай приказывали да поручали все новую и новую работу. За обедом в людской он строил гримасы, передразнивая мистера Мергелсона; одна из судомоек не выдержала и фыркнула, но это был единственный знак внимания, которого добился мальчик.

Когда пришло время ложиться спать («А ну, убирайся,— сказал ему Томас.— Иди и дрыхни, сопливый скандалист. Ты уж нам за день надоел!»), юный Билби еще долго сидел на краю постели, размышляя, что

лучше: поджечь дом или же отравить их всех. Вот если бы у него был яд! Какой-нибудь такой, какой употребляли в средневековье,— чтоб человек не сразу помирал, а сперва бы помучился. Он достал купленную за пени записную книжечку в блестящем черном переплете, с голубым обрезом. На одной странице он написал: «Мергелсон»,— а ниже поставил три черных креста. Затем он открыл счет для Томаса, который, конечно, будет его главным должником. Билби не склонен был легко прощать обиды. В сельской школе слишком старались воспитать из него доброго прихожанина, чтобы печься о доброте его души. Под именем Томаса крестов было без числа.

Пока Билби вел под лестницей свои зловещие записи, леди Лэкстон (а Лэкстон, да будет вам известно, внес в партийную кассу двадцать тысяч фунтов за баронетство, не говоря уж о безделье, в которую обошлось ему приобретение контроля над производством смеси «Расти большой»),— так вот, леди Лэкстон двумя этажами выше всклокоченного мальчишки размышляла о предстоящем ей субботнем приеме. То был ответственный прием. Ожидался сам лорд-канцлер. До сих пор ей не случалось принимать в Шонтсе даже министра. А теперь ее гостем будет лорд-канцлер, и она невольно связывала этот визит со своей заветной мечтой увидеть владельца Шонтса в алом вице-губернаторском мундире. Он так пошел бы Питеру! Ожидался лорд-канцлер, и вот, чтобы достойно встретить и принять его, приглашены были: лорд Джон Дубинли и мистер Полском, графиня Казармская и романистка миссис Рэмпаунд Пилби с супругом, мистером Рэмпаундом Пилби, философ профессор Дуболоум, а также четыре менее важные (хотя и вполне приличные) особы, коим надлежало создавать в гостиной необходимую толчею. По крайней мере таков был ее план, и ей в голову не приходило опасаться какого-нибудь подвоха со стороны ее двоюродного брата, капитана Дугласа.

Приезд в Шонтс всех этих именитых гостей наполнял леди Лэкстон приятным сознанием ее растущих светских успехов, и в то же время, по совести говоря, она робела. В глубине души она понимала, что этот прием не ее заслуга. Он получился как-то сам собой. Уж

как это вышло, она не знала да и дальше не мечтала направлять ход событий. Ей оставалось лишь надеяться, что все сойдет благополучно.

Лорд-канцлер — всем ее гостям гость. Конечно, положение обязывает, а все же трудно будет чувствовать себя с ним просто и свободно. Точно в гостях у тебя слон. Она не была находчива в беседе. Принимать «интересных людей» всегда было для нее мукой.

Глава их партии Полском — вот кто устроил это дело, правда, после намека сэра Питера. Лэкстон посоветовал на то, что правительство уделяет мало внимания этой части Англии. «Надо бы им чаще навещаться в наше графство, — сказал сэр Питер и, точно мимоходом, добавил: — Вот я хоть кого в Шонтсе могу принять». Решено было дать два званых обеда для избранных и воскресный завтрак для более широкого круга, чтоб министр, прибыв в Шонтс, своими глазами убедился, что Лэкстоны вполне достойны своего нового видного положения в графстве.

Леди Лэкстон тревожила не только ее собственная робость, но также развязность ее мужа. У того — к чему отрицать! — слишком много купеческих замашек. За обедом он становится — как бы это сказать? — слишком самоуверен, что ли, а Мергелсон, как нарочно, то и дело ему подливает. И тогда он вечно спорит. А между тем с лордами-канцлерами, уж наверно, спорить не следует.

Кроме того, лорд-канцлер, говорят, интересуется философией, а философия — предмет сложный. Беседовать с ним о философии она пригласила Дуболоума. Он читает философию в Оксфорде, так что тут беспокоиться не о чем. Но как жаль, что сама она не может сказать что-нибудь этакое, философское! Не худо бы завести секретаря, она уж не раз об этом думала, нынче он бы ей очень пригодился. Будь у нее секретарь, она бы только сказала ему, о чем хочет беседовать, и он подобрал бы ей несколько нужных книжек и отметил лучшие страницы, а она бы просто выучила их наизусть.

Она опасалась — и это не давало ей покоя, — что Лэкстон возьмет и брякнет где-нибудь в начале приема, что он-де не верит в философию. Была у него такая привычка — сообщать, что он «не верит» во все эти великие

вещи: в искусство, благотворительность, изящную словесность и прочее. Порой он объявлял: «Не верю я во все это»,— имея в виду искусство и прочие высокие материи. Она замечала, какие при этом становились лица у окружающих, и сделала вывод, что нынче не принято признаваться в своем неверии. Это почему-то людям не нравится. Но она не хотела прямо говорить об этом мужу. Он бы, конечно, потом с ней согласился, но поначалу, наверно, вскипел. А она ужасно не любила, когда он сердился.

— Вот если б как-нибудь осторожно намекнуть ему,— прошептала она.

Она частенько жалела, что не мастерица делать намеки.

Она, видите ли, была женщина скромная, душевная, из хорошей семьи. Ее родные были люди вполне достойные. Бедные, правда. Только вот ума ей бог не дал, чем-чем, а умом обделил. А ведь женам этих промышленных воротил требуется недюжинный ум, если они хотят хоть как-то прижиться в высшем свете. Они могут получить титул, большое поместье и все прочее, люди вроде бы не стараются избегать их, и тем не менее как-то так выходит, что их не считают своими.

В ту минуту, как она сказала себе: «Вот если б как-нибудь осторожно намекнуть ему»,— в подвале, менее чем на сорок футов под массивным полом и чуть правее от места, где она стояла, сидел Билби и мусолил огрызок карандаша, чтоб вывести крест пожирнее — четырнадцатый по счету — в списке грехов злополучного Томаса. Предшествующие тринадцать, почти все без исключения, были выдавлены с такой силой, что отпечатались чуть ли не на всех страницах его записной книжки с голубым обрезом.

Приезд званых гостей сперва представился Билби сущим благом, ибо все четыре лакея отправились в тот неведомый мир, что таился за дверью, обшитой зеленым сукном; но вскоре он понял, что именно из-за этого появилось еще пять новых лиц: два камердинера и три горничные, которым надо было накрыть в комнате дворецкого. В остальном приготовления к рауту леди Лэк-

стон интересовали Билби не больше, чем личные дела китайского богдыхана. Там, наверху, происходило что-то, ничуть его не занимавшее. Он слышал, как подъезжали и отъезжали экипажи, улавливал обрывки разговоров в буфетной, где угощались кучер и грумы, но совсем не прислушивался к ним, пока не появились эти приезжие камердинеры и горничные. Билби показалось, что они возникли вдруг, неизвестно откуда, точно слизняки после дождя — черные, блестящие; сидят себе, посиживают да жуют помаленьку. Они ему не понравились, да и сами тоже глядели на него без всякого уважения и симпатии.

И наплевать. Едва покинув комнату дворецкого, он выразил свои чувства, помахав перед носом растопыренной пятерней, — жест, почтенный лишь в силу своей древности.

Ему было о чем думать, кроме чужих горничных и камердинеров. Томас поднял на него руку; он глумился над ним, низко оскорблял его, и Билби мечтал прикончить обидчика каким-нибудь ужасным способом. (Только по возможности незаметно.)

Будь он маленьким японцем, это было бы вполне достойное желание. Оно бы отвечало законам чести кодекса бусидо¹ и прочим подобным вещам. Однако пасынку английского садовника питать такие чувства не следует.

Томас, со своей стороны, заметил мстительный огонек в глазах Билби и втайне побаивался его, но решил все же не отпускать вожжей: не дело ему уступать мальчишке. Он называл его «Буяном» и, так как мальчик не отзывался на эту кличку, изобретал ему другие прозвища: величал «Сопуном», «Щенком», «Молокососом» — и кончил тем, что дернул его за ухо. Затем он стал делать вид, будто Билби — глухой, чье внимание можно привлечь, только дергая его за ухо. Теперь, обращаясь к мальчику, он непременно щипал его, пинал, давал ему подзатыльник или еще как-нибудь причинял ему боль. Потом Томас притворился, будто у Билби грязная голова, и после нескольких неудачных попыток ткнул его в таз с чуть теплой водой.

¹ Бусидо (буквально — «путь воина») — кодекс самураев. Этот кодекс разрешал самураю безнаказанно убивать на месте непочтительного простоякудина.

А пока что юный Билби тратил весь свой скудный запас времени на размышления о том, что лучше: внезапно напасть на Томаса с кухонным ножом или швырнуть в него зажженной лампой. Большую оловянную чернильницу из буфетной тоже можно пустить в ход, но, пожалуй, в этом снаряде маловато убойной силы. Другое дело — длинная двузубая вилка для поджаривания хлеба, что висит в буфетной сбоку от каминной полки. Вот эта уж достанет...

Над всеми этими мрачными мыслями и плохо скрытыми страстями царил мистер Мергелсон — большой, но проворный, проворный, но точный, он выкрикивал приказания своим попугаичьим голосом, подкреплял их оплеухами, исполнял свои обязанности и следил, чтобы их исполняли другие. События достигли высшей точки в самом конце полного хлопот субботнего дня, незадолго до того, как мистер Мергелсон пошел запирать в доме двери и тушить лампы. Нерасторопный Билби сильно задержался в тот вечер и тащил из комнаты дворецкого поднос со стаканами, когда в буфетную вошел Томас и, вплотную подойдя к нему сзади, грубо схватил его за шею, больно взъерошил ему волосы да еще проворчал «Бр-р!».

Билби минуту стоял, не двигаясь, затем поставил поднос на стол, и бормоча что-то невнятное, кинулся к упомянутой вилке. Еще миг — и один из зубцов впился в подбородок Томаса.

Как стремительны перемены в нашей душе! Вонзая вилку, Билби был дикарь дикарем; но едва вилка попала в цель — а ведь он мог с таким же успехом попасть лакею в глаз, а не в подбородок, — мальчуган мгновенно вспомнил все те христианские заповеди, которые вдалбливали ему в школе. Свирепый порыв миновал, и он пустился в бегство.

Вилка минуту висела на лице Томаса вроде какой-то туго скрученной медной бороды, потом со звоном упала на пол. Томас схватился рукой за подбородок: кровь.

— Ах ты!..

Он так и не нашел верного слова, ну да оно и лучше! Вместо этого он помчался в погоню за Билби.

А юного преступника внезапно охватил ужас перед содеянным и перед Томасом, и он кинулся сломя голову по коридору, прямо к служебной лестнице, что вела в высшие сферы. Ему некогда было думать. За ним гнался Томас с окровавленным подбородком. Томас-мститель. Томас в яром гневе. Билби шмыгнул в дверь, обитую зеленым сукном, а гнавшийся за ним лакей схватился было за ручку, но в последнюю минуту опамятовался и не волился внутрь.

В последнюю минуту им овладело инстинктивное и неодолимо тревожное ощущение грозной опасности. До него долетел странный звук, будто запищал детеныш какого-то крупного животного. В приоткрытой двери мелькнуло что-то большое, черное с белым.

Потом что-то разбилось — кажется, стеклянное.

Томас притворил зеленую дверь, качавшуюся на медных петлях, перевел дух и прислушался.

Густой и низкий голос чем-то возмущался. То не был голос Билби, то говорил кто-то важный, в ком кипел сильный, хотя и сдерживаемый гнев. Он не кричал, но в словах не стеснялся — выбор у него был богатый, не то что у какого-нибудь мальчишки.

Томас тихонько приоткрыл дверь — чуть-чуть, только чтоб заглянуть, — и тут же снова ее затворил.

Он повернулся к лестнице и на цыпочках с удвоенной поспешностью начал спускаться вниз.

Внизу в коридоре появился его начальник.

— Мистер Мергелсон! — вскричал Томас. — Вы только послушайте! Ну дела!..

— Что там такое? — спросил мистер Мергелсон.

— Он сбежал!

— Кто?

— Билби!

— Домой? — Это прозвучало почти с надеждой.

— Нет.

— Куда же?

— Наверх. По-моему, он на кого-то налетел.

С минуту мистер Мергелсон испытующе глядел на подчиненного. Затем настороженно прислушался; они оба прислушались.

— Надо его оттуда выудить, — объявил мистер Мергелсон с неожиданной готовностью действовать.

Томас еще ниже перегнулся через перила.

— *Лорд-канцлер!*..— прошептал он побелевшими губами и кивнул в сторону двери.

— А он тут при чем? — спросил Мергелсон, удивленный видом Томаса.

Томас заговорил до того тихо, что Мергелсон подошел ближе и приставил ладонь к уху. Томас повторил последнюю фразу.

— Он там, на площадке... бранится. Ругается — страх!.. Как есть сбесившийся индюк.

— А Билби где?

— Сдается, он прямо на него налетел,— сообщил Томас после некоторого раздумья.

— А сейчас-то он где?

Томас развел руками.

Мистер Мергелсон поразмыслил немного и принял решение. Он подошел к лестнице, задрал подбородок и, приняв вид смиренной услужливости, проник за зеленую дверь. На площадке уже никого не было — там вообще не было ничего примечательного, если не считать разбитого бокала; а посреди парадной лестницы стоял лорд-канцлер. Великий правовед держал под мышкой сифон с содовой, а в руке сжимал графин виски. Он резко повернулся на скрип двери и встретил мистера Мергелсона, грозно нахмурив брови — столь грозными бровями может похвастаться не всякий слуга закона. Он был красен как рак и глядел зверем.

— *Так это вы?*..— спросил он, угрожающе взмахивая графином (его голос дрожал от благородного негодования).— Так это вы стукнули меня по спине?

— *По спине, милорд?*

— *По спине. Что тут непонятного?*..

— Да разве я осмелюсь, милорд!..

— Болван! Я вас ясно спрашиваю!..

С почти непостижимым проворством мистер Мергелсон взлетел на три ступеньки, метнулся вперед и подхватил готовый выскользнуть из рук его милости сифон.

Это ему удалось, но какой ценой! Он упал на пол, сжимая сифон в руках, и сперва стукнул его милость сифоном в левую голень, а потом, исполненный прежней почтительности, ткнулся ему в колени. Ноги его мило-

сти разъехались в разные стороны, и он потерял равновесие. Помятая нечистую силу, его милость рухнул на мистера Мергелсона. Графин выпал из его рук и вдребезги разбился на площадке. Сифон выскользнул из-под развалин мистера Мергелсона и, как видно, движимый родственным чувством, с шумом покатился со ступеньки на ступеньку вслед за графином.

И странную же процессию видела в тот вечер парадная лестница Шонтса! Сперва летело виски — крылатый предвестник пешего сифона. Затем великий правовед, волоча за фалды великого дворецкого и яростно молотя его кулаком. Затем мистер Мергелсон, изо всех сил старавшийся сохранить почтительность даже в минуту катастрофы. Сперва лорд-канцлер утонул в телесах мистера Мергелсона, вцепился в него, и они кубарем покатались вниз, затем мистер Мергелсон, не оставляя попыток объясниться, навалился на лорда-канцлера; потом лорд-канцлер взял на минуту головокружительный реванш и очутился наверху. Еще один оборот — и оба достигли площадки.

Бум! Трах-тарарах!..

ГЛАВА II

СУББОТНИЙ ПРИЕМ В ЗАМКЕ ШОНТС

Субботняя прогулка — типично британское развлечение. Оно могло возникнуть лишь в стране до мозга костей аристократической и приверженной удовольствиям, где даже соблюдение дня субботнего стало удовольствием. В субботних поездах, уходящих после полудня с лондонских вокзалов, крайний переизбыток вагонов первого класса и редкое обилие на зависть богатых саквояжей. Камердинеры и горничные не слишком себя утруждают, зато носильщики суетятся с особым рвением. В глаза бросаются разряженные знаменитости. Платформа и книжный киоск исполнены необычайного достоинства. Порой даже вагон-другой отводят для особо избранной публики. Слышатся приветствия:

— Значит, и вы с нами?

— Нет. Я нынче в Шонтс.

— Это где нашли Рубенса? Кто там сейчас хозяин?

Через эту веселую, благоденствующую толпу шел лорд-канцлер со своим крупным носом, знаменитыми бровями, которые, казалось, он мог по желанию ошетинить и свернуть, и с присущим ему видом спокойного самодовольства. Он ехал в Шонтс не для собственного удовольствия, а ради партийных интересов, но не намерен был этого показывать. Он шествовал по перрону, погруженный в свои мысли, притворяясь, что никого не видит, — пускай другие здороваются первыми. В правой руке он держал маленький, но внушительного вида кожаный чемоданчик. Под мышкой левой руки он тащил философский трактат доктора Мактэггерта, три иллюстрированных журнала, «Фортнайтли ревью», сегодняшний «Таймс», «Хибберт джорнел», «Панч» и два парламентских отчета. Его милость никогда не задумывался над тем, сколько он может удержать под мышкой. Поэтому его слуга Кэндлер следовал за ним в двух шагах, нагруженный несколькими уже подобранными газетами и готовый подхватить очередную потерю.

У большого книжного киоска они прошли мимо миссис Рэмпаунд Пилби, которая, как всегда, прикинувшись скромной читательницей, спрашивала у продавца свою последнюю книгу. Лорд-канцлер заметил вертевшегося поблизости Рэмпаунда Пилби, но вовремя отвел глаза. Он не жаловал эту пару. Интересно, подумал он, кто может сносить неимоверные претензии миссис Пилби хотя бы с субботы до понедельника? Сам он только однажды оказался рядом с нею за столом на званом обеде — и сыт по горло. Он занял место в углу, захватив и противоположное — надо ж куда-то класть ноги, — оставил Кэндлера охранять и места и багаж, принесенный им под мышкой, а сам вышел на перрон и стал там спиной ко всему свету — точь-в-точь Наполеон, только повыше ростом да нос еще более орлиный, — надеясь избежать встречи с великой романисткой.

Это ему вполне удалось.

Однако, вернувшись в купе, он застал Кэндлера на грани ссоры с каким-то белобрысым молодым человеком в сером. Волосы у юноши были до того светлые, что он мог бы сойти за альбиноса, если б не его живые карие глаза; лицо у него было красное, и говорил он очень быстро.

— Эти два места заняты,— твердил Кэндлер; он уже выбился из сил, защищая не слишком правое дело.

— Что ж, прекрасно,— отвечал белобрысый, чьи брови и усы на раскрасневшемся лице казались совсем белесыми.— Пусть так. Но позвольте мне занять среднее место. Чтобы я мог потом пересесть на место вашего «половинщика».

— Да знаете ли, молодой человек, кого вы назвали «половинщиком»?— проговорил Кэндлер, отличный знаток языка.

— А вот и он,— отозвался юноша.

— Где вы усядетесь, милорд?— спросил Кэндлер, снимая с себя ответственность за дальнейшее.

— Лицом к паровозу,— ответил лорд-канцлер, медленно ошетилив брови и хмуро глядя на юношу в сером.

— Тогда я сяду напротив,— объявил белобрысый самым непринужденным образом. Он говорил негромко, но торопливо, точно не позволяя себе отступить.— Видите ли,— начал он разъяснять великому правоведу с преувеличенной развязностью нервного человека.— Я всегда так поступаю. Сперва смотрю, не свободно ли в каком-нибудь вагоне угловое место. Я очень деликатен. Если все угловые места заняты, я подыскиваю «половинщика». «Половинщик» — это человек в мягкой шляпе и без зонта — зонт у его друга напротив, — или с зонтом, но без мягкой шляпы, в плаще, но без чемодана, или с чемоданом, но без плаща. И один плед на двоих. Вот таких я и зову «половинщиками». Теперь вам ясно? Ну, те, у кого все на двоих. Ничего обидного.

— Сэр,— прервал его лорд-канцлер со сдержанным возмущением,— мне нет дела до того, что вы там имеете в виду под этим вашим «половинщиком». Позвольте-ка мне пройти.

— Прошу вас,— сказал белобрысый и, отступив немного от дверей, свистнул мальчишку-газетчика. Он мужественно сносил поражение.

— Ну, что тут у тебя? — спросил он мальчишку еле слышным голосом.— «Пинкен», «Блэк энд Уайт»? А еще какие? «Атенеум», «Спортинг энд Дрэматик»? Это куда ни шло! Что-что?! Разве я похож на тех, кто берет

«Спектейтор»? Плохо ты разбираешься в людях! Разве я в галошах? Где твоя *savoir faire*¹, дружок?

Лорд-канцлер был философом, и его не так-то просто было вывести из равновесия. Он умышленно напускал на себя свирепость и при этом оставался совершенно невозмутим. Он уже свернул свои брови и еще прежде, чем поезд тронулся, перестал думать о своем *vis-à-vis*. Он раскрыл «Хибберт джорнел» и начал снисходительно читать журнал своих политических противников.

Где-то на краю его сознания смутно маячила фигура белобрысого, точно докучливая муха; нечто беспокойное и розовое, оно ерзало на месте, шелестело противно-розовым листком экстренного выпуска, мешало лорд-канцлеру вытянуть ноги и вдобавок тихонько насвистывало какую-то веселую модную песенку, будто желая сказать: а мне все равно. Но очень скоро и эта смутная помета уплыла из его сознания.

Лорд-канцлер был не просто любитель философии. Занятия философией укрепляли его общественную репутацию. Он читал лекции по религии и эстетике. Знал Гегеля назубок. Все были уверены, что свои каникулы он проводит в Абсолюте или по крайней мере в Германии. Частенько на званных обедах (особенно за десертом) он заводил речь о философии и, покуда с виду был трезв, вел такие блистательно-непонятные речи, как никто другой. Статья в «Хибберт» целиком завладела его вниманием. Автор пытался определить новый и спорный вариант Бесконечности. Вам, конечно, известно, что имеется много сортов и разновидностей Бесконечности и что Абсолют — такой же царь Бесконечностей, как лев — царь зверей...

Из мира Относительности донеслось покашливание, каким обычно начинают разговор с незнакомым человеком, а затем слова:

— Скажите, а вы, случаем, не в Шонтс?..

Лорд-канцлер медленно спустился на землю.

— Я тут заметил наклейку на ваших чемоданах, — продолжал белобрысый. — Дело в том, что я тоже в Шонтс.

¹ Смекалка (франц.).

Лорд-канцлер оставался внешне спокоен. С минуту он размышлял. А затем попал в ловушку, в ту самую, которая, пожалуй, всего опаснее для видных адвокатов и судей, а именно не выдержал искушения сравить противника остротой; такое пришло ему в голову — прелесть!

— Значит, там и встретимся, — сказал он самым учтивым тоном.

— Да... конечно...

— Согласитесь, — сказал лорд-канцлер очень вежливо и с кривой усмешкой, которую пускал в ход для большого комизма, — что было бы очень обидно опередить события.

Слегка наклонив голову набок и посмеиваясь про себя удачной шутке, лорд-канцлер не спеша перевернул страницу «Хибберт джорнел» и снова погрузился в чтение.

— Воля ваша, — сказал белобрысый с запоздалой досадой. Минуту-другую он беспокойно ерзал на месте, а потом принялся нетерпеливо листать «Блэк энд Уайт».

— Ничего, у нас в запасе почти два дня. Мы еще повеселимся, — прибавил он, не поднимая глаз от газеты и, видимо, в ответ на какие-то свои мысли.

Лорду-канцлеру стало немного не по себе, хоть он продолжал делать вид, что читает. Что этот белобрысый имел в виду? Страсть к остротам несколько подвела лорда-канцлера...

Но когда он очутился на платформе Челсам, где, как известно, надо сходить, чтоб попасть в Шонтс, и узрел там супругов Пилби, страшно похожих — она на свой будущий памятник, воздвигнутый благодарным потомством, а он — на хранителя этого памятника, — министр начал понимать, что попал в когти судьбы и что поездка к Лэкстонам, предпринятая в партийных интересах, будет не просто малоприятной, а совсем неприятной.

Впрочем, у него есть Мактэггерт, и можно целый день сидеть в комнате и работать.

К концу обеда немалое, но и не слишком растяжимое терпение лорда-канцлера готово было вот-вот лоп-

нуть. Его брови не щетинились, но лишь потому, что он усиленно расслаблял мышцы; в душе его закипала безмолвная ярость. Все, как нарочно, подбиралось одно к одному...

Он почти не прикасался к коньяку и портвейну, как ни потчевал хозяин; лорд-канцлер чувствовал, что не может дать себе поблажки, иначе гнев его вырвется наружу. Сигары по крайней мере были вполне приличные, и он курил и с легким пренебрежением прислушивался к разговорам гостей. Хорошо хоть, что в комнате больше не было миссис Рэмпгаунд Пилби. За столом продолжался все тот же разговор, который завел мистер Дуболоум еще до ухода дам, а именно о призраках и существовании загробного мира. Сэр Питер Лэкстон, избавленный от взора жены, мог теперь свободно утверждать, что не верит во всю эту чушь; это лишь передача мыслей на расстоянии, игра нашего воображения, не более. Слова хозяина не остановили потока воспоминаний о разных пустячных случаях и обстоятельствах, к чему обычно сводятся подобные беседы. Лорд-канцлер по-прежнему слушал с небрежным видом; его брови еще не совсем ошетинились, не готовы были встопорщиться; сигара торчала кверху под острым углом; сам он ничего не рассказывал, только по временам бросал отдельные короткие замечания в чисто гегельянском духе, с презрительной сдержанностью магометанина.

— А знаете, у нас в замке, говорят, тоже водятся духи,— объявил сэр Питер.— Может, стоит мне захотеть — и к нам мигом явится какой-нибудь из них. Самое что ни на есть подходящее место для привидений!

Белобрысый из купе обрел имя и теперь звался капитаном Дугласом. Когда он не слишком краснел, то был даже недурен собой. Он оказался дальним родственником леди Лэкстон. К удивлению лорда-канцлера, юноша явно не чувствовал перед ним ни малейшего смущения. Он непринужденно и весело беседовал со всеми гостями, кроме лорда-канцлера, однако и на него нет-нет да поглядывал. Когда заговорили о призраках, он насторожился; лорд-канцлер позднее припомнил, что в тот миг поймал на себе взгляд капитана — в нем читалось любопытство.

— А какой у вас призрак, сэр Питер? В цепях или как?

— Нет, какой-то другой породы. Я особенно не вникал, и потому не знаю. Кажется, он из тех, что хлопают дверьми и устраивают разные пакости. Ну, как его? *Plundergeist*¹, что ли?

— *Poltergeist*², — небрежно вставил лорд-канцлер, воспользовавшись паузой.

— В темноте треплет за волосы, хлопает по плечу. И всякое такое. Но мы скрываем это от слуг. Я в эти штуки не верю. Разгадка тут простая: в доме много панельных стен, потайных ходов, тайников и прочего.

— Тайников? — оживился Дуглас.

— Ну да, где прятались иезуиты. Настоящий кроличий садок. Один такой тайник как раз выходит в нишу гостиной. Неплохая, по-своему, комнатка. Только знаете... — голос сэра Питера зазвучал сердито, — надули меня с этими тайниками. Нет у меня их плана. Когда человек снимает дом, он должен чувствовать себя в нем хозяином. А это что ж получается? Я и не знаю, где половина этих тайников. Какие же мы хозяева! Мы даже не можем их заново обставить или немножко прибрать. Там, верно, грязь и плесень.

— Надеюсь, сэр Питер, там не убили ни одного иезуита? — спросил капитан Дуглас, не сводя глаз с лорда-канцлера.

— Ну что вы! — ответил сэр Питер. — Да я вообще не верю в эти тайники. В половину из них не заглядывал ни один иезуит. А разобраться — так все это изрядная чепуха...

Разговор продолжал вертеться вокруг привидений и тайников, пока мужчины не перешли в гостиную. Казалось, капитан Дуглас нарочно поддерживает эту тему, словно ему доставляли удовольствие эти дурацкие подробности, — и чем они были нелепей, тем больше удовольствия ему доставляли.

Лордом-канцлером вдруг овладел один из тех приступов непонятной подозрительности, которая подчас нападает на самых разумных людей. Чего ради Дуг-

¹ Очевидно, искаженное немецкое «*Plunderer*» — грабитель.

² Крикун, горлан (нсм.).

ласу понадобилось выпрашивать все подробности про этих шонтских духов? И зачем он все время при этом как-то загадочно на него поглядывал — не то вопросительно, не то с усмешкой? Что тут смешного? Как ни нелепа была подобная мысль, лорд-канцлер почти готов был поклясться, что этот мальчишка над ним потешается. За обедом он почувствовал, что о нем сейчас говорят. Он окинул стол взглядом: капитан Дуглас шептался с какой-то некрасивой дамой, кажется, женой этого остолопа Дуболоума; они о чем-то секретничали, откровенно на него поглядывая, и, очевидно, оба получали от этого удовольствие.

Что Дуглас сказал тогда в поезде? Кажется, что-то угрожающее. Точные слова его лорд-канцлер вспомнить не мог.

Лорд-канцлер был настолько занят всем этим, что утратил прежнюю осмотрительность. Он нечаянно оказался неподалеку от миссис Рэмпаунд Пилби. Ее голос, как лассо, изловил его и потянул к себе.

— Ну-с, как поживает лорд Магеридж? — спросила она.

Что можно ответить на такую дерзость!

Вот она так всегда. С человеком под стать лорду Бэкону будет разговаривать, как со школьником, приехавшим домой на праздник. Держится так самоуверенно, точно насквозь вас видит! Может, это и придает убедительность ее книгам, но ей самой не прибавляет обаяния.

— По-прежнему занимаетесь философией? — осведомилась она.

— Нет! — вскричал лорд-канцлер, на миг теряя всякую власть над собой и испуганно щетиня брови. — Я покончил с философией!

— Устроили себе каникулы. Ах, лорд Магеридж, как я завидую вам, законникам: у вас такие длинные каникулы! Вот у меня совсем не бывает каникул. Нас, бедных писателей, вечно преследуют наши творения — то рукописи, то гранки. Не то, чтоб я всерьез жаловалась на гранки. Признаться, я питаю к ним слабость. Но вот критика, увьи!.. Она порой так несправедлива!..

Лорд-канцлер начал спешно придумывать какую-нибудь грандиозную ложь, которая позволила бы ему,

не нарушая приличий, покинуть гостиную леди Лэкстон. Тут до его сознания дошло, что миссис Рэмпгаунд Пилби спрашивает: «Скажите, это тот самый капитан Дуглас, который влюблен в актрису, или его брат?».

Лорд-канцлер не ответил. А про себя думал: «Какое мне дело! Вот редкостная дура!»

— По-моему, это тот самый. Ему еще пришлось с позором покинуть Портсмут: такой там вышел скандал. Он, говорят, только тем и занимался, что разыгрывал разные шутки. Да так хитро и ловко! Он родич здешней хозяйки. Его потому, верно, и позвали...

Ответ лорда-канцлера выдал ход его мыслей.

— Пусть лучше не пробует разыгрывать здесь свои шутки, — сказал он. — Я не выношу паясничанья.

В гостиной сидели недолго. Даже от глаз леди Лэкстон не укрылась мрачность ее важного гостя, и вот, выпив ячменной воды и лимонада на лестничной площадке, гости распрощались, а сэр Питер повел лорда Магериджа под руку — тот терпеть не мог, чтобы его вели под руку — в маленькую, но достаточно просторную комнату, именуемую кабинетом. Лорд-канцлер изнывал от жажды: он вообще не отличался воздержанностью, но манера сэра Питера угощать была ему так неприятна, что он наотрез от всего отказался. В кабинете был только капитан Дуглас, готовый вот-вот разразиться какой-нибудь фамильярной выходкой, да лорд Дубинли — он тоже пожелал промочить горло; на коленях у него стоял огромный бокал виски с содовой, в котором позвякивал кусочек льда, — мучительное зрелище для томимого жаждой человека. Лорд-канцлер взял сигару и, захватив место перед камином, стоял там с видом полного довольства, хотя и чувствовал, что его самообладание испаряется с каждой минутой.

Сэр Питер после тщетной попытки захватить коврик перед камином — лорд-канцлер стоял как скала — завладел большим креслом и, вытянув ноги в сторону именитого гостя, возобновил с лордом Дубинли прерванный разговор об огнестрельном оружии. Мергелсон, как всегда, проявлял чрезмерное внимание к хозяйскому стакану, и сэр Питер совсем разошелся.

— Я всегда ходил при оружии, — говорил он, — хожу и буду ходить. Это надежная защита, только тут

надо с умом. Даже в деревне мало ли на кого на-
ткнешься!

— Но ведь оно может выстрелить и убить кого-ни-
будь,— заметил Дуглас.

— Я же сказал: с умом надо. Выхватить револьвер
и пулнуть в человека — это, знаете, не с умом. И це-
литься в него — тоже не годится. Тут-то он на вас и ки-
нется, если только он не вовсе трус. А я говорю:
с умом надо. Понятно?

Притворяясь, что слушает болтовню этого дурака,
лорд-канцлер старался думать про статью о Бесконеч-
ности. Револьверы он презирал. Вооруженный такими
бровями, он, разумеется, мог презирать огнестрельное
оружие.

— Так вот, у меня в спальне есть пара отличных
«бульдогов»,— продолжал сэр Питер.— Прямо думаешь:
пусть бы сунулся грабитель — был бы случай их испро-
бовать.

— Если вы застрелите грабителя, который на вас не
нападал, это будет убийство,— объявил лорд Дубинли
в неожиданном приступе раздражения, обычном у оби-
тателей Шонтса перед отходом ко сну.

Сэр Питер предостерегающе поднял руку.

— Сам знаю. Можете мне не объяснять.

Он еще больше повысил голос, чтоб его наконец по-
няли:

— Я же сказал: с умом надо!

На лорда-канцлера внезапно напала зевота, но он
ловко поймал ее в кулак. И сразу заметил, что Дуглас
поспешно схватился рукой за белокурый ус, чтобы скрыть
усмешку. Все скалится, мартышка! Чего смеется? Весь
вечер ухмыляется! Что-то затеял!

— А теперь слушайте, что значит с умом,— продол-
жал сэр Питер.— Вы выхватываете револьвер и тут
же стреляете в землю. Никто не должен видеть револь-
вера, пока он не выстрелит, ясно? Вы стреляете, и про-
тивники ошарашены. Вы не ошарашены. Вы ждали вы-
стрела, они — нет. Ясно? И вы хозяин положения:
у вас в запасе еще пять патронов.

— Пожалуй, сэр Питер, я вас покину,— сказал лорд-
канцлер, позволив своему взору мгновение задержать-

ся на вождеденном графине и слясь побороть в себе демона гордости.

Сэр Питер крайне дружелюбно помахал ему из своего кресла: дескать, в Шонтсе вы вольны делать, что вздумается.

— Сейчас я вам расскажу, какое приключение у меня было в Марокко.

— У меня слипаются глаза, — объявил неожиданно капитан Дуглас, потер глаза кулаками и встал.

Лорд Дубинли тоже поднялся.

— Так вот, — начал сэр Питер, тоже вставая. Он не намерен был расставаться ни со своим рассказом, ни с последним слушателем. — Учтите, я был тогда молод и еще не женат. Жил — не тужил, делил время между трудами и забавами. А когда такой весельчак попадает в чужой город, то его, конечно, понесет туда, куда он не пошел бы, будь он старше и умней.

Капитан Дуглас оставил сэра Питера и лорда Дубинли наслаждаться этим рассказом.

Он вышел на площадку и взял со стола одну из стоявших там зажженных свечей.

— Господи!.. — прошептал он.

Он скорчил себе перед зеркалом рожу и тут заметил, что лорд-канцлер опасливо и неприязненно глядит на него с верхней площадки. Дуглас попытался принять непринужденный вид. Впервые после столкновения в поезде он прямо обратился к лорду Магериджу.

— Как я понял, вы не верите в привидения, милорд, — сказал он.

— Нет, сэр, не верю, — ответил лорд-канцлер.

— Меня-то они нынче не потревожат.

— Они никого не потревожат.

— А все-таки премилый старей дом, — сказал капитан Дуглас.

Лорд-канцлер не удостоил его ответом и проследовал вверх по лестнице.

Сидя в задумчивости перед камином в отведенной ему уютной старой комнате, обшитой панелями, лорд-канцлер почувствовал, что слишком возбужден, чтобы спать. Вот тебе и загородная поездка! Кажется, в жизни такой не было! Миссис Рэмпгаунд Пилби его бесила;

Дуболоум безмерно раздражал: он был из школы прагматистов, а у них такие же отношения с гегельянцами, как у маленькой собачки с большой кошкой. Лэкстона он презирал, мистера Рэмпаунда Пилби не выносил и — насколько умела бояться — боялся капитана Дугласа. Никакого прибрежия, ни одной родственной души в доме, не у кого искать спасения от всей этой компании. Мистер Полском способен говорить лишь о делах партии, а лорд-канцлер, как раз потому, что он лорд-канцлер, давно потерял к ним интерес. А с Дубинли вообще не о чем говорить. Дамы на редкость невзрачны. Буквально ни одной хорошенькой. Лорду-канцлеру просто необходимо, чтоб вокруг были хорошенькие молодые женщины, которые хоть притворялись бы, что слушают его.

И вдобавок он изнывал от жажды.

В комнате у него была только вода — жидкость, пригодная для мытья зубов, не больше...

Но что толку об этом думать!..

Пожалуй, чтоб успокоиться, лучше всего перед тем как лечь спать, посидеть за письменным столом и написать страницу-другую в гегельянском духе по поводу статьи о Бесконечности, помещенной в «Хибберт». Право, ничто так не успокаивает встревоженный ум, как эти гегельянские упражнения; они возвышают нас над всем миром. Лорд-канцлер снял фрак и отдался этой прекрасной утехе, но не успел набросать и страницы, как жажда стала нестерпимой. Перед глазами неотступно стоял и дразнил его огромный бокал на коленях Дубинли — золотой, искристый, прохладный и бодрящий мысль.

Вот бы сейчас выпить стакан крепкого виски да закурить сигару из коробки Лэкстона — только эти сигары и доставили ему удовольствие за весь вечер.

А потом заняться философией.

Даже в свою бытность студентом он не признавал воздержанности, как истый тевтонец.

Он хотел было позвонить и спросить эти блага, но тотчас сообразил, что для этого поздновато. Почему бы самому не пойти в кабинет и не взять все, что надо?

Он отворил дверь и окинул взглядом парадную лестницу. Не лестница, а настоящее произведение искусства! Величественная, с низкими и широкими ступенями.

Кажется, нигде ни души. Лампы еще не погашены. С минуту он прислушивался, затем надел фрак и бесшумно, хотя и с некоторой поспешностью, что, впрочем, ничуть не умаляло его величавости, спустился в кабинет, где все напоминало о сэре Питере.

Он взял лишь самое необходимое и вышел из хозяйского кабинета.

То была для лорда-канцлера лучшая минута за все время его злополучного пребывания в замке Шонтс. В кармане его лежали четыре вполне приличные сигары. В одной руке он нес хрустальный графин с виски; в другой — вместительный бокал. Сифон он тащил под мышкой; он был уверен, что может таким способом унести многое множество всякой клади. Его душа уже готова была насладиться спокойствием, подобно птице, ускользнувшей от птицелова. А в мыслях он уже составлял следующую фразу о новом виде Бесконечности...

Тут что-то толкнуло его в спину — он даже сделал два шага вперед. Это было что-то косматое, как он потом вспомнил, что-то вроде половой щетки. Да еще в бока его ткнули две какие-то штучки, помягче...

И тут он издал тот странный звук — пискнул, как детеныш какого-то крупного животного.

Пытаясь спасти сифон, он выронил бокал.

— Какого черта!.. — вскричал он, но рядом никого не оказалось.

«Капитан Дуглас!» — мелькнуло у него в голове.

Но это был вовсе не Дуглас. Это был Билби. Билби, в страхе удиравший от Томаса. И откуда Билби мог знать, что этот рослый человек, нагруженный посудой, — лорд-канцлер Англии? За всю свою жизнь Билби видел во фраке лишь дворецкого, и потому решил, что перед ним еще один дворецкий, только покрупнее ростом и повыше рангом, который прислуживает наверху. Этот дворецкий, крупнее ростом и выше рангом, преграждал ему путь к отступлению. С быстротой затравленного зверька Билби понял: грозит опасность. Рослый человек загораживал дверь налево...

На площадке для игр Билби славился среди товарищей своей верткостью: он был проворен, как ящерица. Он ловко боднул лорда-канцлера, ткнул его в широкую спину кулаками и проскользнул в кабинет...

А лорд Магеридж, топтавшийся на битом стекле и ради обороны вертевшийся вокруг собственной оси, вообразил, будто такое оскорбление мог нанести ему лишь капитан Дуглас. Все шуточки да обманы. Привидение какое-то выдумали. Остолопы!

Все это он высказал вслух и очень гневно: он был уверен, что молодой человек и его возможные союзники где-то неподалеку и слышат его. Потом он изложил, отнюдь не в философской форме, свое суждение о капитане Дугласе как таковом и о военщине в целом, о страсти разыгрывать разные шутки, о лэкстоновом гостеприимстве и вообще о замке Шонтс. А слушал его, как вы помните, Томас...

Никакой реакции не последовало. Ни ответа, ни извинения. Наконец разъяренный лорд-канцлер, то и дело тревожно оглядываясь, стал подниматься наверх — как проклинал он себя за эту поездку!

Когда позади него отворилась обитая зеленым сукном дверь, он мигом обернулся и увидел рослого дворецкого с глуповатой физиономией. Лорд Магеридж, помахивая вместо скипетра графином, спокойно и решительно потребовал у него ответа на простой вопрос, но этот помешанный перепрыгнул зачем-то через три ступени и, метнувшись внезапно ему под ноги, опрокинул его.

Лорд Магеридж оцепенел от изумления. Ноги его разъехались в стороны. Он завопил, поминая нечистую силу.

(Сэру Питеру почудилось, что зовут на помощь.)

Несколько мгновений лорд Магеридж сам не мог разобраться в стремительном потоке нахлынувших на него чувств. Он ощутил неодолимое желание убивать дворецких. И вдруг раздался выстрел. Оказалось, что он сидит на площадке рядом с неприлично взъерошенным лакеем, а по лестнице к ним мчится хозяин дома с револьвером в руках.

В решающие минуты голос лорда Магериджа гремел, как гром. Так было и сейчас. С минуту лорд-канцлер, учащенно дыша, глядел на сэра Питера, а затем, подкрепленный указующим перстом, загремел голос. Никогда еще не звучало в нем столько страсти.

— Что все это значит, сэр, как вас там!.. — гремел он. — Что это значит?!

Как раз то же самое собирался спросить сэр Питер. Всегда неприятно давать объяснения.

И что бы ни случилось, не стоит говорить человеку, у которого вы в гостях: «Сэр, как вас там».

Весь вечер в душе леди Лэкстон росло чувство, что прием идет как-то неладно. Совсем непохоже, что лорд-канцлеру здесь нравится. А как помочь делу — и не придумаешь. Умная женщина догадалась бы, но она так привыкла считать себя неумной, что даже не пробовала.

Неудача за неудачей.

Откуда ей было знать, что есть два сорта философии — и совсем разные! Она думала: философия есть философия, а их, оказывается две, если не больше. Одна — большая круглая, — рассуждает об Абсолюте, чванливая и довольно вспыльчивая; вторая — колючая — делит людей на «слабых» и «сильных», и вообще более привычная. А смешаеть эти две философии — так одна неприятность. Жаль, не издают пособий в помощь хозяйкам, где разъяснялись бы подобные вещи.

Потом, как ни странно, лорд-канцлер, такой ужасно большой и умный, не пожелал разговаривать с миссис Рэмпгаунд Пилби, тоже ужасно большой и умной. Леди Лэкстон не раз пыталась свести их вместе, и когда наконец она прямо предложила ему подойти вместе с ней к великой писательнице, то в ответ услышала откровенное: «Упаси бог!» Ее мечта о большой и умной беседе, которую она потом с наслаждением вспоминала бы, развеялась, как дым. Она решила, что лорд-канцлеру почти невысказанно угодить. Эти гости никак ему не подходят. Почему ему не потолковать о партийных секретях с мистером Полскомом или поболтать о чем-нибудь с лордом Дубинли? Уж с этим-то можно говорить о чем придется. Или побеседовать с мистером Дуболоумом. Миссис Дуболоум дала ему превосходную тему для разговора; она спросила его, не очень ли хлопотно постоянно держать в голове Большую государственную печать. А он только буркнул что-то невнятное... И почему он все время так зло смотрит на капитана Дугласа?

Может быть, завтра все уладится...

Уж надеяться-то можно. Для этого не обязательно быть умной...

Так размышляла бедная хозяйка дома, когда вдруг услышала звон разбитого стекла, крики и pistolетный выстрел.

Она поднялась, приложила руку к сердцу, сказала: «Ах!» — и ухватилась, чтоб не упасть, за туалетный столик...

Некоторое время она прислушивалась, но снизу доносился лишь гул голосов, в котором явственно выделялся голос ее мужа, и она крадучись вышла на верхнюю площадку лестницы.

Здесь она увидела своего родича, Дугласа, который выглядел особенно белесым, хрупким и ненадежным в чересчур пышном шлафроке из вышитого японского шелка.

— Уверю вас, милорд, — говорил он каким-то пронзительным и неестественным голосом. — Даю вам слово, слово солдата, что я решительно ничего об этом не знаю.

— А вам, часом, не примерещилось, милорд? — вставил сэр Питер со своей обычной бестактностью.

Она собралась с духом и, перегнувшись через перила, тихо, но отчетливо спросила:

— Что такое случилось, лорд Магеридж, объясните, прошу вас?

Все мы поглощены собой, но нет большего эгоизма, чем эгоизм юности.

Билби настолько чувствовал себя центром вселенной, что не мог иначе объяснить весь этот шум, гам, битые посуды и pistolетную пальбу, как применительно к своей особе. Он решил, что это погоня. Что за ним гонится свора огромных дворецких, направленных смертельно оскорбленным Томасом. Про обитателей верхнего этажа Билби начисто забыл. Он схватил со стола сирийский кинжал, служивший для разрезания бумаги, нырнул под ситцевую оборку оттоманки, тщательно расправил ее складки и стал ждать, что будет.

Некоторое время никто не появлялся. Голоса шумно спорили на парадной лестнице. Слов Билби не различал, но, судя по всему, шла какая-то перебранка.

— Может, не погонятся, — шептал себе Билби для бодрости, — что-то не идут. Как видно, передышка.

Наконец к спорящим прибавился еще один голос — женский; по-видимому, он пытался их успокоить.

Потом Билби показалось, что люди расходятся искать его по всему дому. «Еще раз спокойной ночи», — сказал кто-то.

Это озадачило Билби, но он решил, что это так, для отвода глаз. И он продолжал сидеть тихо, как мышь.

В соседней комнате — она соединяла кабинет со столовой и, кажется, звалась «голубой гостиной» — что-то щелкнуло. Наверно, включили электричество.

Кто-то вошел в кабинет. Билби прищелкнул глазом к самому полу. Он затаил дыхание и с великой осторожностью придвинулся к занавеске. Оборка была тонкая, но непрозрачная, однако в щелку между нею и полом видна была полоска ковра и колесики на ножках стульев. Среди этих предметов он увидел ноги — даже не по щиколотку, а только ступни. Большие, плоские. Две. Они стояли на месте, и рука Билби невольно сжала рукоятку ножа.

Обладатель ступней, должно быть, осматривал комнату или о чем-то размышлял.

— Да выпивши он... Выпил или спятил, старый болван, — говорил голос. — Вот и все дело.

Мергелсон! Это его злой, попугайчий голос — Билби не мог ошибиться.

Ноги двинулись к столу, откуда донеслись слабые звуки, — осторожно наполняли стакан. На мгновение воцарилась тишина.

— Да-а!.. — сказал наконец голос; он звучал как-то по-новому.

Затем ноги пошли к двери, минуту постояли на пороге. Двойной щелчок. Это выключили свет. Билби очутился во мраке.

Потом хлопнула какая-то далекая дверь, и стало не только темно, но и тихо.

Мистер Мергелсон спустился в буфетную — там все сгорали от любопытства.

— Да лорд-канцлер упился до одури, — отвечал мистер Мергелсон на неизбежный вопрос: «Что там стряслось?»

— Я хотел спасти этот проклятый сифон, — продолжал рассказывать дворецкий. — Тут он как прыгнет на

меня, что твой леопард. Вообразил, верно, что я хочу отнять у него сифон. стакан-то он уж разбил. Как? А кто его знает! Там, на площадке лежит... Вот и вцепился мне в руку,— рассказывал мистер Мергелсон.

Тут Томасу пришел на ум странный и как будто не относящийся к делу вопрос.

— А где же все-таки наш Буян? — осведомился он.

— Господи! — вскричал мистер Мергелсон. — За всей этой кутерьмой я совсем забыл про мальчишку. Не иначе, где-нибудь наверху прячется.

Мергелсон помолчал. Вопросительно глянул на Томаса.

— Сидит за занавеской или еще где,— продолжал он. — Чудно. Куда он мог забраться...

— Да что о нем сейчас думать! — заключил мистер Мергелсон.

— Наверно, как всё уляжется, вернется тихонько в свою конуру,— подумав, сказал Томас.

— Что толку сейчас его искать! — сказал мистер Мергелсон. — Надо, чтоб они там, наверху, поуспокоились...

Но вскоре после полуночи мистер Мергелсон проснулся, вспомнил про Билби и стал гадать, в постели тот или нет. Это не давало ему покоя, и к рассвету он поднялся и пошел по коридору в каморку Билби. Мальчика там не было; постель была не смята.

Мистера Мергелсона томило предчувствие беды — к кому оно не приходит в ночной час? — и он не выдержал и пошел к Томасу поделиться своими тревогами. Томас с трудом проснулся и был порядком зол, но наконец уселся в постели, готовый выслушать страхи мистера Мергелсона.

— Если после всей этой катавасии его найдут где-нибудь наверху... — начал мистер Мергелсон и предоставил слушателю вообразить остальное.

Он помолчал, потом прибавил:

— Уже светает. Сдается мне, надо бы сейчас пойти поискать его. Обоим, вместе.

И вот Томас кое-как оделся, и оба лакея тихонько поднялись наверх и провели ряд тайных и стремитель-

ных налетов — в духе исторических налетов лорда Китченера в Трансваале — на величавые старинные покои, где, наверно, прятался Билби...

Человек — самое неутомимое из животных. Им владеет вечная непоседливость. Он никак не может понять, что от добра добра не ищут. Вот и Билби стало невозможно сидеть в своем сравнительно безопасном убежище — под кушеткой. Прошло только двадцать минут, а ему казалось, что он сидит там целую вечность. Когда глаза его привыкли к темноте, он для начала с опаской высунул голову, потом вылез сам и с полминуты стоял на четвереньках, вглядываясь в темноту.

Потом он поднялся на колени. Потом встал во весь рост. Вытянул вперед руки и, осторожно ступая, пустился обследовать комнату.

Исследовательский пыл возрастает с каждым открытием. Билби скоро нащупал проход в голубую гостиную, а оттуда мимо затянутых гардинами и закрытых ставнями окон прошел в столовую. Его мысли были сейчас заняты одним: как найти убежище, более долговечное и менее доступное для горничных, чем эта кушетка. Он уже достаточно знал домашние порядки и понимал, что утром служанки учинят разгром в верхних комнатах. Оставив позади множество запутанных поворотов и неожиданных углов, он в конце концов очутился в столовой, в камине, и наткнулся на каминные щипцы. Сердце его учащенно забилось. Ощупав стену в камине, он в темноте обнаружил то, что никто не находил при дневном свете, — кнопку, отодвигавшую панель, позади которой скрывался проход в тайник. Он почувствовал, как отошла панель, и остановился в замешательстве. Ни луча света. Он долго пытался понять, что это за отверстие, и наконец решил, что это какая-то черная лестница. Так ведь он как раз и обследует дом! С большой осторожностью Билби ступил за панель и почти совсем задвинул ее за собой.

Ощупав все вокруг, он смекнул, что находится в узком проходе, то ли кирпичном, то ли каменном, который тянулся шагов на двадцать и упирался в винтовую лестницу — она шла вверх и вниз. Он стал поднимать-

ся и скоро ощутил прохладный ночной воздух и сквозь узкую щель окна, заросшего плющом, увидел звезды. Вдруг, к его ужасу, что-то метнулось прочь.

Билби не сразу оправился от страха, но потом опять стал взбираться по лестнице.

Он очутился в тайнике — просторной квадратной кельеке в шесть футов, со скамьей вместо постели и маленьким столом и стулом. Дверка на лестницу была отворена, в нише стоял шкаф. Билби на минуту остановился. Но любознательность толкала его вперед; он прополз еще немного по тесному коридору и тут попал в какой-то странный проход, одна стена которого была деревянная, другая — каменная. И вдруг — о счастье! — впереди забрезжил свет.

Билби ощупью двинулся к нему и в страхе остановился. Справа, из-за этой деревянной стены, слышался голос.

— Войдите! — сказал голос. Низкий мужской голос в каких-нибудь трех шагах.

Билби замер на месте. Он выждал подольше и снова двинулся вперед — тихо, как мог.

Голос говорил с самим собой.

Билби внимательно прислушался и, когда вновь стало тихо, прокрался чуть поближе к мерцавшему свету. То был глазок.

Невидимый оратор разгуливал по комнате. Билби прислушался: к стуку его сердца примешивалось шлепанье комнатных туфель. Еще одно усилие — и глаз его прильнул к скважине. Стало тихо. На минуту Билби растерялся — под ним на темно-сером фоне вырисовывался огромный сияющий розовый купол. У основания купола рос какой-то редкий кустарник, бурый и голый.

Да это чья-то лысина и брови! Больше ничего не видно...

В ответственные минуты Билби всегда начинал громко сопеть.

— Да что же это! — проговорил обитатель комнаты и внезапно встал (из ворота халата торчала длинная волосатая шея) и подошел к стене. — С меня довольно!.. — гремел голос. — Хватит с меня этих дурацких шуток!

Лорд-канцлер принялся простучивать панели в своей комнате.

— Пустота! Везде пустота! По звуку слышно!

Прошло еще немало времени, прежде чем он снова вернулся к Бесконечности.

Всю ночь напролет эта запанельная крыса не давала покоя лорду-канцлеру. Едва он начинал говорить или двигаться, все стихало, но только он брался за перо, что-то начинало шуршать и тыкаться в стену. И еще — не переставая сопело, и до того несносно, сил нет! В конце концов лорд-канцлер оставил свои философские упреждения, лег в постель, потушил свет и попробовал заснуть, но его беспокойство только возросло — сопение приблизилось. Очевидно «Оно» в темноте влезло в комнату и принялось скрипеть половицами и чем-то пощелкивать. «Оно» непрерывно все тыкалось и тыкалось...

Лорд-канцлер так и не смежил глаз. Когда в окно скользнули проблески зари, он сидел на постели, измученный и злой... Вдобавок он готов был поклясться, что сейчас кто-то идет снаружи по коридору.

Ему ужасно захотелось кого-нибудь поколотить. Может, он сейчас схватит на площадке этого любителя изображать привидения. Это, конечно, Дуглас крадется к себе после ночных проделок.

Лорд-канцлер накинул на плечи красный шелковый халат. Тихонько отворил дверь спальни и осторожно выглянул наружу. На лестнице слышались шаги человека в комнатных туфлях.

Он прокрался по широкому коридору к красивой старинной балюстраде. Внизу он увидел Мергелсона — опять все того же Мергелсона! В неприличном неглиже тот прокрадывался в дверь кабинета, как змея, как воробьятая кошка, как убийца. Ярость закипела в сердце великого человека. Подобрав полы халата, он стремительно, но бесшумно ринулся в погоню.

Он последовал за Мергелсоном через маленькую гостиную в столовую и тут все понял! Одна из панелей в стене была отодвинута, и Мергелсон осторожно влезал в отверстие. Так и есть! Они допекали его из тайника. Травили. Занимались этим всю ночь и, разумеется, по очереди. Весь дом в сговоре.

Встопорщив брови, как бойцовый петух крылья, лорд-канцлер в пять неслышных шагов догнал дворецкого и

в ту самую минуту, когда тот собирался нырнуть в камин, схватил его вместо ворота за ночную рубашку. Так ястреб бросается на воробья. Почувствовав, что его схватили, Мергелсон обернулся и увидел рядом хорошо знакомую свирепую физиономию, пылавшую жаждой мести. Тут он утратил всякое достоинство и взвыл, как последний грешник...

Сэр Питер спал тревожно и проснулся оттого, что скрипнула дверь гардеробной, которая соединяла его спальню со спальней жены.

Он сел на постели и с удивлением уставился на бледное лицо леди Лэкстон, казавшееся почти мертвенным в холодной предрассветной мгле.

— Питер,— сказала она,— по-моему, там опять что-то творится.

— Опять?

— Да. Кричат и бранятся.

— Неужто же...

Она кивнула.

— Лорд-канцлер,— прошептала она в благоговейном страхе.— Опять гневается. Внизу, в столовой.

Сперва сэр Питер как будто отнесся к этому спокойно. Но вдруг пришел в ярость.

— Какого черта! — заорал он, соскакивая с постели.— Я этого не потерплю! Да будь он хоть сто раз лорд-канцлер!.. Устроил здесь сумасшедший дом. Ну, один раз — ладно. Так он опять начал... А это еще что такое?!

Оба замерли, прислушиваясь. До них донесся слабый, но явственный крик; кто-то отчаянно вопил: «Спасите, помогите!» Никто из благородных и воспитанных гостей леди Лэкстон, конечно же, так вопить не мог.

— Где мои штаны?! — вскричал сэр Питер.— Он убивает Мергелсона. Надо бежать на помощь.

Пока сэр Питер не вернулся, ошеломленная леди Лэкстон сидела на постели, точно окаменевшая. Она даже молиться не могла.

Солнце все еще не взошло. Комнату наполнял тот тусклый и холодный лиловатый свет, который вползает

к нам на заре; это свет без тепла, знание без веры, жизнь без решимости. Леди Лэкстон ждала. Так дожидается своей участи жертва, обреченная на заклание.

Снизу донесся хриплый крик...

Ей вспомнилось ее счастливое детство в Йоркширской долине, когда она еще и думать не думала о пышных приемах. Вереск. Птички. Все такое милое. По щеке ее сбежала слеза...

А потом перед нею вновь появился сэр Питер — он был цел и невредим, только еле дышал и пылал гневом. Она прижала руки к сердцу. Надо быть мужественной.

— Ну, говори, — сказала она.

— Он совсем рехнулся, — проговорил сэр Питер.

Она кивнула, чтоб он продолжал. Что гость помешан, она знала.

— Он... кого-нибудь убил? — прошептала она.

— Похоже, собирался, — ответил сэр Питер.

Она кивнула и плотно сжала дрожащие губы.

— Пускай, говорит, Дуглас уедет, иначе он не останется.

— Дуглас?! Почему?!..

— Сам не понимаю. Только он ничего и слушать не хочет.

— Но при чем тут Дуглас?

— Говорю тебе, он совсем рехнулся. У него мания преследования. Кто-то к нему всю ночь стучался, чем-то звенел над ухом — такая у него мания... Совсем взбесился. Говорю тебе, он меня напугал. Он был просто страшен... Подбил Мергелсону глаз. Взял и стукнул его. Кулаком. Поймал его у входа в тайник — уж не знаю, как они его сыскали, — и накинулся на него как бешеный.

— Но в чем виноват Дуглас?

— Не пойму. Я его спрашивал, он даже не слушает. Совсем спятил. Толкует, будто Дуглас подучил весь дом изображать привидение, чтоб его напугать. Говорю тебе, он не в своем уме.

Супруги посмотрели друг на друга.

— Словом, Дуглас бы очень меня обязал, если бы тут же уехал, — сказал наконец сэр Питер. — Магеридж

бы немножко успокоился,— пояснил он.— Сама понимаешь, как все это неприятно.

— Он поднялся к себе?

— Да. Ждет ответа — выгоню я Дугласа или нет. Ходит взад и вперед по комнате.

Оба некоторое время сидели совершенно подавленные.

— Я так мечтала об этом завтраке! — сказала леди Лэкстон с грустной улыбкой.— Все графство...— Она не могла продолжать.

— Одно я знаю наверняка,— сказал сэр Питер.— Больше он у меня не получит ни капли спиртного. Я сам за этим прослежу. Если надо, обыщу его комнату.

— Что мне сказать ему за столом, ума не приложу,— заметила она.

Сэр Питер немного подумал:

— А тебе вовсе не надо в это вмешиваться. Делай вид, будто ничего не знаешь. Так с ним и держись. Спроси его... спроси... как, дескать, вам спалось?..

ГЛАВА III

КОЧЕВНИЦЫ

Никогда еще исполненный прелести восточный фасад Шонтса не был так хорош, как наутро по приезде лорда-канцлера. Он весь точно светился, будто озаренный пламенем янтарь, а обе его башни походили на колонны из тусклого золота. Покатые крыши и парапеты заглядывали в широкую долину, где за туманной дымкой поднимались свежие травы и серебряной змейкой струилась далекая река. Юго-западная стена еще спала в тени, и свисавший с нее плющ был таким гемно-зеленым, что зеленее и не бывает. Цветные стекла старой часовни отражали восход, и казалось, что внутри нее горят лампы. По террасе брел задумчивый павлин, волоча по росе свое скрытое от глаз великолепие. Из плюща несли птичий гомон.

Но вот у подножия восточной башни, из плюща, вынырнуло что-то маленькое, желтовато-бурое, как будто кролик или белка. То была голова — всклокоченная че-

ловеческая голова. С минуту она не шевелилась, оглядывая мирный простор террасы, сада, полей. Потом выснулась побольше, повертелась во все стороны и осмотрела дом над собой. Лицо мальчика было насторожено. Его природную наивность и свежесть несколько портила огромная зловещая полоса сажи, шедшая через все лицо, а с маленького левого уха свисала бахрома паутины — вероятно, подлинной древности. То была мордочка Билби.

А что, если убежать из Шонтса и никогда больше не возвращаться?

И вскоре он решился. Следом за головой показались руки и плечи, и вот Билби весь в пыли, но невредимый кинулся в угол сада — в кусты. Он пригнулся к земле, боясь, что сейчас стая гнавшихся за ним дворецких заметит его и подаст голос. Через минуту он уже пробирался сквозь чащу расцветающих рододендронов, а потом вдруг исчез из глаз. После странствий по грязным переходам он упивался свежестью утра, но был голоден.

Олени, что паслись в парке, поглядели на бегущего мимо Билби большими, добрыми и глупыми глазами и снова принялись щипать траву.

Они видели, как он на бегу рвал грибы, проглатывал их и летел дальше.

На опушке буковой рощи он замедлил шаг и оглянулся на Шонтс.

Потом глаза его задержались на группе деревьев, за которыми чуть виднелась крыша садовничьего домика и краешек ограды...

Какой-нибудь физиономист прочел бы в глазах Билби заметную неуверенность.

Но он был крепок духом. Медленно, быть может, не без грусти, но с мрачной решимостью приставил он руку к носу — этим доисторическим жестом юность испокон веку отстаивает свою духовную независимость от гнетущих житейских условностей.

— Ищи ветра в поле! — сказал Билби.

Мальчик ушел из Шонтса около половины пятого утра. Он двинулся на восток, привлеченный обществом своей тени — она поначалу очень забавляла его своей

длиной. К половине девятого он отмахал десять миль, и собственная тень порядком ему наскучила. Он съел девять сырых грибов, два зеленых яблока и много незрелой черники. Все это не очень ужилось в его желудке. Вдобавок оказалось, что он в комнатных туфлях. Это были шлепанцы, хотя и сшитые из прочной ковровой ткани,— в таких далеко не уйдешь. На девятой миле левая разошлась снаружи по шву. Билби перебрался через изгородь и очутился на дороге, срезавшей край леса, и тут ему в ноздри ударил запах жареного сала — душа его наполнилась желудочным соком.

Он остановился и принюхался — казалось, шипел весь воздух.

— Ух ты!..— сказал Билби, обращаясь, очевидно, к Мировому духу.— Это уж слишком. Как же я раньше не подумал!..

Тут он увидел за живой изгородью что-то большое, ярко-желтое.

Оттуда и доносилось шипение.

Ничуть не таясь, он направился к изгороди. Возле громадного желтого фургона с аккуратными окошечками стояла крупная темноволосая женщина в войлочной шляпе, короткой коричневой юбке, большом белом фартуке и (не считая прочего) в гетрах и жарила на сковородке сало с картофелем. Щеки ее покраснелись, а сковородка плевала на нее жиром, как это всегда бывает у неумелых поварих...

Билби, сам того не замечая, пролез сквозь изгородь и придвинулся поближе к божественному аромату. Женщина с минуту внимательно его разглядывала, а потом прищурилась, отвернулась и опять занялась стряпней. Билби подошел к ней вплотную и, как замороженный, уставился на сковородку, где весело плевался и лопался пузырями кипящий жир, а в нем плавали кусочки картофеля и лихо крутились ломтики ветчины...

(Если мне судьба быть изжаренным, то пусть меня жарят с маслом и картошкой. Пусть жарят с картофелем в лучшем сливочном масле. Не дай бог, чтоб меня варили, заточив в котелок с дребезжащей крышкой, где темным-темно и бурлит жирная вода...)

— По-моему,— произнесла леди, тыча вилкой в кусок сала,— по-моему, ты называешься мальчиком.

— Да, мисс,— отвечал Билби.

— Тебе приходилось когда-нибудь жарить?

— Приходилось, мисс.

— Вот этак же?

— Получше.

— Тогда берись за ручку — мне все лицо опалило.—

С минуту она, как видно, размышляла и прибавила: —
Вконец.

Билби молча схватил за ручку этот усладительный запах, взял из рук поварихи вилку и почти уткнулся жадным и голодным носом в кипевшее лакомство. Тут было не только сало, тут был еще и лук — это он дразнил аппетит. Прямо слюнки текли. Билби готов был расплакаться, так ему хотелось есть.

Из окошка фургона позади Билби раздался голос почти столь же пленительный, как этот запах.

— Джу-ди!..— звал голос.

— Ну что?.. Я здесь,— отвечала леди в войлочной шляпе.

— Джу-ди, ты случайно не надела мои чулки?

Леди в войлочной шляпе весело ужаснулась.

— Тсс-с, негодница! — вскричала эта особа (она принадлежала к тому распространенному типу симпатичных женщин, в которых сильнее, чем надобно, чувствуется их ирландская горячность).— Тут какой-то мальчик.

И в самом деле, здесь был почти до раболепия усердный и услужливый мальчик. Спустя час он уже превратился из «какого-то мальчика» просто в Мальчика, и три благосклонные дамы глядели на него с заслуженным одобрением.

Поджарив картошку, Билби с удивительной ловкостью и проворством раздул затухавший огонь, быстро вскипятил их давно не чищенный чайник, почти без всякой подсказки приготовил все нужное для их несложной трапезы, правильно расставил складные стулья и восхитительно вычистил сковородку. Не успели они разложить по тарелкам это соблазнительное кушанье, как он помчался со сковородкой за фургон; ко-

гда же он, повозившись там, вернулся, сковорода сияла ослепительным блеском. Сам он, если это возможно, сиял еще ослепительней. Во всяком случае, одна его щека пылала ярким румянцем.

— Ведь там, кажется, оставалось немного сала с картошкой,— заметила леди в войлочной шляпе.

— Я думал, оно не нужно, мисс,— ответил Билби.— Вот и вычистил сковороду.

Она взглянула на него понимающе. Что она хотела сказать этим взглядом?

— Давайте, я помою посуду, мисс,— предложил он, чтобы как-то преодолеть неловкость положения.

И вымыл — чисто и быстро. Точь-в-точь, как требовал мистер Мергелсон, а ведь раньше он никак не мог ему угодить. Потом спросил, куда прибрать посуду,— и прибрал. Потом вежливо осведомился, что еще надо сделать. А когда они удивились, добавил, что любит работать.

— А любишь ты чистить обувь? — спросила леди в войлочной шляпе.

Билби объявил, что любит.

— Да это какой-то добрый ангел,— произнес пленивший Билби голос.

Значит, он любит чистить обувь? Кто б мог поверить, что это сказал Билби! Впрочем, за последние полчаса с ним произошла разительная перемена. Он сгорал желанием трудиться, выполнять любую работу, самую грязную, и все ради одной особы. Он влюбился.

Обладательница чарующего голоса вышла из фургона, минуту задержалась на пороге и стала спускаться по ступенькам, и душа Билби мгновенно склонилась перед ней в рабской покорности. Никогда еще не видел он ничего прелестнее. Тоненькая и стройная, она была вся в голубом; белокурые, чуть золотящиеся волосы были откинуты с ясного лба и падали назад густыми локонами, а лучезарнее этих глаз не было в целом свете. Тонкая ручка придерживала юбку, другая ухватилась за притолоку. Красавица глядела на Билби и улыбалась.

Вот уже два года, как она посылала свою улыбку со сцены всем Билби на свете. Вот и сейчас она по привычке вышла с улыбкой. Восхищение Билби было для нее чем-то само собою разумеющимся.

Затем она огляделась, желая узнать, все ли готово и можно ли спускаться вниз.

— Как вкусно пахнет, Джуди! — сказала она.

— А у меня был помощник, — заметила женщина в гетрах.

На сей раз голубоглазая леди улыбнулась именно Билби...

Тем временем незаметно появилась и третья обитательница фургона; ее совсем затмило очарование ее подруги. Билби даже не сразу ее увидел. Она была без шляпы, в простом сером платье и спортивной жакетке; из-под черных локонов глядело миловидное белое личико с правильными чертами. Она отзывалась на имя Уинни.

Красавица звалась Мадлен. Они обменялись какими-то шуточками и принялись восхищаться утром.

— Это самое красивое место, — объявила Мадлен.

— За всю ночь ни одного москита, — прибавила Уинни.

Все три женщины ели с аппетитом, нисколько этого не стесняясь, и с одобрением принимали услуги Билби. Прекрасная вещь одобрение! Здесь он с радостью, гордостью и настоящим рвением исполнял ту самую работу, которую делал из-под палки и кое-как для Мергелсона и Томаса...

Они с явным удовольствием поглядывали на Билби и вот, посоветовавшись вполголоса — что доставило ему несколько тревожных минут, — подозвали его и велели рассказать о себе.

— Мальчик, — начала леди в войлочной шляпе, которая явно была за старшую и, уж несомненно, за оратора, — подойди-ка сюда.

— Да, мисс. — Он отложил туфлю, которую чистил на ступеньке фургона.

— Во-первых, знай, я замужем.

— Да, мисс.

— Поэтому не называй меня «мисс».

— Понятно, мисс. То есть... — Билби запнулся, и тут в его памяти, по счастью, всплыл обрывок наставлений, слышанных им в Шонтсе. — Понятно, ваша милость, — закончил он.

Лицо речистой леди так и засияло.

— Пока нет, детка,— сказала она,— пока нет. Мой муж еще не позаботился раздобыть мне дворянство. Зови меня просто «сударыня».

Билби понимающе молчал.

— Скажи: да, сударыня.

— Да, сударыня,— повторил Билби, и все весело рассмеялись.

— А теперь, — продолжала леди, любившая поговорить,— да будет тебе известно... Кстати, как тебя звать?

Билби почти не смутился.

— Дик Малтраверс, сударыня,— выпалил он и чуть не добавил: «Удалец-молодец Рыцарь алмазного коня» — это был полный его титул.

— Хватит и Дика,— заметила леди, звавшаяся просто Джуди, и вдруг весело добавила: — Прочее оставь про запас.

(Билби любил шутников. Правильные люди.)

— Так вот, Дик, мы хотим знать, был ты когда-нибудь в услужении?

Этого Билби не ждал. Но его не поймает врасплох.

— День или два, мисс... то есть сударыня... просто надо было пособить.

— Ну и как, пособил?

Билби стал вспоминать, но в памяти его возникла лишь физиономия Томаса с вилкой в подбородке.

— Я старался, как мог, сударыня,— сказал он беспристрастно.

— А теперь ты свободен?

— Да, сударыня.

— Живешь дома, ни у кого не служишь?

— Да, сударыня.

— Близко ваш дом?

— Нет... но и не так чтоб далеко.

— С отцом живешь?

— С отчимом, сударыня. Я сирота.

— А не хочешь ли ты поездить с нами несколько дней? Будешь нам помогать. За семь шиллингов шесть пенсов в неделю.

Билби так и просиял.

— Твой отчим согласится?

Билби задумался.



«БИЛБИ»



«БИЛБИ»

— Наверно,— сказал он.

— А все-таки лучше пойдй спроси его.

— Ну... ладно,— сказал он.

— И захвати свои вещи.

— Вещи, сударыня?

— Да, воротнички и прочее. Большой чемодан не бери: мы проедем недолго.

— Понятно, сударыня...

Он медлил в сомнении.

— Беги прямо сейчас. Скоро придет наш человек с лошастью. Долго мы тебя ждать не сможем...

И Билби тотчас пошел прочь.

Выходя с полянки, он почти неприметно замедлил шаг и поглядел в сторону по-воскресному тихой деревни.

На лице его была полная растерянность. Разрешение отчима — дело не хитрое, но как быть с чемоданом?

Сзади его окликнули.

— Да, сударыня? — отозвался он почтительно и с надеждой. Может, все-таки вещей не надо...

— Непременно захвати башмаки. Тебе придется идти рядом с фургоном. Для этого, сам понимаешь, нужна пара крепких ботинок.

— Хорошо, сударыня,— ответил Билби упавшим голосом. Он еще капельку помедлил, но больше ему ничего не сказали. И он пошел — медленно-медленно. Про башмаки-то он и забыл.

Это был последний удар... Не попасть в рай из-за какого-то узелка с бельем и пары дорожных башмаков!..

Билби совсем не был уверен, что сможет вернуться. А ведь ему так этого хотелось...

Возвратиться босым будет глупее глупого, а он не желал, чтобы красавица в голубом сочла его за дурака.

«Дик,— уныло шептал про себя,— Дик-Удалец (видели бы вы этого несчастного удалца!), ничего не выйдет, дружище. Нужно принести узелок, а его, хоть умри, негде взять».

Билби шел по деревне, ничего не замечая кругом. Он знал — здесь никаких узелков нет. Почти не думая, куда он идет, он выбрал боковую тропинку; она привела его

к почти пересохшему руслу маленькой речушки, и здесь он уселся под ивами прямо на заросшую сорной травой землю. Это была какая-то свалка — один из тех заросших крапивой и неприглядных даже в сиянии утреннего солнца уголков, куда люди сваливают старые котелки, битые склянки, осколки камня, поломанные косилки, ржавое железо, рваные башмаки...

Сперва Билби разглядывал все это без особого интереса.

Потом он вспомнил, как еще недавно, играя однажды на такой свалке, подобрал рваный башмак и соорудил из него волшебный замок.

Он поднялся, подошел к куче хлама и с живым любопытством стал разглядывать ее сокровища. Поднял какой-то овдовевший башмак, взвесил на руке.

Вдруг он швырнул его наземь и помчался обратно в деревню.

У него родилась мысль, вернее, две: как достать узелок и как быть с башмаками... Только бы удалось! В сердце мальчика мощными крылами забила надежда.

Воскресенье! Магазины закрыты. Новая помеха. Об этом он позабыл.

Только дверь трактира была стыдливо приотворена, будто совсем и не приглашала, а так, приоткрылась воскресным утром, чтоб вскоре окончательно захлопнуться. Но — увы! — в трактиры мальчикам доступа нет ни в воскресенье, ни в будни. Да там и не сыщется то, что ему нужно; это есть в магазине, в обыкновенном магазине. Вот он как раз перед ним, и дверь не заперта! Желание раздобыть хоть какой-нибудь сверточек заставило Билби переступить порог. Ставни в лавке были по-воскресному закрыты, и в помещении царил сумрак и прохлада; даже самый воздух — обычный воздух бакалейной лавки, пропитанный запахом сыра, сала и свечей, тихий и мешкотный, тоже был напоен воскресной прохладой, точно вздумал отдохнуть здесь денек в праздничном наряде. Добродушная женщина, облокотясь о прилавок, разговаривала с другой женщиной, худощавой и изнуренной, державшей в руке узел.

Они явно говорили о чем-то важном и сразу же смолкли при появлении Билби. Ему так хотелось получить не-

обходимое, что он совсем перестал глядеть букой. Казался добрым и кротким, услужливым и почтительным. Значительно моложе своих лет. Умиленно смотрел. Вел себя, как полагается благовоспитанному мальчику.

— Мы нынче не торгуем, мальчик,— сказала добродушная женщина.

— Ах, пожалуйста, сударыня...— умоляюще проговорил он.

— Сам знаешь, сегодня воскресенье.

— Ах, пожалуйста, сударыня, дайте мне какой-нибудь старый лист бумаги, пожалуйста.

— Для чего тебе? — спросила добродушная женщина.

— Кое-что завернуть, сударыня.

Она подумала немножко, и природная доброта взяла верх.

— Большой тебе кусок? — спросила она.

— Да, пожалуйста, сударыня.

— Оберточной?

— Да, пожалуйста, сударыня.

— А бечевка у тебя есть?

— Тесемка,— отвечал Билби, роясь в кармане штанов.— Вся в узлах. Ничего, я обойдусь.

— Возьми-ка лучше кусок крепкой бечевки, детка,— сказала добродушная женщина, теперь ее щедрость не знала границ.— И сверток у тебя получится красивый и аккуратный...

Когда, к радости кочевниц, Билби вернулся, в фургон была уже впряжена белая лошадь и Уильям, тугоухий и нескладный субъект неопределенного возраста с большим, похожим на клюв носом, втаскивал корзину с чайной посудой и тихонько ворчал, что путешествовать в праздник нечестиво и безнравственно.

— Я же говорила, что он придет,— объявила неприметная леди.

— Взгляните, какой у него крохотный сверточек,— промолвила актриса.

Сверток его и впрямь был невелик — ведь, по чести сказать, в нем только и было, что жестянка, пара старых башмаков да пучок травы, аккуратно сложенные и тща-

тельно завернутые, но все равно торчавшие углами; Билби нес свой пакет с большой осторожностью.

— Послушай,— начала леди в войлочной шляпе и осеклась.

— Дик,— сказала она, когда он подошел к ней поближе,— где же твои башмаки?

— Ах, пожалуйста, сударыня...— проговорил Удалец-молодец,— их отдали в починку. Отчим думает, что может, вы все-таки согласитесь взять меня. Говорит, башмаки я смогу купить себе из жалованья...

Леди в войлочной шляпе поглядела на Билби с каким-то сомнением, очень его встревожившим, и он с трудом поборол отчаяние.

— А мамы у тебя нет, Дик? — спросил вдруг чарующий голос. Его обладательнице были свойственны приступы внезапной любознательности.

— Она... в прошлом году...

Матереубийство всегда было трудным делом. К тому же, поймите, он так старался, а синяя птица все равно ускользала из рук. Да еще в этом милом голосе было столько жалости, столько сочувствия! Билби закрыл лицо рукавом и залился горячими слезами...

Всех трех кочевниц охватило желание приласкать мальчика и помочь ему забыть свое горе...

— Все обойдется, Дик,— сказала леди в войлочной шляпе, похлопывая его по плечу.— Какие-нибудь башмаки мы тебе завтра доставим. А сегодня придется тебе посидеть рядом с Уильямом, поберечь ноги. Будешь заезжать с ним на постоянные дворы...

— Как легко утешается юность!— сказала пять минут спустя неприметная леди.— Поглядеть сейчас на мальчика, так и в голову не придет, что он видел горе.

— А теперь лезь на козлы,— сказала леди, которая была у них за старшую.— Мы пройдем полем, а потом присоединимся к вам. Уильям, ты понял, где нас ждать?

Она подошла ближе и прокричала:

— Ты понял, Уильям?

Уильям как-то загадочно кивнул.

— Чай, не пень,— буркнул он.

Женщины удалились.

На прощание актриса ласково бросила мальчику:

— Не горюй, все будет хорошо, Дик.

Он уселся на козлах и после всего, что было, старался сохранить вид Дика-сиротки.

«Знаком ли вам запах вересковых полей? Жили вы когда-нибудь кочевой жизнью? Случалось ли вам во время странствий заводить разговор с цыганами в овеваемых ветрами вересковых пустошах дома и на чужбине? Случалось ли вам бродить широкими большаками, а на закате раскидывать палатку у быстрого ручья и готовить себе ужин при свете звезд на костре из сосновых веток? Ведом ли вам крепкий, без сновидений, сон бродяги, который в ладу с самим собой и со всей вселенной?»

Кто из нас ответит утвердительно на эти вопросы Клуба любителей туризма?

Между тем каждый год зов дорог и обаяние книг Борроу¹ выманивает на лоно природы из благоустроенного, но сложного мира цивилизации какое-то число фантазеров, и они живут в палатках, и разъезжают в фургонах, и порой возятся с хитроумными приспособлениями для готовки на свежем воздухе. В такое путешествие надо пускаться с большими надеждами и запасом душевной бодрости. Это испытание дружбы, которое выдержит не всякий, и в целом — большое удовольствие. Жизнь на вольном воздухе по большей части сводится к мытью посуды и беспокойным поискам места, где вам позволят разбить лагерь. Вы узнаете, как богат и обилен наш мир зеваками и как легко обойтись без многих вещей, которые продаются в бакалейных лавках...

Радость подобного бытия — в его отрешенности. Утро, светит солнышко, и вы можете ехать, куда вздумается, по тенистой дороге. У вас есть все что нужно. Ваш фургон поскрипывает рядом с вами. Вы живете не в гостиницах, не в домах; у вас своя кров, своя община, вы — государство в государстве. В любую минуту можно свернуть на поросшую травой обочину и объявить: «Вот мой дом, пока не сгонит здешний владелец!» В любое время — если только вам удастся сыскать Уильяма и он не заупрямится — вы впряжете лошадей и двинетесь

¹ Борроу, Георг (1803—1881) — английский писатель и путешественник.

дальше. Перед вами весь мир. Вы вкушаете безмятежность улитки.

Вдобавок ко всем этим утехам у двух из трех кочевниц были свои, особые радости. Они обожали Мадлен Филипс. Она не только была на редкость хороша и обаятельна, но и славилась этим; она обладала самой неотразимой в глазах женщин прелестью — очарованием успеха. Теперь подруги завладели ею. Их пример опровергал старую теорию, будто женщины не умеют дружить и им не о чем разговаривать. У каждой была в запасе куча милых и остроумных рассказов, а когда они не болтали, то что-нибудь пели. К тому же они отдыхали от «своих мужчин». Они прекрасно без них обходились. Доктор Баулс, супруг леди в войлочной шляпе, пребывал в Ирландии, а мистер Гидж, повелитель не приметной леди, играл в гольф в Сэндуиче. А Мадлен Филипс, разумеется, была только рада вырваться из толпы обожателей, которые вечно вокруг нее увивались...

И все же на четвертый день каждая стала думать, что не худо бы завести какого-нибудь помощника, особенно для мытья посуды, но предпочитала молчать, и тема эта ощутимо притаилась где-то за их милыми и веселыми разговорами, подобно молчаливой черной реке, катящей свои воды под ажурным мостом. При всей их беззаботной веселости у каждой было странное чувство, будто другие не очень внимательно ее слушают и половина ее стараний пропадает даром. Мадлен теперь реже улыбалась; по временам она была почти безучастна, и Джуди приберегала чуть не все свои шутки и остроты к тому времени, когда они проезжали через деревни. Миссис Гидж была, по-видимому, менее чувствительна. Она затеяла написать об их странствиях книгу, в которой живо и увлекательно, со спокойным юмором и изяществом будут рассказаны их веселые приключения. Мужчины ее книжку прочтут. Эта мечта поддерживала тень улыбки на ее устах.

Уильям был плохим слушателем. Он прикидывался глухим и не поднимал глаз. Ничего не желал видеть. Казалось, он нарочно не смотрит по сторонам, точно боится что-нибудь заметить, — так мужчины в церкви бормочут молитву себе в шляпу. Впрочем, однажды Джуди Баулс уловила фразу-другую из его монолога.

— Кучка бабенок,— бормотал Уильям себе под нос.— Трясогузки распроклятые!.. Чтоб им провалиться! Так вот и скажу: чтоб вам провалиться!

Разумеется, сказать он ничего не сказал, но все это и так по нему было видно...

Теперь вам становится понятнее, каким приобретением для этой компании оказался юный Билби. Он не только всячески трудился по хозяйству, рьяно и поначалу тщательно мыл посуду, с охотой чистил обувь, безотказно все скоблил и прибирал, но вдобавок был их пажом и рыцарем. Он явно считал, что лучше этого фургона нет ничего на свете, а его владелицы — замечательные женщины. Его живые глаза следили за ними с беспредельным восторгом и интересом; он выжидательно настораживался, стоило Джуди открыть рот, и спешил услужить миссис Гидж. Он не скрывал своих чувств к Мадлен. Едва она обращалась к нему, у него перехватывало дух, он краснел и смущался...

Бредя полем, они говорили, что мальчик — на редкость удачная находка. Как хорошо, что родные так легко его отпустили! Джуди объявила, что на мальчишек зло клеветают: поглядите, как он услужлив! Миссис Гидж заметила, что в рожице Билби есть что-то от эльфа, а Мадлен улыбнулась, вспомнив его милое простодушие. Она прекрасно понимала, что он готов умереть за нее...

Пока дамы не отошли на почтенное расстояние, Уильям молчал. Затем он сплюнул и заговорил с непонятной злобой.

— И угораздило же меня к ним наняться! — пробурчал Уильям и тут же добавил яростно и громко: — А ну пошла, несчастная!..

Заслышав это, белая лошадь начала судорожно и беспорядочно перебирать ногами, фургон поднатужился и тронулся с места — так Билби пустился в странствие.

Сперва Уильям молчал, и Билби почти совсем забыл о нем. Глаза мальчика сияли восторгом — то-то повезло!..

— Одно ладно,— заговорил Уильям,— смекалки у них недостает запирать... ну разное там.

Тут Билби вспомнил, что он не один.

Лицо старика было из тех, на которых вы прежде все-

го видите одиноко торчащий самонадеянный нос. Он подавляет и заслоняет остальные черты. Вы замечаете их потом. Глаза у Уильяма были маленькие, один больше другого, рот — явно беззубый, губы тонкие, морщинистые, причем верхняя прикрывала нижнюю, наводя на мысль о слабологии и алчности. Разговаривая, он слюняво пришепывал губами.

— Все там,— сказал он,— взади.

— Я туда лазил,— прибавил он доверительно,— порылся в их тряпье.

— У них там есть конфеты,— сказал он, причмокивая,— шоколадные!.. Ох, и вкусно!

— И чего только нет.

Казалось, он разговаривал сам с собой.

— А долго нам еще ехать до того места? — спросил Билби.

Тут Уильям опять прикинулся, что не слышит.

Он был занят другими мыслями. Он придвинулся к Билби и заглянул ему в лицо хитрым глазом.

— Сейчас мы с тобой полакомимся шоколадцем,— сказал он, глотая слюну.

Он ткнул пальцем в дверку за спиной.

— Полезай-ка туда,— сказал Уильям, подбадривая мальчика кивком; его беззубый рот весь сморщился и перекосялся.

Билби покачал головой.

— Он там в ящичке, у нее под постелью.

Билби еще решительней покачал головой.

— Лезь, говорю,— настаивал Уильям.

— Не полезу,— ответил Билби.

— Говорят тебе: там шоколад,— не унимался Уильям и жадно облизнулся.

— Не нужно мне никакого шоколада,— сказал Билби и мысленно представил себе кусок в полплитки.

— Да лезь ты,— говорил Уильям,— никто не увидит...

— Ну же!..— настаивал он.— Струсил, эх ты...

— Так я сам полезу,— сказал Уильям, теряя терпение.— А ты пока вожжи поддержи.

Билби взял вожжи. Уильям поднялся и отворил дверцу фургона. Тут Билби ощутил всю свою ответственность за имущество кочевниц и, бросив вожжи, решительно

схватил Уильяма за мешковатые штаны. То были почтенные штаны, они уже немало послужили хозяину.

— Эй, не дури!— сказал Уильям, вырываясь.— Отпусти мои портки.

Что-то затрещало, и Уильям в ярости обернулся к Билби.

— Ты что, одёжу мне рвать?!

— Так и есть,— сказал он, обследовав нанесенный ущерб.— Тут на час шитья.

— Не буду я воровать! — прокричал Билби ему в самое ухо.

— А тебя и не просят...

— И вам не след,— сказал Билби.

Фургон налетел на низкую садовую ограду, проволокася немного и встал. Уильям плюхнулся на сиденье. Белая лошадь потопталась на месте, потом отвела свисавшей над изгородью сирени и на том успокоилась.

— Давай сюда вожжи, обалдуй проклятый,— буркнул Уильям.

— Мы б сейчас шоколадцем лакомились,— начал он чуть погодя,— так нет, сидим вот из-за тебя, слюнки глотаем...

— Проку от тебя ни на грош,— продолжал он,— ей-ей, ни на грош...— Он опять вспомнил про нанесенный ему ущерб.— Я б тебя самого заставил латать, как пить дать, заставил, да ты ведь всего меня исколешь своей проклятой иголкой... Здесь на час шитья, это точно... А может, и поболее... Да ведь, хошь не хошь, шей... Других-то штанов у меня нет... Ну, я ж те покажу, пащенок, по гроб запомнишь.

— Не стану я воровать у нее шоколад,— сказал юный Билби,— с голоду помру, а не стану.

— Чего? — спросил Уильям.

— Воровать! — прокричал Билби.

— Я те поворую, по гроб запомнишь!— пригрозил Уильям.— Ишь выдумал, штаны рвать. Но-о! П-шла, старая! Чего уши развесила. П-шла, тебе говорят!

Своих пассажиров спорщики встретили благодаря чистой случайности,— кочевницы ждали их на песчаном выгоне, где густо рос красный вереск, а по краям

стояли пихты и ели. Дамы были здесь давно и, по всему судя, уже начали волноваться. Мальчик обрадовался, увидев их. Он очень гордился собой: ведь он победил Уильяма и отстоял шоколад. Он решил отличиться в приготовлении обеда. Для дневного привала они выбрали прелестный зеленый островок — лоскут изумрудного дерна в пламени вереска, обреченный покинуть эти места, о чем свидетельствовали прямоугольник голой земли и куча скатанного дерна. Куча дерна и холмик, поросший вереском и ежевикой, сулили защиту от ветра; в ста ярдах от подножия холма был родничок, а неподалеку от него — искусственный водоем. Полянка эта лежала ярдах в пятидесяти от шоссе, и к ней вела колея, проложенная тележкой, возившей дерн. А в вышине ослепительно голубело небо и, словно корабли под белыми парусами, плыли громадные, озаренные солнцем облака, — английское летнее небо с полотен Констебла. Белую лошадь стреножили и пустили пастись среди вереска, а Уильяма отправили в соседний трактирчик за провиантом.

— Уильям, — позвала его миссис Баулс, когда он отошел на несколько шагов, а затем конфиденциально прокричала ему на ухо: — Штаны почини!

— А?! — спросил Уильям.

— Штаны, говорю, почини.

— Это все он! — злобно буркнул Уильям и, прикрыв дыру рукой, ушел.

Никто не смотрел ему вслед. Уильям скоро почти скрылся из глаз, а кочевницы с суровой решимостью принялись готовить обед.

Миссис Баулс занялась походной плитой, но плохо ее установила, и та потом опрокинулась.

— Уильям вечно обижается, — говорила она между делом. — Порой мне это надоедает... У тебя что, была с ним стычка?

— Да так, пустяки, мисс... — скромно отвечал Билби.

Билби мастерски разжег огонь, и хотя он разбил тарелку, когда подогрел ее, зато оказался отличным поваром. Он дважды обжег пальцы, но был даже этому рад; он с врожденным тактом съел свою порцию за фургоном и перемыл всю посуду, как наставлял его мистер Мергелсон. Миссис Баулс научила его чистить ножи и

вишки, втыкая их в землю. Его немножко удивило, что дамы зажгли сигареты и закурили. Они сидели неподалеку и говорили о непонятном. Что-то ужасно умное. Затем ему пришлось сходить к роднику за водой и вскипятить чайник для раннего чаепития. Мадлен вытащила изящно переплетенную книжечку и принялась читать, а ее подружки объявили, что им необходимо полюбоваться видом с соседнего холма. Они достали свои альпенштоки, с которыми так удобно ходить по горам — в Англии таких не увидишь, — и горели желанием отправиться в путь.

— Вы идите, — сказала им Мадлен, — а мы с Диком останемся и приготовим чай. Я сегодня уже нагулялась.

И вот Билби, счастливый до умопомрачения, впервые увидел изнутри этот замечательный фургон: посудную полку, печку, складные столы и стулья и все остальное, — а потом до тех пор лелеял чайник на походной плите, пока тот не запел; красавица полулежала рядом на ковре.

— Дик, — сказала она.

Он и забыл, что он Дик.

— Дик!

Он вздрогнул: ведь Дик — это он.

— Да, мисс.

Он выпрямился — в руке у него было несколько веточек — и поглядел на нее.

— Ну, Дик!.. — повторила она.

Билби смотрел на нее с обожанием. Он продолжал молчать, и вдруг она улыбнулась ему просто и естественно.

— Кем ты думаешь быть, когда вырастешь, Дик?

— Не знаю, мисс. Я еще не решил.

— Ну, а кем бы тебе хотелось?

— Кем-нибудь, кто ездит по свету. И все видит.

— Например, солдатом?

— Или матросом, мисс.

— Матросы видят одно море.

— Все равно, я больше хочу быть матросом, чем простым солдатом, мисс.

— А офицером?

— Еще бы, мисс... только...

— Один из моих лучших друзей — офицер, — сказала она, право же, немного некстати.

— Офицером-то хорошо бы, мисс, — отозвался Билби, — да ведь трудно.

— Теперь офицеры должны быть очень храбрыми и дельными,— продолжала она.

— Я знаю, мисс,— скромно ответил Билби.

Тут ему пришлось ненадолго заняться огнем...

Красавица облокотилась на другую руку.

— Ну, а кем ты скорее всего станешь, Дик? — спросила она.

Он не знал.

— Твой отчим, он кто?

Билби взглянул на нее и ответил не сразу:

— Да не сказать, чтоб важная персона.

— А кто он все-таки?

Билби совсем не хотелось признаваться, что его отчим — садовник.

— Письмоводитель у адвоката.

— В этой-то деревеньке?!

— Он каждое лето живет здесь, мисс, ему врачи велели,— объявил Билби.— Здоровье у него очень шаткое, мисс...

Он по-хозяйски подложил в огонь несколько веточек.

— А кем был твой родной отец, Дик?

Вопрос этот отомкнул дверцу в тайник его фантазии. У всех сирот есть такие мечты. Билби они посещали так часто и были до того яркими, что почти обрели достоверность. Он немного покраснел и ответил без запинки:

— Его называли Малтраверс.

— Это что, его имя?

— Точно не знаю, мисс. От меня всегда что-то скрывали. Матушка часто говаривала: «Арти,— говорила она,— ты потом кое-что узнаешь, важное для себя. Про отца. Сейчас мы бедствуем и кое-как перебиваемся, и все же... Но потерпи, будет время, ты узнаешь всю правду — кто ты такой». Вот что она мне говорила, мисс.

— И она умерла, так ничего и не открыв тебе?

Билби успел забыть, что еще утром отправил свою мать на тот свет.

— Да, мисс,— сказал он.

Мадлен улыбнулась ему, и что-то в ее улыбке заставило его густо покраснеть. На минуту он даже решил, что она угадала правду. Она и впрямь все поняла, и ее забавляло, что этот мальчуган строит воздушные замки, как и она строила когда-то, да порой и теперь. Она ис-

пытывала к нему самую нежную симпатию, симпатию одного фантазера к другому. Но следующий вопрос она задала так простодушно, что рассеяла все сомнения мальчика, хотя он по-прежнему был красный, как рак.

— А может, ты все-таки о чем-нибудь догадываешься, Дик? Подозреваешь, кто ты на самом деле?

— К сожалению, нет, мисс,— отвечал он.— Это, наверное, ни к чему, да ведь как не думать?..

Как часто путешествовал он по этой милой стране грез, где все, кого знаешь, глядят на тебя из окон, когда ты проходишь дорогой славы! Как часто он придумывал себе то одну родословную, то другую!..

Нежданное появление третьего лица нарушило их беседу. В их маленький лагерь вторгся чужак; он загадочно улыбался и медленно выписывал в воздухе битой для гольфа какие-то иероглифы.

— Елестный... уголок...— начал пришелец молитвенным тоном.

Они взглянули на него вопросительно, он ответил им широкой улыбкой.

— Елестный...— говорил он, покачиваясь и тщетно пытаясь разъяснить сокровенный смысл своих маловразумительных слов короткими взмахами биты.

Очевидно, этот любитель спорта забрел сюда с какого-нибудь ближнего поля для гольфа — и уже успел позавтракать.

— Примите в компанию,— пробормотал он и закончил вполне явственно и громко:— Мисс Мален Филипп.

В славе и известности есть своя теневая сторона.

— Он пьян,— прошептала актриса.— Прогони его, Дик. Я не выношу пьяных.

Она поднялась, Билби тоже. Он медленно шел впереди нее, вскинув мордочку,— точь-в-точь маленький терьер, который принюхивается к запаху чужого пса.

— Так примете, говорю? — повторил спортсмен. Голос у него был, как иерихонская труба. Он был рослый, грузный, самодовольный, с коротко подстриженными усами, бычьей шеей и грудью.

— Человек... спитанный,— заметил он.— Прошу любить... жалить...— Он попробовал указать на себя манометром.

вением руки, но в конце концов отказался от этой безнадежной затеи.— С... плжением,— закончил он.

Билби с тревогой ощутил, что позади него кто-то отступает. Он оглянулся — мисс Филипс уже стояла у лесенки, ведущей в их цитадель на колесах.

— Дик!— крикнула она в испуге.— Прогоните этого человека!

И сейчас же дверь захлопнулась, и в ней повернули ключ. Билби решил не подавать вида, что трусит; он стал — руки в боки, ноги крепко уперты в землю, голова чуть набок — и принялся изучать врага. Мальчика поддерживало сознание того, что его видят из окошка фургона...

Пришелец, должно быть, решил, что обряд представления окончен.

— Совсем я не гольф люблю...— проговорил пьяница чуть ли не с гордостью.

Он повел битой вокруг, чтобы выразить, чему именно отдает предпочтение.

— Пруроду...— сказал он с каким-то дурацким умилением.

И приготовился спуститься с кучи дерна, на которой стоял, прямо в лагерь.

— Стойте! — крикнул Билби.— Это частные владения.

Спортсмен мановением биты дал понять, что знает, но есть кое-что поважней.

— А... а ну, уходите! — пискнул Билби срывающимся от волнения голосом.— Убирайтесь отсюда!

Спортсмен помахал рукой, точно говоря: «Прощаю, ибо тебе не понять»,— и продолжал двигаться к очагу. Но тут терпение Билби лопнуло, он отбросил всякую дипломатию и открыл военные действия.

Он понимал: надо что-то сделать, но что— вот вопрос.

— Да я ж ничего... Дружески побесе... Мы люди спитанные...— бормотал спортсмен, но тут большой кусок дерна угодил ему в шею, осыпал его землей и заставил остановиться.

Несколько долгих минут он от изумления не мог выговорить ни слова. Он был, конечно, очень удивлен, но еще и сильно наигрывал свое удивление. Лоб и одна щека его были черны от земли, картузик сдвинулся набок,

и все же он сохранял известное достоинство. Он медленно шагнул и оказался как раз под прицелом Билби, который стоял у кучи дерна, сжимая в руке второй метательный снаряд. Бита простерлась наподобие скипетра.

— Положи... это.

— Уходите, — сказал Билби. — Не уйдете — еще брошу. Так и знайте.

— Положи... это!.. — заорал спортсмен во всю мощь своей глотки.

— Уходите — и все, — не унимался Билби.

— Тебя сколько просить? Уважал бы... Грубиян... А ну, положи на место!..

Дерн шмякнулся ему в лицо.

Из-под слоя земли проступили черты лица. Спортсмен моргал и жмурился, но все же не утратил достоинства.

— Так ты, значит... с умыслом, — сказал он.

Казалось, он собирается с силами...

И вдруг с поразительной ловкостью он метнулся к Билби. Как стрела. До Билби оставалось не больше шага. По счастью, мальчик во время игр на школьном дворе прекрасно научился увертываться. Он проскользнул под рукой спортсмена и, обежав кучу дерна, спрятался за ней, а любитель гольфа с размаху налетел на нее и минуту-другую стоял с ней в обнимку, очевидно, силясь понять, как он здесь очутился. Ему помог в этом писк из-за кучи.

— Убирайся! — пищал его враг. — Ты что, не видишь, что досаждаешь даме? Убирайся!

— Я и не думаю... никого... осаждать... Позови ее... жалоста!

Но это была хитрость. Пьяный хотел поймать мальчишку. Он вдруг стремительно обошел с фланга кучу дерна, но споткнулся о куски, валявшиеся на земле, и упал. Он стоял на четвереньках и никак не мог подняться. Но не пал духом.

— Бой... ик! ...скаут!.. — пробормотал он и теперь кинулся на Билби уже в качестве ловкого четвероногого.

С поразительной быстротой он опять очутился рядом с Билби, миг — и он уже вскочил на ноги и гнался за ним по лагерю. Чайник и походную плиту он сумел опрокинуть, не претерпев при этом никакого ущерба и не уг-

ратив скорости, но лесенка, на которую он наткнулся сразу за углом фургона, оказалась для него роковой. Он как-то упустил ее из виду и тяжело рухнул на землю. Но теперь его боевой дух взыграл. Не обращая внимания на крики изнутри, сопровождавшие его падение, он почти тут же вскочил на ноги и снова ринулся в погоню. Рынок его был так стремителен, что он непременно схватил бы мальчишку, но тот перемахнул через оглобли, обежал фургон и понесся все к той же куче дерна. Спортсмен тоже попробовал перескочить через оглобли, но у него не было той сноровки. Он подпрыгнул, вернее нырнул, и этот прыжок походил на курбеты огромной лошади...

Когда Билби услышал треск и обернулся, спортсмен снова стоял на четвереньках и упорно старался пролезть между оглоблей и передним колесом. Вероятно, он больше бы в этом преуспел, если бы не вздумал просунуть руку между спицами. А так задача оказалась непосильной для одного человека: он хотел пролезть сразу в двух местах и скоро пришел в ярость от невозможности это сделать. Фургон качнуло вперед...

Очевидно, этого пьяницу враз не прогонишь...

Минуту Билби оценивал обстановку и, увидев, что враг попал в ловушку, схватил складной стул, обежал лесенку и обрушился с тыла на поверженного спортсмена; он молотил его рьяно, хоть пришибить и не мог.

— Поумерь-ка свой пыл, приятель! — послышался голос, и кто-то схватил его сзади. Он обернулся — его сжимал в объятиях второй любитель гольфа...

Еще один! Испуганный Билби отчаянно отбивался...

Он укусил врага за руку — но через рукав и потому не очень больно, — успел дважды брыкнуть его — но, к сожалению, был в шлепанцах! — и скоро его осилили...

Побитый, помятый, обезоруженный и задыхающийся Билби стоял и смотрел, как пьяного заботливо вытаскивали из переднего колеса. Два приятеля помогали этому джентльмену с укоризненной заботливостью, а он знай себе твердил, что все в порядке, и этим еще больше укреплял их подозрения. Всего теперь на поле вместе с первым было четыре игрока.

— Он почему-то гонялся за этим чертенком, — сказал спортсмен, державший Билби.

— Да, но как он ухитрился застрять в колесе? — заметил другой.

— Теперь получше? — спросил третий, помогавший пьяному встать на ноги (они плохо его слушались). Давай-ка биту, дружище... Она тебе сейчас ни к чему...

По вереску с прогулки возвращались миссис Баулс и миссис Гидж. Они всматривались в пришельцев, стараясь понять, кто это такие.

И тут, словно песня после диспута, появилась Мадлен Филипп — красавица в голубом; она медленно вышла из фургона и спустилась по ступенькам, лицо ее выражало удивление. Все головы невольно повернулись к ней. Пьяница сделал знак приятелю, чтобы тот отпустил его, и твердо стоял на ногах. Он уже был в картузике, хотя тот и сидел косо. Бита оставалась у его товарища.

— Я услышала шум, — сказала Мадлен, вздернув свой хорошенький подбородок; она говорила самым чарующим голосом.

Она посмотрела вопросительно...

Окинув опытным глазом трезвых игроков, она отдала предпочтение рослому молодому блондину с серьезным лицом, стоявшему у локтя пьянчуги.

— Пожалуйста, уведите своего друга, — промолвила она, указывая на обидчика прелестной беленькой ручкой.

— Просто, — сказал пьяный негромко, — просто... ква... ква...

С минуту все пытались догадаться, что он хочет сказать.

— Послушай, дружище, тебе нечего здесь делать, — сказал белокурый. — Иди-ка лучше назад в клуб.

Но пьяный упорно желал высказаться.

— Простоква... — сказал он погромче.

— По-моему, — заявил низенький спортсмен с живыми глазами, одетый в ярко-желтую фуфайку. — По-моему, он извиняется. Надеюсь, что так.

Пьяный мотнул головой. Впрочем, его всего мотало и шатало.

Рослый юноша взял его за локоть, но он твердил свое.

— Просто к вам!.. — сказал он с выражением. — А неохота говорить. Недудома. Нетудома. Нетутома. Зна-

чит, нетутома, и все. Вот сказала б — нетутома. А чтоб ломиться... ни-ни!..

— Вот бы и шел себе.

— Скажите: вы тутома, мисс... мисс Пипс? — взывал он к мисс Филипс.

— Лучше ответьте ему, — попросил рослый юноша.

— Нет, сэр, — сказала она с большим достоинством, еще выше вздернув свой хорошенький подбородок. — Меня нету дома.

— Ну и весь разговор, — сказал пьянчуга и с внезапным самоотречением повернулся, чтоб уйти.

— Пшли, — сказал он, давая взять себя под руку.

— Просто к вам шел... — продолжал он бормотать, когда его уводили, — дружески...

Еще несколько минут было слышно, как он, удаляясь, снисходительно убеждал кого-то, что вел себя вполне учтиво и по-джентльменски. Затем последовала короткая потасовка: он непременно хотел вернуться и вручить карточки, но его удержали.

Потом видно было, как он свободной рукой разбрасывает в вереске визитные карточки, наподобие того, как это делают в бумажном кроссе¹, только гораздо изящней...

Затем его тихо и мирно увели прочь...

Едва появилась мисс Филипс, как Билби без звука отпустили, и теперь оставшиеся спортсмены приносили кочевникам свои извинения.

Тот, что еще недавно держал Билби, — мужчина в сером, с орлиным носом, пышными усами и морщинками вокруг глаз — почему-то находил все это ужасно забавным; зато у коротышки в желтой фуфайке хватало чистосердечия и серьезности на двоих. Это был цветущий, румяный человечек с необычайно открытым лицом. У него были широко раскрытые, выпученные глаза, приоткрытый рот; щеки пухлые, словно надутые; а картузик до того сдвинут назад, что и лоб казался удивительно открытым. Брюшко кругленькое, и грудь колесом. Он их тоже выставлял напоказ. Он ничего не скрывал.

¹ Кросс, в котором бегущий впереди оставляет за собой след из клочков бумаги.

Коленки его торчали вперед. Человеку такого склада, разумеется, подобает заодно быть всегда чисто выбритым...

— Мы во всем виноваты,— говорил он.— Надо было смотреть за ним. Невозможно передать, как мы опечалены и смущены. Как сожалеем, что он причинил вам беспокойство.

— Разумеется, нашему мальчику не следовало швырять в него землей,— заметила миссис Баулс.

— Да ведь он не очень-то и швырял,— промолвила Мадлен.

— Все равно, нам не следовало давать волю своему товарищу. Надо было следить за ним, а мы проморгали...

— Понимаете,— продолжал открытый молодой человек, желая объяснить все как можно подробнее,— он наш худший игрок. У него набралось сто двадцать семь ударов. Да еще он хотел смошенничать. Вот и расстроился. Что скрывать, мы сами позволили ему напиться... Позволили. Да что греха таить, сами надоумили... Не следовало нам его отпускать. А мы решили, что прогулка в одиночестве пойдет ему на пользу. Вдобавок кое-кому из нас он порядком надоел. Сыты им по горло. Сами слышали, как он тут канючил,— он это может без конца...

И тут он начал предлагать искупительные жертвы.

— Мы готовы любым образом доказать вам, как жалеем о случившемся... Если вы надумаете сделать привал на нашем поле за соснами... Вы сами увидите, это уединенное и надежное место... Сторож — учтивейший человек. Принесет вам воды или чего пожелаете. Особенно после того, что вышло...

Билби не принимал участия в этом заключительном обмене любезностями. У него появилось странное чувство: уж не перестарался ли он в этой истории? Наверное, надо было попробовать уговорить пьянчугу, да повежливей. А он, дурак, стал кидаться. Ну, да ладно. Он подобрал опрокинутый чайник и пошел к ручью за водой...

Что она о нем подумала?

А пока можно хоть чайник вскипятить.

Одним из последствий этой маленькой неприятности с подгулявшим спортсменом было то, что кочевницы не решились с наступлением сумерек отпустить Уильяма и

Билби и спать в фургоне без охраны. На сей раз они расположились на ночлег в глухом месте, поблизости только и был этот гольф-клуб. Они не очень-то доверяли теперь этому гольф-клубу. Итак, было решено, к великой радости Билби, что он будет спать под фургоном в спальном мешке, который захватила с собой миссис Баулс.

Этот спальный мешок был их гордостью, когда они отправлялись в путешествие, но воспользоваться им Джуди так и не рискнула. Она никак не предполагала, что на открытом воздухе появляется ощущение, будто ты слышишь на людях. Точно весь мир у тебя в спальне. И каждую ночь она возвращалась в фургон.

Билби считал их вправе распоряжаться собой во всем, что касалось его жизни и даже спанья. Мальчик очень намаялся за день. Он скинул с себя верхнюю одежду, нырнул в мягкий шерстяной мешок и с минуту лежал и слушал приглушенные звуки над головой. Там была она. У Билби была свойственная всем мужчинам врожденная вера в женщину, а там их было целых три. На него нахлынуло необъяснимое желание вылезти из мешка и поцеловать доски, по которым над ним ходило это прелестное, милое создание...

Но он этого не сделал...

Сколько разных событий произошло за два дня! Сейчас ему казалось, что он без остановки шел много часов подряд. В памяти возникали деревья, тропы, росистая трава, сковородки, толпа великанов-дворецких, которые мчались в погоню и окончательно сбились со следа (они, верно, и сейчас еще где-то рыщут), всевозможные щели и щелчки, снаряды, которые летят и рвутся и такие неуместные, что не стоит о них вспоминать. Секунду-другую он глядел через спицы колес на танцующее пламя костра, где потрескивали сосновые шишки: он подбросил их в огонь перед тем, как лечь спать; он смотрел на огонь и мигал, словно щенок, а потом погрузился в сон...

Наутро его с трудом разбудили...

— Ты что, так весь день и проспидь?! — кричала Джуди Баулс. До завтрака в ней всегда особенно чувствовалась ирландская горячность.

ГЛАВА IV
ДЕЛИКАТНЫЙ УХОД

Понедельник оказался для Билби счастливым днем. Проехав семнадцать миль, фургон наконец остановился на неровном поле позади утопавшей в зелени веселой деревушки; здесь же расположились бродячие актеры со своим балаганом...

На первом привале, где был магазин, торговавший не только съестным, миссис Баулс купила для Билби пару башмаков. И тут ее осенило.

— Ты, наверно, без денег, Дик? — спросила она.

И дала ему полкроны, то есть два шиллинга и шесть пенсов, или пять шестипенсовиков, или тридцать пенни — считайте, как вздумается, — только в виде одной большой, сверкающей монеты.

Даже не будь Билби влюблен, этого оказалось бы достаточно для того, чтобы он, как человек благородный, охотно служил им и выполнял самые важные поручения. Он носился по лагерю и ни минуты не оставался без дела. Воскресная неудача заставила его осторожней обращаться с тарелками, и за весь этот счастливый день он всего только и разбил, что яйцо: оно упало по пути на сковороду, где должно было жариться к ужину. Билби его и не поднял, а тайком предал земле. Что еще оставалось с ним делать?...

Весь этот день мисс Филипс улыбалась ему и просила его о разных мелких услугах. А вечером, по обычаю представителей своей славной профессии, которые, как случится досуг, непременно идут в театр, Мадлен потребовала, чтобы все отправились на представление. Это будет презабавно, уверяла она. С ней пошла миссис Баулс; миссис Гидж захотела спокойно посидеть в фургоне и записать кое-какие впечатления, пока они еще свежи в ее памяти. Верная себе, Мадлен Филипс настояла на том, чтобы Билби с Уильямом тоже пошли; она дала каждому из них по шиллингу, хотя билеты стоили шесть пенсов, три пенса, два и даже пенни; так Билби впервые попал в театр.

Спектакль назывался «Единокровные братья, или Офицер из рядовых». На афише, почти не отвечавшей содержанию, изображен был человек в хаки, с забинтован-

ной головой; стоя над трупом товарища, он готовился дорого продать свою жизнь. Чтоб попасть в балаган, надо было миновать растворенные настежь сломанные ворота, а потом пройти по вытоптанной полянке. Перед балаганом горели два керосиновых фонаря — они освещали афишу и кучку подростков, которым нечем было заплатить за вход. Внутри на поблекшей и примятой траве стояли скамьи для зрителей, фортепьяно, на котором импровизировала какая-то леди, и висел занавес, изображавший Большой канал в Венеции. Большой канал был наводнен множеством огромных, донельзя отчетливых отражений стоявших на берегу дворцов, а также диковинными черными лодками в виде серпа, которые скользили по воде, не думая в ней отражаться. Импровизаторша заиграла что-то, отдаленно напоминавшее свадебный марш из «Лоэнгрина», а задние ряды подпевали ей с закрытым ртом и подсвистывали. Занавес еще не успел раздвигнуться, а Мадлен Филипс, как можно было заметить, находила все это презабавным.

Но тут вмешалась фантазия...

Декорации были нелепые и все время качались, исполнители принадлежали, разумеется, к самой жалкой актерской братии, и все в пьесе было до невозможности ходульное, но фантазия Билби, подобно милосердию божию, не знала границ: она с готовностью кинулась навстречу вымыслу, приняла его в объятия, вдохнула в него жизнь. Пьеса была запутанная, и в ходе ее каждый, кто в большей, кто в меньшей степени, оказывался кем-то другим; все это окончательно смешалось в голове Билби, одно он понял с самого начала: готовят подлость, ставят ловушку, хотят обмануть простодушных и кротких. И до чего же простодушны и кротки были эти простодушные и кроткие! Здесь были два брата: один брат — злодей, слабовольный и безнравственный; другой — праведник, точно в пикку ему, почти до зловредности хороший; еще действовал некий преступный баронет; во всех сценах и при всех обстоятельствах он непременно выходил во фраке и в цилиндре, в перчатках и с тросточкой — знаем таких господ! Он все время глядел искоса. Была здесь милая, бесхитростная девица с широкой и сладкой улыбкой на устах (ее-то, каждый по-своему, и любили оба брата — дурной и хороший) и еще какая-то

порочная женщина, рослая и одетая в красное, которая кусала губы и выказывала столько страсти, что дрожала шаткая сцена. Был еще смешной дворецкий — полная противоположность старому Мергелсону, — в сюртуке и клетчатых брюках, до смерти потешавший Билби. Вот все бы дворецкие были такие! Потеха! И кто-то все время кого-то разоблачал или грозился вывести на чистую воду. Это особенно захватило Билби. Никогда еще злодеев так не бранили, не говорили им в лицо столько правды. Все освистывали их, и Билби тоже. И когда им выложили все до конца, Билби захолопал в ладоши. И все же они продолжали строить козни, пока не закрылся занавес. Даже покидая сцену, они глядели искося. Потерпели крах, но не сдались. «Вот погодите», — говорили они.

В злоключениях героини была минута, когда Билби смахнул слезу. Но потом все каким-то чудом уладилось. Актеры вышли на авансцену и выразили надежду, что Билби понравилось. И он пожалел, что у него только две руки. Сердце его готово было выпрыгнуть из груди. О юность, юность!..

А потом он вышел в дышавшую сочувствием тьму. Это был уже не прежний Билби: душа его очистилась состраданием; он был молчаливым и сильным мужчиной, который готов в любое мгновение яростно встать на защиту обиженного и полон благородных порывов. Он ускользнул в сторону, не пошел к фургону: ему хотелось немного побыть в одиночестве, отдаться своим чувствам. Он боялся чем-нибудь спугнуть прекрасную мечту, расцветшую в его сердце...

Да, конечно, он жертва несправедливости. Если ты не жертва, благородство твое неполное. Против него сговорились дворецкие, а то зачем бы им гнаться за ним по пятам? Он в действительности много старше — только это от него скрывали — и по рождению граф. «Граф Шонтский», — прошептал он; почему бы и нет? И Мадлен тоже обездоленная; она вынуждена скитаться в своем неудобном фургоне, цыганская королева! Ее обрекли на это те же злодеи, что обездолили Билби...

Он брел в сочувственно-ласковых летних потемках, и ничто не мешало ему предаваться этим упительным грезам.

Он был так поглощен своими мечтами, что заблудился среди живых изгородей и с великим трудом отыскал дорогу к фургону. Он прожил за это время долгую и героическую жизнь, но когда, наконец, возвратился обратно, оказалось, что кочевницы даже не заметили его отсутствия. Точно расстались с ним полчаса назад.

Вторник был для Билби не таким счастливым днем, как понедельник. Огорчения начались с того, что миссис Баулс дружески осведомилась, когда он меняет белье. Он не ждал такого вопроса.

— А ты когда-нибудь причесываешься, Дик? — продолжала она. — Наверно, в твоем сверточке есть щетка для волос.

— Иногда причесываюсь, сударыня, — сказал он неуверенно.

— Что-то я еще ни разу не видела тебя с зубной щеткой. Или уж это я требую лишнего. А как насчет мыла, Дик? Давай-ка я подарю тебе кусок.

— Большое вам спасибо, сударыня.

— Я не решаюсь заикнуться о чистом носовом платке, Дик. Это ясно без слов.

— Если позволите, сударыня, я, как приберу после завтрака...

Это мучило его весь завтрак. Он не ждал от миссис Баулс личных выпадов. Да еще таких! Придется тут поломать голову.

Прибрав после завтрака, он с нарочитой скромностью понес свой сверток к той части ручья, что пряталась от фургона за ивами. И кусок мыла с собой захватил. Он начал с платка, и это было не очень умно — теперь вместо полотенца пришлось пользоваться курткой. Надо было захватить посудное полотенце или газету. (Не забыть бы в другой раз.) Он вымыл с мылом руки и лицо (только самую заметную его часть), а потом вытер все это курткой. Затем он снял воротничок и внимательно его осмотрел. Воротничок и впрямь был почти черный...

— Да ведь это все тот же воротничок! — воскликнула миссис Баулс, когда он вернулся.

— Они у меня все измялись, сударыня, — сказал Билби.

— И все такие грязные?

— У меня в свертке вакса,— отвечал Билби.— И коробочка раскрылась, сударыня. Как подъедем к какому-нибудь магазину, я непременно куплю себе новый.

Это была денежная жертва, но что поделаешь! И когда они подъехали к магазину, Билби раздобыл себе преотличный воротничок—высокий, с отогнутыми острыми уголками, так что он натирал шею, врезался в подбородок и заставлял ходить с закинутой головой; из-за этой горделивой осанки Билби, готовя завтрак, наступил на лежавшую в стороне тарелку и раздавил ее. Право, он еще в жизни не носил такого элегантного мужского воротничка. И стоял этот воротничок шесть с половиной пенсов — целых шесть монеток по пенни и еще полупенсовик.

Добавлю, что еще до этого, моя посуда после завтрака, Билби успел отбить ручку у чашки. Обе неприятности совсем омрачили его настроение.

К тому же не давал покоя Уильям. Поразмыслив день над их стычкой, Уильям придумал, как ему рассчитаться с Билби. Когда мальчик сидел с ним рядом на козлах, его вдруг сильно ущипнули. Ух! Билби чуть не взвизгнул.

— Вот тебе за шоколад,— злобно прошипел Уильям.

Уильям проделал это дважды, и тогда Билби предпочел слезть с козел и идти рядом с фургоном; Уильям хлестнул белую лошадь, и та пустилась вскачь, побивая рекорды; зазвенела посуда, а он все нахлестывал, пока не вмешалась миссис Баулс...

Вдобавок Билби слышал разговор о возможном появлении «наших мужчин». Все началось с того, что путешественницы заехали за письмами на деревенскую почту; кроме писем, здесь была телеграмма; миссис Баулс читала ее, твердо упершись в землю ногами в гетрах и наклонив голову набок.

— Тебе не терпится узнать, что тут, а я не скажу,— озорно бросила она мисс Филипс.

И взялась за письма.

— Какие-нибудь новости? — спросила миссис Гидж.

— Да так, кое-что,— ответила миссис Баулс, но больше они ни слова от нее не добились...

Но после завтрака она закурила сигарету (Билби вер-

телся тут же, подбирая шкурки от бананов и другие остатки десерта) и сказала:

— А теперь слушайте новости. Назавтра, как наступит ночь и мы доедем без помехи в Уинторп-Сатбери, появятся наши мужчины.

— Но Том вовсе и не думал приезжать,— заметила миссис Гидж.

— Он просил меня через Тима предупредить тебя.

— И ты молчала целых два часа, Джуди!..

— Для вашей же пользы и спокойствия. Но теперь тайна разоблачена. Едут наши мужья, твой и мой. Они притворяются, будто жалеют нас, а на деле просто не могут без нас обойтись. Эти себялюбивые чудовища, разумеется, будут жить в какой-нибудь шикарной гостинице — в Королевской гостинице «Красное озеро», как он пишет, на холме, что над Уинторп-Сатбери. В Королевской! Этим все сказано. Представляете, мои милые, на террасе плетеные кресла. Банкетки. В другой гостинице они, конечно, жить не могут,— и вот, не угодно ли, приглашают нас туда насладиться — как это у них называется? — благами цивилизации, а фургон пусть подождет.

— Но Том обещал мне, что я буду кочевать, сколько захочу,— заметила миссис Гидж, меньше всего походившая на кочевницу.

— Ну, они считают, что мы уже накочевались,— сказала миссис Баулс.

— Похоже на то.

— А я, право, век бы так ездила,— продолжала Джуди Баулс.— Муж, дом и все эти заботы меня угнетают. Женщине нужен фургон...

— Так не поедem в Уинторп-Сатбери,— предложила Мадлен. (Наконец-то, Билби услышал разумное слово!)

— Ну да! — лукаво бросила миссис Баулс. — Как знать, может, и тебя там поджидает какой-нибудь друг-приятель. Ну хоть кто-нибудь?

(Что за неуместная шутка!)

— Никто мне не нужен.

— Ну да!

— Что значит твое «ну да»?

— То и значит.

— Что именно?

— А ничего.

Мисс Филипс внимательно посмотрела на миссис Баулс, а та на нее.

— Джуди,— сказала актриса,— у тебя что-то на уме.

— А хоть бы и так? Тебе не скажу! — ответила миссис Баулс. И тут же, к полному возмущению мальчика, добавила:— Ты что, не собираешься мыть посуду, Дик?— И она глянула на него с тайным лукавством поверх своей сигареты. Надо было тут же доказать ей, что он не подслушивает. Он собрал последние тарелки и пошел к ручью на то место, где всегда мыл посуду. Пришлось уйти, так и не узнав продолжение разговора.

Возвратившись за мылом, он уловил конец фразы:

— Ну и отправляйтесь к своим мужьям, дорогие мои! А нам с Диком и вдвоем будет неплохо. И нечего говорить загадками!

На что миссис Баулс таинственно заметила, что ей «кое-что известно». Слава богу, хоть что-то услышал! Только вот что это ей известно?..

Прибывшие мужчины оказались совсем не так страшны на вид, как ожидал Билби. К тому же, по счастью, их было только двое, и каждый приехал к жене. Правда, упоминали еще о каком-то третьем — Билби толком не понял, о ком,— но если кто-то и должен был появиться, пока его, во всяком случае, не было. Профессор Баулс был оживлен, а мистер Гидж корректно сдержан; они поцеловали своих жен, хотя и вполне пристойно, и какое-то время у них шел общий разговор, а Билби между тем шагал рядом с фургоном. Они двигались по открытой дороге, шедшей по гребню холма над Уинторп-Сатбери; мужчины вышли навстречу фургону из своей гостиницы — Билби не понял, из какой именно,— и добрались сюда полем для гольфа. Джуди говорила за всех и всё добивалась от мужчин, чего ради они навязываются трем независимым женщинам, которые, право же, чудесно без них обходятся. Профессор Баулс слушал все это очень спокойно; по-видимому, жена вообще-то очень ему нравилась.

Он был маленький, плотный, очень волосатый, в очках со стеклами, наполовину выпуклыми, наполовину плоскими; на нем был костюм из мягкого твида, такого вор-

систого, что казалось, профессор весь утыкан колючками, широкие гольфы с застежками под коленом, грубые шерстяные носки и самые подходящие для горных прогулок ботинки. И хотя он был плотный, маленький и подвижный, в нем чувствовалась привычка командовать, и было ясно, что жена при всей своей напористости всецело ему подчиняется и не очень с ним спорит.

— Я нашел вам отличное место для привала, — объявил он.

А она-то предлагала устроиться совсем по-другому! Вскоре он оставил дам и поспешил за фургоном, чтобы распорядиться.

Он был явно очень распорядительный человек.

— А ну слезайте, — сказал он Уильяму. — Бедному животному и без вас тяжело.

Уильям заворчал, но профессор прикрикнул: «Что-о!» — да так грозно, что Уильям прикусил язык раз и навсегда.

— А ты откуда взялся, мальчик? — вдруг спросил он.

Билби поглядел на миссис Баулс, предоставляя ей ответить.

— И что за нелепый высокий воротничок, — продолжал профессор, перебивая жену. — Мальчик твоего возраста должен ходить в шерстяной рубашке. Вдобавок он грязный. Сними его, мальчик. Он тебя душит. Разве ты не чувствуешь?

Потом он поднял шум по поводу того, как у Уильяма запряжена лошадь

— Ну что эта за упряжь?! Смотреть тошно, — объявил он, — хуже, чем в Италии...

— Ага!.. — вскричал он вдруг и помчался по траве некрасиво, но очень быстро и как-то странно вскидывая голову, чтобы глядеть то через плоскую, то через выпуклую половину очков. Под конец он нырнул в траву и, стоя на четвереньках, порылся в ней, замер на секунду, а потом встал и вернулся к жене, учтиво протягивая ей что-то, трепетавшее между большим его пальцем и указательным.

— Уже третий сегодня, — сообщил он победоносно. — Прямо кишмя кишат. Миграция.

Затем он опять стал придирчиво осматривать снаряжение фургона.

— Этот мальчик все еще не снял воротничка, — обьярил он вдруг, искоса глянув через очки.

Билби выставил на обозрение наименее сокровенную часть своей шеи и спрятал воротничок в карман...

Мистер Гидж, казалось, не замечал мальчика. Это был господин с орлиным носом — большим, как руль; он нес свою физиономию, точно секиру во время торжественного шествия, и выступал с достоинством, подобающим джентльмену. Сразу было видно, что он джентльмен. Такой он был несгибаемый и непоколебимый. Вы чувствовали, что в любую минуту, будь то пожар, землетрясение или железнодорожная катастрофа, когда все мечутся и хлопочут, он по-прежнему останется джентльменом. Его принимали за сэра Эдварда Грея¹, и это не столько тешило его тщеславие, сколько льстило его гордость. А сейчас он выступал со своей супругой и с мисс Филипп позади спорящей четы Баулсов и витийствовал звучным и низким голосом о пользе пребывания в целебных местах и о том, что в душных городах можно задохнуться.

Когда наконец они достигли места, выбранного для привала, профессор развил бурную деятельность. Билби было дважды приказано «пошевелиться», а Уильяма точно классифицировали по его видовым и родовым признакам. «Этот тип — законченный идиот», — объявил профессор. Уильям лишь сверкнул на него глазом.

Вид отсюда и вправду открывался чудесный. Порошний травой склон холма огораживали с севера и юга тисовые кусты, а дальше виднелся край мелового карьера, окаймленный буком; рядом пролегла дорога, которая круто, с бесстрашной решимостью, свойственной дорогам холмистой южной Англии, сбегала к Уинторп-Сатбери. Сверху казалось, что вы можете выплеснуть остатки своего чая прямо на улицу Уинторп-Сатбери или прыгнуть вниз и остаться на церковном шпиле, как бабочка на иголке. Вправо и влево выгибались лесистые

¹ Министр иностранных дел Англии с 1908 по 1916 год, один из виновников Первой мировой войны.

холмы и уходили к западу длинной ровной грядой, которая терялась на горизонте в синей дымке, где, как утверждал профессор Баулс, можно было различить «сапфировый блеск» воды. «Пролив», — пояснил профессор для вящей убедительности. Только мистер Гидж отказывался видеть море даже в столь уменьшенном виде. Может, там и мерцала какая-то синяя полоска, но мистер Гидж явно не склонен был думать, что это — море, пока не мог поплескаться в нем и проверить его всеми известными ему способами...

— Господи! Что еще вытворяет этот болван?! — вскричал профессор.

Уильям перестал воевать с белой лошадью, и отвечать ей крепкие увещания, и ждал более вразумительных обвинений.

— Поставил фургон боком к солнцу! Или, по-твоему, здесь вечно будет тень? И надо, чтоб в стеклянную дверь мы могли любоваться закатом!

Уильям забормотал:

— Да его коли так уставишь, он, небось, вниз кувырнется.

— Кретин! — заорал профессор. — Подложи что-нибудь под задние колеса. Вот хотя бы!.. — Он побежал и приволок огромные замшелые куски тиса. — А теперь поверни передом к вершине, — скомандовал он.

Уильям старался, как мог.

— Да не так! Вот бестолочь!

Билби помогал подобострастно и рьяно.

Прошло немало времени, прежде чем фургон поставили так, как хотел профессор. Наконец это было сделано, и распахнутая задняя дверь усталилась на холмы Уилда, с дурацким видом свесив ступеньки наподобие языка. Задние колеса были ловко подперты меловыми глыбами, ветками и обрубками тиса, и теперь фургон стоял крепче и ровней. Затем начались приготовления к завтраку. Профессора переполняли блестящие идеи, как надо разбивать лагерь и готовить пищу, и он доставил Билби немало хлопот, а также и познаний. Ручья поблизости не было, и Уильяма послали в гостиницу за бочкой на колесах, из которой там поливали сад, — безгранично прозорливый профессор заранее велел ее приготовить.

Супруги Гидж не вникали во все эти приготовления: они были люди ненавязчивые; мисс Филипс разглядывала холмы Уилда, как почудилось мальчику, с явным неудовольствием, — чем-то они ей не угодили; а миссис Баулс рассказывала с сигаретой возле усердно трудившегося мужа и делала вид, что все это очень ее забавляет.

— Мне очень нравится, как ты тут хлопочешь, мой друг, — говорила она. — Ты еще когда-нибудь станешь кочевником, а мы оседем в гостинице.

Профессор ничего не ответил, только, казалось, еще больше погрузился в свои дела.

Без конца понукаемый профессором, Билби споткнулся, разбил банку с вареньем и вывернул ее содержимое на жареный картофель, в остальном он показал себя способным поваренком. Один раз произошла маленькая заминка из-за того, что профессор кинулся ловить сверчка, но был то чистопородный сверчок или нет, осталось неизвестно, ибо профессор так его и не поймал. А потом, предваряемый тремя громкими выхлопами (Билби даже подумал в первую минуту, что это гонятся за ним с ружьями полоумные дворецкие из Шонтса), подкатил на мотоцикле капитан Дуглас; он спешил и поставил машину у обочины. Мотоциклы тогда только появились, и Дуглас как раз и опоздал из-за своей машины. Она же была в ответе за грязное пятно под глазом капитана. Белокурый, раскрасневшийся, в клеенчатом костюме, в шапке наподобие шлема и огромных перчатках с крагами, он даже с этим грязным пятном казался каким-то незнакомым, храбрым и прекрасным — точь-в-точь крестоносец, только не в стали, а в клеенке, и усы чуть покорооче. И когда он шел по лужайке к лагерю, миссис Баулс и миссис Гидж в один голос вскричали: «А вот и он!», — и мисс Филипс сердито на них взглянула. Билби в это время стоял на коленях и расстилал на траве скатерть для завтрака — в руке у него был целый букет вилок и ножей; и тут он увидел, как капитан Дуглас подходит к мисс Филипс, и сразу понял, что актриса уже забыла своего куда более скромного обожателя, — сердце его сжалось в отчаянии. Приезжий был одет, как какой-то сказочный рыцарь, а у бедного Билби отняли единственный его атри-

бут мужественности — воротничок, так мог ли он тягаться со всем этим великолепием? С этого часа в сердце Билби поселилась любовь к технике, страсть к коже и клеенке.

— Я же приказала вам месяц не появляться, — говорила Мадлен, а лицо ее так и светилось от радости.

— Мотоцикл — непослушная штука, — отвечал капитан Дуглас, и на его залитой солнцем щеке блестели все золотистые волоски.

— И вообще это вздор, — вмешалась миссис Баулс. Даже профессор был уже не так поглощен делами и слегка прислушивался, а остальные трое откровенно внимали этой недвусмысленной сцене.

— Вы же должны были быть во Франции.

— Но я здесь.

— Я же отправила вас на месяц в изгнание. — И она протянула капитану руку для поцелуя. Он поцеловал ее руку.

Где-нибудь, когда-нибудь — это значит в книге судеб — Билби тоже будет целовать чьи-то руки. А наверно, приятно!

— Месяц! Мне и так показалось, что прошли годы, — сказал капитан.

— Тогда отчего вы не вернулись раньше? — спросила она, и капитан не нашелся что ответить...

Прибывший с бочкой Уильям доставил еще другие свидетельства организаторских талантов профессора. Он принес разное вино — красное бургундское и шипучий рейнвейн, две бутылки сидра и какую-то особую, очень знаменитую минеральную воду; консервы с закуской и на редкость ароматные груши.

Когда они с Билби ненадолго остались вдвоем за фургоном, он трижды горестно повторил:

— Они все съедят. Все съедят, уж я знаю. — И еще безнадежнее прибавил: — А не съедят, так пересчитают. Старый очкарик все припрятет... Он такой, я знаю!..

Веселее пикника не было в тот день на залитых солнцем холмах над Уинторп-Сатбери. Все были оживлены, и даже безнадежно влюбленный Билби почти весело



«ВИЛБИ»



«ВІЛВИ»

суетился вокруг: так подбадривали его сверкавшие очки профессора.

Они болтали о том о сем; Билби некогда было прислушиваться, а ему так хотелось узнать, что сказала Джуди Баулс, раз они так смеются; и дело уже дошло до груш, когда его внимание привлекло, а вернее поразило, слово «Шонтс»...

Это было как гром среди ясного неба. *Они говорили про Шонтс!..*

— Поехал я туда с наилучшими намерениями,— рассказывал капитан Дуглас.— Чтоб в гостиной Люси было побольше народа. (Ради пустого удовольствия теперь в Шонтс никто не поедет.) А потом они предложили мне уехать — просто выставили за дверь.

(Этот человек тоже был в Шонтсе!)

— Когда это было? В воскресенье утром? — спросила миссис Гидж.

— В то утро мы были неподалеку от Шонтса,— вставила вдруг миссис Баулс.

(Этот человек был в Шонтсе в одно время с Библи!)

— Да, в воскресенье рано утром. Попросили вон. Я прямо диву дался. Ну что тут делать! Куда пойдешь в воскресенье? Воскресным утром никто никуда не ходит. Я сплю всю ночь, как младенец, и вдруг является Лэкстон и говорит: «Послушайте, вы меня очень обяжете, если упакуетесь и сейчас уедете». «Почему?» — спрашиваю. «Потому, что лорд-канцлер из-за вас сбрендил!»

— Но что же именно произошло? — сердито спросил профессор.— Я что-то не пойму. Отчего он попросил вас уехать?

— Понятия не имею! — вскричал капитан Дуглас.

— Но все-таки!.. — настаивал профессор, не желавший примириться с людским неразумием.

— У нас было маленькое столкновение в поезде. Выеденного яйца не стоит. Он хотел занять два угловых места — я всегда считал это хамством,— но, ей-богу, не стал особенно с ним препираться. А потом ему взбрело в голову, что мы смеялись над ним за обедом,— ну, может, самую малость, так, поострились, не больше, чем о любом другом: как он, мол, шевелит бровями и прочее такое. А потом он решил, что я его разыгрываю... Это вообще не в моем характере. Он до того

поверил в свою дурацкую выдумку, что ночью устроил скандал. Объявил, будто я изображал привидение и хлопнул его по спине. Как это вам нравится, черт возьми? А я даже не выходил из комнаты.

— Вы пострадали за грехи брата,— сказала миссис Баулс.

— Господи,— вскричал капитан,— а я и не догадался! Наверно, он нас перепутал!..

Он с минуту подумал и продолжал свой рассказ:

— Ночью ему, понимаете ли, слышался какой-то шум.

— Это им всем,— поддакнул профессор, кивая головой.

— Не мог заснуть.

— Верный симптом,— говорил профессор.

— А в заключение он пошел на рассвете бродить по дому, поймал дворецкого в одном из потайных ходов...

— Но как дворецкий попал в потайной ход?

— Вероятно, обходил дом. Это его обязанность...

И этот полоумный так отделал беднягу—нещадно... зверски. Подбил глаз и прочее. А тот слишком почтителен, чтобы дать сдачи. Под конец он объявил, что я над ним издеваюсь, что я подкупил себе в помощь прислугу и так далее... Лэкстон, по-моему, не очень в это поверил... А все-таки, знаете, как-то неловко, если про тебя начнут везде говорить, что ты шутишь шутки над лордом-канцлером. Будут думать, что ты какой-то зловредный дурак. Повредит карьере. С другой стороны, если уедешь, все решат, что ты и в самом деле виноват...

— Так зачем же вы уехали?

— Люси,— коротко отвечал капитан.— Закатила истерику. Если бы я не уехал, Шонтс бы рухнул,— добавил он.

Мадлен горела желанием помочь.

— Надо что-то придумать,— сказала она.

— А что тут придумаешь?!— вскричал капитан.

— Чем скорее вы добьетесь, чтоб лорда-канцлера признали помешанным, тем будет лучше для вашей карьеры,— рассудил профессор.

— Он еще больше разошелся после моего отъезда.

— Откуда вы знаете?

— Я получил два письма. Заезжал нынче утром в Уитли на почту. С дворецким дело на этом не кончилось. За завтраком лорд-канцлер сорвался с места и схватил беднягу за шиворот. Мне пишут, он тряс его, как крысу. Объявил, что ему не подадут вина,— милая история, а? Словом, он тряс его до тех пор, пока у того не разбилась вся посуда на подносе...

— Мне написала об этом Минни Дуболоум, та, знаете, что была до замужества Минни Флэкс.— Он кинул на Мадлен заискивающий взгляд.— Они когда-то жили с нами по соседству. Часть гостей, по ее словам, не поняла, что происходит. Они решили, что у дворецкого какой-то припадок. Старый Магеридж поднимает его. Расстегивает ему воротничок. Это Лэкстон выдумал насчет припадка. Так всем и объяснил. Надо же было что-то сказать. Впрочем, Минни прекрасно поняла, в чем дело, и многие другие, по ее мнению, тоже. Лэкстон выволок обоих из комнаты. И такое в Шонтсе!.. Ужасная неприятность для бедной Люси. Не того ждали в графстве. А теперь станут говорить: в этом доме лорд-канцлер сошел с ума — или же: дворецкий у них припадочный. Так ли, эдак — для Люси все худо. В таком доме никто не захочет бывать...

— А второе письмо от Люси. Вот оно. — Он порылся в кармане.— Видали? Восемь страниц карандашом. Не шутка прочесть. Ни одна уважающая себя безграмотная женщина из приличного общества писать так не станет. Буквы так и пляшут. Точно писалось в поезде. Половины не разберу. Эта вбила себе в голову, что пропал какой-то мальчишка. С ума сходит. Мол, не взял ли я его с собой. Пропал он у них. В чемодане я его увез, что ли? Лучше написала бы лорду-канцлеру. Этот на все способен. Повстречал, скажем, мальчишку где-нибудь в темном углу да и набросился на него. Разорвал в куски. Рассеял по ветру. Так или иначе, а мальчишка пропал.

Капитан не скрывал своего возмущения.

— Только мне и заботы — разыскивать для Люси всяких мальчишек. Хватит того, что я ради нее уехал...

Миссис Баулс прервала его, подняв руку с зажатой в пальцах сигаретой.

— А что за мальчик у них пропал? — спросила она.

— Не знаю. Какой-то чертенок. Может, это все ее выдумки. От всех этих скандалов у нее расшалились нервы.

— Перечитайте-ка, что она пишет про мальчика, — попросила миссис Баулс. — Мы тут одного нашли.

— Вот этого самого?

— Да... — Миссис Баулс оглянулась, но Билби нигде не было видно. — Мы его нашли в воскресенье утром неподалеку от Шонтса. Он увязался за нами, как брошенный котенок.

— Но ты, помнится, говорила, что знаешь его отца, Джуди, — возразил профессор.

— Я его слов не проверяла, — отрезала миссис Баулс и опять обратилась к капитану Дугласу: — Перечитайте, что пишет о нем леди Лэкстон...

Капитан Дуглас принялся с великим трудом разбирать каракули своей сестры. Все с интересом придвинулись к нему и, сидя над остатками десерта, стали вместе с ним разбирать корявые фразы леди Лэкстон...

— Позовем главного свидетеля, — предложила наконец миссис Баулс, увлеченная всей этой историей. — Дик!

— Ди-ик!

— Дик!!!

Профессор встал и пошел за фургон. Но тут же вернулся.

— Там его нет.

— Он все слышал, — проговорила миссис Баулс громким шепотом и сделала круглые глаза.

— Люси пишет, — сказал Дуглас, — что, может быть, он забрался в какой-нибудь потайной ход.

Профессор вышел на дорогу, глянул вверх, потом вниз, на крыши Уинторп-Сатбери.

— Нету, — сказал он. — Сбежал.

— Куда-нибудь ненадолго отлучился, — заметила миссис Гидж. — Он иногда уходит в это время. Он вернется вымыть посуду.

— Может, он дремлет где-нибудь в кустах, перед тем как взяться за работу,— сказала миссис Баулс.— Не мог он сбежать. Во всяком случае, он не мог взять свои вещи.

Она встала и не без труда влезла в фургон, задние колеса которого были приподняты.

— Все на месте,— сообщила она, высунувшись из двери.— Узелок здесь.— Голова ее снова скрылась.

— По-моему, он бы так не ушел,— сказала Мадлен.— Отчего ему, собственно, уходить, если даже он тот самый пропавший мальчик...

— Вряд ли он что-нибудь слышал,— заметила миссис Гидж.

Миссис Баулс вышла из фургона, в руках у нее был загадочный бумажный сверток. Она осторожно спустилась по лесенке. Села у огня, сверток лежал у нее на коленях. Озорно поглядывая то на сверток, то на друзей, она закурила новую сигарету.

— Вот наша единственная связь с Диком,— сказала она, не вынимая изо рта сигареты.

Она пощупала сверток, взвесила его на руке; взгляд ее стал еще более озорным.

— Любопытно,— сказала она.

Лицо ее стало до того озорным, что муж понял: сейчас она позволит себе что-нибудь недопустимое. Он давно отказался от попыток удерживать ее в подобные минуты. Она наклонила голову набок и надорвала сверток с угла.

— Жестянка,— сказала она театральным шепотом. Потом еще немного надорвала сверток.— Трава.

Профессор постарался увидеть все это в смешном свете.

— Если уж ты отказалась от приличий, делай это по крайней мере откровенно... По-моему, душечка, лучше прямо развернуть сверток.

Так она и сделала. Шесть пар глаз без всякого сочувствия уставились на явную нищету Билби.

— Идет! — вдруг воскликнула Мадлен.

Джуди стала поспешно заворачивать все обратно, но тревога оказалась ложной.

— Да он сбежал, я же говорил,— сказал профессор.

— И не вымыл посуду! — простонала Мадлен.—
Этого я от него не ждала...

Но Билби не «сбежал», хоть и исчез из лагеря. Он так и не подал никаких признаков жизни, пока они сидели над остатками пиршества. Они говорили о нем и обо всем, что с ним связано, и рассуждали, не следует ли капитану послать Люси Лэкстон такую телеграмму: «Мальчик почти найден».

— Я ведь, можно считать, его нашел,— сказал капитан,— но пока он не в наших руках, мы не знаем наверно, тот ли это мальчик.

Потом они говорили о мытье посуды и о том, как это противно. И тут оба мужа, понимая, что они в вынужденном положении, стали опять настаивать, чтобы кочевницы отправились с ними в гостиницу при гольф-клубе, переночевали там разок-другой, воспользовались ванной и другими благами цивилизации или уж хотя бы пошли выпить чаю. И так как Уильям уже вернулся (он сидел на траве и курил свою дрянную глиняную трубку), они поднялись и пошли. Но капитан Дуглас и мисс Филипс почему-то шли отдельно и все больше и больше отставали; под конец они оказались почти в одиночестве.

Сперва две супружеские пары, а потом и влюбленные сперлись за гребнем холма...

Некоторое время фургон казался совершенно покинутым, если не считать сидевшего в отдалении стража. Но вот задвигались ветки куманики у заброшенного мелового карьера, и на свет божий вынырнул опечаленный, расстроенный, перепачканный мелом мальчуган. На душе у него было тяжело.

Пришло время уходить.

А уходить ему не хотелось. Он полюбил этот фургон. И он обожал Мадлен.

Да, он уйдет, но уйдет красиво, трогательно.

Перед уходом он вымоет всю посуду, все вычистит, приборет и оставит о себе воспоминание как о непопра-

вимой утрате. Грустно, но усердно он взялся за дело. Вот бы Мергелсон удивился!

Билби прибрал все так, что одно загляденье.

Затем на коврике, где она всегда сидела, он увидел ее любимую книжку — томик стихов Суинберна¹ в изящном переплете. Эту книгу подарил ей капитан Дуглас.

Билби почти с благоговением взял ее в руки. Книжка была такая непохожая на все, какие он видел, такая красивая, совсем как она сама!..

В душе Билби проснулось странное желание. С минуту он колебался. И вдруг сразу решился. Он выбрал страницу, достал из кармана огрызок карандаша, щедро послунил его и, учащенно дыша, принялся писать традиционное послание: «Прощайте и помните Артура Билби». К этому он прибавил от себя: «Посуду я вымыл».

Потом он вспомнил, что в фургоне знать не знали никакого Артура Билби. Он опять послунил карандаш и так густо зачеркнул свое имя, что уже было не разобрать; тогда поверх этого, так нажимая, что слова отпечатались на всех следующих страницах, он вывел престранную надпись: «Эд, законный граф Шонтс». Но тут же устыдился и всю ее зачеркнул еще более решительным образом. В заключение над всем этим он написал просто и ясно: «Дик Малтраверс»...

Он со вздохом положил книгу на место и встал.

Порядок теперь был бесподобный. Что бы такое еще сделать? Может, оплести весь лагерь тисовыми ветвями? Будет красиво... и значительно. И он взялся за работу.

Сперва он трудился очень рьяно, но тис плохо ломается, и вскоре у Билби заболели руки. Он стал размышлять, как бы это сделать попроще, и увидел под задними колесами фургона большой зеленый куст — особенно хороша была одна длинная ветвь... Он решил, что будет нетрудно выдернуть эту ветвь из наваленной здесь кучи палок и камней, в которую упиралась задняя

¹ Суинберн, Алджернон Чарлз (1837—1909) — английский поэт-неоромантик.

колеса. Так ему показалось. Он ошибался, но был уверен, что отлично придумал.

И он начал тянуть. Это оказалось куда труднее, чем он ожидал: у ветви было много отростков, которых он сперва не заметил, и вытянуть ее оказалось непросто. Она точно вросла в землю.

У Билби был настойчивый характер.

Затяг его увлекла... Он тянул все сильнее и сильнее...

Ну до чего же различны люди!..

Билби был мальчик с воображением, способный на возвышенную любовь, на отвагу и преданность.

Уильям, слепленный из грубого сорта глины, был материалист и раб своих инстинктов. Такие, как Уильям, заставляют нас поверить в существование более низких особей — второсортных людей, — в естественное неравенство.

Пока Билби был занят выполнением своей благородной затеи — пусть нелепой и не очень удачно придуманной, но по крайней мере шедшей от сердца, — Уильям был занят совсем другим: он в самозабвении удовлетворял те инстинкты, которые человечество единодушно и безоговорочно отнесло к низшему разряду, а небеса — к нижней половине нашего тела. Он, крадучись, пробирался к остаткам еды, и даже не очень опытный физиономист сразу понял бы, почему он поминутно облизывает свои тонкие перекошенные губы. Он проник в лагерь так бесшумно, что Билби его не заметил. Уильям не прочь был доесть, что осталось, но еще больше его влекли бутылки с вином. Билби аккуратно расставил их в ряд чуть поодаль на холме. Здесь была бутылка сидра, в которой осталось около стакана этого напитка, — Уильям его выпил; было почти полбутылки рейнвейна — Уильям выпил и его; нашлось немного бургундского и Аполлинари — Уильям пил все подряд.

Опоражившая бутылку за бутылкой, Уильям подмигивал дремлющим ангелам, облизывал губы и с беззастенчивым одобрением похлопывал себя по животу. Разгоряченный алкоголем, он утратил последние остатки самообладания, и тут мысли его опять обратились к

вождеденному шоколаду в нарядной, обшитой лептами коробке, что лежал в ящичке под кроватью мисс Филипс. Глаза его заблестели, на щеках проступили красные пятна. Он со злой настороженностью глянул на Билби: не смотрит ли тот.

Мальчик с чем-то возился позади фургона, что-то там вытаскивал.

Быстро и воровато Уильям влез на козлы.

Он секунду поколебался, прежде чем войти. Потом высунулся из-за угла фургона и поглядел на ничего не подозревавшего Билби, сморщил нос в мерзкой гримасе и, словно какое-то олицетворение жадности, весь изогнувшись, скользнул внутрь.

Вот они, конфеты! Уильям запустил руку в ящик и остановился, прислушиваясь...

Что это?..

Фургон вдруг трянуло. Уильям споткнулся; его жалкая душонка ушла в пятки. Фургон накренился. Сдвинулся с места... Задние колеса стукнулись о землю...

Уильям шагнул к двери, но его качнуло в сторону, и он повалился на колени... Потом его ударило о посудную полку, и на него полетела тарелка. Упала и разбилась чашка. Казалось, фургон пустился вприпрыжку...

В окошке проносились очертания тисовых кустов. Фургон летел вниз с холма...

— Ого-го!..— орал Уильям, цепляясь за кровати, чтоб совсем не свалиться.

— Не такой же я пьяный!..— бормотал он, лежа на полу и еле переводя дух. Он попробовал открыть дверь.

— Господи! Ой-ой-ой!.. Держите! Ох, нога!.. Ах ты распроклятый мальчишка!..

— ..!— кричал Уильям.—..!

Наши туристы не долго спорили. Кочевницы согласились переночевать в гостинице. И вот, выпив чаю, они решили пойти назад и распорядиться, чтобы Уильям подвел фургон к гостинице. Профессор Баулс с обычной своей ретивостью шагал впереди всех.

Профессор-то первый и заметил, что творится у фургона. Он как-то по-собачьи тявкнул. Коротко и визгливо. И тут же закричал:

— Что-он-там-делает-этот-мальчишка?!

А потом заорал во все горло:

— Э-эй!..—И помчался с холма. Он отчаянно размахивал руками на бегу и вопил: — Э-эй, ты!.. Болван!..

Остальные не отличались такой быстротой реакции.

На склоне холма они увидели Билби; мальчик усердно трудился, он тянул и дергал какую-то ветку, и вдруг фургон качнуло, он словно потряхнул головой, встал на дыбы, и тут с грохотом рухнула куча, подпиравшая задние колеса...

Фургон накренился и метнулся, как лошадь, на которую кинулась собака, и вдруг со спокойной решимостью заскользил вниз по травянистому склону на дорогу, сбегавшую в Уинторп-Сатбери...

Профессор Баулс вихрем ринулся в погоню, его жена в растерянности ахнула, но тут же побежала за ним с решительным видом. Следом достойно вышагивал мистер Гидж, высказывая единственно разумные и уместные предложения.

— Остановить! Прекратить! — кричал мистер Гидж на весь мир, совсем как его великий прототип на Балканской конференции. А потом кинулся бежать, напоминая собой огромную пару разболтанных ножниц.

Миссис Гидж после минутного колебания решила отнестись к происходящему юмористически и бабочкой порхнула за своим повелителем, на бегу деланно хихикая — эту милую привычку она когда-то переняла у своей обожаемой школьной подружки. Капитан Дуглас и мисс Филипс шли позади, и прежде чем они поняли, что случилось, произошло немало событий. И тут капитан, повинуясь первому побуждению солдата, бросился на помощь к остальным, а мисс Мадлен Филипс сделала несколько театральных жестов, но, убедившись, что зря старается и никто не обращает на нее внимания, преспокойно уселась на траву и стала дожидаться развязки.

Все по-прежнему были заняты фургоном. Без недостойной торопливости, но и без остановки фургон катился с холма к мирно дремавшей внизу деревеньке. Он не производил лишнего шума, голько колеса погромыхивали и порой он задевал на пути за куст или камень; раза два изнутри слабо долетал звон бьющейся посу-

ды да однажды послышалось что-то похожее на злобный вопль—и это все.

Казалось, фургон ожил. До сих пор он довольствовался скромной ролью желтого пятна на заднем плане, а сейчас обрел душу. У него обнаружилось целеустремленность и добрый человеческий юмор; он то задумывался на минуту, то вдруг принимал решение, но при этом ни разу не утратил благодушия и достоинства. Он ни на миг не изменял земному притяжению, слепо ему повиновался, однако без тени раболепия. Скорее могло показаться, что они с земным притяжением в большой дружбе. Он выехал на дорогу, наткнулся на насыпь, объехал ее, секунду поразмыслил и затем оглоблями вперед покатил с холма, постепенно набирая скорость и немножко петляя. Оглобли протянулись вперед, точно руки...

Издали могло почудиться, будто это какой-то ручной слон спешит к своему любимому хозяину, с которым он был в долгой разлуке. Или подвыпившая, развеселая морская свинка спешит к лакомству...

На большом расстоянии от него бежал профессор Баулс, этот поразительный сгусток энергии; он бежал так быстро, что, казалось, лишь изредка касался земли... А за ним поодиночке, в уже описанном порядке и согласно своим характерам, все остальные...

К счастью, дорога была почти пуста.

Здесь стояла детская колясочка с двумя близнецами, а девочка, которая за ними присматривала, по счастью, собирала на насыпи чернику. Землекоп рыл канаву. Плелся погруженный в свои мысли бродячий торговец. Его тележку, нагруженную плохонькой, в трещинах, посудой, ходкой у бедняков, тянула черная клячонка.

Посреди деревенской улицы спала собака...

Как видите, выбор был большой, но фургон выказал немало взбалмошного добродушия. Он поверг близнецов в рев, но прошел мимо. А ведь он мог бы превратить их в некое смородиновое желе. Он тяжело накренился в сторону землекопа, но пощадил его; загнал торговца на насыпь, сорвал колесо у тележки с посудой (та изумленно помедлила и рухнула, осыпав

его многоголосыми попреками), а затем с угрюмой решимостью двинулся к собаке.

Но и собака уцелела.

Она проснулась как раз вовремя и помчалась прочь с испуганным визгом. Фургон пробежал еще дюжину ярдов, сбавил ход и тут совершил единственный по-настоящему недостойный поступок — бухнулся вниз головой в широкую канаву с водой. Лишь теперь ему изменила невозмутимость. Плюх! При этом он издал какое-то хрюканье, отдаленно напоминавшее Уильяма, и затих!..

Некоторое время казалось, что фургон надорвался и испустил дух. Лесенка свисала из его приподнятой двери, как язык из пасти усталой собаки. Если бы тишину не нарушали слабые звуки, точно он скребся внутри, можно было бы подумать, что он умер.

А наверху вопили близнецы; землекоп и торговец сыпали бранью; клячонка попятилась и угодила в канаву, где совершила несколько опрометчивых шагов прямо по посуде, в чем ей пришлось жестоко раскаяться; а профессор Баулс, его жена, мистер Гидж, капитан Дуглас и миссис Гидж всё бежали и бежали — слышался дробный топот.

И тут в верхней двери фургона появились признаки жизни: сперва кисть руки, потом вся рука, потом нога, ищущая точку опоры, огромный нос и маленький злобный глаз, — словом, то был Уильям. Разъяренный Уильям.

Профессор Баулс подбежал к фургону. С поразительным проворством, цепляясь за колеса и подножку, вскарабкался наверх и столкнулся лицом к лицу с злополучным возницей. Минута больше подходила для обоюдного сочувствия, чем для гнева, но профессор был раздражителен, вспыльчив и не питал симпатии к низшему сословию, а у Уильяма был необузданный нрав.

— Безмозглый осел!.. — начал профессор Баулс.

Услышав эти слова, Уильям не сдержался и ударил профессора по лицу, а профессор, едва его стукнули, храбро и решительно набросился на Уильяма.

Минуту шла отчаянная борьба — казалось, у каждого из противников какое-то несметное множество ног, —

и вдруг оба они рухнули в раскрытую дверь фургона; еще мгновение руки и ноги их как-то неправдоподобно вертелись в воздухе, а потом все исчезло...

Оглушительный звон разбитой посуды. Никто б не поверил, что в фургоне еще столько можно было разбить...

Благодатное затишье...

Снова приглушенная возня...

К месту происшествия отовсюду потянулись деревенские жители; в испуге и восторге они глазели на происходящее. Внутри стоявшей торчком желтой колымаги, судя по звукам, возобновилась потасовка — это сулило новые впечатления и прибавляло к тому, что происходило у них на глазах, еще и некоторую таинственность.

А Билби все стоял с огромной тисовой веткой в руках; при виде случившегося в его юной душе родилось сознание человеческого бессилия. Впервые он понял, какая пропасть лежит между замыслом и исполнением. Ведь он хотел только хорошего...

Кто поверит его объяснениям?..

Одна мысль объяснить это профессору Баулсу приводела его в ужас...

Он огляделся вокруг полными отчаяния круглыми глазами. Надо бежать в эту сторону — здесь, очевидно, легче будет спрятаться и встретишь меньше людей; и он без лишней задержки пустился в путь, желая поскорее перелистнуть эту страницу своей жизни...

Сейчас он хотел лишь одного — быть уже где-то в другом месте.

Вслед ему с вершины холма понесся мелодичный зов, но не достиг его.

— Ди-ик!

Спустя немного мисс Филипс встала с травы и, грациозно подобрав юбку и вскинув свой прелестный подбородок, с самым деловым видом спустилась к собравшейся толпе. Ее юбки развевались по ветру — она шла с холма походкой Артемиды.

Пора уже было кому-нибудь полюбоваться ею!

ПОИСКИ БИЛБИ

В субботний вечер, когда Билби впервые приобщился к театру, мистер Мергелсон, дворецкий в замке Шонтс, медленно и озабоченно брел по той части парка, что лежала между прачечной и садами. На лице его почти не было следов злополучного столкновения с лордом-канцлером; сырое мясо, которое ему прикладывали на кухне, остановило воспаление, и на щеке едва виднелось несколько синяков. Пережитое не столько унизило, сколько подняло Мергелсона в собственном мнении. Глаз его был подбит, но ведь это не простой синяк! Он нанесен благородной рукой и притом без всякой вины самого мистера Мергелсона. Синяк этот свидетельствовал не о буйной жажде утех или какой-нибудь низкой страсти, а об исполненном долге. Он застал мистера Дарлинга в глубоком раздумье возле персиковых деревьев, посаженных вдоль стены. Они росли хуже, чем следовало, и мистер Дарлинг ломал себе голову, с чего бы это.

— Добрый вечер, мистер Дарлинг,— сказал мистер Мергелсон.

Мистер Дарлинг не спеша расстался со своими думами и обернулся к приятелю.

— Добрый вечер, мистер Мергелсон,— сказал он.— Не нравится мне что-то вид этих персиков, ох, как не нравится!

Мистер Мергелсон мельком глянул на персики и перешел к тому, что волновало его куда сильнее.

— Я так полагаю, мистер Дарлинг, что вы в последние два дня совсем не видали своего пасынка.

— Ясное дело,— ответил мистер Дарлинг и, склонив голову набок, посмотрел на собеседника.— Ясное дело. Он же теперь под вашим присмотром, мистер Мергелсон.

— В том-то и заковыка,— сказал мистер Мергелсон и с деланной непринужденностью добавил: — Я, знаете, тоже не видел.

— Совсем?

— Совсем. С глаз исчез,— мистер Мергелсон прикинул в уме,— в субботу за полночь.

— Да как же так, мистер Мергелсон?

Дворецкий понимал, что это не так-то просто объяснить.

— Пропал куда-то,— сказал он, рассматривая хорошо вычищенную дорожку и словно что-то подсчитывая, а потом прямодушно глянул на мистера Дарлинга и добавил:— И с тех пор его нет как нет.

— Вот так штука! — сказал мистер Дарлинг.

— Да, что и говорить,— поддакнул мистер Мергелсон.

— Скверная штука,— сказал мистер Дарлинг.

— Мы решили, он от работы прячется. Или домой сбежал.

— Чего же не послали спросить?

— Заморочились очень с гостями. А еще думали — коли сбежал, невелика потеря. Он больше под ногами пугался... Да тут еще кое-какие неприятности... А сейчас, как все поразъехались, а он не вернулся... ну я и пришел к вам спросить, мистер Дарлинг. Куда ж он девался?

— Сюда он не заходил,— сказал мистер Дарлинг, обводя взглядом сад.

— Да я не больно на это и надеялся,— заметил дворецкий с таким видом, будто ждал подобного ответа и боялся его.

Оба джентльмена с минуту молчали и испытующе смотрели друг на друга.

— Так где ж он? — спросил мистер Дарлинг.

— Видите ли,— сказал мистер Мергелсон, закладывая руки за несуществующие фалды — он был не во фраке, а в короткой куртке — и донельзя походя на задумчивого попугая. — Сказать вам по чести, мистер Дарлинг, привиделся мне про него дурной сон, и очень это меня тревожит. Сдается мне, сидит он где-то в потайном ходе. Спрятался. Гость тут у нас один был... Ничего я худого сказать не хочу, да только от него кто хошь побежал бы прятаться... А нынче утром, как все поразъехались, мы с Томасом и пошли по этим проходам — все, что могли, обошли. Нигде ни следа. А вот не выходит у меня это из головы. Он ведь такой был шустрый, верткий, все что-нибудь да придумывал.

— Не раз я его за это учил,— сказал мистер Дарлинг, и при этих воспоминаниях в глазах его блеснул злой огонек.

— Чего доброго, застрял где-нибудь в потайных ходах,— сказал мистер Мергелсон.

— Это как же застрял?!— переспросил мистер Дарлинг.

— А так, залез куда-нибудь, а выбраться не может. Там, говорят, в стенах какие-то тайники и входы каменем заложены.

— И подземные коридоры, говорят, есть, до самых развалин монастыря, а это добрых три мили,— прибавил мистер Дарлинг.

— Да, нескладно вышло,— сказал мистер Мергелсон.

— И что он туда полез, чтоб ему околеть! — сказал мистер Дарлинг и поскреб в затылке.

— Нельзя ж его там бросить,— заметил мистер Мергелсон.

— Вот был такой случай: один чертенок в дренажную трубу залез,— припомнил мистер Дарлинг.— Пришлось отцу откапывать его, как лисенка из норы. Ох, и отодрал же он его!

— Зря мы такого малолетка наняли,— посетовал мистер Мергелсон.

— Да, совсем нескладно получилось,— размышлял мистер Дарлинг, взвешивая все обстоятельства дела.— Больно уж им мать дорожит. Прямо не сказать, до чего дорожит...

— А может, не надо ей пока говорить?— сказал мистер Мергелсон.— Я уж про это думал.

Мистер Дарлинг был не из тех, кто склонен терзаться раньше времени. Он покачал головой.

— Да, покуда не стоит, мистер Мергелсон. Подождем, пожалуй. Сперва сделаем, что можно. Еще успеет нагореваться. Коли вы не против, я зайду к вам вечером, этак часу в девятом, и мы потолкуем меж собой — вы, Томас и я. Для начала так-то лучше — без шума. Раз уж приключилось такое, надо нам с вами все это обмозговать.

— Вот и я так думаю,— сказал мистер Мергелсон; сго явно утешило, что разговор у них с Дарлингом вы-

шел такой мирный.— Я, мистер Дарлинг, в точности так же на это смотрю. Потому, если он в доме и не помер, так чем он кормится?

Вечером в буфетной продолжался разговор о том, разглашать случившееся или нет. Собеседники щедро угощались пивом собственного мистера Мергелсона приготовления. По доброму старому обычаю пиво в Шонтсе варили дома, и получалось оно всегда разное—когда крепкое, когда слабое, когда вкусное, когда нет, так что от однообразия в Шонтсе не страдали. На сей раз оно было крепкое, что вполне отвечало настроению мистера Дарлинга, и мистер Мергелсон, с естественным для автора тщеславием, словно ненароком, то и дело забирал пустой кувшин и приносил пенящийся.

Ливрейный лакей Генри не хотел портить вечер и потому делал вид, что не все еще потеряно, но Томас был полон скорби и сочувствия. Рыжеволосый юнец с помощью какой-то машинки скручивал сигареты, поспеив, подавал их собравшимся и, как ему подобало, больше помалкивал. Пива ему не полагалось, разве что вспомнят и поднесут, и забывчивость мистера Мергелсона подкрепляла этот порядок.

— Как подумаю, что наш малец провалился вниз головой в какую-нибудь затянутую паутиной дыру, так за сердце меня и берет,— говорил Томас, подливая себе из кувшина.

— Занятный был мальчуган,— заметил Мергелсон откровенно заупокойным тоном.— Работа ему не нравилась, по всему было видать, а так прыткий был. Я, бывало, как выпадет свободная минутка, так чем-нибудь, глядишь, ему и пособию.

— Только вот обидчивый был,— заметил Томас.

Мистер Мергелсон сидел за столом, широко раскинув на нем руки.

— Все-таки не след нам больше молчать,— объявил он.— Надо сказать ее милости, нельзя больше откладывать... Разве что до послезавтра. А там уж, как бог даст!

— А вот хозяйке моей самому мне придется сказать,— отозвался мистер Дарлинг и в расстрой-

стве налил себе столько пива, что оно побежало через край.

— Сегодня перед сном мы еще раз пройдем по этим ходам. Будем идти сколько сил хватит,— сказал мистер Мергелсон.— Но ведь там есть щели и дыры, и мальчик мог туда провалиться.

— Хозяйке моей придется сказать,— твердил мистер Дарлинг.— Вот что плохо-то...

Весь остаток вечера мистер Дарлинг то и дело повторял эти слова. Он надеялся, что ему что-нибудь посоветуют.

— Ну вот, как бы вы сказали хозяйке?— спросил он мистера Мергелсона и в ожидании ответа нетерпеливо осушил свой стакан.

— Я просто сообщу ее милости о происшедшем. Скажу: «Ваша милость, у нас мальчишка куда-то девался, а куда — ума не приложим». А станет спрашивать — все подробно расскажу.

Мистер Дарлинг подумал немного и покачал головой.

— А вы бы как сказали? — спросил он Томаса.

— Мне, слава богу, не говорить,— отозвался Томас.— Эх, бедный мальчик!..

— Ну, а коли пришлось бы? — настаивал мистер Дарлинг.

— Я подошел бы к ней, похлопал по спине и сказал: «Мужайся!» А как она стала бы спрашивать, почему, я бы все и сказал, не сразу, конечно, а помаленьку.

— Нет, вы ее не знаете,— сказал мистер Дарлинг.— Ну, а ты, Генри, как бы сказал?

— Сама бы пускай догадалась, — отвечал Генри. — Женщины на это мастерицы.

Мистер Дарлинг подумал немного и решил, что это тоже не подходит.

— Ну, а ты?— спросил он рыжеволосого парнишку, начиная отчаиваться.

Рыжеволосый ответил не сразу; он уставился на мистера Дарлинга, продолжая лизать край сигареты. Потом не спеша заклеил ее и принялся размышлять над вопросом.

— Пожалуй,— сказал он негромко и важно,— пожалуй, я просто сказал бы: «Мэри...», или «Сьюзен», или как там ее...

— Тильда,— подсказал мистер Дарлинг.

— «Тильда», сказал бы я, «бог дал, бог и взял, Тильда. Помер он». Что-нибудь вот такое.

Рыжеволосый откашлялся. Он, видно, был растроган своей простой, но убедительной речью. Мистер Дарлинг минуту-другую с большим удовольствием обдумывал услышанное. А потом почти с раздражением промолвил:

— Да куда же он все-таки провалился, чтоб ему было пусто!

— Ну, будь что будет,— продолжал мистер Дарлинг,— а нынче я ничего ей не скажу. Пасынка я потерял, так теперь еще и без сна оставаться! Ну, нет. А превосходное у вас пиво, мистер Мергелсон, скажу я вам. В жизни лучшего не пробовал, ей-ей! Знатное пиво!

Мистер Дарлинг еще угостился...

Возвращаясь домой через залитый лунным светом парк, он все раскидывал умом, как лучше сказать жене о случившемся. Он ушел из замка немного рассерженный тем, что Мергелсон отверг его предложение, такое удачное, походить вокруг дома и покричать. «Мальчишка сразу узнает мой голос. А ее милость не станет возражать. Она, верно, уже спит». Лунный свет понемногу его успокоил.

Но как все-таки сказать жене? Он пробовал начинать речь и так и этак перед готовой слушать луной.

Есть, к примеру, такой вот неплохой способ — взять да и бухнуть: «Знаешь, а парень-то твой...» (Немного подождать, чтоб спросила.) И тут же: «Пропал куда-то бес-про-во-ротню...»

Только вот никак не выговоришь — «бес-про-во-ротню»...

Или же так — с горестным спокойствием: «Ну и прескверная же вышла штука. Прескверная. Парень-то наш бедный — Арти — пропал бес-про-во-ротню». И опять это «бес-про-во-ротню».

Или, может, так — с волнением: «Уж не знаю, как ты это примешь, Тильда, только надо мне кое-что тебе сказать. Дрянные новости. Вроде, пропал у них наш Арти — чисто, и не было. Как в воду канул».

Или же сердечно и снисходительно: «Возьми себя в руки, Тильда. Покажи, что ты женщина сильная. Мальчик-то наш... ик!.. пропал».

И вдруг он в отчаянии обратился ко всему парку:

— Что я ей ни скажи, а все равно выйду кругом виноват. Я ее знаю!

Тут до него дошел весь смысл случившегося.

— Бедный парнишка!..— вздохнул он.— Бедненький мальчик!..— И он заплакал настоящими слезами.— Я любил его, как родного...

Окружающая тьма ничего ему не ответила, и он повторил эти слова громче, почти с вызовом... Несколько раз он тщетно пытался перелезть через садовую ограду: калитки почему-то на месте не оказалось. (Надо завтра проверить, куда она девалась. А сейчас, когда так подавлен горем, разве поймешь, все ли в порядке!)

Калитка отыскалась за углом. Жене он только сказал, что хочет спокойно поспать до утра, и стал вызывающе разуваться, то и дело прерывая в забывчивости это занятие. Все равно скоро светает.

Она строго на него посмотрела и, хоть он нет-нет да и бросал на нее странный взгляд, так ни о чем и не спросила.

Наконец-то он в постели.

Когда гости разъехались и сэр Питер отбыл в Лондон по делам, связанным с изготовлением питательной смеси «Расти большой» и рассылкой патентованных сосок во все обитаемые части света, леди Лэкстон вернулась в постель и не вставала до середины вторника. Ей нужен полный покой и величайшая заботливость горничной, иначе не миновать серьезного нервного расстройства. Прием до самого конца протекал очень бурно. Неосторожная затея сэра Питера — не давать лорду-канцлеру спиртного — повлекла за собой прискорбную стычку во время завтрака, а за ней последовала еще худшая сцена между гостем и хозяином.

— Тут надо действовать с тактом,— сказал сэр Питер и пошел увещевать лорда-канцлера, а жена осталась терзаться жестокими и вполне естественными опасениями. Ибо такт сэра Питера представлял собой неч-

то совсем особое — смесь недомыслия, придирчивости и развязности, — такое не всякому по вкусу...

Гостям, съехавшимся на воскресный обед, леди Лэкстон объяснила, что лорда-канцлера неожиданно вызвали в Лондон. «Что-то там с Большой государственной печатью», — таинственно шепнула хозяйка кое-кому из гостей. Нашлись простаки, которые решили, что Большая государственная печать внезапно занемогла и, как видно, с ней приключилось что-то такое, о чем вслух не рассказывают. Томасу пришлось воспользоваться гримом, оставшимся от какого-то любительского спектакля, и закрасить дворецкому синяк под глазом. Прием совершенно не удался, и леди Лэкстон, ложась в тот вечер в постель, не выдержала и разрыдалась.

А тут сэру Питеру понадобилось зачем-то просидеть битый час у нее в комнате, выкладывая, что он думает о лорде-канцлере! Ей и без того прекрасно известно, какого ее муж мнения о лорде Магеридже, а в подобных случаях Лэкстон обычно прибегает к таким выражениям, которые, как она уверяет себя, ей — женщине из хорошей семьи — совсем не знакомы...

Итак, в понедельник, едва разъехались гости, леди Лэкстон опять надолго улеглась в постель; как подобает достойной женщине, она постаралась отогнать от себя мысль о том, что подумают (а может быть, и скажут) о случившемся соседи, принялась читать новый и весьма основательный труд епископа Индьюка о язвах и пороках современного общества и перечитывать сообщения утренних газет о катастрофе на шахтах Северной Англии.

Как многие женщины ее круга, леди Лэкстон выросла в искусственной атмосфере, лишенной живых красок, и сейчас вела жизнь безупречную, но однообразную, вполне обеспеченную и удобную, но смертельно скучную; скуку эту нарушали лишь мелкие светские обиды да порою выходки сэра Питера; для подобных женщин есть что-то притягательное в пороках и страданиях людей, чья жизнь протекает не под стеклянным колпаком. Женщины эти находят соблазн и утешение в мысли о чужих муках и тяготах, и поскольку самой леди Лэкстон страдания и пороки были неведомы, она постоянно чи-

таа всякие брошюрки, которые во множестве выпускаются столь распространенными в наше время обществами борьбы за улучшение нравов, и давала деньги, щедро и охотно, на вспомоществование жертвам различных катастроф. Корешок чековой книжки леди Лэкстон служил доказательством благодарности за испытанное ею сострадание. В мечтах она рисовалась себе чуть ли не ангелом, который пресекает недостойные утехи и корит за них и заслуженно принимает слезную дань благодарности от злосчастных жертв нашей индустриальной системы.

Женщинам свойственно странное тяготение к реальности, и в иные минуты леди Лэкстон не довольствовалась смакованием газетных отчетов и жалела, что не может ближе соприкоснуться с ужасающими кошмарами жизни, а не просто выписывать чеки для борьбы с ними. Ей хотелось воочию видеть, как отступают в раскаянии адепты зла перед ее добрыми делами; самой освободить от уз, оживить, пожалеть какую-нибудь обреченную, одурманенную хлороформом жертву так называемого естествоиспытателя; постоять самой у носилок, побывать в лазарете и подняться к вершинам человечности, записавшись в сестры милосердия. Но представления сэра Питера о женственности были куда возвышенней его манеры выражаться, и он ни за что не позволил бы этому утонченному созданию осквернить себя хотя бы созерцанием этих мук и пороков.

— Им нужны опытные сиделки, — говорил он всякий раз, как она заводила речь о том, чтобы самой помогать жертвам голода и катастроф. — Ты же не любопытства ради хочешь туда пойти, старушка...

Да, ее душа жаждет подвига. И если ей суждено спасти людей в час катастрофы, то катастрофа эта непременно должна случиться где-то рядом, чтобы ее не приходилось искать далеко. И вы догадываетесь, как взволновал, если не обрадовал ее мистер Мергелсон, когда, запинаясь и заикаясь, поведал, что, возможно... наверно... почти несомненно, в эту самую минуту в стенах Шонтса совершается ужасная драма и надо действовать немедленно, если еще можно поспеть, пока несчастный страдалец не испустил дух и еще есть время его спасти.

Леди Лэкстон стиснула руки и взглянула на дородного слугу — в ее серо-зеленых глазах стояли слезы.

— Надо что-то сделать, — сказала она. — Немедленно! Все, что только возможно. Бедный крошка!

— Еще неизвестно, не сбежал ли он, ваша милость, — может, он просто сбежал...

— Нет-нет! — вскричала она. — Он не сбежал. Не сбежал, нет! Как вы можете так говорить, Мергелсон! Конечно, он не сбежал. Он здесь. И это ужасно, ужасно!

Она вдруг стала властной и решительной. Катастрофа на шахте, о которой она читала в утренних газетах, воспламенила ее воображение.

— Надо достать заступы, — сказала она. — Снарядить спасательные отряды. Нельзя терять ни минуты, Мергелсон. Ни минуты!.. Сзовите дорожных рабочих. Соберите всех, кого можно...

Не было потеряно ни минуты. Дорожные рабочие принялись раскапывать Шонтс еще до того, как у них кончился перерыв на обед.

До наступления темноты им удалось сделать на редкость много. Они прошли по всем ходам, куда можно было проникнуть из лаза в столовой, и если там были замурованные тайники или келейки, они с небывалым рвением кидались крушить стены, подбадриваемые присутствием леди Лэкстон и щедрой раздачей спиртного. Они пробили великолепную новую дыру в библиотеке, в стене у окна, достаточно большую, чтоб мог провалиться человек (один из них и в самом деле туда провалился), а еще выломали значительную часть кладки в башне времен королевы Елизаветы, так что потайной ход теперь стал виден снаружи. Леди Лэкстон, вооружась молотком и стамеской, самолично обошла со старшей горничной все панели, выкликая: «Ау! Ты здесь?» — и там, где, судя по звуку, была пустота, они пробивали отверстие. Послали за трубочистом, чтобы тот обследовал все действующие и недействующие дымоходы. А тем временем мистеру Дарлингу и нескольким его помощникам было поручено рыть и рыть, пока не сыщут проход, который, как все знали, шел от угла прачечной к старому леднику и дальше, кажется, до самых развалин монастыря, и был не то подземным ко-

ридором, не то заброшенной водопроводной трубой. Они смело принялись рыть в нескольких местах, обнаружили проход и тут же доложили об этом леди Лэкстон.

Эти раскопки, а также новый пугающий шрам на башне королевы Елизаветы побудили мистера Больё Пламмера бросить все дела в конторе и примчаться в замок. Мистер Больё Пламмер служил управляющим у маркиза Крэнберри и отличался редким природным тактом; среди прочих обязанностей ему было поручено следить за тем, чтобы Лэкстоны за время аренды окончательно не сгубили Шонтс. Мистер Пламмер был низкорослый, плотный, ходил обычно в крагах и бриджах и при этом носил очки, которые в ту минуту, когда он подошел к леди Лэкстон и ее землекопам, сверкали неподдельным изумлением.

Мистер Дарлинг, увидев его, попытался спрятаться за других, но не успел.

— Смею вас спросить, леди Лэкстон... — начал было управляющий.

— Ах, мистер Больё Пламмер, как хорошо, что вы пришли! Мальчик задыхается! Я не в силах этого выдержать!

— Задыхается?! — вскричал мистер Больё Пламмер. — Где?!

Ему довольно сбивчиво объяснили.

Он задал множество вопросов, по мнению леди Лэкстон, совершенно праздных. Откуда ей известно, что мальчик в потайном ходе? Да она в этом уверена. Зачем бы ей иначе все это предпринимать?! Сбежал? Но как, скажите, если он в потайном ходе? Поискать в окрестностях? Да он же тем временем задохнется или умрет с голоду!..

Они расстались, заметно потеряв уважение друг к другу, и мистер Больё Пламмер с явно встревоженным видом тут же сломя голову помчался на почту. Вернее, сперва он пошел, а когда она уже не могла его видеть, побежал со всех ног. Он долго сидел в почтовой конторе и портил бланк за бланком, сочиняя телеграммы сэру Питеру Лэкстону и лорду Крэнберри. Наконец он послал обе телеграммы и, не в силах оставаться в стороне от событий, вернулся в парк и стал издали наблюдать за новыми успехами леди Лэкстон.

Вот со скотного двора вышли люди с длинными граблями. Они обшарили дно всех прудов и фонтанов.

Потом на фоне неба появился человек с заступом и пошел по крыше к главной башне, украшенной часами, с очевидным намерением провести какую-то пока неизвестную, но, должно быть, очень разрушительную операцию.

Потом леди Лэкстон направилась куда-то в сторону садов. Это она пошла утешать несчастную миссис Дарлинг. Она занималась этим почти полтора часа. Мистер Больё Пламмер благодарил судьбу, что все это время она была занята.

Пробило пять, когда из деревни прикатил на велосипеде мальчишка и привез телеграмму от сэра Питера Лэкстона.

«Прекратить все работы до моего приезда» — гласила она.

Леди Лэкстон прочла телеграмму и сжала губы. Она только что вернулась от миссис Дарлинг, с которой вволю наплакалась, и нервы ее были напряжены до предела. Она поняла, что наступила та ответственная минута, когда женщина должна утвердить себя. «Речь идет о жизни и смерти», — телеграфировала она в ответ и, желая доказать себе, что совсем не считается с предписанием мужа, отправила мистера Мергелсона в деревенский трактир и велела нанять там кого можно на ночную работу за самую высокую плату.

После этого смелого шага леди Лэкстон пала духом. Она вернулась к себе в комнату и сидела, вся дрожа. Дрожала, но сжимала кулачок.

Нет, она ни за что не отступит; если нужно, они будут рыть всю ночь. А все-таки надо было сперва собрать доказательства, что Билби просто-напросто не сбежал. Надо исправить эту оплошность. И она написала начальнику полиции соседнего городка и в ближайший полицейский участок, а также наугад кое-кому из недавних гостей, в том числе капитану Дугласу. Если он и вправду устроил эту шутку с лордом-канцлером (она все еще в это не верила, хотя уже менее твердо), то, возможно, он что-нибудь знает и о таинственном исчезновении мальчугана.

От письма к письму она все больше уставала и писала все торопливее, и почерк ее становился все менее разборчивым.

Поздно ночью прибыл сэр Питер. Чтоб поскорее попасть в дом, он пошел наискось через парк и свалился в одну из канав, вырытых мистером Дарлинггом. Это еще подлило масла в огонь, и в дом он ворвался сам не свой.

Леди Лэкстон пять минут подряд выдерживала эту бурю, а потом круто повернулась, ушла к себе в спальню и заперлась: пусть распоряжается как хочет...

— Если в доме мальчишки нет, — заявил сэр Питер, — то все это глупее глупого. Если же он в доме, то давно помер. А тогда скоро пойдет запах — по запаху и будем его искать. Надо за что-нибудь зацепиться, а что рыть без толку, где попало. Не диво, что нам грозят судом...

Письму леди Лэкстон суждено было пролить некоторый свет на загадку, терзавшую капитана. Ибо, поразмыслив, он легко сопоставил довольно неразборчиво написанные намеки леди Лэкстон на исчезновение какого-то мальчика и на какие-то потайные ходы с памятными ему упреками лорда Магериджа: здесь-то, очевидно, и крылась разгадка совершенно непостижимого изгнания его, Дугласа, из Шонтса — разгадка, которая поможет снять черное пятно невоспитанности и легкомыслия с его репутации офицера. Вот почему, еще прежде чем они с мисс Филипс поднялись на холм и увидели, какая беда постигла злосчастный фургон, он уже собирался сказать ей, что ему надо немедленно разыскать и доставить мальчика.

Капитан Дуглас, надо сказать, был постоянно в разладе с самим собой.

Воспитание он получил отличное: сперва прекрасная английская семья, затем начальная школа для молодых джентльменов, затем избранный круг в Итоне, потом Сандхерстское училище, — кстати, тут-то и начался внутренний разлад, — и, наконец, Бистершир.

В характере капитана Дугласа было три главных черты. Первая, присущая только ему, — неутолимая лю-

бознательность, жажда всегда и во всем понимать «как» и «почему», постигать, как работают всевозможные механизмы и приборы: он обожал часы, интересовался двигателями и страстно поклонялся науке; у него были умелые руки и острый ум. Он зачитывался Жюль Верном и мечтал летать к звездам, конструировать летательные аппараты и подводные лодки — и это в те времена, когда каждому ребенку было в точности известно, что все это одни пустые фантазии.

Голова его была полным-полна идей-куколок, которым недоставало только воздуха и света, чтобы превратиться в живых ярких бабочек. Здесь он не имел себе равных.

Второй его чертой, — впрочем, она присуща почти всем молодым людям, — был живейший интерес к прекрасной половине рода человеческого; все женщины казались ему прелестными, волнующими и удивительными, наполняли его жарким любопытством и заставляли воображение рисовать соблазнительнейшие картины и приключения.

В-третьих — и в этом он также не был оригинален, — он жаждал, чтобы его любили, чтобы им восхищались, одобряли его поступки, хвалили... И с таким характером ему пришлось пройти через воспитательную систему пресловутой английской семьи, школы, избранного круга в Итоне, вынести дисциплину Сандхерста и нравы Би-стершира...

Надо сказать, что в те дни английская семья, начальная школа, избранный круг Итона и Сандхерст, — впрочем, Сандхерст с тех пор не так уж много изменился, — прилагали все усилия, чтобы третья из основных черт характера капитана Дугласа вытеснила остальные: чтобы он всегда был одет хорошо, но не вызывающе, держался хорошо, но не вызывающе, довольно хорошо играл в спортивные игры, а больше ничего хорошего не делал, и все это — в самом лучшем стиле. И оба брата Дугласы, очень похожие друг на друга, изо всех сил старались выполнить свой патриотический долг, а именно — быть простыми, заурядными английскими джентльменами; они всерьез принимали все древние традиции, даже самые нелепые, и пуще всего боялись оказаться оригинальными или слишком умными, — и все

это несмотря на упомянутые выше мятежные черты характера.

Но черты эти существовали, и с ними ничего нельзя было поделаться: они таились где-то глубоко, подспудно, бунтовали и в конце концов непременно пробивались наружу...

Как справедливо заметила миссис Рэмпгаунд Пилби в разговоре с лордом-канцлером, братья Дугласы всячески подавляли в себе изобретательность, но она все-таки прорывалась: один затевал возмутительные мистификации и разыгрывал с людьми грубые и злые шутки, за что его и выгнали из Портсмута; а у другого подавленные страсти вылились прежде всего в безумное увлечение мисс Мадлен Филипс — воплощением яркой и дразнящей женственности... Воспитание сделало его неуязвимым для чар обыкновенных женщин, но она... она пробила эту броню. А ведь чем больше сдерживать и подавлять чувства, тем яростней они вырываются наружу...

И все же нельзя забывать о главной черте характера капитана Дугласа — об опасной смеси ума, изобретательности и неуемной пылкости. Но тут он был чрезвычайно осторожен, и пока его еще никто не уличил. Правда, он приобрел мотоцикл, а ведь в те времена это считалось почти неприличным, и, внимательно присмотревшись, можно было заподозрить его в оригинальности; но больше ничего нельзя было заметить. Я был бы счастлив, если б дело только этим и ограничилось, но — увы! — было кое-что и похуже. Об этом никто не подозревал, но кое-что было.

Он читал книги.

И не благопристойные романы или проверенные мемуары папаш его сверстников или хотя бы переизданные сборники старых анекдотов — нет, он читал книги с идеями, всякую там философию, социальную философию, научные книги и прочую чушь. Книжонки вроде тех, какие читают в инженерных институтах...

И еще — он думал. Уж в этом-то можно было бы побороть себя. Но он и не пробовал. Он даже старался думать. А ведь отлично знал, что это против правил хорошего тона, но его словно увлекала какая-то дьявольская сила.

Капитан Дуглас часто сживал, запершись в своей комнате в Сандхерсте, и записывал на листке бумаги все свои мысли, поясняя, почему он думает так, а не иначе. И ради этого он готов был пожертвовать любыми занятиями. Он задавался вопросами, которыми в Англии не задается ни один добропорядочный джентльмен.

Мало того, он еще и проводил опыты.

Понимаете, все это началось задолго до появления первых французских и американских авиаторов. Из других стран не донеслось еще свежего дуновения, без которого ни один хорошо воспитанный англичанин не позволит себе ни о чем задуматься. И все-таки по секрету от всех капитан Дуглас мастерил маленькие модели из тростника, бумаги и резины, надеясь хоть как-нибудь постичь тайну полета. Летать — извечная мечта человечества. Он забирался в самые уединенные уголки, карабкался на высокие холмы и пускал вниз свои трепещущие в воздухе модели. Он часами просиживал над ними и размышлял о них. И если кто-нибудь заставал его врасплох в такие минуты, он либо садился на свою модель, либо делал вид, что она не имеет к нему никакого отношения, либо поспешно запикивал ее в карман, в зависимости от того, что было удобнее, и лицо его мгновенно принимало скучающее выражение благовоспитанного джентльмена, которому решительно нечего делать. Словом, пока он еще ни разу не попался. Но это было рискованное занятие...

И, наконец, — самая худшая из странностей капитана Дугласа, — он живо интересовался военной наукой и проявлял здесь невиданное честолюбие.

Он додумался до того (а молодому офицеру вообще не положено думать, ему положено повиноваться и быть украшением своего полка), что военное искусство британской армии отнюдь не в блестящем состоянии и что если дело дойдет до большой драки, то придется основательно перетряхнуть генералов, продвинувшихся по службе благодаря выслуге лет, добродушию и неукоснительному постоянству в супружеской жизни, — и тогда, наконец, откроется дорога для изобретателя, который неустанно стремится не упустить ничего из новейших достижений иностранной науки. Тайна распо-

жения полевой артиллерии будет раскрыта немедленно, считал Дуглас, даром, что с ней так носятся, и британской армии придется учиться у врага сотням старых военных хитростей, которыми сейчас совершенно напрасно пренебрегают, транспорт никуда не годится, а медицинская служба, — если не считать хирургии и санитарных повозок, — вовсе отсутствует; и от всех этих бед он видел только одно лекарство — горький опыт войны. Поэтому он трудился, не щадя сил, но в глубочайшей тайне — трудился чуть ли не так же прилежно, как эти проклятые иностранцы, ибо верил, что после первого же кровавого столкновения можно будет хоть чего-нибудь добиться.

Внешне он ничем себя не выдавал и выглядел просто усердным служакой. Но работу мысли не так-то легко скрыть. Она прорывалась подчас в нечаянном слове, насыщенном неожиданной энергией, но он, спохватившись, не договаривал фразу и пытался придать ей вид обычной благонамеренной глупости. Пока что ему удавалось укрыться от бдительного ока властей предержанных. Да и его увлечение Мадлен Филипс отвлекало их пронизательные взоры от более тяжелых его провинностей...

И вдруг, как гром среди ясного неба, пришла беда. Дурацкое стечение обстоятельств, явно как-то связанное с этим пропавшим мальчишкой, привело к тому, что на Дугласа пала тень и над ним нависло страшное подозрение в легкомыслии и непочтительности, какими отличался его братец.

Это могло погубить его карьеру. А он больше всего на свете дорожил своей тайной работой, которая столько обещала в будущем. Вот почему он был сейчас рассеян даже в обществе Мадлен.

Однако основные черты характера капитана Дугласа противоречили не только его внешнему виду и заветным стремлениям, но и непрестанно боролись друг с другом.

В душе он принял твердое решение свершать подвиги, творить и созидать. Вот что скрывалось под маской светской непринужденности джентльмена, и это-

го одного было бы предостаточно. Но, на свою беду, он еще по уши влюбился в Мадлен Филипс, и чувство это непомерно возрастало, особенно когда ее не было рядом.

Красивая женщина может вдохновить на великие дела. Увы, вскоре капитан Дуглас понял, что к нему это не относится. Вначале он сам верил во вдохновляющую силу ее любви, писал об этом и говорил—говорил на все лады, очень изящно и красноречиво. Но со временем он все больше убеждался, что тут будет как раз наоборот. Мисс Мадлен Филипс всячески показывала капитану Дугласу, что она сама — уже цель всех честолюбивых стремлений, и возлюбленных, которые стремятся к чему-либо еще, «просят не беспокоиться», как обычно пишут в объявлениях.

Сколько времени он на нее тратил!

Какая пытка быть с ней рядом!

Какая пытка не быть с ней рядом!

Гордая, красивая, очаровательная капризница, когда томишься вдали от нее, и такой пустой, невыносимый деспот, когда она тут, с тобой.

Она отлично знала, что создана для любви, ибо только об этом всегда и заботилась, и шествовала по жизни, словно королева, подчиняя своей власти всех мужчин и даже множество женщин. Идеальный возлюбленный ее грез, которому предстояло ее завоевать, как две капли воды походил на увеличенную олеографию Дугласа. Он должен был, шутя и играя, творить великие дела, стать завоевателем и государственным деятелем — и все это, ни на секунду не отвлекаясь от служения ей, Мадлен. Время от времени она будет принимать страстное поклонение всех остальных выдающихся джентльменов, и их внимание только прославит ее любовь к нему.

Сначала капитан Дуглас с готовностью шел навстречу всем этим требованиям. Он познакомился с ней в Шорнклиффе — она была из отличной военной семьи — и сразу же пал к ее ногам. Он ухаживал за ней с очаровательной простотой и деликатностью. Он писал ей на редкость умные любовные письма и ради них отказался даже от своего тайного порока — привычки думать; и крошечные бумажные модели уже больше не

трепетали, подхваченные ветром в уединенных уголках.

Однако вскоре мысль о блестящей карьере снова завладела им, но уже по-иному — теперь он мечтал принести свои лавры к ее ногам. И раз вернувшись к этой мечте, он уже не мог от нее оторваться.

— Когда-нибудь, — говорил он, — может быть, довольно скоро, ученая братия изобретет летательные аппараты. И уж тогда армии ничего не останется, как принять их на вооружение, вот увидите.

— Мне бы ужасно хотелось полетать по воздуху, — отвечала она.

Однажды он заговорил о службе в действующей армии. Что с ними будет, если ему придется уехать? А ведь таков жребий воина.

— Я тоже поеду! — решительно воскликнула Мадлен. — Я с вами не расстанусь.

— Боюсь, это против всех правил, — возразил Дуглас. К тому времени он уже знал, что Мадлен Филипс обычно путешествует с большой помпой и со множеством чемоданов.

— Конечно, — ответила она, — вот и отлично! Разве я могу отпустить вас одного? Вы станете великим генералом, и я всегда должна быть рядом.

— Но вам не всегда будет удобно, — осторожно повторил он.

— Ну и что ж, глупый! Вы меня совсем не знаете. Я готова к любым лишениям.

— Женщина, если она не сестра милосердия...

— Я переоденусь мужчиной. Я буду вашим ординарцем...

Он пытался вообразить ее в мужской одежде, но видел разве что театральным пажом. Она была так воспитательно и явно чужда всякой мужественности: развевающиеся волосы, грациозные движения, пышная, гибкая, женственная — тут не помогут никакие переодевания.

Так впервые столкнулись их представления о будущем. В те дни оба были пылко влюблены. Дружья пришли в восторг: какая чудная пара, как они подходят

друг другу! Благожелатели, гордые тем, что могут быть посредниками в этом прелестном романе, приглашали их обоих в свои загородные поместья на отдых в конце недели; для артистов он начинается в воскресенье утром и кончается среди дня в понедельник. Мадлен не скрывала своих чувств, и о них знали очень многие.

Вот почему признаки возможного разрыва встревожили всех друзей и знакомых.

Говорили об этом разное. Кажется, Дуглас решил отправиться на маневры французской армии как раз тогда, когда у Мадлен может не быть ангажемента.

— Надо же посмотреть, что они делают, — сказал он. — Они собираются испытывать свои новые дирижабли.

Ну, тогда она тоже поедет.

Он пытался увильнуть. Ей это вовсе не интересно. Придется ночевать в какой-нибудь дыре. И сплетни поползут — тем более, что это будет во Франции. В Англии еще допустимы некоторые вольности, но во Франции... Там это истолкуют совсем иначе.

Она молча выслушала эти сбивчивые отговорки. Потом заговорила, и в голосе ее звенела обида. Он хочет быть свободным? Извольте, она не станет ему мешать. Насильно мил не будешь. По ней — пусть едет на какие угодно маневры. Хоть в кругосветное путешествие! И вообще он может отправляться на все четыре стороны. Она не станет его удерживать, портить его карьеру, а ведь когда-то она была убеждена, что вдохновляет его!

Несчастный капитан, разрываясь между любовью и служебным долгом, изо всех сил пытался ей втолковать, что он имел в виду совсем другое.

Что же?

И тут он понял, что и в самом деле имеет в виду едва ли не то самое, в чем она его обвиняет, и, запинаясь, тщился придумать какое-либо объяснение.

Она прогнала его на месяц — можете отправляться на свои маневры, благословляю вас, счастливый путь. Ну, а о ней пусть не беспокоится — у нее свои дела. Когда-нибудь он поймет, что такое сердце женщины... Она глотала слезы — очень картинно! — и военная нау-

ка сразу показалась ему таким вздором... Но Мадлен была непреклонна. Он хотел ехать, — пусть едет. Хотя бы на месяц.

Огорченный, он понуро удалился.

В пропасть разрыва хлынули друзья. Джуди Баулс необыкновенно повезло — она примчалась раньше всех. Мадлен сама рассказала ей все, и, воспользовавшись привилегией дальнего родства, Джуди пригласила Дугласа на чай к себе в Найтсбридж и без обиняков поговорила с ним по душам. Она обожала говорить по душам с молодыми людьми об их любовных делах; это был, в сущности, единственный вид флирта, который ей разрешал профессор — этот резкий, прямой человек, совершенно непримиримый во всем, что касалось основ супружеской жизни. А у Дугласа был какой-то удивительно приятный цвет лица. Под умелым нажимом Джуди он вынужден был признаться, что не может жить без Мадлен, что ее любовь — свет всей его жизни, что без нее он ничто, а с ней способен завоевать весь мир. Джуди лезла из кожи вон, защищая Мадлен, и довела Дугласа до того, что он начал покрывать поцелуями руку доброй самаритянки. При этом она заметила, как золотятся волосы у него на висках. Милый, растерянный мальчик, и такой простодушный. Это был чудесный, волнующий, богатый переживаниями день для Джуди!

И само собой разумеется, что Джуди, которая уже давно была одержима идеей путешествия в фургоне со «степными ветрами», «вольной дорогой» и прочими прелестями «цыганской жизни», воспользовалась очаровательными любовными неурядицами в романе подружки, чтобы привести в исполнение свой план и уговорить упирившегося мужа устроить встречу с Дугласом; все это она по секрету поведала миссис Гидж...

Дуглас не знал, что делать. Он отказался было от мысли о Франции, поехал отдохнуть и развлечься в Шонтс, но, претерпев здесь жестокую обиду, неожиданно вернулся в воскресенье в Лондон, уложил чемодан и выехал во Францию. В понедельник днем он был уже в Реймсе. Но тут его остановил образ Мадлен: с каждой разделяющей их милей он становился все прекраснее, таинственнее и притягательнее. И капитан Дуглас на-

чал довольно неуклюже оправдываться перед военным репортером «Дейли экспресс», с которым они должны были присутствовать при испытаниях.

— Тут, конечно, замешана женщина, дружище, — ответил репортер, — и уезжать сейчас очень глупо, но вы ведь все равно сбежите, и, по правде сказать, я вас понимаю.

Дуглас помчался обратно в Лондон и, как и предполагала Джуди, поспешил к месту встречи.

И вот перед ним в блеске солнечного дня появилась Мадлен — счастливая, гордая и прекрасная; глаза ее смеялись, а на губах дрожала улыбка, ветерок играл выбившимися прядями ее чудесных волос и чем-то восхитительно голубым, что, трепеща, обрисовывало ее стройную фигуру; и на миг капитану показалось, что, бросив маневры и возвратившись в Англию, он поступил совершенно правильно и даже великолепно...

Это свидание оказалось точно таким же, как все их прежние встречи. Вернуться к ней — вот что было вершиной его страстных и нежных мечтаний, видеть ее — означало пережить счастливейший миг, а потом вновь начались беспрерывные раздоры и обиды.

По дороге в Лондон ему казалось, что быть с ней — величайшее блаженство, и когда они, понемногу отставая от супругов Баулс и Гидж, спускались к гостинице «Красное Озеро», он вдруг обнаружил, что страстно уговаривает ее стать его женой и очень огорчен ее непонятной уклончивостью.

Как подобает хорошо воспитанному англичанину, он очень старался сохранять спокойствие, не слишком размахивая руками и стискивая зубы, сдерживая волнение, а она плыла рядом в своем голубом наряде, который с удивительной прозорливостью сшила нарочно для этих ветреных высот по образцу Боттичеллиевой «Весны». Он умолял ее выйти за него как можно скорее: он не может жить без нее, не знает ни минуты покоя. Он вообще не собирался все это говорить, когда ехал сюда; он вообще не мог припомнить, собирался ли он что-нибудь говорить, но теперь, когда она была рядом, он только это и мог ей сказать.

— Но, дорогой мой мальчик, как же мы можем пожениться? — сказала она. — Что станет тогда с моим и вашим будущим, с вашей и моей карьерой?

— Я отказался от карьеры! — воскликнул капитан Дуглас, и в голосе его впервые явственно зазвенело раздражение.

— Не будем ссориться! — воскликнула она. — Зачем заглядывать так далеко? Будем счастливы сегодня. Насладимся чудным днем, солнцем, зеленью, красотой природы. Давайте ловить эти минуты. У нас осталось так мало дней, когда мы можем быть вместе. И каждый... каждый из них должен стать жемчужиной... Взгляните, как клонит ветерок эти высокие сухие стебли — словно низкие, широкие волны расходятся кругом.

Она была истинным произведением искусства — при ней исчезало время, долг и обязанности.

Несколько минут они шли молча. Затем капитан Дуглас сказал:

— Все это прекрасно — природа и все прочее, но человек хочет знать, что его ждет.

Она ответила не сразу:

— Вы, наверно, сердитесь, что вам пришлось уехать из Франции?

— Ни капельки, — отважно возразил капитан. — Я убежал бы откуда угодно, лишь бы вернуться к вам.

— Хотела бы я знать...

— А разве я не убежал?

— Хотела бы я знать, со мною ли вы, когда мы вместе... О, я прекрасно понимаю, что я вам нужна! Я знаю, что вы влюблены в меня. Но ведь истинное счастье — это любовь. Может ли хоть что-нибудь сравниться с любовью?

Так они беседовали, пока не очутились под сенью буков. Здесь доблестный капитан решил перейти от слов к делу. Он целовал ей руки и искал ее губы. Она мягко отстранялась.

— Нет, — говорила она, — только если вы любите меня всем сердцем.

И вдруг неожиданно, чудесно, как победительница, ответила ему поцелуем.

— Ах, — вздохнула она спустя мгновение, — если бы ты мог понять...

И, не договорив эту загадочную фразу, снова поставила ему губы.

Теперь вы сами видите, что здесь, среди таинств любви, просто невозможно было заводить разговор о немедленных поисках Билби и доставке его по принадлежности... Это были священные дни...

А между тем Билби скрылся и уходил сейчас к морю...

Даже катастрофа с фургоном лишь слегка омрачила счастливое настроение. Несмотря на некоторую резкость в поведении профессора (он был слегка раздражен, так как вывихнул большой палец и изрядно ушиб колено, к тому же на ухе у него была ссадина, да Уильям еще укусил его за икру), все решили отнестись к аварии юмористически. Кроме Уильяма, никто серьезно не пострадал. Профессор был больше раздрадован, чем ранен, а страшные на вид увечья Уильяма оказались чисто поверхностными — всего лишь вывихнутая челюсть, кровоподтеки, царапины и прочие пустяки; все готовы были, если надо, оплатить убытки; но, к счастью, и разрушения внутри фургона и потери лоточника оказались не настолько серьезны, как можно было ожидать. К вечеру фургон был благополучно водворен в сарай трактира в Уинторп-Сатбери, а Уильям нашел достойных собутыльников в уютном уголке пивного зала, где его рассказ о катастрофе, которую он самолично пережил, и его мнение о профессоре Баулсе выслушаны были с подобающим вниманием и полным одобрением: разносчик кое-что заработал, отвезя всю поклажу из фургона в Королевскую гостиницу «Красное Озеро», и кочевницы со своими спутниками в мире и согласии не спеша направились туда же. Мадлен шла рядом с капитаном Дугласом и его мотоциклом, который он забрал на месте покинутого привала.

— Теперь остается только, чтобы эта штука тоже сломалась, — сказала она.

— Мотоцикл может мне понадобиться, — возразил он.

— Ну, нет. Небеса свели нас вместе, а теперь господь сокрушил наши корабли. По крайней мере он сокрушил один из кораблей. Взгляните, вон луна — слов-

но огромный щит. Это Луна — Покровительница урожая?

— Нет, — ответил капитан, вновь ударяясь в поэзию, — это Луна — Покровительница влюбленных.

— Она словно благословение небес над нашей встречей.

Да, миг был слишком благословенным, чтобы капитан мог заговорить о Билби.

Это воистину была ночь влюбленных — ночь, напоянная мягким сиянием, когда в каждом уголке словно укрывается живая тайна бытия, и сердца не просто бьются, а трепещут от волнения, и глаза сияют как звезды. После ужина все накинули шали и плащи и вышли в залитый лунным светом сад. Чета Гидж растаяла во мраке, подобно ночным бабочкам; профессор откровенно любовался своей преобразившейся Джуди. Ночь творит свои чудеса. Наши влюбленные были здесь одни; только на озере катались в лодках несколько парочек.

Мелодичный голос Мадлен еще некоторое время доносился до ушей двух необычайно рослых официантов, убравших кофейную посуду со столиков на веранде, а потом все стихло...

Утро застало капитана Дугласа в отчаянии. Он горел желанием как можно скорее объяснить Мадлен, что ему просто необходимо сию же минуту разыскать Билби. Он только теперь начал понимать, какая редкая удача выскользнула у него из рук. Он упустил Билби, и теперь оставалось лишь одно — как можно скорее снова найти мальчишку, пока тот не исчез бесследно. На беду, артистические привычки мисс Филипс не позволяли ей вставать раньше полудня, и в ожидании удобной минуты для объяснения капитан волей-неволей должен был подыскать себе хоть какое-нибудь занятие.

Ведь нельзя же просто взять да и уехать без всяких объяснений.

Он коротал время на площадке для гольфа в обществе профессора Баулса.

Профессор играл отлично и притом ничуть не страдал мелочным тщеславием: он от души хотел, чтобы и

все остальные играли так же хорошо. И, не щадя сил, обучал их. Заметив хоть малейшую ошибку — а игроки в гольф беспрестанно делают ошибки, — он тотчас объявлял об этом во всеуслышание, объяснял, в чем заключается ошибка, и старался во что бы то ни стало показать, как избежать этой ошибки в будущем. Не в пример многим профессиональным тренерам он не ограничивался наглядным примером — собственными ударами, но не упускал ни одного случая подробно разобрать ошибку теоретически. Спустя некоторое время он счел необходимым намекнуть капитану, что в наше время военному человеку не мешало бы получше владеть собой. А наш капитан не переставал фыркать и «тьфукать», а вскоре уже явно стал чертыхаться вполголоса; играл он рывками, бил с натугой, но недостаточно сильно, один раз вообще промахнулся по мячу и несколько раз ударил вкривь и вкось. Глаза его под светлыми ресницами горели бешенством.

Он вспомнил, что всегда ненавидел гольф.

И профессора тоже. Он всегда ненавидел этого профессора.

И мальчишку, подносившего мячи; во всяком случае, он бы его тоже всегда ненавидел, если бы знал раньше. У этого мальчишки была такая деревянная физиономия, что от одного этого поневоле взбесишься. Как там ни бей, отличный удар или никудышный, а этот болван с застывшей рожей все равно остается невозмутимым. В душе-то уж он, конечно, в восторге от всего происходящего, но лицо остается деревянным...

— Почему я так сыграл? — яростно повторял капитан. — Да просто потому, что мне так нравится.

— Дело ваше, — отвечал профессор. — Но так играть не полагается.

И вдруг настал миг злобного торжества.

Он сам промахнулся. Старик Баулс промахнулся. Учил, учил других — да сам и промахнулся! А кстати, капитан вовсе не всегда мажет!..

Неправда, он еще выкарабкается. Только бы повезло. Он еще попадет в лунку. Ну и тоска!

Неужели Мадлен не может встать вовремя, как все люди, чтобы повидаться с ним! Почему, если она не на сцене, ей непременно надо валяться в постели? Если бы

она встала пораньше, ничего бы этого не произошло. Стыд и срам! Крепкий, здоровый, способный человек в расцвете сил, и с раннего утра играет в эту дурацкую игру!..

Да, да, это игра для дураков!

— А ну-ка, попробуйте вот так,— сказал профессор.

— И попробую,— ответил капитан, нацеливаясь для удара.

— Это не ваш мяч,— сказал профессор.

— Я уже бил такие,— ответил капитан.

— А знаете, случайно можете и попасть,— заметил профессор.

— Меня это не волнует,— пробормотал капитан себе под нос и ударил изо всех сил.

— Теперь я спасен,— сказал профессор и попал с двенадцати ярдов.

Ослепленный бешенством, капитан попробовал было попасть в ту же лунку, но промахнулся.

— Вам надо целую неделю отрабатывать только этот удар,— сказал профессор.— Это сэкономит вам по крайней мере по удару на лунку. Я заметил, что на каждом поле догоняю вас на этом ударе, если почему-либо не успел выиграть раньше.

Капитан сделал вид, что не расслышал, а про себя произнес несколько крепких словечек.

Это все Мадлен, из-за нее он ввязался в эту игру. Красивые здоровые девицы должны вставать рано. Здоровая красивая девушка сама подобна утру. Свежая, словно омытая росой... А она, видите ли, нежится в постели, прекрасная и теплая, точно какая-нибудь Екатерина Великая. Нет, это неправильно. Может быть, это очень аристократично и роскошно, но это неправильно. Она могла бы догадаться, что, если она не встанет вовремя, он неизбежно попадет в лапы профессору. Гольф, не угодно ли! Он торчит тут, совершенно не заботясь о своей карьере; болтается на этой проклятой площадке; все разумные люди сейчас во Франции (нет, об этом лучше и не думать!), а он здесь занят игрой, которой тешатся удалившиеся от дел торговцы.

(Ну и ноги у профессора, когда глядишь на него сзади! Чем безобразнее у человека ноги, тем лучше он играет в гольф. Это уж закон.)

Утеха торговца не у дел, вот именно. Всякий уважающий себя британский солдат интересуется гольфом не больше, чем игрой в куклы. Совершенно бессмысленное занятие, и притом ужасно действует на нервы. Чтобы играть в гольф, надо быть идеально здоровым человеком, но если вы идеально здоровый человек, то займитесь каким-нибудь настоящим делом, а не станете валять дурака. Если уж говорить о грехе, о настоящем, непростительном беспутстве, то хуже гольфа ничего не придумаешь...

А между тем мальчишка уходит все дальше и дальше. Всякий, у кого есть хоть капля здравого смысла, в пять часов утра был бы уже на ногах и пустился бы в погоню за щенком и к завтраку доставил бы сюда беглеца, связанного по рукам и ногам. Надо же быть таким болваном!

— Вот ваш мяч, сэр, — сказал ему мальчик.

Капитан огляделся — положение было из рук вон плохо: впереди — открытая зеленая лужайка, но совсем рядом — перепаханное поле, а слева — заброшенная старая яма, где когда-то добывали гравий, заросшая по краям дробом и наполненная водой. Омерзительная дыра, из тех, куда непременно угодишь. Надо взять себя в руки. Взятся играть, так уж играй до конца. Ударить по этой чертовой штуке, то есть по мячу, так, чтоб уж если не пойдет прямо, то шел бы хоть правее, лишь бы не застрял в изгороди... да, вправо было бы неплохо. Только это очень трудно. Да, так: сосредоточиться на зеленой лужайке, целиться далеко вперед, значит, не совсем прямо, чуть-чуть правее. Итак, вращая пятками в землю, поднять биту, размахнуться и, главное, не спускать глаз с мяча, главное, не спускать глаз с той точки, в которую надо бить, — вон там, внизу и чуть-чуть вправо... Спокойно!.. Р-раз!..

— По-моему, в пруд, сэр.

— Если бы в пруд, мы бы слышали всплеск, — заметил профессор. — Мяч где-то там, в мокром песке. Ну и стукнули же вы его!

Начались поиски. У мальчишки был такой вид, словно ему совершенно наплевать, найдет он мяч или нет. А ведь он должен стараться. Ведь это его работа, а не просто забава. Но в наши дни все такие расхлябан-

ные — ужас! Мы все — усталое поколение. Все нам опротивело. Опротивело думать, опротивело работать, опротивели и Мадлен, и военные маневры, злобные юристы и пропавшие мальчишки — не говоря уже об этой недепой, идиотской игре...

— Вот он, сэр! — раздался голос мальчика.

— Где?

— Здесь, сэр, в кустах!

Мяч застрял в ветвях куста, над скользким, обрывистым краем ямы.

— Сомневаюсь, чтобы вы могли пробить его оттуда, — сказал профессор, — но любопытно было бы попробовать.

Капитан внимательно изучил положение.

— Я смогу его пробить, — сказал он.

— Боюсь, что вы поскользнетесь, — возразил профессор.

Оба оказались правы. Капитан Дуглас уперся ногой в крутой рыжий песчаный склон под самым кустом, перехватил битую палку и ударил мяч снизу вверх, так, что выбил его далеко в поле. Но сам он узнал об этом позже, ибо все глаза следили за мячом, кроме его собственных. Профессор что-то дружески бормотал, подбадривая его. Но капитан сползал — неуклонно сползал вниз... Вот он уже на четвереньках и, силясь удержаться, цепляется руками за колючие ветки, царапает мокрый песок. Вот ноги его уже в воде, все глубже и глубже, вода доходит уже до щиколоток, поднимается к икрам. Неужели там глубоко? Нет. Он уже стоит на дне. Как бы теперь выбраться? Это не так-то легко. Илистое дно не хочет отпускать свою добычу...

Наконец он выбирается на сушу к профессору и мальчишкам; руки у него рыжие от песка, колени тоже рыжие, ботинки все в глине, а лицо совсем как у младенца, крошечного белобрысого младенца, которого хорошо распарили в ванне и припудрили тальком. Уши его пылают, словно алые розы Ланкастерских герцогов. И в глазах тоже светится сердитое удивление разобитого младенца...

— Я так и думал, что вы съедете в пруд, — сказал профессор.

— Никуда я не съехал,— ответил капитан.

— ?!

— Я просто спустился посмотреть, какая там глубина, и освежить ноги — ненавижу, когда они горят.

Конечно, он проиграл эту лунку, но зато почувствовал себя настоящим игроком — ярость подогрела его, теперь он, конечно, станет бить лучше и всех поразит! Ведь есть же какой-то смысл в выражении «довести до белого каления». Лишь бы только профессор перестал возиться со своим мячом — за это время опять остынешь! Раз! — профессорский мяч взмыл в небеса. Ну, будь что будет! Капитан бросился в бой, с ходу изменил тактику, ударил — и мяч волчком завертелся на одном месте.

В подобных случаях можно надеяться хотя бы на сочувственное молчание. Но профессор не упустил случая высказаться.

— Вы никогда не попадете в лунку,— сказал профессор,— никогда, пока не перестанете судорожно дергать рукой во время удара. А так можете с тем же успехом просто шлепать мяч рукой. Если вы думаете...

Капитан окончательно вышел из себя.

— Послушайте,— заявил он,— мне совершенно наплевать, как я там пробил,— понятно? Если вы думаете, что я жажду выиграть или преуспеть в этой гнусной, дурацкой игре для престарелых младенцев...

Еще секунда — и капитан перешел бы к выражениям уж вовсе не джентльменским, но вовремя прикусил язык.

— Если что-то делать, так делать как следует,— поразмыслив, сказал профессор.— Иначе не стоит браться.

— Значит, не стоило браться. И так как последняя лунка принесла вам победу, то... если вы не возражаете...

Капитан был человек горячий, но отходчивый, и ему уже было стыдно за свою вспышку.

— Разумеется, как вам угодно,— ответил профессор.

Он дал знак почтительно ожидавшим мальчикам, что игра окончена, и оба джентльмена направились в гостиницу.

Некоторое время они молча шагали рядом, а притихшие мальчики шли позади.

— Отличная погода для маневров французской армии,— небрежно сказал наконец капитан.— Если, конечно, у них так же тепло.

— Сейчас по всей Европе, к северу от Альп, прошли антициклоны,— сказал профессор.— Погода почти установилась, насколько это возможно для Европы.

— Идеальная погода для бродяг и путешественников,— произнес капитан, еще немного помолчав.

— На свете нет ничего идеального,— возразил профессор.— Но погода прекрасная.

В гостиницу они вернулись около половины двенадцатого, и тут капитана ждало пренеприятное занятие — у мотоцикла за ночь спустила шина, пришлось менять. При этом капитан умудрился больно прищемить палец. Потом достал военную карту округа и сел за зеленый столик под окнами гостиницы, гадая, в какую сторону мог направиться Билби. Когда его видели в последний раз, он шел на юго-восток. В той стороне море, а всех беглецов-мальчишек, естественно, тянет к морю.

Капитан попытался вообразить себя на месте беглеца и точно представить, каким путем Билби пойдет к морю.

Это оказалось чрезвычайно увлекательным занятием.

Денег у Билби, вероятно, нет или очень мало. Значит, ему придется воровать или просить милостыню. В работный дом он не пойдет — он и не знает, что туда можно пойти, заслуживающие уважения бедняки понятия не имеют о работном доме; и, по всей вероятности, он слишком честен и слишком робок, чтобы воровать. Он будет просить милостыню. Он побоится собак, дворников и прочего, а потому будет просить у парадных дверей и, вероятно, пойдет по главному шоссе. И просить будет скорее в домах, а не у прохожих, ведь в двери стучать не так боязно, как обращаться к прохожим, да и как-то привычнее — люди часто стучатся в дверь. Пожалуй, он будет охотнее подходить к одиноким домикам, чем бродить по деревенским улицам, ведь одинокие придорожные домики с виду куда спокойнее и безопаснее. И просить он будет еды — не денег. Все это казалось капитану вполне логичным и правдоподобным.

Вот эта дорога на карте — на нее он обязательно попадет и здесь будет побираться. А нет ли еще другой дороги? Нет...

В хорошую погоду он будет ночевать где-нибудь под кустом... и сможет пройти... ну, сколько? — десять, двенадцать, четырнадцать, нет тринадцать, скорее всего, тринадцать миль в день.

Значит, сейчас он должен быть где-то тут. А сегодня вечером — тут.

Завтра при такой же скорости он будет вот тут. А вдруг его кто-нибудь подвезет?

Даже если так, то уж, конечно, в какой-нибудь тележке или фургоне, так что это будет ненамного быстрее...

Значит, если выехать завтра и добраться до перекрестка, обозначенного на карте словом «Гостиница», примерно за двадцать шесть миль от того места, откуда мистер Билби пустился в путь, и побродить вокруг, то непременно что-нибудь про него услышишь. Мог ли он почему-либо пойти по другой дороге, не на юго-запад, не к морю?.. Нет, зачем бы ему? Незачем.

Теперь осталось только ясно и понятно объяснить все это Мадлен. Но почему же она до сих пор не сошла вниз? Почему ее нет?

А что делать с Билби, когда он отыщется?

Прежде всего угрозами и посулами выжать из него правду. А вдруг мальчишка не имеет никакого отношения к истерике лорда Магериджа? Нет, не может быть. Ну, а вдруг нет? Не может быть. Это он. Он.

Допустим, капитан узнает всю правду. Что тогда?

Махнуть с мальчишкой прямо в Лондон и поставить лорда-канцлера перед фактом. А если он не пожелает признать факты? Старый греховодник чересчур вспыхив и может опять выйти из себя.

Это несколько смутило капитана Дугласа. И тут вдруг на память ему пришла долговязая фигура и длинные усы его названного дядюшки, добряка и всеобщего любимца, лорда Чикни. Что, если отвезти мальчишку прямо к дяде Чикни и все ему выложить? Даже лорд-канцлер не решится отказать в десятиминутной аудиенции генералу Чикни...

Планы капитана Дугласа вырисовывались все яснее, и ему не терпелось поскорее поделиться ими с Мадлен, рассказать ей все как можно яснее и убедительнее...

Ведь прежде всего надо поймать мальчишку...

Но Мадлен — его солнце — никак не выглядывала из-за туч, и он злился и ворчал, а потом случайно полез в жилетный карман и нащупал там какую-то бумажку. Он вытащил ее и начал разглядывать. Это был клочок плотной бумаги, вырезанный в виде остроугольного, чуть изогнутого треугольника и напоминавший силуэт парящей птицы. Он, видно, лежал в кармане с давних пор. Капитан уставился на свою находку. Озабоченное лицо его просветлело. Он украдкой, через плечо, кинул быстрый взгляд в сторону дома, потом поднял бумажку над головой и пустил по ветру. Бумажная птица медленно закружилась по воздуху, поворачивая влево, затем вдруг круто свернула, устремилась вправо и упала... Почему она летела именно так? Будто внезапно передумала и изменила направление. Он попробовал еще раз. То же самое... Может быть, все дело в изгибе крыла? Что, если изогнуть его побольше — будет поворот еще круче или, наоборот, не таким крутым? Неизвестно... Надо попробовать.

Дуглас начал рыться в карманах в поисках другого листочка, нашел письмо леди Лэкстон, вытащил из жилетного кармана маленькие ножницы в чехле, выбрал листок получше и принялся вырезать свой излюбленный треугольничек, придавая ему теперь немного иной изгиб...

Во время работы он то и дело посматривал наземь, на старую модель. Интересно, будет ли и новая тоже поворачивать налево. Вернее, полетит ли она зигзагами? Должно быть, так. Но, чтобы убедиться, надо пустить ее с более высокой точки, и тем придать большую дальность полету... Может быть, встать на стул?..

Но не здесь же, на виду у всех обитателей этой проклятой гостиницы. Вон из дома как раз выходит какой-то мерзкий субъект в зеленом фартуке — такой уж непременно на тебя оглянется. Да еще и подойдет и начнет глазеть, таких хлебом не корми, только дай портозейничать. Капитан Дуглас сунул ножницы и обрезки бумаги в карман и со скучающим видом откинулся на спин-

ку стула, потом встал, закурил сигарету, — словом, сделал именно то, что покажется вполне естественным человеку в фартуке, — и, словно прогуливаясь, направился к группе стоявших поодаль буков — за ними начиналась заросшая кустами ложбина. Здесь можно укрыться от любопытных взоров. Надо попробовать еще раз. Эта мысль насчет изгиба крыла очень любопытна; как жаль, что он совершенный невежда в этих вопросах...

У идеального короля всегда озабоченный вид: он правит, он занят великим множеством дел. Но идеальная королева всегда лучится радостью: она стройна, прелестна и величественна, — она занята только собой. И когда около полудня королева Мадлен разогнала наконец утренние облака и вновь явила свой сияющий лик миру, с нетерпением ожидавшему ее у дверей, она была полна благодарности за самое себя и за дарованные ей владения. Она отлично знала, какая она изящная и удивительная; все в ней очаровательно — это она тоже знала, и все ей нравилось: руки, мягкие складки чуть подобранного платья, завитки волос на лбу; она держала голову высоко, но не слишком, к почти бескорыстному восхищению горничной, встретившейся ей на лестнице. Она рассчитала время так, чтобы спуститься как раз в те минуты, когда обитатели гостиницы обычно собираются ко второму завтраку. «Ах, вот она наконец!» — послышались восклицания; на веранде перед выходом собрался весь ее двор: Гидж, и профессор, и миссис Баулс, а вот и миссис Гидж идет по лужайке, но где же он, ее возлюбленный?

Мадлен спустилась по лестнице и вышла на воздух. Она ничем не выдала своего удивления. Остальные приветствовали ее возгласами восхищения, и она с улыбкой принимала их комплименты. Ну, а возлюбленный...

Его здесь не было!

Словно в театре поднялся занавес, а зал почти пустой.

Он должен был изнемогать от нетерпеливого ожидания; он должен был все утро сочинять ей стихи или прелестное поэтичное любовное послание, которое она могла бы унести с собой и потом почитать; или, наконец, бродить в одиночестве, предаваясь мечтам о ней.

Он должен был чувствовать себя счастливым, что наконец дождался ее. Он должен был стоять сейчас чуть поодаль с пылающими щеками (он так славно краснеет!) и с тем застенчивым, сдержанным и восхищенным взглядом, который говорит женщине несравненно больше, чем открытое обожание. А она подошла бы к нему — ведь она щедрая натура — и протянула бы ему обе руки, а он, точно не в силах устоять, несмотря на свою истинно британскую сдержанность, схватил бы ее руку и после недолгого колебания — что сделало бы это еще заметнее — поцеловал бы эту прелестную руку...

И вместо всего этого его просто здесь не было!

На улыбающемся лице Мадлен не мелькнуло и тени разочарования. Она знала, что стоит ей хоть чуть-чуть нахмуриться, как Джуди и миссис Гидж тотчас же догадываются, а мужчины — те все равно ничего и не подозревают.

— Как я хорошо отдохнула, — сказала она. — Просто чудесно. А вы что делали?

Джуди, оказывается, наговорилась всласть; мистер Гидж охотился за форелью в ручье; его жена с тонкой улыбочкой сообщила, что «делала кое-какие заметки», и, прибавила она с расстановкой, «наблюдения», а профессор Баулс сказал, что сыграл партию в гольф с капитаном.

— Он проиграл? — спросила Мадлен.

— Бил небрежно и слишком торопился, — скромно ответил профессор.

— А потом?

— Потом он куда-то исчез, — ответил профессор, догадавшись наконец, что ее интересует.

Наступило короткое молчание. Потом миссис Гидж начала было:

— Знаете... — и умолкла.

Все вопросительно посмотрели на нее.

— Это так странно, — прибавила она.

Общее любопытство возросло.

— Наверно, об этом не следует говорить, — продолжала миссис Гидж. — А впрочем, почему бы и нет?

— Вот именно, — подтвердил профессор Баулс, и все придвинулись поближе к миссис Гидж.

— Просто невозможно было не смеяться,— сказала она.— Это так... так необычно...

— Вы о капитане? — спросила Мадлен.

— Да. Понимаете, он меня не заметил.

— Он что... пишет стихи? — Мадлен с облегчением вздохнула и развеселилась.— Так вот в чем дело! Бедняжка! Он, наверно, никак не может подыскать какую-нибудь рифму!

Но у миссис Гидж был слишком таинственный вид,— нет, пожалуй, тут дело вовсе не в стихах.

— Понимаете, я лежала там, в кустах, и кое-что записывала и... вдруг увидела его. Он спустился в ложбину и скрылся из виду. И что бы вы думали, он там делал? Ни за что не догадаетесь. Минут двадцать с этим возился.

Они терялись в догадках.

— Он играл клочками бумаги — да, да! Точно котенок опавшими листьями. Подбросит бумажку вверх, она попорхает немножко, потом спускается на землю — и тогда он на нее кидается...

— Но ведь...— начала Мадлен. И вдруг весело воскликнула: — Пойдемте, посмотрим!

Она была поражена. И ничего не понимала. Но скрывала свои чувства под веселостью, грозившей перейти в истерическое отчаяние. И даже когда под предводительством миссис Гидж они все осторожно подкрались к лощине, она не поверила своим глазам... Ее возлюбленный, ее верный раб стоял на заборе, широко расставив ноги и с трудом удерживая равновесие, а в его высоко поднятой руке трепетал листок бумаги. Так вот где скрывался тот, кто должен был, дрожа от волнения, ожидать ее в вестибюле гостиницы! Он выпустил маленькую модель, и она медленно заскользила вниз...

Ничто другое, видно, не интересовало его в эту минуту! Как будто Мадлен и на свете не было!

Но вот ухо его уловило какой-то шорох. Он быстро, с виноватым видом оглянулся по сторонам — и увидел ее, и всю компанию.

И тут произошло самое удивительное. Огонь любви вовсе не сверкнул в его глазах, и крик радости не вырвался из груди! Вместо этого он начал судорожно хва-

тать руками воздух и с воплем «Черт побери!» самым нелепым образом грохнулся на четвереньки.

Он просто разозлился — разозлился на нее. Никаких сомнений, он был страшно зол.

Так возродившиеся любовные грезы Мадлен снова столкнулись с извечным противоречием в характерах мужчины и женщины. И на этот раз трещина была куда глубже, чем при первой ссоре.

Ее драгоценный возлюбленный, страстный поклонник и обожатель вдруг стал каким-то чужим человеком, почти врагом. Прежде чем подойти к ней, он подобрал с земли свои бумажонки, и в глазах его по-прежнему не было видно ни искорки любви. Он как ни в чем не бывало поцеловал ей руку и сказал без тени смущения:

— Какое бесконечное утро, я вас совсем заждался! Пришлось развлекаться чем бог послал.

Он был просто дерзок. И говорил таким тоном, словно имел какие-то права на нее, на ее чувства. Уж не вообразил ли он, что и она должна как-то к нему приноравливаться?!

Ну и пусть! Это не помешает ей быть очаровательной!

И во время завтрака она была так мила, что под действием ее чар он перестал топорщиться и бунтовать, от дерзости не осталось и следа, так что Мадлен даже начала сомневаться, не померещилось ли ей... Перед нею снова был ее верный раб.

Мадлен с радостью забыла разочарование, испытанное в вестибюле, и простила Дугласа, однако вскоре с неприятным изумлением заметила, что лицо у него вновь стало упрямым. Брови странно сдвинулись, и облачко рассеянности затуманило ясность восхищенного взора. Он как-то равнодушно произносил пленительные и пленяющие слова.

Тогда она решила сама взять быка за рога.

— Вас что-то мучает, Малыш? — спросила она. «Малыш» была его старая школьная кличка.

— Как вам сказать... Не то что мучает... Но... кое-что тревожит, конечно. Этот проклятый мальчишка...

— Вы даже занялись гаданием, чтобы узнать, где он? Эти клочки бумаги...

— Нет. Это ни при чем. Это... ну просто, совсем другое. Но, понимаете, мальчишка... Наверно, он может объяснить все неприятности с Магериджем.. А ведь это и в самом деле неприятная история и может обернуться очень скверно...

Ужасно трудно было выразить раздиравшие его чувства. Так хотелось побыть с ней, и так хотелось поскорей отправиться в путь.

Но весь здравый смысл, все, что можно было хоть как-то высказать и что нашло выход в словах, требовало немедленно пуститься в погоню за Билби. И ей даже показалось, что он еще больше стремится от нее уехать, чем это было на самом деле.

Да, они хотели совсем разного, и это испортило прекрасный день, холодом неловкого молчания овеяло их беседы и сковывало нежные знаки внимания. Это раздражало Мадлен. Наконец, около шести часов вечера она убедила его ехать; она вовсе не против, притом у нее много дел, ей надо писать письма; и она ушла, оставив капитана в полной уверенности, что его покинули навеки. Он еще раз тщательно проверил свой мотоцикл, но тут им опять овладел ужас при одной мысли о расставании.

Ужин, поздний июньский закат и луна снова сблизили их. Почти разнежившись, Дуглас предложил новый план: он встанет завтра чуть свет, догонит и схватит Билби и ко второму завтраку вернется в гостиницу.

— Вы встанете на заре! — воскликнула Мадлен. — Летние зори — это, наверно, великолепно!

И тут ее осенило.

— Малыш! — вскричала она. — Я тоже встану на заре и поеду с вами! Да, да. Вы говорите, что он прошел не больше тринадцати миль, вот мы и захватим его тепленьким в постельке. А какая свежесть! Свежее росистое утро!

Она рассмеялась своим чарующим смехом и прибавила:

— Вот будет весело!

Ну, конечно же, она угадала все его тайные мечты и нашла чудесный способ примирения. Сначала они на-

пьются чаю, чайник и лампу она возьмет в фургоне. Миссис Гидж одолжит ей. Мадлен даже начала напевать:

Мы едем на охо-оту,
На охоту едем мы.

Но все ее усилия не могли побороть затаенное упрямство капитана. В ее устах их поездка расцвятилась всеми красками увлекательного и забавного приключения; но холодный голос рассудка все время настойчиво шептал ему, что охота за мальчишкой сорвалась.

Пока они собирались, она все забывала и вспоминала то одно, то другое, и они выехали только в половине восьмого; он намотал это на ус, и когда она потом хлопала в ладоши или пускалась бегом — и неслась быстрее лани, — или начинала петь, он напоминал ей, что идти надо ровным шагом.

В начале второго миссис Гидж увидела, что они возвращаются. Они шли не совсем рядом, а поодаль, футы в шести друг от друга, и угрюмо молчали, точно между ними произошло какое-то решительное объяснение, и теперь им не до пустой болтовни.

До конца дня измученная усталостью Мадлен уже не выходила из своей комнаты, и капитан Дуглас тщетно искал случая поговорить с ней. На лице его выражение растерянности и горя сменялось проблесками гневной решимости, он избегал Джуди с ее деликатными вопросами и разговаривал только с Гиджем и только о погоде. Он отказался от партии в гольф с профессором — ведь он такой невнимательный игрок.

— Потому-то вам и необходимо тренироваться, — напомнил профессор.

Около половины четвертого, не сказав никому ни слова, капитан укатил куда-то на своем мотоцикле.

Мадлен не показывалась до самого ужина и появилась, сияя кружевами и улыбками; впрочем, наблюдательной миссис Гидж веселость ее показалась не совсем естественной.

В полном смятении, обуреваемый самыми противоречивыми мыслями, капитан оседлал свой мотоцикл. Он видел слезы на глазах Мадлен. Они блеснули на один лишь миг, но все же это были слезы. Она плакала от злости. А может быть, от огорчения? (Что страшнее для

влюбленного — вызвать у любимой печаль или досаду?) Но мальчишку необходимо поймать, иначе сплетня о грубых и глупых шутках, разыгранных над почтенными и влиятельными особами, разрастется и, точно раковая опухоль, разъест его карьеру. А если его карьера будет загублена, какой же из него поклонник? Не говоря уже о том, что тогда ему не придется испытывать будущие летательные аппараты для военных целей... Словом, мальчишку необходимо найти во что бы то ни стало... Но надо спешить, ибо женское сердце чувствительно и не может долго выносить тяготы жизни. Богиням свойственно некоторое безрассудство. На беду, поиски требовали осторожности и продуманности, а он думал только о том, чтобы поскорее вернуться назад. Надо взять себя в руки, надо набраться терпения. Солдат ты или нет, в конце-то концов...

Проехав десять миль, капитан обнаружил вдобавок, что забыл свою незаменимую карту, и за ней пришлось возвращаться — это отнюдь не помогло ему держать себя в руках. А потом его снова охватили сомнения, верно ли он рассчитал, и он присел у дороги, чтобы еще раз проверить все свои расчеты. (Терпение, терпение...) Со скоростью в тридцать пять миль он подъехал к гостинице, которую на своей карте отметил как предел, — дальше Билби за два дня никак не уйдет. Это был мерзкий, тесный постоялый двор; для капитана вскипятили отвратительный чай, и никто ничего не слышал о Билби. В соседних домишках его тоже не видели. Капитан Дуглас в третий раз проверил свои расчеты, и оказалось, что он как-то забыл про среду. А ведь после нее успел пройти еще весь четверг и добрая половина пятницы. Билби сделал уже миль тридцать, а то и больше. И мог совершенно незаметно миновать эти края.

А вдруг он все-таки пошел по другой дороге?

На мгновение перед ним предстал образ Мадлен с блестящими от слез глазами. «Вы бросили меня в погоне за призраком!» — слышался ему ее голос...

Но дело прежде всего, тем более для солдата... Вспомни Балаклаву...

Он все же решил ехать дальше по этой дороге и искать следов в домишках, где, по его расчетам, Билби должен

был просить еду. Вот когда нужен немалый запас терпения и учтивости.

В тот вечер неожиданный гость навестил многие здешние домишки — ему открывали большей частью женщины в возрасте, уже далекие от стремительного бега жизни с ее суетой, бабушки или древние старушки, а иногда матери, мирно поджидавшие возвращения детей из школы. Днем все они просто изнывали от скуки и радовались даже сборщикам пожертвований и торговым агентам. Правда, бродяг они не терпели. Словом, капитан Дуглас оказался самым желанным гостем. Что-то всегда влекло к нему женские сердца — может быть, светлые волосы, приятное лицо, легко вспыхивающее румянцем, умение говорить, а теперь еще и какое-то романтическое воодушевление, невольное заражавшее собеседниц. Они принимали в нем самое искреннее участие, со вкусом, не торопясь вникали в историю его злоключений. Они внимательно выслушивали капитана, и прежде чем решительно заявить, что никакого Билби и в глаза не видели, в свою очередь, засыпали его бесчисленными вопросами. Их интересовало все: кто такой сам капитан, кем приходится ему мальчик, почему он пустился на розыски — словом, им хотелось подышать воздухом этого приключения. А потом наступал черед неутешительных сведений и отрицательных ответов. Быть может, они воображали, что, узнав все подробности, и в самом деле смогут ему помочь. Его дважды приглашали пить чай — ведь этот раскрасневшийся, запыленный путник явно изнемогал от жажды; а одна старая леди сказала, что много лет назад она сама потеряла такого мальчика, как Билби: «Увы! Я потеряла его навсегда!», — и она расплакалась, бедная старушка, и успокоилась только после того, как во всех подробностях рассказала капитану три очень трогательные, но нестерпимо длинные истории из жизни навсегда ушедшего сверстника Билби... (Ведь невозможно же сбежать, не дослушав, и вот так-то он терял уйму времени...)

А в одном домике ему попался глухой старик... Невыносимо нудный глухой старик, который сначала сказал, что видел Билби...

В конце концов он ведь был глухой...

Закат застиг капитана на открытом всем ветрам лугу милях в сорока от королевской гостиницы «Красное Озеро», и к этому времени он был уже научен горьким опытом и знал, что пути маленьких беглецов неисповедимы и вовсе не соответствуют самым толковым догадкам. Ему оставалось только искать и искать.

Может быть, вернуться в «Красное Озеро» и завтра начать все снова, более тщательно?

Соблазнительная мысль!

Но Мадден его больше не отпустит.

— Нет!

— Нет!!!

Он прочешет всю округу вдоль и поперек, вверх и вниз по дорогам, влево от «Красного Озера» — примерно между двадцать пятой и тридцать пятой милями.

Настала ночь, и луна поднялась уже высоко, когда капитан въехал в Креймистер, старинный городок, расположенный в долине Крейз и выродившийся теперь в деревню. За весь день капитан так ничего и не добился, пал духом, устал, проголодался и решил здесь поужинать и переночевать.

Прежде всего надо поесть — к этому времени аппетит был уже просто волчий, — а потом где-нибудь в трактире порасспросить о Билби.

Непреренно надо поесть, а то невыносимо слышать собственный голос, когда снова и снова повторяешь один и тот же навязший в зубах вопрос: «Вы случайно не видели, или, может, слышали, не проходил здесь вчера или сегодня мальчуган лет тринадцати? Такой крепкий, энергичный паренек, румяный, довольно смуглый, волосы короткие и торчат...»

На постоялом дворе «Белый Олень» он после недолгих переговоров получил баранью отбивную и бутылку австралийского рейнвейна. Маленький, полутемный, но довольно сносный зал для почетных посетителей был украшен измятой бумажной бахромой, рекламой пива на глянцево́й бумаге в рамке и слащавыми картинками из охотничьей жизни; сидя за столиком, капитан вдруг прислушался к разговору, который невнятно доносился из примыкающего к ресторану пивного зала. Да, там явно был пивной зал...

Слышал он не очень отчетливо, но ему показалось, что стиль языка в Крейминстере отличается необычайным богатством красочной ругани. И тон был какой-то странный — в нем все время звучала угроза...

Он стряхнул с кителя какую-то крошку, закурил папиросу и вышел в коридор, готовый в сотый раз повторить свой вопрос, без всякой, впрочем, надежды на успех.

При его появлении разговор тотчас же оборвался.

Пивной зал был выкрашен в темные тона, куда более приятные для глаза, чем кричащие украшения зала для избранных. Стены были оклеены коричневыми обоями с бордюром из бумажных листьев хмеля, на стене висело зеркало и стеклянные полки, заставленные бутылками и флягами. В зале сидели человек шесть-семь самого разного вида. Один был в светлом костюме из твида, перепачканном мукой, лицо и волосы тоже припорошены мукой, лицо угрюмое и тревожное. Без сомнения, это был пекарь. Он сидел, весь подавшись вперед, словно под столом у него было спрятано нечто ценное. Рядом сидел почтенного вида большеголовый блондин с правильными чертами лица, а у камина курил глиняную трубку краснолицый мужчина, похожий на мясника. Еще один из присутствующих смотрел напряженно и плутовато, — вероятно, это какой-нибудь приказчик из бакалейной лавки случайно очутился в компании более почтенных сограждан.

— Добрый вечер, — сказал капитан Дуглас.

— Добрый вечер, — настороженно откликнулся большеголовый.

Капитан с подчеркнутой непринужденностью подошел к камину.

— Никто из вас случайно не видел или, может, слышал, не проходил здесь вчера или сегодня мальчуган лет тринадцати? — начал он. — Такой крепкий, энергичный паренек, румяный, довольно смуглый, волосы короткие и торчат...

Он вдруг умолк, заметив, что трубка в зубах мясника судорожно дергается и вся остальная компания явно заволновалась.

— Мы... да, мы его видели, — выговорил наконец большеголовый.

— Как же, конечно, видели,— сказал чей-то голос из темного угла, куда не достигал свет лампы.

А угрюмый пекарь добавил:

— Хоть бы мне его больше вовсе не видеть.

— Ах вот как!— изумился капитан, так неожиданно напад на свежий след.— Очень, очень интересно. Где же вы его видели?

— Проклятый поганец!— откликнулся мясник.— Этакий негодяй!

— Мистер Беншоу сейчас гоняется за ним и ружье зарядил овсом,— сказал голос из темноты.— Ох, и разукрасит он его, если поймает! Уж это я ручаюсь. И поделом ему!

Тут вмешался пекарь:

— Боюсь, мой желудок никогда больше как следует не поправится. Ну и стукнул же он меня! Ох! Мистер Хоррокс, позвольте попросить вас, еще рюмочку бренди. Одну рюмочку. Это успокаивает боль...

ГЛАВА VI

БИЛБИ И БРОДЯГА

Билби ужасно не хотелось покидать компанию с фургоном даже после того, как из-за его собственной непротитительной оплошности она оказалась компанией без фургона. Он печально брел по гребню холма сквозь заросли тиса и самшита, пока в его ушах не перестал звучать грохот, сопровождавший катастрофу. Потом он немного постоял, грустно прислушиваясь, потом свернул вдоль забора, ограждавшего какое-то поле, и вышел на узкую тропку, проходившую по уступу горы.

Билби крайне смутно представлял себе, что его ожидает в ближайшем будущем. Впрочем, он готов был принять все, что придется. С тех пор как он расстался с домиком садовника, он жил по воле обстоятельств. Обстоятельства эти бывали интересные, но уж очень изменчивые. Он полагал, однако, что и в дальнейшем все станут решать обстоятельства. И вообще он знал твердо только одно: он хочет попасть к морю. И он очень проголодался.

И еще он вдруг обнаружил, что вокруг медленно, но верно сгущаются сумерки. Извилистая горная дорога неожиданно привела его на большой серый пустырь, где вдалеке таинственно маячили кусты живых изгородей.

И тут Билби подумал, что пора бы случиться и чему-нибудь хорошему. До сих пор, когда в окружавшем его мире становилось темно и холодно, что-нибудь или кто-нибудь всегда приходил ему на помощь. Билби кормили ужином и укладывали, либо отправляли спать. Даже когда он провел ночь в какой-то темной щели в Шонтсе, он знал, что совсем недалеко под лестницей у него есть кровать. Если б только тот громкий голос не начинал выкрикивать проклятия, едва Билби пытался шелохнуться, он бы пошел к своей кровати. Но теперь, когда он брел в сумерках по огромному пустырю, ему стало ясно, что этот приятный обычай будет нарушен. Впервые в жизни он ощутил, что в этом мире человек может вдруг оказаться бездомным...

И к тому же вокруг стало очень тихо.

Очень неприятная тишина, и всюду какие-то загадочные тени.

Этот пустырь, казалось ему, не только открытое, ничем не защищенное, но и почему-то враждебное место, и Билби поспешил к калитке, видневшейся в дальнем конце пустыря. На ходу он то и дело поглядывал по сторонам. Хорошо бы поскорее добраться до этой калитки и закрыть ее за собой!

В Англии серые волки не водятся.

И все же иногда невольно думаешь о волках... Серые волки, серые, как сумерки, они неслышно, почти совсем неслышно бегут рядом с жертвой, долго бегут, а уж потом нападают.

В Англии, повторяю, серые волки не водятся.

Волков истребили еще при Эдуарде III; про это написано в учебнике истории, и с тех пор ни один вольный волк не ступал на землю Англии; только пленники зоологического сада.

Но ведь бывают и беглые волки!

Наконец-то калитка! Шмыгни в нее скорей и захлопни за собой! Чуть пробежать — и попадешь на поле, что тянется вниз по склону холма. Вот что-то

вроде тропинки,— какая-то она незаметная, но все же, должно быть, тропинка. Господи, хоть бы это была настоящая тропинка!

Что это там за деревьями?

Оно остановилось; ну да, остановилось, когда остановился Билби. Тук! Тук! А, это стучит сердце.

Ничего там нет! Просто показалось. Волки живут на равнинах; они вот так просто не приходят в леса. И потом волков вообще не бывает. И если закричишь, пусть даже еле слышным голосом, они уходят. Они ведь, в сущности, трусливые твари. Трусливее не сыщешь.

А кроме того, они очень боятся человеческого взгляда. Да и как раз поэтому они подкрадываются к человеку потихоньку, и следят за ним, и прячутся, чтобы ты на них не взглянул, и тайком крадутся, крадутся по пятам...

Ну, сразу обернись!

Никого нет.

Как все шуршит под ногами! В сумерках в лесу, когда меж деревьев мечутся разные совы, летучие мыши и всякие еще твари и всюду тебя подстерегают чьи-то глаза, было бы гораздо приятнее не поднимать такого шума. Скоро, очень скоро, утешал себя Билби, он выйдет на широкую дорогу и встретит людей и, проходя, скажет им «добрый вечер». Это будут милые люди, и они ответят ему «добрый вечер». Он вспотел от быстрой ходьбы. Становилось все темнее, и он то и дело спотыкался обо что-то.

Если упадешь, волки кидаются на тебя. Хотя ведь никакие волки у нас не водятся.

Глупо вот так все время думать про волков. Надо думать про что-нибудь другое. Например, про все, что начинается с буквы «М»: мальчишки, мотыльки, медведи. Мысль застряла на медведях. А вдруг тут водятся большие серые медведи? Огромные медведи, и ходят они неслышно...

Совсем стемнело, и деревья стали черными. Ночь поглотила бегущего со всех ног Билби, и почему-то он был теперь совершенно уверен, что у нее есть зубы и что первым делом она вцепится ему в пятки...

— Эй! — тихонько вскрикнул Билби, радуясь огненной искорке, мелькнувшей среди леса.

Человек, сидевший у костра, прищурившись, всмотрелся в темноту, откуда донесся голос — он уже давно прислушивался к неверным, спотыкающимся шагам, — и ничего не ответил.

Еще через минуту Билби продрался через живую изгородь в освещенный мир и остановился, глядя на человека у костра. Призрачные волки удрали в неведомую даль. Но Билби был все еще бледен от ужасов погони, и вообще он казался маленьким-маленьким мальчиком.

— Заблудился? — спросил сидевший у костра.

— Не мог найти дорогу, — сказал Билби.

— Ты один?

— Да.

Человек у костра подумал.

— Устал?

— Немножко.

— Иди и садись у огня, отдохни малость. Не бойсь, я тебя не трону, — прибавил он, видя, что Билби колеблется.

За всю свою небогатую опытом жизнь Билби еще ни разу не видел человеческое лицо, освещенное сзади дрожащим красным пламенем костра. Зрелище было поразительное, но не слишком приятное: такого подвижного и изменчивого лица Билби никогда не видывал. Казалось, нос ежесекундно менялся: то он был совсем римский, то пуговкой, точно у мопса; глаза то выпучивались, то уходили глубоко в темные орбиты; почти не менялся лишь большой треугольник, который образовали подбородок и шея. Билби, пожалуй, вообразил бы, что этот бродяга и не человек вовсе, если бы его не окутывал запах какого-то варева. Пахло и луком, и репой, и перцем, у Билби потекли слюнки — один этот запах уже служил признаком добродетели. Варевое кипело в старой жестянке, укрепленной на скрещенных палках над огнем, и бродяга то и дело подбрасывал в костер сухие ветки.

— Да не трону я тебя, на черта ты мне сдался, — повторил он. — Поди сюда, садись вот здесь на ветки и рассказывай все по порядку.

Билби покорно сел.

— Я заблудился,— сказал он и почувствовал, что слишком устал, чтобы сочинить сколько-нибудь правдоподобную историю.

Физиономия бродяги при ближайшем рассмотрении уже не так фантастически менялась в отблесках костра. У него был большой рот с отвислыми губами, толстый, бесформенный нос, густые и длинные светлые волосы, широкий, обросший многодневной щетиной подбородок и прыщи, уйма прыщей. Маленькие колючие глазки зорко поглядывали из глубоких глазниц. Он был худой, даже тощий. Он разговаривал с Билби и большими, длинными руками то и дело подбрасывал в огонь сучья. Раза два он наклонялся и нюхал свое варево, но его маленькие глазки все время пристально следили за Билби.

— Воротник потерял, что ли?— спросил он.

Билби пощупал шею.

— Я его снял.

— Пришел издалека?

— Вон оттуда,— сказал Билби.

— Откуда?

— Оттуда.

— Как называется то место?

— Не знаю.

— Так ты не там живешь?

— Нет.

— Значит, сбежал,— сказал бродяга.

— Может, и так,— ответил Билби.

— Может, и так! Почему «может»? Ясно, сбежал.

Что толку врать? А когда ты сбежал?

— В понедельник.

Бродяга минуту подумал.

— Что, уже надоело?

— Не знаю,— честно признался Билби.

— Хочешь супу?

— Хочу.

— Сколько?

— Я бы съел побольше,— сказал Билби.

— Еще бы! Только я не про то. Я говорю: сколько дашь за суп? Сколько ты заплатишь за полжестянки вкусного-превкусного супа? У меня ведь не богачество, понятно?

— Два пенса,— сказал Билби.

Бродяга покачал головой, взял выдавшую виды оловянную ложку, которой он мешал свое варево, и с аппетитом его попробовал. Это был отличный суп, и даже с картошкой.

— Три пенса,— сказал Билби.

— А сколько у тебя всего?— осведомился бродяга.

Билби колебался, и это было заметно.

— Шесть пенсов,— наконец пролепетал он.

— Вот и суп стоит шесть пенсов,— заявил бродяга.— Раскошеливайся.

— А миска большая?— деловито спросил Билби.

Бродяга надувал в темноте позади себя жестянку с зазубренными краями, в которой когда-то, как свидетельствовала этикетка — я только цитирую, а не утверждаю, что так оно и было,— находился «Океанский лосось».

— Вот.— Бродяга показал ему жестянку.— И еще ломть хлеба. Хватит, а?

— А вы дадите, не обманете? — спросил Билби.

— Я что, похож на жулика? — разозлился бродяга, и в эту минуту клок густых волос свесился и закрыл ему один глаз, и лицо у него стало ужас какое грозное.

Билби без дальнейших рассуждений протянул ему шесть пенсов.

Бродяга спрятал в карман деньги и сплюнул.

— Уж я с тобой обойдусь по справедливости,— заметил он и сдержал слово. Он решил, что суп уже можно подавать, и аккуратно разлил его по жестянкам.

Билби сразу принялся за еду.

— Вот тебе в придачу,— сказал бродяга и бросил Билби луковицу.— Она мне досталась почти что даром, вот я и с тебя ничего не возьму. Доволен, а? Лук, он полезный.

Билби кротко поедал суп и хлеб, одним глазом искоса поглядывая на своего благодетеля. Он решил, что съест все до конца, посидит немножко, а потом выпросит бродягу, как пройти... куда-нибудь, все равно куда. А бродяга очень старательно выскреб остатки супа из своей жестянки кусочками хлеба и задумчиво уставился на Билби.

— Ты бы лучше покуда составил мне компанию, приятель,— сказал он.— Нынче тебе уж, во всяком случае, никуда идти нельзя.

— А может, я дойду до какого-нибудь города или еще до какого места?

— В лесу опасно.

— Как это опасно?

— Когда-нибудь слышал про гориллу? Есть такая большая черная обезьяна.

— Слышал,— пролепетал Билби.

— Так вот, одна такая бегает тут. Уже с неделю, а то и больше. Верно тебе говорю. И если какой-нибудь малец бродит тут в темноте, она, знаешь, может с ним поговорить по душам... Конечно, если горит костер или есть кто взрослый, она не тронет. Ну, а мальчика, вроде тебя... Не хочется мне тебя отпускать, ей-богу, не хочется. Это штука опасная. Понятно, силком тебя держать я не стану. Вот такие дела. Иди, коли хочешь. А только лучше не надо. Верно тебе говорю.

— Откуда она взялась, эта горилла?— спросил Билби.

— Из зверинца,— ответил бродяга.— Тут один парень хотел ее изловить, так она ему руку чуть не насквозь прокусила.

Билби прикинул в уме, кто опаснее: горилла или бродяга,— выбрал меньшее из двух зол и придвинулся ближе к огню,— впрочем, не слишком близко. Разговор продолжался.

Это был длинный и бессвязный разговор, и бродяга временами казался вполне добродушным человеком. Обмен мнениями иногда прерывался расспросами; речь шла об отъезде и возвращении, о бродячей жизни и о жизни вообще и о таких понятиях, как «нужно» и «можно».

Иногда, особенно сначала, Билби казалось, что где-то в бродяге прячется лютей зверь,— порой он выглядывает из-за свисающей пряди волос и вот-вот кинется на него. А иногда ему казалось, что бродяга — славный, добрый, веселый и забавный дядя, особенно когда он говорил что-нибудь погромче и задира л голо-

ву, выставляя заросший щетиной подбородок. А потом добродушный говорун снова превращался в мерзкого, противного бродягу, и лицо его в красных отсветах костра становилось таким хитрым и безобразным, что у Билби начинали бегать по спине мурашки и он отодвигался подальше. А потом этот взрослый человек опять казался ему сильным и мудрым. Вот как неустойчива стрелка компаса мальчишеских ощущений.

Разговаривал бродяга как-то странно, слова были непривычные: «ночлежка», «кутузка», «цыганить», «фараоны», «лягавые», «работный дом» и тому подобное. Все эти слова Билби пытался подогнать под свои привычные понятия и потому никак не мог взять в толк, о чем тот говорит: только ему покажется, что понял, как вдруг выясняется нет, это совсем не то — и надо опять изо всех сил соображать, о чем же это он говорит. И сквозь весь этот туман и путаницу перед ним маячила какая-то доселе неизвестная жизнь — жизнь странная и незаконная, грязная, во всех отношениях грязная и страшная — и однако заманчивая. Да, вот что было самое странное и удивительное — она влекла и манила. В ней было что-то забавное. Мерзкую и отталкивающую эту жизнь наперекор всему освещали дерзость и смех, пусть горький, но все же смех. В ней таилось веселье, которого лишен был, например, мистер Мергелсон, была острота, точно у лука или какой-нибудь кислоты... И от этого воспоминание о мистере Дарлинге становилось серым и пресным.

Бродяга с самого начала решил, что Билби натворил что-то и потому удрал, но какая-то непонятная деликатность мешала ему напрямик спросить, в чем провинился мальчишка. Впрочем, он уже много раз осторожно заговаривал на эту тему. И еще он считал, что парнишке полюбилась бродячая жизнь и что, если не произойдет чего-нибудь непредвиденного, они с Билби теперь не расстанутся.

— Это нелегкая жизнь, — наставлял его бродяга, — но на свой лад она хороша, а ты парень вроде крепкий, выдержишь.

Он рассказывал о дорогах, о том, что и дороги и местности бывают разные. Эта местность, к примеру, хорошая: не все кругом возделано, и потому здесь к

путникам, которые ночуют под открытым небом, относятся не так уж плохо. А взять другие дороги (вот как из Лондона на Брайтон), только зажги спичку,— и к тебе сразу кто-то бежит. А здесь люди тебя не тронут, надо только поаккуратнее обращаться со стогами сена, где ночуешь. И не так уж они злятся, если застукают тебя, когда подстрелишь фазана. Да и пустой хлев для ночевки здесь найдешь скорее, чем где-нибудь еще.

— Вообще-то я, как завижу где сарай или другое какое крытое помещение, тут же ухожу прочь, пусть хоть бы и дождь как из ведра. Можно, конечно, еще и в ночлежку или в работный дом. Хуже всего дождь: промокаешь до нитки. Ты-то еще этого не пробовал, раз ты в пути только с понедельника... А когда промокнешь, да тебя еще прохватит холодным ветром... Бр-р! Один раз меня даже заросли густого па-дуба не спасли, а уж, кажется, в такой-то чашобе можно укрыться от ветра и дождя...

— Работные дома — это последнее дело. Лучше уж я на голодное брюхо переночую в ночлежке, чем пойду в работный дом. Да, ведь ты еще не испробовал работного дома.

— Да и ночлежки — тоже не рай земной.

О некоторых содержательницах ночлежек бродяга отозвался в незнакомых Билби, но, похоже, весьма не-лестных выражениях.

— И вечно в ночлежках почему-то все стирка, когда ни приди — все стирают. Кто носки, кто рубашку. А начнут сушить — кругом один пар. Ф-фу! Не понимаю, зачем это нужно — стирать. Все равно опять вымажется.

Он разглагольствовал о работных домах, о тамошних надзирателях.

— Там заставляют мыться в бане, — с отвращением добавил он, сопровождая эти слова мерзкими, но по-своему притягательными эпитетами. — Мытье — вот что хуже всего. Даже когда ты все время под открытым небом, дождь ведь не все время льет. А уж когда дождя нет, какой дурак полезет в воду?

Он вернулся к более приятным сторонам кочевой жизни. Уж кто-кто, а он ярый сторонник жизни на свежем воздухе.

— Ну разве плохо мы тут устроились?— говорил он и яркими красками обрисовал невинные кражи, пополнившие меню их ужина и придавшие ему известную пикантность. Но из его слов можно было понять, что и ночлежки тоже имеют свои преимущества.

— Как же это ты ни разу не побывал в ночлежке? — удивлялся бродяга.— А где ж ты спал с самого понедельника?

Билби рассказал про фургон, и слова его вдруг показались ему слишком бледными и убогими.

— Тебе повезло,— ухмыльнулся бродяга.— Вообще малолетним всегда везет в таких делах. А вот попался бы я трем таким путешественницам, думаешь, меня бы позвали в фургон? Черта с два.

И он с явной завистью порассуждал о подобных случаях и о том, как здорово можно ими воспользоваться.

— Тебя никто не боится, вот тебя всюду и пускают,— с завистью заключил он.

И, чтобы утешить себя, начал рассказывать всякие небылицы о своих собственных удачах. Оказалось, что когда-то он путешествовал в обществе дамы по имени Иззи Бернерс — «шикарная была красотка-циркачка, любимица публики». И еще он вспоминал славную подружку Сьюзен. Билби было трудновато уловить смысл этих воспоминаний, потому что бродяга говорил отрывисто, перескакивая с одного на другое и перемежая свою речь коротким многозначительным смешком.

Постепенно у Билби создалось представление о ночлежном доме как об огромном многолюдном месте, где посередине пылает огонь в очаге и все что-то стряпают, ругаются и спорят и куда вдруг «ввалились мы с Иззи».

Костер догорал, лесная тьма, казалось, подползала все ближе. Длинные лучи лунного света пробивались сквозь кроны деревьев и как бы упорно показывали на какие-то невидимые предметы; от лунного света то там, то тут возникали серые пятна, они были похожи на лица и словно следили за Билби. По приказу бродяги он сделал вылазку и набрал веток, так что костер снова разгорелся, а темнота и мысли о возможной

встрече с гориллой отступили на несколько ярдов; и бродяга похвалил его, сказав, что костер «первый сорт». Он уже соорудил ложе из листьев и теперь предложил Билби расширить его и устраиваться на ночлег, а сам, лежа ногами к костру, продолжал разглагольствовать.

О краже и мошенничестве он говорил просто с нежностью, эти занятия у него выглядели, как увлекательные шутки и приключения. По его словам, когда посчастливится напасть на простачка, то одурачить такого не просто забава, но первейший долг. Он не жалел красок, и подчас мошенники получались у него такими смышленными и находчивыми, что Билби начинал восхищаться ими, порою совершенно забывая, что они все же мошенники.

Билби лежал на куче листьев рядом с растянувшимся во всю длину бродягой и чувствовал, что мысли и представления о том, что хорошо и что плохо, начинают у него как-то путаться. Тело бродяги заслоняло его сбоку, точно темный, но надежный вал; огромные ступни загораживали костер, но отблески огня прыгали по стволам деревьев вокруг них, и порой эти блики металась так резко и неожиданно, что Билби настораживался и, вскинув голову, следил за ними. Среди ужасов и опасностей, таящихся в ночи, бродяга превращался для него в целый мир, в весь род человеческий, в нравственную опору. Голос его нес утешение, его речи позволяли забыть об окружающей злоеющей тишине. Первоначальное недоверие к нему постепенно исчезло. Билби стал думать о нем, как о славном, щедром и заботливом друге. Он также начал привыкать к чему-то еле уловимому — назову это условно «барьером обоняния», — что разделяло их до сих пор. Своими речами бродяга уже не стремился «просвещать» Билби. Лежа на спине и заложив руки за голову, он обращался не столько к своему собеседнику, сколько к звездам и ко всей вселенной. И прославлял он уже не бродячую жизнь вообще, а ту бродячую жизнь, которую вел он сам, и собственную храбрость, и прочие свои достойные всяческого восхищения качества. Словом, этим монологом бродяга как бы сам себя утешал — способ не новый, тайная опора многих и многих душ.

Он хотел, чтобы Билби хорошенько уразумел одно: он стал бродягой умышленно, по собственной доброй воле. И если из него не получилось ничего путного, то виной тому только глупость и коварство тех, кому он доверял, и происки его врагов. В том самом мире, где обитали такие светлые личности, как Изабел Бернерс и Сьюзен, жила также и другая личность, злая и глупая,— жена бродяги, которая, быть может, именно по глупости причинила ему много вреда. Она явно не оценила сокровище, доставшееся ей в лице бродяги. Во многом была виновата именно она и никто другой.

— Она всех и каждого слушает, кроме собственного мужа,— жаловался бродяга.— И так всегда.

Билби вдруг вспомнил, что мистер Дарлинг сказал в точности то же самое и о его матери.

— Она из таких,— продолжал бродяга,— которые лучше пойдут в церковь, чем в мюзик-холл. Лучше выбросит шиллинг, чем потратит его на что-нибудь стоящее. Если можно наняться в несколько разных мест на выбор, она спросит, где меньше всего платят и где больше всего работы, и это самое место и выберет. Ей так будет спокойнее. Она весь свой век всего боится. А когда ей больше нечего делать, она начинает мыть в доме полы. Господи! Просто руки чесались вылить это проклятое помойное ведро ей на голову, чтоб захлебнулась.

— Я вовсе не намерен всем кланяться и унижаться, — разглагольствовал бродяга.— Я имею такое же право на жизнь, как и все вы. Конечно, у вас есть свои лошади, экипажи, и собственные дома, и земли, и поместья, и все такое прочее, вы и воображаете, что я стану перед вами пресмыкаться и гнуть на вас спину. А я вот не стану. Понятно?

Билби было понятно.

— У вас свои радости жизни, а у меня свои, и не заставите вы меня на вас работать. Не желаю я работать. Я хочу жить так, как живу, вольной птицей, и хочу брать от жизни все, что подвернется под руку. В этом мире надо рисковать. Бывает, что повезет, а бывает, что и нет. А иной раз и не разберешь, как оно получилось — хорошо или плохо.

И он снова начал расспрашивать Билби, а потом заговорил о своих планах на ближайшее будущее. Он решил податься к морю.

— Там уж непременно что-нибудь да попадетсЯ,— мечтал он.—Только надо остерегаться фараонов. Судьи в курортных городках пуще всего свирепствуют с нашим братом, бродягой; им только попадись,— живо засадят на месяц в каталажку за попрошайничество. Но зато там полным-полно простофиль — так и сорят деньгами, только успевай подбирать. Понятно, вдвоем их легче облапошить. И вот тут-то ты и сгодишься, парень. Я сразу это смекнул, как тебя увидел. Да и позабавиться можно будет...

Он строил самые заманчивые планы...

Чем дальше, тем голос его становился ласковее. Он даже прибегнул к лести.

— Взять вот хоть нас с тобой,— сказал он, вдруг придвинувшись поближе к Билби.— Я уж вижу, мы с тобой век будем друзьями, водой не разольешь. Ты мне пришелся по душе. Куда ты, туда и я, так вместе и будем жить. Понятно?

Бродяга дышал ему прямо в лицо, потом даже ласково сжал ему коленку, и, в общем, Билби был польщен тем, что у него есть такой друг и защитник.

В безжалостно ярком свете кипучего утра бродяга, правда, почти лишился того ореола, который окружал его накануне вечером. Тут уж невозможно было не видеть, что он не только возмутительно небрит, но и безмерно грязен. Нет, то была не обычная дорожная пыль. Последние несколько дней он, должно быть, весьма тесно соприкасался с углем. Все утро он был молчалив и раздражителен и наконец объявил, что ночевки под открытым небом когда-нибудь сведут его в могилу и что завтракать тоже нужно не на улице, а в уютной домашней обстановке. Правда, после завтрака он немного подобрел, к нему даже вернулась доля веселого благодушия, но все же он оставался довольно несносным. У Билби зародилась к нему неприязнь, и, шагая за своим новоявленным наставником и приятелем, он всю дорогу обдумывал, как бы незаметно от него улизнуть.

Я вовсе не хочу обвинять Билби в неблагодарности, но все же справедливость требует отметить, что та же неприязнь, из-за которой он так небрежно относился к своим обязанностям под началом у мистера Мергелсона, теперь пагубно действовала и на его дружеские отношения с бродягой. Притом он был обманщиком. Бродяга строил планы, нисколько не сомневаясь, что они с Билби и дальше будут неразлучны, а Билби и не подумал предупредить его, что только и ждет удобного случая удрасть. Но, с другой стороны, Билби унаследовал от матери глубочайшее отвращение к воровству. А ведь нельзя отрицать, что бродяга был вор, он и сам в этом признавался.

И еще одна мелочь одновременно и отдаляла Билби от бродяги и привязывала к нему. Внимательный читатель помнит, что, когда Билби вышел из леса к костру бродяги, у него было ровно два шиллинга и два с половиной пенса. У него оставались те полкроны, что дала ему миссис Баулс, и сдача с шиллинга, что подарила ему на театр Мадлен Филипс, за вычетом шести с половиной пенсов, отданных за воротничок, и шести пенсов — бродяге за суп накануне. Но весь этот остаток лежал теперь в кармане у бродяги. Деньги вообще трудно утаить, а у бродяги был на них особый нюх. Впрочем, он и не думал отнимать их у Билби; он очень легко получил их следующим образом:

— Мы друзья и товарищи, так? Значит, пускай лучше деньги хранятся у кого-нибудь одного. Лучше у меня — я постарше и поопытнее. Так что, парень, давай-ка сюда все, что у тебя там есть.

А потом он намекнул, что, если Билби не отдаст деньги по-хорошему, он их все равно отберет силой, и передача состоялась. Бродяга еще и обыскал Билби, деликатно, но тщательно...

Самому бродяге казалось, что инцидент исчерпан и забыт.

Он вовсе не подозревал, что в голове у его спутника зреют планы мятежа и измены. Он никак не предполагал, что его облик и повадки, некий исходивший от него нравственный, да и физический душок вызывали в Билби далеко не восторженные чувства. Ему казалось, что он приобрел молодого и послушного спутника, который будет ему и полезен и приятен; он рассчитывал

дружеским обращением прочно привязать к себе мальчика и никак не ждал неблагодарности.

— Если тебя спросят, кто я тебе, скажи, — дядя, — наставлял бродяга.

Он шагал немного впереди широкой размашистой походкой, разворачивая ступни влево и вправо, и строил радужные планы на весь наступающий день. Для начала — пиво, побольше пива. Потом табак. А там можно купить хлеба и сыра для Билби.

— Тебе сюда нельзя, — сказал он, остановившись у первой же пивной. — Ты еще мал, сынок. Это не я придумал, это придумал Герберт Сэмюэл. С него и спрашивай. Работать на какого-нибудь такого же мистера, гнуть спину — это он разрешает, и это тебе не вредно, а вот чтобы такие, как ты, ходили в пивную, — этого он не допустит. Так что подожди на улице. Но имей в виду, я с тебя глаз не спущу.

— Вы истратите мои деньги? — насторожился Билби.

— Я куплю еды на обоих.

— Вы... вы не смеете тратить мои деньги! — сказал Билби.

— Я... ч-черт... я принесу тебе леденцов, — начал уговаривать его бродяга. — Говорю тебе, это Герберт Сэмюэл виноват. Я здесь ни при чем. Не могу же я идти против порядка.

— Вы не имеете права тратить мои деньги, — настаивал Билби.

— Хватит скулить. Что я могу поделаться?

— Я позову полицейского. Отдайте мои деньги и опустите меня.

Бродяга взвесил все «за» и «против». Полицейского нигде не было видно. Кругом не было никого, пивная на углу выглядела мирно и добродушно, неподалеку спала собака, да спиной к ним копал землю какой-то старик. Бродяга вкрадчиво спросил:

— А кто тебе поверит? И, кстати, откуда у тебя эти деньги? — Потом продолжал: — Я вовсе не собираюсь тратить твои деньги. У меня есть свои. Вот они. Понятно?

И перед глазами Билби на миг блеснули три шиллинга и два медяка, которые показались ему знакомыми. Значит, у бродяги был и свой шиллинг...

Билби остался ждать на улице...

Бродяга вышел развеселый, с леденцами и дымящейся глиняной трубкой в зубах.

— На, вот.— И жестом, не лишенным величия, он протянул Билби не только леденцы, но и новую коротенькую глиняную трубку.— Набивай,— великодушно предложил он, протягивая ему табак.— Это нам на двоих. Но, смотри, не показывайся на глаза Герберту Сэмюэлу. У него и такой закон есть, чтоб ребятам не курить.

Билби зажал трубку в руке. Он уже как-то раз пробовал курить. Он хорошо запомнил тот случай, хоть и было это полгода тому назад. И все же ему хотелось самому выкурить этот табак: уж очень обидно будет, если бродяга один все выкурит, деньги-то его, Билби.

— Нет, сейчас не буду,— сказал Билби.— Позже.

С видом человека, совершившего благородный поступок, бродяга сунул пачку виргинского обратно в карман.

И они пошли дальше, такие разные...

Весь день Билби кипел от ярости, видя, что деньги его тают в руках бродяги, а вызволить их и удрать нет никакой возможности. Они пообедали хлебом и сыром, затем бродяга еще подкрепился, выпив пива за двоих, потом они пришли на лужайку, где вполне можно было отдохнуть. А после заслуженного отдыха в уединенной ложбинке среди зарослей дрока бродяга вытащил колоду невероятно засаленных карт и принялся учить Билби играть. По-видимому, в его сюртуке не было отдельных карманов, вся подкладка служила ему одним большим карманом. То тут, то там «карман» вздувался, и можно было разобрать, где хранится котелок для стряпни, где — жестянка, из которой он ел, а где репа и еще какие-то пожитки. Сперва они играли просто так, а потом стали играть на остаток денег в кармане у бродяги, и к тому времени, когда Билби усвоил премудрости этой игры, бродяга уже выиграл все деньги. Но

он был настроен весьма великодушно и заявил, что они все равно будут тратить их вместе.

А потом он вдруг пустился в откровенность. Он пошарил в своем необъятном кармане и вынул что-то маленькое, темное и плоское, похожее на орудие каменного века, минуту-другую сосредоточенно разглядывал этот непонятный предмет, потом протянул его Билби.

— Угадай, что это.

Билби не мог угадать.

— Понюхай.

Запах был очень противный. Он отдавал чем-то знакомым и словно бы имел какое-то отношение к санитарии и гигиене, но какое — Билби так и не определил. Впрочем, этот запах был едва уловим среди множества других, не менее мерзких запахов, исходивших от бродяги.

— Что это? — спросил наконец Билби.

— Мыло.

— А для чего?

— Я так и думал, что ты спросишь. Для чего бывает мыло?

— Для стирки, — наугад выпалил Билби.

Бродяга отрицательно покачал головой.

— Для пены, — поучительно объяснил он. — Оно мне нужно для припадков, понятно? Я запикиваю кушечек в рот, а потом падаю и начинаю кататься по земле и еще стонать. Случалось, меня даже отпаивали коньяком, чистым коньяком! Но и это тоже не всегда проходит... Нет ничего на свете, что ни разу бы не сорвалось. Бывает, и сядешь в лужу... Однажды меня во время такого «припадка» укусила мерзкая собачонка, так что я мигом «очнулся»... А в другой раз один пожилой джентльмен начал шарить у меня по карманам. Шарит да еще и приговаривает: «Бедняга, он, наверное, нищий, посмотрим, есть ли у него что-нибудь в карманах». А у меня, как на грех, было в ту пору много всякой всячины, и мне вовсе ни к чему было, чтобы он все это углядел. Да только я так и не успел «очнуться» и помешать ему. Понятно, у меня в тот раз была уйма неприятностей.

— Это прием старый, — продолжал бродяга, — но на редкость здорово действует в таких вот тихих деревушках. Это для здешних жителей вроде развлечения. Или,

например, можно упасть прямо перед носом у целой оравы велосипедистов... Да мало ли верных, испытанных способов! А уж Билли Бриджит все их знает назубок. Видишь, тебе просто повезло, что ты меня встретил, парень. С Билли Бриджитом с голоду не помрешь. И потом, у меня есть нюх, я знаю, что можно и чего нельзя. А полицейского я чую на расстоянии, вроде как другие чуют кошек. Я уж сразу угадаю, если в доме спрятан полицейский...

Он стал рассказывать про всякие случаи из своей жизни, про различные встречи и стычки, где он всегда с блеском побеждал и одурачивал своих врагов. Это было забавно, и перед этим Билби не мог устоять. Он ведь и сам в школе прославился хитростью и увертливостью.

Разговор понемногу завял.

— Ну,— сказал бродяга,— пора приниматься за дело.

Они пошли по тенистым тропинкам среди кустов, через неогороженный парк, потом по краю луга, где вольно гулял ветер, и, наконец, увидели море. И среди многого другого бродяга сказал:

— Пора нам раздобыть что-нибудь поесть.

При этом он повел по сторонам своим большим любопытным носом.

Всю вторую половину дня бродяга рассуждал о праве собственности, о том, что в нем хорошо и что плохо, и эти рассуждения изумляли Билби и сбивали с толку. Оказалось, понятия о собственности и воровстве у них с бродягой совсем разные. Никогда до сих пор Билби не думал, что можно понимать все это иначе, чем привык понимать он. Но бродяга ухитрился изобразить дело так, словно почти все, у кого есть собственность, владеют ею незаконно, а честность — это правила, сочиненные имущими для защиты от неимущих.

— Они заграбастали свое имущество и теперь хотят одни пользоваться им,— говорил бродяга. — Что, похоже разве, что я много накрал чужого? Ведь не я захватил эту землю и понатыкал всюду объявлений, что, дескать, никому больше ходить по ней нельзя.

зя. И не я день и ночь прикидываю да рассчитываю, как бы мне раздобыть себе еще земли.

— Да только я им не завидую,— продолжал он.— Одним нравится одно, другим — другое. А вот коли кто другой, не из ихней братии, с голодухи перехватит у них для себя самую малость, а они поднимают вой — так это уж свинство. Ведь правила игры сочиняют они, а хочешь ты играть в нее или нет — тебя не спрашивают. Учти, я их нисколько не виню, может, мы с тобой на их месте поступали бы не лучше. Но мне-то за каким чертом соблюдать их правила? Господь бог создал этот мир для всех, и каждый должен иметь свою долю. А где твоя и моя доля? У нас ее отняли. Поэтому нам все позволено.

— Воровать нехорошо,— сказал Билби.

— Конечно, воровать нехорошо. Нехорошо, а вот все воруют. Вон там стоит парень у забора. Спроси его, откуда у него земля. Украл! По-твоему, я ворую, а я называю это возмещением. Ты, наверно, и не слыхивал про социализм?

— Слышал я про социалистов. В бога не верую, и совести у них нет.

— Не верь, чепуха это! Ведь половина социалистов — священники. То, что я тебе говорю, по сути, и есть социализм. Я и сам социалист. Я про социализм все насквозь знаю. Как же! Целых три недели я сам служил таким говоруном, которые против социалистов. Мне за это деньги платили. И уж я тебе верно говорю: нет на свете никакой собственности, все только воруют друг у дружки. Лорды, простой народ, судьи — все только и делают, что тащут друг у друга, да и стряпчие тоже не зевают. А ты мне будешь говорить, что воровать нехорошо. Выдумают тоже!

В голосе бродяги, в каждом его слове звучало такое презрение, что неустойчивый мальчишеский ум не выдержал...

В сельской лавочке они купили чаю и маргарина, бродяга очень быстро и ловко вскипятил чай в старой жестянке, и они жевали хлеб, щедро намазанный двумя унциями маргарина.

— Живем мы с тобой припеваючи,— с добольным видом заметил бродяга, насухо вытирая свою немудре-

ную кухонную утварь рваным рукавом рубашки.— Уж поверь моему нюху, спать мы с тобой сегодня будем в отличном стоге сена...

Но предчувствия эти не сбылись, ибо на пути их возник соблазн, и вместо того чтобы насладиться теплом и уютom звездной летней ночи, им суждено было страдать и каяться.

Завидев тенистую, обсаженную кустами тропинку, они свернули с проезжей дороги и побрели по ней. Эта извилистая тропинка привела их к поляне, разгороженной проволочными сетками на загоны, в которых важно расхаживали великолепные спесивые куры. Тут же расположился маленький домик и огород, а поодаль — несколько совсем новеньких аккуратных построек. Это явно была птицеводческая ферма, и бродяга тотчас же почему-то решил, что она пуста, что сейчас никого из ее обитателей нет дома.

Такие выводы возникают внезапно, сами собой, их подсказывает чутье. Бродяга это понимал, и ему непременно хотелось проверить, что же там делается, в домике. Правда, он предпочитал, чтобы на разведку пошел Билби. Ведь тут могут быть собаки, а Билби о таких вещах, пожалуй, не думает. И он предложил:

— Давай посмотрим, что к чему. Поди загляни в дом — любопытно, что там есть.

Но тут у них возникли кое-какие разногласия.

— Я же не заставляю тебя брать там что-нибудь,— убеждал бродяга.— И никто тебя не поймает. Говорю тебе, никто. Некому здесь тебя ловить. Просто так, из интереса, посмотри, что там есть. А я постою вон там, у сараев. И посторожу, не идет ли кто. Ты что, боишься пройти по дорожке? Я же говорю, я не заставляю тебя воровать. Да у тебя и духу-то не хватит взять, что плохо лежит. Я ж тут, рядом, не трусь. А я-то думал, ты подходящий парень для разведки! Коли бы ты не трусил, уж давно бы сходил. Ах, пойдешь? Что ж ты сразу не сказал?

Билби пролез сквозь кусты живой изгороди и побрел по тропинке мимо птичников, потом осторожно осмотрел сарай и направился к дому. Все кругом было тихо. Он подумал, что лучше подойти к двери, чем заглядывать в окно. Постучал. Ответа не последовало.

Билби чуть подождал, потом поднял щеколду, отворил дверь и заглянул в комнату. В ней было славно и уютно, а перед пустым по-летнему каминном в кресле, обитом ситцем, сидел очень древний, совсем седой старик. Казалось, он задумался о чем-то невеселом. Лицо у него было какое-то странное, серое, сморщенное, глаза закрыты, а костлявая рука, совсем белая, будто гипсовая, вцепилась в ручку кресла... Во всем облике старика было что-то такое, отчего Билби на мгновение замер.

А старик вел себя очень непонятно. Он вдруг весь как-то обмяк, руки соскользнули с ручек кресла и повисли, голова упала на грудь, глаза и рот одновременно раскрылись. Он как-то странно захрипел...

Секунду Билби стоял, как вкопанный, разинув рот от изумления, а потом ему ужасно захотелось поскорей очутиться рядом с бродягой, и он со всех ног помчался прочь мимо курятника.

Он постарался описать все, что видел.

— Спит с открытым ртом? — переспросил бродяга. — Подумаешь, дело какое! Ты мне другое скажи: ты что-нибудь прихватил там? Нет, видели вы когда-нибудь такого парня! Придется идти самому... А ты стой здесь и смотри в оба.

Но было в том старике что-то такое странное и непонятное... нет, Билби просто не мог остаться один в сгущающихся сумерках. И он двинулся к дому вслед за бродягой, стараясь идти так же медленно и осторожно, как тот. Остановившись за углом сарая, он видел, как бродяга открыл дверь дома и заглянул внутрь. Некоторое время он стоял так, что головы его не было видно. Потом вошел в дом.

Билби страстно захотелось, чтобы кто-нибудь пришел. Все его существо, смутно предчувствуя что-то страшное, взывало о помощи. И в ту же минуту помощь пришла. На тропинке, ведущей к дому, появилась высокая женщина в синем саржевом платье, с непокрытой головой. Она, видно, торопилась, в руке у нее был маленький пакетик, наверно, лекарство. Рядом трусила большая черная собака. Завидев Билби, собака залаяла и ринулась вперед, а Билби, мгновение помешкав, повернулся и бросился наутек.

Пес бежал быстро, но Билби оказался проворнее. Он перемахнул через проволочную сетку, и пес успел только щелкнуть зубами возле его пятки. И тут из дома пулей вылетел бродяга. Под мышкой у него была медная рабочая шкатулка, а в руках — подсвечник и еще какие-то мелкие предметы. Он не сразу увидел, в какой переплет попал Билби, — у него все мысли были направлены на то, как бы самому удрать от женщины, — и вдруг взвизгнул от ужаса, увидев, что очутился между женщиной и собакой. Он хотел было последовать примеру Билби, но было уже поздно. Шкатулка выскользнула из-под руки, посыпалась на землю и остальная добыча. Секунду бродяга кое-как висел на шаткой сетчатой ограде курятника, но она, не выдержав, провисла, и тут его настигла собака.

Пес цапнул грабителя, отскочил и, увидев перед собой сразу двоих, попятился. Билби и бродяга кое-как перевалились на дорожку по другую сторону упавшей проволочной сетки и почти уже достигли живой изгороди, когда пес снова кинулся на них, на этот раз, впрочем, не так яростно.

Он не подбежал к ним вплотную, а остановился у изгороди, и сумерки огласились его яростным лаем.

Женщина, видно, поспешила в дом, оставив на поле брани добычу, брошенную бродягой.

— Все-таки смылись, — выдохнул бродяга, мелко труся впереди.

Билби не оставалось ничего другого, как последовать за ним.

У него было такое чувство, словно весь мир ополчился на него. Он боялся сознаться самому себе, какие мысли пробуждаются в нем после этих насыщенных событиями десяти минут. Он смутно сознавал, что коснулся чего-то ужасного, — казалось, в сумерках со всех сторон раздаются обвиняющие голоса... Теперь он боялся бродяги и ненавидел его, но знал, что связан с ним какими-то новыми, пугающими узами. Что бы это ни было, оно касалось их обоих.

Они бежали в темноте, кажется, целую вечность. Но вот наконец, измученные, со стертymi ногами, они

прокрались в какие-то ворота и нашли хоть неудобное, но все же убежище в конце поля.

В пути они говорили мало, но бродяга все время что-то бормотал про себя. Он терзался тревогой; его укусила собака — а что, если она бешеная?

— Ясно, я заболею, — твердил он. — Не миновать.

Вскоре Билби перестал прислушиваться к бормотанию своего спутника. Его мысли были заняты другим. Из головы не выходил белый как лунь старик в кресле и его странное поведение.

— Он проснулся, когда вы там были? — наконец решился он спросить.

— Кто проснулся?

— Тот старик.

Бродяга секунду помолчал.

— Он не мог проснуться, дурачок, — сказал он.

— Но... почему же...

— Да разве ты ничего не понял? Он же загнулся... отдал концы — как раз в ту минуту, когда ты его увидел.

На мгновение Билби потерял дар речи. Потом еле слышно пролепетал:

— Так, по-вашему... он... умер?

— А ты и не знал? Батюшки, какой ты еще младенец!

Вот так Билби впервые в жизни увидел смерть. До этого дня ему не приходилось видеть покойников. И всю следующую ночь ему снился белый как лунь старик, он медленно открывал свои странные глаза, склонял голову набок и вдруг как-то нелепо раскрывал рот.

Всю ночь напролет эта белая фигура витала над морями беспросветных ужасов. Она не исчезала ни на секунду, и все же мальчика одолевали еще и другие мучительные мысли. В первый раз в жизни он спрашивал себя: «Куда я иду? К какому берегу меня несет течением?» Там, куда не простиралась тень старика, ему виделись только тюрьмы.

Да, конечно, он самый настоящий грабитель, и где-то во мраке ночи его уже ищут слуги оскорбленного закона. А оттого, что и бродяга тоже трусил, Билби становилось еще страшнее.

Он пытался сообразить, что ему делать утром. Он отчаянно боялся рассвета. Но как тут собраться с мыс-

лями, когда бродяга без конца ворчит и жалуется. Непременно нужно от него сбежать, но Билби так устал, так перепугался, где уж тут думать о побеге! Да и, кроме того, не оставлять же этому бродяге все свои деньги! И потом, ведь там, подальше, уже не слышно будет голоса бродяги; там простирается тьма, в которой сегодня уж наверно его подстерегают неведомые чудовища.

А может быть, искать защиты у закона? Признаться во всем? Говорят, бывает так: человек приходит и говорит: хочу дать показания...

Ночь была лунная, но страхи не исчезали. По небу то и дело, заслоняя луну, невероятно медленно ползли маленькие рваные черные облачка. Таких черных облаков Билби в жизни своей не видал. Они были точно гробовые покровы, подбитые белоснежным мехом, и тянулись нескончаемой вереницей. И вдруг одно из них медленно, страшно разинуло рот...

Иногда бродяга во сне неловко поворачивался и будил его; и тогда из темноты снова слышался голос: бродяга все жаловался на свою несчастную участь, уверял, что непременно умрет от водобоязни, и ругательски ругал всех сторожевых псов на свете.

— Я знаю, бешенства мне не миновать,— ныл он.— У меня всегда была склонность к водобоязни, всегда воду не выносил. А уж теперь мне крышка.

— Подумать только, держать такого зверя! И натравливать его на людей! А еще говорят, все люди — братья. Где же справедливость, где человечность? Натравливать этакое зверя на ближнего своего! Да еще зверь-то ядовитый,— как укусит, так помрешь. И смерть какая мучительная! Где же здравый смысл, где братские чувства?!

— Как он цапнул меня, как штаны прокусил, зубы острые... Ф-фу!

— Нужно такой закон сделать, чтоб не держать собак. В городах от них одно неудобство, а в деревнях они просто опасны. Нет, нельзя их держать ни в городе, ни в деревне... или уж сперва дайте каждому человеку есть досыта три раза в день. Тогда и держи собаку, коли охота... Да только собака чтоб была здоровая, не бешеная...

— ...А, чтоб тебе... если б только я не замешкался там, у курятника...

— ...Мне бы надо было пнуть ее ногой...

— ...Всякий человек обязан бить собаку. Как увидел собаку — вдарь ее! Ненавидеть собак — это правильно, это уж в крови. Коли они были бы звери разумные, правильно понимали бы свое место в жизни, ни одна ни в жизнь бы не посмела укусить человека.

— ...А коли укусила — пристрелить ее, и весь разговор.

— ...Ну уж теперь пусть только мне подвернется случай трахнуть собаку камнем — зевать не стану! Раньше-то я с ними больно церемонился...

Под утро Билби заснул беспокойным сном и проснулся оттого, что его, громко всхрапывая, с любопытством обнюхивали три бойких жеребенка. Он сел, жмурясь от ослепительного солнца, и увидел бродягу — невыразимо грязный, он спал, скорчившись, с широко раскрытым ртом, и на лице у него застыло выражение скорби и отчаяния.

В то же утро Билби ухитрился улизнуть — это произошло, когда бродяга изображал эпилептический припадок.

— Я бы не прочь устроить нынче припадок, — заявил он. — Нынче у меня бы неплохо получилось. Надо же, чтобы человеку хоть малость посочувствовали. После той проклятой собаки. Вот я скоро взбешусь, так и безо всякого мыла пойдет изо рта пена.

Они высмотрели маленький домик, перед которым хлопотал вокруг розовых кустов добродушного вида старичок в широкополой соломенной шляпе, в тонкой альпаговой куртке и в очках. Тогда они отошли в сторонку, чтобы подготовиться. Бродяга передал Билби один за другим различные компрометирующие предметы, которые могут смутить милосердных самаритян, чьи любопытные руки коснутся мнимого больного. Тут были: обмылок, от которого бродяга уже откусил краешек на свои первейшие нужды, деньги (девять пенсов), колода карт, которыми они недавно играли, два-три ключа, куски проволоки, широкий ассортимент бечевки, три

банки из-под консервов, большой кусок хлеба, огарок дрянной стеариновой свечки, коробка серных спичек, стоптанные шлепанцы, пара перчаток, складной нож и какие-то серые тряпки. Все это едко пахло бродягой.

— Не вздумай ударить с моим имуществом, — предостерег бродяга, — а то, клянусь богом... — И он полоснул себя пальцем по горлу.

(Дают же люди показания в суде!)

Отойдя на безопасное расстояние, Билби наблюдал за началом «припадка» и решил, что это отвратительное зрелище. Он увидел, как старичок поспешно подошел к забору и постоял с минуту, глядя поверх зеленой калитки на страдания бродяги с выражением глубокого, хотя и сдержанного сочувствия. Потом его, видно, осенила какая-то мысль, и он метнулся меж розовых кустов к домику и тотчас вернулся, неся большую лейку и громадный садовый опрыскиватель. Все еще стоя за калиткой и не пытаясь подойти ближе к страдальцу, он аккуратно и уверенно наполнил опрыскиватель...

Билби охотно поглядел бы, что будет дальше, но он понимал, что другой такой случай может и не подвернуться. Еще секунда — и будет поздно. Билби тихонько слез с перекадины, на которой сидел, и затрусил вдоль живой изгороди, точно спугнутая куропатка.

Он приостановился всего лишь на мгновение, когда со стороны домика донесся странный пронзительный вопль. А потом вновь подчинился своему неодолимому стремлению ударить.

Он отбежит на две-три мили от этого места, разыщет ближайший полицейский участок и отдаст себя в руки властей. (Слышны громкие голоса. Что это, бродяга убивает добродушного старичка в соломенной шляпе или добродушный старичок в соломенной шляпе — бродягу? Выяснить нет времени. Вперед, вперед!) В кармане гремели жестянки. Билби вытащил одну, постоял над ней в нерешительности, потом зашвырнул ее подальше, а за ней и две остальные...

Полицейский участок нашелся на дороге между Сампортом и Креймистером. Это был маленький, тихий деревенский участок, самый обыкновенный домик, зали-

тый солнцем; на нем красовалась синяя с белым вывеска и доска объявлений, увешанная запоздалыми приказами о запрещении воровать яйца фазанов. И еще одна бумага...

Вверху стояло одно слово: **РАЗЫСКИВАЕТСЯ**, дальше написано что-то помельче, а потом выведено опять очень крупно: **ПЯТЬ ФУНТОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ** — и, наконец, **АРТУР БИЛБИ**.

Он застыл на месте. Вот как быстро, как ужасающе быстро действует закон! Они уже узнали, что он залез в чужой дом, знали, что он заодно с бродягой бессовестно обокрал мертвеца. Сыщики уже идут по его следу. Совесть так уверенно говорила ему об этом, что его не разуверило даже не очень ясно составленное обещание награды, следовавшее за описанием его внешности. А между тем вознаграждение было обещано «всякому, кто вернет его леди Лэкстон, Шонтс, близ Челсама. Расходы будут возмещены».

Пока Билби читал этот страшный документ, дверь участка открылась и оттуда вышел очень рослый молодой и краснощекий полицейский и остановился на пороге, оглядывая все вокруг с дружелюбно самодовольным видом. У него были наивные, счастливые голубые глаза; ведь до сих пор ему больше приходилось трудиться по части поддержания порядка, нежели бороться с преступниками. Его пухлый рот, наверно, был бы по-ребячьи полуоткрыт, не будь на свете служебной дисциплины, — она уже наложила на него свой отпечаток, и теперь губы пытались сложиться с некоторой решительностью, что плохо вязалось с его простодушной физиономией. Он обвел глазами небо, далекие горы и кустики роз (часы досуга полицейские отдавали уходу за розами), и тут он увидел Билби...

Нерешительность сгубила куда больше людей, чем любые пороки. А когда ты проспал ночь кое-как, не имел во рту и маковой росинки и сам знаешь, что у тебя грязный и неприглядный вид, очень трудно решиться на отчаянный шаг. Ведь что хотел сделать Билби? Подойти к первому попавшемуся полицейскому и сказать ему просто и откровенно: «Я хочу сознаться. Я тоже залез в дом, где умер старик, это мы взяли шка-

тулку и удрали от женщины с собакой. Меня совратил плохой человек, а я совсем не хотел ничего этого делать. На самом деле это виноват он, а не я».

Но сейчас язык его прилип к гортани, он не мог заговорить, не мог заставить себя решиться. Душа у него ушла в пятки. Наверно, он заразился от бродяги органическим отвращением к полиции. И Билби сделал вид, что не замечает того, кто смотрит на него с порога. Он принял небрежную позу человека, который просто от нечего делать остановился почитать объявления. Он поднял брови — это должно было выражать равнодушие. Сложил губы, чтобы свистнуть, но свиста никакого не получилось. Он сунул руки в карманы, с трудом оторвал ноги от тротуара, словно выдернул из грядки сорную траву, и зашагал прочь.

Билби надеялся, что ускоряет шаг незаметно, понемногу. Оглянувшись, он увидел, что полицейский вышел из домика и читает то самое объявление. Читает и все поглядывает в сторону Билби, словно сравнивает приметку за приметой.

Билби еще ускорил шаг, а потом, очень стараясь изобразить простое мальчишеское легкомыслие, в котором, конечно же, нет ничего преступного, припустился рысью. Потом он снова перешел на шаг, притворяясь, что увидел что-то интересное в кустах живой изгороди, совсем остановился и краешком глаза покосился на молодого полицейского.

Полицейский приближался широким шагом; он явно спешил, но старался этого не показать.

Билби опять припустился рысцой, а потом, уже не таясь, побежал. Он удирал со всех ног.

Полицейский с самого начала не смотрел на это, как на погоню за преступником. Он скорее выслеживал чем охотился, потому что он был еще молод, робок и неопытен, и не хотел гнаться за мальчишкой, не имея на то приказа. Когда ему кто-нибудь попадался навстречу, он немного замедлял шаг и делал вид, что вовсе и не глядит в сторону Билби, а просто спешит по своим делам. После двух миль такой гонки он остановился, постоял некоторое время, глядя на кучу кормовой свеклы и следя краем глаза за тем, как удирает Билби; когда же тот совсем скрылся из виду, полицейский задумчиво повер-

нул назад и пошел туда, где ему положено находиться,— в участок.

В общем, он считал, что правильно сделал, не погнавшись за мальчишкой дальше: мог бы поставить себя в смешное положение.

И все же... Пять фунтов вознаграждения!

ГЛАВА VII

БИТВА ПРИ КРЕЙМИНСТЕРЕ

Билби начинал понимать, что сбежать со своего места и начать жить самостоятельно, на свой страх и риск, не так легко и просто, как ему показалось в первые дни, когда он кочевал с фургоном. У него объявились три преследователя: днем он боялся закона и бродяги, а в сумерки начинал отчаянно бояться темноты. И кроме того, сейчас еще мучительно сосало под ложечкой — дело было к вечеру, и он страшно проголодался. Днем он поспал немного в лесу, в густой траве. Если бы не голод, я думаю, он бы не пошел в Крейминстер.

Не доходя примерно с милю до этой деревушки, Билби снова увидел объявление «Разыскивается...», приклеенное на углу амбара. Он покосился на него и прошел было мимо, но потом вдруг, точно по вдохновению, вернулся и сорвал его. При свете дня его решимость выступить в суде с показаниями против бродяги заметно поколебалась. Он уже не был уверен, что стоит идти в полицию самому.

Ведь обычно, кажется, человека вызывают и просят дать показания,— так не лучше ли подождать, пока вызовут?

А вдруг они решат, что это он просто пришел с повинной?

Главная улица Крейминстера выглядела очень живописно и аппетитно. Где-то в середине ее разместился трактирчик «Белый Олень», стены его были сплошь заклеены афишами клуба велосипедистов, на белом крыльце стояли горшки с геранями. Сзади строился дом. Он был почти готов, оставалось только подвести его под крышу. По правую сторону улицы находилась бу-

лочная, оттуда восхитительно пахло булочками и пирожными, а по левую — маленькая кондитерская (через окно виднелись столики) с вывеской «Чай». Чай! Билби решился щедро потратить на себя кое-что из оставшихся девяти пенсов. Вполне возможно, что ему всего за пенни сварят яйцо. А с другой стороны, хорошо бы купить три или четыре булочки, мягкие, свежие булочки! Он нерешительно побрел к булочной, но вдруг остановился как вкопанный. В окне выставлено было все то же объявление!

Билби круто повернулся, вошел в кондитерскую и выбрал столик с белой скатертью. К нему подошла приветливая маленькая женщина в большом белом чепце. Принести чаю? Яйцо, толстый ломоть хлеба с маслом и чашка чая будут стоить пять пенсов. Он сел, почтительно ожидая, пока она все приготовит.

Но ему было не по себе.

Он прекрасно знал, что она будет его расспрашивать. Впрочем, к этому он был готов. Он сказал, что вообще-то живет в Лондоне, а сейчас идет пешком в Сампорт, чтобы не тратить деньги на проезд.

— Но ты такой грязный! — ужаснулась приветливая маленькая женщина.

— Я отправил свой багаж по почте, мэм, а потом заблудился и не получил его. Но я об этом не очень жалею, мэм, с вашего позволения. Стирать не нужно, и вообще..

Вот как здорово он все это рассказал, не придерешься! И все-таки... плохо, что в окне булочной через дорогу вывешено то объявление, да и вообще все время кажется, что кто-то за тобой следит, все время чего-то боишься. Вот, например, эта кондитерская: а вдруг это ловушка? И ему ужасно захотелось поскорее уйти из этих стен. Интересно, есть ли здесь черный ход, на случай если у дверей на улицу уже сторожит полицейский? Яйцо все еще варилось. Билби двинулся к двери, но сразу же увидел — на крыльце напротив стоит огромный жирный булочник и с вечерней безмятежностью взирает на мир. Билби тут же вернулся и вновь сел за свой столик. Интересно, заметил ли его булочник?

Билби быстро справился с яйцом и уже пил чай, причмокивая от удовольствия, как вдруг обнаружил, что

булочник и впрямь его заметил. Взгляд Билби, сначала бессмысленно устремленный поверх наклоненной чашки, вдруг привлекло какое-то движение в окне булочной. Со своего места он видел то ненавистное объявление, — и вот к объявлению медленно, ощупью потянулась рука в рукаве, перепачканном мукой. Объявление поднялось вверх и исчезло, и за стеклянной витриной с муляжами булочных изделий зашевелилось что-то розовое и расплывчатое. Это было лицо, и оно старательно всматривалось в окна маленькой кондитерской, что укрыла Билби...

У Билби екнуло сердце.

Потом мелькнула слабая надежда.

— Можно мне пройти через черный ход? — спросил он.

— Здесь нет черного хода, — сказала приветливая маленькая женщина. — Здесь только выход во двор.

— Можно мне... — попросил Билби и мигом очутился во дворе.

Никакого выхода! Со всех сторон двор окружали высокие стены. Билби влетел назад в кондитерскую, но булочник уже переходил улицу.

— Возьмите с меня пять пенсов, — и Билби протянул женщине шестипенсовую монету.

— Постой! — крикнула она. — Возьми пенс сдачи!

Билби ждать не стал. Он ринулся вон из дверей, но булочник загородил ему дорогу. Он растопырил непомерно длинные руки, и Билби жалобно вскрикнул, очутившись в ловушке. Но он знал, как из нее вырваться. Эта уловка и раньше его выручала, а уж на этот раз он собрал все силы. Он боднул булочника своей крепкой головой прямо под ложечку и в следующее мгновение уже мчался со всех ног по тихой солнечной улочке. Когда человек стоит прямо, живот у него — самое уязвимое место. У берберских пастухов в атласских горах есть пословица: человек, который, растопырив руки, идет на разъяренного барана, — глупец.

Билби казалось, что убежать будет нетрудно. Булочник сначала медленно опустился на тротуар, а потом долго сидел, задыхаясь и ловя ртом воздух, и пото-

му крикнуть не мог. Он только повторял громким шепотом:

— Держи его! Держи его!

Впереди были лишь трое строительных рабочих,— они сидели у стены недостроенного дома за «Белым Оленем» и потягивали из кружек чай. Но мальчишка, подстригавший кусты бирючины, что огораживали дом доктора, видел нападение на булочника и мигом издал крик, которого никак не мог выдать из себя булочник. И, тотчас соскочив с лесенки, пустился в погоню за Билби. Какой-то молодой человек, неизвестно откуда взявшийся — вероятно, из бакалейной лавки, — тоже кинулся догонять беглеца. Зато рабочие все еще не могли сообразить, в чем дело, и Билби легко миновал бы их. Но тут в конце улицы неожиданно появилась жалкая, но грозная для Билби фигура бродяги. Его пожелтевшая шляпа, которая недавно вымокла, а затем высохла на солнце, напоминала швабру. Казалось, вид Билби отвлек бродягу от каких-то неприятных размышлений. Он-то мгновенно понял, что происходит. Поправ мудрость берберских пастухов, он раскинул руки и остановился, преградив мальчишке путь.

Мозг Билби работал со скоростью сотни мыслей в минуту. Преследователи еще и опомниться не успели, а он уже метнулся в сторону, вскарабкался по приставной лесенке и очутился среди балок и стропил на крыше недостроенного дома.

— А ну, слезай оттуда! — крикнул десятник, который только теперь всерьез заинтересовался этой охотой.

Пока он переходил дорогу, Билби со злостью смотрел на него с крыши. А когда этот достойный человек полез наверх, ему в голову — вернее, в шляпу-котелок, — угодила черепица. Тут он замешкался, отклонился немного назад и взглянул на Билби.

Другой рабочий, помоложе, бросил в Билби камень с противоположного тротуара и метко попал ему в бок. Два других камня пролетели мимо, и Билби перебрался в более укрытое место, за печную трубу.

Однако теперь он уже не так хорошо видел лесенку, и ему труднее было защищаться от тех, кто ползет на крышу. Билби понял, что недолго здесь продержится.

А внизу говорили о нем.

— Кто он такой? — спрашивал десятник. — Откуда взялся?

— Подлый воришка, — ваявил бродяга. — Опаснейший субъект!

Тем временем к булочнику вернулся голос, и он тоже вставил словечко:

— За его поимку объявлено вознаграждение, и он ударил меня в живот.

— А какое вознаграждение? — поинтересовался десятник.

— Тот, кто его изловит, получит пять фунтов.

— Эй, ты! — повелительно закричал десятник бродяге. — Отойди-ка от лестницы...

Кем бы там ни был Билби, откуда бы он ни взялся, одно было совершенно ясно: он беглый. А страсть преследовать беглецов у людей в крови. Человек по природе своей — охотник, а стремление поступать по справедливости — черта, которая появилась в его сложной натуре сравнительно недавно, вот почему кто бы вы ни были и что бы ни делали, старайтесь, чтобы люди никогда не увидели вас бегущим. Процесс преследования уже сам по себе приводит их в восторг, а красный кафтан егеря и гончая могут взбудоражить целую деревню. Вот и сейчас Крейминстер внезапно ожил, точно яркое солнце и веселая музыка пробудили спящего. Люди высовывались из окон, выходили из лавочек; появился полицейский и выслушал нехитрую повесть булочника; бойкий молодой человек без шляпы, в белом фартуке и с карандашом за ухом, неожиданно приобрел вес в общественном мнении.

А Билби, выглядывающий из-за конька крыши, казался всем этим людям очень грязным и противным мальчишкой. Лишь в одном сердце теплилась к нему искра сочувствия, — то было сердце приветливой маленькой женщины в большом чепце, которая недавно кормила его завтраком. С порога своей лавочки она смотрела на крышу нового дома и от души надеялась, что Билби останется цел и невредим. Она все еще сжимала в руке оставшийся пенни, пряча его в кармане фартука; может быть, мальчик побежит мимо нее, тогда она поскорей сунет ему монетку.

Десятник непременно хотел сам влезть на крышу и поймать Билби и этим сильно задержал готовящуюся атаку. Он был крупный, большоголовый, светловолосый, с правильными чертами лица, с глубоким и приятным грудным голосом, держался очень прямо, и во всех его движениях сквозила уверенность в себе и сознание собственного достоинства. Едва он начал карабкаться по приставной лестнице, как люди толпой повалили к дому. Пришлось ему остановиться и втолковать своим рабочим, чтоб никого не подпускали. Он пытался обмозговать план операции; как бы ухитриться сделать так, чтобы люди преградили Билби путь к отступлению, а поймал бы его он один? Задача не из легких. Лоб его сморщился от усиленной работы мысли.

Тем временем Билби успел провести рекогносцировку и наметить пути отхода. Он наготовил себе кучку черепиц, чтобы отражать атаки с лестницы. А меж тем двое молодых рабочих доискивались: нельзя ли добраться до него изнутри дома? Настоящая лестница еще не готова, но как-нибудь вскарабкаться наверх можно. Они тоже слышали о вознаграждении и понимали, что надо поймать Билби раньше, чем десятник догадается об их замысле, и сознание этого несколько замедляло их действия. В карманах у них был запас снарядов — камней, на случай если дело опять дойдет до перестрелки.

А с Билби усталость и уныние как рукой сняло; волнения минуты вытеснили страх перед будущим, и в голове мелькнула гордая мысль: будь что будет, а все же ловко он придумал, что полез на крышу!

И если вдобавок ему удастся один прыжок, который он замышлял, то можно будет и еще кое-что придумать.

Внизу, на улице, собрались именитые жители деревни; немного оправившись от страха перед летевшими с крыши черепицами, они обсуждали, как быть с Билби. Среди них был Мамби — торговец сукном, вегетарианец, обладатель рокочущего баса и огромной черной бороды. Мамби ратовал за то, чтобы пустить в дело брандспойт. Он состоял в добровольной пожарной команде, и надевать пожарную каску было для него первейшим удовольствием. Он вышел из своей лавочки, как только услышал крики. Мясник Шокс и его сын уже были на улице. Двор Шокса, где высилась куча навоза

и соломы, примыкал к левой стене недостроенного дома. Из бильярдной «Белого Оленя» вышел Раймелл, ветеринар, и, склонив голову набок, наблюдал за Билби. Одновременно он умудрялся вразумительно отвечать булочнику, который засыпал его нелепыми, на его взгляд, вопросами. На улицу высыпали и все обитатели «Белого Оленя».

— А скажите, мистер Раймелл,— приставал к нему булочник,— у человека в животе вокруг желудка ведь много опасных мест?

— Там черепица, кирпичи,— невпопад ответил Раймелл.— Не хватает только, чтобы он начал всем этим швыряться!

— Послушайте, мистер Раймелл,— продолжал булочник, немного помолчав (он пытался осмыслить услышанное).— Если человека ударят в живот, ему могут там повредить что-нибудь?

Мистер Раймелл уставился на него непонимающими глазами.

— Скорее всего вам попадут в голову,— сказал он наконец и вдруг воскликнул:— Эй, что там этот олух плотник затеял?

Бродяга топтался позади осаждавших дом; он жаждал мести, но был в самом унылом расположении духа. Его привели в чувство после недавнего припадка, и старичок в широкополой шляпе даже дал ему шиллинг, но он страшно промок, все на нем было насквозь мокрое — рубашка, три жилета и пиджак,— потому что старик привел его в чувство верным, но малоприятным способом: без всякого предупреждения окатил холодной водой. Бродяга даже заплакал тогда от неожиданности и обиды. Сейчас, как он понимал, было бы не совсем разумно во всеуслышание заявить о своем знакомстве с Билби. Лучше, пожалуй, выждать. То, что он намерен сказать Билби, лучше сказать без свидетелей. Кроме того, он еще не совсем понял, о каком вознаграждении говорят эти люди.

Уж если вознаграждение объявлено за Билби...

— Недурной прием,— похвалил Раймелл, сразу изменив мнение о десятнике, когда тот снова начал подниматься по лестнице, держа над головой, точно щит, корытце для извести, какими пользуются строители. Он

поднимался с трудом и очень медленно, озабоченный тем, чтобы получше прикрыть голову. Но черепицы в него не полетели. Билби уже заметил, что внутри дома готовится куда более опасная атака, и поспешно отступал по другой стороне крыши.

Он спрыгнул на кучу соломы во дворе мясника — если бы не эта солома, прыжок мог бы кончиться для него печально, потому что высота была не меньше двенадцати футов. Он упал на четвереньки, и от сильного толчка у него на миг помутилось в голове. Но тут же вскочил на ноги и начал карабкаться по куче навоза на высокий каменный забор. Прежде чем хоть один из зевак перед недостроенным домом сообразил, что Билби удирает, он уже перемахнул через забор во двор к Макколуму. Но потом один из двоих рабочих, которые лезли на крышу изнутри, увидел его через продолговатое отверстие — будущее окно будущей спальни верхнего этажа — и поднял крик.

А полминуты спустя, когда Билби уже спрыгнул со стены, отделявшей дворик мясника от соседнего, на крыше появился десятник, все еще не выпускавший из рук свое корытце. Услышав крики, полицейский (до сих пор он по профессиональной привычке всех сдерживал и никого не подпускал к недостроенному дому) повернулся и выбежал на задний двор, сплошь заваленный кирпичом, известкой и щепками. Толпа на улице, сообразив, что дичь удрала и охраны больше нет, валом повалила во двор мясника: кто прямо через дом, кто кругом, через калитку.

Тем временем у Билби произошла заминка.

Он рассчитывал, что по крытой толем крыше сарая, где Макколум — портной и брючник — разводил грибы, он доберется до стены, которая выходит на клубничные грядки мистера Беншоу; однако с крыши ему не видна была ветхая застекленная пристройка, которую Макколум именовал своей мастерской и где в эту минуту прилежно трудились четверо полуодетых портных. Крыша сарая давно прогнила, и, как только Билби на нее ступил, она прорвалась, точно ветхая дерюга, и он рухнул прямо на грядки с грибами, сразу же вскочил и помчался прочь, оставляя за собой след из грибов, грибницы и удобрений; тут перед ним оказалась стена, высотой в де-

вать футов, и он чуть было не попал в лапы человечка в красных шлепанцах, который кинулся ему наперерез из мастерской. Но Билби ловко вспрыгнул на мусорный ящик и вовремя перемахнул через ограду, а портной в красных шлепанцах был не мастер лазить по стенам и остался внизу, пытаясь вскарабкаться на ограду,— это оказалось много труднее, чем он предполагал.

С минуту маленький портной пыхтел в одиночестве, а потом и владения Макколума, и двор мясника, и узкую полоску земли позади нового дома заполнила толпа деятельных граждан, которые жаждали изловить Билби. Кто-то — он так и не понял, кто именно — посадил портного, красные шлепанцы сверкнули над гребнем стены, и вот маленький портной уже мчится во главе погони по обширному огороду мистера Беншоу. Вслед за ним мчался его коллега — без воротничка, в стоптанных шлепанцах и пестрых подтяжках. За ним бежал полицейский, окончательно довершив разрушение грибных грядок, а за ним поспешал сам Макколум; ему не терпелось сейчас же обсудить с Билби этот ущерб, хотя место и время для этого были весьма неподходящие. Мистер Макколум запыхался, и ему никак не удавалось завязать столь желанный разговор. Уже несколько раз, едва представлялась возможность, он начинал: «Эй! Послушай!..» — но дальше этого дело не шло.

Остальные портные преспокойно взобрались на стену с помощью кухонной стремянки и спрыгнули вниз по другую сторону. За ними, пыхтя и отдуваясь, следовал мистер Шокс, а затем новый человеческий ручеек влился в огород через дыру в заборе позади строительной площадки. Здесь впереди всех бежал молодой рабочий, который первым заметил, что Билби удирает. По пятам за ним неслись ветеринар Раймелл, приказчик из бакалейной лавки, посыльный доктора и, уже не так резво, булочник. Потом бродяга. Потом Мамби и сын Шокса. И еще множество всякого народа.

Билби ловили всем миром, точно важного преступника.

Большоголовый десятник все еще торчал на крыше недостроенного дома; он был очень недоволен оборотом дела, и к солнечному, но равнодушному небу неслись его

вопли: он требовал львиной доли в вознаграждении, высказывал свое личное мнение о беглеце, и все это пережегалось самой обыкновенной бранью.

Мистер Беншоу был мелкий собственник, крепкий английский землевладелец, йомен нового склада. Он был ярый противник социалистов, человек самостоятельный и независимых взглядов. У него были неуклонно растущий банковский счет, некрасивая и вдобавок бесплодная жена, смуглый цвет лица и такая прямая осанка, что казалось — он всегда немножко наклоняется вперед. Ходил он обычно в каком-то сером охотничьем костюме и коричневых гетрах, только по воскресеньям надевал черный сюртук. Он имел склонность к котелкам, которые никак не шли к его широкому, насупленному, землистого цвета лицу. А вообще он был человек весьма основательный и здравомыслящий. И его головной убор только подчеркивал это. У мистера Беншоу не хватало времени следить за собой или хотя бы одеваться соответственно своему возрасту и положению. Он попросту шел в ближайший магазин и покупал там самую дешевую шляпу, а потому ему всегда доставались шляпы, явно предназначенные для людей молодых и ветреных, с легкомысленными тульями, кокетливыми бантами и соблазнительными полями, которые игриво загибаются, оттеняя румяные физиономии глупых юнцов. Такой котелок делал его суровое лицо похожим на лицо пуританина времен Стюартов.

Мистер Беншоу был скорее садовод, чем фермер. Когда-то в начале своей карьеры он снимал плохонький домишко, при котором был небольшой участок — тут он разводил ранний картофель и капусту, но прокормиться этим не мог, приходилось еще и служить; а потом пришел достаток. Он прикупил земли, действовал все энергичнее и разнообразнее. Теперь он выращивал весьма солидные количества клубники, малины, сельдерея, морской капусты, спаржи, раннего горошка, позднего горошка и лука, и на десять миль вокруг ни один фермер не свозил на свои поля столько конского навоза. Он уже начал отправлять в Лондон срезанные цветы. У него было уже пол-акра теплиц, и он быстро строил новые. Бла-

годаря жесткой экономии он сумел построить себе дом и впридачу невзрачный домишко для некоторых своих работников. Были у него и всякие самонужнейшие сараи и пристройки, сработанные главным образом из толя и рифленого железа. Дом его был обставлен весьма солидно, но даже по деревенским понятиям чересчур мрачно, а ведь в деревне легкомысленной мебели вообще не признают. В своей округе он уже считался кредитором по закладным. Но благоденствие не вскружило головы мистеру Беншоу, и притом он не забывал того, что он в высшей степени достойный человек и имеет право на особое почтение со стороны своей деревни, которую он своим простым, но неустанным трудом, конечно же, обогатил и осчастливил.

А между тем он полагал, что деревенские жители не очень-то внимательны к нему. И хуже всего то, что они не желают считаться с законом, который запрещает вторгаться в чужие владения. По его землям проходили три тропинки, одна из них вела к закрытой школе для мальчиков. И ему казалось чудовищно несправедливым, что он вынужден содержать именно эту дорожку в хорошем состоянии, ибо если этого не делать, мальчишки протаптывают параллельные тропки прямо по его насаждениям. Он засыпал ее шлаком, ацетиленовыми отходами — он считал и надеялся, что они чрезвычайно пагубно действуют на обувь, — и скользкой белой глиной, а в начале и в конце этой тропинки укрепил щиты с надписью: «Сходить с тропинки запрещается. Нарушители будут преследоваться по закону». В целях экономии он сам сделал эту надпись на щитах, когда простудился и лежал дома больной. Впрочем, тратить деньги на хорошую загородку было бы еще более несправедливо, думал он. Да и какая загородка была бы достаточно дешева, достаточно безобразна, причиняла бы достаточно боли и вообще оказалась бы достаточно отвратительной, чтобы выразить обуревавшие его чувства!

Каждый день мальчишки бегали в школу и обратно и подмечали: вот созревают и наливаются сладкими соками плоды его трудов, скоро их уже можно будет рвать. И еще люди бродили взад и вперед по этой тропинке среди его заботливо ухоженных насаждений, а мистер Беншоу был глубоко убежден, что людям честным

совершенно нечего там делать. И ходят они тут, конечно, только затем, чтобы его позлить, либо затем, чтобы нанести ему ущерб. Эти постоянные вторжения вызывали в мистере Беншоу тот издавна присущий нашему народу, праведный гнев против несправедливости, который больше чем что-либо другое сделал Америку и Англию такими, каковы они стали ныне. Один раз его уже ограбили: совершили налет на малинник,— и он был убежден, что это может повториться в любую минуту. Он обращался к местным властям, просил разрешить ему закрыть тропинки—но тщетно. Они отказали ему под жалким предлогом: детишкам, видите ли, чтобы попасть в школу, придется делать крюк в целую милю.

Но не только тропинки терзали мистера Беншоу и ущемляли чрезвычайно развитое у него чувство Личной Свободы. Владения его разрослись, а соседи вовсе не склонны были содержать свои заборы так, чтобы мистер Беншоу был совершенно удовлетворен. Кое-где он за свой счет укрепил эти хилые загородки легкой колючей проволокой, хотя по закону это обязаны были сделать соседи. Но эта колючая проволока была не совсем такая, как ему бы хотелось. Он искал такую, чтобы на ней были дополнительные шпоры, как у бойцовых петухов; такую, которая с наступлением темноты сама атаковала бы прохожих. Границы никто не уважал, это было еще хуже, чем тропинки, от которых страдали в конце концов только урожаи клубники на Кейдж Филдз.

Если не считать стен, отгораживающих двор и сад мистера Беншоу от участков Макколума и Шокса, вокруг его владений не было ни единого фута по-настоящему надежной загородки. С одной стороны проникали крысы, соседские собаки и кошки, которые разрывали землю, с другой — кролики. Кролики были совершенно невыносимы, а цена на проволочные сетки за последнее время подскочила чуть не на тридцать процентов.

Мистер Беншоу хотел как следует наказать кроликов — не просто убивать их, а убивать так, чтобы посеять страх смерти в их норах. Он хотел убивать их таким способом, чтобы оставшиеся в живых пушистые зверьки с белыми как привидение хвостиками в страхе прискакали бы домой и сказали: «Вот что, ребята, давайте-ка лучше

уберемся отсюда, пока целы. На нас ополчился Сильный Решительный Человек...»

Я так долго рассказывал вам, читатель, об экономических и моральных трудностях в жизни мистера Беншоу, чтобы вы поняли, сколь напряженной уже была обстановка в этой стороне Крейминстера. Необходимо было сделать это сейчас, ибо через несколько секунд такой возможности больше не будет. Я могу лишь наспех прибавить, что у мистера Беншоу были еще неприятности, когда однажды в сумерках он выстрелил из ружья, и град мелкой дроби обрушился на зонт и в корзину старой миссис Фробишер. И всего лишь неделю назад (дело слушалось больше часа, и имелись неопровержимые доказательства виновности обвиняемой) черствый судья не пожелал осудить Люси Мамби, одиннадцати лет, за кражу фруктов из садов мистера Беншоу. А ведь ее поймали с поличным...

В ту самую минуту, когда Билби боднул булочника в живот, мистер Беншоу как раз выходил из своего строго обставленного дома после здорового, но недорогого завтрака: чая с двумя холодными сосисками, оставшимися от вчерашнего ужина. Он озабоченно рассчитывал, дорого ли обойдется устрашающий черный забор, который наконец оградит его владения от дальнейших опустошительных набегов детворы. Забор нужно сделать, думал он, из грубо отесанных, просмоленных сосновых досок, о которые легко занозить руки, с заостренными верхушками, утыканными острыми гвоздями. Если при этом сузить тропинку до двух футов, прирежется еще полоска земли под посадки, а проходим прибавится неудобств, и это возместит ему первоначальные затраты.

Мистер Беншоу отнюдь не ограничивался подсчетом фунтов, шиллингов и пенсов; ему было необычайно приятно представить себе, какой скользкой эта тропинка будет зимой, а ведь деться с нее будет некуда,— забор не позволит. Он, по обыкновению, прихватил с собою мотыгу, рукоять которой была размечена на футы, так что этой мотыгой можно было не только выпалывать начальные сорняки, но и делать замеры. И вот сейчас он с ее помощью прикидывал, как вот в этом месте отрежет от протоптанной дорожки целых три фута, а вот тут — не меньше двух.

Погруженный в эти вычисления, он и не замечал, что из-за домов, выходящих фасадами на Хай-стрит, все громче и громче доносятся какие-то крики и шум. К нему это, по-видимому, не имело никакого отношения, а в чужие дела мистер Беншоу уже давно взял за правило не вмешиваться. Поэтому взор его был по-прежнему прикован к бугристой, пыльной, высушенной солнцем тропинке, которую он уже видел превращенной в источник устрашения и отчаяния мальчишек...

Но тут крики зазвучали совсем по-другому. Мистер Беншоу невольно обернулся и обнаружил, что вся эта суматоха все-таки имеет к нему отношение, и самое прямое. Тогда он гневно стиснул губы — ни дать, ни взять Кромвель! — и крепче сжал в руках мотыгу. Как они посмели! Неслыханная наглость!

В его владения буйно ворвалась какая-то бешеная орава.

Впереди всех бежал, неистово размахивая руками, маленький, чумазый мальчишка, бежал прямо по клубничным грядкам. Мистер Беншоу сразу понял, что мальчишка не один, что он лишь опередил остальных. Ярдов на тридцать отстал от него коротенький человечек в красных шлепанцах и в рубашке без воротничка, с засученными рукавами. Бежал он нагло, бесстыдно. А за ним мчался еще один сумасшедший, уже вовсе полураздетый, тоже в стоптанных шлепанцах и в подтяжках возмутительно легкомысленной расцветки. За ним — Уигс, полицейский, а по пятам полицейского — Макколум. Далее следовали другие обезумевшие портные и Шокс, мясник. Но тут еще более громкий клич возвестил о появлении главного войска. Мистер Беншоу обратил свой взор направо — а глаза у него уже начали наливаться кровью — и увидел, что сквозь дыру в ограде прямо на его поле рвется беспорядочная толпа. Тут были Раймелл (хорош друг, нечего сказать!), приказчик из бакалейной лавки, докторский мальчишка, еще какие-то незнакомые лица — и Мамби.

При виде Мамби мистера Беншоу осенила внезапная догадка. Он сразу все понял. Вся деревня ополчилась на него: верно, хотят утвердить какое-то новое дьявольское право ходить по чужой земле. Мамби! Конечно, это Мамби их всех подбил! Плоды пятнадцатилет-

него труда, все старания, весь с такими муками завоеванный достаток — все полетит к черту, все пойдет прахом, в угоду злобному, мстительному суконщику!

Потомок стойких, вольнолюбивых йоменов, мистер Беншоу, не колеблясь ни секунды, решил драться за свои права. Лишь один миг он помедлил, чтобы свистнуть в мощный полицейский свисток, который всегда носил в кармане, и тут же ринулся к ненавистному Мамби, вожаку всех нарушителей границ, родителю, сообщнику и укрывателю преступной Люси. Он застиг врасплох запыхавшегося от бега Мамби, и тот рухнул на землю, сраженный одним яростным ударом мотыги. С разбегу, едва не потеряв равновесие, мистер Беншоу снова взмахнул мотыгой, метя в голову мистеру Раймеллу, но не попал.

Полицейский свисток мистера Беншоу был частью глубоко продуманной кампании против нарушителей границ и похитителей фруктов. Он снабдил такими свистками всех своих помощников и установил строгое правило: при первой же пронзительной трели все они хватают любое оружие, какое попадет под руку, и кидаются ловить преступника. Все они мгновенно откликнулись на подобные сигналы тревоги, ибо, пожалуй, только эти сигналы и давали им передышку от тяжкого, изнурительного труда под началом столь же усердно трудившегося повелителя. Вот и сейчас, оживленные и радостные, эти люди мгновенно высыпали из сараев и теплиц, сбегались с дальних участков, полей и огородов, спеша на помощь своему воинственному хозяину.

И то обстоятельство, что они так спешили ему на помощь, ясно показывает, сколь дружественными были отношения между нанимателями и наемными рабочими в те дни, когда молодое поколение рабочих еще не успело уверовать в синдикализм.

Но прежде чем в драку ввязались помощники мистера Беншоу, произошло еще много событий. Во-первых, необычайное возбуждение охватило бродягу. Ему вдруг почудилось, что вот сейчас он может восстановить себя в правах гражданина, возвыситься в глазах общества. Перед ним грозно размахивал мотыгой человек, который явно пытался, неизвестно почему и за-

чем, прикрыть отступление Билби. Бродяге казалось, что весь мир на его стороне, против человека с мотыгой. Все непобедимые силы человеческого общества, с которыми столько лет сражался бродяга, силы, чью мощь он отлично знал и боялся ее, как может бояться только тот, кто стоит вне закона, вдруг оказались с ним заодно. Правее, по клубничным грядкам, бежал даже полицейский, стараясь догнать передовых, а за ним—торговец, судя по виду, из самых почтенных и уважаемых. Бродяга на мгновение увидел себя таким же почтенным и уважаемым человеком: он храбро ведет других уважаемых людей на бой с нарушителями закона! Он откинул со лба космы грязных прямых волос и, размахивая руками, с диким воплем кинулся наперерез мистеру Беншоу. Фалды его набитого всякой всячиной скюртука развевались по ветру. И тут в воздухе просвистела мотыга, и бродяга мешком рухнул на землю.

Но теперь мальчишке Шокса удалось сделать то, чего не успел сделать бродяга. Он уже давно потихоньку подбирался к мистеру Беншоу сзади и, когда мотыга опустилась, прыгнул на спину нашему герою и изо всех сил обхватил руками его шею; тот зашатался от неожиданного толчка — и оба свалились на землю, а Раймелл, привыкший управляться с быками и жеребцами, с таким же проворством схватил и вырвал из рук мистера Беншоу мотыгу и сцепился с ним чуть ли не прежде, чем тот упал. Первый из помощников мистера Беншоу, прибежавших на поле брани, увидел, что все уже кончено: хозяин прочно лежит на земле, а клубнику топчут все, кому не лень, широким кольцом окружив тех, кто пыхтя катается в драке по земле.

Мистер Мамби, не столько пострадавший, сколько перепуганный, уже сидел на грядке, но бродяга с кровавой раной на скуле лежал и скреб руками землю, и лицо его выражало безмерное изумление.

— Как вы смеете увечить людей своей мотыгой? — задыхаясь, выкрикнул мистер Раймелл.

— А вы как смеете топтать мою клубнику? — простонал мистер Беншоу.

— Да ведь мы гнались за тем мальчишкой.

— Сколько убытков! Десятки фунтов... Злой умысел... Это все Мамби!

Мистер Раймелл вдруг увидел все происшедшее в новом свете; он выпустил руки мистера Беншоу и приподнялся.

— Послушайте, мистер Беншоу, да вы, кажется, думаете, что мы просто взяли и вторглись в ваши владения?

Мистер Беншоу с трудом принял сидячее положение и не очень внятно, но гневно осведомился, как же еще можно назвать то, что произошло. Мальчишка Шокса поднял с земли шляпу с легкомысленно изогнутыми полями и молча, почтительно вручил ее садоводу.

— Мы вовсе не собирались врываться к вам, — объяснил мистер Раймелл. — Мы гнались за тем мальчишкой. Уж если хотите, это он вторгся в ваши владения... Да, кстати, где же он? Кто-нибудь его все-таки поймал?

При этом вопросе внимание всех присутствующих, прикованное перед тем к мистеру Беншоу и его мотыге, вновь обратилось на первопричину всех волнений. В дальнем конце поля, там, где сверкали под солнцем стекла раскинувшихся на пол-акра теплиц, маячил маленький портной — он уже в третий раз осторожно останавливался, чтобы подобрать сваливавшиеся с ног красные шлепанцы; да и как им не сваливаться на такой мягкой, рыхлой земле? Все, кроме него, давно забыли погоню ради мистера Беншоу, а Билби... Билби нигде не было видно. Его и след простыл.

— Что еще за мальчишка? — спросил мистер Беншоу.

— Да такой злобный звереныш, он тут огрызался и отбивался, как крыса. Бродил по округе и столько дел натворил — ужас! За него и вознаграждение обещано, целых пять фунтов.

— Лазил по садам? — испуганно спросил мистер Беншоу.

— Вот именно, — подхватил мистер Раймелл.

Мистер Беншоу медленно соображал. Взор его бродил по затоптанному, искалеченному кустикам клубники.

— А, чтоб тебе! — воскликнул он. — Вы только посмотрите на мою клубнику! — Голос его звучал все громче, все яростней. — А этот-то олух! Да он просто разлегся на ней! Это тот самый негодяй, что чуть было меня не убил!

— А здорово вы ему съездили по скуле! — ухмыльнулся Макколум.

Бродяга перекатился на другой бок, подминая под себя еще не тронутую клубнику, и жалобно застонал.

— Ему изрядно досталось,— сказал мистер Мамби.

Бродяга подергался немного и затих.

— Принесите воды!— приказал Раймелл, поднимаясь на ноги.

Услышав слово «вода», бродяга судорожно вздрогнул, перевернулся на живот и сел, ошалело моргая глазами.

— Не надо воды,— сказал он слабым голосом.—

Не надо больше воды.— И, поймав на себе взгляд мистера Беншоу, живо поднялся на ноги.

Все, кто лежал и сидел, начали подниматься с земли, и каждый старался осторожно сойти со смятой клубники, на которую ненароком наступил в пылу битвы.

— Вот кто набросился на меня первым! — провозгласил мистер Беншоу.— Что ему здесь нужно? Кто это?

— В самом деле, кто вы такой? И с какой стати вы бежали по этому полю? — спросил мистер Раймелл.

— Я только помогал,— объяснил бродяга.

— Хороша помощь! — буркнул мистер Беншоу.

— Я думал, мальчишка что-нибудь украл.

— Ну да, и поэтому вы накинулись на меня.

— Нет, что вы, сэр, я... я думал, вы ему помогаете удрать.

— Что бы вы там ни думали, убирайтесь-ка отсюда вон! — сказал мистер Беншоу.

— Да, да, убирайтесь! — подхватил мистер Раймелл.

— Выход здесь,— продолжал мистер Беншоу.— Тут вам делать нечего. И чем скорее мы от вас избавимся, тем лучше для всех нас. Вот тропинка, и не вздумайте с нее сходить.

И бродяга удалился, обуреваемый острым чувством отверженности.

— Какие убытки! На десятки фунтов! — возмущался мистер Беншоу.— Разорение, да и только! Нет, вы только взгляните вон на те ягоды. Они не годятся теперь даже на джем! И все из-за какого-то паршивого мальчишки!

В глазах мистера Беншоу сверкнул злобный огонек.

— Ну, ничего, предоставьте его мне и моим молодцам. Если он спрятался между сараями, мы с ним за

все рассчитаемся. А вам всем хватит топтать мои ягоды. Так вы говорите, он лазает по садам?

— Такие, как он, летом только тем и кормятся,— вставил мистер Мамби.

— Знаю я их,— добавил мистер Беншоу.— А собирать фрукты их не затащишь ни на один день.

— За него уже объявлена награда, пять фунтов,— сказал булочник.

Теперь вы видите, как самые гуманные побуждения могут иногда принести совершенно обратные результаты; во всяком случае, самые благие намерения леди Лэкстон, обещавшей вознаградить того, кто вернет ей Билби, послужили ему только во вред. Вышло все наоборот: вместо того, чтобы выручить мальчика, она невольно помогла превратить его в запуганного и загнанного зверька. Хотя это было совершенно нелепо и невозможно, Билби был твердо убежден, что за него обещали вознаграждение и гонятся за ним только потому, что он забрался в дом на той ферме, и если его схватят, то сразу посадят в тюрьму, будут судить и сурово накажут. Теперь им владела одна мысль: удрать! Но отчаянная гонка по землям мистера Беншоу совсем измучила его, надо было где-то укрыться и немного отдохнуть, прежде чем двинуться дальше, хотя оставаться здесь было опасно. В самом глухом уголке огорода, за теплицами, он увидел заброшенный сарай и, согнувшись в три погибели, пробрался туда вдоль живой изгороди, никем не замеченный. Сарай, в сущности, не был заброшен — в хозяйстве мистера Беншоу ничего не пропадало зря,— а просто завален всякими кольями и подпорками, банками из-под удобрений, сломанными тачками и приставными лесенками, ожидающими ремонта, кое-как обструганными досками и запасными рулонами толя для крыш. У задней стенки сарая стояло несколько дверей, снятых с петель, и вот сюда-то осторожно протиснулся Билби, и замер, радуясь хоть такой передышке от погони.

Он дождется сумерек, а потом выберется задом на луга и пойдет... куда? Он и сам не знал. Теперь он уже никому не доверял в этом огромном и чужом мире.

Внезапно его охватила острая тоска по чистенькому, уютному домику садовника в Шонтсе. Как это, в сущности, получилось, что он оттуда ушел?

Надо было получше стараться в Шонтсе.

Надо было хорошенько слушать, что ему говорят, а не кидаться с вилкой на Томаса. Тогда он сейчас не был бы вором, за которым гонятся и за голову которого объявлена награда в пять фунтов стерлингов, а в кармане не лежали бы всего лишь три пенса, да колода засаленных карт, да коробка серных спичек и еще всякие предосудительные предметы, к тому же вовсе ему не принадлежащие.

Если бы можно было начать все сначала!

Такие здравые мысли одолевали Билби до тех пор, пока наступающие сумерки не напомнили ему, что пора отправляться в путь.

Он тихонько выбрался из своего убежища и расправил руки и ноги — они совсем затекли оттого, что он боялся шевельнуться, — и уже хотел осмотреть путь от двери сарая, как вдруг снаружи послышались крадущиеся шаги.

С быстротой ящерицы он юркнул назад, в свой тайник. Шаги затихли. Кто-то невидимый долго стоял, не двигаясь, будто прислушивался. Быть может, он слышал Билби?

Потом этот кто-то пошарил по стене сарая, ощупью отыскал дверь, она отворилась, и все замерло: незнакомец медлил на пороге, опасно озираясь.

Наконец он ввалился в сарай, волоча ноги, и тяжело опустился на кучу рогож.

— А, черт! — послышался голос.

Голос бродяги!

— Не мальчишка, а сущее наказание! — бормотал бродяга. — Вот свиненок!

После этого сравнительно кроткого вступления он еще добрых две минуты честил Билби на все лады. Впервые в жизни Билби узнал, какое неблагоприятное впечатление он может произвести на ближнего своего.

— Даже спички унес! — горестно воскликнул бродяга и еще некоторое время разрабатывал эту тему. — Сначала тот старый дурак со своим опрыскивателем... — В при-

ступе ярости бродяга заговорил громче:— Под самым его носом умираешь от эпилепсии, а он окатывает тебя холодной водой! Умнее не придумал! Холодной водой! Да ведь эдак и убить человека недолго. А потом еще говорит, что хотел мне помочь! Хороша помощь! Скажи спасибо, что я не разбил твою дурацкую рожу! Старый ублюдок! Кто же это согласится, чтобы его за один шиллинг окатили водой, да так, что хоть выжимай! Я ж промок насквозь! Нитки сухой не осталось. А тут еще этот проклятый мальчишка дал стрекача...

— И что это теперь пошли за мальчишки! — укоризненно продолжал бродяга.— А все новомодные закрытые школы. Прибрал к рукам все, что мог, да и был таков. Тьфу ты! Ну, попадись он мне только, уж я его проучу. Я ему...

Некоторое время бродяга упивался планами будущей мести, вдаваясь подчас в чисто хирургические подробности.

— И еще та собака... Кто его знает, чем это кончится? Но уж если я взбешусь, то черт меня побери, если я их всех не перекусаю! Водобоязнь... Визжишь истошным голосом, изо рта пена. Нечего сказать, приятная смерть для человека, да еще в расцвете сил! Буду лаять, как собака... Лаять и кусаться...

— Вот он, ваш мир,— продолжал он.— Ткнете человека в эту яму и еще хотите, чтобы он был счастлив...

— А хорошо бы укусить того обормота в дурацкой шляпе! Я бы с удовольствием. Конечно, потом пришлось бы плевать, но уж клочок мяса я бы у него выдрал. Подумаешь, размахался своей мотыгой! Убирайся, мол, отсюда! Вот тебе тропинка! Сволочь! Засадить бы тебя куда следует!

— Где же справедливость? — взывал бродяга.— Какой в этом смысл, и какое у них право? Что я такого сделал, чтобы меня всегда топтали ногами? И почему мне всегда так не везет? Да куда ни глянь, всюду найдутся и похуже меня люди, а ведь как живут!.. Судьи всякие... Отъявленные мерзавцы. Священники и другие прочие... Читал я в газетах про ваши делишки...

— А кто козлы отпущения? Мы, бродяги. Кому-нибудь приходится страдать, чтобы полиция могла выставлять напоказ свою храбрость... Черт! Ну, погоди-

те, я еще вам покажу... Я еще покажу. Доведете вы меня... Говорят вам...

Он вдруг умолк и прислушался. Билби неосторожно шевельнулся, скрипнула доска.

— А, черт, ничего не поделаешь! — снова заговорил бродяга после долгого молчания.

И, продолжая бормотать что-то невнятное, принялся ощупью готовить себе ложе на ночь.

— Выгонят и отсюда, я уж знаю, — бормотал он. — А ведь нежатся на пуховиках всякие, кто мне и в подметки не годится... Да, в самые дрянные подметки...

Последовавший за этим час Билби провел в мучительном, напряженном ожидании.

Прошло, казалось, бесконечно много времени, и вдруг он заметил три тоненьких лучика света. Он уставился на них с каким-то недоумением и ужасом, но тут же сообразил, что это сквозь щели в досках проникает лунный свет.

Бродяга метался и что-то бормотал во сне.

И вдруг... Шаги?

Да, сомнения нет. Шаги.

И голоса.

По краю поля, осторожно ступая, шли люди и тихонько переговаривались.

— Уф! — произнес бродяга, чуть слышно прибавил: — Это еще что? — И опасно затих.

Билби чуть не оглох от стука собственного сердца.

Люди подошли уже к самому сараю.

— Сюда он не полезет, — слышался голос мистера Беншоу. — Не посмеет. Во всяком случае, проверим сначала теплицы. Если только я его замечу, тут же влеплю ему полный заряд овса. Удрать он не мог, его бы поймали на дороге...

Шаги удалились.

Из угла, где засел бродяга, раздался осторожный шорох, потом слышно было, как он мягко зашлепал босыми ногами к двери сарая. Сперва он никак не мог ее отворить, затем рывком приоткрыл немного — и полоса лунного света ворвалась сквозь щель и протянулась по полу сарая.

Билби бесшумно приподнялся и вытягивал шею до тех пор, пока не увидел неясное темное пятно — спину бродяги, высунувшего голову наружу.

— А ну... — шепнул бродяга и открыл дверь пошире. Потом пригнул голову и по-заячьи метнулся прочь, оставив дверь открытой.

Не побежать ли за ним? Билби уже сделал несколько шагов, но тут же отпрянул: из дальнего конца сада послышался крик.

— Вот он удирает! — кричал кто-то. — Вон там, у изгороди!

— Берегись, Джим!

Бац! Короткий вопль.

— Отойди! У меня есть еще заряд!

Бац!

Недолгая тишина — и вновь шаги приближаются к сараю.

— Теперь будет знать, — сказал мистер Беншоу. — Первым я ему здорово всыпал, да и второй, кажется, задел его немного. Плохо было видно, но раз он зарорал — значит, попало. Будет меня помнить, уж поверьте моему слову. Для этих охотников до чужих фруктов заряд овса — лучшее лекарство. Закрой-ка сарай, Джим. Вот он где прятался...

Прошла еще целая вечность, пока Билби решился вылезти в летнюю лунную ночь, и чувствовал он себя очень маленьким, жалким и отверженным Билби.

Только теперь он начал понимать, что значит стать отщепенцем, которого уже не ограждают законы и обычаи человеческого общества. У него больше не было близких, не было друзей, он остался совсем один...

Ему стало так жаль себя, что он чуть не всхлипнул, но вовремя сдержался.

Может быть, в конце концов еще не так поздно? Кое-где в окнах еще светились огни, и ему выпала честь увидеть, как неторопливо, с достоинством готовился отойти ко сну мистер Беншоу. Он надел фланелевую ночную сорочку и, прежде чем потушить свечу, долго читал молитву. Но тут Билби испуганно повернулся и кинулся прочь через изгородь, — где-то залаяла собака.

Вначале в Крейминстере светилось с десятков окон. Потом одно за другим они стали гаснуть. Билби

долго со страстной надеждой вглядывался в последнее светлое окно, но в конце концов и оно, мигнув, погасло. Тут он чуть не заплакал. Потом спустился на болотистые луга у реки, но вода уж очень жутко кружилась воронками в неверном свете луны, да еще он вдруг заметил, что над призрачными травами, шагах в сорока от него, возвышается неподвижная фигура огромной белой лошади; и он поспешно ушел оттуда, пересек шоссе и побрел вверх по склону холма, к садовым участкам, — там куда уютнее, там множество сараев, найдется где приклонить голову.

Где-то совсем близко, в живой изгороди, пронзительно вскричал крольчонок и точно захлебнулся. Отчего бы это? Потом словно коротенькая змейка быстрым зигзагом вильнула в траве...

Потом ему почудилось, что за ним, прячась в кустах смородины, бесшумно крадется бродяга. Не сразу он понял, что это ему просто померещилось...

А потом уже никто за ним не гнался, совсем никто. Пустота, бездна окружила его... Бесплотная, безликая, бесформенная — в ночи людей часто преследуют злые духи...

Каким холодным и враждебным может быть лунный свет! Точно чей-то неотступный взгляд подстерегает тебя...

Хорошо бы прислониться к чему-нибудь крепкому, надежному... Вон у того сарая свалена куча соломы для скота. Билби сел на нее и привалился спиной к прочным просмоленным доскам — тут уж хоть никто не подкрадется к тебе сзади. Ну, теперь только ни за что не закрывать глаза...

Это была бы гибель...

Он проснулся от веселого птичьего гомона, когда было уже совсем светло.

И все началось снова — бегство и погоня.

Поднявшись на холм за Крейминстером, Билби увидел человека, который стоял, опершись на лопату, и глядел ему вслед, а когда Билби потом еще раз обернулся, человек уже шел за ним. Вот что наделали пять фунтов, которые посулила за Билби леди Лэкстон!

Он уже почти готов был сдаться и покончить со всем этим, но ведь в тюрьме так страшно — каменные стены, темнота... Нет, надо попробовать еще один, последний раз. И Билби двинулся по краю поля, потом пересек его, продрался сквозь кусты дрока и очутился на обсаженной дроком дорожке, бегущей по густо заросшему холму. Он с трудом спустился по крутому склону. У подножия холма, не замечая Билби и не обращая ни на что никакого внимания, сидел человек. Опустив голову и яросто сжимая кулаки, он громко чертыхался. В одной руке у него была скомканная карта графства. Рядом стоял мотоцикл.

— Черт поberi! — крикнул человек, швырнул карту на землю и в бешенстве пнул ее ногой.

Билби поскользнулся, невольно сбежал вниз с холма и скатился на дорогу всего в нескольких шагах от бело-розовых щек и сердитых глаз капитана Дугласа. Увидев капитана, Билби понял, что и тот его узнал, и хлопнулся наземь, — он понял, что уж тут-то ему пришел конец...

Он появился как раз вовремя, чтобы прервать неудержимый и достойный всяческого порицания приступ отчаяния у капитана.

Капитан воображал, что приступ этот тайный. Он считал, что он здесь совсем один и никто его не видит и не слышит. Поэтому он и дал себе волю, кричал и топал ногами, чтобы разрядить нервное напряжение, выносить которое он был уже не в силах.

Попросту говоря, капитан был по уши влюблен в Мадлен. Влюблен безумно, сверх всякой меры, установленной для этой опасной страсти утонченными и добродетельными людьми. Первобытный дикарь, что таится в очень многих из нас, явно взял в нем верх. Его любовь не была ни деликатной, ни изящной; это была пылкая, неистовая любовь. Он жаждал быть с Мадлен, с ней, и только с ней, он жаждал один владеть ею и чтобы никто другой к ней даже подойти не смел. Он так пылал, что в эту минуту ничто в мире больше его не занимало, — важно было лишь то, что помогает или мешает осуществлению его желаний. Несмотря на огонь,

бушевавший в крови, он заставил себя покинуть Мадлен и пуститься в погоню за Билби, но теперь горько раскаивался в своей решимости. Он надеялся поймать Билби в одну ночь и с торжеством привести его в гостиницу. Но Билби оказалось не так-то легко поймать. А она осталась там, далеко, оскорбленная, разгневанная, брошенная!

— Растяпа в любви, трус на войне! Бог ты мой, я сбежал от всего и от всех! Сначала сбежал с маневров, потом удрал от нее. Тот, кто изменчив, как вода, никогда не сможет победить... Вода! На что мне сдался этот проклятый мальчишка! На кой он мне черт?

— А она там. Одна. И, конечно, начнет флиртовать... разумеется. И поделом мне. Сам во всем виноват. Выдались считанные дни, когда мы могли наконец побыть вместе, а я бросил ее одну. Болван, растяпа, трус несчастный! Еще и карту взял с собой!

Капитан умолк, чтобы перевести дух.

— Черта с два я найду этого поросенка по такой карте! — снова закричал капитан. — А ведь два раза я чуть было его не поймал.

— Ни решительности, ни хватки! Грош цена такому солдату. Грош мне цена, если случай сам лезет мне в руки, а я не умею им воспользоваться. Надо было бежать за мальчишкой еще прошлой ночью, когда тот дурак палил в него овсом. Тогда еще можно было его догнать...

— Бросить все к чертям! Наплевать на все. Бежать к ней. Стать на колени, целовать ее, заставить все забыть и простить!

— Воображаю, как она меня теперь примет!

Капитан яростно подхватил и стиснул в руке смятую под ногами карту.

И вдруг с неба свалился Билби, прямо к его ногам, растрепанный, весь перепачканный землей, но Билби, собственной персоной.

— Силы небесные! — закричал капитан и вскочил на ноги, сжимая в руке карту, точно рукоять мяча. — Что тебе нужно?

Мгновение Билби являл собой молчаливое страдание.

— У-у-у, есть хочу-у-у! — вырвалось у него наконец, и он заревел в голос.

— Да ты не Билби ли? — И капитан схватил его за плечо.

— Они за мной гонятся! — рыдал Билби. — Если поймут, засадят в тюрьму, а там совсем есть не дают. А это вовсе и не я, я не виноват, я ничего не ел со вчерашнего дня...

Капитан мигом принял решение. Довольно колебаний! План ясен. Надо действовать стремительно, как разящий меч.

— Ну-ка! Прыгай в седло позади меня! — скомандовал он. — Да держись крепче!

В эти минуты в капитане проснулись прямо-таки наполеоновские быстрота и натиск. Когда человек, гнавшийся за Билби, добрался до кустов, ограждавших нижнюю дорогу, тут не было ни Билби, ни капитана — ничего и никого, только в дорожной пыли валялась смятая, изорванная карта, в воздухе еще носился легкий запах бензина да издали долетал слабый стук мотора, словно где-то работала жнейка... А мотоцикл уже мчался за милю от этого места по дороге в Бекинстоун. Восемь миль, восемь довольно тошнотворных миль до Бекинстоуна Билби проделал за одиннадцать минут; и здесь, в маленьком кафе, он получил наконец завтрак — яичницу с ветчиной и самый лучший мармелад! Он воспрянул духом, а капитан между тем совершил набег на велосипедную мастерскую и нанял подержанный, но вполне удобный прицеп, сплетенный из проволоки. И — в Лондон, по утреннему солнцу, прочь от бродяг, преследователей, полицейских, от объявлений о поимке и награде, от булочников, садоводов, прочь от ночных страхов — все это осталось позади на дороге и отодвигалось все дальше и дальше, таяло и мельчало и наконец совсем кануло в вечность...

Капитан удостоил его всего лишь нескольких слов объяснения.

— Не бойся, — сказал он твердо. — Ничего не бойся. Просто расскажи им начистоту все как было, что ты делал, как ты в это впутался, и как выпутался, и как все это случилось.

— Вы повезете меня к судье, сэр?

- Я повезу тебя к самому лорду-канцлеру.
- И тогда они мне ничего не сделают?
- Никто ничего тебе не сделает, Билби. Ты положишься на меня. Все уладится, только говори чистую правду.

Ехать в прицепе было довольно тряско, зато очень интересно. Если держаться обеими руками и сидеть прямо, никуда не сползая, то, в общем, ничего страшного не происходит, да и, кроме того, тебя ведь пристегивают ремнем. И — летишь! Все по сторонам так и мелькает. Капитан обгонял всех на дороге и только басовито гудел своим огромным гудком, если ему казалось, что кто-нибудь может загородить им путь. А что до кражи на ферме и всего прочего, то это наверняка уладится...

Капитан тоже был в восторге от этого путешествия в Лондон. По крайней мере он теперь больше не топчется на месте, а явно приближается к цели. Он сможет наконец вернуться к Мадлен — а он всей душой жаждал вернуться — не с пустыми руками, он сможет похвастать своими успехами. Во-первых, он нашел мальчику, Во-вторых, он поедет напрямик к дорогому дядюшке Чикни, а дядюшка Чикни, конечно, сразу же все уладит с лордом Магериджем: мальчишка расскажет все, как было, Магеридж убедится, что Дуглас не виноват, и все опять будет хорошо. Сегодня же вечером он будет возле Мадлен. Он вернется, она увидит, как мудро и энергично он действовал, поднимет свое прелестное личико, и улыбнется своей прелестной улыбкой, и протянет ему руку для поцелуя, а радужные блики света будут играть на ее сильной, нежной шее...

Они с шумом проносились мимо бесконечных пастбищ и лугов в четких рамках зеленых изгородей, мимо лесов и фруктовых садов, мимо уютных придорожных гостиниц и сонных деревень, мимо оград и сторожек загородных поместий.

Поместий становилось все больше, и вскоре мотоцикл промчался по окраине какого-то городка; и снова дорога, еще и еще деревни, и вот уже наконец заметно, что Лондон близко: дома стоят теснее, чаще попадаются гостиницы, замелькали афиши, объявления, фонари, покрылся асфальтом тротуар; проехали газовый завод, прачечные, целый квартал пригородных

вилл, пригородный вокзал, наконец, старый городок, давно превратившийся в предместье столицы,— а вот и омнибус и первая трамвайная станция; потянулись городские парки, пестреющие досками объявлений, появилась широкая мостовая, какая-то широкая площадь, окаймленная рядами магазинов...

Лондон.

ГЛАВА VIII

КАК БИЛБИ ВСЕ РАЗЪЯСНИЛ

Лорд Чикни был ненамного старше лорда Магериджа, но сохранился далеко не так хорошо. Он плохо слышал, хоть и не признавался в этом, а потеря нескольких зубов делала его речь довольно невнятной. Из этого можно было бы сделать общий вывод, что стряпчие духовно и физически сохраняются куда лучше, чем солдаты. Армия старит человека сильнее, чем право или философия; она куда меньше защищает его от микробов, которые подрывают и совсем губят здоровье,— и тщательней ограждает от благодатной и животворной привычки мыслить.

Стряпчий должен знать назубок все законы и идти в ногу со временем, иначе ему тотчас намекнут, что пора в отставку; генерал же и понятия не имеет, что он невежда и отстал от века, пока не разразится катастрофа. После великолепного отступления от Бонди Сатина в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году и пятинедельной обороны Бэрроугеста (со всеми последующими операциями) лорд Чикни так и не имел случая проявить свои таланты. Но подкупающая простота в обращении и высокая сутуловатая фигура поседевшего в боях ветерана придавали ему живописность и внушали уважение, а его длинные седые усы привлекали внимание на всяких официальных сборищах, и его узнавали, не замечая деятелей гораздо более достойных. Любители автографов его просто обожали. Каждое утро он не менее получаса посвящал автографам, проникнутым патристическими чувствами, и так к этому привык, что по воскресеньям, когда лондонская почта не работает и вообще заниматься чем-нибудь грешно, он заполнял время тем, что переписывал проповеди и евангелие на день. На вся-

ческих приемах и собраниях он любил быть на виду и по возможности при всех регалиях. Помимо автографов, он еще трудился (и нередко часами) на ниве патриотизма и исправления нравственности и состоял в различных обществах, преимущественно в таких, что боролись против социализма в любом его виде, и в таких, которые стремились оградить трудящийся люд и в особенности трудящихся девушек от соблазнов, подстерегающих на каждом шагу тех, кому нечем заполнить свой досуг. Лорда Чикни одолевал темный ужас перед социализмом, в котором, на его взгляд, смешались во едино безбожие, республиканизм, порок, плесень, корь и все самые чудовищные проявления распущенности, отличающие развратный континент.

Он писал для всех этих обществ и вообще трудился в поте лица на их благо, но из-за отсутствия зубов не мог выступать с речами. Ибо у него была — увы! — одна маленькая слабость: столько раз смотревший в лицо смерти, он так и не решился остаться наедине с зубным врачом. Одна мысль о зубном враче приводила его в такой же безмерный ужас, как мысль о социализме. Но он очень горевал, что не может высказать свои взгляды вслух.

Лорд Чикни был бездетный вдовец и в личной жизни человек безупречный. К старости он убедил себя, что некогда был страстно влюблен в свою кузину Сьюзен, которая вышла замуж за этого шалолая Дугласа; ни ее, ни Дугласа уже не было в живых, но генерал сохранил трогательную привязанность к их двум сыновьям — юношам скорее резвым, нежели благонамеренным. Он называл их племянниками, неизменно проявлял к ним нежную любовь и в конце концов сделался их признанным дядюшкой. Он радовался, когда они приезжали к нему со своими бедами, и любил показываться с ними на людях. Братья Дугласы относились к нему с доверием и уважением, но всегда чувствовали себя немножко виноватыми перед ним: ведь их ответные чувства были куда слабее, чем он заслуживал. Но что поделаешь — в любви всегда есть доля неравенства.

Генерал от души обрадовался, когда получил от менее беспутного из двух талантливых племянничков телеграм-

му, гласящую: «Остро необходим ваш совет. Надеюсь изложить свои затруднения лично сегодня двенадцать».

Лорд Чикни, естественно, пришел к выводу, что мальчик попал в беду из-за своей несчастной страсти к Мадлен Филипс, и был польщен доверием юноши. Он решил проявить деликатность, но в то же время и мудрую осмотрительность, быть благородным, — конечно же благородным! — но терпеливо и твердо попытаться их разлучить. Он даже позабыл о своей обычной утренней работе и, шагая взад и вперед по просторному кабинету, повторял про себя коротенькие изречения, которые могут пригодиться в предстоящем разговоре. Наверно, мальчик будет очень волноваться. Сам немного взволнованный, он потреплет племянника по плечу и скажет: «Я понимаю, мой мальчик, я все понимаю. Не забывай, я ведь и сам когда-то был молод».

Он будет растроган и полон сочувствия, но главное — надо всегда оставаться светским человеком. «Есть вещи совершенно невозможные, мой мальчик, вещи, которых свет никогда тебе не простит. Жена солдата должна быть женой солдата, и только... Твой долг — служить королю, а не... не какой-нибудь знаменитости. Конечно, она прелестна, я этого не отрицаю, но пусть уж она будет прелестна на афишах... Не кажется ли тебе... не лучше ли... Ведь есть же на свете какая-нибудь девушка, милая, чистая, нежная, как лесная фиалка, свежая, как утренняя заря... Она ждет тебя. Понимаешь, юная, скромная, робкая, а не... как бы тебе сказать... не светская женщина. Она очень хороша, это верно, но... и очень опытна. Привыкла к вниманию публики. Дорогой мой мальчик, я знал твою мать, когда она была милой, нежной девушкой, чистой, как росинка. Ах, я никогда ее не забуду. Все эти годы, мой мальчик... Нет, ничего... Это тяжело...».

И пока лорд Чикни придумывал эти фразы, его мужественные старческие голубые глаза наполнились слезами. Он шагал по комнате, бормотал их беззубым ртом сквозь длинные усы и для вящей убедительности размахивал руками.

Если уж мысль лорда Чикни начинала работать в одном определенном направлении, заставить ее переменить направление было очень трудно. Помимо путани-

цы, обычно царившей у него в голове, этому, без сомнения, способствовала и глухота, которую он тщательно скрывал и всячески отрицал. До некоторых голос истины доносился, даже когда она говорит шепотом, но лорд Чикни ничего не слышал без криков и тычков. А Дуглас попал к нему, когда старик уже заканчивал обед. Кроме того, капитан никогда не умел выражать свои мысли ясно и четко, на американский манер, а имел привычку ронять отрывистые фразы, да еще недостаточно громким голосом.

— Расскажи мне все, мой мальчик,— начал лорд Чикни.— Все как есть. Не извиняйся за свой костюм. Я понимаю. Мчался на мотоцикле и не успел переодеться. А ты завтракал, Эрик?

— Я Алан, дядюшка. Эрик — мой брат.

— А я называл Аланом его... Ну расскажи мне все. Что с тобой случилось? Что ты намерен делать? Изложи обстановку. Сказать по правде, меня уже давно беспокоит эта история.

— А я и не знал, что вы о ней уже слышали, дядюшка. Неужели он уже начал говорить об этом? Во всяком случае, значит, вы понимаете всю неловкость моего положения. Говорят, если старик разойдется, он может быть очень зол и мстителен, а на меня он разозлился ужасно... Просто взбесился.

Лорд Чикни почти не слушал племянника. Он в это время сам говорил:

— Я не знал, что тут замешан еще и другой мужчина. Это осложняет дело, скандал будет громче. Старик, говоришь ты? А кто такой?

Оба умолкли одновременно.

— Ты всегда так невнятно говоришь,— пожаловался лорд Чикни.— Так кто это?

— Я думал, вы поняли. Лорд Магеридж.

— Лорд... лорд Магеридж! Но, дорогой мой! Как же это?

— Я думал, вы поняли, дядюшка.

— Но ведь не думает же он на ней жениться! Вздор, не может быть! Да ему же не меньше шестидесяти!

С минуту капитан Дуглас смотрел на генерала глазами, полными отчаяния. Потом подошел ближе, возвысил голос и заговорил медленнее и отчетливей:

— Мне кажется, вы не совсем понимаете, в чем дело, дядюшка. Я говорю об этой истории в Шонтсе, в прошлое воскресенье.

— Дорогой мой мальчик, прежде всего вовсе не за чем так кричать. Перестань только мямлить и проглатывать окончания слов... и постарайся объяснить мне все толком и подряд. Кто такой Шонтс? Какой-нибудь пэр из либералов? Я, кажется, где-то слышал это имя...

— Дядюшка, Шонтс — это имение Лэкстонов; ну вы же знаете — Люси...

— Крошка Люси? Помню, как же. На затылке такая масса локонов. Вышла замуж за молочника. Но при чем здесь она, Алан? Что-то уж очень все запутывается... Но в том-то и беда с этими проклятыми любовными историями — чем дальше, тем сложнее, как спутанный клубок.

Пускаясь на обман впервые,
Сплетаем сети роковые...

А теперь, значит, ты взялся за ум и хочешь из этой истории выпутаться?

Капитан Дуглас весь побагровел, он изо всех сил старался не потерять самообладание и при этом говорить предельно ясно и понятно. Его бросило в жар, волосы сбились, как пакля, и на лбу мелкими каплями выступил пот.

— В прошлую субботу и воскресенье я был в Шонтсе, — сказал он наконец. — Там был и лорд Магеридж. Он почему-то вбил себе в голову, что я над ним насмехаюсь.

— Ну и правильно, мой мальчик, раз он вздумал волочиться за девицами. В его-то годы! Чего же еще он мог ожидать?

— Он не волочился.

— Это уж тонкости. Тонкости. Ладно... продолжай.

— Он вбил себе в голову, что я избрал его мишенью для скверных шуток. Спутал меня с Эриком. В общем, получился огромный скандал. Мне пришлось уехать, другого выхода не было. Он обвинил меня во всех смертных грехах...

Капитан Дуглас вдруг умолк. Дядюшка больше не слушал, просто не обращал на него никакого внимания.

Разговаривая, они подошли к окну, и теперь генерал с живейшим интересом разглядывал стоящий у крыльца мотоцикл и сидящего в прицепе Билби, и взгляд у него становился все более многозначительным и понимающим. Капитан оставил мальчишку в прицепе, и он послушно сидел там и терпеливо ждал следующего шага своего покровителя, который избавит его наконец от страшного обвинения в краже со взломом. Вид у него был усталый и потрепанный, прицеп тоже был потрепанный да еще и старый, и оба они выглядели очень странно рядом с блестящим новеньким мотоциклом. Их вид привлек внимание рослого полицейского; он остановился в сторонке и задумчиво взирал на эту картину, пытаясь понять, что значит это странное сочетание. Билби на полицейского не смотрел. Он свято верил в капитана Дугласа и был убежден, что очень скоро избавится от ужасных воспоминаний о мертвом старике и о своем коротком и невольном пребывании в преступном мире; однако пока он еще не находил в себе мужества посмотреть полицейскому прямо в глаза, чтобы заставить его отвернуться...

Полицейский почти совсем загородил Билби от стоящих у окна...

В простых сердцах не иссякает романтика. Ни годам, ни привычкам не истребить полета романтической фантазии. Как бы мы ни старались, фантазия, точно ракета, вырывается из сетей унылой благонамеренности, опрокидывает самые трезвые и разумные планы светского человека и с треском взмывает ввысь, прочь от покоя и безопасности. Так случилось и со старым генералом. Для него исчезло все, кроме зрелища, открывшегося его глазам за окном. Мир вдруг засверкал ошеломляющим и восхитительным предчувствием необычайного. Старик весь вспыхнул истинно романтическим волнением. Он схватил племянника за руку. Он указывал пальцем. Его землистые щеки порозовели.

— Неужели это... известная нам леди... переодетая мальчиком? — спросил он, чуть не дрожа от восторга и восхищения.

Тут капитан Дуглас ясно понял, что если он хочет все-таки сегодня попасть к лорду Магериджу,

то надо сейчас же прибрать дядюшку к рукам. Уже не пытаюсь делать вид, что говорит тихо, он заорал во всю глотку:

— Это мальчик! Это мой свидетель. Очень важно отвезти его к Магериджу, чтобы он рассказал, как было дело.

— Что рассказал? — изумился старый воин, пощипывая усы и все еще глядя на Билби с подозрением...

Прошло ровно полчаса, прежде чем удалось убедить лорда Чикни поднять телефонную трубку, но даже и тогда он весьма смутно представлял себе суть дела. Капитан Дуглас растолковал ему почти все, что произошло, но генерал никак не мог примириться с мыслью, что все это не имеет никакого отношения к Мадлен. Капитан снова и снова объяснял ему, что она тут совершенно ни при чем, но генерал всякий раз с самым понимающим и благожелательным видом хлопал его по плечу и повторял:

— Я понимаю, мой мальчик, я все прекрасно понимаю. Порядочный человек никогда не выдаст женщину. *Ни в коем случае!*

Наконец они двинулись в путь, как в тумане — речь идет о состоянии умов, ибо солнце в тот день ослепительно сияло; но на Порт-стрит мотор мотоцикла слегка закапризничал, и коляска генерала первой прибыла на Тенби Литл-стрит, так что у него было добрых пять минут, чтобы тактично и осторожно подготовить лорда-канцлера к появлению на сцене мотоцикла с прицепом...

В то утро Кэндлер особенно тщательно упаковывал вещи для воскресного отдыха в Талливер Эбби. После катастрофы в Шонтсе хозяин приехал усталый, явно постаревший и невероятно злой; и теперь Кэндлер надеялся, что Талливер Эбби поможет ему прийти в себя. Только бы ничего не забыть; все от начала до конца должно идти как по маслу, без сучка, без задоринки, иначе милорд, пожалуй, еще возненавидит подобные поездки, а для Кэндлера они были отличным отдыхом и приятным разнообразием, особенно в томительные дни парламентских сессий. Дом в Талливер Эбби был настолько же хорош, насколько плох Шонтс; леди Чексам-

мингтон железной рукой в бархатной перчатке управляла штатом на редкость вышколенной прислуги. Кроме того, там соберутся сливки общества,— может быть, мистер Ившем, чета Луперс, леди Частен, Андреас Дориа и мистер Пернамбуко — все люди великие, мягкие и обходительные, и каждый — чистейший бриллиант в своем роде: среди них лорд Магеридж будет чувствовать себя спокойно и уверенно, ум его будет бодр и деятелен, и ничто не нарушит там его душевного равновесия. И сейчас Кэндлер изо всех сил старался запихнуть необходимые хозяину книги и бумаги в чемодан или в маленький саквояж. А то лорд-канцлер привык в последнюю минуту все хватать и таскать под мышкой, и из-за этого приходится всегда быть начеку и ухитряться куда-то все-таки засунуть все вещи, а это всегда стоит и хозяину и слуге немалого напряжения и волнения.

Лорд Магеридж встал в половине одиннадцатого — накануне он поздно засиделся за оживленным спором в обществе последователей Аристотеля — и съел только легкий завтрак: отбивную котлету и кофе. Потом что-то разозлило его, что-то из утренней почты. Кэндлер не мог понять, что это было, но подозревал, что новый памфлет доктора Шиллера. Отбивная тут была ни при чем, лорду Магериджу всегда удивительно везло с отбивными. Кэндлер после завтрака просмотрел все конверты и письма, но не нашел в них никакого объяснения, а потом заметил в корзине для бумаг разорванный номер журнала «Майнд».

— Я как раз выходил из комнаты,— сказал Кэндлер, осторожно разглядывая журнал.— Наверно, это все-таки, Шиллер...

Но на сей раз Кэндлер ошибся. Лорда-канцлера взволновала грубая и неуважительная статья об Абсолюте, написанная одним из ученых мужей Кембриджа в той легкомысленно-шутливой манере, которая, как поветрие, распространилась теперь среди современных философов.

«Даже по признанию лорда Магериджа, Абсолют не что иное, как явно маслянистая субстанция, равномерно распределенная в пространстве» и так далее, и тому подобное.

Отвратительно!

Лорд Магеридж с юных лет целеустремленно выработывал в себе незаурядное самообладание. И теперь он властно взял себя в руки и силой принудил разгоряченный мозг погрузиться в размышления об одном деле, решение по которому он отложил, хотя судебное разбирательство уже закончилось. Поезд уходил с Паддингтонского вокзала в три тридцать пять, а в два часа он курил сигару после умеренного обеда и просматривал свои заметки по готовящемуся решению. Тут-то и раздался телефонный звонок, и вошедший Кэндлер доложил, что лорд Чикни просит позволения повидать лорда-канцлера по не очень важному делу.

— Не очень важному? — переспросил лорд Магеридж.

— По не очень важному делу, милорд.

— Не очень? Не очень важному?

— Его светлость теперь несколько шамкает, милорд, с тех пор как он лишился боковых зубов, — объяснил Кэндлер. — Но я понял его именно так.

— Ваши извинительно-утвердительные фразы всегда раздражают меня, Кэндлер, — бросил лорд Магеридж через плечо. Потом обернулся и прибавил: — Дела бывают важные и неважные. Либо одно, либо другое. Пора бы вам научиться толком передавать... когда вас просят передать что-нибудь по телефону. Но, кажется, я требую от вас слишком многого... Пожалуйста, объясните ему, что мы через час уезжаем, и... спросите его все же, Кэндлер, какое у него ко мне дело.

Кэндлер вскоре вернулся.

— Насколько мне удалось понять, милорд, его светлость, кажется, хочет что-то уладить, что-то вам объяснить, милорд. Он говорит, что произошло какое-то маленькое недоразумение.

— Все эти уменьшительные только убивают смысл, Кэндлер. Сказал ли он вам, какого рода... какого рода маленькое недоразумение он имеет в виду?

— Он сказал что-то... прошу прощения, милорд, но он сказал, что это насчет Шонтса, милорд.

— В таком случае я не желаю об этом слышать, — отрезал лорд Магеридж.

Наступило молчание. Лорд-канцлер демонстративно вновь погрузился в свои бумаги, но дворецкий все не уходил.

— Прошу прощения, милорд, но я не уверен, что именно мне следует ответить его светлости, милорд.

— Скажите ему... да просто скажите ему, что я никогда в жизни не желаю больше слышать о Шонтсе. Коротко и ясно.

Кэндлер еще помедлил в нерешительности и вышел, тщательно притворив за собой дверь, чтобы до ушей хозяина не донеслись нотки неуверенности в его голосе, когда он будет передавать это поручение лорду Чикни.

Лорд Магеридж, повторяю, отличался редкостным самообладанием,— он всегда умел полностью отбросить ненужные мысли, начисто выкинуть их из головы. Через несколько секунд он совершенно забыл о Шонтсе и спокойно делал серебряным карандашиком пометки на полях проекта решения по интересовавшему его делу.

Вдруг он заметил, что Кэндлер вновь появился в кабинете.

— Его светлость лорд Чикни настаивает, милорд. Он звонил уже дважды, милорд. Он говорит теперь, что дело касается лично его. Что бы там ни было, он желает поговорить с вашей светлостью хотя бы две минуты. По телефону, милорд, он не соизволил ничего больше добавить.

Лорд Магеридж задумался над окурком своей уже третьей после обеда сигары. Слуга молча следил за левой бровью хозяина,— так инженер неотрывно наблюдает за манометром. Нет, признаков близкого взрыва не было.

— Пусть приезжает,— сказал наконец его светлость.— Но вот что, Кэндлер...

— Да, милорд?

— Сложите все вещи и чемоданы в холле, на видном месте. Переоденьтесь, чтобы сразу бросалось в глаза, что вы одной ногой уже на вокзале. Словом, будьте готовы, явно готовы к отъезду.

И лорд Магеридж снова сосредоточился на бумагах.

Вскоре явился и лорд Чикни. Старый генерал дважды совершил кругосветное путешествие, повидал много диких народов, насмотрелся удивительных обычаев и нелепейших предрассудков, причем неизменно презирал их, но сам так до конца и не отделался от взглядов и убеждений провинциального дворянина, в которых он был воспитан. Он свято верил, что между людьми первого сорта — такими, как он, — и выскочками из низов — вроде Магериджа, сына певчего из Экзетера, — существует непреодолимая духовная преграда. Он ничуть не сомневался, что эти люди ниоткуда питают глубочайшее уважение к настоящим дворянам — таким, как он, жаждут общения с ними и счастливы, когда их замечают; поэтому при встречах с лордом Магериджем он никак не мог скрыть легкую снисходительность...

Войдя, он приветствовал «милейшего лорда Магериджа», с чувством пожал ему руку и задал несколько любезных вопросов о его младшем брате и о семействе, словно приехал с благотворительным визитом.

— А, я вижу, вы отправляетесь на воскресный отдых, — заметил он.

На все эти любезности лорд Магеридж ответил невнятным бурчанием и едва заметным движением бровей.

— Вы, кажется, хотели посоветоваться со мной по делу? — напомнил он. — По какому-то не очень важному делу?

— Да, — ответил лорд Чикни, потирая подбородок. — Да. Да, совершенно верно, безделица, небольшая неприятность...

— Не терпящая промедления?

— Да. Да, именно. Небольшое осложнение, не совсем обычный случай, знаете ли. — Старый солдат говорил почти вкрадчиво. — Один из тех трудных пустяков, когда невольно приходится помнить, что ты человек светский. Маленькое осложнение, связанное с одной леди, известной нам обоим. Но ведь нужно иногда и уступить, пойти навстречу друг другу. У юноши есть свидетель. Дело обстоит совсем не так, как вам кажется.

Что касается дамского пола, то тут у лорда-канцлера совесть была чиста; он вытащил часы... выразительно взглянул на них. И уже не выпускал из рук до конца разговора.

— Должен признаться, что совершенно не догадываюсь... Не будете ли вы добры, как-нибудь... попроще. О чем, собственно, речь?

— Видите ли, я знал еще его мать,— ответил лорд Чикни.— В сущности...— Он вдруг стал до сумасбродства откровенен.— Если бы мне тогда улыбнулось счастье—поймите меня правильно, Магеридж, я не имею в виду ничего дурного,— он бы мог быть моим сыном. И я люблю его, как сына...

Когда в комнату наконец вошел капитан Дуглас, слегка разгоряченный стычкой с мотором,— Билби он оставил в прихожей на попечение Кэндлера,— он сразу увидел, что почва подготовлена из рук вон плохо.

— Еще одну минуточку, дорогой мой Алан! — воскликнул лорд Чикни.

Но лорд-канцлер, видно, был иного мнения: он сжимал в руке часы, и брови его метались, как молнии.

— У меня нет больше ни минуты,— сказал он, обращаясь к капитану.— Что означает вся эта... вся эта белиберда насчет чадолюбия? Зачем вы ко мне явились? Меня ждет карета. Все эти леди и свидетели... В чем наконец дело?

— Все очень просто, милорд. Вам кажется, что в Шонтсе я разыгрывал над вами какие-то шутки. Ничего подобного. У меня есть свидетель. Это нападение на вас внизу, шум у вас в комнате...

— Кто мне поручится, что это правда?

— Мальчик буфетчика из Шонтса. Ваш слуга его знает, он видел его в буфетной. Он натворил бед — навредил вам и мне — и убежал. Я только что его поймал. Не успел даже перекинуться с ним и двумя десятками слов. Задайте ему пяток вопросов, и все станет на свое место. И вы убедитесь — я питаю к вам одно лишь глубочайшее уважение.

Лорд Магеридж поджал губы и остался непреклонен.

— Прибавьте к этому волнение старого человека. Старого солдата,— вставил лорд Чикни.— Мальчик не имел в виду ничего дурного.

С грубостью вконец измученного человека лорд-канцлер отмахнулся от старого генерала.

— Уф! — вздохнул он. — Уф! Ну, ладно, даю вам одну минуту, — сказал он капитану Дугласу. — Где ваш свидетель?

Капитан открыл дверь. И пред очами двух великих людей предстал Билби.

— Рассказывай, да поживее, — приказал капитан.

— Говори все как есть! — прикрикнул лорд-канцлер. — Да мигом!

Он так рывкнул «мигом», что Билби даже подскочил.

— Рассказывай, — вставил генерал более мягко. — Рассказывай, не бойся.

Билби чуть помолчал, собираясь с духом, и начал:

— Ну вот... Это он мне велел так сделать. Он сказал — иди-ка туда...

Капитан хотел было вмешаться, но лорд-канцлер остановил его величественным взмахом руки, — сжимавшей часы.

— Он тебе велел! — сказал он. — Я так и знал. Теперь скажи: он велел тебе войти и натворить там все, что можно?

— Да, сэр, — горестно ответил Билби. — Только я не сделал старому джентльмену ничего плохого.

— Но кто же тебе велел? — завопил капитан. — Кто?

Лорд Магеридж уничтожил его одним взмахом руки и бровей. Его указующий перст словно гипнотизировал Билби.

— Изволь только отвечать на вопросы. У меня есть еще ровно полминуты. Итак, он велел тебе войти. Он заставил тебя войти. А ты при первой же возможности убежал?

— Я просто удрал.

— Довольно! А вы, сэр, как вы посмели явиться сюда, даже не придумав правдоподобной сказки? Как вы посмели после безобразного балагана в Шонтсе явиться ко мне с новым шутовством? Как вы решились на эту последнюю, дикую проделку — вы, очевидно, считаете ее веселой забавой? Да еще втянули в нее вашего доблестного и почтенного дядюшку? Вы, верно, и этого несчастного мальчика заставили выучить какую-нибудь хитроумную выдумку. Вам, видно, никогда не приходилось сталкиваться с лжесвидетелями, — они теряются при пер-

вом же вопросе. Ваш не успел даже начать свою живую историю! Он по крайней мере сразу понял разницу между моими и вашими моральными устоями. Кэндлер! Кэндлер!

Появился Кэндлер.

— Эти... эти джентльмены уходят. У вас все готово?

— Карета у дверей, милорд. Та, что обычно.

Капитан Дуглас сделал последнюю отчаянную попытку.

— Сэр! — взмолился он. — Милорд!

Лорд-канцлер повернулся к нему, стараясь придать своему лицу спокойное выражение, но брови его так и ходили ходуном, точно столбы черного дыма на ветру.

— Капитан Дуглас, — сказал он. — Вы, вероятно, не отдаете себе отчета в том, как дороги время и терпение должностного лица, занимающего такое положение, как я. Конечно, для вас весь мир — лишь огромная канва, на которой вы вышиваете узоры своих... своих милых шуточек. Но жизнь не такова. Она реальна. Она серьезна. Вы вправе посмеяться над простодушием старого человека, но то, что я говорю вам, — суровая правда. Поверьте, цель жизни — вовсе не комический эффект. А вы, сэр, вы представляетесь мне невыносимо глупым, дерзким, никчемным молодым человеком. Дерзким. Никчемным. И глупым.

Во время этой тирады Кэндлер подал ему дорожный плащ — чудо красоты и элегантности, — и последние слова лорд-канцлер произнес, выпятив грудь колесом, так как Кэндлер в это время помогал ему надеть плащ в рукава.

— Милорд! — вновь воскликнул капитан Дуглас, но решимость уже покидала его.

— Нет! — сказал лорд-канцлер и угрожающе наклонился вперед, пока Кэндлер обдергивал сзади полы его куртки и поправлял воротник плаща.

— Дядюшка! — взмолился капитан Дуглас.

— Нет, — коротко, по-солдатски отрезал генерал и отвернулся, сделав поворот точно на девяносто градусов. — Ты даже не представляешь себе, как ты меня оскорбил, Алан. Не можешь себе даже представить... Вот уж не думал, не гадал... И это потомок Дугласов!

Лжесвидетельство и оскорбление... Простите, дорогой Магеридж, мне бесконечно стыдно.

— Я вполне понимаю, вы пали жертвой так же, как и я. Вполне понимаю. Очередная дурацкая выходка. Прошу извинить, но я спешу.

— Ах ты дурень! — сказал капитан и шагнул к растерянному, испуганно отпрянувшему Билби. — Ты, безмозглый врунишка! Что ж ты это выдумал?

— Ничего я не выдумал!

И тут совершенно отчаявшийся Дуглас вдруг вспомнил Мадлен, прелестную, неотразимую Мадлен. Он рисковал потерять ее, он ее унизил и оскорбил и вот совсем запутался. Он поставил себя в непостижимо дурацкое положение и чуть было не накинулся с кулаками на грязного, глупого мальчишку, да еще в присутствии дядюшки и лорда-канцлера. Мир теперь для него потерян, и потерян весьма бесславно. И она тоже потеряна. Может быть, как раз в эту минуту, когда он продолжает делать глупости, она уже пытается утешить свою оскорбленную гордость?

Нет, самое главное, самое важное в жизни — любовь. Тот, кто ставит перед собой слишком много целей, только попусту растратит себя и никогда ничего не добьется. И его охватила твердая решимость немедленно прекратить и забыть всю эту дурацкую историю с Билби. Он уже не думал о своей репутации, о приличиях, о негодовании лорда Магериджа и добрых намерениях дядюшки Чикни.

Капитан повернулся и кинулся прочь из комнаты. Он совершил чудо акробатики, чтобы не наскочить на чемодан лорда-канцлера, как на грех поставленный младшим лакеем между дверьми, пересек широкий, величественный холл и через секунду уже запустил мотор своего мотоцикла и вскочил в седло. Лицо его выражало яростную решимость. Он проскочил под самыми мордами лошадей, запряженных в коляску леди Бич-Мандарин; сделав головокружительный зигзаг, ухитрился не перевернуть тележку торговца рыбой и изрядно попортил величественную осанку мистера Помграната, пулей проскочив у него перед самым носом, когда этот великий антрепренер переходил улицу, по обыкновению не глядя по сторонам; с треском и грохотом, подпрыгивая по мосто-

вой, мотоцикл свернул за угол, торопясь вернуть седока к очаровательной, неотразимой женщине, чье влияние оказалось так пагубно для карьеры капитана Дугласа...

Не помня себя от ярости, капитан мчался прочь из Лондона, подвергая всех встречных и поперечных серьезной опасности. Сторонний наблюдатель заметил бы только его порозовевшие щеки и сосредоточенный взгляд, но в душе капитана бушевала буря — он осыпал кощунственными проклятиями весь белый свет, не щадя и самого себя. И в довершение всех несчастий, когда он пересекал открытый прохладный луг, то у самого столба с надписью «До Лондона тринадцать миль» задний баллон мотоцикла вдруг с оглушительным треском лопнул.

У каждого из нас бывает в жизни критическая минута, поворотный пункт; и нередко начинается он взрывом, внезапным пробуждением в ночи, вспышкой молнии на пути в Дамаск — знамением и предвестником того нового, что ждет впереди. Безудержный порыв — еще не решимость. Эта неистовая гонка вовсе не означала, что капитаном завладело одно стремление, что все его душевные силы сосредоточились на единой цели. Это была, в сущности, не жажда достичь цели, а скорее бегство, бегство от самого себя, от разлада с самим собой. И вдруг — остановка!..

Сначала он попробовал сам кое-как починить баллон, но тот заупрямился; тогда капитан отпустил в пространство несколько крепких слов по адресу неведомого собеседника и отправился было вперед по дороге в поисках какой-нибудь ремонтной мастерской в соседнем городишке, но вскоре вернулся, не зная толком, куда идти, и тут решимость окончательно его покинула. Обесиленный, он уселся на краю дороги, футах в двадцати от своего неподвижного мотоцикла, и честно признался себе, что разбит наголову. Он готов был к чему угодно, только не к проколу баллона.

И тут его начали осаждают вопросы, от которых уже невозможно было отмахнуться: кто он, что делает и

что будет дальше, и как понять этот внезапный приступ бешенства — словом, перед ним вдруг во весь рост встали все проклятые вопросы, о которых мы постоянно забываем в суете и спешке современной жизни.

Короче, впервые за эти головокружительно промелькнувшие дни он прямо и честно задал себе вопрос: что же теперь делать?

Кое-что вдруг стало ясно, предельно ясно, и ему не верилось, что еще минуту назад он ничего не мог понять. Разумеется, Билби — хороший, честный мальчуган; просто он что-то перепутал, и его, конечно, нужно было тщательно подготовить и проверить прежде, чем подпускать к лорду-канцлеру. Теперь это казалось азбучной истиной, и капитан искренне изумлялся и ужасался своей непостижимой глупости. Но что сделано, то сделано. Теперь уже ничто не смягчит лорда Магериджа, ничто не примирит лорда Чикни с племянником. Тут все ясно и понятно. Зато ничего не ясно и не понятно в невообразимом хаосе, который царит в его собственной душе. Почему он вел себя так глупо? Что с ним стряслось за последние несколько недель?

Внезапное прозрение оказалось столь глубоким, что капитан вдруг понял: больше всего тревожат его вовсе не злоключения в Шонтсе, а этот странный паралич воли. Зачем он мчится назад к Мадлен? С какой стати? Ведь он ее не любит. Он твердо знает, что нет. И, пожалуй, главные его чувства сейчас — гнев и досада.

Но она его волновала, будоражила так сильно, что все остальное — неразбериха, колебания, безумства — было только следствием этого волнения. Вот откуда дикий порыв, заставивший его мчаться очертя голову неизвестно куда и зачем...

— Рехнулся я, что ли, черт побери! — сказал капитан.

— Вот, например, сейчас, — продолжал он, — ну зачем я туда еду? Ведь стоит мне только вернуться, как она тотчас начнет строить из себя оскорбленную королеву. Ничего не понимает, если это не касается ее драгоценной особы. Ей нужен этакий пылкий возлюбленный, как на сцене...

Она нарочно взвинчивает и подхлестывает меня!
Она всех нарочно взвинчивает и подхлестывает — в этом единственный смысл ее жизни.

И, подумав над этим глубокомысленным выводом добрую минуту, капитан произнес следующие исторические слова:

— Ну, нет!

На него вдруг снизошло какое-то яростное просветление.

— Уж эти любовные утехы... — сказал он. — Сначала я совсем не давал себе воли, а теперь чересчур распустился. Вел себя, как одержимый болван... От всех этих свиданий, объятий и оборочек у меня просто голова пошла кругом.

И заключил давно назревавшим обобщением:

— Все эти любовные игрища недостойны настоящего мужчины. Толчешься среди юбок, пуховок, реверансов, упреков и подозрений... Гнусная игра... И непременно стравят тебя с другим мужчиной...

— Будь я проклят, если позволю...

— И вообще, пора поставить женщин на место...

— А не сделать этого — они наварят такой каши...

Потом капитан некоторое время размышлял молча и грыз кулак. Лицо его потемнело, глаза стали злыми. Он выругался, словно какая-то мысль жгла и терзала его: «Уступить ее другому! Только представить себе ее с другим!»

— Мне все равно, — сказал он, наконец, хотя ему явно было не все равно. — Свет клином не сошелся на ней одной.

— Мужчина, настоящий мужчина не должен из-за этого волноваться.

— Как ни говори, а тут либо одно, либо другое, — сказал капитан.

И вдруг капитан принял окончательное решение.

Он поднялся на ноги, лицо его, с которого сбежала краска, было спокойно и непреклонно. Точно христиа-

нин, сбросивший с себя бремя грехов, он оставил мотоцикл и прицеп у дороги. Потом спросил у проходившей мимо няньки с младенцем, как пройти к ближайшей железнодорожной станции, и тронулся в путь. По дороге ему попалась велосипедная мастерская, он заглянул туда и поручил заботам мастера брошенный мотоцикл и прицеп. Капитан отправился прямехонько в Лондон, переделался у себя дома, пообедал в клубе и в тот же вечер укатил во Францию,— да, во Францию, чтобы захватить хотя бы конец больших маневров.

На следующий день в поезде он написал Мадлен письмо, в котором, как всегда, называл ее ласковыми словами, но избегал говорить об их отношениях; зато очень красочно живописал долину Сены и достопримечательности Руана.

— Если она чего-то стоит, она поймет,— сказал капитан, хотя он уже отлично знал, что ничего она не поймет.

Миссис Гидж заметила это письмо среди другой корреспонденции и потом была очень встревожена поведением Мадлен. Ибо сия леди вдруг впала в невероятную игривость и бурное веселье: она напевала обрывки песенок, придумывала все новые развлечения, без умолку болтала о пикниках и дальних прогулках. Она трепала по плечу мистера Гиджа и хватала под руку профессора Баулса. Оба джентльмена принимали эти фамильярности с радостным смущением, вызвавшим презрение миссис Гидж. Мало того, Мадлен вовлекла в их кружок несколько застенчивых незнакомцев, и даже владелец отеля с удовольствием помогал компании развлекаться.

Венцом всех затей был пикник при лунном свете.

— Мы разведем огромный костер и потом будем танцевать, да, да, сегодня же.

— Не лучше ли завтра?

— Нет, сегодня!

— Завтра, возможно, вернется капитан Дуглас, а ведь он мастер на такие забавы.

Миссис Гидж отлично разглядела французскую марку на письме капитана и знала, что завтра он не вернется, но ей хотелось дознаться, что же произошло, потому она и высказала это предположение.

— Я его отослала к его воинским обязанностям,— безмятежно ответила Мадлен.— У него есть дела поважнее.

А у него и вправду были дела поважнее. Все это происходило на заре воздухоплавания — и в наши дни, несмотря на враждебность лорда-канцлера и недоверие многих здравомыслящих людей, во всей истории английской авиации вряд ли найдется более славное имя, чем имя полковника Алана Дугласа.

Еще несколько минут после того, как капитан Дуглас не простясь выбежал из дома лорда-канцлера, никому, даже самому Билби, и в голову не приходило, что капитан забыл там своего свидетеля. Генерал вместе с лордом Магериджем двинулся в прихожую, и Билби, повинуясь быстрому выразительному жесту Кэндлера, скромно поплелся за ними. Затем вся процессия вышла из дому, и пока младший лакей вызывал коляску для генерала, лорд-канцлер хоть и поспешно, но учтиво и с достоинством наконец отбыл в сопровождении Кэндлера, который заботливо, но несколько неодобрительно оберегал своего господина. Тут Билби постепенно начал понимать, что все его покидают, и растерянно оглядывал этот чужой мир, такой холодный и пугающий. Кэндлер уехал. Последний джентльмен сейчас уедет. Младший лакей вовсе ему не друг, это Билби чувствовал очень отчетливо. От младших лакеев вообще добра не жди.

Лорд Чикни уже занес ногу на подножку экипажа, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет его за полу сюртука. Он с удивлением оглянулся.

— Извините, сэр, это я,— сказал Билби.

Лорд Чикни призадумался.

— Что тебе? — спросил он.

К этому времени Билби совсем пал духом. Лицо его сморщилось, голос дрожал: он готов был расплакаться.

— Я хочу домой, в Шонтс, сэр.

— Ну что ж, мой мальчик, иди домой... иди себе домой в Шонтс.

— Но он уехал, сэр,— сказал Билби.

У лорда Чикни было доброе сердце, кроме того, он знал, что доброга, проявленная на людях, и некоторое

пренебрежение приличиями порой производят куда лучшее впечатление, нежели педантичное достоинство. Он довез Билби до вокзала Ватерлоо в своей коляске, купил ему билет третьего класса до Челсама, дал на чай носильщику, чтобы тот посадил мальчика в вагон, и простился с ним по-отечески.

Билби чувствовал, что время пятичасового чаепития давно прошло, когда он снова очутился наконец на земле Шонтса.

Беглец, вернувшийся к родным пенатам после этой богатой приключениями недели, был новым Билби, куда более серьезным и умудренным жизнью. Правда, он не совсем понимал все, что с ним произошло, особенно его озадачил бурный гнев и внезапный отъезд капитана Дугласа. В общем же, он считал, что ему грозило суровое наказание, а потом его простили, хотя и довольно поспешно и вообще как-то странно. Добрый старый джентльмен с длинными седыми усами привез его на вокзал и даже вроде благословил. Но Билби теперь куда лучше, чем раньше, понимал, что далеко не всякое приключение оборачивается удачно для юного храбреца и что где-то в основе общественной системы таится немало пренеприятных и опасных ловушек. Билби начал постигать азы жизненной мудрости. Как хорошо, что удалось удрать от бродяги! А еще лучше, что удалось удрать из Крейминстера. Конечно, жаль, что больше не придется увидеть ту красивую леди... и вообще ничего не поймешь на этом свете... И еще интересно, будет ли у мамы поджаренный хлеб к чаю.

Да чай-то, наверно, давным-давно отпили, ведь уже так поздно...

А не лучше ли потихоньку пробраться в темную каморку под лестницей, служившую ему спальней, надеть свой зеленый передник и появиться перед всеми как ни в чем не бывало, спокойно и деловито... Или можно пойти прямо в сад... Но если хочешь чаю с чем-нибудь, нужно идти в сад.

Прямую дорогу через парк неожиданно перегородила глубокая длинная канава — кто-то выкопал ее после прошлого воскресенья, да так и бросил. Интересно, зачем

ее выкопали? Ужас, какая безобразная канава! А когда он вышел из-за деревьев и увидел дом, его сразу поразила какой-то подбитый и перевязанный вид фасада. Словно Шонтс ввязался в драку и ему подставили синяк под глазом. Но тут же мальчик понял, в чем дело: одна из башен стояла в лесах. Что ж такое с ней случилось? Впрочем, с него довольно и собственных забот.

Ему повезло: в саду он не встретил отчима и прокрался в дом так тихо, что мать даже не подняла глаз от шитья. Она сидела за столом и что-то шила из свежесвыкрашенного черного кашемира.

Билби поразился: какая она бледная! И сидит как-то сгорбившись, точно сейчас заплачет.

— Мама,— позвал он.

Она порывисто вскинула голову и уставилась на него — глаза были блестящие, огромные и полные изумления.

— Ты прости меня, мама, я не больно хорошо помог буфетчику... А вот если бы мне попробовать еще разок...

Он на минуту умолк, удивленный тем, что она ничего не отвечает, сидит с каким-то странным лицом и только все время открывает и закрывает рот.

— Правда, мама, я буду очень, очень стараться...

СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕНА СЭРА АЙЗЕКА ХАРМАНА. <i>Перевод В. Хинкиса</i>	5
БИЛБИ	373
Глава I—IV. <i>Перевод Р. Померанцевой</i>	
Глава V—VIII. <i>Перевод Э. Кабалевской</i>	

Герберт Уэллс
Собрание сочинений в 15 томах,
Том X.

Редактор тома
С Майзельс.

Иллюстрации художника
Л Хайлова

Оформление художника
Е Казакова

Технический редактор
А Шагарина

Подп к печ 13,Х 1964 г Тираж 350 000 экз.
Изд № 1882 Зак 2274 Форм бум 84×108¹/₃₂.
Физ печ. л 18 25 + 4 вкл иллюстраций
Условн печ л 30 34 Уч изд л 32 28
Цена 90 коп

Ордеа Ленина типография газеты «Правда»
имени В И Ленина Москва, А 47,
улица «Правды», 24.